А.М. РЕМИЗОВ

СОЧИНЕНИЯ

Алексей Ремизов



А. М. Ремизов. Париж. 1956 г.

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)



АХРУ

МОСКВА
«РУССКАЯ КНИГА»
2002

УДК 882
ББК 84Р
Р 38

Руководитель программы Михаил Ненашев

Издание подготовлено при содействии Б. Б. Бунич-Ремизова,
Е. Д. Резникова, А. Д. Резникова

Подготовка текста, статья, комментарии, указатель имен Е. Р. Обатниной

Научный редактор тома А. М. Грачева

Оформление Г. Л. Шацкого, Е. В. Полякова

Ремизов А. М.

Р 38 Собрание сочинений. Т. 7. Ахру. — М.: Русская книга, 2002. — 640 с., 1 л. портр.

В настоящем томе Собрания сочинений А. М. Ремизова представлены произведения, написанные в эмиграции. Все они отмечены существенными изменениями творческого метода писателя: новаторскими приемами в жанре мемуаристики («Ахру. Повесть петербургская», «Кукха. Розановы письма»), оригинальной интерпретацией русской классической литературы («Огонь вещей. Сны и предсонье»), а также развитием темы сновидений, ведущей начало с конца 1900-х гг. («Мартын Задека. Сонник»).

ISBN5-268-00496-4
ISBN5-268-00482-X

УДК 882
ББК 84Р

Ахру

ПОВЕСТЬ ПЕТЕРБУРГСКАЯ

и еще скажу вам: у кого есть сила
и голова скрыпника, пусть не
покидает России. Так и
скажите

К ЗВЕЗДАМ

девушка пела в церковном хоре
о всех усталых в чужом краю,
о всех кораблях, ушедших в море,
о всех, забывших радость свою.
и голос был сладок и луч был тонок,
и только высоко у царских врат
причастный тайнам — плакал ребенок
о том, что никто не придет назад.

Бедный Александр Александрович!

Покинуть так рано землю, никогда уж не видеть ни весен, ни лета, ни милой осени и любимых белоснежных зим,

и звезд не видеть — сестер манящих — как только они нам светят.

Не видеть земли, без «музыки» — это такая последняя беда и от этой беды не уйти —

а если вовсе и не беда, а первое великое счастье?

Но почему же для вас так рано?

Это я, еще бедующий здесь вместе с веснами и любимыми вьюгами и моей звездой серебряной, это я стучу в затворенную дверь, не могу и никак не свыкнуться с этим вашим — счастьем.

В то утро — а какая ужасная была ночь — лирова, какой рвущий ветер и дождь,

ветер ввиил —
сам щечавый зверь содрогнулся б!
ветер ввиил до — сердца!

в суровое августовское утро, когда, покорные судьбе, в скотском вагоне, как скот убойный, мы подъезжали к границе, оставляя русскую землю, дух ваш переходил тесную огненную грань жизни, и вы навсегда покинули землю.

И еще огонек погас на русской земле.

*

А в день похорон, когда вашу Трудовую книжку с пометкой:

литератор
грамотен
ПТО

отдали в Отдел Похорон, я свою с той же самой пометкой и печатью, только нарядную, единственную, узорную по черному алым с виноградами, птичкой и знакомыми нумерами Севпроса, Кубу, Серабиса отдал в Ямбурге в Особый Отдел Пропусков.

Счастлив ли дух ваш?

Хоть на мгновенье вы обрадовались там — вы радовались за гранью этой жизни, этой бушующей лировой ночи?

Или вам еще предстоит встреча — счастливые дни?

А я скажу — про себя вам скажу — ни на минуту, ни на миг. И не жду.

Это такое проклятие — вот уж подлинное несчастье! — оставить родную всколыхнутую землю, Россию, где в бедующем Злосчастье наперекор рваной бедноте нашей, нищете и голи выбивается изумрудная, молодая поросль.

Помните, в Отделе Управления мы толклись в очереди к Борису Каплуну: вы потеряли паспорт — это было вскоре после похорон Ф. Д. Батюшкова — и надо было восстановить, а я с прошением о нашей погибели на Острове без воды и дров — помните, вы сказали, поминая Батюшкова, что мы-то с вами —

— Мы выживем, последние, но если кто-нибудь из нас...

И я в глазах ваших видел, не о себе это вы тогда.

Бедный Александр Александрович — вы дали мне папиросу настоящую! пальцы у вас были перевязаны.

И еще вы тогда сказали, что писать вы не можете.
— В таком гнете невозможно писать.

А знаете, это я теперь тут узнал за границей, что для русского писателя тут, пожалуй, еще тяжче, и писать не то, что невозможно, а просто нечего: ведь только в России и совершается что-то, а тут — для русского-то — пустыня.

Уйти временно в пустыню, конечно, для человека полезно, в молчании собрать мысли — ведь нигде, как в пустыне, зрение и чувства остры! — и Гоголь уходил в римскую пустыню для «Мертвых душ». Тоже и поучиться следует, и есть чему, на камнях-то Европы — «одним х...м (хоботом) мазать невозможно!» — правильно Толстой заметил Алексей Н. Только вот насчет прокорму — писателям и художникам везде приходится туго! — надо какая-то работа, а всякая посторонняя работа, вы-то это хорошо знаете, засуетит душу. И выйдет то же на то же. И если судьба погибнуть, так уж погибать там у себя, на миру в России.

*

Это хорошо, что на Смоленском — и проще и не суетно — и никто-то вас не тронет, не позарится на вашу домовину, и Горького не надо просить и Марью Федоровну беспокоить.

Помните, как вас из вашей-то насиженной выгнали?

А может быть, и там ваша душа проходит еще злейшие мытарства? И эта жизнь — четырехлетний опыт социального переустройства — ясно говорившая вам уж одним своим началом всеобщего уравнения, когда вы недоумевая спрашивали, «нужны мы или не нужны?» да, конечно, такие не нужны, эта жизнь, прицепившая к вам бестий ярлычок «буржуазного поэта» — изобретение всеупрощающее, подхваченное умом не очень взыскательным и отнюдь не беспокойным, а также примазавшейся шкурой и прихвостившейся мразью, загнавшая вас в третью категорию со всякими трудовыми повинностями — сгребанием снега на мостовой, сколкой льда, разгрузкой барок с дровами, чисткой загаженных дворов, эта жизнь, которая не давала вам никакой воли, заставляя вас быть,

как все, и как всякий служить, и как всякого без конца учитывая, регистрируя и заставляя заполнять анкеты, а за каждую милостыню — ведь ученые, писатели и художники это вытянувшийся дрожащий хвост нищих на паперти Коммуны! — за каждый брошенный кусок и льготу (право «просачиваться!»), тычащая вас носом, как кошку, и не однажды честившая вас, как ломового извозчика, — «Мы художники-писатели, а с нами обращаются, как с ломовыми извозчиками!» — говорили вы в гневе, и наконец отнявшая у вас досуг и «праздность», это наша переустраивающаяся русская жизнь, вконец искалеченная войной и войнами, и вот доконавшая, покажется вам легким сном?

Но я верю, за ваше слово, за «музыку» и там, в норах и канавах — в безнадежном, томящем круге, в кольце ожесточившихся стражей муки, и там найдутся, кто станет за вас, и там найдется свой — Горький.

Впрочем, что это я — это я все о «гнете» — горькое слово ваше запало! — это я по-русски, а ведь было ж и совсем другое! и совсем по-другому! — по закоренелому нашему злопамятью —

И знаете, Александр Александрович, да это вы знаете, — и это говорю я не для пуга, — не всегда-то и Марья Федоровна может: перед уходом из ПТО какую она мне подпись подписала под прошением в Петрокоммуну царскую, а все-таки отказали, и уж в Ревеле в замятинской рвани с вокзала я каблук в руке нес.

И Гумилева — расстреляли! — Николай Степанович покойник теперь — Горький не всегда может, стало быть.

*

Да, хорошо, что на Смоленском —

Федору Ивановичу, хоть и обидно — помните, покойника Ф. И. Щеколдина — любил он вас! — это когда с Гороховой-то нас выпустили, он вскоре и помер, на советских мостках в Александро-Невской лавре лежит, — ну, Федор Иванович поймет.

Я. П. Гребенщиков и его сестры, они на Острове, соседи наши, от них до Смоленского два шага, они-то уж как будут могилу вашу беречь, знают там каждый холмик, придут и на Радоницу — красное яичко принесут, похристосуются, и на зеленый Семик и в Дмитровскую

субботу. Гребенщиков — книгочий, всякую вашу книгу имеет и на иностранном, он один такой в Петербурге, он и могилу не оставит, князь обезьяний —

А ваш обезьяний знак, Александр Александрович — его ни в какой Отдел не потребуют — забыл я, с чем он — картинка — с каким хвостом или лапами? — у П. Е. Щеголева с лапами гусиными и о трех хвостах выдерных.

И вам будет легко лежать в родной земле.

Мы тоже коробочку взяли с русской землей —

глаза ваши пойдут цветам,
кости — камню,
помыслы — ветру,
слово — человеческому сердцу.

*

Бедный Александр Александрович!

Все никак не могу убедить себя, что вас уж нет на свете.

Вот тоже, когда Ф. И. Щеколдин помер, я тоже долго не мог: схвачусь и все будто папиросу ищу — сам курю и ищу, как в бестабашье.

Передали ли вам мое последнее слово?

— Что ж сказать Блоку?

А я точно испугался — чего-то страшно стало — не сразу ответил.

— А скажите Блоку: нарисовал я много картинков, на каждую строчку «Двенадцати» по картинке.

Пусто и жутко было в моей комнате: пустые полки, и игрушек не было, пустая зеленая стена с серебряными гнездышками, и ваша «ягиная черпалка» — помните, на Островах нашли? — убралась в жестяную довоенную коробку из-под бисквитов вместе с «гребнем ягиным», и только огонек перед образом неугасимый светил, как всегда, в последнюю ночь, — разбирали последнее, как после похорон.

— А это значит, — объяснил я, — за эти три месяца я думал о нем.

Евгения Федоровна так и обещалась передать.

А незадолго перед тем заходил к нам Евгений Павлович Иванов —

он, как всегда, вошел боком и, стоя, завели разговоры, без слов, больше мигом, ухом и скалом, вас поминали и, как Чучела-Чумичела и кум его Волчий хвост

шептались долгое время.

Евгений Павлович тоже кавалер обезьяний — с лягушачьим глазом и хвостом рогатого мыша! — с Гребенщиковым снюхаются и, пока живы, бородатые, один рыжий, другой темный, как бесы из «Бесовского действа», дико козя бородами, станут на страже, не покинут вашего Креста.

*

Трижды вы мне снились.

Два раза в городе рыцарей — в башенном Ревеле и раз тут в зеленом Фриденау, в Фремденхейме у Фрау Пфейфер, над Weinstube, по-нашему над кабаком.

Видел вас в белом, потом в серебре, и я пробуждался с похолодевшим сердцем. А тут — над Weinstube — вы пришли совсем обыкновенным, всегдашним и мне было совсем не страшно. Я вас просил о чем-то и вы, как всегда, слушая, улыбались — что-то всегда было чудное, когда я говорил с вами.

Из разных краев, разнымир дорогами проходили наши души до жизни и в жизни по крови разные — мне достались озера и волшебные алтайские звезды, зачаровавшие необозримые русские степи, вам же скандинавские скалы, северное небо и океан, и недаром выпала вам на долю вихревая песня взбаламученной вздыбившейся России, а мне — погребальная над краснозвонной отшедшей Русью.

Где-то однажды, а может, не раз мы встречались — на каком перепутье? — вы закованный в латы с крестом, я в моей лисьей острой шапке под вой и бой бубна — или на росстани какой дороги? в какой чертячьей Weinstube — разбойном кабаке? или там — там, на болоте —

и сидим мы дурачки
нежить, немочь вод
зеленеют колпачки
задом наперед.

Судьба с первой встречи свела нас в жизни и до последних дней.

И в решающий час по запылавшим дорогам и бездорожью России через вой и вихрь прозвучали наши два голоса — России —

на новую страдную жизнь
и на вечную память.

*

никогда не забуду, он был или не был
этот вечер, пожаром зари
сожжено и раздвинуто бледное небо
и на желтой заре фонари — —

1905 год. Редакция «Вопросов Жизни» в Саперном переулке. Я на должности не канцеляриста, а Домового — все хозяйство у меня в книгах за подписями (сам подписывал!) и печатью хозяина моего Д. Е. Жуковского, помните, «высокопоставленные лица» обижались, когда под деловыми письмами я подписывался «старый дворецкий Алексей». Марья Алексеевна, младшая конторщица, убежденная, что мой «Пруд» есть роман, переведенный мною с немецкого, усумнилась в вашей настоящей фамилии:

— Блок! псевдоним?

И когда вы пришли в редакцию — еще в студенческой форме с синим воротником — первое, что я передал вам, это о вашем псевдониме.

И с этой первой встречи, а была весна петербургская особенная, и пошло что-то, чудное что-то, от чего, говоря со мной, вы не могли не улыбаться.

Театр В. Ф. Коммиссаржевской на Офицерской с вашим «Балаганчиком» и моим «Бесовским действом» — Вс. Мейерхольд — страда театральная.

Неофилологическое общество с Е. В. Аничковым — весенняя обрядовая песня и ваше французское средневековье. Вечера у Вяч. Иванова на Таврической с вашей «Незнакомкой» и моей «Калечиной-малечиной» посолонной. Разговоры о негазетной газете у А. В. Тырковой.

1913 год. Издательство «Сирин» — М. И. Терещенко и его сестры — канун войны, когда мы встречались всякий день и еще по телефону часовали. Вы жили тогда на Монетной, помните Острова, помните двугривенный, ведь я отдал его последний! — как вы смеялись и после, еще недавно, вспоминая.

Р. В. Иванов-Разумник — «Скифы» предгрозные и грозовые.

1918 год. Наша служба в ТЕО — О. Д. Каменева — бесчисленные заседания и затеи, из которых ничего-то не вышло. И наша служба в ПТО — М. Ф. Андреева — ваш театр на Фонтанке, помните, вы прислали билеты на «б. Короля Лира» —

Комитет «Дома Литераторов» с А. Ф. Кони под глазом Н. А. Котляревского, обок с Н. М. Волковысским, — неизменные зайцы В. Б. Петрищева.

З. И. Гржебин — кум —

И через четырехлетие «Опыта» Алконост — С. М. Алянский, «волисполком обезьяний», мытарства и огорчения книжные, бесчисленные, как заседания, прошения Луначарскому, разрыв и мировая с Ионовым.

Помните, на Новый Год из Перми после долгого пропада появился влюбленный Слон Слонович (Юрий Верховский) — вот кому горе, как узнает! — ведь вы первый в «Вопр. Жиз.» отозвались на его стихи слоновьи, на «Зеленый сборник», в котором впервые выступил Слон с М. А. Кузминым и Вяч. Менжинским.

Помните, чуковские вечера в «Доме Искусств», чествование М. А. Кузмина, «музыканта обезьяньей великой и вольной палаты», и наш последний вечер в «Доме Литераторов» — я читал «Панельную сворь», а вы — стихи про «французский каблук», домой мы шли вместе — Серафима Павловна, Любовь Александровна и мы с вами — по пустынному Литейному зверски светила луна.

Февральские поминки Пушкина — это ваш апофеоз.

И опять весна — Алконост женился — растаял Невский, заволынил Остров, восстание Кронштадта, белые ночи —

Первый день Пасхи — 1 мая — первая весть о вашей боли.

И конец.

> глаза ваши пойдут цветам,
> кости — камню,
> помыслы — ветру,
> слово — человеческому сердцу.

*

Странные бывают люди — странными они родятся на свет.

Лев Шестов, о нем еще с Петербурга, когда начал печататься в Дягилевском «Мире Искусств», пущен был слух, как о забулдыге — горькой пьянице. А на самом-то деле, — поднеси рюмку, хлопнет и сейчас же песни петь! — трезвейший человек, но во всех делах — оттого и молва пошла — как выпивши.

Розанов В. В., тоже от странников, возводя Шестова в «ум беспросветный», что означало верх славословия, до того уверился в пороке его винном, всякий раз, как ждать в гости Шестова, вином запасался и всякий раз, угощая, не упускал случая попенять, что зашибает.

А настоящие люди — ума юридического — отдавая Шестову должное, как книжнику и философу, в одном корили, что водится, деликатно выражаясь, со всякой сволочью, куда первыми входили мы с Лундбергом, и все приписывалось «запойному часу» и «по пьяному делу».

А дело-то, конечно, не в рюмке — это П. Е. Щеголев не может! — а если и случалось дернуть и песни петь, что ж? и какой же это человек беспесенный? — дело это такое, что словами не скажешь, оно вот где —

А бывают и не только что странные, больше — Андрей Белый —

Андрей Белый вроде как уж и не человек вовсе, тоже и Блок не в такой степени, а все-таки.

И Е. В. Аничков это заметил.

«Вошел ко мне Блок, — рассказывает Аничков о своей первой встрече, — и что-то такое...»

А это такое и есть как раз такое, что и отличает нечеловеческого человека.

Блок был вроде как не человек.

И таким странным — дуракам — и как нечеловекам дан великий дар: ухо — какое-то другое, не наше.

Блок слышал музыку.

И это не ту музыку — инструментальскую — под которую на музыкальных вечерах любители, люди сурьезные и вовсе не странные, а как собаки мух ловят, нет, музыку —

Помню, в 1918 году после убийства Шингарева и Кокошкина говорили мы с Блоком по телефону — еще можно было — и Блок сказал мне, что над всеми событиями, над всем ужасом слышит он — музыку, и писать пробовал.

А это он «Двенадцать» писал.

И та же музыка однажды, не сказавшаяся словом, дыхом своим звездным вывела Блока на улицу с красным флагом — это было в 1905 г.

Из всех самый крепкий, куда ж Андрей Белый — так мля газообразная с седенькими пейсиками, или меня взять — червяк в три дуги согнутый, и вот первый — не думано! — раньше всех, первый Блок простился с белым светом.

Не от цинги, не от голода и не от каких трудовых повинностей — ведь, Блоку это не то, что мне полено разрубить или дров принести! — нет, ни от каких неустройств несчастных, Блок погиб и не мог не погибнуть.

В каком вихре взвихрилась его душа! на какую ж высоту! И музыка —

— Я слышу музыку, — повторял Блок.

И одна из музыкальнейших русских книг «Переписка» Гоголя лежала у него на столе.

Гоголь тоже погиб такой же судьбой.

Взвихриться над землей, слышать музыку и вот будни — один Театральный отдел чего стоит! — передвижения из комнаты в комнату, из дома в дом, реорганизация на новых

началах, начальник-на-начальнике и — ничего! — весь Петербург, вся Россия за эти годы переезжала и реорганизовывалась.

С угасающим сердцем Блок читал свои старые стихи.

«В таком гнете писать невозможно».

И как писать? После той музыки? С вспыхнувшим и угасающим сердцем?

Ведь, чтобы сказать что-то, написать, надо со всем железом духа и сердца принять этот «гнет» — Россию, такую Россию, какая она есть сейчас всю до кости, русскую жизнь, метущуюся из комнаты в комнату, от дверей к дверям, от ворот до ворот, с улицы на улицу, русскую жизнь со всем дубоножием, шкурой, потрохом, орлом и матом, Россию с великим желанным сердцем и безусловной свободной простотой, Россию — ее единственную огневую жажду воли.

Гоголь — современнейший писатель Гоголь! — к нему обращена душа новой возникающей русской литературы и по слову и по глазу.

Блок читал старые свои стихи.

А читал он изумительно: только он один и передавал свою музыку. И когда на вечерах брались актеры, было неловко слушать.

Ритм — душа музыки, и в этом стих.

Стихи не для того, чтобы понимать, их и не надо понимать, стихи слушают сердцем, как музыку, а актеру — профессиональным чтецам — не ритм, выражение — все, а выражение ведь это для понимания, чтобы слушая стих, лишенные «уха», мух по-собачьи не ловили.

Про себя Блока будут читать — стихи Блока, а с эстрады больше не зазвучит — не услышишь, если, конечно, не вдолбят актеру, что стих есть стих, а не разговоры, а безухий есть глухой.

У Блока не осталось детей — к великому недоумению и огорчению В. В. Розанова! — но у него осталось больше, и нет ни одного из новых поэтов, на кого б не упал луч его звезды.

А звезда его — трепет сердца слова его, как оно билось, трепет сердца Лермонтова и Некрасова — звезда его незакатна.

И в ночи над простором русской земли, над степью и лесом, я вижу, горит — —

Charlottenburg, 7 XI 1921.

КРЮК

Крюк, на котором лампу вешают, вешаются, и которым крюком зацепив крючник тяжести неохватные тащит, крюк-опора — die Krücke — слово немецкое и очень-то нос задирать нечего!

Есть одно русское литературное большое гнездо — Петербург-Москва. И от этого большого гнезда по всей по России — от океана до гор и от гор до моря и от моря до пустыни и от пустыни до других гор — малые гнезда.

И в жесточайшие годы — в войну всесветную и замутение, в раззор и падаль, не погибли, заяились гнезда.

Русские писатели, живущие в России при всей тяготе житейской — пусть не завидуют покинувшим вольно или невольно Россию, не зарятся на нашу нищету и безродство! — русские писатели большого гнезда и малых уж одним своим хоть бы летописным бытием всегда с яйцом: готовы.

Великое б было дело пропустить писателей по заграницам — живи как знаешь! — и в научение полезно: крюк-то наш слово немецкое! — и для души: о России подумай, о своей единственной опоре «стихии русской», без которой про-пасть! — да и для глаза не мешает: от отчаяния сколько за́ри — — — на нищету и безродство.

На всей земле писателям и художникам жить — не мед пить; тяжко, непосильно до отчаяния в России в гнездах, а тут — русский писатель, оставивший Россию вольно или невольно, уж одним своим уходом вольным или невольным несет на себе проклятие изгнания — наскачешься, заголя зад!

Писатель не философ, это философ, как балерина, музыкант и художник, — планетчик, его куда хочешь ткни,

везде ему дом от океана до океана и от пупа ледяного до пупа ледяного.

Жил в Петербурге философ, великий книжник Столпнер, друг Розанова и Льва Шестова — Шестов в Париже, В. В. Розанов у Троицы-Сергия под Москвою на кладбище, где-то Столпнер теперь, горемычный! — а как и чем жил, неизвестно, одно знали — выпытал! — в праздничный день сползал он в какую филиппову булочную и там шасть на жаворонки, только и была страсть эта — жаворонки, плюшков поесть.

Столпнеру — жаворонок, б. сибирскому атаману Шишкову — рябиновка, этнографу и космографу М. М. Пришвину — ружье на уток, уточницу, а спутнику его археологу И. А. Рязановскому — автограф (пишут из Праги, проехали приятели через Берлин к другу своего детства к инженеру Я. С. Шрейберу в Женеву подкормиться!) одному — Schlagsahne — другому — Mokka, Микитову — лес да пиво, Андрею Белому — цитронаж, а Ященке — не могу не упомянуть профессора доктора международного права — Ященке — die Sache an und für sich! — ему ничего не нужно.

Русскому писателю да еще в такую пору — столпотворенную — без России никак невозможно.

И, потому, что просто любопытно; Уэллс — хитрец-англичанин! — не зря же из бифштексного Лондона в дурандовое Большое гнездо наше на адову страсть потащился за семь верст киселя хлебать.

И потому, что только русский писатель, не гость, а свой оголтелый, пройдя весь крестный путь новой жизни (а ведь в мир идет новая жизнь!) сохранит ее огненную душу в слове, а то — мелочь, конечно, и притом же гость желанный — тоже иностранец спичками нашими восторгнулся, а мы их, спички-то, и в глаза не видали, а больше какие попадались пайковые: чиркнешь — и ничего! — безголовки;

и еще потому, что пройди ты всю землю с края на край, нигде на всем свете так не пламенна мечта о воле, как только в России;

а что такое эта мечта, воля и как и где — знаю, без нее кисль и тряпка, да не умею я по-настоящему! — про

это Лев Шестов, собравший из веков всю мудрость мудрецов и разумнейших благодетелей человечества, мудрость безумцев, и сам не без того (свихнулся!), Лев Шестов в книге своей «Странствования по душам» все расскажет да не просто — с фугой, одно скажу: мечта эта, воля — не Schlagsahne, и не Mokka... у каторжника, а того лучше Лазаря четверодневного, коль порасспрашивать стать — — —

*

Русское литературное большое гнездо и малые гнезда живы, живут и ятся.

Началось с 1920 года, когда в оледенелом гнезде в голод и темь пришла весна — ка-кая! — не забыть.

Стали о ту пору жениться — недалеко ходить, у Назарыча, уполномоченного нашего комбеда, брат женился, — завелись женихи и невесты, и писатели поставили станок.

И к следующей весне Дом Искусств и Дом Литераторов огласился новыми молодыми птичьими голосами, — и эту весну не забыть.

Самый изобразительный и охватистый — большак — Б. А. Пильняк (Wogau), он и старше всех, уж книгу издал, сидит в Коломне под Москвой у Николы-на-Посадьях, корову купил. На Пасху снялся в Петербург — А. М. Горький вывез! — привез роман «Голый год» и повесть «Ивана-да-Марью».

В Петербурге Серапионовы братья кучатся: М. М. Зощенко, Н. Н. Никитин, М. Л. Слонимский, К. А. Федин, Вс. Иванов, Л. Н. Лунц, И. А. Груздев, Вл. С. Познер. Братья младше Пильняка — у Пильняка и дочка растет Наташа и сын Андрей и еще ожидается — и написали они не столько: кто по два, кто по три рассказа, но всякий по-своему, во что горазд.

Самый из всех хитрящий — у него и мордочка остренькая — Лунц, и никто так не подцепит тупь, глупь и несообразицу: «Исходящая № 3749» — вот его рассказ. И тих, и скромен, только что на шоколад падок, Слонимский, а рассказ его — сущий разбойный. Оба на Гофмане верхом покатались.

«Сад» Федина — рассказ подгородний: нежности посолонной, а тема нынешняя.

М. Зощенко — из самых «Мертвых душ» от Коробочки и «Скверного анекдота»: «Старуха Врангель» — петербургские и уездные рассказы его — подковыр Гоголя и выковыр Достоевского.

У Зощенки — запад — польское нашествие, у Пильняка — юго-восток — страх Деникинский.

От словных слов — Никитин: его «Кол», «Подвал», «Ангел Аввадон» — низ слов.

И до чего это странно — какие общие семена! — Никитин, бегая и ноши нося по Петербургу, рассказывает в своем «Коле» про то же, про что Неверов, в Самаре безвыездно, в своей комедии «Смех и горе» —

поп — пирог, извините, с яйцами! — и уездком самохотчик — нам звуков не надо!

Наше доморощенное — несуразное! — и никаким ты его колом не выбьешь и крестом не взять, ни дубьем, ни чекачисткой.

А. С. Неверов (Скобелев) учитель самарский в больших трудах семейных. Из пьес — агитдрам ударных и трафильных-агитных, поступавших в Т. Е. О. и в П. Т. О., «Бабы» его — пьеса исключительная.

И опять: Неверов в Самаре «Баб», что Вяч. Шишков в петербургском «отеле» свой «Вихрь», даже до именно: безмужья деревня в войну.

Неверов — в Самарском малом гнезде и там же зимовал Н. Г. Виноградов — большак — автор хоровой трагедии о Петре.

Из московского гнезда, к петербургскому всех ближе М. И. Волков: его рассказы в «Горне» и «Кузнице» крепки земляною крепью народного слова.

Там же: Н. С. Ашукин, А. С. Яковлев, А. Я. Аросев, Б. Л. Пастернак, А. Б. Кусиков, С. А. Есенин.

Как свой к большому гнезду И. Соколов-Микитов: «Засупоня» и нынче на Неве чуток.

Что ж это, какое имя у молодой поросли русской под огненный буй и шум?

Слышу — — Гофмана — Гоголя — Достоевского — — — А. Белого — — словарь — слово —

слово — исток письма
матерьял — Россия
современность
1918—1920

*

За эти годы сложилась Россия — свое житье-бытье.

По городам люди разделились на сословия: бедняков, нищих и раздетых, и в эту беднищголь вгнездился мародер — и благодетель и петля.

Удостоверения и ордера, слистившись, поднялись Татлиновским памятником III-му Интернационалу и завращались по-минутно, по-денно и по-годно, видимо всем. Сам Горностаев, московский столбцеписец, залюбовался б из тишайшего века и одному бы попенял, что хорошо — замысловато, да писано не узорно, не гусиным пером, ж...

А какие страхи! — и тот дубинный Петров, вздыбивший Россию, и скажу, тот крестный, перевернувший языческую Русь, когда крестом сгоняли русский народ по рекам креститься.

Двоеверие, крывук и кувырк.

Сторожба, расчет и масляничная гуль Ивана Осипова — Ваньки Каина, вора московского и сыщика.

Подслух-подглядь-ябеда-донос.

Желанность и простота.

И воля — да не голубой краешек неба «Мертвого дома», а та — та щелинка из рва львиного —

И какой хор — соборное большое действо — коллективное действие масс.

У Еф. А. Вершинина, балт-мора, в «Несостоявшемся собрании» все стоит на хоре — вся пьеса, и у Пильняка в его повести именно звучны эти хоры: «Съезд волсоветов» слышен, как Пильняков же петух, на три уезда.

Это Россия, отгороженная от всего мира, Россия, изгорающая в мечте о воле, слышна на весь свет.

А какие слова — — — да не обрубки декретные, ни пша и ни вша, а из-под корня, только дремавшие и вот огнем пробужденные в сердце народном.

*

Весна 1920 года, взбудоражившая замерзшие гнезда — в ночь под Пасху в Петербурге вдруг подул ветер — не надыхнешься, не надышишься! — зеленый семенной вей — весна всех перемутила.

И старик — мой сверстник — Е. И. Замятин и Вяч. Я. Шишков — задатки еще имеются! —

прощупались

Е. И. Замятин «изуграф» — резчик слова — смиренный епископ обезьянский Замутий, в мире князь обезьяний Евг. Замятин и без кофеину взялся за сказки, рассказы, повести — и успел. И Шишков, князь сибирский и бежецкий (обезьяний) — пьесу за пьесой со своим непременным комедийным пастушонком, а также память сибирскую — шаманскую повесть

И там в дремучих дорогобужских лесах тоже такой же «князь и полномочный резидент заяшного ведомства» Пришвин М. М., там на Дорогобужской Ямщине, покусанный волками, вышел с ружьем на тетеревиный ток, заслушался и вдруг как увидел зарю, да как дунул дых в него семенной, и заросшая конским волосом рожа его засветилась — заря! — а сердце тетеревино затоковало.

Пришвинский «Базар» — хоровая пьеса —

Озарила заря Московский Кремль, алокрылая ударила она в синь-синюю оконницу — летели от кабилов из Африки пришвинские птицы над Кремлем — распахнуло окно — — и из пропада мурлатое глянуло в зарю кудло, потянул Аросев ноздрей, эна, весенняя рынь! — и эти птицы и эта заря пробудили память — страду о пламенном годе.

И там, в олонецких лесах — в непроходе, в непроезде, в непрорыске — в образном скиту кощей Клюев ощерился.

В ту весну и мертвый воскрес бы!

Сколько стихов: хор поэтов И. Садофьева и хор Гумилева и сам Гумилев — «искусственный бродит журавь» —

— не пощадили — а ведь, это ж что певчую птицу! — расстреляли: «нам звуков не надо!» — у! несчастное!

и одиночки: М. М. Шкапская, Н. А. Павлович, А. Д. Радлова, Н. А. Шкловская, Вл. В. Гиппиус, Вл. А. Пяст, Вл. Ходасевич, А. И. Тиняков, Вс. А. Рождественский, С. Нельдихен — —

и совсем еще перворосток мой обезьяненок, обезьянко, б. царь ежиный Анатолий Фролов, служка обезвелволпала, единственный в Петербурге, таскающий в коротеньких штанишках билет на право ношения хвоста.

М. А. Кузмин, одни глаза —

но если ангел скорбно склонится
и скажет: это навсегда —
пускай падет, как беззаконница,
меня водившая звезда.

А. А. Ахматова, вербная ветка —

И Kaiser — Dreikaiserbund — Андрей Белый, волхв, волк рождественский —

волки со звездою путешествуют!

ангел небесный, слетевший в наш ров львиный, ну, ему в его голубом шарфе, на ледяном ли пупе, в зеленый ли вей, другие у него дороги и земля другая, Андрей Белый — большущий роман «Эпопея».

Федор Кузьмич Сологуб — —

И я — в чалме и не потому чтоб поступил в турецкую веру, а от болей смертельных, с температурой ниже даже Горнфельда (Аркадий Георгиевич жив! — на Бассейной в трудах и терпении), обескровленный, вдруг заквакал по-лягушачьи — —

*

Я не знаю, слыхали ли вы или кто из вас видел — — —

Идете вы лугом, вьются-рекозят золотые стрекозы, вы наклонились — тише! — в стрекозьем круге на тоненьких ножках, сухой, как сушка, сам согнулся, в лапочках скрипка — или на теплой вечерней заре когда жундят жуки, идите за жунд — в жуковом вьюне мордочку видите — тшь! — скрипочка пилит жуком и в такт хохолят два хохолка —

и в лесу посмотрите, откуда? — пичужки чувырчут — лист, не шелести! — в листьях меж птичек со своей скрипкой, узнали?

Да это Скриплик.

Все его знают — и звери, и птицы, всякий жук зовет —

скриплик

Учит Скриплик на скрипке пению птиц, стрекоз — рекози, жуков — жунду, кузнечиков — стрекоту, а зайчат — мяуку, а лисяток — лаю, а волчат — вою, а медведев — рыку.

В лугах всякая травка ему шелковит, в лесу светит светляк.

Хорошо по весне, когда птицам слетаться на старые гнезда, — идет мордочкой к солнцу, со своей со скрипкой, не забудет, обойдет все гнезда, кочки, норы, берлоги: скоро пойдут у зверья и птиц детки, надо учить.

*

Я не знаю, слыхали ли вы или кто из вас видел —

Учатся звери и птицы и всякий мур и стрекоза, учатся черти, учится и человек.

У кого есть голос, всякий науку проходит, — и не простая это наука: рык-то рыком, а порычи по-медвежьи, пропой ты медвежью песню, попробуй! — по себе скажу, куковать еще кукую, а вот по-стрекозьему никак уж.

В большом гнезде на Москве ходил со скрипочкой Скриплик — Андрей Белый, учил поэтов стиху, в Петербурге Серапионовы братья по азам замятиным долбили — Замятин учил их рассказам и сказам, а стиху учил Гумилев —

— не пощадили, а ведь, это ж что скрипочку у Скриплика исковеркать, Скриплика, человечка лесного! — расстреляли: «нам звуков не надо!» — у! несчастная!

А к которому лешему все звери сходятся и птицы и гады и муравьи и пчелы пение свое попеть и рык рыкать, таким Лешим в большом гнезде петербургском был Алексей Максимович — на Кронверкский к Горькому дорога, что тропа к ключику:

его суд и ряд
над всем гнездом

А от Горького повертывало зверье в другую лешачью нору — стог чертячий — в Обезьянью великую и вольную палату на суд обезьяний.

И видел я не раз в окно, как разбредались по своим гнездам: кто хвостом трубя, а кто впрыг, только шарики бестьячие перекатываются, кто как заяц, кто Мишей, но всяк до мура —

вдохновенно

И вот еще: и не только крюк-основа, а и сама дратва — эта связь и спай — наша сапожная дратва — проволока, провод — Der Draht — тоже немецкое слово и морду пожалуйста не вороти!

Charlottenburg, 1 XII 1921.

АЛЬБЕРН

Albern

Олаберство, олаберник, безалаберный — albern — слово немецкое и бахвалиться нечего, шапками, увы! не закидаем.

клин клином
дурь — дурью

— Эй ты, дурак, иди, выбивай!

Тулумбас

В страдный год жизни — в смуту, разбой и пропад — когда, казалось, земля разверзается, готовая поглотить тебя с твоим отчаянием —

в минуты горчайшей народной беды и обиды выступали вперед скоморохи.

Звенели на дурацких шапках бубенчики, гудел тулумбас, пищали дудки, лихо разливался соловей —

скоморохи люди вежливые,
скоморохи люди почестливые.

С широким поклоном всему народу под звон, гуд и писк шли скоморохи по русской земле,

а за ними катила волна — русская правда.

кто ловкач боярину спицу в глаза вколоть,
про честную боярыню слово лихое молвить,
про князей-бояр пробоярится,

мирских и духовных прошалыганить —
без обиды для всех —
на потеху — посмех —

Все смеются, князь смеется и поп в воротник ухмыляется —

скоморохи люди вежливые,
скоморохи люди почестливые.

Кафтан Петра Великого

— Я кафтан Петра Великого, сбежавший за ненадобностью от Тройницкого из Эрмитажа!

— Я слишком помню заботы о народе моего носителя и должен сказать: великий преобразователь России был тоже скоморох,

и скоморошил он дело государственное на всешутейших трапезах и на службах великого князь-папы:

под пьяный часословец пелись шутовские обедни, рвались боярские бороды — и не раз могучая рука хваталась за мой рукав;

но все побивались Ивашкой Хмельницким;

не было дела, которое не переделывалось бы в шутку, и не было шутки, которая не претворялась бы в дело — скоморошьей дубиной дубилась Россия.

Обезвелволпал

1. Обезвелволпал (обезьянья великая и вольная палата) есть общество тайное,
происхождение — темное,
цели — свободно выраженная анархия,
намерения — неисповедимые,
средств — никаких.

2. Царь обезьяний — Асыка-Валахтантарарахтарандаруфа Асыка Первый Обезьян Великий;

о нем никто ничего не знает
и его никто никогда не видел.

3. Есть асычий нерукотворенный образ — на голове корона, как петушиный гребень, ноги — змеи, в одной руке — венок, в другой — треххвостка — на стене написан в рост человечий в Петербурге, на Васильевском острове, д. 31 кв. 48, на самом на верху, куда и вода не подымалась и носить дрова отказывались, где только жили люди да гулял ветер —

Манифест

Мы, милостью всевеликого самодержавного повелителя лесов и всея природы

асыка первый

верховный властитель всех обезьян и тех, кто к ним добровольно присоединился, презирая гнусное человечество, огадившее всякий свет мечты и слова, объявляем хвостатым и бесхвостым, в шерсти и плешивым, приверженцам нашим, что здесь в лесах и пустынях нет места гнусному человеческому лицемерию, что здесь вес и мера настоящие и их нельзя подделать и ложь всегда будет ложью, а лицемерие всегда будет лицемерием, чем бы они ни прикрывались;

а потому и тем, кто обмакивает в чернильницу кончик хвоста или мизинец, если обезьян бесхвост, надлежит помнить, что никакие ухищрения пузатых отравителей в своем рабьем присяде и хамском приседе, как будто откликающихся на вольный клич, но не допускающих борьбу за этот клич, не могут быть допустимы в ясно-откровенном и смелом обезьяньем царстве, и всякие попытки подобного рода будут караемы изгнанием в среду людей человеческих, этих достойных сообщников лицемеров и трусливых рабов из обезьян, о чем объявляем во всеобщее сведение для исполнения.

Дан в дремучем лесу на левой тропе у сороковца и подмазан собственнохвостно —

Скрепил и деньги серебряной бумагой получил б. канцелярист, забеглый политком обезвелволпала —

cancellarius

Алексей Ремизов

1918—1922 г.
Petersburg, Charlottenburg.

Ахру — слово обезьянье на обезьяньем языке: американский ученый проф. Гарнер в африканских лесах, сидя в железной клетке, от обезьян подслушал, и наш ученый проф. Ф. А. Браун тут в Берлине и без клетки глаз-на-глаз в Zoologischen Garten; а означает это ахру — огонь

Кукха

РОЗАНОВЫ ПИСЬМА

В. В. Розанову

Это я вам, Василий Васильевич, эту Кукху —

Все, что возможно пока, записал лунной крещенской ночью. А «Завитушку» потом — ее здесь уж на Lessingstrasse. *(Где-нибудь, верно, сам Лессинг жил неподалеку — вот места-то какие!)*

Есть у меня две карикатуры на вас: одна из «Сатирикона», другая из газеты какой-то. Я бы приложил их сюда, да не знаю уж: нехорошо, говорят.

А по мне: ведь лучший портрет тот, где карикатурно, а значит, не безразлично.

В одном японском журнале поместили карикатуру на меня вместо портрета и без всякой оговорки. И ничего получилось: чудно, а все-таки живой, не то что в паспорте фотографическая карточка (Lichtbild — *по-немецки).*

У меня, Василий Васильевич, желтый паспорт! — за «Табак» мне, должно быть, такое.

Судьба-то, как ни прячься, а настигнет.

Ну, прощайте!

Помяните когда там, в надзвездье-то, Алексея и Серафиму: жить очень трудно нам на любимой-то земле — и придумать не знаю что и не сообразишься; одна надежда — чудесным образом.

8. 6. 23.
Берлин.

2 Зак. 1761



«Точное изображение барышни»
Рисунок В. В. Розанова (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 1. № 1)

РОЗАНОВЫ ПИСЬМА

Читатель, не посетуй, что, взявшись представить Розанова через его письма к нам, рассказываю и о себе, о нашем житье-бытье.

Иначе не могу: нельзя говорить о птице, не поминая леса и поля, и о рыбе, не говоря о море, речке или пруде.

Человек измеряется в высоту и ширину. А есть и еще мера — рост боковой. Об этом часто. Но без этого Розанов — не Розанов.

О Розанове все можно говорить —

> «он уж не знает страха смутиться перед людьми».

И надо: Розанов один — сам по себе — на своей воле.

Хочется мне сохранить память о нем. А наша память житейская, семейная, — нет в ней ни философии, ни психологии, ни точных математических наук.

Время действия: 1905—1911 г. И, как заключение, 1917 г. От революции до революции.

Пятилетие — 1912—1916 — очень важное для Розанова: болезнь Варвары Димитриевны. В эти годы я почти перестал выходить на люди, и видались мы редко, но дружба наша сохранилась до последнего дня.

КОЛОНИЯ

В январе 1905 г. с нас было снято запрещение Москвы и Петербурга и в феврале мы переехали из Киева в Петербург.

Прямо на место в редакцию «Вопросов Жизни» в Саперный переулок: я — заведовать хозяйством.

Нам дали две комнаты в редакции с освещением и отоплением и 40 руб. жалования.

В редакции, кроме нас, поселились Чулковы — Георгий Иванович и Надежда Григорьевна. Г. И. Чулков — секретарь редакции.

Хозяин наш, издатель «В. Ж.», — Д. Е. Жуковский, замечательный человек, философ, микробиолог, обуянный двумя страстями: купить имение и жениться, впоследствии и женившийся на поэтессе А. К. Герцык.

Год 1905 я ничего не писал, отдавшись своему званию завхоза или домового, как тогда это называлось.

Чай подавался самый китайский, самый душистый и сколько хочешь, и гонорар писателям, как и по типографским счетам, выплачивался моментально в день выхода книги, и лист был не теперешний мародёрский — сорокатысячный! — а в 30 000 букв, и корректура посылалась аккуратно и точно, как в немецких издательствах, в двух экземплярах с оригиналом, и барышни — конторщицы не жаловались, и типографщик А. П. Монтвид и брошюровщик Н. К. Константинов были довольны, и мальчики — Матвей и Тимофей, по-современному курьеры, бегали по редакции и в лавочку, как на коньках, и было легко и весело.

Пострадал И. А. Давыдов, автор «Так что же такое, черт возьми, экономический материализм?» — в его ре-

цензии на книгу Рожкова везде было напечатано не Рожков, а Розиков.

Почему-то подумали, что это я тут что-то.

А ей-Богу ж, в рукописи «Ж» показалось наборщикам за «ЗИ».

Г. Н. Штильман, писавший «внутреннее обозрение», благороднейший человек, заступался за меня. Да и И. А. Давыдов, по Вологодской нашей памяти, скоро пересердился.

Всякий день с 8 часов утра и до позднего вечера ходил я по хозяйству в счетах, расчетах и разговорах, да и так, где меня совсем не требовалось, с писателями, которые ждали Чулкова по делам редакции.

* * *

В первый весенний день, когда с моря дыхнуло теплом и по всему Петербургу закапало с крыш, в час, когда расходиться, я вышел зачем-то на чулковскую половину в редакцию и вдруг услышал необыкновенное оживление в прихожей: кто-то, целая ватага вломилась — ряженые? — или что-нибудь диковинное?

И сразу же смех и голоса.

Я выскочил посмотреть.

Час был сумеречный, но электричество еще не зажигали, и я разобрал только:

в крылатке (конечно не в крылатке!),
с проселью рыжий, очки, а нос, как
картофель.

А вокруг — и откуда набралось? — все, кто был в редакции, и конторщицы и совсем случайные, зашедшие по делу.

Он что-то говорил быстро и руками трогал.

И все смеялись.рр

— Розанов! да это ж Розанов Василий Василиевич!

И я подошел и совсем так, ничего над собой такого не выделывая.

— Ро́зинов — Ро́зинов! — знакомился В. В.

И продолжал разговаривать с необыкновенным сочувствием, спрашивал о самых таких вещах личных.

И видно было и чувствовалось, как принимал к сердцу — совсем не безразлично, совсем не для слова.

— Ро́зинов — Ро́зинов! — знакомился В. В., выговаривая Рози, не Роза, в противовес семинарскому крепкому Роза́нов.

И сейчас же с незнакомым начинал самое, как в долголетнее знакомство, о самом, о чем обыкновенно считается просто неприличным спрашивать.

Я это и потом заметил, что Розанов подходит прямо к человеку — к тебе, прямо смотрит на тебя, и никогда не замечая глаз, а только или грудь, или «нижний этаж», или руку, принимает в тебе всего тебя до — — канатика.

И это страшно располагало отвечать также прямо и доверчиво безо всяких, это отбрасывало всякие перегородки, всякие условности, изобретенные людьми злыми или очутившимися в злом подозрительном мире.

Розанову было до тебя дело.

А ведь это такое — ведь, никому ни до кого нет дела!

О Розанове разнеслось по дому.

И сейчас же появился Н. А. Бердяев — Бердяевы жили под редакцией.

А тут подъехал с Мытнинской набережной и сам Д. Е. Жуковский.

Впрочем, «сам» испокон веков у петербургских швейцаров считался П. Е. Щеголев, куда бы он ни заходил по делу или для развлечения.

В «В. Ж.» лежали на складе Розановское «О понимании» и «Семейный вопрос».

О них и зашел Розанов наведаться.

И с этого дня редкое воскресенье, чтобы не были мы у Розановых на Шпалерной, и не было недели, чтобы не заходил Розанов к нам в «Колонию».

* * *

Многоуважаемая
Серафима Павловна!

Посылаю Вам письмо к Петерсу; простите, что опоздал, знаю, но страшно был занят. По-

клон всей Вашей колонии и всю ее жду в воскресенье. Поклон и от жены.

Ваш В. Розанов.

Прием у него ежедневно от 1—2 часов, кроме среды и воскресенья; следовательно нужно просить или в эти часы, или (я думаю) утром до 9-ти часов; в 9 он уезжает. Я написал ему подробно о Вас и лучше всего Вы с моим письмом пошлите ему свою визитную карточку: он выйдет и назначит час, когда приедет.

1905.

МЕДАЛЬОН

Многоуважаемая
Серафима Павловна!

К сожалению, у меня нет просимых Вами книг, а где достать их — я тоже не знаю.

Ваш искренно В. Розанов.

1905.

* * *

Жизнь человека красна не одним только пьянством.
Но это не всякий дурак понимает.
В Германии есть старый обычай на Рождество дарить книги. И нет тут дома, где бы не было книги. Правда, «хозяйки» держат их в шкапу в коридоре.
У В. В. Розанова было много книг и хорошие книги.
И старые редкие издания.
И первопечатные (инкунаболы) в белых свиных переплетах.
И любил он рассказывать, как эти все драгоценности к нему попали —

еще тогда в Москве на Сухаревке покупались на последние.

Книга и Розанов —

заушники его очков зацепились за корешки, корешки приросли к полкам.

В воскресенье какой-нибудь гость дотошный, смотришь, уж ходит по стенкам — стирает носом пыль с полок.

Старых книг заветных В. В. не давал, а новые брали — их было всегда много, неразрезанные. В. В. этих книг не читал. Но всегда внимательно слушал, если рассказывали. И даже писал: как-то, наслушавшись об Арцыбашевском Санине, в статье «семейной» упомянул о новом писателе Санине, написавшем роман «В лугах».

* * *

Был у нас В. В. в «Колонии».

Народу всегда много бывало.

А когда народ, ни с кем не успеешь толком слова сказать: все слито и цепко, гул и всегда роняют.

Уж перед самой дверью В. В. подошел к С. П.

И вдруг увидел у нее старинный медальон.

— Что это у вас в медальоне?

С. П. отвела его в сторону.

— голова львова, сера, космата, с огненной пастью в поле блакитном.

И раскрыла золотые хрупкие створки:

там карточка и волосы.

В. В. смотрел близко — такой у него был вид в ту минуту, как будто старинные монеты и Египет перед ним вдруг.

И с тех пор: придет, бывало, в редакцию и к нам в комнату нашу непременно заглянет без всех.

И с тех пор давал С. П. все книги, и заветные.

— Когда вы мне показали медальон, так я вас сразу и полюбил. Какое доверие: отвела в сторону и показала!

И это он не раз поминал и потом.

НА БЛОКНОТЕ

1905.

18. 9. узнаем вдруг, что наш дом стоит на кладбище. Вышли посмотреть; а у самой двери могила вырыта. Мы бежать: кресты — памятники — кресты. И опять в дом вернулись. Заглянули в окно — а напротив огромный крест кипарисовый.

19. 9. чуть брезжит. Лягушка квакает. Из соседней комнаты? Откудова?

ква-ква — —

20. 9. едем лесом. Вязко. Мой возок провалился в трясину. И я по шейку в воде. Карабкаюсь.

21. 9. «33 белых попа», — такое есть общество. Собираются иногда в редакции. И вот во время собрания батюшка один вышел в коридор. Просит: «покажите географию!» Я его до уборной проводил и, когда он щелкнул, тут и я его тихонечко защелкнул. И колотился ли несчастный, я не слыхал, да и никто не слышал. И только под утро и то случайно — «по расстройству» — освободил его Г. И. Чулков. Это случилось как раз под 1 апреля. Я рассказал А. В. Карташеву и Вяч. Иванову. Я не называл имени, просто сказал: «батюшку какого-то», а через неделю слышу уж рассказывают о священнике Иване Павлиновиче, запертом в уборной на ночь.

И вот только сегодня, через шесть месяцев, раскрыта, наконец, моя мистификация о этом

мифическом Иване Павлиновиче, которого я, конечно, никуда не запирал.

Среды у Вяч. Иванова.

Из новых: М. О. Гершензон и Эрн. Гершензон, оказывается, пишет стихи! А Эрн какой-то весь просвечивающийся и очень белокож. Про П. Е. Щеголева я сказал какой-то незнакомой даме, что это и есть знаменитый Демчинский: предсказывает погоду. А П. Е., как известно, все, что хотите: и плавать умеет и на велосипеде учился, а насчет погоды нет, не может, но та-то, уверовала! Наблюдал за их разговором.

Были еще Мережковские: они только что из Константинопольского путешествия. Но турецкого в них ничего не заметно, как в Зинаиде Николаевне, равно и в Дмитрии Сергеевиче. З. Н. мне дала письмо В. В. Розанова: прошлое воскресенье они были у нас, и З. Н. подарила мне красную феску, расшитую золотом, очень красивая, только маловата, а В. В. обиделся, почему она не ему?

* * *

Любезная, дорогая или как хотите
Зина!

Я с таким удовольствием читал «Тварь» и даже вот-вот готов был написать длинный комментарий! а Вы привезли феску не на ту голову. Голова эта — путаная, с психологией маленькой мыши на большом сыре, которая боится быть пойманною: а перед Вами был «добрый старый турок, чтущий Аллаха», и зачитывающийся восточной и западной (в стихах) Шехерезадою.

Поблагодарите Митю за милые-милые три письма. Я пред ним очень виноват.

В. Розанов.

* * *

22. 9. Был В. В. Розанов.

Рассказывал: когда он первый раз это сделал — ему было 12 лет, гимназистом, а ей, хо-

зяйке, за 40 — так на другой день с утра он песни пел.

— Сижу и пою.

А так В. В. никогда не поет и никакого голосу.

Для памяти:

1) учитель Полетаев с видением соблазняющих его собак (расск. В. В.);

2) видение в психиатр. больнице: полна палата коров — коровы лежат на койках, задрав хвосты (расск. А. П. Зонова);

3) лавка Комарова и доктор Доминик Доминикович Кучковский (из воспоминаний В. В.);

4) между исповедью и причастием пал со скотиною! А это из Исповедальника (Чин исповедания), где есть и о падении с мравием, и о проч. из монастырской практики.

23. 9. Куплено: зеленый диван у А. С. Волжского за 10 рублей в рассрочку. Диван с просидкой.

24. 9. Был в «Нашей Жизни». Познакомился с В. В. Водовозовым, о котором много слышал хорошего от Шестова, — он точно паутиной обмотан. И еще с Н. П. Ашешовым: на нем жилетка вроде как на Философове.

спички делаются из электричества,
селедки ловятся солеными.

25. 9. Были у Мережковских. З. Н. подарила мне лягушку об одной лапке.

Потом у Розанова.

Познакомился с П. П. Перцовым.

«В цветущих женщинах, — сказал В. В., — в их цвете выливается вся страсть, в сереньких же все внутри».

И тихонько из Опытов:

«летом после обеда прилег на диван в халате, замечтался, и села сюда муха и стала ходить, не согнал — ходит и ходит — —»

Л. Б. на это заметил:

— Кажется, полагается (он говорит в нос) две мухи?

Это для моей повести «О табаке».

26. 9. У Г. И. Чулкова в редакции В. Ж. (Редакция переехала на 7 Рождественскую, а мы отдельно теперь на 5-ой).

Читал Осип Дымов. Он изумительно представляет и особенно А. Л. Волынского.

Познакомился с С. Л. Рафаловичем: его стихи в «Содружестве»; а похож он на принца Орлеанского. Был еще Леонид Семенов — этот, как олень.

27. 9. Сегодня Д. Е. Жуковский предупредил меня, что «В. Ж.» возможно и не будут на будущий год. А может, это и лучше — для меня: ведь я же за эти месяцы, кроме этих несчастных листочков, ничего!

28. 9. У Вяч. Иванова занимались спиритизмом. О. Дымов — играл в медиума. А я по плутовской части: и скрёб, как кошка, и стучал, как черт. Очень страшно.

Потом: кто как пишет?

В. В. Розанов сказал: когда он в ударе и исписанные листы так само собой не просохшие и отбрасываются, у него это торчит, как гвоздь.

— И ни один наборщик не разберет! — заметил О. Дымов.

30. 9. Умер проф. С. Н. Трубецкой.

1. 10. На Покров был у нас Ф. К. Сологуб, Чулков и В. Е. Ермилов из Москвы, чтец Чехова. Читал. А позже пришел В. В. Розанов.

«В минуту совокупления, — сказал В. В., — зверь становится человеком».

— А человек? Ангелом? Или уж — —?

— Человек — Богом.

Трагический случай: молодой человек, студент, кончил самоубийством из-за любви.

В. В.:

«Женщина влюбленному в нее, хотя бы и не любила его, а не должна отказывать!»

И был большой спор с С. П.

— Ты благородная, но не добрая, а я неблагородный, но добрый! — сказал В. В. ей.

2\. 10. Хоронили Трубецкого. Несли на Николаевский вокзал. Демонстрация.

Вечером ездили к Ф. К. Сологубу на В. О. в училище, где он инспектором.

Ивановы, Сюннерберг, Чулков, Кондратьев, Зоргенфрей и, конечно, Василий Иванович (Коренев).

Я писал в альбомы передоновщину: брежу «Мелким бесом».

А когда возвращались домой, какая чудесная была ночь, тихий снег.

Прохохотал всю дорогу: такое выдумывается, не дай Бог!

3\. 10. Была у нас Зинаида Николаевна и Т. Н. У З. Н. бывают минуты неподдельно детские. Как хорошо она выговаривает в сказке: «ам!» Играла на рояли. Мережковские собираются за границу.

5\. 10. У Вяч. Иванова. Познакомился со Скитальцем и Юшкевичем. Какие они огромные! У Скитальца — голос-гусли, а у Юшкевича — хорошие глаза.

8\. 10. Не забыть под Андрея погадать.

Одна, гадая, спросила у прохожего:

— Имя?

— Засравитяк.

Вот какое! Не нашел лучшего? Обиделась. А вышла замуж, и что же вы думаете, муж — ничего, одна беда, с животом мучается. Под Андрея гаданье самое верное.

10\. 10. Приходил Н. А. Бердяев. И до чего он жизнерадостный. И в Вологде всегда с ним было весело.

Пошли к Мережковским. А от Мережковских к Розанову стаей по-шестовски.

(Это Шестов завел такое: если уж куда идти, так с дружиною.)

В. В. рассказывал за чаем заграничный случай: о преимуществе русского человека.

Были они все за границей — и Варвара Димитриевна и все дети — Таня, Вера, Варя, Надя, Вася, и Александра Михайловна падчерица. И случился такой грех: захотелось В. В. в одно место, а как спросить и не знает. А Александра Михайловна отказывается, говорит, ей неловко. Да терпеть уже нет возможности, он под себя и сделал. Господи Ты, мой Бог, в отеле, брать белье отказались, хоть сам мой! А главное-то так стали смотреть все, что пришлось Розановым переехать.

А когда-то же самое случилось и в Петербурге: не удержался и обложился, — с каким сочувствием отнеслись дома, прислуга. Сколько сердечности и внимательности.

Ведь это ж несчастье с человеком!

— И нет этой черствости.

11. 10. У Чулкова.

Новые:

Н. К. Рёрих — знает всю доисторическую историю, 200 000 лет смотрят через его каменные глаза.

Проф. Е. В. Аничков, автор «Весенней и обрядовой песни», ученик Веселовского: где кончается Рёрих, там начинается Аничков.

Тэффи, сестра Лохвицкой, и Л. Е. Габрилович.

А из старых: С. Л. Рафалович и два молчальника — Блок и Н. П. Ге, внук художника.

12. 10. Первый раз видел желтый туман.

Желтый туман. На просыревшем асфальте зеленый листочек герани.

Какой-то очумел в желтом тумане, грозил на всю улицу:

— Сукин сын, прохвост, обормот, раз я сказал — верх совершенства!

Вечером приходил к нам П. Е. Щеголев и В. В. Перемиловский.

«Всероссийская забастовка железнодорожных рабочих».

13. 10. Среда у Вяч. Иванова. Коновод Аничков. И бесчисленное количество новых. Разговор о событиях. Еще бы!

14. 10. $^{1}/_{2}$ 8-го погасло электричество. На улице жуть и темь. Что-то будет завтра? Заколачивают магазины. Кухарки разносят «чудовищные слухи».

16. 10. У Розанова. Познакомился с Григорием Петровым. Ну и волос же у человека — кокос!

В. В. все сокрушается, вспоминая Шестова: помириться не может, что Шестов пьет.

А было так: приехал Шестов, повел я его к Розанову, и Бердяев, конечно (ходили стаями!).

А накануне пришепнул я Розанову, что обязательно надо вина:

«потому что Шестов без вина не может».

Вино было. Бутылка красного стояла перед Шестовым.

И мы с Бердяевым все выпили. А у В. В. осталось: без вина Шестов не может!

И вот в разговорах с гостями, вспоминая, все сокрушается.

— Ум беспросветный, все понимает и —

— И помимо всего вредно для умственных способностей! — сочувствуют гости.

17. 10. Все еще темь.

18. 10. Манифест о свободах.

19. 10. У Вяч. Иванова.

Новые: два старца — В. С. Миролюбов («Журнал для Всех») и И. И. Ясинский («Беседа»). Это

будут повыше Юшкевича со Скитальцем! И Арцыбашев. Есть сходство с В. В. Водовозовым.

Все еще при керосиновой лампе.

«Завтра обещают пустить электричество», — так сказал Войтинский.

А В. В. Розанов вчерашний день в баню ходил!

20. 10. Приходили к нам Мережковские. Трогательно, когда они друг с другом речь ведут. Бесподобно представляет их В. Ф. Нувель.

В Калище 18 октября на радостях по случаю манифеста качали при криках «да здравствует свобода!» — губернатора, полицеймейстера и... охранников.

Тема:

«Как мы с Чулковым добивались «конституции».

21. 10. У Бердяевых: Мережковские, Аскольдов, Карташев и Чулков. Рассказывал один из участников: когда у Казанского Собора запели «Вечную память», такое было чувство — подставил бы спину под нагайку и чтобы хлестали.

Видение: огромная иголка, ушки — от земли до месяца, и надо в эти ушки канат вдеть.

23. 10. У Мережковских.

Напуганы.

Из газет: Случайно подслушанный разговор по телефону: «Приходите в трактирр Парамонова, спрашивайте дворника с рыжей бородой, по 50 копеек на человека бить жидов и интеллигентов».

25. 10. Улица Жабокриковка, а другая Ткачовка.

Когда я слышу о событиях — о митингах и шествиях, мне приходит на ум маркиз де Сад.

И у нас было бы ему что посмотреть:

«одной барышне убитой вбили в низ живота кол» (Томск).

«зажгли дом с демонстрантами: те, кто поспел, — на крышу, а крыша рухнула». (Там же.)

«грудных детей убивали и потом разрывали на части; взрослых сбрасывали с 3—4 этажа».

«женщинам распарывали животы и набивали в них перья» (Одесса).

А в Иваново-Вознесенске рабочего сварили в котле.

27. 10. Квасовар Корытов.

Купец Лобов.

Экспроприатор Мишка Дутый.

29. 10. Накануне были разосланы письма, получилось и в редакции «В. Ж.». В ночь ожидался погром.

По этому случаю собрались у Бердяевых и до рассвета дулись в короли.

Тема:

«Как мы с Бердяевым предотвратили погром».

30. 10. У Мережковских. Впервые знакомятся с «запрещенной» революционной литературой.

А я как-то устал и особенно от разговоров. И у меня такое чувство: просто ушел бы в лес!

31. 10. У Розановых.

Проще всего привести к Розанову еврея. Спросишь по телефону, назовешь — никогда не откажет: какое-то особенное пристрастие и любопытство к евреям.

И весь вечер проговорит. И уж, конечно, ни с кем не спутает. А то бывает так: ходит к нему человек каждое воскресенье и каждый раз В. В. с ним знакомится:

— Розанов.

Я говорю:

— Да ведь он и прошлый раз был и позапрошлый!

— Я не виноват, что на всех похож.

В. В. тоже засел за Дебагория-Мокриевича. И на митинги ходит. Очень ему все нравится: «много влюбленных!»

1. 11. Настоящая зима.

У Мережковских. Познакомился с Андриевским: он, мне кажется, и лето и зиму пледом ноги кутает, а курит сигары.

Д. С. тоже курит сигары — после обеда.

Философов подтрунивает — это все насчет революционной литературы, как Мережковские открывают Америки. А мне вспоминается из детских лет: гимназист агитирует среди курсисток:

— Кеннан-Ренан, что такое нравственность?

2. 11. Электричество погасло — и опять зажглось.

3. 11. Электричество погасло — и не зажглось.

«Вопр. Жизни» окончательно ликвидируются.

4. 11. «Не трудись Господи! ведь я недостоин, чтобы Ты вошел под мой кров» (Лук. 7, 6).

15. 11. Всякий день приносит новость и не проходит дня без события. Это и хорошо и нехорошо. Хорошо — интересно; нехорошо — дело не делается, все отвлекает.

Приехал из Вологды А. Маделунг — это наша живая Вологодская память. Не дождался один Каляев!

17. 11. Читаю записки Л. А. Волькенштейн.

Теперь о Шлиссельбуржцах много разговору.

Щедрин (арест. 81 г.) вообразил, что половина головы у него пропала. Оставшуюся половину с одним глазом надо во что бы то ни стало спасти. А спасти можно, если не давать смотреть на нее. Он приделал себе шпоры, голубиные перья. И держался гордо, свысока. Шесть лет не выходил из камеры. А когда отворяли у него форточку, кричал: свежий воздух стал для него невыносим.

* * *

О ту пору создан был Комитет помощи заключенным шлиссельбуржцам. Собирали посылки. Кто что хотел. Д. С. Мережковский дал свои сочинения. Зинаида

Николаевна — духи. В. В. Розанов «Легенду о Великом Инквизиторе» с надписью. Надпись по тем временам показалась нецензурной, и листок из книги вырезали.

(В скобки ставлю зачеркнутое).

* * *

Что самое дорогое в Вас, дорогие Шлиссельбургские узники? Не планы ваши, не расчеты, не программа борьбы, которую выполните вы или не выполните — это зависит от истории: но то, что уже есть налицо, что достигнуто и факт: ваше братство между собой.

Везде люди ссорятся, ненавидят, завидуют; везде нации, веры. Но когда я вижу русских людей в простых рубахах, в рабочих блузах, косоворотках, с умным задумчивым лицом мыслящего человека, — я думаю: вот в ком умер «жид» и «русский», где нет рабов и господ, нет мусульманина и православного, нет бедного и богатого, нет дворянина и крестьянина, — но единое «всероссийское товарищество». И когда я это вижу, то моих 50 лет как не бывало: я чувствую себя молодым, почти мальчиком, хочется играть, хочется читать ваши прокламации. Знаете ли, вы вернули молодость человечеству. И это уже не мечта, это факт, «налицо». Переводя это психологическое наблюдение на (по) §§ политической программы, я сказал бы: во многих местах есть республика, в Аргентине, Соединенных Штатах, Швейцарии, Франции: но нигде нет республиканцев. Ибо республика — это братство, и без него ей не для чего быть. У нас же под снегами России, в Москве и Вильне, Одессе, Нижнем, Варшаве — зародились подлинные республиканцы, — «живая (матер) протоплазма», из коей (слагается) вырастает республиканский организм. Я верю: вы уже скоро выйдете из тюрем. И тогда пронесите это товарищество с края до края света: ибо в этом новом русском братстве, без претензий, без фраз, без усилий, без самоприневоливания, природном и невольном — целое, если хотите,

«светопреставление»: это — новая культура, новая цивилизация, это — Царство Божие на земле».

В. Розанов.

1906.

* * *

20. 11. Затевается журнал «Факелы». Соединение декадентов с «Знанием». Это все Г. И. Чулков мудрует. («Как мы с Чулковым добивались конституции»). Поладил ли, не знаю. Говорил, что с той и с другой стороны должны быть сделаны уступки. Я, кажется, в числе жертвы с декадентской.

Приехал Мейерхольд. «Факелы» соединяются и с Мейерхольдом. Стало быть, и журнал и театр «Факелы».

Почто-телеграфная забастовка.

«Вопросы Жизни» кончаются.

Д. Е. Жуковский обещал подарить мне стол клеенчатый и стеклянный шкап.

В редакцию переезжает А. В. Тыркова.

25. 11. Ходил к Парамонову наниматься. Нет, дело не выйдет. Не гожусь я на службу. Завтра с письмом Д. В. Философова в «Государственный Контроль».

В Контроле когда-то служил и Розанов. Невесело вспоминает:

«Едешь, бывало, на конке наверху. А Вл. С. Соловьев в коляске катит. Нет, вы этого никогда не поймете, никогда, никогда!»

27. 11. Конечно, зря.

Звонил Философов: начальник на меня обиделся и за разговор, а главное за папиросу.

«Так вы на службу смотрите, как на средство к существованию?»

«Да».

«А нам нужны чиновники».

29. 11. Вчера собрание «Факелов». Меня приняли.

И новые:

К. А. Сомов и Е. Е. Лансере, — оба говорят по-петербургски.

30. 11. Собрание «Золотого Руна»: С. А. Соколов-Кречетов («Гриф»), Тароватый («Искусство») — это главные. А проч. — Блок, Сологуб, Мережковский, Кондратьев, Дымов и Бакст. Издатель же Н. П. Рябушинский, но его не было.

3. 12. У Мережковских. Познакомился с Андреем Белым. Очарован. Безгрешный и чистый, — белый.

4. 12. Именины Варвары Димитриевны Розановой.

— Сыт, пьян и нос в табаке! — вот как полагается.

Вымазал я нос табаком Вяч. Иванову. А после ужина перевернул с помощью именинницы качалку с Н. А. Бердяевым. Бердяев ничего, только кашлянул, а Андрей Белый от неожиданности финик проглотил.

* * *

И всегда именины В. Д. справлялись весело.

Много бывало гостей, и знакомые и незнакомые. Бывали Мережковские, Бердяевы, Ивановы, Тернавцев, Коноплянцев, П. П. Перцов, Е. П. Иванов, Б. А. Зак и с ним Д. А. Лутохин, Егоров из «Нового Времени» и батюшки.

Бывало, что именинные гости собирались не вечером, а с утра после обедни прямо к пирогу. И так за полночь: и обедали и отдыхали и чай пили и еще раз чай пили и ужинали.

Обыкновенно на именинах, когда полагалось, чтобы все честь честью «по-семейному», подымались самые непоказанные разговоры. Начинал, конечно, сам В. В. Розанов.

* * *

Ждем.

Серафиму Павловну и Алексея Михайловича без слонов, без зверей и без мифов, без «табаку»

и вина 4 декабря в тихую обитель Б. Казачий д. 4 кв. 12

— вечером —

Смиренный иеромонах Василий.

1908.

К письму: «вечером» — в рамочке, сделанной пером.

«Табак» — это моя повесть «Что есть табак». В. В. Розанов любил ее.

«Слоны» — это «обладающие сверх божеской меры».

* * *

5. 12. Познакомился с М. Г. Сущинским. Героический человек, дважды бежал из Сибири. Теперь по амнистии приехал из Парижа. Истории его сказочные. Пришел он к С. П., а ее не было дома. И весь вечер просидели мы на «волжском» зеленом диване за разбойными рассказами.

7. 12. У Вяч. Иванова: Андрей Белый, Блок, Габрилович, Сюннерберг, П. В. Безобразов. А. Белый изумительно читает стихи. Он не говорит, а поет — до самых до высоких нот:

пришел, пришел издалека
скиталец из Женевы...

(Должно быть, это про А. Г. Барладеана! — моя догадка.)

8. 12. Третья всеобщая забастовка.

Электричество погасло.

Приходил Е. Г. Лундберг: ходит он, как птица. Так птицей прошел весь юг России от Каспийского моря до Черного и все Балканские государства, вдоль и поперек.

Приключения его самые невероятные.

Только присутствие духа и находчивость спасали его от верной гибели.

9. 12. Приходил Б. В. Савинков — пальто на нем замечательное. Дал 25 руб. «на бедность».

12. 12. В Москве четвертый день баррикады.

17. 12. Кончилось.

1906.

3. 1. У Вяч. Иванова. Познакомился с Горьким. Какой умный и сердечный человек! Разговор о новом театре «вообще».

18. 1. Приехал Брюсов.

19. 1. У Сомова на Екатерингофском с Брюсовым. Сомов подарил мне обложки нот с тончайшим шрифтом, а С. П. — узоры для вышивания бисером.

27. 4. Открытие Государственной Думы.

* * *

На бланке для поступления в кадетскую партию: «Ознакомившись с программой и уставом Конституционно-Демократической партии (п. Народной Свободы), я прошу включить меня в число ее членов. Фамилия. Имя. Отчество. Адрес. И т. д.» На обороте адрес секретаря Рождественского Комитета К.-д. партии А. П. Федорова. В примечании: «просят обозначить, чем именно желают быть полезным партии: привлечением новых членов, распространением программ и т. д.».

* * *

Дорогому Алексею Михайловичу и Серафиме Павловне Ремизовой с просьбой подумать, решиться и подписаться —

В. Розанов.

См. на обороте.

Подпишитесь и пошлите прилагаемое: 1 к. марка.

1906.

ОБЕЗВЕЛВОЛПАЛ

В. В. Розанов был старейшим кавалером обезьяньей великой и вольной палаты.

Обезьянья палата возникала в 1908 году, когда я писал «Трагедию о Иуде принце искариотском»: обезьяний царь Асыка, действующий в трагедии, награждает обезьяньими знаками.

А сама мысль об обезьяньем знаке вышла из игры.

Проездом в Петербург каждую осень мы останавливались в Москве. Из писателей в Москве об эту пору встретить кого было не так просто, все разъезжались по всяким Малаховкам. И я играл с своей маленькой племянницей, Ляляшкой (Елена Сергевна Ремизова).

Надо было чего-нибудь особенное придумывать.

Она приставала ко мне сделать ей такое, чего ни у кого нет.

Вот тут-то я и сделал ей обезьяний знак «для ношения тайно».

Этот знак она, конечно, потеряла, и на следующую осень пришлось новый делать, а для пущего бережения знак висел на стене на видном месте — и никто не мог догадаться, что это означает: висит, а неизвестно что, а Ляляшка помалкивает.

После постановки «Иуды» знаками были награждены Ф. Ф. Коммиссаржевский, Зонов и Сахновский. Понемногу вырабатывалась и «конституция» обезвелволпала — главным советчиком был обезьяний «кодификатор» проф. уголовного права М. М. Исаев и археолог И. А. Рязановский — князья обезьяньи.

И когда я сказал В. В. Розанову, что он награждается обезьяньим знаком и возводится в старейшие кавалеры

обезвелволпала, Розанов сразу ничего не понял, ошеломился, а потом спросил:

— А кто еще старейший там у тебя в палатке?

В. В. сказал не в «палате», а в «палатке», как говорила и Ляляшка.

— Гершензон старейший, Шестов...

Я хотел было еще сказать, что и Иванов-Разумник, Лундберг и Балтрушайтис, но побоялся сразу вводить во все обезьяньи тайны:

«обезвелволпал есть общество тайное!»

Гершензон и Шестов произвели огромное впечатление.

— Старейший кавалер, — соображал что-то В. В., — и никогда ни выше, ни ниже?

— Никогда. Так и останетесь старейшим навечно.

— Это мы вроде как митрофорные попы? — обрадовался В. В., — согласен! Стало быть, я старейший кавалер.

— И великий фаллофор обезвелволпала.

— А Шестова сделаем, это по его части, винодаром!

* * *

В конце лета 15 года как-то встретились мы в «Лукоморье».

Я сказал В. В., что С. П. нездорова. И мы поехали вместе к нам на Таврическую.

В. В. был чего-то очень взбудоражен.

В трамвае, не обращая внимания на соседей, он ругательски ругал «войну»:

— ослы, дураки, негодяи...

Такое пересыпалось и имянно и вообще.

Чтобы немного утихомирить, я перевел разговор на обезьяню палату.

Я рассказал ему о семи князьях обезьяньих и о «мощах обезьяньих», которые представлены в лице И. А. Рязановского, и о П. Е. Щеголеве, старейшем князе, и о гимне обезьяньем...

— Да, я хотел похлопотать за одного человека — так поросенок.

— Кто такой?

— Руманов, — и вдруг В. В. как-то по-настоящему, по-просительскому наклонился, — нельзя ли ему хоть медаль какую?

Я объяснил В. В., что вообще-то все это зависит от канцелярии, а в канцелярии взяточничество самое зверское: надо подать прошение и при этом обезьяний хабар, но что Руманову, ввиду его книжных заслуг, можно и так дать.

Так в обезьяньем разговоре и прошла дорога.

Но что особенно умилило В. В., это когда я сказал, что на Москве князем обезьяньим сидит Аркадий Павлович Зонов.

— Аркадий Павлович! — В. В. даже привстал, — удивительно! удачно! сверх божеской меры!

* * *

В 1906 году, после долгого пропада появился в Петербурге А. П. Зонов.

Давнишнее знакомство и верная дружба связывала нас с Зоновым. Я познакомился с ним, когда он и Мейерхольд учились в Филармонии. Я был выслан в Пензу и тайком приехал в Москву — приютил меня Зонов и Мейерхольд. Мейерхольд — пензенский. На лето он приехал в Пензу и с ним Зонов. Играли в Народном Театре. Народный Театр был центром рабочих собраний. Меня выслали в Устьсысольск. Из Устьсысольска мне удалось пробраться в Вологду. А. А. Богданов (Малиновский) выдал мне свидетельство о болезни, и губернатор Князев оставил меня в Вологде «под присмотром П. Е. Щеголева и Б. В. Савинкова». И в Вологду приезжал ко мне и Мейерхольд и Зонов. А когда кончилась ссылка, я поехал в Херсон и поступил в театр к Мейерхольду. Там же был и Зонов. Из Херсона театр перекочевал в Тифлис, но я уж не служил больше.

А теперь Мейерхольд затеял Студию в Москве. Готовилась к постановке «Смерть Тентажиля» в моем переводе, проверенном Брюсовым и Балтрушайтисом.

По делам этой Студии Зонов и приехал в Петербург. Ну, как было не показать его Розанову после всех наших египетских разговоров!

* * *

Хочется мне все-таки взглянуть на 7-вершкового. В Индии не бывал, надо хоть в плечах

посмотреть слонов. Я думаю, особое выражение физиономии: «владею и достигнул меры отпущенного человеку». По-моему, наиприятнейшая мера 5 вершков: если на столе отмерять и вдуматься, то я думаю, это Божеская мера. Таким жена не наиграется, не налюбуется. Большая мера уже может испугать, смутить, а меньшая не оставит глубокого впечатления. Поэтому, может, я к Вам зайду около 12-ти (ночи) или около 10 сегодня или завтра. Пусть благочестие Серафимы Павловны не смутится поздним приходом и я заранее прошу извинения в позднем посещении.

Ваш В. Р.

1906.

* * *

Свидание состоялось.

В нашей теснющей столовой, служившей и местом убежища странникам, на «волжском» с просидкой диване провели мы втроем: я, В. В. и Зонов — много ночных часов, запершись на ключ.

В. В. говорил тихо, почти шепотом: вещи все ведь были деликатные — божественные! — скажешь не так, и можешь принизить и огрубить вещь.

В. В. раскладывал и прикидывал на столе всякие меры.

Зонов отвечал, как на исповеди, и кратко и загадочно по-зоновски.

А я около — каюсь! — поджигал бесом, «творя мечты» и распаляя воображение.

Но что особенно поразило В. В., это признание Зонова о степени его неутомимости.

— Учитель Полетаев рассказывал, — вспоминалось что-то В. В., — Доминик Доминикович...

Нет, ни учитель Полетаев, ни Доминик Доминикович такого не знали.

В. В. размечтался. Ему уж мерещилось: у нас, где-нибудь на Фонтанке, такой институт, где будут собраны «слоны» со всей России, со всего мира для разведения крепкого и сильного потомства.

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

Дорогая Серафима Павловна!

Пожалуйста приходите поскорее мерить кофту.

Ваш искренно В. Розанов.

1906.

* * *

Дорогая Серафима Павловна!

Анна Павловна Философова переслала нам письмо Ветвеницкой, из которого Вы усмотрите, что Вам непременно надо лично с ней познакомиться: иначе ведь та не будет знать, какое место для Вас есть подходящее? Ведь заочно ни на какую должность принять нельзя, (ее) ведь могут просить за глухую, слепую, безногую, истеричную, эпилептичку. А когда люди увидят, что просит цветущая женщина с разумом и образованием, непременно дадут место и даже будут Вас искать для места. Напр. попроситесь в (дол) Библиотеку или в надзирательницы для курсов. Идите же, идите, идите, дорогая!!!

Алексею Михайловичу поклон. А какой скромный и прекрасный Ваш Аркадий Павлович! Вот

и судите «по анекдотам», не взглянув на действительность!!

Ваш В. Розанов.

1906.

* * *

С 5 Рождественской мы переехали на Кавалергардскую в достраивающийся дом Пундика «просушивать стены».

«Вопросы Жизни» кончились — кончилось печатание моего «Пруда» — кончилось и мое «домовство».

У Парамонова ничего не вышло.

В Контроле тоже.

Ходил еще с письмом А. В. Тырковой на Стремянную — тут и могло бы выйти: ехать в Персию на полгода! — да по-персидски-то я — это П. Е. Щеголев может.

А о издании книг нечего было и думать.

Лев Шестов, у которого было пять читателей и шестой только наклевывался, влияния никакого не имел; Е. Г. Лундберг — его самого нигде не печатали: В. В. Розанов — —

За меня была Варвара Димитриевна Розанова, она пять раз прочитала «Пруд»:

— Ничего не понимаю.

Чуть не со слезами говорила она, желая мне добра и только добра.

— Там, Варечка, такое написано, ничего нс разберешь: там про хоботы больше! — В. В. подмигивал, толкая под столом меня ногою.

— Про какие про хоботы?

И у С. П. с местом тоже ничего не выходило.

Розановы одно время жили в большой нужде, и они все это понимали, — это когда В. В. в Контроле служил: семья большая, дети, доктору нечего было заплатить и с дворником постоянные недоразумения.

«Перед праздником, — с горечью вспоминала В. Д., — прибегает девочка дворника; если не заплатите за квартиру, дров не принесем! а у нас нет ничего, Вася в Контроле служил».

Розановы принимали самое горячее участие во всех наших мелочах житейских. Была у них дешевая портни-

ха, надо было на зиму теплое, а у С. П. ничего не было. Затеяли ей кофту шить.

Перед Рождеством зашла С. П. к Розановым.

— Вы поедете, — спросил В. В., — к родным...?

— У нас денег нет.

— А сколько же надо?

— Рублей 50.

— Варечка, Варечка, дай 75!

Засуетился В. В. — он всегда суетился, когда что-нибудь такое трудное и надо скорее решить.

С. П. хотела сказать, что как же это так —

— Не смей, не смей говорить ничего! — В. В. не дал слова сказать.

А В. Д. заплакала.

Это большое было личное горе и безвыходное, — и это соединялось с нашим неустройством.

Однажды уж было, — это когда я с театром не поехал и жили мы на Молдованке в Одессе, потом в Киеве на Зверинце, вот тогда до переезда в Петербург...

Я писал, а С. П. по урокам ходила. Мне до сих пор стыдно вспомнить. Эти мои писания, ей-Богу же, не стоят того труда ее, и при каких условиях!

И теперь С. П. в гимназии достала уроки — «в образцовой»!

А я писал.

Я писал после «Пруда» и «Часов» — «Посолонь».

Раз встречаю на Николаевском вокзале Леонида Семенова, он в то время из эсеров толстовцем сделался.

— Ну что, — говорит, — вы все еще козявками занимаетесь? — и посмотрел на меня с жалостью.

Я это понимал, и в ту минуту еще больше.

И это как пьянице скажут так —

Но что поделаешь, я не мог отказаться и не писать.

Контрольный начальник прав: как нельзя «служить» между делом, так и «писать».

А писать и молиться одно и то же.

Я в церкви раз увидел, как молилась одна женщина, и вдруг понял: ведь я тоже молюсь, ей-Богу, ну совсем как эта женщина, когда пишу —

«отложив попечение».

Розанов это понял.

Да, когда он в Контроле служил, этого он забыть не мог —

И это понимание Розанова еще теснее связало нас.

Теплота в сердце, тревога за человека, а отсюда внимательность к людям — это редкий дар человеку.

И этот дар был у Розанова.

* * *

Достоуважаемые Зверюшки!

Приезжайте: чудный сад! Можете ночевать вдвоем. Гамак. Отличное масло и молоко. Ягоды. Приятное общество. Симпатичнейшие дети.

Ваши Варв. и Вас. Розановы.
Гатчина.
Александровская ул., д. 23.

1906.

* * *

Дорогой Алексей Михайлович! Что Вы мне пишете, как Архиерею в Консисторию: «Глубокоуважаемый!» Разве мы не социал-демократы и не «товарищи»!

Варя очень хочет Вас видеть. Каждый день вспоминает и ждет. Приезжайте —

Гатчина, Александровская ул., д. 23; 20 минут ходу от вокзала. Уху из налимов (живых) любите? Будет! И все будет — только приезжайте. Оба! Ночевать — сколько угодно. Свинье *** напишу. Правда, забылся. Получили ли мою брошюру? Верно — нет: на сей случай шлю следующий экземпляр. Не будьте суровы и мрачны. Пусть Серафима Павловна не мрачничает. У Вас еще жизнь долгая и, по дарам — счастливая. Я Пирожкову недавно говорю: «Его (Ремизова) только никто не понял: — это потерянный бриллиант, и всякий будет счастлив, кто его поднимет: ум, спокойствие, археология + style moderne!» Отвечает: «Вот расширится дело». Ах,

дорогой, как хотелось бы Вам помочь: ведь и у меня, как у Варвары Дмитриевны болит по Вас сердце, но от бессилья я ругаюсь.

!! приезжайте !!

1906.

* * *

«Образцовая» гимназия, где учила С. П., оказалась просто мошеннической.

Путаная история, в которой принимал участие и В. В., кончилась, и как всегда в таких случаях:

тебя же обманут и тебя же обвинят.

«Просушив стены» у Пундика, перебрались мы в комнату на Загородный, а потом в М. Казачий переулок.

А Розановы переехали со Шпалерной в Б. Казачий по соседству.

Опять по письму Д. В. Философова я ходил в «Гос. Контроль» и на этот раз ничего не вышло.

Р. В. Иванов-Разумник, с которым познакомились о ту пору, достал нам работу: сверять Белинского. Но эта работа скоро кончилась.

Ходили по объявлениям.

И все неудачно.

Случилась в Петербурге перепись автомобилей и собак —

*

Дорогой Алексей Михайлович!

Я думал, что Вы виделись с Гриневич: бывши у нас, она сказала, что у неё есть работа по составлению образцового и руководственного каталога, с объяснениями и наставлениями, по детскому чтению. И что помощь ей в этом составлении может оплачиваться ежемесячным жалованием. Так как это интереснее и литературнее переписи собак, да и вообще дело привлекательное и полезное, то я уверен, Вы его возьмете. Покажите-ка Вы ей образец своего 1) почерка, 2) ума и 3) расторопности, сиречь запросите ее, когда можете ее застать дома — и я

уверен (как и уверял уже ее), что она почувствует к Вам вкус. Сама же она — баба умная и летучая — не в смысле мази, а в смысле птицы.

Ваш В. Р.

Серафиме Павловне поклон.

Адрес Веры Степановны Гриневич:

Басков пер. д. 38 кв. 8.

А то и так можете прямо часов около 10 утра или 8 дня.

1906.

НУМИЗМАТИКА

Новый год наступил.

Луна залила наше окно таким половодьем — в комнате так ясно, что не только деньги считать можно, а и делать.

Я так и сделал.

Я сделал обезьянью монету — львовую:

> Löwen — 1 квадрил — lion
> аз обезцарь асыка собственнохвостно
> упказ А. Бах-рах.

И все это тончайшей комариной ножкой, как нарезано, от царя Асыки до Бахраха упказа.

Такой монеты, Василий Васильевич, и в вашей чудесной коллекции не было.

И скажу, нигде нет на этом свете.

Вот бы был вам подарок на именины!

Именины ваши, между прочим, теперь не на Василия, а на Геляриуса, я же на Луку угодил и вроде как из Алексея в Луку обратился.

И куда это вся ваша коллекция девалась — все ваши серебряные, бронзовые и золотые любимцы? Кто на них нынче смотрит, кто трогает?

А теперь я, пожалуй, навострясь на всякой усиной мелочи, я мог бы вам очень точно воспроизвести и самую завитушчатую кривопись и самый замысловатый образ.

А то все собирались, а так и не двинулось дело.

Как и с книгой «О любви».

Вы помните эту нашу затею: собрать и иллюстрировать всю мудрую науку, какую у нас на Руси в старые

времена няньки да мамки хорошо знали, да невест перед венцом учили, ну и женихов тоже.

Как-то так с годами и забылось, и сами «старейшины» — ни Сомов, ни Бакст, ни Нувель не вспоминали уж за эти годы.

А одному куда мне было!

А главное, надо сурьёзно. Я понимаю, даже благоговейно.

Ей-Богу ж, Василий Васильевич, я не так уж озоровал, как вы думали и часто сердились, и чувствую, что такая книга могла бы быть существеннейшей и необходимой в каждой новобрачной семье.

Да, именины-то ваши на Геляриуса — 14-го!

* * *

Спасибо, добрый Алексей Михайлович, за внимание к моей дряхлости и слабоумию. Никогда не забывайте быть добрым: умирать легче будет!! Расположенность без вывертов «любви к ближнему» — самый дорогой товар на этом и том свете.

А знаете, как всякое семя требует vulv'ы, так всякий талант требует «сферы», которая приблизительно и подобно vulv'ы, «талантливое употребление себя» похоже и даже есть то же самое, что совокупление, каковое любит вся талантливая тварь Божия. Посему возлюбленный мой «охальник» (хотел написать «похабник» — да испугался) — не сделать ли нам кое-чего изумительного, кое-чего не вдруг, но помаленьку и полегоньку насчет в самом деле копирования монет? Некоторых, которые не допускают по темноте рисунка фотографирования? «Гм... гм...» Во всяком случае — можно подумать. Безе, безе, безе —

Розанов.

1906.

СЕАНСЫ

А если подойти к окну, если заглянуть —

там — снег,
все в снегу, на крыше даже свисает —

«Самый холодный у нас месяц, самые сильные морозы. Все покрыто снегом. Глухарь и тетерев держатся в лесных чащах, там же рябчики и белая куропатка. Серая куропатка большими стаями, медведи в берлогах, у волка и кабана течка...»

Представляю, что испытывает М. М. Пришвин!

Нет, это луна, как снег, а снегу тут нет, снег там в России.

Я это из календаря о волках и снеге — у меня и есть и русский календарь с Герценом —

вставай проклятьем заклейменный...

Вторую зиму в Германии — второе Рождество.

Под Рождество в кирку ходили. Народу, как на Пасху. Две елки зажжены в церкви. Пение под орган слушали и проповедь — каждое слово, как вырублено, отчетливо. А в домах елки, видно в окнах, огоньки поблескивают. Такое, как у нас на Пасху, ну, все, конечно, по-немецки:

o, du fröhliche,
o, du selige,
gnadenbringende
Weihnachtszeit!

И Пришвин, поди, не спит, и ему в окно ма́нит — от снега луна еще ярче и льется свет в окно беспокойный.

А он от луны еще звернее, зарос, как леший, — почетный косарь! — а в штанах два репья колючих еще с лета, как купался.

Вынул бережно свое старое охотничье ружье — поработало на веку! — подул, погладил.

Завтра еще не звонят к ранней у Большого Вознесенья, постучит сосед Лидин, бердинская трубка пыхнет в мороз и пошли —

«Все покрыто снегом. Глухарь и тетерев держатся в лесных чащах, там же рябчики и белая куропатка. Серая куропатка большими стаями, медведи в берлогах, у волка...»

Из всех, ведь, писателей современников — теперь уж можно говорить о нас, как об истории — у Пришвина необычайный глаз, ухо и нос на лес и зверя, и никто так живо — теперь уж можно говорить о нас и не для рекламы и не в обиду — никто так чувствительно не сказал слова о лесе, о поле, о звере: запах слышно, воздух —

вот он какой, ваш ученик Пришвин!

А знаете, Василий Васильевич, как нынче хорошо писать стали молодые, те, что за нами — вы их никого не встречали, они начали только в революцию — это какая-то Коляда в русской литературе, Weihnachtszeit —

* * *

За все мои литературные годы, а они как-то вихрем пронеслись между революциями 1905—1917, из встреч и разговоров я заметил сочлененность именную — парность имен: когда одно произносишь, другое уж на языке, как водород и кислород, как Анаксимен и Анаксимандр —

Горький — Леонид Андреев,
Блок — Андрей Белый,
Ленин — Троцкий,
Розанов — Шестов,
Гиппиус — Мережковский,
Мережковский — Минский,

Бунин — Куприн,
Эренбург — Вишняк,
Зайцев — Муратов,
Гоц — Зензинов,
Зензинов — Фондаминский,
Бальмонт — Брюсов,
Мартов — Дан,
Булгаков — Бердяев,
Бердяев — Франк,
Аверченко — Тэффи,
Шкловский — Якобсон,
Пуни — Богуславская,
Рафалович — Габрилович,
Барладеан — Тер-Погосьян,
Бахрах — Лурье,
Соломон — Каплун.

— — — — — — — — — —

А когда я о Пришвине подумаю, лезет в голову Коноплянцев, тоже ученик ваш.

Оказывается, в Ельце в гимназии у вас учились — и Пришвин и Коноплянцев.

* * *

Жили мы по соседству: Розанов в Б. Казачьем переулке, мы — в М. Казачьем; нас разделяли Егоровские бани.

В. В. бывал у нас чуть ли не каждый день.

И всякий раз тайно.

Дома он говорил, что идет в «Новое Время».

Дома он, надо и не надо, говорил, что он на меня сердится и у нас не бывает.

Варвара Димитриевна очень огорчалась. И не раз днем заходила к нам, стараясь что-то объяснить, чтобы я не сердился на Васю.

У нас была тесная квартира, но и в такой не сразу могли устроиться: драпировки нашлись, карнизов не было. Варвара Димитриевна прислала «золотые» карнизы и помогала вешать.

Эти карнизы мы перевозили потом с квартиры на квартиру и берегли их, как память, и только зимой 19-го года пришлось расстаться — на плиту пошли!

Тесно у нас было, а всегда народ.

И это испокон веков.

Одно я заметил: в трудные минуты все куда-то пропадали вдруг, и мы оставались вдвоем.

И еще заметил: у нас бывали всегда «начинающие» или такие, у которых не ладилось в жизни, но когда выходили в люди и устраивались, опять понемногу-понемногу и пропадали.

На их место приходили другие — народ не переводился.

В Казачьем появился Н. С. Гумилев и некоторое время «до Абиссинии» находился «в рабстве» — в работе: бегал в лавочку за лимоном, бумагой, спичками.

Ему это очень нравилось и впоследствии, по его признанию, он в своем цехе и студии проводил эту систему — беспощадно.

О ту же пору Яков Годин привел А. Н. Толстого. Толстой был с бородой и так хорошо смеялся, сколько лет прошло, а я долго потом, вспоминая, слышал этот смех — —

Пришвин с Коноплянцевым, М. А. Кузмин с С. С. Позняковым, Гр. П. Новицкий, автор «Необузданные скверны», потом Вас. Вас. Каменский, В. Хлебников, с которым слова разбирали.

Это все писатели, а также и не-писателой много перебывало.

Сидели до поздней ночи.

Часто я от гостей уходил в свою комнату и садился заниматься.

И самый поздний звонок полуночный — Василий Васильевич!

* * *

Как-то пришел В. В. необычно в сумерки. Я занимался. Серафимы Павловны не было дома. Ее ждала одна знакомая барышня.

— И я подожду, — сказал В. В., — а ты иди, занимайся.

Барышня интересовалась Розановым. И я пошел в свою комнату: пускай поговорят!

Я задумал тогда «Илью Пророка» — Громовника и сидел над всякими книгами, — работа большая.

И не заметил, как время прошло.

Сорвался на звонок — Серафима Павловна вернулась!

А В. В. уже уходит.

* * *

Посылаю вырезку, руководствуясь правилом: «лучше поздно, чем никогда» —

Поклон С. П. — —

Не буду приходить к Вам на сеансы. Все это моя распущенность, которую нужно воздерживать. Потом бывает на душе нехорошо. Само по себе я ничто в этой области не осуждаю: ни легкое «нравится», ни тяжелое «залез под подол». Но все хорошо в своей обстановке: и вот этого-то у меня и нет. Этот легкий полуобман, лукавство, черствость души — ах, как все это производит «душевный насморк». Девушка мне нравится очень. Не как другие. В ней — большое содержание. «Внутренне — дум». Молчалива — это очень хорошо. Человек, а не барышня. А впрочем, верно сделается барышнею же, или попадет в больницу, или застрелится. Впрочем, не застрелится, а утопится. Выстрел — это слишком громко, и может испугать мечтательную душу.

Ну, и кроме души, меня взволновала эта волнующаяся под трауром ночь. Какие у нее груди? Очень интересно! А «прочее»? Еще интереснее. Как уже давно никто, она мне не давала покоя в воображении, и я все мысленно продолжал разговор с ней, начатый и неоконченный. В тот день у меня был порыв все сказать ей и о всем спросить у нее. Мы летели точно в вечности. Точно не только не было кругом людей, но они и не рождались, даже не могли бы родиться. Вечное одиночество. Т. е. уединение. Было хорошо. Страшно свободно, страшно и мудро.

Мне бы хотелось, чтобы она кое-что узнала (об э) из этого письма. Мне было бы больно,

если б она считала меня пошлым. Еще больнее, если бы подумала, что я воспользовался минутою.

Я думаю, что это была именно «минута», «случай», когда все стало страшно свободно. И совсем неожиданно для меня. Ведь я в общем скучный. Меланхолический. А то была «аристократическая» минута. Ведь что такое крылья? Большая свобода. Что такое ангелы? Те, кто свободнее человека. А Бога уж «ничто не ограничивает» — «будемте, яко бози» не значит ли только: «будемте свободны»... как хочется и как воображается.

Ну, довольно философии. Если барышня не застрелится, она будет очень долго и очень скучно жить. То чего ей хочется кушать — она не смеет, а чего ей даст мир — то для нее не будет скусно. При таком расположении мировых карт лучше — застрелиться.

Ну, прощай волк и паук. Не сердись на меня. Я нынче в меланхолии.

Розанов.

Точное изображение барышни:
? — и близко локоть да не укусишь.
? — тоже

!! и я там был, по усам текло, в рот не капнуло!!

25. X. 1907.

*

А барышня и не застрелилась и не утопилась. Барышня вскоре вышла замуж. И жила с мужем хорошо и ладно.

И хоть ничего особенного такого не произошло на «сеансе», но и «кое-что» я не мог тогда передать из письма.

Потом, конечно, все сгладилось и помирилось.

* * *

Пора было вставлять окна.

А как это лучше, мы не знали.

С. П. пошла к Розановым спросить Варвару Димитриевну.

Все были дома: время завтракать.

В. В., услыхав голос С. П., как был в халате, выскочил в прихожую.

— Я по делу к Варваре Димитриевне.

— Варвара Димитриевна нездорова, у нее голова болит, нельзя к Варваре Димитриевне!

— Вася, что ты, перестань! — вступилась В. Д.

— Нет, нет, Варвара Димитриевна не может! — не унимался Розанов и, улучив у себя же минуту, шепнул С. П.: — не говори ничего про вчерашнее! — да опять.

— Варвара Димитриевна, — крикнула уж С. П., — я хочу спросить, как вставлять рамы?

В. В. уверился — а ведь надо же было вообразить такое, будто пришла С. П. не для чего другого, как только, чтобы В. Д. рассказать про «сеансы», надо же такое придумать! — и вдруг замолчав, убежал переодеваться.

За завтраком все шло мирно.

В. Д. рассказала, как надо вставлять окна — где купить вату и замазку, и сколько на четыре окна замазки и как стаканчики поставить с кислотой, чтобы окно не морозилось.

От окон разговор перешел к стирке и постирушке: стирка — это крупное белье, а постирушка — это платки, салфетки, так мелочь всякая среди недели стирается не прачкой, а прислугой.

С. П. читала стихи Бальмонта:

есть поцелуи, как сны свободные...

В. В. был вообще в хорошем расположении: и уверился — и это самое главное! — да и кушанье было по вкусу.

Стихи ему, видно, очень понравились.

Зорко глядя из-под очков и нет-нет подмигивая, сучил он правой ногой.

А когда С. П. кончила, он «как полагается», «как нужно» в таких случаях, не глядя, сказал:

— Ну, что это за стихи: все о поцелуях!

— Да, — вспомнила С. П., — мы познакомились с Пришвиным: оказывается, ваш ученик, он рассказывал, что в гимназии вас козлом называли.

— Как ты смеешь так говорить! Я с тобой не желаю разговаривать!

И опять как в прихожей тогда.

— Вася, перестань, — вступилась В. Д., — мало ли что в гимназии! Разве можно сердиться!

Завтрак кончился, сидели так.

В. В. все еще сердился.

— Ну, давай помиримся! — и через стол протянул руку.

— Конечно, Василий Васильевич, ведь не я же вас козлом назвала!

— Как, противный мальчишка, опять! — и руку отдернул.

* * *

Не провокация? Не заговор? Не динамит? Приду — конспиративнейше — или пятницу, но вернее субботу между $2^1/_2$ — 4 дня.

Vale.

В. Р.

23 сентября 1909.

РОССИЯ

А как это хорошо, что так и остались вы в России.

И я знаю, представься вам случай — нет, вы никогда бы не покинули Россию.

А ведь Розанов не только философ «превыше самого Ничше!» Розанов — сотрудник «Нового Времени».

И понятно, какой шкурный мог быть бы соблазн уехать из России.

Ведь, кто же его знает, мало ли какие могли бы быть недоразумения.

Русскому человеку никогда, может быть, так не было необходимо, как в эти вот годы (1917—21) быть в России.

Теперь то, да не то —

Да, много было тягчайшего — и от дури и от дикости, ведь мудровать мог кто угодно! — ведь революция, это не игра, это только в книжках легко читается!

А много было, чего в мир и тишину и в благоденствие, просто немыслимо, это порыв — это напряжение до крайности.

И в беде — великое человеческое сердце —

человек к человеку,
лицом к лицу.

А может, и так, говорю вашим словом, поменьше надо обвинять (и жизнь и людей) и терпеливо нести свой крест — нести бремя своей судьбы.

Ведь неспроста, в самом деле, и мык жизни и радость жизни!

В мир пришла тяжелая доля — тягчайшая для бедноты.

Конечно, всякому хочется, как полегче и поудобнее устроиться — всякий ищет легкой жизни — чудак! такой больше нет на всем свете.

На всем свете не легкая доля.

И если не зароют в себе «братское сердце», а я верю — и в самую жесточайшую борьбу я видел и чувствовал на себе и в себе — человек с умом и пытливостью победит и самую грозную, горькую невзгоду, устроит свою жизнь на земле по своей воле, без подсиживания, хитрости и злорадства.

И семена нового человекоотношения брошены были как раз в жесточайшую расправу человека над человеком в эти годы страды — в России.

И именно, потому-то — потому-то и надо было быть в России.

А кому не пришлось — кто попал в веретено, закрутило и выбросило, или кто по малодушию утёк или спасая свою жизнь или спасая добро, что успел захватить, или по недугу, — сколько таких несчастных в чужих землях мучается!

Да, как это хорошо, что до последней минуты Вы остались в России в страде смертельной со всеми, со всей беднотой, и с «убогими».

* * *

Мы, Василий Васильевич, бесправные тут.

Я это тогда еще почувствовал, как из Ямбурга в Нарву попал, на самой границе, когда с нашим красноармейцем мы, русские, простились, а те свой гимн запели.

И уж молчок — ни зыкнуть, ни управы искать.

А в карантине сидя, на каторожном-то положении, стало мне совсем ясно, а когда из карантина на волю выпустили, не только что ясно, а несомненно.

Эх, Василий Васильевич, только обезьянья палата (обезьянья палатка!) уничтожила всякие границы, заставы, пропуски и визы — иди куда хочешь, живи, как знаешь. И как она безгранична, палатка-то, границ не имеет, так и значения, увы! никакого в ограниченном мире.

С правами, где хочешь, может быть только богатый —

только богатый.

Розанов, когда хотел сказать кому самое обидное, он говорил тому человеку:

«Будете богатым!»

Вы понимаете, Василий Васильевич, тут ужасная несправедливость — кит, которого ничем не сдвинешь.

Ну, а если нет ничего, все-таки на своей-то земле как-никак — «стихия», стены, родная речь...

Очень люди ожесточились, тесно стало, земля перекраивается. И уж кто уцепился, так зубами и держится и ты там хоть пропадай.

Я понимаю —

И не то страшно, что, вот, например, с квартиры тебя выгнали, потому, что ты не валютчик и платить много не можешь, а то страшно, что в сущности-то никому до этого дела нет, — всяк за себя.

Надо помирать, а лучше умереть, тогда, может, и схватятся, а пока еще на задних ногах ходишь, как сказал как-то Пришвин, и как бы там ни жаловался — вот я вам все жалуюсь! — все равно, всяк за себя!

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Я, Василий Васильевич, на улице тут громко слово боюсь сказать по-русски — бывали досадные недоразумения! — ну и не хочешь, чтобы путаница вышла.

У них у самих бедовая!

И такая есть здесь бедность, ну как у нас, забыть невозможно, так в глазах: все вижу — —

А что я сейчас подумал: если бы вовремя отправили Блока сюда в санаторию, ну куда-нибудь в Наухейм, — теперь сюда много ездят с разрешения и М. О. Гершензон где-то тут лечится! — возможно, и поправили бы сердце, а главное, вдалеке-то успокоилось бы сердце и поправился бы и, я не сомневаюсь, поехал бы домой.

Дом — Россия.

Эта несчастная политика все перекрутила и перепутала. И ведь было такое время — теперь оно, кажется, проходит! — когда здешние про нас, оставшихся в страде — в России, говорили: «продались большевикам!» и это я читал собственными глазами, а у нас, бывало, чуть что, и «продался международному капиталу!».

Какое надо иметь злое воображение и какие пустяки хранить в душе!

А Россия — —

Я Вам лучше из письма прочитаю:

*

«— — начать с того, что нас ели в течение трех лет насекомые всех родов, пришлось впасть в страшную нищету, в Москве, по дороге из Саратовской в Черниговскую, когда не доезжая до Москвы у нас уже не было хлеба, я по дороге в Третьяковку просила милостыню. В течение года у меня было одно платье, это то, в котором я венчалась. В течение года у меня не было ни одной рубашки и около двух лет я не видела мыла (никакого). Но как это ни странно, я очень мужественно все перенесла: была здорова, сильна и даже весела.

«— — я ведь тоже болела тифом и была стриженная, теперь у меня волосы больше четверти.

«— — Ильюша вот уже скоро 3 недели, как уехал в Петербург, я уже получила от него письмо; он пишет, это второе, но первого я не получала: я его отправила учиться, Н. В. взяла его к себе с тем, чтобы он подготовился и поступил в гимназию. Он очень мало знает, знаний у него за эти 4 года не прибавилось, т. к. я занималась многим, но не учением детей, я много рисовала и зарабатывала им на хлеб и молоко и др. продукты, я даже стала много лучше рисовать. Последние $1^1/_2$ года много читала.

«Кира очень талантливый мальчик, он хорошо, очень хорошо рисует, мальчик с большой инициативой. Данечка очень веселый и очень любит мамочку, а Васенька очень нервный и желчный и все у него бывает запоем, сегодня он писал запоем, он еще только начинает учиться грамоте.

«Дети (кроме Ильюши) в приюте, им плохо, приходится почти все жалование тратить на

прикормку. Одеваюсь я очень бедно: теперь у меня 2 рубахи и 3 ситцевых платья. Если бы ты могла мне прислать на голову платок соответствующий моему возрасту и из белья, если что-либо тебе не так нужно.

15. 12. 22.

*

Да ведь это же Россия —

Россия без рубашки, простоволосая, в единственном уцелевшем венчальном платье —

Россия, мать, просившая милостыню —

Россия, у которой подросли дети — которых сберегла она за эту страду в годы повального мора и голода до людоедства.

Да, да, я ничего не понимаю ни в ваших государственных мудростях, ни в вашей политике, и не могу судить и не сужу, но я чувствую: забыто самое главное или перепутано что-то, только не так — — нет, нет, не так с этой кругосветной политикой, с границами, блокадами, пропусками, визами — —

А вот и еще, это из Саратовской:

*

«а не могу ли я вам чем-нибудь помочь? Как в Германии дело с хлебом? Я могу прислать муки, даже белой и пшена. Хлёба у нас много, урожай хороший был».

2. 11. 22

* * *

А помните, Василий Васильевич, как однажды, в отчаянии С. П. (беспросветно стало — это личное!) решилась уехать за границу.

Это, конечно, минута такая была, а в действительности просто не на что было бы нам и уехать.

Да слово-то было сказано.

— —

— Как? без России!

Дорогая и милая
Серафима Павловна!

Мне как-то очень грустно сделалось при вести, что Вы уезжаете за границу, неизвестно — на сколько времени. Грустно и больно. Так я привык к «моей крикухе», ведь «крикуха»-то эта была такая «славная» и словно «своя», так я привык к Вам. И что-то грустное с Вами, чего я точно не знаю. Все это у ш и б л о будто меня, и мне непременно захотелось приехать к Вам и сказать что-нибудь, чего может быть сказать не сумею. Словом, назначьте мне день и час и я к Вам приеду. Пожалуйста! Ведь Вы совсем стали нам родная, хоть последнее время и не видел Вас. Вы без хитрости и прямая, и честная и умная: дары не из частых. И не мелкая, не ничтожная. Тоже не часто!

Ну целую горячо Ваши милые руки. Право, как жаль, как жаль!

Ваш горячо преданный и любящий

В. Розанов.

Б. Казачий, д. 4, кв. 12.

Прийти я могу и вечером, от 10-ти вечера, и днем от 3–6-ти.

1909.

ОПАЛ

А. М.

Не *сегодня* ли условленное у Бенуа собрание для лицезрения *опала*? Если да, то поедемте вместе. Тогда зайдите. Так как Вы не пишете, то *скажите* и *разъясните* посланному.

В. Розанов.

Я думаю выехать часов в 9?

*

Ал. Мих.

Вообразите, сейчас по телефону пригласили меня на ужин — проводы св. Петрова и невозможно отказаться. Я собирался хоть на 1 час поехать к Бенуа, но уж очень измотаешься: такие расстояния, да и «засидишься» там, «опоздаешь» здесь и вообще чепуха. Поклонитесь им и извинитесь за мое отсутствие.

В. Розанов

С. П. поклон и рукопожатие.

1908.

* * *

Дождик который день по-осеннему.

А когда поехали от Бенуа, не надо было и верха подымать — луна и звезды.

Лицезрение Сомовского «Опала», наконец, состоялось.

В. В. был в необыкновенной игре.

И «Опал» и обещание Сомова непременно показать восковой слепок с некоторых вещей Потемкина-Таврического: эти «вещи» я уже видел и разжигал любопытство В. В.

— Свернувшись лежат, как змей розовый.

— По указу самой Екатерины.

— В особом футляре в Эрмитаже.

В игре и в откровенные минуты В. В. говорил «ты», а себя называл Василием.

Но «Опал» расположил к еще большей простоте и безо всяких.

— Не Василий Васильевич, а Балда Балдович.

Так я должен был называть В. В.

Разговорчивый, В. В. чередовал разговорами — С. С. Боткин, Бакст, Сомов, Бенуа, Добужинский —

Комната двигалась и все быстрей и быстрей.

Смехом В. Ф. Нувель нырял по углам.

И вот, нахохотавшись и набалдевшись, ехали молча.

Луна выжимала тесную сырую Гороховую; полунощные прохожие поблескивали, и лужи.

Черная и глухая Фонтанка серебрилась рыбными садками.

Осенью после дождей ночью, как и весною — эта мокрота, хлюп, сырой воздух, какая-то влажность сквозь звезды.

Трубы Бельгийского завода там — упирались в звезды.

Вылезли в Б. Казачьем переулке.

В. В. пошел меня провожать: через дорогу и мы.

Посередине улицы против Егоровских бань остановились — огромными лупами наставились на нас банные окна.

И вдруг, налегке уж, В. В. заговорил.

Я никогда больше не слыхал такого, не видал его таким.

И сам бы он не мог повторить: недосказывая и перебивая себя, взахлеб.

Как рукопись, в которой слились все буквы —

Розановская.

Уж баня пропала — ни лун, ни луп. И соседнее темное. И только наш край верх залился.

— Так ты все это когда-нибудь и напиши!

«Написать?»

Я сказал:

— Тут надо как-то одним —

— Так ты одним словом, понимаешь?

— — — — — — — — — — — — — — — — — — —

* * *

и теперь — сегодня удивительный день, прямо весна! — сейчас, в жесточайших днях, когда дни не идут, а рвутся с мясом, когда человек плечо к плечу прет на человека — еда поедом! — ополоумели вы, что ли? — когда на земле стало тесно, бедно, безрадостно — жалобы все глушат н мера мира не радость, а как-нибудь! — несчастная тупая скотина с черствой коркой вместо сердца и камнем вместо хлеба, с таким узким полем около своего носа, таким маленьким миром, не протянувшая никому руки вот — никогда не улыбнувшаяся ни на что, несчастная, ведь нет несчастнее нечеловека в человеке, которому весь мир и враг — одно! и какая скука! сейчас, сию минуту, вдохнув весенний воздух и вырвавшись из этой нечеловеко-человеческой застрявы, продираюсь через годы — а всего-то 15 лет! 15 лет? — через революцию, где год за сто лет, и через войну — бесконечную! —

ночь, бани,
луны — лупы,
лужи,
влажность сквозь звезды —
— Василий Васильевич!

влажность сквозьзвездья, живая влага, Фалесова hugron, мировая «улива», начало и происхождение вещей, дви-

жущаяся, живая, огненная, остервенелая, высь скори, высь быстри, высь бега, жгучая, льнущая —

я скажу —
на обезьяньем языке словом — одним
словом:

кук — ха —

кук — ха!

кукха, проникающая мир сквозь звезды, устой подзвездья, сама живая жизнь, живчик, семя, выросшее и в букашку и в козявку — 3 $^1/_2$ миллиона в Лондонском музее всяких разных козявок, смотрите! — и в человека с беспокойной, как сама кукха, мыслью от Фалеса до —
кукха, проникающая в кукху,
самопознающая!
кукха, вырывающаяся из себя —
хочу знать само!
кукха, где все —
одно сердце,
одна жизнь,
букашки, козявки, таракашки,
слоны,
медведи,
коровы,
люди —
вырастающая человеком
в самочеловека —
в пирамиду
В. В.
Розан-
ов.

УБОГИЕ

Серафима Павловна всегда считалась «ученицей» Д. Д. Бурлюка.

С Бурлюками знакомство у нас старинное: мы жили с ними под одним кровом, и с Людмилой Д. Бурлюк-Кузнецовой у С. П. многолетняя дружба.

Я же как-то не подходил ни к кому и рисовал под всех и одно время, в шутку, конечно, называл себя учеником Судейкина.

И я и С. П., оба мы рисовать не учились.

И разница была в том, что надо было большое упорство, чтобы приневолить рисовать С. П., а меня и неволить нечего: рисовать мне, что горе-рыбаку рыбу удить, рисовать это моя страсть.

В детстве первые мои опыты: мелом себе на ладонь, а с ладони на спину прохожим.

Отсюда все и пошло.

Конечно, Судейкин тут ни при чем.

И скорее всего ученик я Кандинского, и это я понял уже тут в Берлине после лекции Ив. Пуни.

Занимался я «Бесовским Действом»: читал всякие источники и русские и немецкие.

И пришло мне в голову переписать для В. В. Розанова из Киево-Печерского Патерика житие Моисея Угрина — замечательную историю любви.

Помню, М. А. Кузмин восхищался этой повестью.

Переписывал я ее старательно с завитками и усиками.

И когда все было готово, и, не знаю как, задел я чернильницу, чернила на рукопись, я рукопись отдернул — чернила и разбрызгались.

И вот из этих-то пятен, стрел, серпов и волн вышел рисунок: черти с Бабой-Ягой неслись, за ними нежить, нечисть — взвив и взвихрь бесячий.

Помню, в канун рожденья Варвары Димитриевны были мы у Мережковских — Мережковские после революции за границу уезжали — были и Розановы.

И вот ровно в полночь я поздравил В. Д. со днем рожденья, а В. В. — подарок: житие Моисея Угрина с бесами.

* * *

Милый Алеша!

Прости за «Убогаго» (в папке): ведь это те «убогие» Киево-Ростова, что сродни «Табаку» — — —

Не без тайного предчувствия я хранил сей лист: срисуй мне на (ново) белую бумагу комбинацию левой стороны и этой: т. е. «мухи», «мурья», «ведьма».

Я издаю: «Когда начальство ушло» (т. е. годы) и там одно слово на листе. Последний отдел будет 1907—1910 (т. е. статьи в революцию написанные):

УВЫ.

На следующем листе:

Что же случилось?

И на третьем — твой божественный рисунок.

И больше ничего, обложка.

Но это в абсолютном секрете и даже от Sim'ы. Sime поклон до пояса или лучше сказать... Не сердись на Василия Беспутного.

В. Розанов.

1910.

*

Милая Серафима Павловна!

«Мудрый Змий» передал мне, что Вас обидело мое письмо к нему, — (и он напрасно по-

казал его Вам). Приношу Вам мое извинение: не хотел Вас огорчить. Он и передал мне мотив Вашего огорчения, очень верный.

Нельзя открывать, называть громко то, что должно быть в тайне и молчании. Но Алексей Михайлович верно понял мой мотив, не имевший злого намерения. Обоих вас я очень люблю.

Ваш В. Розанов.

1910.

* * *

Книга вышла.

Развернул: — и увы! — что же случилось? — и рисунок.

Но это совсем не то, и только зная, можно еще представить, — ничего моего.

Оказывается, «настоящий художник» поправил!

И вышло: Баба-Яга скачет на помеле, а за ней черти с хвостами, рогами, ну, как всегда рисуют, а бесячьего-то взвива, взвихря — чертей-то нет.

Все излицовано и совсем безлично.

А это тоже, как открыть, что должно быть «в тайне и молчании» — и обеззвучить, обескрасить, обескровить.

Розанов это хорошо знал.

И много об этом разговору бывало.

А вот, как и тут «настоящий художник» с моим диким рисунком — —

— Почему заборное слово отвратительно?

— Почему матерная ругань груба?

— Почему уличное приставание неловко и даже больно?

— Почему открытое прикосновение неприятно?

— Почему откровенная обнаженность пугало?

Ну, скажем, матерная, как и всякая ругань, просто как слово — самородно выбившееся, ведь это цельная стопа — стопа-ступ слов, а по звучности, звончей оплеухи, тáк — прекрасна.

И все прекрасно в своей звезде.

Розанов это очень хорошо понимал.

ЯЗВА

В Казачьем переулке в соседстве с Розановыми начало в делах моих книжных было как будто ладно.

Наступил 1909 г. и все кувырнулось.

Простудился — воспаление легких. (Лечил Н. О. Чигаев).

А выздоровел, написал повесть «Неуёмный бубен», прочитал в «Аполлоне», — не приняли.

Трудно мне было выбиваться в «писатели».

И хоть других уж навастривал (А. Н. Толстого, М. М. Пришвина), а самому приходилось околачиваться в «Скетинг-ринге», во «Всемирной Панораме», да и то стараниями А. И. Котылева, действовавшего в выколачивании авансов не только убеждением, но, как узнал я потом, и мордобоем.

Дело тут не в славе, которую никогда не искал, и не в честолюбии, которого по рождению лишен, дело тут — дела житейские.

И как на грех А. А. Измайлов из побуждений самых высоких, оберегая литературную честь, написал про меня в вечерней Биржовке —

Когда-то в детстве в любительском спектакле в пьесе «Плагиат» играл я плагиатора, и такое совпадение очень меня развеселило.

Я в каком-то прошении — давно уж пишу прошения! — далее подписался «плагиатор» и фамилию.

Да в житейском-то деле оказалось не до шуток: в одну туркнулся редакцию и с солидной рекомендацией (К. И. Чуковский написал) — дело верное, а отказали, в другую пошел — там обещан был аванс 15 р., говорят, впредь до выяснения невозможно.

Пришвин, известный тогда, как географ, своими книгами «В стране непуганых птиц» и «За волшебным колобком» (Изд. А. Девриена), только что выступивший «Гуськом» в Аполлоне, писал также в «Русских Ведомостях» и был на счету «уважаемых», Пришвин, как эксперт — большая медаль из Географического Общества, действительный член — этнограф, географ, космограф! — пошел по редакциям с разъяснениями. И его выслушивали — сотрудник «Русских Ведомостей»! — соглашались, обещали напечатать опровержение, но когда он, взлохмаченный, уходил, опускали, не читая, его автограф на память — в корзинку.

А тут еще схватило живот, думал так — бывало недели одним сыром питались! — ан, дело совсем не до сыру: язва желудка.

И потянулись дни, недели, месяцы, год — —

Книгу бы издать, чтобы как-нибудь, — ведь со спиртовым компрессом дни и ночи, черничный кисель! — написал я во все издательства, какие только знал в Москве и Петербурге.

И до чего все-таки благородно — ответили: от Мусагета (через Андрея Белого) до Сытина (через Руманова) и от Сытина до Вольфа: все отказали.

Помню, Р. В. Иванов-Разумник 3 рубля дал — зелененькую, никогда не забуду.

Это как тогда Розанов —

Тоже никогда не забыть нам.

Был у нас полный дом, редкий вечер, чтобы гостей не было, а тут —

Это беда распугивает.

Но самое тяжкое не язва, а то, что обузой — ведь какое надо терпение и не тому, кто страждет, а кто неотлучно, как ночной огонек в непроходимой ночи; самое тяжкое — совесть жизни такой.

Писали в московских газетах, не помню, не то в «Русском Листке», не то в «Раннем Утре», чтобы «вычеркнуть меня из писателей» — чудаки! да у меня тогда и претензии этой ну нисколечко не было — какой я там писатель!

* * *

Редкий день не вспоминаю я милого Алексея Михайловича, — прикованного к своей ком-

нате-темнице, — и его «язву в желудке»... Но болезнь эта, я всех расспрашивал, — упорна, но не опасна. Крепитесь! Желаю Вам не страдать...

Жму руку и Вам и Серафиме Павловне.

Не у вас ли Алексей Толстой?

Тогда верните: нужна.

В. Р.

1910.

ЗЕЛЕНЫЕ БЕРЕЗКИ

На жгучем ляписе (прижигания язвы) и обволакивающей овсянке (единственное питание), дважды выйдя на волю — к Аничкову в новгородские Ждани и к Р. В. Иванову-Разумнику на необитаемый остров Вандрок (Аландские острова), написал я «Крестовые сестры».

И к осени мы переехали с Казачьего на Таврическую в достраивающийся дом Хренова «просушивать стены».

С «Крестовых сестер» стал я поправляться. И опять у нас грём и стук — народу труба.

Но этим дело не кончилось.

От просушки ли стен или еще от чего, а просушка только видимое звено, захворал я опять — воспаление легких. (Лечил С. М. Поггенполь.)

И выздоровел.

Но еще впереди за многое предстояло мне ответить или еще многое принять и телом и душой, а для чего, не знаю.

*

И вовсе не по несуразности или от дури забирались у нас на вокзал за два часа до отхода поезда даже и тогда, когда ввели нумерованные места и плацкарты.

А все это от неуверенности и недоверия.

Здесь, за границей этого раньше не знали — до войны, сейчас другое дело, и нет ничего удивительного, если и тут спозаранку и загодя никогда не мешает.

Так же и с почтой.

Перед Пасхой я задумал нарисовать В. В. карточку поздравительную — с яйцами, все, как полагается.

И в Великую среду вместе с дальними письмами опустил и городское поздравительное.

И, как оказалось, перестарался.

Яйца пришли к В. В. в Великий четверг.

* * *

Среда-Четверг Страстной Седмицы.

Воистину Зеленые березки...

Поздравляю дорогих Алексея Михайловича и Серафиму Павловну с Тройцыным Днем!!!

В. Р.

1911.

На визитной карточке:

Василий Васильевич Розанов

Спб. «Новое Время», Москва «Русское Слово»

Спб. Звенигородская, д. 18 кв. 23.

* * *

В. В. Розанов по прежним годам знал, что когда лето приходит, начинаются у нас мытарства — куда деваться?

А познакомились мы о ту пору с Бородаевскими: Валерьян Валерьянович (поэт) и Маргарита Андреевна. И Розанов был с ними в дружбе. Вот к ним-то в Курскую губ. Розанов и предлагал ехать.

А нам дорога была — в Париж.

*

Très chéris Алексей

Серафима!!

1) Прочтите внимательно письмо Бородаевского.

2) Конечно — согласитесь на его предложение.

3) Не позже среды уведомите меня о решении вашем

4) и, приложив обратно его письмо (и адрес) —

чтобы я мог ему сказать, конечно

д а!

Хотелось бы вас повидать.

Ваш В. Р о з а н о в.

Звенигородская ул. д. 18 кв. 23.

1911.

4 Зак. 1761

ЗАВИТУШКА

Сергей хорош...

Русский человек должен говорить на двух языках:
на языке русском — языке Пушкина
и по-матерному.

В. В. Розанов говорил на русском языке.

С присюком — но не по природе, а по возрасту.

Матерную же речь, как и сквернословие, не употреблял, почитая за великий грех и преступление.

— И это такой же грех, — говорил он, — как всуе поминать имя Божие!

П. Е. Щеголев дал мне фотографические снимки с рукописи Кирши Данилова — те места, которые в печатном издании точками обозначены.

Днем зашел В. В.

Жили мы на Песках на 5-ой Рождественской. «Вопросы Жизни» закрылись и я был свободный. После холодной зимы — не столько зимы, сколько квартиры, в которой, по уверению старшего дворника, можно было без рубашки ходить! — с весной я ожил и понемногу писал.

В. В. был по соседству в Басковом переулке у Анны Павловны Философовой с визитом.

Он был праздничный такой, нарядный.

С. П. не было дома.

Я предложил ему кофею. Но кофей остыл, а В. В. любил горячий.

О кофее мы и разговорились —

что нужно горячий, а холодного и даром
не надо.

— Ну, почитай что-нибудь.

Я прочитал крохотное начало из «Посолони» о монашке, который принес мне веточку — этот полусон-полуявь мою, от которой на сердце горел огонек.

— А ты про зверка еще!

Так называл В. В. «Калечину-Малечину», тоже из «Посолони».

Тут мне в глаза бросились снимки с рукописи.

— Давайте я вам лучше почитаю из Кирши Данилова. И стал читать, что точками-то обозначено —

Сергей хорош...

Конечно, я не мог читать так, как проговорил бы это какой-нибудь сказитель, Рябинин. Я понимаю, такое надо так — скороговоркой, надо — плясать словами.

В. В. очень не понравилось.

— Вот серость-то наша русская: наср... и пёр...! Как это все гадко. Только про это. Да еще — ... в рот! И больше ничего.

Успокоился же В. В. на рукописи:

какой замысловатый почерк, какая цветистость.

— Вот и подите!

X. (Хобот)

Поздно вечером, как всегда, зашел к нам В. В. Розанов.

Это было зимою в М. Казачьем переулке, где жили мы соседями.

Я завел такой обычай «страха холерного», чтобы всякий, кто приходил к нам, сперва мыл руки, а потом здоровался. И одно время в моей комнате стоял таз и кувшин с водою.

В. В. вымыл руки, поздоровался и сел в уголку к столу под змею — такая страшная игрушка черная белым горошком, впоследствии я подарил ее людоедам из Новой Зеландии, представлявшим в Пассаже всякие дикие пляски.

Посидели молча, покурили.

На столе лежало письмо, из Киева от Льва Шестова.

— Шестов приезжает! — сказал я, — будем ходить стаей по Петербургу. В конке он за всех билеты возьмет, такой у него обычай. Пойдем к Филиппову пирожки есть с грибами. Потом к Доминику — —

— До добра это не доведет, — сказал В. В.

И умилительно вздохнул:

— Давай х. (хоботы) рисовать.

— Ничего не выйдет, Василий Васильевич. Не умею.

— Ну, вот еще не умею! А ты попробуй.

— Да я, Василий Васильевич —

Тут мне вспомнился вдруг Сапунов, его чудные цветы, они особенно тогда были у всех в примете.

— Я, Василий Васильевич, вроде как Сапунов, только лепесток могу.

— Так ты лепесток и нарисуй — такой самый.

Взяли мы по листу бумаги, карандаш — и за рисованье.

У меня как будто что-то выходить стало похожее.

— Дай посмотреть! — нетерпеливо сказал В. В.

У самого у него ничего не выходило — я заглянул — крючок какой-то да шарики.

— Так х. (хоботишко)! — сказал я, — это не настоящий.

И вдруг — ничего не понимаю — В. В. покраснел —

— Как... как ты смеешь так говорить! Ну, разве это не свинство сиволапое? — и передразнил: — х (хоботишко)! Да разве можно произносить такое имя?

— А как же?

В. В. поднялся и вдохновенно и благоговейно, точно возглас какой, произнес имя первое — причинное и корневое:

— Х. (х о б о т).

— —

— Повтори.

Я повторил — — и пропал.

— Ведь это только русские люди! — горячился В. В., — наше исконное свинство. Все огадить, охаять, оплевать —

И я уж молчком продолжал рисовать. Но не из природы анатомической, а из чувства воображения.

Успокоился же В. В. на рисунке:

> верно, что-нибудь египетское у меня вышло — невообразимое.

— Чудесно! — сказал В. В., — это настоящее!

И простив мне мое русское произношение — мое невольное охуление вещей божественных, рисунок взял с собой на память.

Извините, с яицами

В Пензе у бабушки Ивановой на Николу зимнего в именины ее внука такой бывал пирог именинный — за два с лишним ссыльных года переменил я в Пензе тринадцать комнат, а нигде такого пирога не пробовал.

Старухи Тяпкины, уж по этой-то части, кажется, первые, ну, а против бабушки Ивановой —

— Ирина Васильевна мастер!

И это не я говорю — мне что понимать! — говорит это Сергей Семенович Расадов, самый знаменитый и первейший актер-трагик не только в Пензе, а и во всей великой хлебной округе, для которого, кажется, на Клещевской и Алиповской мельницс сама мука мололась, сама крупчатка.

— Капуста любит сметану, а масла не спрашивает! — скажет так бабушка Иванова и все вот так, попробуй, узнай секрет.

У бабушки Ивановой на пироге был С. С. Расадов. Был и я — увы, это последний мой пирог:

> у бабушки случилось несчастье, летом пропали серебряные ложки, и я был обвинен в пропаже этих ложек и уж ход к пирогу мне был закрыт.

За пирогом первый гость Расадов.

Ему и слово: похваливая пирог и умеючи его подъедая — всякое по-своему естся! — разъевшись, рассказывал он всякие кулинарные происшествия за свое долголетнее странствие по театрам.

Рассказал и о каком-то батюшке, который, потчуя гостей, говаривал:

«Пирог, извините, с яицами».

* * *

В самом начале нашего знакомства, еще на Шпалерной, я рассказал В. В. Розанову о бабушке Ивановой, о Расадове — а хорошая фамилия! — о пироге и об этом «извините».

И помню, это его страшно поразило.

— И до чего это верно, — повторял он, — так и вижу.

И на всю жизнь это ему осталось.

Бывало, в воскресенье придет к Розановым какой-нибудь батюшка и начинается разговор за чаем. И конечно, высоким слогом. А В. В. меня ногой под столом, шепчет:

— Извините, с яицами!

А сам покраснеет — губы кусает, чтобы не рассмеяться.

Все батюшки делились у В. В. на Чернышевских-Добролюбовых и на таких — «с яицами».

И «с яицами» ему были ближе.

— Проще и без лукавства.

ПОП ИВАН

В Москве на Воронцовом поле в нашей приходской церкви у Ильи Пророка было два священника:

> старший — Димитрий Иванович Языков протоиерей, ученый, благочинный и сын у него знаменитый московский доктор: и младший — просто поп Иван, ни отчества, ни фамилии.

Языков — Кустодиеву рисовать: борода белая, в усах с зеленью, золотые очки. В проповедях про Льва Толстого и всегда Анна Каренина, как живая. А служил истово — всякое слово слышно. И с особенным распевом в возгласах — в возгласе на всенощной:

> «Приидите поклонимся...»

и уж Сахаровские мальчишки такую паузу выдержат, дух захватит —

> «Благослови душе моя, Господа...»

А в Великую субботу на «Погребении» сам читал над Плащаницей «Иезекиелево чтение». И тоже все нараспев особенно —

> так в старину знаменную, когда знаменный распев — а идет он от буйвищ и жальников, от Корины и Усеня! — гремел и перекатывался в сорока сороках московских, читали так.

И все боялись Языкова пуще огня.

Сурово смотрит из-под очков, не улыбнется.

И, должно быть, ни разу в жизни не улыбнулся, а только служил, обличал, блюл устав церковный.

Исповедовались у него только именитые прихожане, такие, как Найденовы, Прохоровы.

У попа же Ивана, хоть и борода — вся рожа заросла, но ниже кадыка не идет и какая-то черно-серая, немытая, пукóм. И служил поп Иван говорком — ничего не разберешь; самое простое, «Богородицу» и «Отче» не разобрать. Проповедей же не говорил — «потому что не мог», но главное — выпивал:

> поп Иван спьяну плясать любил и где попало, у кабака ли, в ограде ль ильинской, ему все равно, и скачет и пляшет и —

Дьякон тоже был пьющий, запойный.

И как схватятся вместе служить — и смех и грех.

От благочинного старались скрыть. Да как убережешься, когда это у всех на глазах, да и человек на ябеду падок — писали доносы.

И ходили оба: и поп Иван и дьякон под великой грозой —

> «погонят в заштат!»

У попа Ивана все исповедались — все простые прихожане. Да и чистая публика скорее пошла бы к нему на исповедь, да только что неудобно.

И вот допился поп Иван — зимой было — простудился и помер.

Был я на похоронах.

Будни, а народу столько, как в Ильин день, когда крестный ход из Кремля в Ильинскую церковь ходит.

И все жалели попа Ивана.

«Такого батюшку больше не нажить!» — говорили.

* * *

Когда я рассказал В. В. о попе Иване для примера:

> куда с ним? — ни его к Чернышевскому, ни под «яицы»!

— Это уж блаженные, — сказал В. В., — самое наше, народное.

И это было ему тоже близко.

Только без пьянства; сам он не пил.

— Да, великое это дело — блаженные!

И часто поминал он и не раз писал о священнике Устинском, подлинно блаженном — в войну поминавшем Вильгельма на проскомидии.

— Ну, а что же ты о серебряных ложках: у бабушки пропали!

— А-а! про это я рассказ написал.

До пояса

У нас в Казачьем переулке.

Вечером за самоваром В. В. Розанов.

Разговор любовный. О чем — из головы вон. Запомнился конец.

— Вот Варвару Димитриевну я никогда не обманывал, это единственный человек.

— Как же так: вот вы к нам пришли, а В. Д. говорите, в «Новое Время» ходите, — это же обман.

— Ну вот еще! Я считаю себя до пояса свободным, а от пояса вниз верен В. Д.

— Бедная Варвара Димитриевна, как мало ей принадлежит.

— Ты ничего не понимаешь: очень много принадлежит.

— А у вас ж был роман с гувернанткой!

— Ну, так что? Я только с грудями делал, больше ничего.

За спиной

На вечер у Ариадны Владимировны Тырковой перед ее отъездом в провинцию читать лекции или, как сказал В. В. Розанов, «баб подымать», было много гостей.

Все важные государственные люди и политики: Шингарев, Родичев, Жилкин, Адрианов, Д. Д. Протопопов, Струве.

Был и В. В. Розанов.

В. В. шушукался по углам.

Политические разговоры его совсем не интересовали, его занимало другое. Слушая политического деятеля, в самую решительную минуту его рассказа он тихонечко спрашивал:

может ли он «сноситься» или не может?

А. В. добрый человек — поставила бутылку красного.

Я соблазнял В. В.

Но его никак не возьмешь.

Я же наоборот, вино принимаю и пьяниц люблю, разве что укоризненных и обидчивых... впрочем, нет, всех.

Но вина никто не пил.

Все ведь трезвеники. И такие винофоры, как Адриаша (С. А. Адрианов), который даже духу переносить его не мог, предпочитая всему пиво или просто «очищенную».

Я занимался путаницей.

Я показал В. В. на Жилкина, рекомендуя его как Д. Д. Протопопова, а Протопопова показал за И. В. Жилкина.

И В. В. трогал разбойничьи мускулы Жилкина, хваля Протопопова. И хвалил думскую речь Жилкина Протопопову.

Г. В. Вильямс случайно все разъяснил.

Но уж было поздно.

— У тебя одни дурачества на уме, все путаешь! — рассердился было на меня В. В.

Я не оправдывался.

А сели ужинать и В. В. помирился — помирила икра.

Я сказал, как М. А. Кузмин верно определил одну даму, ее восторженно-говорливую суетливость с низкою талией, будто когда за столом она —

— Она икру мечет.

И хотя этой дамы тут не было, В. В. нет-нет да подталкивал меня ногой, подмигивая:

— Икру мечет!

Очень ему это понравилось.

* * *

За полночь возвращались втроем на извозчике.
Я на коленях у В. В.
В. В. с одной нашей знакомой.
Дождь. С поднятого верха каплет. И фартук мокрый.
Я долго не мог устроиться. Все ерзал:

не давлю ли костяшками?
удобно ли?

Но и к дождю и к сиденью привыкнул.
Так и ехали.

— —

— Дай пососать палец!
И только от шин по мокрому торцу шлюп.
И встречный плёв колес.
— Дай пососать палец!
— Я очень брезгливая.
— А разве я поганый?
— Да, нет...
— Дай мне мизинец!

— —

— Не добрая ты. Ну чего тебе стоит!

ЭРОТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

В воскресенье я пошел один к В. В. Розанову.

С. П. была у Бердяевых и собиралась вместе с Л. Ю. Бердяевой попозже.

Ни Н. П. Ге, ни Е. П. Иванова не было. А обыкновенно в воскресенье они являлись первыми.

А может, и были и ушли:

В. Д. — на крестинах,
Александры Михайловны тоже нет,
а В. В. болен.

В халате, с завязанным горлом — вата лезла и к ушам и к носу — самое что ни на есть жалкое и зяблое, а говорил — едва-едва.

Сидел гость — стрютский, такие появлялись иногда у Розановых, в застегнутом сюртуке, приглаженный, а в выражениях самых почтительнейших.

Видно было, что с первых же слов он надоел В. В.

Я отошел в противоположный конец к полкам и стал перебирать книги.

И вот во время рассказа о какой-то земельной реформе — говорил гость — в прихожей звонок:

Серафима Павловна и Лидия Юдифовна.

— А Варвара Димитриевна на крестинах! — сказал В. В., и мне показалось, куда чище, чем отвечал надоевшему гостью.

Горло у него действительно болело, но не в такой степени.

Я заметил, что и С.П. и Л.Ю. стоят в нерешительности и не садятся и не уходят.

Да и неудобно сразу уходить, но и оставаться тоже...

У обеих по красной гвоздике.

— А откуда у вас цветы и почему одинаковые?

В. В. сказал это совсем уж чисто.

— Мы поступили в одно общество, — ответила С.П. и живо и твердо.

— В какое?

— В эротическое.

— —

— Мы собственно и приехали, как делегатки, просить вас быть почетным членом за ваши большие заслуги в этой области.

— Перестань глупости говорить, я хочу действительным.

И это уж сказал В. В. так, как будто у него никакого и горла не болело.

И вдруг сжался, как пойманный, — и вата еще больше полезла, точно хотела прикрыть все лицо и с очками:

> этот гость скучнейший, который почтительнейше слушал!

В. В. засуетился, шаря по столу.

— Знаете, замечательное заседание Государственной Думы, речь Жилкина! — и, сунув гостю «Новое Время», повел его в столовую, — прочитайте, замечательное!

А вернулся один и уж совсем другой: к черту всякие заседания, и горло — наплевать!

— Ну, рассказывайте, рассказывайте!

— Там три отделения: мужское, женское и смешанное.

— Я в женское.

— Мы не можем. Вы там сами скажете.

— Ну, едемте! едемте!

И В. В. сорвал с шеи повязку.

Лидия Юдифовна и Серафима Павловна пошли в прихожую одеваться.

Я и еще раз однажды увижу В. В. таким —

на любительском спектакле на представлении «Ночных плясок» Ф. К. Сологуба в зале Павловой, когда я поведу его за кулисы, где в тесноте кулисной он может быть подлинно, как «бози», т. е., делать все, как хочется и как воображается.

В. В. все делал с неимоверной быстротой: сбросил халат, нашарил воротничок, галстук, манжеты — он ничего не видел, ничего не замечал, все забыл и обо мне и о скучнейшем госте, почтительнейше читавшем в столовой уже читанную (конечно!) газету.

Он весь красный, губы вздрагивали, руки махались, словно на лове.

Ну, вот и готово.

Подмигнул кому-то и выскочил в прихожую.

— Василий Васильевич, — слышу, — мы вас обманули: никакого общества нет. Мы нарочно, пошутили.

— А так вот как!

— —

— За это я вас должен поцеловать.

Они к двери —

и он за ними.

Они по лестнице вниз — Розановы жили на самом на верху — нет, он догонит!

На площадке:

— Ну, давай поцелую.

Увернулись и дальше —

и он за ними.

И опять:

— Давай поцелую!

С. П. перегнулась к лифту —

а там будто В. Д. поднимается: вернулась!

— Варвара Димитриевна! — сказала она крепко, как зазвенела, — мы вас не застали.

И вдруг В. В., ну это мгновенно, ну, как мышь пысь —

И только слышно, как там, на самом на верху, дверью хлопнул.

И опять горло и голосу нету и скорей халат и лечь бы уж —

Ки — Ки

Странные вещи творятся в мире: дан человеку язык, ну что бы всем говорить по-одинаковому, а нет, хуже того — одни и те же слова, но на предметы совсем разные.

И это вовсе не анекдоты из жизни греческой королевской семьи, это — истинная трагедия человечества.

По-русски, скажем, кит — рыба-кит, который пророка Иону проглотил, а по-немецки — замазка (der Kitt).

По-русски гибель — «гибель надежды», по-немецки — фронтон (der Giebel).

По-русски мост, а по-немецки — брюки (der Brücke).

Про это всякий знает, кто попал в Берлин — Берлин есть город стомостый! — и на Варшавских брюках (Warschauer Brücke) по подземной дороге пересадка.

«Брюки» — это еще туда-сюда и теперь едва ли кого смутит, разве что Ю. И. Айхенвальда, и никакими «невыразимыми» и «продолжениями» нет нужды заменять. Но бывает, что слово неприличное, а для вещи ходовой. И вот изволь произносить во всеуслышание, как ни в чем не бывало:

> наше русское «три» — 1, 2, 3 — по-английски «three!»

А кроме того еще всякие заковырки!

И их надо все усвоить в языке иностранном, чтобы на смех тебя не подняли.

Есть по-немецки глагол «gehen» — ходить, идти.

Помню, в самом начале, когда еще только вывески разбирать стал — иду по улице и вывески все по слогам

складываю, а что говорят, все сливается или слышится совсем неподходящее, на лекции Штейнера напр. слышалось одно слово: «мейерхольд!». И вот выхожу раз из подземной дороги на Leipzigerplatz, а навстречу знакомый немец, здоровается:

— Wie geht es Ihnen?

— Nach Zimmerstrasse! — отвечаю.

А тот чего-то засмеялся: чего?

После уж я сообразил, что надо было поблагодарить по крайней мере или ответить:

— Добиваюсь права жительства (Aufenthaltsbewilligung) или ищу комнату.

Ведь это все равно, как спросили б:

— Как поживаешь?

А я бы ответил:

— Яблоко.

* * *

В. В. Розанов и писал и много рассказывал о своих «итальянских впечатлениях» — П. П. Муратов, слушайте! — заграничные словесные недоразумения.

Но самое ужасное было с ним во французском отеле ночью.

Ночью схватило у него живот —

«так припёрло, невмоготу!»

Ну, кое-как оделся и в коридор.

И благополучно достиг желаемого места.

— А когда опорожнился, тут-то и началось сущее мытарство. Выхожу, темно. Поискал кнопку электричество зажечь, нету. Иду по коридору, шарю. Бросил уж кнопку, хоть бы комнату-то нашу найти! В одну дверь туркнусь, а оттуда: «ки-ки?» В другую — «ки-ки?» Только и слышно из всех углов. «Je suis, — говорю, — je suis!»

ЛЕГЕНДА

М. А. Кузмин написал музыку —

хождение Богородицы по мукам.

Сам он и играл на рояли и пел.

Год 1907-ой прошел под знаком этой песни.

Легенда «Хождения» — из Византии не русская, а как пришла в Россию и как полюбилась, стала русской, самой своей, самой исконной —

за великое милосердие великого сердца — за «непрощаемый грех», который прощается.

Там на Западе Дантово здание сверху и донизу — от ада до рая — раз и навсегда и этот «грех непрощаемый»,

а тут на Востоке это Хождение —

Богородица ходит по аду во все тьмы, огни и морозы и не хочет возвращаться в рай — хочет мучиться с грешниками во тьме, во огне, в морозе.

По апокрифу Богородица призывает все силы небесные, пророков и апостолов и праведников и просит Бога помиловать грешников. И отпускает Бог грешников — дает им отдых от Великого четверга до святые Пятидесятницы.

Но это еще не все.

Продолжаю апокриф —

может ли великое сердце успокоиться сроком? но и справедливость — кара грешникам за безобразие — не может длить срок до беспредельности (bis auf weiteres).

И кончается тем, что Богородица отказывается от райского блаженства, уходит из рая и идет мучиться с грешниками — в ад — на землю —

* * *

Я рассказал В. В. Розанову о этой замечательной легенде.

И о Кузмине, какой это удивительный человек: и стихи пишет и музыкант и поет и Бог знает что —

Кузмин тогда ходил с бородой — чернющая! — в вишневой бархатной поддевке, а дома у сестры своей Варвары Алексеевны Ауслендер появлялся в парчовой золотой рубахе навыпуск, глаза и без того — у Сомова хорошо это нарисовано! — скосится, ну, конь! а тут еще карандашом слегка, и так смотрит, не то сам фараон Ту-танк-хамен, не то с костра из скитов заволжских, и очень душился розой — от него, как от иконы в праздник.

Я подзадорил В. В.: и Кузмина повидать и пение его послушать —

хождение Богородицы по мукам.

А все что-то мешало, все откладывалось.

Прошел год и другой —

уж Кузмин давно снял вишневую волшебную поддевку, подстригся и не видали его больше в золотой парчовой рубахе навыпуск; были у него редкие книги старопечатные (Пролог) и рукописные, и знаменные крюки (ноты) — все спус-

тил, все продал, и голос не тот, в «Бродячей собаке» скричал.

Но все равно.

В первое же знакомство у Розановых Кузмин играл на рояли и пел.

В. В., зорко присматриваясь к нему — «легенда!» — слушал единственную легенду, в которой все существо наше, вера русская и такая — другая, не Дантова —

хождение Богородицы по мукам.

— Хорошо, как птичка в лесу!

БЛУДОБОРЕЦ

По весне, как всем известно, в Зоологическом саду зверь на звере сидит — слон на слоне, гиппопотам на гиппопотаме, жираф на жирафе, и всякая птица старается, чтобы потом яиц как можно больше накласть, хоть про яица и нет пока думы.

И так целый день.

И только под вечер угомонятся и дрыхнут по клеткам, свернув натрудившийся хвост: в этих делах хвост — все.

Я заметил, чем крупнее зверь, тем он осмотрительнее, мелкий же — глупый, без всякого разбору и сил не рассчитывает.

П. Н. Потапов ходил по весне в Зоологический сад для поднимания, как сам он выражался, потенциальной энергии.

Странный он человек! И зачем ему это поднимание, когда и без того вечная его и одна жалоба на обуревание мыслей зоологических.

Вообще П. Н. Потапов странный человек.

Помню, во время войны, уж в конце, когда стало все трудно добывать и всякие кооперативы пооткрывались, принес он как-то красного вина и особых гигиенических печений для С. П. по случаю болезни. Мне досталось так с наперсток — не пил ничего! — а ему остальное. Так бутылку и прикончили во здравие. И что же вы думаете, на другой день получаю счет —

П. Н. просит уплатить ему за вино и печенье.

Ну, разве не странный?

По счету я заплатил.

А уж в революцию перед отъездом из Петербурга принес он мне воротнички, тоже «в дар». А я уж боюсь, не беру. Воротнички № 47, мне ни к чему, а покупать на запас «для подмазки» денег нет. Долго не решался, а все-таки взял: в дар ведь! И уж наверняка получил бы счет и большущий, да спас меня его экстренный отъезд.

П. Н. Потапов искони называл себя не Петром Николаевичем, а ласкательно-уничижительно — Петюнькой и не сообразно со своей зоологической конструкцией — воротничок № 47 — а в лад и стать с кротостью своего духа и тони голоса.

Служил П. Н. в банке.

Днем в банке, вечером карты. А после карт частенько куда-нибудь так с компанией.

П. Н. не пил, чтобы напиваться, как другие.

П. Н. по его собственному признанию был большой «ловитель» женщин.

Так время и проходило: служба, карты и т. д.

И вот в один прекрасный день захотелось П. Н. «чистой жизни».

А как стал разбираться и искать замутнения своей жизни:

карты? — нет, в картах дурного ничего не было;
ресторан с музыкой? — тоже.

П. Н., как уж сказано, большой был ловитель женщин, — вот оно где!

Еще в реальном училище П. Н. пристрастился к книге и теперь, когда захотел чистой жизни, снова взялся за книгу: в книге он искал себе указания, как достичь этой чистой жизни —

и сделаться праведником.

Читал он Творения св. отцов.

Читал Бердяева, Мережковского, Гершензона.

Бердяев, Мережковский и Гершензон наводили его на соблазнительные мысли, равно и Франк.

Книги же Шестова отвлекали.

А как и отчего, понять он никак не мог.

У Шестова, я это давно заметил, всегда был читатель какой-то несуразный, нескладный, «бессчастный», какие-то искалеченные, или сумасшедшие психиаторы. Одно-единственное исключение — Семен Владимирович Лурье.

И ничего нет удивительного, если в их число записался и П. Н. Потапов.

Больше же всех полюбился ему Розанов:

— Как раз этого места касается!

Но чем усидчивее он читал книги, тем больше стали приходить всякие нехорошие «нечистые» мысли — и уж ни Творения св. отцов, ни Шестов, ни Розанов не помогали.

Все соблазняло.

Все сосредоточилось на этом месте.

Он как-то уж сам, незаметно для себя, превратился в это место.

— И уж сам не знаю, — говорил П. Н., стервенея, — куда себя девать!

Пробовал он ходить по всяким старцам — с легкой руки Распутина о ту пору развелось их в Петербурге видимо-невидимо — но то ли старцы его не понимали, либо он не понимал старцев, а скорее он не понимал старцев, и все советы их ни к чему были.

Доктор, известный в Петербурге под именем Симбада, из психиаторов, и тоже большой «ловитель» и читатель Шестова, когда я рассказал ему историю П. Н., страшно развеселился.

— Чудак! Присылайте ко мне, поправлю: банка вазелину и пускай полегоньку втирает ежедневно. Как рукой! — сам смеется.

А П. Н. испугался:

— Это вроде как само собою.

Нет, он на это не согласен.

Ему надо прямое и верное средство, чтобы вести чистую жизнь и сделаться праведником.

— А впоследствии, — мечтал П. Н., — причислят к лику святых, и мощи.

Вспомнил я, как еще в училище над одним трунили: носил он мешочек с канфорой.

«Притом же, — думаю, — и слово это немецкое: Kampf, kämpfen, Kämpfer, что означает боец, борец. К блудоборцу очень подходит».

Я и говорю:

— Петр Николаевич, сшейте вы мешочек. Накласть канфоры и подвязать так — и носите себе тихо и смирно. Помогает.

П. Н. послушал.

Конечно, советчик в таких делах я плохой. Да, конечно, дело ясное, — не так, совсем наоборот. Но уж молчу.

А Петр-то Николаевич уверовал в мое канфорное слово и, хоть пуще мучился — и книга не читалась и сна не знал уж, и все теснит и давит (воротничок № 47!), а мысли нечистые, как бесы — но мешочек, как «водрузил» себе, так и не снимал и только что в бане, а то и день и ночь носит.

Думал я послать его к Гребенщикову — книгочий! — да раздумался, не стоит Якова Петровича в такое дело путать. И решил: пускай-ка в Комаровку пройдет к князю обезьяньему Рязановскому.

— И. А. Рязановский, — сказал я, — археолог, великий князь обезьяний, носит электрический пояс. Ему и книги в руки. Ступайте.

И все бы хорошо вышло — «великий князь! носит электрический пояс!» — да уж и не знаю, к чему это мне пришло в голову: наказал я называть Рязановского не иначе, как «ваше превосходительство».

И все дело испортил.

И. А. Рязановский, до возведения в князья обезьяньи, был и судьей и следователем и при губернаторе состоял, но как-то так случалось, за поперечность верно и самоволье, в наградах и чинах его обходили, и за всю свою долгую службу имел он один-единственный орден, а чин самый маленький.

Ну, а как П. Н. вошел к нему в его тесное Комаровское древлехранилище, да как стал к каждому слову прибавлять «ваше превосходительство», князя-то и смутил.

Великий князь спутался: тычется, шарит по столу — разбирал какую-то старинную затейливую тайнопись! — понять-то уж ничего не может, про какой мешочек и причем канфора.

После сам мне рассказывал.

А уж П. Н. — глаза на лоб.

— Хожу и не знаю, куда себя девать!

Да, вот она, чистая-то жизнь!

А не только чистоты никакой, хуже того — хуже, чем было, когда после карт, после ресторана ехал он с компанией куда-нибудь «окончивать», как сам выражался.

И решил я, как последнее, поведу-ка Петюньку к В. В. Розанову.

А потом думаю, нет, пускай без меня — — дело вернее, а от меня — письмо.

И написал рекомендацию.

Все, как есть, и о бесах и о мешочке для праведной жизни и о Шестове, помянул и преподобного Макария, о котором сказано в житии —

«досязаше ему даже до пят»

и как преподобный этим беса устрашил.

* * *

П. Н. сходил в баню, вымылся, вырядился, пригладился — П. Н. носил прическу «бабочкой» — не как-нибудь чтобы, а женихом явиться к В. В. за напутствием.

Накануне он зашел показаться.

У нас были гости: б. старообрядческий регент Ив. Плат. Пономарьков и писатель В. Н. Гордин. Спорили друг с дружкой о философии долго и путано, потом пели хором под аккомпанемент Пономарькова —

Был у Христа младенца сад.

П. Н. пел тенорком и я заметил, что от полноты чувств забирал он чересчур высоко, а выводил особенно нежно и чувствительно.

А что было у Розанова, я не знаю.

— —

Я знаю, П. Н. твердо решил во всем открыться.

И я ждал с нетерпением, что будет.

* * *

Только через неделю появился у нас П. Н.

Он чего-то все улыбался. Веселый:

> вчера он после долгого перерыва играл в карты, выиграл, поехали в ресторан ужинать...

— А мешочек?

Мешочек на нем, бессменно.

По-прежнему он хочет чистой жизни, чтобы сделаться праведником.

И это одно другому не мешает:

> иногда, ну, раз в неделю, он будет играть в карты...

П. Н., рассказывая, все улыбался.

— Ну, а что же Василий Васильевич?

От В. В. он в восторге.

— Внимательнейший человек, вы себе представить не можете. И как разговаривал!

В этот вечер был у нас, кроме П. Н. еще И. А. Рязановский.

Мне что-то нужно было непременно кончить — переписать рассказ или завитушку, не помню. А когда переписываешь, тут-то и приходит всегда соблазн переделать все сызнова.

С. П. не было дома.

И гости до чаю уселись в сторонке «не мешать».

Краем уха я все-таки слышал: отдельные слова, спутки слов, узелки слов, усики.

Говорил И. А. Рязановский —

> тут все: и иконография и агиография, палеография и историческая география, Ур, Шарпурла, Египет, Китай, китайская революция — любимая тема! — революции за много веков до нашей эры, китайские ... потом несколько раз: электричество — пояс электрический!

Тут заговорил П. Н.

И слышу и не слушаю:

> — — канфора, канфора, Розанов — —

— — а ты залупи, чего! дурак! А я говорю: Василий Васильевич...

И опять голос Рязановского —

у него кишка вылезает, и как раз в самые неподходящие минуты и по преимуществу в дамском обществе, должно быть, для равновесия; и уж он не может спокойно сидеть, а встает —

— — встает для равновесия...

* * *

Уж и не знаю, сколько прошло, захожу я как-то в книжный магазин «Нового Времени». И вижу В. В. Розанов: книги рассматривает.

Поздоровались, ну, то да сё.

Вытащил он из груды большущий том, перелистывает: исследование какое-то по церковной истории с гравюрами.

— Ну, и глупый же этот твой Потемкин.

— Какой Потемкин?

— Да вот что с мешком-то.

— Потапов!

— Такой редкий дар!

И вдруг В. В. от смеха покраснел весь и зажевал губами:

— — мешок-то! ну, и дурак! Это ты его, что ли?

— Ну, вот еще! Это от философии.

СНЫ

На нашем зеленом «волжском» диване я нашел такое местечко, если лечь после обеда и угодить в эту лощинку, непременно сон увидишь.

Всякий день я нарочно ложился, а потом записывал.

Вот какая тетрадка!

Понемногу я стал постигать сонную «несообразицу» — стройную по-своему и со своей несообразной последовательностью.

Только надо было ничем не смущаться и наловчиться, как оно привиделось, так и рассказывать до «дура» и «бестолочи» — матери и отца всего сущего.

Случалось, в воскресенье у Розановых за самоваром, а то и так около Шервудского Пушкина рассказывал я эти сны, как сказку.

Навострившись на снах, я заметил, что некоторые сказки есть просто-напросто сны, в которых только не говорится, что «снилось».

Сны я рассказывал всякие.

После уж здесь, встретившись с музыкантом Б. А. Заком — он, тогда еще мальчик, бывал у Розановых по воскресеньям — узнал я, будто эти сказки мои — сны были очень страшные.

А я не помню.

И тетрадь пропала — продана с аукциона с другими нашими вещами (чемодан и корзинка) в Кёнигсберге после войны за 500 м., как вещь подозрительная по порче.

Я помню, как однажды В. В., а это было после двух фельетонов В. П. Буренина в «Н. В.» о моем «Пруде», сказал, наслушавшись этих моих снов:

— Виктор Петрович меня спрашивает: «давно ли ваш Ремизов сидит в сумасшедшем доме?» А ты такое вот напишешь. Это все твой «Табак». И никто ничего не поймет.

— А Шестову, — сказал я, — сны по душе.

— Шестов! — В. В. всегда необыкновенно почтительно отзывался, — ум беспросветный!

И по вере в легенду мою добавил по обыкновению с сокрушением:

— И до чего доводит вино!

УГОЛОК

По русскому обычаю самые настоящие разговоры начинались в прихожей.

Много было слов сказано над калошами.

— Если бы зайцы не были трусливы, они все бы погибли! — сказал В. В. Розанов уж одетый после многократного «прощайте».

— А человек?

У человека — «как полагается»:

> «как полагается», «как принято» человечье — трусь зайцева.

Но этого тогда не сказано было.

А как раз это-то и имелось в виду.

* * *

Человеку «по своей воле» и это «как полагается» — вот уж подлинная чернота — чернила орешковые — самая черная.

Но как зайцу без труси, так и человеку без «так полагается» (а это ведь «закон»!) не выбороть жизни.

— В глазах черно! — В. В. приходил издерганный, захлебывающийся.

И начинались разговоры.

И из всего ясно было, что это «как полагается» давило тяжестью на плечи, а сбросить не было сил и вот —

— В глазах черно.

* * *

У В. В. был такой уголок — там в черноте своей он мог скрыться, — церковь.

Не знаю, ходят ли в церковь от восторга, чтобы сказать о своем счастье и удаче. В беде ходят — с просьбой. Еще ходят «как полагается» — «пуговицы чистить».

А то, что В. В. рассказывал, тут совсем другое: тут нет никакой молитвы, никакой просьбы, а так —

— Станешь незаметно...

Однажды я зашел в церковь до всенощной. Служили панихиду, потом молебен.

Служил батюшка, такой — Розановский, «извините, с яицами» — говорком, ничего не поймешь.

И все шло «как полагается».

Но когда после евангелия за возгласом —

— —

мирликийского чудотворца
и всех святых помилует —

батюшка поцеловал евангелие и дал приложиться — какая-то женщина и дети с ней — я почувствовал необыкновенное умиротворение в этом «мирликийского чудотворца», мир и тишину, и понял, чего такое Розанов — «станешь незаметно», когда «в глазах черно».

ПОСЛЕДНЕЕ

Дорогой А. М.!

Д-р А. И. Карпинский сказал мне по телефону, что неудобно посылать самому больному Клюеву подробный диагноз его тяжелой болезни, и попросил позволения послать мне. Я вам посылаю.

Отчего с матерью Серафимой не заглянете к нам.

Теперь и монашка Вера у нас гостит.

Приходи, брате Алексей.

В. Розанов.

1917 г.

* * *

И опять на Шпалерной. Только не в том доме, где когда-то «семейно» и шумно (качалка с Бердяевым, финик Андрея Белого) праздновались именины Варвары Димитриевны.

У Розанова было что-то такое, как это назвать? Над головой — бурный ли приток мыслей, бурно движущийся? И когда он, подложив ногу под ногу и, суча свободной, говорил, это виделось — чувствовалось, точно текло что-то ото лба выше—выше над волосами, и опять и опять, и он как-то краснел весь.

А теперь этой бурности не было, устоялось, — движение равномерно, и совсем белые волосы.

И еще —

Помню, однажды в прихожей — это в Казачьем — В. В. показал мне на целый птичник мелких детских калош и подмигнул —

подмига и улыбки, от которой очки потели, тоже не было.

Как отворила Варвара Димитриевна двери, как мы вошли, как ждали В. В. — он отдыхал — было что-то торжественное —

торжественное,
прощальное,
прощенное,
последнее свидание.

А ели яичницу — поминальную.

на мне это не та, ту, золотом расшитую, я тогда же надел и не на эти свои вихры, а на ковылевую.

«Тебе, — говорю, — медведюшка прислал. Будешь беречь?»

И эта тоже красная с кисточкой, вот! — кисточка-то видите? — ночной колпак, по-немецки Schlafmütze, это немецкое, В. А. Залкинд из Цербста привез — конкректор обезвелволпала, градусник привинчивал, бензин в зажигалку наливает — механик! — редчайшей доброты человек.

Я, Василий Васильевич, каждое теперь доброе слово берегу — хорошие есть люди на свете.

Вон и он то же говорит. Это мой советчик тут, Огнёвик — Feuermännchen — заботится о тепле и свете! — сам к нам пришел, за печкой жил: стали чистить и нашли. Мы с ним и коротаем ночь —

лу-унную!

А в колпаке сижу, потому что голову мыл.

У нас такой дом, чуть не всякую неделю уборная портится, с трубами что-то, и как поправят, все жильцы ванну сейчас же.

Мы тут уж больше года — все на Церковной (Kirchstrasse) в приходе св. Луизы. Первое время, бывало, заблудишься и вдруг глядь, а шпиль эвон — св. Луиза! — выведет к дому.

А теперь погнали — —

Да, Василий Васильевич, насчет книжек — книжек-то ваших до сих пор не издают.

И достать очень трудно. У Веры Васильевны три, а больше не знаю.

И в России достать нелегко.

Шкловский страсть как буянит.

А у нас все ваши книжки были, все с надписями. И все пришлось продать — всю библиотеку продали.

Думали, приедем за границу — на первое время будет: передохнуть. Очень я был болен. Вот на лечение, как это все делают приезжающие, в санаторию куда-нибудь. А ничего не вышло. Так и до сих пор. Уехали-то мы в авгу-

сте, а деньги получились на следующий год в июле, поздновато: до июля-то сколько всего было, время-то упущено.

И знай, что так выйдет, лучше б было книжникам раздать.

Уж вы не сердитесь! Я это понимаю; со мной тоже — Блок, как за границу задумал (перед смертью), тоже книги стал продавать, слышу, «Посолонь» продал с автографом.

А Апокалипсис ваш у великого книжника на бережении, вернемся в Россию — память.

А помните, Василий Васильевич, как-то вы сказали, еще в Гатчине, на даче, помню, что рассказов писать вы никак бы не могли.

— Просто не умею!

А вот Шкловский книжку написал «Розанов» и там как раз наоборот: если кто за последнее время написал беллетристическое, так это Розанов — «Уединенное», «Опавшие листья» — ведь это целый роман, новая форма!

— Скажи, пожалуйста.

— С чем вас и поздравляю.

Шкловский это такой, у него — нога: идет и, кажется, такие сапожищи — один мой ученик красноармеец-политрук жаловался, выдали сапоги 3 пуда американские! — у Шкловского нога 3 пуда, может разделать, что хочешь.

И вот доказал, а вы горевали.

— Не умею, не умею.

Не умели вы рассказов писать, как это пишется, и слава Богу!

Конечно, пока ходят железные дороги и существуют станции, рассказы будут писать — потребность в «духовной пище».

Ну, а такому, что для вас казалось верх недосягаемым —

«в купе, развалясь на диване и т. д.»

такому песенка, кажется, у нас в России спета, разве что для американцев.

Новая форма!

На меня, Василий Васильевич, такое остервенение находит: будь у меня в эти минуты власть, заставил бы всех естествознанием заниматься, ну хоть бабочек по заборам собирай или червяков сортируй.

Скучища невероятная!

И скажу, ничего не потеряли, что «книгу рассказов» так и не разрезали.

Ей-Богу ж, ну какая разница: «В лугах» или «На заборе» или еще как — ?

Удивительная бесцветность и безъяичность.

— —

А что, Василий Васильевич, теперь вы поняли, что никакой папироски там и не надо?

Я лежал однажды при смерти — это как раз в канун октябрьской революции — и все забыл: и папиросы и что тоже «рассказы» пишу, одно я помнил и мучился, что кашлем моим извожу и надрываю душу тому, кто неотлучно при мне, а если бы этот другой исчез, я мучился бы, что надрывал и изводил, и больше ничего.

А что если вообще ничего больше? Темная точка, беспамятства — и это есть вечность — ?

Или сначала темная точка, а потом —

Ну как пробуждение — и ничего подобного нашему: и то, да не то, где самое «хочу» по-другому и разное по месту жительства в вечности.

А как там насчет сроков в этой вашей — что слышно в вечности?

Или так спрошу вас —

У Гауфа — помните сказки Гауфа? — у Гауфа Агасфер притащился из Китая сюда и вот недалеко от нас, в Тиргартене, у него любопытная встреча. Само собой он озабочен сроком — ведь таскаться из страны в страну, это — ! И после рассказа о житье-бытье единственный его вопрос —

— Скажите, Василий Васильевич, который теперь час у вас там в вечности?

— Вечер?

— Нет еще?

* * *

У Троицы-Сергия под Москвой лежит В. В. Розанов, скончавший срок своей жизни — странствия по земле со Шпалерной на Б. Казачий, с Казачьего на Звенигородскую — и опять на Шпалерную —

23. 1. 1919 г.
в возрасте 63 лет.
1856—1919.

«Кукха», как и «ахру» —
слово обезьянье, на обезьяньем языке:
ахру — огонь, кукха — влага

Огонь вещей

Сны и предсонье

Гоголь
Пушкин
Лермонтов
Тургенев
Достоевский



ОГОНЬ ВЕЩЕЙ

ВЕЩИ ЖГУТ И В СВОЕМ ОГНЕ
РАСПАДАЮТСЯ
ПОГАСАЯ В ПЕПЕЛ

ОГОНЬ ВЕЩЕЙ

СЕРЕБРЯНАЯ ПЕСНЯ

Распаленными глазами я взглянул на мир — «все как-будто умерло: вверху только, в небесной глубине дрожит жаворонок, и серебряные песни летят по воздушным ступеням на землю».

За какое преступление выгнали меня на землю? Пожалел ли кого уж не за «шинель» ли Акакия Акакиевича? за ясную панночку русалку? — или за то, что мое мятежное сердце не покорилось и живая душа захотела воли? Какой лысый черт или тот, хромой, голова на выдумки и озорство, позавидовал мне?

А эти — все эти рожи, вымазанные сажей, черти, что куют гвозди для грешников, и эти, что толкают и жгут бороды, а на земле подталкивают на тайный поцелуй и на подсматривание, и эти, что растягивают дорогу, возбуждают любопытство и чаруют, все это хвостатое племя, рогатые копытчики и оплешники, обрадовались!

Да, как собаку мужик выгоняет из хаты, так выгнали меня из пекла.

Один — под звездами — белая звезда в алом шумном сиянии моя первая встреча.

«Гром, хохот, песни слышались тише и тише; смычок умирал, слабея и теряя неясные звуки; еще слышалось где-то топтанье, что-то похожее на ропот отдаленного моря, и скоро все стало пусто и глухо».

И скучно.

«Мне скучно — до петли».

Как быть тому, кого выгнали на землю безысходно? Как стать бессмертному «неземной стихии» человеком смертельной доли?

Жадно он припал к земле и пил сок земли. И его горящая пламенем ада «красная свитка» погасла.

Обернувшись в человека, он стал, как все, как всякий «добрый человек»: нет ни когтей на лапах, ни рогов и хвост вприжимку, — бесшабашная гуляка.

Став человеком, он посмотрел на мир — наваждение чудовищного глаза, огонь вещей — люди живут на земле в гробах и под землей в гробах доживает их персть, человек вероломен, вор и плут, глуп и свинья, а власть человека над человеком страх.

И обернувшись в свинью, он побежал на ярмарку в Сорочинцах, вздувая красный страх и хрюча.

С пьяных глаз добрые люди прозревали меня в свиной личине, и обуянные страхом, видели меня собственными глазами.

И были правы: чтобы увидеть больше, чем только под носом, надо вывихнуться, взбеситься: простой средний глаз, как и это ухо, какая бедность и ограничено: «хлеб наш насущный» в неисчерпаемом богатстве красок, звуков и чувств.

Шинкарь — первый из добрых людей, и первый обманщик — продал до срока заклад: мою «Красную свитку», и вот стоя на молитве, слышит шорох, и показалось ему, во всех окнах повыставились свиные рыла и на ногах, длинных как ходули, влезли в комнату и плетками-тройчатками отлупили.

Волостной писарь наугощался на ярмарке и проходя поздним вечером через проклятое место, где угнездилась «красная свитка», видит, как из слухового окна сарая выставилось свиное рыло и хрюкнуло так, что мороз подрал по коже.

Старухе-бубличихе, она раскланивалась весь день без надобности и писала ногами совершенное подобие своего лакомового товара (ее подвижная лавка рядом с яткой шинкарки) — почудился нечистый в образе свиньи: поджав по-собачьи хвост, он беспрестанно наклонялся над возами, искал чего-то — или левый рукав своей пропавшей «красной свитки»?

К ночи добрым людям, они жались друг к другу от страха, страх мешал сомкнуть глаза: и хмелевшему от выпитого для храбрости Солопию и его жене Хивре и куму Цыбуле (его щеки расцвели маком и походил он не на цыбулю, а на бурак или вернее на бесовскую «красную свитку») и тому превыше всех храбрецу — от страха верзила полез в печь и несмотря на узкое отверстие сам задвинул себя заслонкой — всем им послышался какой-то неясный звук, весьма похожий на хрюкание свиньи.

А когда стали осматриваться и шарить по углам, Хивря, отрезвившись от еще большего страха: застигнутая со своим поповичем, она спрятала его на полати и сидела, как на иголках, и тряслась, как в лихорадке, Хивря разъяснила перепуганным, что послышавшийся хрюк вовсе не свинячий, а «один кто-нибудь, может, прости Господи, угрешился или под кем-нибудь скамейка заскрипела».

Ободренный убедительным доводом Хиври, что это никакое наваждение, а дело житейское, кум продолжал рассказ о черте, которого черта из пекла на землю выгнали за какое-то доброе дело, и о его пропавшей «красной свитке» и проклятом месте, его бесовском гнезде.

«Да нелегкая дернула заседателя — от...»

Но окончание слова «от-вести» превратилось в камень и застряло у него в горле: стекла, звеня, вылетели вон и страшная свиная рожа выставилась, поводя глазами, как бы спрашивала:

«А что вы тут делаете, добрые люди?»

А эти — вы, добрые люди, волосы от страха поднялись горой и хотели улететь на небо, а сердце колотилось, как мельничная ступа и пот лил градом и на душе так тяжело, будто кто взвалил на тебя дохлую кобылу —

Эти добрые люди, готовые от страха вскинуть себе на шею петлю и болтаться на дереве, как колбаса перед Рождеством в хате, лишь бы когда наступит глухая ночь, все равно где, под поветками, в яслях, одному свернувшись, другому вроскидь, храпеть, как коты —

Эти добрые люди — этот мокрый петух, этот кофейник в чепчике на гусиных лапах или нижняя часть лица баранья, эта дряблая старушонка, сушеная слива, она взвизгивает от умиления перед серым валеным сапогом, расшитым зелеными шелками, с ременным ушком вмес-

то глаз: «слюнчик ты наш!» — и эти безглазые бороды, заступ, лопата, клин, бесповинные пни, оседланные бабами с их любовью «пастись на одной травке» —

Эти — вы добрые люди с лицом лопаты или свежей еще непоношенной подошвы — короткие и густые под носом усы, кажущиеся мышью, вот он ее поймал и держит во рту, подрывая монополию амбарного кота — чтоб ты подавился! чтоб ему не довелось, собаке, поутру рюмки водки выпить! чтоб твоего отца горшком в голову стукнуло! чтоб ты поскользнулся на льду! невареный кисель твоему батьке в горло! чтоб ему переломались об черствый гречаник все зубы!

И эти — с харей в морщинах, будто выпотрошенный кошелек, «я не видел твоей матери, но знаю, дрянь, и отец дрянь и тетка дрянь!»

И эти — пепельные, топорные, цвет изношенного сюртука, без капли мозгу, проклятые медведи с железными лапами, старые кабаны, каркающие вороны, рычащие быки, угорелые кошки, мухи с подрезанными крыльями, или просто одни густые брови —

И все эти — негодные и ненужные, коротенькие, вся эта Божья тварь, бестолковая башка, собачий сын, змеиное отродье — все эти «названые братья» — вероломный Петро и мстительный Иван с местью самой жестокой муки: «хотеть отмстить и не мочь мстить!» — все вы, что были, есть и по вас будут, вы полосатые свиньи, испугавшиеся своего двойника, меня, обернувшегося свиньей или моей мысли, внушенной ярмарочному цыгану, бессовестному обманщику, изловчившемуся под оградой страха получить от Грицка его волов за пятнадцать —

— Лабардан!!!

РАЙСКАЯ ТАЙНА

Тот самый черт — за какое-то доброе дело его выгнали из пекла на землю, сжигаемый мечтой воплотиться (а как же иначе, в ад не принимают), действовал на земле, а людям казалось грех ходит в мире и соблазн. То он гуляка в красной адского пламени свитке («Сорочинская ярмарка»), то бесовский человек Басаврюк («Ночь накануне Ивана Купала»), то запорожец в красных, как жар, шароварах («Пропавшая грамота»).

На какой-то срок он сгинет: занялся ли своей бесовской бухгалтерией или наводил порядок в своей заваленной бумагой конуре: сколько одних расписок «по душу», купчих с подсохлой кровью от этой двуногой твари с робким вихлявым сердцем, коротким умом и лишь с выблеском воли, а сертификатов, — да не похерив, за такую сволочь наверняка повторно погонят из пекла в три шеи, — делов не оберешься.

Гоголь проснулся:

«Какая тишина в моем сердце, какая неуклонная твердость и мужество в моей душе!»

Но это было не пробуждение в дневную призрачно-размеренную жизнь, а переход в другой глубокий круг сновидений (В «Портрете» у Чарткова). И то, что увидит Гоголь в этом круге, будут его воспоминания в «Старосветских помещиках».

★

В «Старосветских помещиках» безо всякого «злого» духа: разжигает оплешник человеческие страсти, рост и развитие жизни, — изображается райская безмятежная жизнь, ясная и спокойная, человека доброго, радушного и чистосердечного, само собой бездетного, и как всякая жизнь на земле, будь она райская или насекомая, проходит под знаком всепожирающего времени: коли живешь, плати оброк смерти. Никто не знает, когда, но пожар неизбежно возникнет и сгорит дом человека, кончится спокойная жизнь без тревог — без мысли, лишь с плывом райских грез».

В «Старосветских помещиках» представлен сказочный рай — сад, который Бог насадил для человека.

Благословенная земля родит всего в таком изобилии, и никакое хищение незаметно, девичья беременеет и плодится, как мухи, словно бы от самого воздуха — ведь холостых в доме никого не было, кроме комнатного мальчика, ходил в сером полуфраке, босиком и если не ел, то уж верно спал (скажу по секрету, все очень просто, привычная приятная работа самого Афанасия Иваныча), и все желания исполняются, как по-щучьему велению: на столе откуда ни возьмись скатерть самобранка с пирожками и рыжиками, сушеными рыбками и жидень-

ким узваром. Да и желания в таком райском состоянии так ограничены, что как-будто их и звания нет: попить, поесть, поспать.

В античной трагедии герои цари. А выведены они царями показать человека, матерьяльно достигшего всего и не нуждающегося ни в чем — наше с грозою всяких денежных сроков — квартира, электричество, газ никак их не касается, а на таком независимом от консьержки царе, подлинно вольном человеке, явственно беспримесно выступает «игра судьбы», действие рока и всех его сил, над которыми человек — царь не властен. Никуда не убежишь и повернуть никакими жертвами не умолишь и не уломаешь: стукушка наверняка с отбрыком ли, покорно ли, все равно.

В «Старосветских помещиках» дано в математически-чистом виде блаженное райское состояние человека, освобожденного от *мысли* и *желаний,* над которыми тяготеет первородное проклятие *время-смертъ,* показать чтобы высшее и единственное: любовь человека к человеку.

Сила этой любви так велика и уверенна, что дает спокойно умереть человеку.

«Мы скоро увидимся на том свете!» говорит перед смертью Пульхерия Ивановна. «Положите меня возле Пульхерии Ивановны!» последнее слово Афанасия Иваныча.

Сила этой любви так велика, ни в какой рубль не оценишь, и так уверенна и убеждена, библейское звучит в завещательном последнем слове Пульхерии Ивановны, когда оставляя на ключницу Явдоху своего (любовь самая закоренелая собственность) Афанасия Иваныча, обещает, что сама поговорит с Богом о награде ей или о тяжком наказании, если Явдоха ослушается.

Вот почему противоположение: «страсть» и «привычка» в словах Гоголя по поводу «жаркой» печали Афанасия Иваныча и через пять лет по смерти его «прекрасной» Пульхерии Ивановны, надо понимать, как противоположение «страсть» и «любовь». «Привычка» забывается, «страсть» проходит (погасает), а «любовь» — судьба.

Оттого ли, что изображая «низменную», «звероподобную» — без мысли и желаний — райскую жизнь человека, Гоголь постеснялся употребить большое слово «любовь», но, конечно, подразумевал именно это ред-

чайшее среди людей — любовь; да раз даже прошибся и всеми словами сказал: «нельзя было глядеть без участия на их взаимную любовь».

О «привычке» Гоголь рассказывает особо в «Ссоре»: вот между Иван Ивановичем и Иван Никифоровичем была соседская привычка. Тоже Пульхерия Ивановна привыкла к своей ласковой серенькой кошке или говоря словами рассказа: «Нельзя сказать, чтобы слишком любила, но просто привязалась к ней, привыкши ее всегда видеть». Соседи не помирились и Пульхерия Ивановна, когда пропала ее кошка, забыла ее через три дня.

Любовь не забывает. И через пять лет всеистребляющего времени, а эти Гоголевские русские 5, как у Достоевского, как и в народных сказках, означает «век», высшая мера, Афанасий Иваныч при воспоминании о Пульхерии Ивановне заплакал.

Противоположение «страсть и привычка» смутило Белинского: Белинский не понял самого духа повести о любви человека к человеку и был очарован этой низменной повестью именно за «эту «привычку» — что вот Гоголь «среди пошлости, гадости жизни животной, уродливой, карикатурной двух пародий на человечество, двух актеров глупой комедии» все-таки нашел человеческое чувство «привычку». —

«О, бедное человечество, жалкая жизнь!»

А кто это скажет, будто «райское блаженство» такое высокое препровождение времени? Нет, должно быть, это очень скучно и для таких, как Лермонтов, просто делать в этом раю было б нечего. Да и сам Гоголь ведь только «иногда», «на минуту», на «краткое время» соглашается попасть в этот рай. А что вспоминает так горячо, потому что для нас это «потерянный рай».

А рай им представлен лишь для того, чтобы показать «любовь»: только любовь делает этот рай светом, а пламя этой любви ярче и самой палящей тоски.

★

Улыбка человека просвет *оттуда.* Это то, что есть в человеке от «клочков и обрывков» другого мира.

Был у Толстого дар разглядеть этот свет — цвет улыбки и унес на волю в темную ночь, озаренный обра-

дованной улыбкой жить на земле — улыбка Наташи Ростовой, и жалостной — улыбка Катюши Масловой, обреченной на горький труд жизни. Достоевский увидел улыбку — жалкую, искривленную со Креста и ее тень длинную бледную с трепещущей осины — улыбка жертвы за весь мир. Гоголь отметил блаженную улыбку человека — приятную в райском состоянии. Эту улыбку мы знаем от налакавшегося кота, на усищах еще дрожат молочные капельки, такую улыбку у вас я заметил при хорошей погоде, а за собой знаю такую, когда в комнате тепло, любопытная книга и никуда не надо идти и торопиться.

Афанасий Иванович «всегда почти улыбался» и, довольный тем, что подшутил над Пульхерией Ивановной — а шутка у него жестокая: «дом сгорит», — улыбался, сидя на своем стуле.

У Гоголя не в улыбке — Гоголь весь в смехе.

Смеется ужаснувшийся схимник, видя в книге налившиеся кровью буквы: смеется конь — гиблый конь, когда колдун убил свою дочь Катерину, последнюю надежду передать свою колдовскую силу: смеется карпатский всадник, узнав в колдуне своего брата — врага, смеется Петрусь, вспомнив как убил Ивася, смеется панночка-русалка, дрожь берет от такого смеха, смеется Оксана, смеется черт — «над кем смеетесь, над собой смеетесь!»

И этот Гоголевский смех и никакой он «горький», он тоже *оттуда* — инфернальный этот смех из первого круга его сновидений. Только этот смех слышал Гоголь.

И смех Афанасия Иваныча, «райского человека» инфернальный. И вот почему от этого смеха Пульхерии Ивановне страшно.

Афанасий Иваныч, довольный тем, что несколько напугал ее войной, своей воображаемой саблей и казацкой пикой, смеялся, сидя, согнувшись на своем стуле.

Но откуда у Гоголя: «озирать всю громаднонесущуюся жизнь сквозь видимый миру смех и незримые неведомые слезы»?

Гоголь в жизнь никогда не заплакал, как Достоевский, сочинивший старца Зосиму, никогда попросту не перекрестился.

Достоевский, коснувшись тайны Гоголя в «Сне смешного человека», по себе судя, заподозрил эти незримые слезы: «никогда еще не было сказано на Руси, говорит он, более фальшивого слова, как про эти незримые слезы».

Я скажу, слова о этих «незримых слезах» вырвались у Гоголя из самого сердца: Гоголь их не выдумал, это память его из его глубочайшего сна о любви человека к человеку. И когда свет этой любви погаснет в его сердце — ведь он только Чичиков, и не Николай Васильевич, а Павел Иваныч — сердце его станет угольно черным: он принесет себя в жертву, заморит голодом, и я верю, вернет этот свет.

Пульхерия Ивановна и Соня Мармеладова, «прекрасная» и «премудрая», я слышу то же слово и тот же голос — глас из рая и глас из ада: «Бог не попустит!» у Пульхерии Ивановны из ее безмятежного сердца на жестокое замечание Афанасия Иваныча о пожаре: «их дом сгорит, и у Сони из ее жертвенного сердца на каторжное (по другому Достоевский не может) Раскольникова, что «она захворает, свезут ее в больницу, а Катерина Ивановна помрет и дети, для которых она в жертву себя принесла, останутся на улице и участь сестры ее Полиньки — ее участь «гулящая»! — «Бог не допустит!»

«А может, никакого и Бога нет», конечно, в добром человеческом смысле: попроси — не откажет. Но ни Пульхерия Ивановна, ни Соня по их вере не хотят да и не могут слышать: вера всегда наперекор.

А вот и перекличка 1835 «Старосветские помещики» и 1605 г. «Дон Кихот». В Дон Кихоте в повести о «безрассудном любопытном» про жену Ансельма: «ее желания не переступают за стены ее дома», а в «Старосветских помещиках» «ни одно желание не перелетает через частокол, окружающий небольшой дворик». Перекличка не заимствование, а общее восприятие, Гоголь и Сервантес: Дон Кихот и Чичиков.

Есть в «Старосветских помещиках» автобиографическое: полдневный окликающий голос. Этот голос услышал Афанасий Иваныч, вестник его смерти, слышит и Гоголь и в детстве и перед смертью, когда начнет свой подвиг: сожжет рукописи и откажется от еды.

Есть в «Старосветских помещиках» загадка: серенькая кошка Пульхерии Ивановны. Почему пропадавшая

и вдруг появившаяся кошка, это тихое творение, «которое никому не сделает зла», означено, как знак смерти, как тот неизбежный и ничем неумолимый пожар — жестокая шутка Афанасия Иваныча; земной конец доброй бесхитростной души?

В «Майской ночи» ведьма-мачеха, жена сотника, является ночью панночке-падчерице под видом кошки — шерсть горит, железные когти: кошка-оборотень. И в «Вечере накануне Ивана Купала» ведьма оборачивается кошкой. И явившаяся Пульхерии Ивановне кошка была не ее пропавшая, серенькая — ту давно дикие коты съели — а именно оборотень какого-то демона первородного проклятия. И этот демон отравил своим появлением Пульхерию Ивановну: «Пульхерия Ивановна задумалась».

Слышите: «задумалась!»

«Это смерть моя приходила за мной!» сказала Пульхерия Ивановна себе и ничто не могло ее рассеять, весь день она была скучная».

А в гроб положили Пульхерию Ивановну в шкурке съеденной котами ее ласковой кошки — в серенькое платье с небольшими цветочками по коричневому полю.

Такой видел ее в последний раз Афанасий Иваныч и такой останется она у него в глазах.

И услышав полдневный окликающий голос — голос важнее чем видеть — день был тих и солнце сияло, он обернулся, но никого совершенно не было: посмотрел на все стороны, заглянул в кусты — нигде никого. Он на минуту *задумался;* лицо его как-то оживилось и он, наконец, произнес: «это Пульхерия Ивановна зовет меня!»

А может, все это не так, одни мои догадки, чепуха и никакого оборотеня, но одно несомненно: что человеку в райском безвременном состоянии *задумываться* не полагается: мысль и время одно, а время — смерть: «я мыслю, значит, я умру».

И есть еще вопрос, вечный вопрос человека над могилой человека, неразрешимый: «так вот уже и погребли ее, зачем?»

★

И Гоголь заплакал.

«Боже, как грустна наша Россия!» отозвался Пушкин голосом тоски.

Гоголь поднял глаза и сквозь слезы видит: за его столом кто-то согнувшись пишет.

«Кто это?»

«Достоевский», ответил Пушкин.

«Бедные люди!» сказал Гоголь и подумал: «растянуто, писатель легкомысленный, но у которого бывают зернистые мысли» и, заглянув в рукопись, с любопытством прочитал заглавие: «Сон смешного человека». И проснулся.

Гоголь проснулся, но это было не пробуждение в день, а переход в другие потайные круги своего заповедного судьбой сна, в тот круг, где он увидит тайну своего преступления — кровавую слезу панночки, и тот круг, где откроется тайна крови — «Страшная месть».

Погружаясь в пропастные пространства памяти, он слышит, как глухо шумят и отдаются удары — удар за ударом — мгновенно пробудившихся волн Днепра.

С ПЬЯНЫХ ГЛАЗ

Нигде так откровенно, только в «Вии» Гоголь прибегает к своему излюбленному приему: «с пьяных глаз» или напустить туман, напоив нечистым зельем. Да как же иначе показать скрытые от трезвых те самые «клочки и обрывки» другого мира, о которых расскажет в исступлении горячки Достоевский.

И нигде, только в «Вии» с такой нескрытой насмешкой над умными дураками применяет Гоголь и другой любимый прием: опорочить источники своих чудесных откровений.

«Но разве вы, разумные, — говорит он, подмигивая лукаво, — можете поверить такому вздору?»

А простодушным, этим доверчивым дуракам, прямо:

«Чего пугаться, не верьте, все это выдумка глупых баб да заведомого брехуна».

Или ничего не говоря, представляет своих действующих лиц в таком виде, когда все что угодно *покажется:* философ натощак сожрал карася — а затем следует волшебная скачка и полет над *водой,* а все видения философа в церкви у гроба Панночки — «с пьяных глаз».

*

В первую ночь, как идти в церковь читать над Панночкой, философ подкрепил себя доброю кружкой горелки. И наслышался страшных рассказов — рассказы по своему действию сильнее и крепче горелки. Только безразличное пусто — бесследно, но «страшное», как проклятое, так и обрадованное, хмельно и заразительно.

А рассказы — у трезвого уши вянут, но это ничего не значит: чем невероятнее, тем едче с пыром не в мясо и кости, а в муть — в кровь.

Спирид, лицо гладкое, чрезвычайно похожее на лопату, рассказывает о псаре Миките, на котором псаре ездила Панночка, как на заправском коне, и который псарь сгорел сам собой, как Петрусь (Вечер накануне Ивана Купала): куча золы и пустое ведро — вот и все, что осталось от Микиты и Петруся.

Козак Дорош рассказывает со слов козака Шептуна, который Шептун любит иногда украсть и соврать без всякой нужды.

Шепчиха видела собаку: в собаку обернулась никто другой, как Панночка, и на глазах Шепчихи снова стала из собаки Панночкой, но с лицом не Панночки «сверкающей красоты», а была она вся синяя, а глаза горели как уголь.

Панночка, схватив дитя, прокусила ему горло и начала пить кровь. А потом и на Шепчиху, забившуюся на чердак, полезла кусать.

Со слов того же Шептуна Дорош рассказал случаи не совсем обыкновенные о Панночке-ведьме.

Кому-то ведьма, обернувшись в скирду сена, подъехала к самым дверям хаты, а у кого-то украла шапку и трубку: у девок на селе ночью срезала косу, а у других выпила из каждой по несколько ведер крови.

Ведро крови, не «лужицу» по Достоевскому, да тут и не хотя захлебнешься!

*

Во вторую ночь философу дали для подкрепления кварту горелки и он съел довольно большого поросенка и «какая-то темная мысль, как гвоздь, сидела в его голове», а жгла, как заноза, и не достанешь руками вытащить и освободиться.

★

А перед третьей и последней ночью, за прошлую ночь поседевший философ потребовал кварту горелки и попытался убежать — дурак, от судьбы разве бегают! и с поймавшим его козаком Дорошем выпил немного не полведра сивухи.

За ужином себе для ободрения, последняя попытка иссудьбиться! — он хвастал, он говорил, что такое козак и что он, козак, не должен бояться ничего на свете.

Так я говорю себе в мою третью ночь, я с ободранной кожей, вышеиваясь из-под стягивающей меня петли: «все принять».

«Пора, сказал Явтух, пойдем».

Какой знакомый мне голос непреклонный: «пора».

«Спичка тебе в язык, проклятый кнур!» подумал философ и, встав, сказал: «Пойдем».

Дорогой философ беспрестанно поглядывал по сторонам — озирался и заговаривал с провожатыми, но Явтух молчал, да и Дорош не отзывался. Волки выли вдали целою стаей, и самый лай собачий был страшен.

«Кажется, как будто что-то другое воет: это не волк!» сказал Дорош.

Явтух молчал. А философу нечего было сказать. Это звучали «клочки и обрывки» не нашего из другого мира.

СВЕРКАЮЩАЯ КРАСОТА

В первую ночь она поднялась из гроба и шла по церкви, беспрестанно расправляя руки, она ловила меня, слепая. Мертвые живого не видят.

Во вторую ночь, когда лицо ее — «резкая сверкающая красота» — вдруг посинело, как человек уже несколько дней умерший, снова она поднялась из гроба — труп; и этот труп вперил позеленевшие глаза.

Она не видит, она своей ведовской силой чует меня, но за магический заклятый окрещенный круг ей заказано: только глаз Вия, ужаснув меня, выманит меня из круга и тогда совершится: я попаду под власть ее мстящих сил: преступный полет отмщается: Панночка недотрога, ее сестра Астарта.

Вий! — не черт с рогами и хвостом и копытом, никакой копытчик и оплешник, никакой и «демон» ни оперный, ни монастырский.

Вий — сама вьющаяся завязь, смоляной исток и испод, живое черное сердце жизни, корень, неистовая прущая сила — вверху которой едва ли носится Дух Божий, слепая, потому что беспощадная, обрекая на гибель из ею же зачатого на земле равно и среди самого косного и самого совершенного не пощадит никого.

Вий — а Достоевский скажет Тарантул.

Весь охваченный жгучим вийным веем, я вдруг увидел себя, забившимся за иконостас алтаря, невидимым для подземных чудовищ с отвратительными липкими залупленными хвостами. Я различаю из-за своей засады в трепещущей от свечей, облитой светом трутовой ветхой церкви в третью и последнюю ночь философа Хомы Брута.

Я видел, высоко со стены из перепутанных волос паутины два светящиеся глаза с поднятыми вверх бровями и над бровями, дрожа, спускались клещи и жала из стеклом переливающейся налитой пузырем паучиной голова-груди.

Я видел синюю искаженную, стучащую зубами и взвизгивающую, а еще вчера страшную сверкающую красоту — простирая руки, задыхаясь, слепая, она ловила руками.

Я видел, как философ, бормоча, вертел головой, стараясь не смотреть на нее, — он избранный ею, бестия из бестий, песенный кентавр, посмевший наперекор ее воли смертельно прикоснуться к ней, избранной и вещей, и в свою первую мертвую ночь открывшей ему его вину, когда посмотрела на него закрытыми глазами и из-под ресницы ее правого глаза покатилась слеза и он ясно различил на ее щеке, но это была не слеза, а капля крови. Обезумев от страха, философ подгрудным голосом, как во сне и в исступлении, не различая букв, перепутав строчки и забыв все псалмы, не кричал уж, а давясь, дико выл, вывывая: «Ой, у поли могыла...»

Я видел Гоголя: какая грозная тишина в его виновных глазах; как много пережглось в его сердце и вся душа была растерзана.

Я видел, как в затихшую и вдруг присмиревшую церковь, под отдаленный вой волков, нет, как будто глухо выл кто-то здесь, ввели косолапого дюжего человека: он был, как корень, весь в земле, прилипшей к нему комками, отваливавшимися густо запекшейся кровью, тяжело ступал он, длинные веки опущены до самой земли, а лицо железное. Его привели под руки и прямо поставили к тому месту, где стоял Гоголь...

СЕРДЕЧНАЯ ПУСТЫНЯ

СУДЬБА ГОГОЛЯ

Чары Гоголевского слова необычайны, с непростым знанием пришел он в мир.

Еще при жизни образовался «оркестр Гоголя»: имитаторы, кописты и ученики. Образовался Гоголевский трафарет и по окостенелой указке писались повести и рассказы — имена авторов не уцелели. Гоголь дал пример разговорного жаргона: почтмейстерское «этакой» (Повесть о капитане Копейкине). Этот жаргон — подделка под рассказчика не «своего слова» получил большое распространение не только у литературной шпаны, а и среди учеников. На мещанском жаргоне сорвался Достоевский (Честный вор), на мужицком Писемский в прославившей его «Плотничной артели» и в рассказах «Питерщик» и «Леший» с «теперича» и «энтим».

Трафарет всегда бесплоден, а жаргонист всегда фальшив. Природный лад живой речи неизменен, а народная речь непостоянна и словарь народных слов меняется в зависимости от слуха и памяти, память же выбирает вовсе не характерное, а доступное для подражания.

Из «оркестра» Гоголя вышли: Достоевский, Аксаков, Салтыков-Щедрин, Тургенев, Писемский, Мельников-Печерский. Ученики знали наизусть своего учителя. И самое значительное слово о учителе принадлежит «оркестру».

Путь Гоголя — дорога странника, очарованного и чарующего: очарованного пустотой призрачного вийного мира, огнем вещей и чарующего своим волшебным вийным словом; дорога окончится тем последним земным мигом, когда в чичиковской немой «сердечной пусты-

не» прозвучит расковывающее слово и за синим рассеивающим туманом звездного гоголевского неба откроется белый, самый жаркий пронзительный свет с «преступной» жалостью (из памяти «пекла») и райской незабываемой любовью (Старосветские помещики).

Гоголь покончил с собой в 1852 сорока трех лет, родился в 1809. Срок-то какой без разверстки: что глаза увидели, о том и рассказ. А ни II-й, ни III-ей части «Мертвых душ», да и не могло быть: какое же Чистилище и какой Рай? — в чичиковской шкатулке места для них нет, Гоголю было не по глазам.

Через шесть лет после смерти, в 1858, появилась статья Писемского по поводу выхода II-ой части «Мертвых душ». Слова Писемского о судьбе Гоголя и вообще писателя, которого и нынче тычут читателем, советуя писателю полюбить этого благосклонного читателя, что будто бы эта любовь и будет началом взаимного понимания и интереса.

«Немногие, вероятно, из великих писателей так медленно делались любимцами массы публики как Гоголь. Надобно было несколько лет горячему с тонким чутьем критику (Белинскому), проходя слово за словом его произведения растолковать их художественный смысл, надо было несколько даровитых актеров, которые воспроизвели бы гоголевский смех во всем его неотразимом значении: надобно было, наконец, обществу воспитаться его последователями, прежде чем оно в состоянии было *понимать* значение произведений Гоголя, *полюбить* их и изучив, разнять на поговорки».

Но прежде чем устоялось общественное мнение, сколько обидного непонимания и невежественных укоров перенес он! «Скучно и непонятно» говорили одни. «Непристойно пошло — сально и тривиально!» говорили другие, и «общественно социально-безнравственно» решили третьи. Критики и рецензенты повторяли то же.

МИФ

Знание, как итог только фактов, не может дать исчерпывающего представления о живом человеке, в протокольном знании нет живой жизни. Только бездоказа-

тельное, как вера, источник легенд, оживит исторический документ, перенося его в реальность неосязаемого мира.

История человечества — история человеческого вдохновения, упований можно представить, как зарождение, борьбу и смену мифов: миф о божестве, миф о свободе, миф о любви.

Пушкин не был бы Пушкиным, если бы ограничились историческим матерьялом о жизни и трудах Пушкина. Только легенда о Пушкине, как явлении чрезвычайном и «пророческом», созданная Гоголем и подтвержденная Достоевским, сделала единственное имя — Пушкин.

Гоголь кругом одинок на своей страннической дороге. Те, кто считались его друзьями, были гораздо ниже и по дару и по глубине зрения, они видели какую-то часть, и никогда всего, а самого существенного так и не поняли.

Пушкин угадал Гоголя: «все это так необыкновенно в нашей литературе, что я доселе не образумился!» Так отозвался Пушкин о «Вечерах на хуторе близ Диканьки».

Пять лет знакомства с Пушкиным (с мая 1831 до мая 1836), путь судьбинных лет, и за этот «век» написано или задумано Гоголем все гоголевское от последних рассказов из «Вечеров» до «Мертвых душ», вся история собственной души Гоголя.

«Обо мне много толковали, разбирая кое-какие мои стороны, но главного существа моего не определили!»

Так начинает Гоголь свою легенду о Пушкине, произнося имя Пушкина с гордостью, любовью и восхищением.

«Ни одна строка не писалась без того, чтобы я не воображал его перед собой!» продолжает Гоголь и заканчивает известной легендой, им самим сочиненной, как читал он Пушкину начало «Мервых душ» и как лицо Пушкина, «охотника до смеха», будто бы становилось все сумрачнее и стало мрачным: «Боже, как грустна наша Россия!» воскликнул Пушкин голосом тоски.

Пушкинское ничем не оправданное восклицание — да прочитайте начало «Мертвых душ», откуда взяться тоске и грустной России? — это пушкинское восклицание вспоминается Гоголем не из жизни, а из своего сна о Пушкине, о воображаемом Пушкине, без которого

нельзя было бы: представить себя жить среди людей — гогочущей и страждущей двуногой твари Божьей.

Биографические сведения не говорят ни о каких близких личных отношениях Пушкина, «охотника до смеха», к Гоголю, «заставляющему вас смеяться сквозь слезы грусти и умиления». (Определение Пушкина по поводу «шутливой трогательной идиллии Старосветских помещиков»). Из этого, что известно, скорее можно говорить о сдержанном и даже подозрительном отношении Пушкина к Гоголю. Не забывайте, что с такой любовью описанный Чичиков вовсе не портрет знакомого, а только душу свою можно так полелеять. Пишется всегда о себе и все живое — «я», а словесные портреты только черточки.

Гоголь «посвященный» — «рожоный», как говорится о прирожденных ведьмаках и ведьмах, в противоположность получившим волшебное знание в жизни — «ученым», и Пушкин с тех же высот духа, и память их и встреча разве ограничены пятилетним веком тридцатых годов XIX-го столетия?

Слава о Гоголе, как о выдумщике — сочинить ему, действительно, ничего не стоило: одна будто бы написанная им История Средних веков чего стоит! Все это верно, но совсем не в том смысле, как это принято: выдумка — ложь. Источник выдумки, как и всякого мифотворчества, исходит не из житейской ограниченной памяти, а из большой памяти человеческого духа, а выявление этой памяти — сны или вообще небодрственные состояния, одержимость.

Все творчество Гоголя от Красной свитки до Мертвых душ можно представить, как ряд сновидений с пробуждениями во сне же по образу трехступенного сна Чарткова (Портрет) или повторенного за Гоголем тоже трехступенного сна Свидригайлова (Преступление и наказание). Гоголь в каждом своем сне воплощается в человека и венец его воплощений: Павел Иванович Чичиков — край человеческого его нечеловеческой природы. А дальше что? Чтобы на это ответить, надо Гоголю проснуться не тут, на земле, а там: умереть — уснуть.

ХВОСТИКИ

«Как изумились мы русской книге, которая заставила нас смеяться, мы, не смеявшиеся со времени Фонвизина!»

Такими словами отозвался Пушкин о выходе вторым изданием «Вечеров» или, по определению самого Гоголя, его «Хвостиков».

Эти «хвостики» восемь рассказов: Сорочинская ярмарка, Вечер накануне Ивана Купала, Пропавшая грамота, Заколдованное место, Ночь перед Рождеством, Майская ночь, Иван Федорыч Шпонька, Страшная месть. (I ч. 1831 г., II ч. 1832).

«На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой. Чтобы развлекать себя, я придумывал себе все смешное, что только мог выдумать. Выдумывал целиком смешные положения, вовсе не заботясь о том, зачем это, и кому от этого выйдет какая польза».

Подготовляя новое издание своих сочинений, Гоголь долго не соглашался включить эти блестящие «хвостики»: «Зачем это и кому от этого выйдет какая польза?» И все-таки согласился. Да иначе и не мог: произведения искусства меряются без «зачем» и «пользы», а своей жизненностью и нерушимостью впечатления.

В «Вечерах» не один только «смех», ошеломивший Пушкина, не один этот чарующий жгучий всплеск полной жизни, движимой подземной вийной силой. «Вечера» введение к задуманной «Божественной комедии» или, как скажет Достоевский, к «Дьяволову водевилю», к «Мертвым душам» с чарующим Адом благодушных и сентиментальных мошенников, с Чистилищем дельцов во главе с генерал-губернатором, а в заключение Рай, сад Старосветских помещиков — оптинские старцы и «люди Божие»: герой Ада Чичиков, пройдя Чистилище не без помощи своего человека, вы догадываетесь, неспроста попал во II-ую часть «Мертвых душ» Петр Петрович Петух, Павел Иваныч возносится на четвертое небо Василия Радаева и Татьяны Ремизовой, «людей Божьих» хлыстовского начала, современников Гоголя.

В «Вечерах» художественное испытание относительности и призрачности познаваемого мира, где «все мечта, все обман». В «Вечерах» история «моей души» —

память из жизни вечного бессмертного Гоголя. Душа знает больше, чем сознание.

Необъяснимая тоска, о которой говорит Гоголь, и есть то состояние, всегда разрешающееся творчеством.

«И сказал Бог, — и слова Его изошли от полного сердца, мне слышится голос древней легенды о Господней слезе, взблеснувшей солнцем над миром, — и сказал Бог: создадим человека по образу Нашему, по подобию Нашему».

В каждом человеке, сознание не одного, а многих, живет не один образ и не одно подобие. Творчество, источник которого боль и тоска, «слеза Господня», есть воссоздание этих образов и подобий, неладных друг с другом, спорящих и враждующих. Воссоздание же в художественном произведении не описание кого-то, а непрямая форма исповеди: пишут только о себе с себя — «всякий не может судить, как по себе» (Достоевский). Гоголевские герои его «натуральных» рассказов: сам Гоголь, чернозем и упоительный день Малороссии.

Отбор литературного матерьяла совершается не наугад, что под руку попало. И что это значит, что на чем-то остановилось мое внимание? Да это встреча и память о прошлом. То же и с воспоминанием из прочитанного: ведь лезет в голову что-то одно, определенное, а все другое, казалось бы не менее интересное, стерлось. Выбор легенд в Вечерах не случаен: во всех легендах — гоголевская память.

Самое недостоверное исповедь человека. Достоверно только «непрямое» высказывание, где не может быть ни умолчаний по стыдливости, ни рисовки «подымай выше». И самое достоверное в таком высказывании то, что неосознанно, что напархивает из ничего, без основания и беспричинно, а это то самое, что определяется словом «сочиняет».

В необъяснимой тоске над матерьялом — записи сказок, обрядов, описания одежды, колонка слов, весь этот «фольклор» присылает Гоголю в Петербург его мать и тетка, — держа в памяти напечатанные рассказы на чудесные темы современников, назову О. М. Сомова, Гоголь создает «Вечера».

Эти «Вечера» подлинно хвостики — не прямая исповедь и с тем достоверным неосознанным, из которого яснее ясного, что это за человек, балагуря исповедующийся.

Трепетная горячая минута, не отвлекайте, не будите человека. А тут кричат над ухом, да ту же картошку надо варить, хорошо если есть, хуже, когда нет ничего.

★

Выгнанный из пекла на землю за какое-то доброе дело, Гоголь под серебряную песню начал свою волшебную дорогу Красной свиткой, потом Басаврюк, потом Запорожец и, наконец, Колдун Страшной мести.

«То была не злость, не страх и не лютая досада. Нет такого слова на свете, которым бы можно было назвать! Его жгло, пекло; ему хотелось бы весь свет вытоптать конем своим, взять всю землю от Киева до Галича с людьми, со всем, и затопить ее в Черном море. Но не от злобы хотелось ему это сделать, нет, сам он не знал отчего».

Таким топчущим весь свет Конем Гоголя был его смех.

КОНЕЦ

Не в символах легенды, а и на живой земле Гоголь странник — беспрерывная дорога.

«Изводящая жгучая боль — она мне бросилась на грудь и нервное раздражение, какого я в жизни никогда не знал, произвело во мне такое, что я не мог ни лежать, ни сидеть, ни стоять», — и единственное средство успокоиться: дорога.

А когда и дорога стала в тягость, а это был знак, что приходит срок, как-то надо кончить этот «скверный анекдот» — странствовать по земле калеке неперехожей.

На последнем пути по дороге в Оптину пустынь — Гоголь с одним ручным чемоданом, кроме рукописей он все роздал — встретилась девочка с блюдечком земляники.

«Как можно брать со странных людей», взглянув на Гоголя, сказала она на его вопрос «сколько»? и отдала ему землянику.

По вечерней дороге девочка с блюдечком земляники — так и слышишь где-то тут кузнечик стрекочет и пахнет сосной. Да ведь это Россия, русская земля, она подала ему землянику в последний прощальный путь с родной земли.

★

Засмеяв своим инфернальным смехом и сам не зная, для чего, и свою жалость и ту преступную из памяти «Красной свитки», перешедшую в жалость Левко к утопленнице-панночке, и жалость к «мизерному» человеку, задушенному жабой — страстью к шинели, Акакию Акакиевичу, выжегши смехом и свою любовь единственную, выдержавшую пятилетний «век», любовь Старосветских помещиков, зачаровавший вийной силой своего слова мертвую душу мира — ведь «мертвые» души только потом в гоголевском сне обернулись в пушкинское «Боже, как грустна наша Россия»: с сердцем угольно-черным, черствым, пустынным, Гоголь, на последней дороге в канун своего отчаянного подвига-жертвы — Гоголь, хочется думать, закрыл свои распаленные глаза счастливый, найдя расколдовывающее слово, развеявшее перед ним те самые чары мира, за которыми пустыня, «мертвые души», и в пустоте вой и свист вийных сил! — в этот страшный канун пропада, потерянности, стыда, ожесточения и отчаяния, не мог он своей чичиковской меркой не спросить себя: «зачем и для кого выйдет какая польза от моей исповеди» — от «хвостиков», в которых все мое видение не в будущее, а в мое прошедшее.

Но ведь в этом прошлом и страда и жалость, то несгораемое ни на каком огне, что прорывается и светит белым самым жарким и самым пронзительным светом. Вижу и сквозь заклятые волшебные чары и сквозь трагедию Петра и Пидорки, Катерины и ее отца-колдуна, сквозь жалость Майской ночи с ее необъятным миром, когда и на душе необъятно, и боль — сквозь боль песни, боль, выбивающуюся в звуке, и боль в синем серебряном тумане.

А эта боль неразрывна со всей сущностью «всего» и мир начался в боли и очищение мира через крестную боль и родится человек в мир из боли и то, что назы-

вается «счастьем» — мое горькое счастье! — неуловимое, но вспоминаемое до боли.

Нет, Гоголь не мог отвергнуть Вечеров — историю «моей души» до этой жизни — до 19 марта 1809 г., рожденья Гоголя.

Отказавшись от своего несметного богатства слова, Гоголь сам погасил огонь вещей. Подвиг самосожжения ничтожен перед голодной казнью.

ГОРИЧАРЫ

Творчество Гоголя представляю себе, как ряд беспробудных сновидений с пробуждением во сне. Всякое творчество воспроизводит память; память раскрывается во сне.

В сновидениях Вечеров (1831—32) — Гоголь рассказывает о своем прошлом — о состоянии своего духа до дня своего рождения — до 19-го марта 1809.

«Майская ночь» завершает сновидения, начало их в «Сорочинской ярмарке»: открывается вина Красной свитки — в личине черта Левко «вывороченный черт» пожалел ясную панночку русалку, сотникову дочь, ее тоже выгнала из дому мачеха-ведьма, вот за эту жалость черта и погнали из пекла.

Явление Гоголя на земле не однажды. Его душа Ганна. Какими трепетными словами она вспоминает о своем возвращении на родную сторону.

«Знаешь ли что я думаю?? Мне все что-то будто на ухо шепчет, что вперед нам не видеться так часто. Недобрые у нас люди, все глядят так завистливо. Признаюсь, мне у чужих веселее было».

Память Гоголя извечной глубины; по памяти и зрение: среди русалок он различает с черным пятном — ведовской знак, «Тело было сваяно из прозрачных облаков, светилось насквозь при серебряном месяце и у одной внутри виделось что-то черное», а в серебре месяца какое-то странное упоительное сияние.

«Тяжелое чувство, полное жалости и грусти», возникает у «вывороченного черта» под чарами блистательной украинской ночи — мир необъятен и на душе необъятно, все торжественно и чудно — знакомая пя-

тигорская ночь, когда под звездами кремнистый путь блестит, и отчего-то «что же мне так больно и так трудно?».

По чарам, открытым зрению Гоголя, эту майскую ночь, осыпанную лунным серебром, к которому примешивается какое-то странное упоительное сияние, можно сравнить с ночью из сна философа Хомы Брута: его скок под ведьмой и полет на ведьме.

И эта ночь волшебнее прозрачной «Тиха украинская ночь» и по трепету близка «Выхожу один я на дорогу».

Замечено В. В. Розановым: «смехач», «вывороченный черт» Гоголь и «демон» Лермонтов.

С памятью зрение, а с глазом слух.
«Я знаю: я слышу, что он здесь».

Гоголь видел звуки. И это зрение звуков его выручало.

Одаренный необычайным даром слова, Гоголь барахтался в мешанине украинского и московского. Какой выпал ему труд выражаться. Но его работа над словом по слуху сделала его единственным в русской литературе.

Словесно бездарный Толстой, растрепанный и неповоротливый — русский во французской упряжке (синтаксис), — работая над словом неизвестно как и почему, но с одной мыслью ясности, при своем гениальном гоголевском зрении изобразил жизнь в глубину и даль, касаясь незримого простому глазу задального (закат в «Чем люди живы»).

Но только Гоголь делал словесные вещи.

Учиться писать по Толстому пустое дело. Это все равно, как учиться говорить по Столпнеру. Другое Гоголь: по Гоголю можно проследить его словесную постройку.

Гоголь верил в заколдованные места на земле. «Есть где-то в какой-то далекой земле такое дерево, шумит вершиною в самом небе и Бог сходит по нем на землю».

Таким заколдованным благодатным местом «Майской ночи» была для Гоголя Святая земля. И когда на Святой земле в Иерусалиме благодать не осенит его и слово, которым бы расколдовать зачарованный Вием мир и крепко закрепленный гоголевским словом, не откроется, Гоголь проснется в живом чичиковском мире. И скажет себе словом Толстого и лесковского Панвы,

что Святая земля не на земле, а в человеческом сердце и чтобы достичь Святой земли и получить благодать виденья и слова, надо очистить мутное сердце, а чистота сердца дается жертвой.

Из высших миров сновидений Гоголь проснулся.

«Приснись тебе все, что есть лучшего на свете, но и то не будет лучше нашего пробуждения».

Пробудившись, Гоголь принес последнюю жертву и, гася «Огонь вещей», уморил себя голодом. Это случилось 21 февраля 1852 г. в Москве. Жестокий, но единственный исход для «вывороченного черта».

АНДРОНЫ ЕДУТ

«Андроны едут... чепуха — белиберда — сапоги всмятку, это просто черт побери!»

Таков мир Гоголя — эта сумятица, слепой туман, бестолковщина, тина мелочей. И вот изволь «объяснять» по природе необъяснимую запутанную и перепутанную чепуху.

Мысли идут по зацепкам наперекор и мимо логической целеобразности: сцепление образов и суждений неожиданно.

«Все это честолюбие оттого, что под языком находится маленький пузырек и в нем червячок с булавочную головку. И это все делает какой-то цирульник с Гороховой».

«Точно какой-то демон, искроша весь мир на куски, без смысла и без толку слепил. Барахтайтесь на свою волю!»

Все совершается без «потому» и уж никак непредвиденно.

«Поди ты спроси иной раз человека, из-за чего он что-нибудь делает?»

Но как быть без объяснений? На все ищется всегда «почему». Поверхностное может быть объяснено, но глубже трудно понять. Всякое «потому что» упирается в воздушную пустоту и последнее «почему» или случайно

произошло, как пересечение лучей, или самопроизвольное «вдруг».

Все живое вышло из туманности и обречено жить в сумерках: постоянные столкновения, спор без взаимного понимания.

Единственная проглядь: боль.

★

Откуда возникает движение в этой Андроновой чепухе?

«Царапни горшком мышь, сама как-нибудь задень кочергу — и Боже упаси — и душа в пятки».

«Бабы — такой глупый народ, что высунь ей под вечер из-за двери язык, то и душа уйдет в пятки».

Страх перед «нечистой силой», и этой силой прожилин бескостный Андронов мир.

«Какие чудеса бывают на свете и до каких мудростей доводит человека нечистая сила».

Мир — это только мое чувство и образ его по мне.

«Свитка, положенная в головах, кажется свернувшимся дьяволом».

Пляшет на небе месяц — а видит его волостной писарь, выходя на четвереньках из шинка, мордой шаря землю.

«Все обман, все мечта, все не то, чем кажется».

Власть человеческих глаз: «сглаз». Отвести кому глаза глазом: «обморачивание». А самое страшное: глядеть закрытыми глазами.

Или мой глаз или вмешательство нечистой силы. Сам по себе человек ничего не может и один у всех жребий: страх.

Нечистой силе путь не заказан: Вакула влюбляется до чертиков, а волостной писарь напился до чертиков.

УМ

От Пушкина, не без Квитки-Основьяненко, Ревизор; от Пушкина «Мертвые души». Пушкин — легендарный друг и авторитет.

Гоголь сам по себе кипь и хлыв слов, без сюжета и без матерьяла.

Пушкин, вдохновив Гоголя, отравил его своим умом. Отрава сказалась после смерти Пушкина.

Душа Гоголя: плутня и волшебство.

«Боже мой, я писал как попало, а надо с толком. Я понял, что такое ум. Во всем сомневаться, только не в себе».

Пишется не для чего. Самое казалось бы намеренное приходит помимо воли. Пишется «как попало». Так написались «Вечера» и «Миргород». Оказывается, есть Пушкин: «ум». И Гоголь взялся за ум. И начинаются нисколько не смешные и без слез: «смех сквозь слезы».

Пушкину Гоголевское показалось смешным, для нас загадка: что смешного в «Вечерах» и «Миргороде»? Как остается загадкой: чем взяла современников мрачно-зубоскальная «Шинель»?

Гоголь и сам поверил и в смех и в слезы — ведь этак и приличней и значительней!

Придет срок и Гоголь осудит этот «ум». В «уме» — гордость, а надо смириться. И он задумал уйти под кров церкви. И еще 2-я часть «Мертвых душ».

Но и в церкви, и в земных праведниках (праведники «живого дела», Костанжогло) — насадить сад на земле, разочаруется.

«Мало вижу добра в добре».

А последняя запись:

«Если не сделаетесь, как дети, не войдете в царство Божие».

А что такое стать как дети? А надо свое сердце — черствое и его непроницаемое черное пятно сделать прозрачным.

А это дается подвигом — жертвой. А какую жертву мог принести Гоголь? Да сжечь свой «ум» и голодом себя заморить.

★

Гоголь не мог любить Божью тварь: человек создан по образу и подобию зверей, а черти по образу и подобию человека. Что же остается? Да только расплевать-

ся с этим Божьим миром, с зверообразным человеком и человекообразными чертями.

Гоголь не посмел это сказать в Божью правду, а написать написал и подписался.

★

Человек брошен на землю — «на свою волю»: живи и распоряжайся, смертный на земле переменяющейся, но тоже не вечной.

На глазах страстная повязка — призрачный мир со звездами, поцелуями, с мошенническими запятыми.

Страсти — двигатели и проводники жизни. Мертвые дугой значит живые страстные души, обреченные на уничтожение — смерть. Мертвой души в живой жизни не может быть.

Страсти прикрываются умом и умными словами.

Гоголь не любил, когда при чтении «Мертвых душ» смеялись: мертвые безответны.

Образ Мадонны — перед Чичиковым на балу — проблеск в другой бесстрастный мир, где нечем сгорать, а только светить и светиться, и нет бескорыстной чистой подлости корыстолюбивого человека перед властью. Такой широтой души может похвастать только человек — звери замкнуто корыстны. Зато и ум человека не в меру зверю.

ГОГОЛЬ И ТОЛСТОЙ

Чудесное не кажется странным, невероятное кажется вероятным, но непривычное — просто неправдашним.

(Рубка леса)

Толстой следует Гоголю: под его глазом все вылезает на свет Божий в смешном виде.

У обоих изощренность зрения: мир явлений — пестрота Майи, непроницаемая простому глазу, для них сквозная.

Знаки судьбы у Гоголя: трясущиеся сухие руки и паутина (Страшная месть), оплетающий плетень (Вий), крысы (Ревизор). У Толстого те же знаки судьбы в

черном и страшном предрассвете (Воскресение), в закрытой движущейся коляске князя Андрея (Война и Мир).

★

Растолковать таинства, как это сделал Гоголь, и разложить таинства, как это сделал Толстой, одно и то же.

Наша живая реальность-стена, отгораживает тот другой мир с загадочным, откуда появляется живая душа и куда уходит, оттрудив свой срок.

Хорошо или дурно живется на белом свете, через все и у всех неизменно жалоба. Без жалобы нельзя себе представить жизни. Чего-то, стало быть, всегда не хватает. И только через взаимную жалость можно себя почувствовать незаброшенным. А устроиться в жизни может только мошенник. Так будет по Гоголю: от Красной свитки до Чичикова.

И еще гоголевское: человек во власти страстей и дела человеческие такая постройка, поднеси спичку, и все вспыхнет соломой и ничего не останется — и только прах и пепел.

★

Никто так ярко не изобразил призрачность и колдовство, как Гоголь и Толстой.

В басаврючьих рассказах тайна «обморачивания», и в морок окликающий голос: «а что вы тут делаете, добрые люди?»

У Толстого Елена Безухова, мать Нехлюдова, за ее портрет заплачено пять тысяч рублей знаменитому художнику, и эта морока превращается в мумию, наполняет мучительно тяжелым запахом, который ничем нельзя было заглушить, не только всю комнату, а и весь дом, и который слышен был и через три месяца, и перед которым «тлетворный дух» Достоевского просто, как ничем не пахнет.

В призрачном мире Гоголя не вётла превращаются в мертвецов, а мертвецы в вётлы.

Толстой при всем своем зрении, гадая, не увидел ничего в зеркале и заставил Соню сочинить вещий образ умирающего князя Андрея.

Толстой со своим вопросом «почему и зачем?» не спросил себя, как могла Соня сочинить именно то, что для открытого зрения Гоголя было бы не сочинением, а действительность, которая обнаружилась из прорыва призрачной реальности. А не спросил себя Толстой потому, что зрение его безошибочно сказалось в сочинении Сони, другого Соня не могла и выдумать.

Этот прорыв у Толстого в снах и в метели, в снежной.

«С крыши соседнего сарая мело снег и на углу у бани крутило».

Этот прорыв чувствуется и в «развешенном треплющемся под ветром белье»: «у крайнего двора на веревке отчаянно трепалось от ветра развешенное замерзшее белье: рубахи, одна красная, другая белая, портки, онучи и юбка». И в мотавшейся от ветра полыни и соломе — все тот же прорыв.

Прорыв — и лицо судьбы.

«В первый день Пасхи после свидания с Масловой, Нехлюдов вышел на крыльцо. И остановился, стараясь сообразить значение всего того, что произошло. На дворе было светлее: внизу на реке треск и звон и сопение льдин еще усилились и к прежним звукам прибавилось журчанье. Туман же стал садиться вниз; и из-за стены тумана всплыл ущербленный месяц, мрачно освещая что-то черное и страшное. “Что же это, большое счастье или большое несчастье случилось со мной?” спрашивал он».

ТРОЙКА

«Здесь не мертвые души,
здесь скрывается что-то другое».

Гоголь

Гоголь богатый: не одна, а две тройки — Ноздрев-Чичиков-Манилов и Коробочка-Плюшкин-Собакевич.

Кто дальше своего носа ничего не видит, ему — дурак с подсахаренным разглагольством «маниловщиной» Манилов, шулер Ноздрев и врет, а Чичиков обер-мошенник. И такое подносное не искажает живой образ «произ-

ведения природы»: Россия — хохлы переряженные в кацапов — Манилов, Чичиков, Ноздрев.

Но глаза Гоголя уводят меня вдаль и мне видится: чистая мысль — Манилов, совершенство — Ноздрев, полнота жизни — Чичиков.

Все мы Чичиковы — цветы земли («чичек» по-турецки «цветок») — кому же из нас неохота жить по-человечески, не беспокоиться о мелочах, быть уверенным будет чем заплатить за газ, за электричество, за квартиру; хорошая книга — куплю, у меня все есть и гости голодом не уйдут, а выпрутся за дверь всыть, кликну вдогонку: «на лестнице не пойте!»

Каждый по-своему понимает полноту и довольство жизни, я говорю о себе — но ведь этот мой и ваш задор — Чичиков.

Чичиков — мошенник.

Если найдется другой способ добыть себе довольство жизни, слава Богу, но думаю я — прошло сто лет со смерти Гоголя и разве что изменилось? — что-то непохоже, чтобы только «по чести» люди выходили в люди. На вопрос «зачем я жил и чего достиг в жизни?» до конца не договаривают: какой же я мошенник?

По легенде о «Красной свитке» — черт выгнан из пекла на землю за какое-то доброе дело — этим беспризорным чертом, басаврюком, можно представить себе Чичикова.

Представить себе все можно, запрета нет, но разве это чертячье что-нибудь откроет о природе человека и о уставе человеческой жизни?

На театре черт у места, но на суде о человеческих судьбах пора прекратить забавляться «чертом».

Все поступки Чичикова наше человеческое и жизнь его сложилась по-человечески, его вдохновенная мысль о воскрешении мертвых родилась в душном подполье и пусть фрак на нем брусника с искрой — отблеск адского пламени, Чичиков человек — средний нормальный человек.

Да Гоголю и в голову не приходило делать из Чичикова басаврюка, как и под слово «мертвые души» подставлять какой-то другой смысл, кроме как юридический термин:

Чичиков нам ближе, чем редкий цветок: Манилов и Ноздрев. Маниловым и Ноздревым надо родиться, а Чичиковым родятся.

Чичиков труженик на трудной земле — прогнанный Богом из рая Адам — надо как-то устраиваться — жить не скотиной среди скота, а человеком.

Но Манилов — с природной чистотою мысли и чистым сердцем — Чичиков выкрутится — Манилов кончит плохо: такие по своей доверчивости непременно впутаются в грязную историю, и ошельмуют: «дурак, туда же!»

То же и Ноздрев — незавидный конец: его необузданный задор совершенства — гиперболы — непременно свернут себе шею или проймут сквозь и через — жизнь не сюперфлю, не гипербола, а вес и мера, да и свою бездарность плутовством не переменить, и себя чем же уверишь, коли «плохой сочинитель»?

И все вместе: совершенство (Ноздрев), полнота жизни (Чичиков) и чистая мысль (Манилов) — тройка-вихорь, не обогнать ни птице, ни аэроплану — тройка-взблеск и осияние грунтовых потемков жизни.

★

Ноздрев-Чичиков-Манилов сквозь лес и горы жизни под облака парят — воздушная тройка. Строят жизнь не они, а хозяева — — другая гоголевская тройка: Коробочка-Плюшкин-Собакевич.

Настасья Петровна птичьей породы, Михаил Семенович медведь, Степан паук. Паутина, берлога, гнездо.

Однажды паук приладил к маятнику паутину и часы остановились. И вещи — вещи растут по часам — стали разрушаться.

И не потому, что умерла говорливая жена и убежала дочь с штабс-ротмистром, для хозяина семья вещи, а семья за вещами. Наступил конечный срок росту вещам, почему? А стало быть час наступил и началось распадение в пыль. Вещи сгорели. Хозяин на пожарище. Собирает обгорелое, и с тем же самым задором, как пауком бегал по своей паутине, строя. Тут в расточительности распада слово скупой не подходит.

Так кончается всякое хозяйство: пожар возникает из самой природы вещей, поджигателей не было, и не будет.

Собакевич называет соседа мошенник, морит голодом людей — производительную живую силу. И как же иначе? Вещи сгорели и в чаду их живая сила, ну и пусть пропадает с обгорелым хозяином.

Плюшкин — венец человеческого хозяйства. Ни его дом с пробитыми глазами, ни комната в горелом, а подъезд, где бревна — мостовая подымается клавишами, и сад — джунгли: ни человека, ни вещей.

Коробочка-Плюшкин-Собакевич — эта хозяйственная Гоголевская тройка соблазнительна по своей паучиной прыти, но и грозная: она мчится в пропасть.

НОЗДРЕВ

смертный исторический

«А как было дело на самом деле, Бог его ведает, пусть читатель-охотник досочинит сам».

Гоголь

I

МОРДАШ

Я не средней руки щенок, не золотая печатка, я мордаш — крепость черных мясов, щиток-игла. Я не куплен, не выменен, я выигранный, я краденый.

Хозяин ни за самого себя не отдавал, но чернявый давно на меня острил зуб и я очутился в его задорных руках — «хоть три царства давай и за десять тысяч не отдам!»

Моя первая память: меня вынул из блошиной коляски обывательских крепостной дурак Порфирий и положил на пол; растянувшись на все четыре, я нюхал землю, а когда чернявый — мой крестный — взял меня за спину: «Вот щенок!» и приподнял над землей, я услышал свой голос — жалобно вою.

«Посмотри-ка, какие уши, потрогай рукой! — Нет, возьми нарочно, потрогай уши! — А нос, чувствуешь, какой холодный, возьми-ка рукой!»

Так мне и осталось на всю жизнь: всякую дрянь пощупать рукой, да еще и понюхай. Зато и окрестили меня Ноздрев.

★

Это был среднего роста, недурно сложенный, с полными румяными щеками, белые, как сахар, зубы и черные, как смоль, густые взъерошенные волосы, свеж — кровь с молоком, здоровье так и прыскало с лица его.

Его растительность просто наводила изумление: случалось: на победной голове его с одного боку торчит, а другая сторона приглажена ввыдер — рука одного из счастливых мошенников, мстя, прошлась! — а через день глядишь, обе половины сравнялись, и не узнать, за которую вчера таскали. Да у него на груди растет какая-то борода.

С набитой сапогом мордой — на люди показаться неприлично — огня не зажжет: луна.

И с каким завоем под гитару, мая одинокий вечер, выводится чувствительный припев:

Поцелуй меня, душа,
Смерть люблю тебя!

Из собашника тем же маетным воем отзовется любимая пара брудастых.

А уж захохочет — он хохотал тем звонким смехом, каким заливается свежий здоровый человек, у которого все до последнего выказываются зубы, дрожат и прыгают щеки. И сосед за двумя дверями в третьей комнате вскидывается со сна, вытаращив глаза: «Эк его разобрало!» Он хохотал во все горло, заливался, как Черкай, прославленный за бочковатость ребер и комкость лап, вот треснет или вот лопнет от смеха.

Мадам Ноздрева томная блондинка с лебедиными ногами, упорная сразу и уступчивая до отказа себе — в брата Мижуева; Мижуев — белокурый корректор, справщик «пуль» черномазого мужа сестры. По своей комкой природе разбитной и вертлявый, Ноздрев поразил ее статуйность: она была по уши влюблена в драгунского поручика Кувшинникова, а вышла замуж за

Ноздрева. Она не успела принять участия в споре губернских дам: «продолжительна ли женская любовь или нет?» — в первый же год она родила двойню и отправилась на тот свет.

За детьми присматривала смазливая нянька — нянька была точно смазливая, вот когда сами лезут навязшие в зубах: кровь, сахар и молоко. Она называла барина: «мой пушистенький барин» и ртом так делала, точно ела что-то вкусное и с пенкой. А и вправду он был шерстявый: кроме грудной еще от пояса спускалась передним хвостом борода.

Если бы не эта смазливая нянька, он и не заметил бы свое потомство — растут два щенка.

Прямодушный, он мог бы сказать про себя по искренней совести:

«На потомство у меня нет нюха!»

На ярмарке, когда ему подвезет фортуна, напасть на мошенника-простака, счастье так и колотит, на то и ученые карты, обыграл, денег полны карманы, он не скавалдырник, он пойдет по лавкам — накупит всего, на что только упадет глаз, а глаз не дурак.

За хомутами — это совесть: в его конюшне пустые стойла, платок няньке и сейчас же глаз ведет на жеребца, жеребец, изюм, серебряный рукомойник...

Он знал имена всех своих густо-псовых и чисто-псовых, муругих, черных с подпалинами, полово-пегих, муруго-пегих, красно-пегих, черноухих, сероухих, — а как няньку? Он не сказал с ней слова и единственное, по глубине и значению, как «люблю», западет ей в память: переурчав, он скажет: «кончай».

Стреляй, Обругай, Порхай, Пожар, Скосырь, Черкай, Допекай, Припекай, Северга, Касатка, Награда, Попечительница, все они при виде хозяина, пустив вверх хвост («правило»), летели к нему навстречу и, положа лапы на его плечи, подпрыгивали лизнуть в губы. Он стоял с добродушным оскалом, как отец среди семейства.

Его надо только приласкать и он пойдет за вами, хоть на край света.

Мир его цветной: цвет приборного сукна драгунского мундира — желтый, зеленый, голубой, малиновый, белый и оранжевый.

В ушах шарманка с бойкой скачущей дудкой высвистывает, когда давно перестали вертеть: «Мальбрук в поход поехал».

II

СУБТИЛЬНЫЙ СЮПЕРФЛЮ

По своей цыганской природе Ноздрев обуян неугомонным бесом, зорький и бойкий, что выражается в страсти к мене — игра в перетасовку вещей — ружье, собака, лошадь, и пари и бьюсь об заклад. А по своей природе любопытного смертного одержим демоном совершенства с замысловатым именем субтильный сюперфлю, высшая степень совершенства.

«Я держу на привязи волчонка. Вот волчонок. Я его нарочно кормлю сырым мясом. Мне хочется, чтобы он был совершенным зверем».

Так и во всем он хочет, чтобы было совершенным, «во всей форме».

Он один из всех понял, какая в Божьем мире мелочь — дрянь и жизнь смертного убога — дрянь и сам смертный, как и его душа, ничего не стоит, пустяки — дрянь.

«У меня были голубые и розовые лошади! А вся эта серая дрянь, подлецы и мошенники "честные люди" — поднимают меня на смех: чепуха! вру без всякой нужды, я заврался — Ноздрев "пули льет". Да ведь это вам врется в вашей плутне и мошенничестве».

III

ПУЛИ ЛЬЕТ

Ноздревские пули льются в «эмпиреях» и на другой день по напору страсти к совершенству.

– Ярмарка была о т л и ч н е й ш а я. Сами купцы говорят, что н и к о г д а не бывало такого съезда. У меня все, что ни привезли из деревни, продано по самой в ы г о д н е й ш е й цене.

— Веришь ли, что офицеры, сколько их ни было, с о р о к человек одних офицеров было в городе, как начали мы пить...

— Шампанское у нас было такое, что перед ним губернаторское? — просто квас. Вообрази, не Клико, а какое-то кликоматрадура, это значит двойное клико. И еще французское под названием «бо-бон», запах — розетка, и все, что хочешь. После нас приехал какой-то князь, послал в лавку за шампанским — нет ни одной бутылки во всем городе: все офицеры выпили. Веришь ли, я один в продолжении обеда выпил семнадцать бутылок шампанского. — «Ну, семнадцать бутылок ты не выпьешь». — Как честный человек говорю, выпил. — «Ты можешь себе говорить, что хочешь, а я тебе говорю, и десяти не выпьешь». — Ну, хочешь об заклад, выпью.

— А сколько было карет, и все это en gros. В театре одна актриса, так, каналья, пела, как канарейка. Кувшинников, который сидел возле меня, «вот, говорит, попользоваться бы насчет клубнички». Одних балаганов, я думаю, было пятьдесят. Фенарди (балаганный танцор) четыре часа вертелся мельницею. (Влет-вразвертку).

Гнедой жеребенок, на вид неказистый, Ноздрев божился, что заплатил десять тысяч. — «Десяти тысяч ты за него не дал, он и одной не стоит». — Ей-Богу, дал десять тысяч. — «Ты себе можешь божиться сколько хочешь». — Ну, хочешь, побьемся об заклад?

В пруду водились рыбы такой величины, два человека с трудом вытаскивали какого-нибудь леща. — «Может, осетра?» — Нет, самый обыкновенный карп.

— Слепая крымская сука, ее годы кончаются, а два года тому назад, эта сука — мороз по коже подирает, брудастая с усами, шерсть стоит вверх, как щетина, бочковатость ребер, уму непостижимая, лапа вся в комке, земли не заденет. Сука, точно, была слепая.

— А вот на этом поле, Ноздрев показал пальцем на поле, русаков такая гибель, земли не видно, я сам своими руками поймал одного за задние ноги. — «Ну, русака ты не поймаешь рукой». А вот же поймал, нарочно поймал.

— Вот граница. Все, что ни видишь по эту сторону, все мое. И даже по ту сторону, весь этот лес, вон синеет. И все, что за лесом, все мое. — «Да когда же этот лес сделался твоим? Разве ты его недавно купил?» — Да, я

его купил недавно. — «Когда же ты его успел купить?» — Как же, я его еще третьего дня купил, дорого, черт возьми, дал. — «Да ведь ты был на ярмарке». — Эх ты, Софрон, разве нельзя быть в одно время на ярмарке и купить землю? Ну, я был на ярмарке, а приказчик мой тут без меня и купил. — «Ну, разве приказчик».

— Вот бричка, ее только перекрасить и будет чудобричка.

— Два подержанных ружья: одно в триста, другое в восемьсот рублей. Турецкие кинжалы, на одном, по ошибке было вырезано: «мастер Савелий Сибиряков».

Шарманка — чудная шарманка — «Мальбрук в поход поехал» — да не такая, с какими шарманщики таскаются по улицам и вымогают деньги, это орган посмотри нарочно, вся из красного дерева.

— Кисет — исторический: вышит какой-то графиней где-то на почтовой станции: «влюбилась в меня по уши». (Ноздрев не помнит, кто бы когда в него влюбился). «Ручка у графини была такой субтильной сюперфлю», что означает высочайшее совершенство.

IV

В ЭМПИРЕЯХ

В еде неприхотлив, было бы только горячо. Да и повар Ноздрева руководствовался не столько матерьялом, сколько воображением: что под руку попало, то и вали в кастрюлю, все равно, всегда вкус какой-нибудь выйдет.

Но в винах Ноздрев знает толк: и сам может и гостей сумеет уважить. «Вино проводник в “Эмпиреи”: лежу под горой, глазами в гору, кругом по сторонам воздушная даль, я чувствую ее свежесть и нет краев, а руке все близко».

Пьется не рюмками, а стаканами: портвейн, го-сотерн, жгучая мадера — «лучше которой не пивал сам фельдмаршал»: мадера, заправленная ромом или водкой; французское вино — и бургоньон и шампаньен; рябиновка — вкус сливянки, а отдает сивухой, и заключительный бальзам с переменным названием. И голубые и розовые кони уносят в Эмпиреи.

Тут и происходят всякие истории, ни одно собрание, где он будет, не обходилось без истории, почему и зовется Ноздрев смертный исторический.

V

ДРЯНЬ

Я не двуличный, у меня нет двойных мыслей, я прямодушный, я открыто подхожу к каждому смертному и говорю искренно, что на уме. Я с нескольких слов перехожу на ты: я поверил! — я хочу совершенства не только в вещах, а и в человеке.

По Гоголю смертный — существо любопытное и доверчивое. А я говорю: дрянь. И душа его — вздор, пустяки, дешевка, черт-знает-что; дрянь.

Первый подлец Собакевич: грубый, не держит карт, и вина в его доме не найдешь. Первый плут и мошенник лавочник Понамарев: в его лавке ничего нельзя брать, в вино подмешивает всякую дрянь, сандал и пробку, и бузиной, подлец, заправит, такой же и откупщик и эта анисовая старуха: подавая мне рюмку анисовки, она низко поклонилась, как поклонится у Достоевского в «Подростке» мать; она запросила за водку втридорога и, получив всего пятиалтынный, не осталась в убытке, еще раз поклонилась, да еще побежала отворять мне дверь. И я кричу всей этой дряни: «Врешь, врешь, пари держу, голову ставлю, врешь!»

Единственное исключение драгуны: штабс-ротмистр Поцелуев и поручик Кувшинников. Все наши губернские, от прокурора до капитан-исправника, скряги, так и трясутся над каждой копейкой, а эти во всей форме кутилы, они и в гальбик, и в банчишку, и во все, что хочешь. Поцелуев бордо называет просто бурдашкой: «принеси-ка, братец, говорит, бурдашки!» А какой, если б вы знали, волокита Кувшинников. Мы с ним были почти на всех балах. Одна была такая разряженная, рюши на ней и трюши и черт знает чего не было. Я думаю себе только: «черт возьми!» А Кувшинников, т. е. это такая бестия, подсел к ней и на французском языке подпускает ей такие комплименты... Поверите ли, простых баб не пропустил. Это он называет: «попользоваться насчет клубнички». Мы все бывали вместе. И тут попался нам поме-

щик Максимов, дрянь, но сначала, как водится среди приятелей, оподельдог-иваныч, свинтус, свинопас, скотина и не помню, за какую его ростепель — и было б ему на глаза не показываться, — я его выпорол: Кувшинников и Поцелуев держали, а я порол.

А вот мне снится, меня самого разложили и, как последнюю дрянь, высекли. И вообразите кто? — Кувшнинников и Поцелуев.

Но ведь чем мерзее сон и неожиданнее сонное происшествие, тем он значительнее, этот сон врезался мне в память, и я задумался.

Или счастье, или фальшь, или искусство.

Какое мне счастье! Проклятая семерка, да и девятка проклятая подстерегают мою удачу и падают вдруг, разбивая все мои надежды. И играть, как принято среди честных мошенников, играть безгрешно — во что я умею? Ни в гальбик, ни в банчишку, ни во что хотите. Да и сочинитель я плохой. И выходит, что я такая же дрянь, да, пожалуй, еще дряннее — они не понимают, а я все о себе понял. Но я хочу совершенства в вещах, совершенства в смертных, я хочу быть совершенным en gros сюперфлю.

В фортунку мне повезло: крутнул и выиграл: две банки помады, фарфоровая чашка и гитара («Поцелуй меня, душа, смерть люблю тебя»), еще поставил и промотал еще своих шесть целковых. Попробовал счастье — метали банк. Верите ли, никогда в жизни так не продувался. Ведь я на обывательских приехал. Посмотрите нарочно в окно, видите, какая дрянь. Если б вы знали, как я продулся! Не только убухал четырех рысаков, на мне нет ни цепочки, ни часов. И нечего оправдываться, дрянь. И никогда не соглашусь на эту дрянь. Я человек, слышите! Я буду зубами защищать свою мечту сюперфлю!

VI

ХЕР-СОНСКИЙ ПОМЕЩИК

«Хер-сонский помещик» только звуковое совпадение с Херсоном. На географической карте Хер-сон еще не обозначен: большие пространства населены мертвыми душами. Мертвых наторговал Чичиков, и они живут, как смертные, по вдохновению Чичикова: дан же человеку на что-нибудь ум!

С Чичиковым Ноздрева свела судьба. «Он приехал Бог знает откуда, я тоже здесь живу». С первого взгляда Ноздрев почуял, что это мошенник — на первом дереве следует повесить.

Согласие Чичикова ехать к Ноздреву закреплено было поцелуем. В поцелуе ясно прозвучало и Ноздрев прочитал: «заеду-ка я в самом деле к Ноздреву, чем же он хуже других? такой же человек да еще и проигрался. Горазд он, как видно, на все. Стало быть, у него можно даром кое-что выпросить». Ноздрев поставил его на одну доску с Поцелуевым и Кувшинниковым, — и как ошибся: да ведь это мелкий мошенник, никакой разницы от прокурора и всех губернских.

Мелочь Чичикова обнаружилась, когда Ноздрев начал свою: за сколько и каких вещей он отдаст мертвые души. Чичиков выражался истинами: «всему есть границы», «зачем приобретать вещь решительно ненужную»; «не следует подвергаться неизвестности». Ноздрев предложил в банк: на карты всех мертвых и шарманку. — «Не охотник». «Отчего же не охотник?» — «Потому что не охотник».

Такой ответ кого не выведет из терпения и Ноздрев выразил ему все свое негодование.

— Дрянь же ты! Фетюк просто! Я думал было прежде, ты хоть сколько-нибудь порядочный человек, а никакого не понимаешь обращения. С тобой никак нельзя говорить, как с человеком близким. Никакого прямодушия, ни искренности. Совершенный Собакевич, такой подлец.

Ноздрев пугнул сеном — без овса обойдутся его лошади. (Санкция!). Ужинали молча. «Не хочу и доброй ночи желать тебе!» сказал Ноздрев. Блошиная жгучая ночь: Ноздрева выпороли. Наутро шашки. «Предлагаю начисто: выиграешь, твои все, без мены, без денег: души идут в ста рублях». Чичиков на половине игры спутал шашки и отказался продолжать. Да, Ноздрев плохой сочинитель, рукавом работать, только детям в стать. «Это по ошибке!» сказал Ноздрев, вспомнив свои турецкие кинжалы тульского изделья. «Я не плутовал, а ты отказаться не можешь, ты должен кончить партию. Я тебя заставлю играть!» — «Нет, брат, дело кончено, я с тобой не стану играть». «Так ты не хочешь играть? Нет, скажи напрямик, ты не хочешь играть?» И белые, «как

сахар», зубы сверкнули из кровью налитого рта. Наголо халат распахнулся. Но Чичиков успел схватить его за руки и держал крепко. — «Порфирий! Павлушка!» И это был не крик, это был визг взбесившегося мордаша. Чичиков выпустил руки. «Бейте его!» Ноздрев схватил черешневый чубук. «Дрянь, горько подумалось, говорит мне в лицо, что я дрянь, а я и есть дрянь. — Бейте его!»

Проклятая Гоголевская тройка! «Неожиданно звякнули вдруг, как с облаков задребезжавшие звуки колокольчика, раздался ясно звук колес подлетевшей к крыльцу телеги, и отозвались даже в самой комнате тяжелый храп и тяжкая одышка разгоряченных коней остановившейся тройки».

Чичиков, как гад, выскользнул на крыльцо. Но все равно никакой капитан-исправник не помешает, Ноздрев добьет. И это случилось на балу у губернатора, на глазах всех губернских подлецов и мошенников.

И это вовсе не «по страстишке нагадить ближнему», как объясняет сам Гоголь, — Ноздрев, завидя Чичикова, кричал в восторге: «Хер-сонский помещик! Торгует мертвые души! Хер-сонский помещик! И это вовсе не со слюнявой пьяни, это голос из Эмпирей: «Если бы вы сказали — вот я тут стою и вы бы сказали: Ноздрев, скажи по совести, кто тебе дороже, отец родной или Чичиков: Скажу: «Чичиков! Ей-Богу!» и полез целоваться — поцелуем закрепить восторг перед необыкновенным — три миллиона мертвых душ! — воскрешение мертвых «сюперфлю во человецех».

Ноздрев был так оттолкнут, что чуть не полетел на землю, но и Чичиков не удержался, резко перевернулся и, пробив головой паркет, ухнул в сырой крысиный подвал — туда, на суд смертной дряни: 240 пиявок к виску!

ВОСКРЕШЕНИЕ МЕРТВЫХ — ЧИЧИКОВ

Детство, отрочество и юность

В «Мертвых душах» Гоголь продолжает легенду «Красной свитки»: черт за какое-то доброе дело был выгнан из пекла на землю.

Это доброе дело, как выяснится в «Майской ночи», жалость: Левко в личине черта — «вывороченный» черт

пожалел панночку-русалку. Человеком в красной свитке околачивался этот преступный черт в Сорочинцах, потом на старой Опошнянской дороге в виде Басаврюка, чаруя и наводя на грех, потом в красных огненных шароварах гулякой — Запорожцем и, насолив деду, куда-то сгинул.

Гоголь рассказывает из своей райской памяти о мысли-смерти (Старосветские помещики) и о своем прошлом: о невольном преступлении (Вий) и о своей «преступной любви» (Страшная месть).

И вот он снова появляется, но не в захолустье, а в губернском городе, ближайшем от столиц, можно думать, на родине Хомы Брута.

Я узнаю его по отблеску «красной свитки»: на нем брусничный с искрой фрак, на шее радужная вязаная косынка, в глазах телескоп, из носу труба, под фраком сабля, в кармане серебряная с финифтью табакерка, на руках перчатки, — чувствительные щупы, под мышкой Duchesse de La Vallière «Réflexions sur la miséricorde de Dieu» в русском переводе «Размышления о Божиим милосердии герцогини Лавальер», по-французски он знает только звук «tiens!» — в Лавальер засунуто послание в стихах Вертера к Шарлотте. На ногах сафьяновые сапоги — Торжок: резная выкладка всяких цветов.

В шинели из больших медведей, крытых коричневым сукном, на голове теплый картуз с ушами, он выступает, как «князь мира сего»: поп снял перед ним шляпу. Из смертных только одной Коробочке была открыта его демоническая природа: накануне его приезда ей приснился черт — рога длиннее бычачьих, в чем она и убедилась, заглянув поутру в гостиную, где на смятых пуховиках в ярком солнце нежился он во всей своей натуре.

Павел Иванович Чичек.

Имя собирательное, фамилия малороссийская. «Чичек» по турецки «цветок», писарь в Нежине описался и из «Чичека» вышел «Чичик», а Гоголь для московского полнозвучья прибавил «ов». Так и получился: Павел Иванович Чичиков. Посмотрим, что-то будет.

Явление паночки-русалки, как напоминание о преступлении, встретится дважды: в первый раз, когда в смертельной опасности выскользнет он из-под кулаков Порфирия и Павлушки, и на дороге от Ноздрева к Собакевичу, его брич-

ка столкнется с коляской и он при виде золотистой незнакомки в восторге одуреет до потери слов, и во второй раз, когда в славе миллионщика под сенью бескорыстной подлости, на балу у губернатора, в благоухании дамских роз, фиалок и резеды, он узнает в губернаторской дочке свою золотистую незнакомку и, забыв все на свете, растерянный, будет с усилием припоминать о том, что он забыл?

Что осталось в нем от Басаврюка? Соблазн? Но он не погубил ни Петруся, ни Ивася, не обидел Пидорку. Чары? Да, он умеет всякого расположить к себе, но это не заразительная демонская веселость духа, а выработанный тяжелыми годами общительный прием.

Три исторические недели пройдут в губернском городе, ближайшем от столиц, среди «разбойников и мошенников», на трезвый каленого цвета взгляд Собакевича, «среди подлецов и дряни», на совершенную меру Ноздрева: губернатор с потупленным благодушием вышивает кошельки, а дай ему в руки нож и выпустите на большую дорогу, он себя покажет: зарежет за копейку; а вице-губернатор, что губернатор, эти Гог и Магог; полицмейстер Алексей Иванович — простодушный мошенник, предаст, обманет да еще пообедает с вами, «начитанный» — в вист без вылеза до поздних петухов; и «чудотворец»; председатель Палаты Иван Григорьевич читал наизусть «Людмилу» Жуковского и особенно удавалось: «Бор заснул, долина спит, чу!» и зажмурит глаза для большего сходства, а такой дурак, другого такого свет не производил, и за картами нижнею губой закрывает себе верхнюю помолчать, на пикового короля надеялся как на Бога; почтмейстер Иван Андреевич, автор повести о Капитане Копейкине, масон, настольная книга «Ночи» Юнга Штиллинга и «Ключ к таинствам натуры» Эккартсхаузена, вдался в Ланкастерскую филантропию, цветистый в словах и «уснащениях» словечками, насмешливый, бритва, а питается экстренной экспедицией, знает, когда в неурочный час закрыть контору — мошенник; весь город — мошенник на мошеннике и мошенником погоняет, один порядочный человек — прокурор Моргун, да и тот свинья, очень черные густые брови, а левым подмигивает: «пойдем, брат, в другую комнату, там я тебе что-то скажу». А вокруг и сквозь

канцелярские — мухи (Любимое у Достоевского пауки и вошь, а у Гоголя мухи, сам величественный райский Днепр глотает мух!), народ семейный и добродушный: Антипатр Захарьевич, Илья Ильич, читатели «Сына Отечества» и «Московских Ведомостей», а кое-кто Карамзина, поклонники Коцебу игры Поплёвина и Зяблиной, удачливые, кое-как и фризовая горемыка. Из города дорога — чушь и дичь. И на земле — Бобов, Свиньин, Канапатов, Трепакин, Плешаков, декабрист Манилов с мечтой о «Человеке», душа всяких революций, «майский день, именины сердца, щи, но от чистого сердца», и заплатанный (предмет Гоголь стесняется назвать) Плюшкин и под ними дюжие крепостные рабы — Михеев, Милушкин, Степан Пробка, Еремей Сорокоплёхин, Максим Телятников, Петр Савельев Неуважай Корыто, Иван Колесо, Коровий Кирпич, Григорий Доезжай-не-доедешь, Фетинья, Акулька, Палагея, Агашка, Хивря. Почерневшая дорога, — зеленые поля, босой, залепленный свежей грязью в нагольном тулупе, от которого несет тухлой рыбой, острожная бродяга пророк, некрасовский Влас, каркающий пришествие Антихриста, и мчащаяся неизвестно куда Русь — вихревая смильная песня и бахвальство. И сама гоголевская поэма, которая крепко держится на гвоздях русской пословицы, а слова департаментского канцелярского просторечья и малороссийских оборотов впихиваются прямо в рот, и серебряные трубы киевской словесной выспри... но что ему до русской литературы, которая вышла из этой поэмы, до мечущейся Руси, и что соответствует или не соответствует гражданским постановлениям и дальнейшим видам России, у него один задор: очеловечиться — занять место в первом ряду среди мошенников, и довольная жизнь — цель всех его проделок — сотрет память о пекле — родине его, куда пути ему нет.

★

Я червь мира сего. Средней руки. Все в меру: и рост и размер — ни толстый, ни тоненький; и голос — говорю не тихо, не громко. И возрастом — не молодой, но и не старый. Правда, сморкаюсь и чихаю громко, что среди простых принимается за положительность, говорят:

солидный — а это ведь что тоже средний. И чин у меня ни низкий, ни высокий — коллежский советник. Круглый подбородок, круглый живот. И трезвый: не пью и не курю.

Когда-то говорили про меня: «заманчивая наружность», а теперь я сам скажу: «мордашка».

Глаз зорок — сквозь и через. Обоняние тонко — различу огуречный рассол под яблоком, и в падали прослойку. Всякая падаль меня оскорбляет, тоже и в словах и грубость и непристойное и сам я, даже в мыслях: моя опрятность сквозная и только дважды прошибся на Ноздреве. Осязание — «чертов сын!»

Гоголь называет меня подлецом.

Назвать себя неудачник... но что же это, что я и в который раз ткнулся носом в помойку?

Гоголь говорит, что в каждом из нас есть часть Чичикова. Стало быть, такова природа человека, все подлецы, или, как скажет коридорный, мошенники. Впрочем (любимое у Гоголя: «впрочем», «между тем» и «черт-знает-что»), по Ноздреву первый подлец Собакевич, потому что не держит карт и вина, а по Собакевичу первый разбойник и лицо разбойничье губернатор, потому что его повар провизию покупает на рынке: купит кота, обдерет шкуру и подаст к столу, вместо зайца.

Мне нечего гоняться за правдой, как за мясистой белугой: правда одна — без мошенничества ничего не достигнешь. И нечего таращиться, и что вы на меня так взъелись? Да, мошенничество — путь жизни, а евангелие — костюм или нажравшись баранины, пойдешь на собрание общества покровительства животным.

Я не фокусник и не изобретатель. Я не жандармский полковник, единственный который из всех почтенных и почтеннейших разбойников попал в самую точку, определив меня «ученый», этот полковник на балу у губернатора за ужином, когда все засахарились, поднес даме, приятной во всех отношениях, на своей обнаженной шпаге тарелку с соусом. Я и не англичанин Времонт, который Времонт после войны — все войны истребительные — изобрел искусственные деревянные ноги с особым механизмом: если нажать едва заметную кнопку, и эти ноги уносили человека Бог знает в какие места, так что после и отыскать его негде было.

Есть вещи, друг Горацио... скажу по-русски: «в натуре находится много вещей неизъяснимых даже для обширного ума». «Чего уж невозможно сделать, того никак невозможно сделать». Не правда ли? А я разрушу эту истину: мертвые — мечта — осязательно войдут в круг моей жизни, моей, полной жизни, не какой-нибудь мухи, которую легко задушить пальцем, а человека.

ПОДПОЛЬЕ

Жизнь его начинается с мыши, мышь толкнула его мысль. Матери он не помнит, ни разу не видел ее. Отца, да. Жили они на хуторе в срубе. Три окна. Никогда не раскрывают: паутиной разрисованы, а зимой забиты снегом. И кто это из крайнего окна, какая печаль засматривает сюда?

— Не лги!

Отец, вздыхая, поворачивается от окна и продолжает свой шлёпанский путь — вязаные хлопанцы на босу ногу.

«Не лги», выводит Павлушка, черня бумагу и пальцы.

Шлёп подхлестывается кашлем, прошлёпывал от дверей к углу, там стоит песочная плевательница — приманка мыши.

«Послушествуй старшим, — выводил Павлушка затверженную пропись, — и носи добродетель в сердце».

От плевательницы отец возвращается к двери, а от двери хлопанцы вылязгивают к мутному живому окну. И вздыхая стоял упершись выпытывающим глазом в неутешную и горькую печаль.

— Не лги!

«Не лги, снова начинает Павлушка пропись, послушествуй старшим и неси добродетель в сердце».

Но разве можно сделать руку послушной?

Живая рука непременно смажет букву и выудит из кляксы закорючку. Скрипучее перо, затихая, пускается вплавь. Хлопанцы лязче. И отец очнулся.

— Опять дурака валяешь!

И краюшек уха Павлушки скрючивался больно ногтями длинных пальцев.

Это непослушная рука, обреченная на ровную, отчетливую пропись, наперекор скрюченному хрящику ушей, обернется в деятельную мысль, что только игрой

в послушание — «я немею перед законом!» — а не послушанием Закону, можно достигнуть в жизни пространств: сам себе закон.

Отчего умерла мать? В родах или зачахла под длинными пальцами упреков? Слово «мать» в срубе не произносилось, а только «Пресвятая» сквозь вздох отца.

Смутно помнит крестную, но не как «тетка Настасья Петровна, сестра матери», а по прозвищу «Пигалица».

Эта «Пигалица» коротконожка, взглянув на новорожденного, была глубоко разочарована: Павлушка вышел совсем не по ее, как она думала: не в бабку со стороны их матери — «Да он не в мать, не в отца, а в прохожего молодца».

И про это она повторяла всякий раз в срубе. В самом деле. Павлушка кубыш, ничего с отцом: отец сухой, длинный, носатый. Пигалица брезгливо смотрела на крестника: «выблядок».

За повторный отзыв о сыне, что была сущая правда, Пигалицу отец турнул:

— Если ты еще раз покажешься мне на глаза, я тебя в бараний рог согну и узлом завяжу! — заступился он за самого себя с той самой злобой, с какой свертывал сыну уши.

Пигалица обиделась и больше не показывалась.

В комнату просовывался горбун карлик, запрокинутая голова его шарила глазами потолок. Этот горбун был родоначальник единственной крепостной семьи Чичиковых, отец Селифана и дядя Петрушки. И когда отец, согнувшись в бараний рог, отшлепывал за горбунком, носом стуча по горбу, из угла к тому углу, где плевательница, пробегала мышь на водопой.

«Не лги. Послушествуй старшим и носи добродетель в сердце».

Останется на всю жизнь, как особая примета: левое ухо с защипкой.

«Вот прокурор! жил-жил, а потом умер!»

И в бесконечной похоронной процессии за каретами, за пустыми дрожками гуськом, а наконец уже ничего не осталось.

И когда бричка Чичикова, выехав из ворот гостиницы, пошла покачиваться и подпрыгивать, дома, стены, забор и улицы, подскакивая, уходили...

И когда за пустынными улицами потянулись длинные деревянныс заборы, мостовая кончилась — рябой шлагбаум — город позади, и ничего нет — поля неоглядные, дорога.

И Павлушкина пропись дописана, безголовому труду конец.

Прокурор лежал на столе, не подмаргивал, но бровь была приподнята: «зачем я умер или зачем я жил?» И мутное окно, через которое улетела душа матери, безутешно печалилось: «зачем?»

★

С первым весенним солнцем и разлившимися потоками повез отец Павлушку в Нежин в ученье: мухортая Сорока, горбун за кучера. И не сабля, не горячий калач — спутники Чичиковой брички, а холодный пирог и жареная баранина с ними в тележке.

Когда, покидая город после трех недель погони за мертвыми душами, Чичиков встретит мертвую душу — прокурора, который по скромности своей никогда ее не показывал, эта встреча с покойником добрый знак. А теперь, когда после десятилетнего хуторского подполья, тележка въехала в город, неженские улицы блеснули неожиданным великолепием и Павлушка обалдев разинул рот, Сорока, Сорока повернула в узкий, весь стремившийся вниз запруженный грязью переулок и бултыхнула вместе с тележкой в яму — это больше чем знак, это прообраз житейского моря — переломанной доли Чичикова.

МЫШЬ

Дом на косогоре. В доме между двумя в цвету яблонями начнутся годы ученья под глазом дряблой родственницы, ходила поутру всякий день на рынок и за вечерним чаем сушила свои промокшие чулки у самовара.

Это страшилище тетка потрепала Павлушку по щеке — первая ласка, памятная на всю жизнь.

Позади дома сад: рябина и бузина. В саду деревянная будка, крыта дранью, круглое матовое окошко; в

этой будке станет Павлушка мудровать над мышью, приручая непокорного зверка ходить в чужой воле.

Отец оставил полтину меди на расход и лакомства. Эта первая полтина основа капитала Чичикова, расходов не будет, а лакомства — кислые яблоки и горькая рябина.

И раскрыта была загадка прописи: «не лги».

— Угождай учителям и начальникам, — все пойдет в ход, всех опередишь, сказал отец, — не водись с товарищами, и только с богатыми. И копи копейку, что означало: «носи добродетель в сердце».

Мораль пишут не от душевного избытка и мудрости, а от своего порока: развратник, как известно, проповедует воздержание, скупой расточительность, злобный — мир и милосердие.

Отец за всю свою жизнь не скопил ни одной копейки, водился со всяким без разбору и никому не угождал, — после его смерти достанется его сыну в наследство: четыре безвозвратно заношенные фуфайки, два сюртука подбитые мерлушками и дворишко с семейством горбуна, что вызовет досадливое и покроется вечной памятью: «скотина».

Открыв сыну истинный смысл прописи, отец вернулся к себе на хутор продолжать заниматься психоанализом: на пустой лавке, вместо Павлушки, сядет мышь, вздрагивая ушами на шлёп хлопанцев.

А Павлушка на своей воле пошел по отцовской прописи, угождая учителям и копя копейку.

В нем обнаружились необыкновенные таланты: смётка, терпение и оборотливость.

Есть две приманки на человека: хлеб и забава — старые истины, но всякий раз открываются наблюдательностью и соображением.

В классе Павлушка подсаживался к богатым и за уроком проголодавшемуся высовывал из-под парты кончик пряника или горбушку хлеба, а раздразнив, продавал втридорога. Из воска вылепил похожее на птицу, красным выкрасил горло и получился снегирь. На этого игрушечного снегиря охотников оказалось немало и цена поднялась куда за живого: выгодно продал. Медная полтина пошла расти в рубли.

Очередь за мышью.

Он заманил ее не в мышеловку, а в клетку. Движения мыши были ему понятны, как хлопанцы отца. И начинается работа — все дело в уменье «расположить» — очаровать. Два месяца настойчивости и терпения: мышь становится на задние лапки или лежит, замерев, дожидаясь приказа ожить и подняться.

И мышь, на которую один кот лапа, послушная всех покорила. Пять рублей зашил Павлушка в мешочек — мышкины деньги.

Удавшийся опыт над приручением неприручаемого (это все равно, что меня перевести на французский!) оказался больше всяких рублей. Дрессированная мышь была началом и станет убеждением, что и любого человека и самого упористого Собакевича, можно взять, как мышь и сделать послушным своей воле. А воля Чичикова в его задоре — и в ком же из нас нет этого задора! — полнота жизни: независимость богача и просторный размах властелина.

Чичиков возьмет Манилова «пошлинами» — польза государству; Коробочку — «казенными подрядами», Собакевича — неуклончивостью. Плюшкина — «для удовольствия вашего готов и на убыток».

ЛЮБИТЕЛЬ ТИШИНЫ

Нежинский анекдот о учителе, который любил тишину, рассказывают, в училище, где он преподавал, завел он такое всеобщее затишье, нельзя было сказать, был ли кто в классе за его уроком или стояли одни пустые лавки.

У такого учителя учился Чичиков.

«Главное — похвальное поведение, говорил учитель, а способности — вздор». В живом выражении лица ему чудилась насмешка: смеялись над ним. И тем, кто поумней, плохо приходилось. «Я тебя знаю насквозь, как ты сам себя не знаешь. И хоть бы ты Соломона заткнул за пояс, я из тебя выгоню заносчивость и непокорство».

Эту тихую мышь Павлушка взял шелком. Не два месяца, а пять лет, корча идиотскую рожу, не дыша, он только смотрел на учителя. И по окончании училища, получил в награду книгу — золотыми буквами надпись:

«за примерное прилежание и благонадежное поведение»; и полное удостоверение во всех науках.

Учитель вскоре за что-то вылетит из училища, и попал в мышеловку всяких бед и унижений, что нисколько не тронет Чичикова. И ободранная затихшая мышь скажет, припоминая прилежного ученика: «обманул меня Павлуша!»

★

Сосед Чичиковых Кифа Мокиевич, устремлен в умозрение о тайнах природы, философ, ходя по комнате, он спрашивал:

«Вот, например, зверь: зверь родится нагишом, почему же именно нагишом? Почему не так, как птица? Почему не вылупливается из яйца? Ну, а если бы слон родился в яйце, какой толщины была бы скорлупа? Да никакой пушкой не прошибешь, нужно выдумать какое-то огнестрельное оружие пробить ее».

И вообразив себя слоном, залез в яйцо — пробовал и ногами топать и хоботом думал провертеть хоть маленькую щелку и выйти. Обломал себе все руки и задохнулся.

Его сын Мокей нашел отца забившимся под кровать, и уже холодный.

Отец Чичикова занимался психоанализом, как и откуда появился на свет Павлушка, он чувствовал, что Пигалица права, Павлушка не его сын, но кто же его отец и как это случилось? Из мутного окна смотрели на него глаза безответно.

И однажды потеряв последнее терпение, он поднялся в своих хлопанцах на лавку к самому окну — и растворил никогда не открывавшееся окно, вылез из окна и пропал.

Горбун нашел его на лавке — окно раскрыто, дул весенний ветер — он лежал вытянувшись во весь свой рост, рот растаращен, как рвут зубы, и на лице сидела мышь, насторожа уши и моргая усом.

Когда приехал Чичиков, отца похоронили. Ветошь он отдал своему сверстнику Селифану. Продал хутор за тысячу рублей. И, забрав с собой семью горбуна, вернулся в Нежин.

МРАМОРНЫЙ ПОВЫТЧИК

Заманчивая наружность, опрятный и приветливый начинает Чичиков службу в Казенной Палате.

Чиновники Казенной Палаты — плохо выпеченный хлеб: одна щека полезла к уху, а подбородок скошен для равновесия, верхняя губа к ноздрям и на ней треснувший пузырь, а заговорит этакое гоголевское человекообразное, так равно б вот-вот дернет тебя по морде. И без исключения все язычники: приносили жертву виноградному богу Вакху. Воздух нельзя пожаловаться, чтоб не ароматический.

Начальник — мраморный истукан, каменная бесчувственность, особенная способность смотреть во все и ничего не заметить, корчись от боли, пляшет ли смех, ни привета, ни участия. Неизменный дома и на улице.

Отличный от всех, Чичиков охаживал эту мышь со всех концов, примеряя испытанные средства приручить, но и сама приманчивая кожа копченого сала оказалась не крепче обожженной спички. Как ни угождай, не замечает.

Пробовал взять мелочами: вовремя подлить чернила, вставить в ручку новое перо, незаметно стереть со стола пепел — Гоголь подробно описывает — ну, хоть бы поморщился.

Можно было в отчаяние прийти и смешаться с дрянью, но упорство вылезти в люди заострило глаз и высобачило нюх: верная приманка нашлась — и мраморная мышь обречена.

У повытчика была единственная дочь: на ее лице, как на отцовском, всякую ночь приходил черт горох молотить. Началось с церкви — как было не заметить жадные глаза, да на нее до тех пор никто никогда не взглянул, а все мимо, как ее мраморный отец на подчиненных.

Чичиков влез в дом к повытчику, стал бывать — сыграл на отцовском чувстве: и в самом упорном кремне найдется чувствительная жилка. Вскоре переехал в их дом, сделался нужным человеком. Поговаривали о свадьбе, говорили, что в феврале. Невеста связала жениху радужную косынку, вот откуда радуга на Чичикове. «Папаша» выхлопотал для будущего зятя как раз освободившееся место повытчика. Мышь поднялся на задние лапки. Больше стараться нечего. Чичиков забрал свой сундук и пере-

ехал от повытчика на новую квартиру — поближе к должности. И со свадьбой дело замялось.

— Обманул чёртов сын! — вспомнил со злобой мраморный повытчик.

АЛМАЗ

Чичиков повытчик — судебный делопроизводитель — заметный человек. Приятность в обращении и бойкость в делах — драгоценный человек — алмаз!

Повытчик — хлебное местечко и высокие связи: подстрекательные письма князя Хованского, без них ни одно дело не решается.

«Князь Хованский!» — магическое слово Гоголевского времени и никакие революции не обезвредят этот громкий титул, разве на Страшном Суде, да и то, говоря по совести, какая порука!

С открытием «Строительной комиссии», куда деятельным и незаменимым сотрудником вошел Чичиков, окончились годы его самоотверженного воздержания.

Казенное здание — фундамент. И вот уже шесть лет выше фундамента стройка не подвигается: то ли не подходящая почва, а вернее климатические условия — погода. И в то же самое время на другом конце города поднялись «солидные» дома «гражданской архитектуры».

У Чичикова свой дом, свои лошади — пристяжная вилась колесом, любо посмотреть. Всегда опрятный, еще и craftsman наляг — и приналег на чистоту: особенное мыло для глянца кожи и губкой с одеколоном всякое воскресенье с головы до ног. Тоже и в наряде щеголь и привереда, тонкое голландское белье, меняет каждые два дня, а летом всякий день; сукно для фрака коричневых и красноватых цветов с искрой — да такого во всей губернии ни на ком.

Жизнь шла широко. Повар. Званые обеды. Гости.

Ноздрев в своем восхищении Чичиковым отзовется: «сатирический ум, занят учеными предметами».

На досуге Чичиков задумал сочинение, что-то вроде «воровского самоучителя». Книга называлась «Русские изобретения и изобретатели» (изобретатели, конечно, псевдонимы).

Он собрал весь опыт повытчика. Подробно излагались приемы, как в прижиме изворачиваться, соблюдая

«бескорыстие и благородство». Тонкость проделок иллюстрировала правила. Книга посвящалась князю Хованскому.

Чичиков стал уже задумываться о «опрятной» семейной жизни: ему мерещилась жена и дети — все как у людей. И вдруг «черт знает что» (любимое гоголевское выражение для неожиданного и кавардака), взлетел и носом.

Есть порода: увалень — его можно окорсетить; затем тюфяк — на него только пинком, и наконец, байбак — а этого ничем не сдвинешь.

Начальником «Строительной комиссии» был тюфяк. И все шло ладно, но пришел черед и тюфяка: растолкав, вытолкали. А на его место новый начальник — алмаз.

Этот алмаз из военных имел такую закоренелую привычку: он гонялся за неправдой, как за мясистой белугой. Вступив в должность, он безо всякой проволочки своего предшественника (Тюфяки всегда все откладывают) тут же распушил в пух Комиссию. И пошла переборка: чиновников от должности, а дома их в казну.

Чичиков вылетел вместе с другими. И скоро все устроятся, только не Чичиков.

Грозный генерал хвастался тонким уменьем распознавать способности, но, как военный, не знал Чичиково сочинение «Русские изобретения».

Секретарь не дурак, постиг управление генеральским носом. И в самом скором времени стал генерала водить за нос («без его ведома» прибавляет Гоголь) и все восстановилось, как было при Тюфяке, нашлись другие охотники и к концу года у каждого скопилась не одна «строительная» тысяча.

Но Чичиков не мог втереться.

Стало быть, есть такая сферическая алмазная мышь, хоть зубами за хвост тяни, не влезет в твою мышеловку.

Генерал и сам не мог сказать себе, что его оттолкнуло в Чичикове и гвоздем вошла отвратительная мысль, ничем не вытеребить: «не выношу эту угодливую морду!»

Самое большое, чего мог достигнуть Чичиков, уничтожили его послужной список, а о месте не могло быть речи.

Много есть неисповедимого в человеческой жизни, а самое загадочное «непочему».

Прощайте круглые приличные формы, привольная жизнь.

Куда-нибудь повыше все двери на замок или под носом захлопнут. При всей своей душевной чистоте он снова очутился в грязной обстановке: непристойные слова, ругань, грубость оскорбляли его, как Манилова, и страдала его чувствительность: ведь когда Петрушка, отзывавший непроветренным жильем, на ночь разувал его, Чичиков запихивал себе в ноздри гвоздику.

Две-три должности переменил он.

«Мать ты моя пресвятая, какой я стал гадкий!»

Или это алмазная мышь его самого загнала в мышеловку и у него опустились руки.

Русская пословица спасет его от уныния: «слезами горю не поможешь, берись за дело!» — и вывела его на дорогу.

Первое в таких случаях: надо переменить местожительство.

Чичиков переехал на границу в Волочиск и там поступил на таможню — давнишняя мечта: заграничные товары: — щегольские тонкие батисты, фарфор — искусство и бальзамическое мыло.

БРАБАНТСКИЕ БАРАНЫ

Чичиков у Коробочки смотрит поутру из гостиной, где провел ночь, — окно вровень с землею: он видит дворик со всякой живностью, свинья походя съела цыпленка, индейский петух сказал ему «здравствуйте» — все крупно и в крыльях, дальше за курятником огород: чучела, одна в чепце — узнает хозяйку, накрытые сетями яблони, и дальше избы, крытые свежим тесом, при избах сараи, в сараях запасные новые телеги.

Да ведь это не глаза, а телескоп!

Тоже и с руками — не человек, а черт!

Чутье собачье.

Чичиков обнаружил необыкновенные сыскные способности. Одно сказать: «ну-ну!» Он скоро набил руку и пошел в гору. Его самого занимала эта игра. У начальства он получил полное доверие за честность и бескорыстие. И скоро из простого таможенника поднялся до начальника.

Но кто это, где и когда только бескорыстием, только честностью добывал себе право широко развернуться? Можно занимать и самую высокую должность, да тут и захрястнуть. Чичиков это очень хорошо понимал.

Случай, который всегда все решает, наконец, подвернулся: испанские контрабандисты — испанские бараны, в брабантских кружевах на спине, переправлялись через границу. Чичикову было поручено открыть контрабандистов. Ему даны были неограниченные права и средства для поисков. Чичиков стакнулся с контрабандистами: бараний поход бойчее чести — 500 000 не валяются!

Всякий знает по своим проделкам: пока действуешь на свой страх, все сойдет, как затеял. Забыл Чичиков наказ отца добродетель: «не водись с товарищами». Или дело такое, одному голыми руками не схватишь, он взял себе помощника. И пропал.

Гоголь не говорит наверно, как оно произошло, а пропал.

Конечно, приятели выпили. Чичиков не пьющий, тем более. (Для Гоголя, как и Достоевского, всегда надо, чтобы поднять температуру.) За дележом из-за чего-то поспорили. Там где-то нелегкий зверь перебежал дорогу или вот тут черт сбил с толку. Слово за слово. «Попович!» сказал Чичиков. И оттого, что приятель был и вправду попович, обиделся. (Повторяется история с «гусаком» у Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича.) «Нет, врешь, я статский советник, а не попович, а вот ты попович!» и прибавил в пику для большей досады: «вот, мол, что!» (Магия интонации: как что сказано, крепче чего — это истина.)

Статский советник не прощаясь ушел. И написал донос.

Потом говорили, что ссора произошла из-за какой-то бабы. Старались чем ни попало нагадить один другому и уж было подговорено подкараулить вечерком и набить Чичикову морду. Правда, оба оказались в дураках: воспользовался клубничкой штабс-капитан Шишмарев, но тем не менее донос был написан.

Ноздрев в восторге перед совершенством Чичикова, уверял, что Чичиков фальшивомонетчик, что однажды у него сделали обыск и нашли на миллион фальшивых бумажек, немедленно опечатали двери и поставили ча-

совых. А наутро нагрянули проверить фальшивую фабрику, смотрят: ни одной фальшивой, все настоящие.

— За ночь все заменил настоящими.

Гоголь: «черт знает что!»

Но тут не Гоголи, а трезвые потомки Адама, мы, адамовичи с прихлопнутым воображением: Чичикова взашей, Статского советника в шею, и обоих — под суд.

Испанская мышь не то что из-под рук ушла, а и укусила.

ВОСКРЕШЕНИЕ МЕРТВЫХ

«Громада бедствий и буря испытаний», выражаясь не уличной галантерью, а киевской Берындой, обрушилась на Чичикова: его тайные сношения с испанскими контрабандистами всякому в глазах. Сорвавшаяся удача никогда не вызывает сочувствия, а только злорадство.

Брабантские деньги конфискованы, заграничное имущество описано — «движимые сердечной добротой» только и оставили ему шесть кусков мыла «для глянеца» щек.

Изворот ума, приятность оборотов, трогательность речи, — где покурил лестью, где сунул деньжонок, — обработал дело и увернулся от уголовного суда.

А дальше что?

«Кровные тысчонок десять про черный день», дюжина припрятанных голландских рубашек, да бричка, ездят холостяки и таможенники. Гнедой, Заседатель и Чубарый, кучер Селифан и лакей Петрушка, и это все. Вот смотрите: «Потерпевший на службе за правду!»

Почему же я?
Зачем на меня обрушилась беда?
Кто же зевает на должности?
Кому неохота приобретать?
Несчастным сделал ли я кого?
И чье огорчено сердце?
Несчастным я никого не пустил по миру.
Мать Пресвятая, за что?
Пользовался я от избытков,
брал там, где и всякий,
не воспользуйся, другой возьмет.
За что же другие благоденствуют,
а мое пропадай.
Я никого не трогал, я и мухи не обижу.

Я хочу, как и все люди, спокойной полной жизни. И какими глазами я теперь взгляну в глаза... —

Он представил себе «почтенного отца семейства», каких не бывает, потому что кто же устоит, «когда Прасковья Федоровна несет ежегодно», но о которых только и напишут в некрологе «почтенный» — И как мне чувствовать угрызения совести... я даром бременю землю и что скажут потом обо мне мои дети? И вспомнив о своем отце, с горечью ответил: — «Вот, скажут, отец скотина, не оставил никакого состояния».

Эту «скотину» Розанов не мог простить Гоголю. Но и то подумать, отец ли это Чичикову, вымещавший на его ушах свои сомнения в верности жены и свою обиду?

Статский советник, нерасчетливый сотрудник Чичикова в брабантском дележе, скрылся со своими «кровными про черный день» и говорят, где-то в глуши и захряснул. А Чичиков устоял. И не герцогиня Лавальер спасла его от уныния, а упор жизни, любопытство жизни, несмотря ни на что, много природой было закручено в его существе сил и эти силы выпирали и выпрыгивали наперекор всяким тискам и щелчку.

Деятельность — задор Чичикова.

Поступить куда-нибудь на службу нечего было и соваться. Оставалось «частным порядком» пролезать сквозь устроенных удачливых счастливцев.

Чичиков ходатай по делам — частный поверенный. Толчки от мелкой приказной твари и доверителей. Кажется, всего насмотрелся, но такого — впервые. Согнулся. А унижения и вынужденная выдержка: не крикнуть и не ударить, а стерпеть, зазмеили жалкую улыбку.

Вот где бы Достоевский показал всю свою изобразительную силу, рисуя боль человека, но Гоголь чужд упивам сентиментов. И этого не простит Достоевский своему учителю и не позабудет, как Селифан ударил кнутом мальчишку и пьяный предлагал посечься, и выместит в Опискине-Гоголе все свое негодование.

Семь лет исступленного мытарства.

За этот срок ходатая побывал Чичиков в Симбирске, Вятке, Пензе, Рязани — поколесил по России.

Россия — мошенник на мошеннике, разбойник на разбойнике, одно исключение, член Южного общества Манилов с лицом человека, что-то вроде дурачка, при-

том и с глушинкой; двухэтажные избы, с коньком шитых утиральников на воротах, из верхнего окна глядит баба с толстым лицом, а из нижнего, под ней, теленок и свинья, мужики — дурак на дураке, вот полюбуйтесь два дюжие болвана, рыжий и черный, дед Миняй и дядя Митяй, уселись, взобрались верхом на коренного и трут себе яйца, григоча; или эти, глубокомысляще рассуждающие о колесе чичиковской брички, выражаются на манер кума «Ночи перед Рождеством»: «ты думаешь», — чего на Москве среди простых никогда не скажут.

Гоголевская Россия перевитая звучными малороссийскими «думами» — но ведь только наваждением еще можно объяснить, как могла пропустить цензура этот смертный приговор царской России, этому кораморе, пространству которого удивляются за границей. Правда, автор заявляет, что все это дубоножие описано «сквозь незримые миру слезы»...

Толстой, насупясь, говорил о Гоголе, что предпочитает Марлинского и русского гофманиста Погорельского, автора «Черной курицы», «Лафёртовой маковницы» и «Монастырки»: еще бы для его барского слуха, какой лакейской звучала гоголевская уличная галантерея с французской сюперфлю. Аристократ Катенин, друг Грибоедова, переводчик Корнеля и Расина, без содрогания не мог слышать имени Гоголь: «сально и тривиально!» А между тем вся русская литература вышла из Гоголя и без «Мертвых душ» не было бы и «Войны и мира».

★

Чичикову было поручено похлопотать о залоге в Опекунском совете крестьян какого-то князя Хованского. Имение князя было расстроено, а князь задумал украсить свой дом в Москве по последней заграничной моде, деньги требовались немедленно.

Всем известно, ни справка, ни выписка без расположения не делаются, так было и всегда будет, как в частных делах, так и в общественных. Чичиков влил в глотку секретарю бутылку мадеры и рассказал о деле князя Хованского: Чичикова смущало, что из закладываемых крестьян в живых почти никого.

— Половина крестьян вымерло, сказал Чичиков, кабы не было потом придирки.

— Да ведь они по ревизии числятся?

— Числятся.

— Так чего ж вы оробели? и сам не подозревая, что умеет говорить в рифму, заметил: один умер, другой родится, а все в дело годится.

И Чичикова осенила вдохновеннейшая мысль, какая когда-либо приходила в человеческую голову: «воскрешение мертвых».

«Эх, я, Аким простота! ищу рукавиц, а они обе за поясом!»

Приобрети он тысячу мертвых; в Опекунском Совете за душу дадут 200 рублей, вот и капитал — 200 000. На мертвых теперь самый лов, этого товару с избытком — обжорный ряд: эпидемии — народу вымерло, слава Богу, немало! — помещики промотались, да всякий с радостью, а то изволь платить подушные, за мертвых не зашибешь копейку, а вот дают деньги — предмет невероятный!

Без земли ни продать, ни заложить. Земли у него никакой, отцовский хутор тогда еще из рук ушел. По счастью в Херсонской и Таврической земля дается даром, мертвых он купит на вывод, туда и можно переселить.

— И пускай они там живут!

Чичиков мечтал о устройстве мертвых воскрешенных им душ, как Манилов о живых, устраивая в воображении на призрачном мосту лавки с необходимым товаром для крестьян. Деревню для воскрешенных он назовет Чичкино по отцовскому имени по неисправленному писарем Чичиков, как в честь своего ангела, сельцо Павлово, Воскресенское тож.

Осенив себя крестным знаменем по русскому православному обычаю — этим Гоголь думал окончательно переодеть своих хохлов в нас, московских кацапов — Чичиков принялся за осуществление своего вдохновенного мошенничества.

Тройкой — Заседатель, Чубарый и Гнедой, за кучера Селифан, лакеем Петрушка, на ранней летней заре, выехала из Волочиска бричка по Киевской дороге. Сквозь утреннюю дрему в глазах Чичикова тянулись впереди, сопровождаемые вооруженной стражей, тихие толпы мертвых переселенцев.

Всю дорогу он был весел необыкновенно, посвистывал и, приставив к губам кулак, наигрывал губами как будто играл на трубе и, наконец, приподнявшись над пушистым грузинским ковриком, как над цветным облаком, затянул песню до того необыкновенную — он пел о «воскресении живых и мертвых»: он думал о себе — о полноте, разгуле широкой жизни и о невычеркнутых в ревизии оживавших мертвецах — Селифан слушал и, покачав головой, сказал: «Вишь ты, как барин поет!»

Густели сумерки. Тень со светом перемешивалась. Предметы переместились. Пестрый шлагбаум принял неопределенный цвет. Усы у солдата часового казались на лбу гораздо выше глаз, а носа не было вовсе.

СКВОЗЬ ПЕПЕЛЬНО-СИНИЙ ДУРМАН

МАНИЛОВ

День был светло-пепельный. Петух — голова проломлена до мозгу — горланил во все горло, похлопывая крыльями — одерганные старые рогожи. Парило.

Манилов вышел на крыльцо.

Его волосы — золотой налив, две раздавленные голубые косточки глаза, рот полураскрыт. Зеленый шалоновый сюртук.

«Если бы от дома провести подземный ход к пруду», подумал он, и вдруг очутился на пруду.

На зеленом пруду две бабы по щиколку в воде, заголя зад не замочить юбку, тащили за деревянные кляпы изорванный бредень. По вскриву губ, и как вцапывались глаза, можно было заключить, что бабы в ссоре и только занятые руки удерживают мордобой. В бредне запутались два рака и блестит плотва.

«Если бы, подумал он, через пруд выстроить мост!»

И не бредень с плотвой и раками, не картинно подоткнувшиеся бабы, в его глазах вдруг поднялся на пруду каменный мост: по обеим сторонам лавки, в лавках сидят купцы, продают всякую мелочь — товар необходимый в обиходе крестьян.

Голубые расплющенные косточки — глаза его вдруг сделались сладкие: мысль об улучшении быта крестьян осуществилась.

Скромный образованный офицер. Молчаливый. С глушинкой. Член Южного Общества (Союз Благоденствия). После декабрьских событий вынужден был выйти в отставку. Выслан в деревню, Маниловку. В первый год занялся устройством дома на английский образец: парк, пруд и беседка — «Храм для уединенных размышлений», куда ему так и не удалось заглянуть ни разу, везде он чувствовал себя в уединении. «Освободить» крестьян он не мог, но смотрел не как на крепостных, а вольных, если кому вздумалось погулять, просился у него заработать подать, его удивляла самая просьба. «Ступай!» говорил он, не спрашивая, куда и надолго ль и не справляясь, насколько нужен в хозяйстве. Хозяйство его не занимало, в поля он не ездил. Все держалось на грамотном приказчике из крепостных же. И дворовым жилось свободно, не жаловались, оттого и Селифан напился и потом поминал «хорошего человека».

Все это хорошо, свободно и чудесный воздух: в стороне синел сосновый лес. Но в деревне одичать можно.

Манилов женился.

Лизочка «монастырка», поклонница Коцебу. Ее герои Ролл и Кору. У нее особенный выговор, и это вовсе не институтское, а по природе: она говорила, словно б мелких мушек глотала, и было очень спокойно и любопытно следить за словами. Никакая хозяйка, да и Манилов не Собакевич. «Щи — но от чистого сердца».

У обоих чистое сердце и верное чувство.

Они живут восемь лет вместе, а ничего не изменилось. Самое изменчивое не глаз, не слух, а чувство потеряло время. Им всегда хочется сделать что-нибудь, друг другу «сюрприз». Если бы Манилов рисовал, все бы свои рисунки он дарил Лизочке. Часточку апельсина, кусочек торта, вишню — Лизочке. А Лизочка бисерный чехлик — у Гоголя на зубочистку, понятнее сказать — на стило. Конечно, именины и рождение отмечаются подарками. Тоже и особенные дни: начало весны, первый снег.

На столе у Манилова табак, и книга, второй год заложена на 14 странице — думаю, что не мистическая, а по экономике, и исписанная бумага, но это не счета, не деловые выписки, а неоконченные размышления — теперь он не пишет. На подоконниках рядами горки пепла: вытряхивает золу из трубки. Любимое времяпре-

провождение наблюдать ряды пепла — странная постройка, неожиданные переходы, ручейки и извивы дорог — все как в мысли от одного к другому, вдруг.

И когда Манилов весь уходит в пепельный роман, Лизонька незаметно подойдет к нему и обнимет. И поцелуй — можно не спеша выкурить голуаз.

Тоже и он, когда она сидит за работой вышивает или рисует маленькие цветочки-рамку — этот поцелуй по томности и глубине впору только поцелуям украдкой.

У них два мальчика, старшему семь, младшему шесть, Саша и Костя, а прозвища Фемистоклюс и Алкид, изобретение не Манилова, а учителя семинариста, с согласия Манилова: Манилов сказал, как говорил приказчику на его хозяйственные предложения: «Я и сам так думал». Манилов хотел бы видеть своих детей античными мужами, полководцами для славы России, и видит из старшего вышел дипломат-посланник.

В имени Фемистоклюс — «юс» из детского произношения и у детей по их нежному рту обыкновенно, и только у взрослых получается сюсюк.

В окно глядит синий лес, на стене голубенькие обои, пепельно-синие клубы дыма и сквозь голубые глаза.

Манилов в кресле, не выпуская изо рта трубку, осуществляет в призраках свои заветные мысли или сквозь дурман.

★

— Не от мира сего этот Эммануилов!

— Да ведь это князь Мышкин!

— Дурачок.

Гоголь: «у каждого есть задор: собашники, лошадники, знакомство с высокопоставленными лицами, “раболепство”, наконец, свистнуть кого-нибудь в морду, а Манилова характер — без задора».

— Николай Васильевич! а маниловское «парение» то, что назовется маниловщиной, а по Герцену и Бакунину «прекраснодушие». И «доверчивость», за что он прослыл «дурачком»: все, кого он ни встречает, «прекрасные люди», в каждом человеке он чувствует человека, без рассуждения, сердцем. И эта его человечность, это ль не задор?

К Чичикову потянула Манилова чичиковская обходительность. И то, что Чичиков, как и Манилов, страдает от грубости — такая природа: один пройдет мимо, а другой скорчится. Чичиков стал для Манилова «все, даже еще больше».

Чичиков смутился.

И еще больше смутила чистота мысли: она голубела в глазах Манилова.

И когда подошло к делу — с Манилова Чичиков начинает осуществление своей гениальной двойной мысли, «воскрешение мертвых», он покраснел, слова не выговаривались. «Я желаю иметь мертвых!» вырвалось, наконец, и он оглянулся. Манилов выронил чубук и разинул рот.

Чичиков почувствовал, что летит в пропасть и только ничем неистребимый задор вылезти в люди, вывел его к делу. Чичиков заплакал, вспомнив все унижения — «претерпел на службе за правду» и разъясня дело «мертвых», не узнал Манилова: перед ним стоял министр, в сжатых губах глубокое выражение: «не будет ли эта негоция несоответствующей гражданским постановлениям и дальнейшим видам России?» «Души», которые точно уже умерли, но живые относительно законной формы, Манилов, без всякой негоции, отдал Чичикову и успокоился на пользе государству: он сам заплатит пошлины по купчей.

Чичикову было удивительно, но он не сказал дурака, как скажет у Коробочки индейскому петуху, на неожиданное индейское «здравствуйте» — приветствие на его чох.

★

Манилов долго стоял на крыльце, провожая глазами отъезжавшую бричку. Давно синий лес спрятал дорогу, а он все стоял в тоске.

Все небо было в тучах. И такая тишина, страшнее всяких громов, и только б успеть укрыться. Упала капля — сейчас располыхнет и зашумит гроза.

Манилов прошел к себе. Уселся в кресло. Закурил. И думал о Чичикове, радуясь, что доставил ему небольшое удовольствие. Если бы им жить вместе, незаметно

проходили бы часы деревенской скуки, изучали бы какую-нибудь науку — памятники древней русской письменности, словарь Даля, и потом рассуждали бы о мыслях и словах.

Он думал о благополучии дружеской жизни и как соревнование друзей пробуждает мысли.

«Как хорошо было бы жить с другом на берегу какой-нибудь реки!»

И в глазах его через реку перекинулся мост. А вот поднялся и дом, тут они будут жить. Бельведер на доме необыкновенной высоты, видна Москва.

«Хорошо на свежем воздухе чаю попить».

Тут они сели в богатые кареты и поехали на собрание в общество. И там всех очаровывают своей дружбой. И государь, узнав о такой дружбе, пожаловал их генералами. И вмиг на плечах поручика Манилова и коллежского советника Чичикова заструились золотые генеральские эполеты. «Продать мертвых!» ударил черный голос Чичикова. И чубук упал к ногам Манилова.

Гроза разламывала, сверкая.

МОРОК

Рассказывают, что тунгусы, попав впервые в город, растерялись: ходить по улицам, легко заблудиться! — и полезли на крышу: с крыши и на крышу виднее.

Тунгус! так на нем и написано. Но попадаются и среди не тунгусов, с первого взгляда не отличишь, человек как человек, а попробуй с ним по-людски, и его с толку собьешь и сам не обрадуешься; оказывается, да он простой арифметики не знает и не обходя, прет прямо в стену.

Одни родятся в явь, другие в сон.

Для одних день и арифметика, земля, а тому ночному с глазами на морок, — что может дать земля, которая во власти дня? Да хорошего не жди, одна тебе во всем путаница, а награда беда.

Тунгусы, пробираясь по крышам, мало сказать, свернули себе шею, а будет вернее: ни знакомых не разыскивали, да и назад в тайгу к себе не вернулись.

Гоголь из ночи, среди людей тунгус, задумал дневной дорогой пройти в царство небесное. Что получилось, всем известно.

У Гоголя или сон или наваждение: морок или морока.

Морока под глазом цыгана (Красная свитка) или чумаков (Заколдованное место) или Басаврюка (Ночь под Ивана Купала). А морок — сон Ивана Федоровича Шпоньки, сон Чарткова (Портрет), сон пана Данилы и Катерины (Страшная месть), сон Левко (Майская ночь), сон философа Хомы Брута (Вий) и кузнеца Вакулы (Ночь перед Рождеством), сон городничего (Ревизор), сон деда и бабки (Пропавшая грамота), сон Ноздрева.

«Сны редко говорят правду». Сны Гоголя чистая правда. «Сон дурень». Да чего ж дурнее сна деда! Рассказу «Нос» дана форма сна, в котором дури не отбавляй, расплеснешь.

Да разве венец — «Мертвые души» не сплошная дурь? И вся жизнь человека в кругу рыл и дряни с просветом преступления не дурь ли?

I

НАВАЖДЕНИЕ С ГУСИНЫМ ЛИЦОМ И ДУРНАЯ МАТЕРИЯ

Сон Ивана Федоровича Шпоньки

Четырехступенной сон с толчками мгновенных пробуждений в мутную явь среди превращений.

Жена превращается в гусиное лицо, и это гусиное в комнате с четырех сторон замкнутой стеной, и трижды в саду: из шляпы, с платком из кармана и из уха с хлопчатой бумагой, как нательное — внутренняя стена. Под глазом жены и напялил на себя жену — безвыходно: «женат».

Тетушка превращается в колокольню, а скачущий на одной ножке женатый Иван Федорыч в колокол, что подтверждает, проходивший мимо, полковник — свидетельство бесспорное. А тащит колокол на веревке жена. Обставленный и обложенный женой, Иван Федорович — колокол должен вызванивать жену: жена заполнила его. Это самое глубокое погружение в сне.

Жена превращается в шерстяную материю — «материю-жену». Могилевский портной меряет и режет ее, нахваливая: «модная, добротная». Но портной откры-

вает глаза Ивану Федоровичу: «Дурная материя, говорит он, из нее никто не шьет себе сюртука».

Превращение жены в материю чисто сонное превращение с игрою слов: высокая, скучная, дурная материя.

Заключительный сюртук предостерегает: «облечься во что», значит, что-то обложит и вглубляясь, проникнет и заполнит — стена, платок, хлопчатая бумага и наконец, колокольный звон — женой, в жене, из жены.

★

«Слушай, Иван Федорович: я хочу поговорить с тобой серьезно. Ведь тебе, слава Богу, тридцать осьмой год; чин ты уже имеешь хороший: пора подумать и о детях! Тебе непременно нужна жена». — «Как, тетушка! вскричал, испугавшись, Иван Федорович, как жена! Нет-с, тетушка, сделайте милость. Вы совершенно в стыд меня приводите. Я еще никогда не был женат. Я совершенно не знаю, что с нею делать!» — «Узнаешь, Иван Федорович, узнаешь», промолвила, улыбаясь, тетушка, и подумала про себя: «куды ж! ще зовсим молода дытына: ничего не знает!» — «Да, Иван Федорович! продолжала она вслух, лучшей жены нельзя сыскать тебе, как Марья Григорьевна. Тебе же она притом очень понравилась...» — — — В это время бричка подъехала ко двору, и древние клячи ожили, чуя близкое стойло. — — — «Ну, Иван Федорович, я советую тебе хорошенько подумать об этом». — — — Но Иван Федорович стоял, как будто громом оглушенный. Правда, Марья Григорьевна очень недурная барышня; но жениться! Это казалось ему так странно, так чудно, что он никак не мог подумать без страха. Жить с женою! непонятно! Он не один будет в своей комнате, но их должно быть везде двое! Пот проступал у него на лице, по мере того, как углублялся он в размышление. Ранее обыкновенного лег он в постель, но, несмотря на все старания, никак не мог заснуть. Наконец, желанный сон, этот всеобщий успокоитель,

посетил его; но какой сон! Еще несвязнее сновидений он никогда не видывал».

1) То снилось ему, что вокруг него все шумит, вертится, а он бежит, бежит, не чувствуя под собою ног. Вот уж выбивается из сил. Вдруг кто-то хватает его за ухо. «Ай! кто это?» — «Это я, твоя жена!» с шумом говорит ему какой-то голос. И он вдруг пробуждался.

2) То представлялось ему, что он уже женат, что все в домике их так чудно, так странно: в его комнате стоит, вместо одинокой, двойная кровать; на стуле сидит жена. Ему странно: он не знает, как подойти к ней, что говорить с нею, и замечает, что у нее гусиное лицо. Нечаянно поворачивается он в сторону и видит другую жену, и тоже с гусиным лицом. Поворачивается в другую сторону — стоит третья жена; назад — еще одна жена. Тут его берет тоска: он бросился бежать, но в саду жарко, он снял шляпу, видит: и в шляпе сидит жена. Пот выступил у него на лице. Полез в карман за платком — и в кармане жена; вынул из уха хлопчатую бумагу — и там сидит жена.

3) То вдруг он прыгал на одной ноге, а тетушка, глядя на него, говорила с важным видом: «Да, ты должен прыгать, потому что ты теперь уже женатый человек». Он к ней; но тетушка, — уже не тетушка, а колокольня. И чувствует, что его кто-то тащит веревкою на колокольню. «Кто это тащит меня?» жалобно проговорил Иван Федорович. «Это я, жена твоя, тащу тебя, потому что ты колокол!» — «Нет, я не колокол, я Иван Федорович!» кричит он. «Да, ты колокол», говорит, проходя мимо, полковник П. пехотного полка.

4) То вдруг снилось ему, что жена вовсе не человек, а какая-то шерстяная материя; что он в Могилеве приходит в лавку к купцу. «Какой прикажете материи?» говорит купец, «вы возьмите жены, это самая модная материя! очень добротная! из нее все теперь шьют себе сюртуки». Ку-

пец меряет и режет жену. Иван Федорович берет ее под мышку, идет к портному. «Нет, говорит портной, эта дурная материя! из нее никто не шьет себе сюртука...»

В страхе и беспамятстве просыпался Иван Федорович; холодный пот лился с него градом. Как только встал он поутру, тотчас обратился к гадательной книге, в конце которой один добродетельный книгопродавец, по своей редкой доброте и бескорыстию, поместил сокращенный снотолкователь. Но там совершенно не было ничего, даже хотя немного похожего на такой бессвязный сон.

★

Образы сна и образы действительности мало чем отличаются на глаз Гоголя. Что удивительного в гусином жены из сна, когда при свете дня казначей — черной шерсти пудель (Нос); Цыбуля — бурак (Сороч. яр.); Спирид — лопата (Вий). Или: если случится проезжать заштатный городишко Погар, непременно увидишь, что из окна одного деревянного весьма крепкого дома глядит полное и без всяких рябин лицо, цветом похожее на свежую, еще непоношенную, подошву» (Неоконченная повесть).

Мир, как наваждение; во сне и наяву морока, и некуда проснуться.

II

СИНИЙ ВСОС

Сон Чарткова, Портрет

Трехступенной сон — лунный всос — с пробуждением во сне — выходом в новое сновидение. Третье сновидение, после которого «действительно» проснется, происходит на поверхности первого: за простыней, которой закрыт портрет, движутся руки. Весь сон можно представить как спуск и подъем.

I. Старик выходит из рамки. II. Чартков вышел из-за ширм; губы старика вытягиваются к нему, как будто

хотели его высосать. III. Чартков видит в щелку, как старик силится выйти из рамки.

У Чарткова пропадает голос и ноги не слушаются. У Хомы Брута в Вии — и руки деревенеют. Невозможность сопротивляться, сонное состояние. Как и возвращение: старик ушел из-за ширмы и снова слышатся приближающиеся шаги (I). Это страх.

Действительность входит в сон звуком и цветом. Золото звенело тонко и глухо: шелест приближающихся шагов, — а это храпел Никита из передней. Игра лунного света. Холодное синеватое сияние месяца усиливается, лунная синь превращается в длинные столбики, завернутые в синюю бумагу и как отсвет, желтые червонцы, бронзовое лицо старика.

Холст, гипсовая рука, драпировка, штаны, нечищеные сапоги — лунное поле для живых изводящих глаз портрета.

Золото разворачивалось в когтистых руках старика — эти руки, они в «Страшной мести», грозящая судьба.

★

Он опять подошел к портрету, чтобы рассмотреть глаза, и с ужасом заметил, что они точно глядят на него. Это уже не была копия с натуры: это была та странная живость, которою бы озарилось лицо мертвеца, вставшего из могилы. Свет ли месяца, несущий с собой бред мечты и облекающий все в иные образы, противоположные положительному дню, или что другое было причиною тому, — только ему сделалось вдруг страшно сидеть одному в комнате. Он тихо отошел от портрета, отворотился в другую сторону и старался не глядеть, а между тем глаз невольно, косясь, окидывал его. Наконец, ему сделалось даже страшно ходить по комнате: ему казалось, кто-то другой станет ходить позади его, — и он робко оглядывался.

Он не был никогда труслив, но воображение и нервы его были чутки, и в этот вечер он сам не мог истолковать себе своей невольной боязни. Он сел в уголок, но и здесь казалось ему,

что кто-то вот-вот взглянет через плечо. Самое храпенье Никиты, раздававшееся из передней, не прогоняло его боязни.

Наконец, робко, не подымая глаз, поднялся он со своего места, отправился к себе за ширмы и лег. Сквозь щелки в ширмах он видел освещенную месяцем свою комнату и видел прямо висевший на стене портрет. Глаза еще страшнее, еще значительнее вперлись в него и, казалось, не хотели ни на что другое глядеть, как только на него. Полный тягостного чувства, он решился встать с постели, схватил простыню и, приблизясь к портрету, закутал его всего.

I. Сделавши это, он лег спокойнее, стал думать о бедности и жалкой судьбе художника, о тернистом пути, предстоящем ему на этом свете; а между тем, глаза его невольно глядели сквозь щелку ширм на закутанный простынею портрет. Сияние месяца усиливало белизну простыни, и ему казалось, что страшные глаза стали даже просвечивать сквозь холстину. Со страхом вперил он пристальные глаза, как бы желая увериться, что это вздор. Но уже в самом деле... он видит, видит ясно: простыни уже нет... портрет открыт весь и глядит, мимо всего, что ни есть вокруг, прямо в него, — глядит к нему вовнутрь... У него захолонуло сердце. И видит: старик пошевелился и вдруг уперся в рамку обеими руками, приподнялся на руках и, высунув обе ноги, выпрыгнул из рам... Сквозь щелку видны были уже одни только пустые рамы. По комнате раздался стук шагов, который становился ближе и ближе к ширмам. Сердце стало сильно колотиться. С занявшимся от страха дыханьем он ожидал, что вот-вот глянет к нему за ширмы старик. И вот он глянул бронзовым лицом и поводя глазами. Чартков силился вскрикнуть — и почувствовал, что у него нет голоса, силился пошевельнуться, сделать какое-нибудь движение — не движутся члены. С раскрытым ртом и замершим дыханьем, смотрел он на этот странный фантом высокого роста, в

какой-то широкой азиатской рясе, и ждал, что станет он делать. Старик сел почти у самых ног его и вслед за тем что-то вытащил из-под складок своего широкого платья. Это был мешок. Старик развязал его и, схватив за два конца, встряхнул: с глухим звуком упали на пол тяжелые свертки в виде длинных столбиков; каждый был завернут в синюю бумагу и на каждом было поставлено: «1000 червонных». Высунув свои длинные, костистые руки из широких рукавов, старик начал разворачивать свертки. Золото блеснуло. Как ни велико было тягостное чувство и обеспамятевший страх художника, но он вперился весь в золото, глядя неподвижно, как оно разворачивалось в костистых руках, блестело, звенело тонко и глухо, и заворачивалось вновь. Тут заметил он один сверток, откатившийся подалее от других к самой ножке его кровати, в головах у него. Почти судорожно схватил он его и полный страха, смотрел, не заметил ли старик. Но старик был, казалось, очень занят; он собрал все свертки свои, уложил их снова в мешок и не взглянувши на него, ушел за ширмы. Сердце билось сильно у Чарткова, когда он услышал, как раздался по комнате шелест удалявшихся шагов. Он сжимал покрепче сверток в своей руке, дрожа всем телом, — и вдруг услышал, что шаги вновь приближаются к ширмам — видно, старик вспомнил, что недоставало одного свертка. И вот — он глянул к нему вновь за ширмы. Полный отчаяния, художник стиснул всею силою в руке свой сверток, употребил все усилие сделать движенье, вскрикнул — и проснулся.

П. Холодный пот облил его всего; сердце билось так сильно, как только могло биться; грудь была стеснена, как будто хотело улететь из нее последнее дыханье. «Неужели это был сон?» — сказал он, взявши себя обеими руками за голову. Но страшная живость явленья не была похожа на сон. Он видел, уже пробудившись, как старик ушел в рамки, мелькнула даже

пола его широкой одежды, а рука чувствовала ясно, что держала за минуту перед сим какую-то тяжесть. Свет месяца озарял комнату, заставляя выступать из темных углов — где холст, где гипсовую руку, где оставленную на стуле драпировку, где панталоны и нечищеные сапоги. Тут только заметил он, что не лежит, а стоит прямо перед портретом. Как он добрался сюда — уж этого никак не мог понять. Еще более изумило его, что портрет был открыт весь, и простыни на нем, действительно, не было. С неподвижным страхом глядел он на него и видел, как прямо вперились в него живые человеческие глаза. Холодный пот выступил на лице его; он хотел отойти, но чувствовал, что ноги его как будто приросли к земле. И видит он, — что это уж не сон, — черты старика двинулись, и губы его стали вытягиваться к нему, как будто хотели его высосать... С воплем отчаяния отскочил он — и проснулся.

III. «Неужели это был сон?» С бьющимся на разрыв сердцем ощупал он руками вокруг себя. Да, он лежит на постели, в таком точно положении, как заснул. Перед ним ширмы: свет месяца наполнял комнату. Сквозь щель в ширмах виден был портрет закрытый, как следует, простынею, так, как он сам закрыл его. Итак, это был тоже сон. Но сжатая рука еще чувствует, как будто бы в ней что-то было. Биенье сердца было сильно, почти страшно; тягость в груди невыносимая. Он вперил глаза в щель и пристально глядел на простыню. И вот видит ясно, что простыня начинает раскрываться, как будто бы под нею барахтались руки и силились ее сбросить. «Господи, Боже мой, что это?» — вскрикнул он, крестясь отчаянно, — и проснулся.

«И это был также сон!» Он вскочил с постели, полоумный, обеспамятевший, и уже не мог изъяснить, что это с ним делается: давленье ли кошмара, или домового, бред ли горячки, или живое виденье. — — — Он подошел к окну и открыл форточку. Холодный, пахнувший ветер оживил его.

Лунное сиянье лежало все еще на крышах и белых стенах домов. — — — Долго глядел он, высунувши голову в форточку. Уже на небе рождались признаки приближающейся зари; наконец, почувствовал он дремоту, захлопнул форточку, отошел прочь, лег в постель и скоро заснул, как убитый, самым крепким сном.

Проснулся он очень поздно и почувствовал в себе то неприятное состояние, которое овладевает человеком после угара: голова болела.

★

Пробуждение в действительность, которая мало чем отличается от сна: Чартков после своего сна пасмурный и недовольный — мокрый петух; хозяин Чарткова — цвет изношенного сюртука; соседи пепельный разряд людей, мутная пепельная наружность, молчат, ни о чем не думая; полицейские особая порода; топорное устройство полицейских рук.

Из трехступенного сна Чарткова сон Свидригайлова в «Преступлении и наказании».

Вторая часть портрета превыспренная словесность — отголосок южнорусского театра, Чартков по складу речи актер из Гамлета.

III

ВТОРОЕ ВИДЕНИЕ

Сон Катерины и сон пана Данилы о сне Катерины, Страшная месть

1

Сон Катерины

Сон Катерины — чары колдуна, ее отца. Во сне он открывает ей свое желание: было б быть ей его женой. По наблюдению сабашников: самая лучшая порода от скрещивания отца с дочерью: «конденсация усиливает ток крови!» говорил мне сабашник, подливая из нутра вбас. От колдуна-отца и его дочери Катерины зародит-

ся большой силы колдун — единственная его надежда отсрочить судьбу страшной мести.

★

Блеснул день, но не солнечный: небо хмурилось, и тонкий дождь сеялся на поля, на леса, на широкий Днепр. Проснулась пани Катерина, но не радостна: очи заплаканы, и вся она смутна и неспокойна: «Муж мой милый, муж дорогой! чудный мне сон снился!» — «Какой сон, моя любая пани Катерина?» — «Снилось мне, чудно право, и так живо, будто наяву, снилось мне, что отец мой есть тот самый урод, которого мы видели у есаула. Но прошу тебя, не верь сну: каких глупостей не привидится! Будто я стояла перед ним, дрожа вся, боялась, и от каждого слова его стонали мои жилы. Если б ты слышал, что он говорил...» — «Что же он говорил, моя золотая Катерина?» — «Говорил: "Ты посмотри на меня, Катерина, я хорош. Люди напрасно говорят, что я дурен. Я буду тебе славным мужем. Посмотри, как я поглядываю очами". Тут навел он на меня огненные очи, я вскрикнула и пробудилась». — «Да, сны много говорят правды...»

2

Сон пана Данилы

Пан Данила видит во сне сон Катерины. Видеть во сне, что другому снится, явление редкое, есть еще у Лермонтова: «В полдневный жар в долине Дагестана». Но пестрого семипоясного сна, как этот сон, в литературе единственный.

Семь ступеней сна — семь цветных поясов: 1) Бледно-золотой, 2) Прозрачно-голубой, 3) С тихим звоном розовый, 4) Черный, 5) Темно-синий с серебром, 6) черный, 7) звучащий розовый.

Звучащая краска больше чем озвончатые глухие буквы: переход слова в напевное — усиленное звучание, а превращение света в звук переход из глаза в ухо, цвет может заговорить или краски разнозвучны.

В комнате света нет, а светит: золотисто-желтый свет — цвет чар, то, что называется «напущено». Этот свет глушит посторонние звуки: дверь отворилась без скрипа.

Красный жупан — красная свитка — отблеск адского пламени. Силой колдовства можно вызвать душу, а бревну дать свой образ.

Наша душа знает больше, чем мы сознаем.

Катерина из сна узнает об убийстве своей матери. Сверхсознательное значение сказывается в творчестве.

Как в Вии и Портрете — все движения окованы: губы шевелятся без звука — в сонном состоянии всегда.



Пообедав, заснул Данило молодецким сном и проснулся только около вечера. Сел и стал писать листы в казацкое войско; а пани Катерина стала качать ногою люльку, сидя на лежанке. Сидит пан Данило, глядит левым глазом на писание, а правым в окошко. А из окошка далеко блестят горы и Днепр; за Днепром синеют леса; мелькает сверху прояснившееся ночное небо. Но не далеким небом и не синим лесом любуется пан Данило: глядит он на выдавшийся мыс, на котором темнел старый замок. Ему почудилось, будто блеснуло в замке огнем узенькое окошко. Но все тихо; это верно показалось ему. Слышно только, как глухо шумит внизу Днепр, и с трех сторон, один за другим, отдаются удары мгновенно пробудившихся волн. Он не бунтует; он, как старик, ворчит и ропщет; ему все не мило; все переменилось около него; тихо враждует он с прибережными горами, лесами, лугами и несет на них жалобу в Черное море. Вот по широкому Днепру зачернела лодка, и в замке снова как будто блеснуло что-то. Потихоньку свистнул Данило и выбежал на свист верный хлопец. «Бери, Стецько, с собою скорее острую саблю да винтовку, да ступай за мною!» — «Ты идешь?» спросила пани Катерина. — «Иду, жена. Нужно осмотреть все места, все ли в порядке». — «Мне, однако ж, страшно

оставаться одной. Меня сон так и клонит; что, если мне приснится то же самое? Я даже не уверена, точно ли сон был, так это происходило живо». — «С тобою старуха останется; а в сенях и на дворе спят казаки». — «Старуха спит уже, а казакам что-то не верится. Слушай, пан Данило: замкни меня в комнате, а ключ возьми с собою. Мне тогда не так будет страшно; а казаки пусть лягут перед дверями». — «Пусть будет так!» сказал Данило, стирая пыль с винтовки и насыпая на полку порох. Верный Стецько уже стоял одетый во всей казацкой сбруе, Данило надел смушевую шапку, закрыл окошко, задвинул засовами дверь, замкнул и, промеж спавшими своими казаками, вышел потихоньку из двора в горы. Небо почти все прочистилось. Свежий ветер чуть-чуть навевал с Днепра. Если бы не слышно было издали стенания чайки, то все бы казалось онемевшим. Но вот почудился шорох. Бурульбаш с верным слугою тихо спрятался за терновник, прикрывший срубленный засек. Кто-то в красном жупане, с двумя пистолетами, с саблею при боку, спускался с горы. «Это тесть, проговорил пан Данило, разглядывая его из-за куста, зачем и куда ему идти в эту пору? Стецько, не зевай, смотри в оба глаза, куда возьмет дорогу пан отец». Человек в красном жупане сошел на самый берег и поворотил к выдавшемуся мысу. «А вот куда! сказал пан Данило, что, Стецько, ведь он как раз потащился к колдуну в дупло?» — «Да, верно, не в другое место, пан Данило! иначе мы бы видели его на другой стороне; но он пропал около замка». — «Постой же, вылезем, а потом пойдем по следам. Тут что-нибудь да кроется. Нет, Катерина, я говорил тебе, что отец твой недобрый человек; не так он и делал все, как православный». Уже мелькнули пан Данило и его верный хлопец на выдавшемся берегу. Вот уж их и не видно; непробудный лес, окруживший замок, спрятал их. Верхнее окошко тихо засветилось; внизу стоят казаки и думают, как бы

влезть им: ни ворот, ни дверей не видно; со двора, верно, есть ход; но как войти туда? Издали слышно, как гремят цепи и бегают собаки. «Что я думаю долго? сказал пан Данило, увидя перед окном высокий дуб, стой тут, малый. Я полезу на дуб: с него прямо можно глядеть в окошко».

1) Тут снял он с себя пояс, бросил вниз саблю, чтоб не звенела, и ухватясь за ветви, поднялся вверх. Окошко все еще светилось. Присев на сук, возле самого окна, уцепился он рукой за дерево и глядит: в комнате и свечи нет, а светит. По стенам чудные знаки; висит оружие, но все странное: такого не носят ни турки, ни крымцы, ни ляхи, ни христиане, ни славный народ шведский. Под потолком взад и вперед мелькают нетопыри, и тень от них мелькает по стенам, по дверям, по помосту. Вот отворилась без скрипа дверь. Входит кто-то в красном жупане и прямо к столу, накрытому белою скатертью. «Это он, это тесть!» Пан Данило опустился немного ниже и прижался крепче к дереву.

2) Но тестю некогда глядеть, смотрит ли кто в окошко. Он пришел пасмурен, не в духе, сдернул со стола скатерть — и вдруг по всей комнате тихо разлился прозрачно-голубой свет; только не смешавшиеся волны прежнего бледно-золотого переливались, ныряли, словно в голубом море, и тянулись слоями, будто на мраморе. Тут поставил он на стол горшок и начал кидать в него какие-то травы. Пан Данило стал вглядываться и не заметил на нем красного жупана; вместо того, показались на нем широкие шаровары, какие носят турки; за поясом пистолеты; на голове какая-то чудная шапка, исписанная вся не русскою и не польскою грамотою. Глянул в лицо — лицо стало переменяться: нос вытянулся и повиснул над губами; рот в минуту раздался до ушей; зуб выглянул изо рта, загнулся на сторону, и стал перед ним тот самый колдун, который показался на свадьбе есаула.

«Правдив сон твой, Катерина!» подумал Бурульбаш.

3) Колдун стал прохаживаться вокруг стола, знаки стали быстрее переменяться на стене, а нетопыри залетали сильнее вниз и вверх, взад и вперед. Голубой свет становился реже, реже и совсем погас. И светлица осветилась уже тонким розовым светом. Казалось, с тихим звоном разливался чудный свет по всем углам и вдруг пропал.

4) И стала тьма. Слышался только шум, будто ветер в тихий час вечера наигрывал, кружась по водному зеркалу, нагибая еще ниже в воду серебряные ивы.

5) И чудится пану Даниле, что в светлице блестит месяц, ходят звезды, неясно мелькает темно-синее небо и холод ночного воздуха пахнул даже ему в лицо.

6) И чудится пану Даниле (тут он стал щупать себя за усы, не спит ли?), что уж не небо в светлице, а его собственная опочивальня: висят на стене его татарские и турецкие сабли; около стен полки, на полках домашняя посуда и утварь; на столе хлеб и соль; висит люлька... но вместо образов выглядывают страшные рожи, на лежанке... Но сгустившийся туман покрыл все, настало опять темно.

7) И опять с чудным звоном осветилась вся светлица розовым светом, и опять стоит колдун неподвижно в чудной чалме своей. Звуки стали сильнее и гуще, тонкий розовый свет становился ярче, и что-то белое, как будто облако, веяло посреди хаты.

И чудится пану Даниле, что облако то не облако, что то стоит женщина; только из чего она: из воздуха, что ли, выткана? Отчего же она стоит, и земли не трогает, и не опершись ни на что, и сквозь нее, просвечивает розовый свет и мелькают на стене знаки? Вот она пошевелила прозрачною головою своею: тихо светятся ее бледно-голубые очи; волосы вьются и падают по плечам ее, будто светло-серый туман;

губы бледно алеют, будто сквозь бело-прозрачное утреннее небо льется едва приметный алый свет зари; брови слабо темнеют... Ах! это Катерина!

(Тут почувствовал Даниле, что члены у него оковались; он силился говорить, но губы шевелились без звука).

Неподвижно стоял колдун на своем месте. «Где ты была?» — спросил он. И стоявшая перед ним затрепетала. «О, зачем ты меня вызвал?» тихо простонала она, мне было так радостно. Я была в том самом месте, где родилась и прожила пятнадцать лет. О, как хорошо там! Как зелен и душист тот луг, где я играла в детстве! И полевые цветы те же, и хата наша, и огород! О, как обняла меня добрая мать моя. Какая любовь у ней в очах. Она приголубливала меня, целовала в уста и щеки, расчесывала частым гребнем мою русую косу... Отец! тут она вперила в колдуна бледные очи, — зачем ты зарезал мать мою?» Грозно колдун погрозил пальцем. «Разве я тебя просил говорить про это?» И воздушная красавица задрожала. «Где теперь пани твоя?» — «Пани моя, Катерина, теперь заснула, а я и обрадовалась тому, вспорхнула и полетела. Мне давно хотелось увидеть мать. Мне вдруг сделалось пятнадцать лет; я вся стала легка, как птица. Зачем ты меня вызвал?» — «Ты помнишь все то, что я говорил тебе вчера?» спросил колдун так тихо, что едва можно было расслушать. «Помню, помню; но чего бы ни дала я, чтобы только забыть это. Бедная Катерина! она многого не знает из того, что знает душа ее».

(«Это Катеринина душа», подумал пан Данило; но все еще не смел пошевелиться).

«Покайся, отец! Не страшно ли, что после каждого убийства твоего мертвецы поднимаются из могил?» — «Ты опять за старое!» грозно прервал колдун, я поставлю на своем, я заставлю тебя сделать, что мне хочет-

ся. Катерина полюбит меня!» — «О, ты чудовище, а не отец мой! простонала она, нет, не будет по-твоему. Правда, ты взял нечистыми чарами твоими власть вызывать душу и мучить ее; но один только Бог может заставить ее делать то, что Ему угодно. Нет, никогда Катерина, доколе я буду держаться в ее теле, не решится на богопротивное дело. Отец! близок страшный суд! Если б ты и не отец мой был, и тогда бы не заставил меня изменить моему любимому, верному мужу. Если бы муж мой и не был мне верен и мил, и тогда бы не изменила ему, потому что Бог не любит клятвопреступных и неверных душ». Тут вперила она очи свои в окошко, под которым сидел пан Данило, и неподвижно остановилась. «Куда ты глядишь? Кого ты там видишь?» закричал колдун. Воздушная Катерина задрожала.

Но уж пан Данило был давно на земле и пробирался со своим верным Стецьком в свои горы. «Страшно, страшно!» говорил он про себя, почувствовав какую-то робость в казацком сердце, и скоро прошел двор свой, на котором так же крепко спали казаки, кроме одного, сидевшего на стороже и курившего люльку. Небо все было засеяно звездами.

«Как хорошо ты сделал, что разбудил меня! говорила Катерина, протирая очи рукавом своей сорочки и разглядывая с ног до головы стоявшего перед нею мужа, какой страшный сон мне виделся! Как тяжело дышала грудь моя! Ух! Мне казалось, что я умираю». — «Какой же сон? уж не этот ли?» И стал Бурульбаш рассказывать жене своей все, им виденное. «Ты как это узнал, мой муж? спросила изумившись Катерина, но нет, многое мне неизвестно из того, что ты рассказываешь. Нет, мне не снилось, что отец убил мать мою; ни мертвецов, ничего не виделось мне. Нет, Данило, ты не так рассказываешь. Ах, как страшен отец мой!» — «И не диво что тебе многое не виделось. Ты не знаешь и десятой доли того что знает душа. Знаешь ли, что отец твой антихрист! — — — Мне говорил игумен Братского монастыря — — что антихрист име-

ет власть вызывать душу каждого человека; а душа гуляет по всей воле, когда заснет он, и летает вместе с архангелами около Божией светлицы».

В этой песне о колдуне и его дочери — «Страшная месть» вся песенная — Гоголь рассказывает о себе, о прошлом, что открылось его душе. Есть и из настоящей жизни.

«Говорят, что он родился таким страшным и никто из детей сызмала не хотел играть с ним. Как страшно говорят, будто ему все чудилось, что все смеются над ним... Встретится ли под темный вечер с каким-нибудь человеком и ему тотчас покажется, что тот открывает рот и скалит зубы — и на другой день находили мертвым того человека».

Гоголь в детстве получал тычки за свой необычайный вид — за свой колкий птичий нос. А потом из гонимого сделался коноводом, за ним ходили, подчиняясь ему во всем, а случилось это после того, как стал он направо и налево раздавать, вклеивая чище подзатыльника, смешные прозвища.

Обыкновенно Гоголь страшное пересыпает забубенным балагурьем, и только в «Страшной мести» не смех, а песня — песня о величьи необъятного мира и его тайны.

Достоевский в «Хозяйке» пытался подделать свою Катерину под голос Катерины «Страшной мести», но родился без песни и пропелось фальшиво.

Знак судьбы паутина, а Достоевский прибавит «паучиная». Но выражение ужаса единственное у Гоголя: «Дух занялся у Катерины, и ей чудилось, что волосы стали отделяться на голове ее». Как нет ни у кого, только у Гоголя, такой далекой дали зрения и слов выражающих преследование.

★

«За Киевом показалось неслыханное чудо. Все паны и гетманы собирались дивиться этому чуду: вдруг стало видимо далеко во все концы света. Вдали засинел Лиман, за Лиманом разливалось Черное море. Бывалые люди узнали и Крым, горою подымавшийся из моря, и болотный Сиваш. По левую руку видна была земля Галичская, а то Карпатские горы!»

★

«Уж он хотел перескочить с конем через узкую реку, выступившую рукавом среди дороги, как вдруг конь на всем скаку остановился, заворотил к нему морду, и — чудо — засмеялся! белые зубы страшно блеснули двумя рядами во мраке. Дыбом поднялись волосы на голове колдуна: Дико закричал он и заплакал, как исступленный и погнал коня прямо к Киеву.

Ему чудилось, что все со всех сторон бежало ловить его: деревья, обступив темным лесом, и как будто живые, кивая черными бородами и вытягивая длинные ветви силились задушить его; звезды, казалось, бежали впереди перед ним, указывая всем на него; сама дорога, чудилось, мчалась по следам его».

Только голосом можно передать всю глубину словесных знаков смутных и безразличных при чтении непоющими глазами. Только с голоса слышно, что Днепр не Днепр, а библейский Геон, Фиссон, Тигр и Ефрат, а Черное море не Черное, а Тивериадское, прародина всего живого на земле. И только через голос звучен обрекающий приговор судьбы и предостережение: глас человеческой мудрости.

IV

ОБРАТНОЕ ЗРЕНИЕ И ЧЕРНОЕ ПЯТНО СКВОЗЬ СТЕКЛО

Сон Левко. Майская ночь

Левко видит в пруду перевернутое отражение дома и сам как бы погружается в воду вниз головой, видит, что в доме.

Заклинанием месяца он вызывает голос панночки. Панночка бледная, как блеск месяца — прибавлено к истертому от употребления «полотну».

Колдует месяц: «огромный огненный месяц величественно стал вырезываться из земли. Еще половина его была под землею, а уж весь мир исполнился какого-то торжественного света. Пруд тронуло искрами. Тень от деревьев ясно стала отделяться от темной зелени. Чернел лес, обсыпаясь на конечности, стоявшей лицом к месяцу, тонкою серебряною пылью. Какое-то странное упоительное сияние примешивалось к блеску месяца» (В «Вии» он зазвучит серебряными колокольчиками).

Русалки греются на месяце: их прозрачный стеклянный покров холоднее мертвого лунного света.

Образ русалки дважды: в «Страшной мести» и в сне Левко.

«В час, когда вечерняя заря гаснет, еще не являются звезды, не горит месяц, а уже страшно в лесу: по деревьям царапаются и хватаются за сучья некрещеные дети, рыдают, хохочут, катятся клубом по дорогам и в широкой крапиве; из днепровских волн выбегают вереницами погубившие свои души; волосы льются с зеленой головы на плечи; вода звучно журча, бежит с длинных волос на землю, и дева светится сквозь воду, как-будто сквозь стеклянную рубашку; уста чудно усмехаются, щеки пылают, очи выманивают душу... она сгорела бы от любви, она зацеловала бы. Беги, крещеный человек! Уста ее — лед, постель — холодная вода; она защекочет тебя и утащит в реку» (Страшная месть).

«Тело было сваяно из прозрачных облаков, светилось насквозь при серебряном месяце».

А у ведьмы-русалки: «внутри виднелось что-то черное». Это черное — злобная радость.

На ведьму, как известно, есть верная отрава: огонь. Но от простого огня ведьма не загорится, а только от папиросы (люльки).

Так Гоголь отводит страх от пугливых.

Да ведь и русалки только во сне снятся и рекомендательные записки пишут.

★

Виновник всей этой кутерьмы медленно подходил к старому дому и пруду. — — — Величественно и мрачно чернел кленовый лес, обсыпаясь только на конечности,

стоявшей лицом к месяцу, тонкою серебряною пылью. Неподвижный пруд подул свежестью на усталого пешехода и заставил его отдохнуть на берегу. Все было тихо; в глубокой чаще леса слышались только раскаты соловья. Непреодолимый сон быстро стал смыкать ему зеницы; усталые члены готовы были забыться и онеметь; голова клонилась... «Нет, этак я засну еще здесь!» говорил он, подымаясь на ноги и протирая глаза,

Оглянулся: ночь казалась перед ним еще блистательнее. Какое-то странное, упоительное сияние примешалось к блеску месяца. Никогда еще не случалось ему видеть подобного. Серебряный туман пал на окрестность. Запах от цветущих яблонь и ночных цветов лился по всей земле. С изумлением глядел он в неподвижные воды пруда; старинный господский дом, опрокинувшись вниз, виден был в нем чист и в каком-то ясном величии. Вместо мрачных ставней, глядели веселые стеклянные окна и двери. Сквозь чистые стекла мелькала позолота.

И вот почудилось, будто окно отворилось. Притаивши дух, не дрогнув и не спуская глаз с пруда, он, казалось, переселился в глубину его и видит; прежде выставился в окно белый локоть, потом выглянула приветливая головка с блестящими очами, тихо светившими сквозь темно-русые волны волос, и оперлась на локоть. И видит: она качает слегка головою, она машет, она усмехается. Сердце его вдруг забилось. Вода задрожала, и окно закрылось снова.

Тихо отошел он от пруда и взглянул на дом: мрачные ставни были открыты; стекла сияли при месяце. «Вот как мало нужно полагаться на людские толки, подумал он про себя, дом новенький; краски живы, как-будто сегодня он выкрашен. Тут живет кто-нибудь». И молча подошел он ближе; но в доме все было тихо. Сильно и звучно перекликались блистательные песни соловьев, и когда они, казалось, умирали в томлении и неге, слышался шелест и трещание кузнечиков или гудение болотной птицы, ударявшей скользким носом своим в широкое водное зеркало. Какую-то сладкую тишину и

раздолье ощутил Левко в своем сердце. Настроив бандуру, заиграл он и запел:

Ой, ты, мисяцю, мил, мисяченьку!
И ты, зоре ясна!
Ой, свистить там по подворью,
Де дивчина красна.

Окно тихо отворилось, и та же самая головка, конторой отражение видел он в пруде, *выглянула*, внимательно прислушиваясь к песне. Длинные ресницы ее были полуопущены на глаза. Вся она была бледна, как полотно, как *блеск месяца*; но как чудна, как прекрасна! Она *засмеялась*!.. Левко вздрогнул. «Спой мне, молодой казак, какую-нибудь песню!» тихо молвила она, наклонив свою голову и опустив совсем густые ресницы. «Какую же тебе песню спеть, моя ясная панночка?» Слезы тихо покатились по бледному лицу ее. «Парубок, говорила она, и что-то неизъяснимо трогательное слышалось в ее речи, парубок, найди мне мою мачеху! Я ничего не пожалею для тебя. Я награжу тебя. Я тебя богато и роскошно награжу. У меня есть зарукавья, шитые шелком, кораллы, ожерелья. Я подарю тебе пояс, унизанный жемчугом. У меня золото есть... Парубок, найди мне мою мачеху! Она страшная ведьма: мне не было от нее покою на белом свете. Она мучила меня, заставляя работать, как простую мужичку. Посмотри на лицо: она вывела румянец своими нечистыми чарами со щек моих. Погляди на белую шею мою: они не смываются! они не смываются! они ни за что не смоются, эти синие пятна от железных когтей ее! Погляди на белые ноги мои: они много ходили, не по коврам только, — по песку горячему, по земле сырой, по колючему терновнику они ходили. А на очи мои посмотри, на очи: они не глядят от слез!.. Найди ее, парубок, найди мне мою мачеху!» Голос ее, который вдруг было возвысился, остановился. Ручьи слез покатились по бледному

лицу. Какое-то тяжелое чувство, полное жалости и грусти, сперлось в груди парубка. «Я готов на все для тебя, моя панночка! сказал он в сердечном волнении, но как мне где ее найти?» — «Посмотри, посмотри! быстро говорила она, она здесь! она на берегу играет в хороводе между моими девушками и греется на месяце. Но она лукава и хитра. Она приняла на себя вид утопленницы; но я знаю, но я слышу, что она здесь. Мне тяжело, мне душно от нее. Я не могу через нее плавать легко и вольно, как рыба. Я тону и падаю на дно, как ключ. Отыщи ее, парубок!» Левко посмотрел на берег: в тонком серебряном тумане мелькали девушки, легкие, как будто тени, в белых, как убранный ландышами луг, рубашках; золотые ожерелья, монисты, дукаты блестели на их шеях; но они были бледны: тело их было как будто сваяно из прозрачных облаков и светилось насквозь при серебряном месяце. Хоровод, играя, придвинулся ближе. Послышались голоса. «Давайте в ворона, давайте играть в ворона!» зашумели все, будто приречный тростник, тронутый в тихий час сумерек, воздушными устами ветра. «Кому же быть вороном?» Кинули жребий — и одна девушка вышла из толпы. Левко принялся разглядывать ее. Лицо, платье все на ней такое же, как и на других. Заметно только было, что она неохотно играла эту роль. Толпа вытянулась вереницею, она быстро перебегала от нападений хищного врага. «Нет, я не хочу быть вороном, сказала девушка, изнемогая от усталости, мне жалко отнимать цыплят у бедной матери!» — «Ты не ведьма!» — подумал Левко. «Кто же будет вороном?» Девушки снова собирались кинуть жребий. «Я буду вороном!» вызвалась одна из середины. Левко стал пристально вглядываться в лицо ей. Скоро и смело гналась она за вереницею и кидалась во все стороны, чтобы изловить свою жертву. Тут Левко

стал замечать, что тело ее не так светилось, как у прочих: внутри его виднелось что-то черное. Вдруг раздался крик: ворон бросился на одну из вереницы, схватил ее, и Левко почудилось, будто у ней выпустились когти и на лице ее сверкнула злобная радость. «Ведьма!» — сказал он, вдруг указав на нее пальцами и обратившись к дому. Панночка засмеялась и девушки с криком увели за собой представлявшую ворона. «Чем наградить тебя, парубок? Я знаю, тебе не золото нужно: ты любишь Ганну, но суровый отец мешает тебе жениться на ней. Он теперь не помешает: возьми, отдай ему эту записку...» Белая ручка протянулась, лицо ее как-то чудно засветилось и засияло. С непостижимым трепетом и томительным биением сердца схватил он записку и... проснулся.

★

По чарам эту майскую ночь, осыпанную лунным серебром, к которому примешивается какое-то странное упоительное сияние, можно сравнить с ночью из Вия: сон философа Хомы — его скок и полет с ведьмой. Эта ночь волшебнее пушкинской тихой украинской ночи, а по трепету она близка Лермонтову: «Выхожу один я на дорогу». Это почувствовал В. В. Розанов, сравнивая «смехача» Гоголя с Лермонтовым — демоном.

В этой ночи открывается тайна «Красной свитки»: за какое преступление выгнали чорта на землю?

Левко в личине чорта — «вывороченный дьявол» пожалел панночку-русалку, сотникову дочь: ее тоже мачеха-ведьма выгнала из дому.

В рассказе о панночке кошка, в которую обращается мачеха. Эта кошка Пульхерии Ивановны, вестник смерти.

★

Давно жил в этом доме сотник. У сотника была ясная панночка, белая, как снег. Сотникова жена давно уже умерла; задумал сотник жениться на другой. «Будешь ли ты меня нежить по-старому, батька, когда возьмешь другую жену?» — «Буду, моя дочка, еще крепче прежне-

го стану прижимать тебя к сердцу! Буду, моя дочка, еще ярче стану дарить серьги и монисты!» Привез сотник молодую жену в новый дом свой. Хороша была молодая жена; только так страшно взглянула на свою падчерицу, что та вскрикнула, ее увидев, и хоть бы слово во весь день сказала суровая мачеха. Настала ночь: ушел сотник с молодою женою в свою опочивальню; заперлась и белая панночка в своей светлице.

Горько сделалось ей: стала плакать. Глядит: страшная черная кошка крадется к ней: шерсть на ней горит, и железные когти стучат по полу. В испуге вскочила она на лавку — кошка за нею; перепрыгнула на лежанку — кошка и туда, и вдруг бросилась к ней на шею и душит ее. С криком оторвав от себя, кинула ее на пол. Опять крадется страшная кошка. Тоска ее взяла. На стене висела отцовская сабля. Схватила ее и бряк по полу, — лапа с железными когтями отскочила и кошка с визгом пропала в темном углу.

Целый день не выходила из светлицы своей молодая жена; на третий день вышла с перевязанной рукой. Угадала бедная панночка, что мачеха ее ведьма, и что она ей перерубила руку.

На четвертый день приказал сотник своей дочке носить воду, мести хату, как простой мужичке, и не показываться в панские покои. Тяжело было бедняжке, да нечего делать: стала выполнять отцовскую волю. На пятый день выгнал сотник свою дочку босую из дому и куска хлеба не дал на дорогу. Тогда только зарыдала панночка, закрыв руками белое лицо свое: «Погубил ты, батька, родную дочку свою! Погубила ведьма грешную душу твою! Прости тебя Бог; а мне, несчастной, видно, не велит Он жить на белом свете». И вон, гляди сюда, подалее от дома, самый высокий берег. С этого берега кинулась панночка в воду. И с той поры не стало ее на свете.

С той поры все утопленницы выходили, в лунную ночь, в панский сад греться на месяце, и сотникова дочка сделалась над ними главною. В одну ночь увидела она мачеху свою возле пруда, напала на нее и с криком утащила в воду. Но ведьма и тут нашлась: оборотилась под водою в одну из утопленниц, и через то

ушла от плети из зеленого тростника, которою хотели ее бить утопленницы.

Панночка собирает всякую ночь утопленниц и заглядывает по одиночке каждой в лицо, стараясь узнать, которая из них ведьма, но до сих пор не узнала. И если попадется из людей кто, тотчас заставляет его угадывать: но не грозит утопить в воде.

V

ЛУННЫЙ ПОЛЕТ

Сон философа Хомы Брута, Вий и сон кузнеца Вакулы, Ночь перед Рождеством

1

Панночка Луна-Астарта голубым лучом проникает, через плетеные стены, в хлев. Она появляется вдруг в образе старухи, она ловит лучами (ее руки — лучи), а блеском очаровывает свою жертву философа-кентавра. Месяц стареет и молодеет, и она примет образ русалки, отраженная в лунном призрачном море.

«Полет» словесно представлен: на сверкающем молодом месяце звенят голубые колокольчики-голос-стон панночки. Этот лунный полет пример искусства прозы.

Искусство — пламень жизни, но и работа. Искусство — мысль, воображение и сердце.

«Если бы вы знали, говорит Гоголь, окончив Вия, какие со мной происходили страшные перевороты, как сильно растерзано все внутри меня. Сколько я пережег, сколько перестрадал».

Вий написан в 1833.

Тургеневские «Призраки» призрачны после «Вия»: не запоминаются.

★

Старуха разместила бурсаков: ритора положила в хате, богослова заперла в пустую камору, философу отвела тоже пустой овечий хлев. Философ, оставшись один, в одну минуту съел карася, осмотрел плетеные стены хлева, толкнул ногою в морду проснувшуюся из другого

хлева любопытную свинью и поворотился на правый бок, чтобы заснуть мертвецки.

Вдруг низенькая дверь отворилась, и старуха, нагнувшись, вошла в хлев. «А что, бабуся, чего тебе нужно?» — сказал философ. Но старуха шла прямо к нему с распростертыми руками. «Эге, ге! подумал философ, только нет, голубушка, устарела!» Он отодвинулся немного подальше, но старуха, без церемонии, опять подошла к нему. «Слушай, бабуся! сказал философ, теперь пост; а я такой человек, что и за тысячу золотых не захочу оскоромиться». Но старуха раздвинула руки и ловила его, не говоря ни слова. Философу сделалось страшно, особенно, когда он заметил, что глаза ее сверкнули каким-то необыкновенным блеском. «Бабуся! что ты. Ступай себе с Богом!» закричал он. Но старуха не говорили ни слова и хватала его руками. Он вскочил на ноги, с намерением бежать; но старуха стала в дверях, вперила на него сверкающие глаза и снова начала подходить к нему. Философ хотел оттолкнуть ее руками, но к удивлению, заметил, что руки его не могут приподняться, ноги не двигались; и он с ужасом увидал, что даже голос не звучал из уст его; слова без звука шевелились на губах. Он слышал только, как бьется его сердце; он видел, как старуха подошла к нему, сложила ему руки, нагнула ему голову, вскочила с быстротою кошки к нему на спину, ударила его метлою по боку, и он подпрыгивая, как верховой конь, понес ее на плечах своих. Все это случилось так быстро, что философ едва мог опомниться и схватил обеими руками себя за колени, желаю удержать ноги, но они, к величайшему изумлению его, подымались против воли и производили скачки быстрее черкесского бегуна. Когда уже минули они хутор и перед ними открылась ровная лощина, а в стороне потянулся черный, как уголь, лес, тогда только сказал он сам себе: «Эге, да это ведьма!»

Обращенный месячный серп светлел на небе. Робкое полночное сияние, как сквозное покрывало, ложилось легко и дымится по земле. Леса, луга, небо, долины — все, казалось, как-будто спит с открытыми глазами; ветер хоть бы раз вспорхнул где-нибудь; в ночной свежести было что-то влажно-теплое; тени от дерев и кустов, как кометы, острыми клинами падали на отлогую равнину: такая была ночь, когда философ Хома Брут скакал с непонятным всадником на спине. Он чувствовал какое-то томительное, неприятное и вместе сладкое чувство, подступавшее к его сердцу. Он опустил голову вниз и видел, что трава, бывшая почти под ногами его, казалось росла глубоко и далеко, и что сверх ее находилась прозрачная, как горный ключ, вода, и трава казалась дном какого-то светлого, прозрачного до самой глубины моря: он видел ясно, как он отражался в нем вместе с сидевшей на спине старухою. Он видел, как вместо месяца светило там какое-то солнце; он слышал, как голубые колокольчики, наклоняя свои головки, звенели; он видел, как из-за осоки выплывала русалка, мелькает спина и нога, выпуклая, упругая, вся созданная из блеска и трепета. Она оборотилась к нему — и ее лицо, с глазами, светлыми, сверкающими, острыми, с пением вторгавшимся в душу, уже приближалось к нему, уже было на поверхности и, задрожав сверкающим смехом, удалялось; и вот она опрокинулась на спину — и облачные перси ее, матовые, как фарфор непокрытый глазурью, просвечивали перед солнцем по краям своей белой, эластически нежной окружности. Вода, ввиде маленьких пузырьков, как бисер, обсыпала их. Она вся дрожит и смеется в воде. Видит ли он это или не видит? Наяву ли это или снится? Но там что? ветер или музыка? звенит, звенит и вьется, и подступает, и вонзается в душу какою-то нестерпимою трелью... «Что это?» думал философ Хома Брут, глядя вниз, несясь во всю прыть. Пот катился

с него градом. Он чувствовал бесовски-сладкое чувство, он чувствовал какое-то пронизающее, какое-то томительно-страшное наслаждение. Ему часто казалось, как будто сердце уже не было у него, и он со страхом хватался за него рукою. Изнеможенный, растерянный, он начал припоминать все, какие только знал, молитвы. Он перебрал все заклятие против духов, и вдруг почувствовал какое-то освежение; чувствовал, что шаг его начинает становиться ленивее, ведьма как-то слабее держалась на спине его, густая трава касалась его, и уж он не видел в ней ничего необыкновенного. Светлый серп светил на небе.

«Хорошо же!» подумал про себя философ Хома и начал вслух произносить заклятия. Наконец, с быстротою молнии выпрыгнул из-под старухи и вскочил в свою очередь к ней на спину. Старуха мелким дробным шагом побежала так быстро, что всадник едва мог перевесть дух свой. Земля чуть мелькала под ним; все было ясно при месячном, хоть и неполном, свете; долины были гладки; но все от быстроты мелькало неясно и сбивчиво в его глазах. Он схватил лежавшее на дороге полено и начал им со всех сил колотить старуху. Дикие вопли издала она; сначала были они сердиты и угрожающи, потом становились слабее, приятнее, чаще, и потом уже тихо, едва звенели, как тонкие середряные колокольчики, и заронялись ему в душу; и невольно мелькнула мысль, точно ли это старуха? «Ох, не могу больше!» произнесла она в изнеможении и упала на землю. Он стал на ноги и посмотрел ей в очи (рассвет загорался, и блестели золотые главы вдали киевских церквей); перед ним лежала красавица с растрепанною роскошною косою, с длинными, как стрелы, ресницами. Бесчувственно отбросила она на обе стороны белые нагие руки и стонала, возведя кверху очи, полные слез.

Затрепетал, как древесный лист, Хома; жалость и какое-то странное волнение, и робость, неведомые ему са-

мому, овладели им. Он пустился бежать во весь дух. Дорогой билось беспокойно его сердце, и никак не мог он истолковать себе, что за странное новое чувство им овладело. Он уже не хотел более идти на хутор и спешил в Киев, раздумывая всю дорогу о таком непонятном происшествии.

2

В Тысяча и одной ночи в рассказе о Абу-Мухамед-лентяе описан полет:

«Марид полетел со мной по воздуху и земля скрылась от нас. И я увидел звезды, подобные твердо-стоящим горам и услышал славословие ангелов на небе. И когда я так летел, вдруг направился ко мне человек в зеленой одежде курдов со светящимся лицом и в руках у него был дротик, от которого летели искры».

Наваждением Пацюка набожный Вакула летит на черте. На мариде или на черте, на небесах все та же «дрянь», как и на земле: зеленое курдов и метла возвращающаяся порожнем. Воздух в легком серебряном тумане прозрачен, серебро наваждений.

Сон был очень крепкий: зарывшись в сено, Вакула проспал до обеда.

★

Сначало страшно показалось Вакуле, особенно, когда поднялся он от земли на такую высоту, что ничего уже не мог видеть внизу, и пролетал, как муха, под самым месяцем, так что, если бы не наклонился немного, то зацепил бы его шапкою. Однако ж, немного спустя, он ободрился и уже стал подшучивать над чертом. (Его забавляло до крайности, как черт чихал и кашлял, когда он снимал с шеи кипарисный крестик и подносил к нему. Нарочно поднимал он руку почесать голову, а черт, думая, что его собираются крестить, летел еще быстрее). Все было светло в вышине. В о з д у х, в л е г к о м, с е р е б р я н о м т у м а н е, был прозрачен. Все было видно, и даже можно было заметить, как вихрем пронесся мимо их, с и д я в г о р ш к е,

колдун; как звезды, собравшись в кучу, играли в жмурки; как клубился в стороне, облаком, целый рой духов; как плясавший при месяце черт снял шапку, увидев кузнеца, скачущего верхом; как летела, возвращавшаяся назад метла, на которой, видно, только-что съездила, куда нужно, ведьма. Много еще дряни встретили они. Все, видя кузнеца, на минуту останавливались поглядеть на него, и потом снова неслась дальше и продолжала свое; кузнец все летел, и вдруг заблестел перед ним Петербург, весь в огне. — — — Черт, перелетев через шлагбаум, оборотился в коня, и кузнец увидел себя на лихом бегуне середи улицы.

VI

КРЫСЫ

Сон городничего, Ревизор

«Две черные крысы неестественной величины: пришли, понюхали и прочь пошли».

Все дело в «неестественной величине» и молчании. Скажи крысы хоть слово, огрызнись, все было бы подругому. В этом природа сна: неестественно и неожиданно.

В «Страшной мести»: тонкие сухие руки с длинными когтями, поднявшись из-за деревьев, затряслись и пропали.

Эти руки, что крысы, надвигающаяся беда.

Сны в два слова самые пронзительные. Я думаю, городничий до сих пор вспоминает крыс, как каждый из нас, прочитав «Ревизора».

«Ревизора» только и можно читать, а не смотреть. Скучнее пьесы я не знаю. И пусть комическими положениями сверкает каждая сцена, скука — ничем не разгонишь. Такое чувство у меня с детства, когда нас гоняли на «Ревизора». И смешно, да чего-то не смеется.

Могу еще сравнить: школьный долбеж «Слова о полку Игореве». Это была не скука, а набивная скучища. Учи-

теля говорили: замечательно, а не один не знал древнерусского, да и кто это знает. Темные русские закорючки, пронизанные церковнославянскими «рокотаху», да тут, при всем моем издетства любопытстве ко всему словесно-необычному, потеряешь всякую охоту. Одно я почувствовал, какая у нас словесная «классическая» вода и что можно по-русски выражаться не прудоня.

Чтобы оценить «Слово о полку Игореве» надо прежде всего словарь. Потом орусить чуждые русскому, напяленные на нас церковно-славянские формы. А «Ревизора» надо научиться читать.

С легкой руки Пушкина пошло о Гоголе: смешно. Ну, что смешного в «Вечерах»? Или для каждого времени свое смешное? Смешно, как я заметил, всякое «безобразие» — перевернутость. Но какая перевернутость в «Ревизоре»?

После постановки «Ревизора» Гоголь покинул Россию — «в чужих краях разогнать свою тоску». А на современную постановку чем бы он ответил?

При игре ритм рассказа нарушен: слово только матерьял; в игре свой ритм. И то, что видишь, читая, никогда не увидишь, глядя на сцену. Книга одно, театр другое. И Гоголь напрасно так огорчился.

В «Ревизоре» действуют живые люди. Пусть после смерти все сожжется и останется зола и больше ничего, а имя перейдет в «заупокой» или в хозяйственный перечень «мертвых душ», но все они, пока живы, не воздушные, не заводные куклы, не дрыгающие марионетки.

Хороших людей на свете больше, чем это принято думать. И с тем же убеждением скажу, Хлестаковых больше на свете, чем это предполагают. И слава Богу, без Хлестакова заскучаешь и зачахнешь.

Хлестаков это сама мечта — чистая мечта, уверенная и несомненная. Небывшее и невозможное видится как на самом деле, как осязаемая вещь.

И в такой мысленной кутерьме поток слов — слова перегоняют мысль: «словесно все вдруг и для тебя неожиданно». Без языка Хлестаков немыслим, но и не всему речистому под язык.

Я слышал М. А. Чехова, его чтение Хлестакова и подумал: «вот бы Гоголю!» А потом смотрел, как Чехов

играл пьяного Хлестакова. Гоголь, конечно, выбрал бы театр: какое разочарование!

Но как же играть по-другому: актер следует указаниям автора: Хлестаков напился.

Прием Гоголя: чтобы вывернуть человека, надо поднять температуру, или водкой или страхом. И достигает цели. Но стоит перевести из книги на театр, и все пропало.

VII

СКАЗКА

Сон деда, «Пропавшая грамота» и возвращающийся сон бабки

I

Родина чудесных сказок сон.

Обычно сказка сновидений отдельный законченный рассказ без предисловия. Но есть среди чудесных такие, в которых рассказывается с самого начала, как оно было и что потом случилось.

В сказке «Клад», беру из моих «Сказок русского народа», так прямо и говорится: «присел Лоха отдохнуть и его разморило» и сначала как будто ничего особенного не видит, мимо едет его товарищ Яков, и поехали оба горох есть, тут и пошла кутерьма.

Такая же сказка с предисловием рассказ деда из «Пропавшей грамоты». После того, как с соседнего воза серое, выказывавшее рога, обратилось в чудовище, и руки у деда окостенели и он повалился словно убитый, начинается сон-сказка: долго спал он и только под припеком поднялся. Так и бывает во сне: человек «проснулся», тут-то и жди сказку.

Вот и чудится ему, что из-за соседнего воза что-то серое выказывает рога. Тут глаза его начали смыкаться, так что принужден он был ежеминутно протирать их кулаком и промывать оставшейся водкой. Но как скоро немного прояснялись они, все пропадало. Наконец, мало погодя, опять показывается из-под воза чудище. Дед вытаращил глаза сколько мог; но проклятая

дремота все туманила перед ним; руки его окостенели, голова скатилась, и крепкий сон схватил его так, что он повалился, словно убитый.

Долго спал дед, и, как припекло порядочно уже солнце его выбритую макушку, тогда только схватился он на ноги. Потянувшись раза два и почесав спину, заметил он, что возов стояло уже не так много, как с вечера. Чумаки, видно, потянулись еще до света. К своим — казак спит, а запорожца нет. Выспрашивать — никто знать не знает; одна только верхняя свитка лежала на том месте. Страх и раздумье взяло деда. Пошел посмотреть коней — ни своего, ни запорожского. Что б это значило? Положим, запорожца взяла нечистая сила, кто же коней? Сообразя, дед заключил, что, верно, черт приходил пешком, а как до пекла не близко, то и стянул его коня. — — — Только хватился за шапку — и шапки нет. Всплеснул руками дед, как вспомнил, что вчера еще поменялись они на время с запорожцем. Кому больше утащить, как не нечистому? — — — Что делать? Кинулся достать чужого ума. — — — Чумаки долго думали, подперши батоганами подбородки свои, крутили головами и сказали, что не слышали такого дива на крещеном свете, чтобы гетьманскую грамоту утащил черт. — — — Один только шинкарь сидел молча. Дед и подступил к нему. Уже когда молчит человек, то, верно, зашиб много умом.

«Я научу тебя, как найти грамоту, сказал шинкарь, отводя его в сторону. У деда и на сердце отлегло. Близко шинка будет поворот направо в лес. Только станет в поле примеркать, чтобы ты был уже наготове. В лесу живут цыганы и выходят из нор своих ковать железо в такую ночь, в какую одни ведьмы ездят на своих кочергах. Чем они промышляют на самом деле, знать тебе нечего. Много будет стуку по лесу, только ты не иди в те стороны, откуда заслышишь стук; а будет перед тобой

малая дорожка, мимо обожженного дерева: дорожкой этой иди, иди, иди... Станет тебя терновник царапать, густой орешник заслонит дорогу — ты все иди; и как придешь к небольшой речке, тогда только можешь остановиться. Там и увидишь, кого нужно. Да не забудь набрать в карманы того, для чего и карманы сделаны» — — — Дед был человек — не то чтобы из трусливого десятка; бывало встретит волка, так и хватает прямо за хвост... Однако ж, что-то подирало его по коже, когда вступил он в такую глухую ночь в лес. Хоть бы звездочка на небе. Темно и глухо, как в винном подвале. — — — Так все так, как было ему говорено; нет, не обманул шинкарь. Однако ж, не совсем весело было продираться через колючие кусты: еще отроду не видал он, чтобы проклятые шипы и сучья так больно царапались: почти на каждом шагу забирало его вскрикнуть. — — — Долго стоял дед у берега, посматривая на все стороны. На другом берегу горит огонь и кажется, вот-вот готовится погаснуть, и снова отсвечивает в речке. — — — Теперь только разглядел он, что возле огня сидели люди и такие смазливые рожи, что в другое время, Бог знает, чего бы не дал, лишь бы ускользнуть от этого знакомства. Вот дед и отвесил им поклон, мало не в пояс: «Помогай Бог вам, добрые люди!» Хоть бы один кивнул головой: сидят да молчат, да чего-то с ы п л ю т в о г о н ь. Видя одно место незанятым, дед, без всяких околичностей, сел и сам. Смазливые рожи — ничего; ничего и дед. Долго сидели молча. Деду уже и прискучило; давай шарить в кармане, вынул люльку, посмотрел вокруг — ни один не глядит на него. «Уже, добродейство, будьте ласковы: как бы так, чтобы, примерно сказать, того... чтобы примерно сказать, и себя не забыть, да и вас не обидеть — люлька-то у меня есть, да того, чем бы зажечь ее, черт-ма (не имеется)!» И на эту речь хоть бы слово; только одна рожа сунула горячую головню

прямехонько деду в лоб, так что, если бы он немного не посторонился, то, статься может, распрощался бы навеки с одним глазом. Видя, наконец, что время даром проходит, решился — будет ли слушать нечистое племя или нет — рассказать дело. Рожи и уши навострили, и лапы протянули. Дед догадался, забрал в горсть все бывшие с ним деньги и кинул, словно собакам, им в середину. Как только кинул он деньги, все перед ним переменилось, земля задрожала и как уже, — он и сам рассказать не умел, — попал чуть ли не в самое пекло.

I. «Батюшки мои!» ахнул дед, разглядев хорошенько. Что за чудища! рожи на роже, как говорится, не видно. Ведьм такая гибель, как случается иногда на Рождество выпадет снегу: разряжены, размазаны, словно панночки на ярмарке. И все, сколько было их там, как хмельные, отплясывали какого-то чертовского трепака, пыль подняли, Боже упаси, какую. Дрожь бы проняла крещеного человека при одном виде, как высоко скакало бесовское племя. На деда, несмотря на весь страх, смех напал, когда увидел, как черти с собачьими мордами, на немецких ножках, вертя хвостами, увивались около ведьм, будто парни около красных девушек, а музыканты тузили себя в щеки кулаками, словно в бубны, и свистали носами, как в валторны. Только завидели деда — и турнули к нему ордою. Свиные, собачьи, козлиные, дрофиные, лошадиные рыла — все повытягивались, и вот так и лезут целоваться. Плюнул дед, такая мерзость напала.

II. Наконец, схватили его и посадили за стол, длиною, может, с дорогу от Конотопа до Батурина. «Ну, это еще не совсем худо», — подумал дед, завидев на столе свинину, колбасы, крошеный с капустой лук и много всяких сластей, — «видно, дьявольская сволочь не держит постов». Дед таки, не мешает вам знать, не упускал при

случае перехватить того-сего на зубы. Едал, покойник, аппетитно, и потому, не пускаясь в рассказы, придвинул к себе миску с нарезанным салом и окорок ветчины, взял вилку, мало чем поменьше тех вил, которыми мужик берет сено, захватил ею самый увесистый кусок, подставил корку хлеба — и, глядь, отправил в чужой рот, вот-вот возле самых ушей, и слышно даже, как чья-то морда жует и щелкает зубами на весь стол. Дед ничего; схватил другой кусок и вот, кажись, и по губам зацепил, только опять не в свое горло. В третий раз — снова мимо. Взбеленился дед: позабыл и страх, и в чьих лапах находится он, прискочил к ведьмам: «что вы, Иродово племя, вздумали смеяться, что ли, надо мной? Если не отдадите, сейчас же, моей казацкой шапки, то будь я католик, когда не переворочу свиных рыл ваших на затылок». Не успел он докончить последних слов, как все чудища выскалили зубы и подняли такой смех, что у деда на душе захолонуло. «Ладно», — провизжала одна из ведьм, которую дед почел за старшую над всеми, потому личина у нее была чуть ли еще не красивее всех, «шапку отдам тебе, только не прежде, пока сыграешь с нами три раза в дурня!»

III. Что прикажешь делать! Казаку сесть с бабами в дурня! Дед отпираться, отпираться, наконец, сел. Принесли карты, замасленные какими только у нас поповны гадают про женихов. «Слушай же! залаяла ведьма в другой раз, если хоть раз выиграешь — твоя шапка; когда же все три раза останешься дурнем, то не прогневайся, не только шапки, может, и света больше не увидишь!» — «Сдавай, сдавай, хрычовка! Что будет, то будет». Вот и карты розданы. Взял дед свои в руки — смотреть не хочется, такая дрянь: хоть бы на смех один козырь. Из масти десятка самая старшая, пар даже нет; а ведьма все подваливает пятериками. Пришлось остаться дурнем. Только что дед успел остать-

ся дурнем, и со всех сторон заржали, залаяли, захрюкали морды: «дурень, дурень, дурень!» — «Чтоб вы перелопались, дьявольское племя!» закричал дед, затыкая пальцем себе уши. «Ну, думает, ведьма подтасовала, теперь я сам буду сдавать». Сдал, засветил козыря; поглядел в карты: масть хоть куда, козыри есть. И сначала дело шло, как нельзя лучше; только ведьма — пятерик с королями. У деда в руках одни козыри. Не думая, не гадая долго, хвать королей всех по усам козырями! «Ге, ге! да это не по-казацки! А чем ты кроешь, земляк?» — «Как чем? Козырями?» — «Может быть, по вашему это и козыри, только по нашему — нет!» Глядь в самом деле простая масть. Что за дьявольщина! Пришлось в другой раз быть дурнем, а чертанье пошло снова драть горло: «дурень! дурень!» так что стол дрожал и карты прыгали по столу. Дед разгорячился; сдал в последний. Опять идет ладно. Ведьма опять пятерик; дед покрыл и набрал из колоды полную руку козырей. «Козырь!» вскричал он, ударив по столу картою так, что ее свернуло коробом; та, не говоря ни слова, покрыла восьмеркою масти. «А чем ты, старый дьявол, бьешь?» Ведьма подняла карту; под нею была простая шестерка. «Вишь, бесовское обморачиванье!» — сказал дед и с досады хватил кулаком, что силы по столу; у деда, как нарочно, на ту пору пары. Стал набирать карты из колоды, только мочи нет; дрянь такая лезет, что дед и руки опустил. В колоде ни одной карты. Пошел уж так, не глядя, простою шестеркою; ведьма приняла. «Вот тебе на! Это что? Э, э! верно, что-нибудь да не так». Вот дед карты потихоньку под стол и перекрестил; глядь — у него на руках туз, король, валет козырей, а он вместо шестерки спустил кралю. «Ну, дурень же я был! Король козырей! Что! приняла? А? кошачье отродье! А туза не хочешь! Туз! валет!..» Гром пошел по пеклу; на ведьму напали корчи, и откуда ни возьмись, шапка бух деду прямехонько в лицо. «Нет, этого мало!

закричал дед, прихрабрившись и надев шапку, — если сейчас не станет передо мною молодецкий конь мой, то вот, убей меня гром на этом самом нечистом месте, когда я не перекрещу своим крестом всех вас!» и уж было и руку поднял, как загремели перед ним конские кости. «Вот тебе конь твой!» Заплакал бедняга, глядя на них, что дитя неразумное. Жаль старого товарища. «Дайте же мне какого-нибудь коня, выбраться из гнезда вашего!» Чорт хлопнул арапником — конь-огонь, взвился под ним, и дед, что птица, вынесся наверх.

IV. Страх, однако ж, напал на него посреди дороги, когда конь, не слушаясь ни крику, ни поводов, скакал через провалы и болота. В каких местах он ни был, так дрожь забирала при одних рассказах. Глянул как-то себе под ноги — и пуще перепугался: пропасть! крутизна страшная! А сатанинскому животному и нужды нет: прямо через нее. Дед держаться: не тут-то было. Через пни, через кочки полетел стремглав в провал и так хватился на дне его о землю, что, кажись, и дух вышибло. По крайней мере, что делалось с ним в то время, ничего не помнил; и как очнулся немного и осмотрелся, то уже рассвело совсем: перед ним мелькали знакомые места и он лежал на крыше своей хаты.

2

А в то время как дед куролесил с чертями, у бабки был свой морок.

«Бабка сидит, заснув, перед гребнем, держит в руках веретено и сонная подпрыгивает на лавке».

Ей снилось, что «печь ездила по хате, выгоняя вон лопатою горшки, лоханки».

И что удивительно, «бабке ровно через каждый год и именно в то самое время, делалось такое диво, что танцуется, бывало, да и только. За что ни примется, ноги затевают свое, и вот так и дергает пуститься вприсядку». Возвращающийся сон.

VIII

ВЕДЬМЫ-БЛОХИ

Семь снов Гоголя: Шпонька, Портрет, Страшная месть, Майская ночь, Вий, Ревизор, Пропавшая грамота, из этого морока снов сны Достоевского, Толстого, Тургенева.

И Достоевскому, и Толстому, и Тургеневу снилось, но каждый из них невольно вспоминал сон Гоголя: литература заразительна.

Сон Ноздрева особенный и остается вне подражания: никакой заоблачной «Кафки», ни мороки, нет и оккультного Новалиса и каббаллистического Нерваля, а самая реальнейшая «мерзость»: «меня выпороли».

Гоголевский прием: поднять температуру, иначе не заговорит «брудастое» нутро Ноздрева. За обедом пили «смесь бургуньён и шампаньён», рябиновку на вкус сливянки, а дух сивухи и с переменным именем бальзам — и во рту после вчерашнего точно эскадрон переночевал. Кроме выпитого надрыв уломать Чичикова согласиться на обмен с придачей денег за души и разочарование: Чичиков изрекал истины «всему есть граница», «бесполезно приобретать вещь, решительно ненужную», «не следует подвергаться неизвестности» — Чичиков оказывался мелким мошенником, но под стать всем губернским, а не во всей форме, как вообразил Ноздрев, и никакого размаха поручика Кувшинникова и штабс-ротмистра Поцелуева — «кутил по всей форме», которые могут и в гальбик и банчишку и во что хочешь. Кувшинников и Поцелуев — единственные, с кем считается Ноздрев, который обуян не только по своей «комкой» природе неугомонным бесом, но и демоном совершенства, откуда его страсть преувеличивать и рассвечать — ведь он нарочно кормит волчонка сырым мясом, ему хочется, чтобы волчонок был совершенным зверем.

В жизни или счастье, или фальш, или искусство. У Ноздрева ни того, ни другого: какое счастье во власти проклятой девятки или семерки, и не плутуя, играть он не умеет, а сочинитель он неудачный. И на поверку выходит: он дрянь при всем своем желании совершенства. Он это хорошо знает и скажет себе тайно, но слышать от другого про себя «дрянь» ему невыносимо, готов кусаться. (Ноздрев — мордаш).

На ярмарке помещик Максимов во время игры поймал его на сочинительстве, как наутро Чичиков при игре в шашки, и назвал его в лицо «дрянь», как скажет Чичиков. Чичикова он кликнет крепостных дураков бить — «бей его!» — а помещика Максимова — выпорол: держали «совершенство»: Поцелуев и Кувшинников. Об этом Ноздрев забыл, очень нарезался.

После ужина в досаде на неудачу он даже сказал Чичикову: «вот тебе постель, не хочу и доброй ночи желать тебе», он лег и заснул.

В городе уже имелось постановление: Ноздрев предается суду «за нанесение помещику Максимову личной обиды розгами в пьяном виде». Это постановление исправник утром в самый разгар, когда Чичиков, уличив Ноздрева в плутне, всем своим отказом продолжать игру в шашки напомнит ему, что он «дрянь».

«А мне какая мерзость лезла всю ночь, гнусно рассказывать. Представь, снилось, меня высекли. Ей-ей! И вообрази кто? Вот ни за что не угадаешь! — штабс-ротмистр Поцелуев вместе с Кувшинниковым».

«Да, подумал Чичиков, хорошо бы, если б тебя отодрали наяву».

«Ей-Богу! Да пребольно. Проснулся, черт возьми, в самом деле что-то почесывается, — верно, ведьмы-блохи».

В это время исправник выехал из города на тройке: он напомнит забытый Ноздревым случай с Максимовым. И Чичиков, согласившись играть в шашки, сейчас выпорет Ноздрева и очень больно: «я дрянь?»

Ведьмы-блохи напустились на благовоспитанные части Ноздрева слепо — судьбой, чтоб вызвать этот вещий и карающий сон. И неожиданно: блохи кусали и прежде, он собирал их горстями, как в эту ночь Чичиков, и выпороли его не какая-нибудь дрянь, не из губернских, а единственные «славные» во всей форме кутилы Поцелуев и Кувшинников.

ПРИРОДА ГОГОЛЯ

Из всех отзывов о Гоголе проникновеннее всех — В. В. Розанов: «никогда более страшного человека... подобия человеческого не приходило на нашу землю».

Розанов считал Гоголя за какого-то доутробного скопца и всегда выражался с раздражением, но однажды сорвалось неожиданно добродушное: «кикимора!» Когда же стал писать и раздумывать и, высказав эту свою бесподобную мысль о «подобии», иллюстрируя ее, перегнул, — или сатанинское имя Гоголя — имя птицы, под видом которой, по богомильскому сказанию, является Сатанаил при сотворении земли, сбило и перепутало, — и Гоголь получился не Гоголь, а какой-то «басаврюк» «проклятая колдунья с черным пятном в душе, вся мертвая и вся ледяная, вся стеклянная и вся прозрачная..., в которой вообще нет ничего! Ничего!!!» («Опавшие листья», 1 короб) — а на ничего и сказать нечего, ка-ка-я досада! «кикимору» забыл.

В русской музыке «кикимору» создал А. К. Лядов. Лядов знал существо — «подобие человеческого» и, отвечая на мысль Розанова, с какою ясностью открыл своей музыкой, как это все далеко от «ничего». Если бы только ничего...!

★

Медноликой северной ночью, когда в полночь солнце рвется и не может уйти, и свет не гаснет, а рдеет, вышел месяц — «ухо ночи», какой тяжелый огромный! медной лунью залелеялись тени и вдруг — и откуда? — неутоленный клич рассек весеннюю буй.

Белой ночью как загудит в лесу и как! — отчаянно-безнадежно, нет, не мое это чувство — не человек вложил его в дремучий гинь.

Есть существа непохожие: лесовые, водяные, воздушные — в лесу, в реке, в воздухе. Это те, кто связан кровно с человеком. С кипучей тревогой, вдунутой в лесную душу, они рвутся из круга — но в человека воплотиться навсегда заказано, а стать лесным чистым духом человечьи путы мешают.

★

Кикимора — от лесавки и человека. Существо и обычай ее — лешее, а мечта — человечья. И оттого-то ее озорное «ки-ки» огнем прорывает вопль человека: она никогда не сделается, как ее мать, лесавкой, и никогда не станет человеком.

— Гоголевская лирика в «Мертвых душах»! — Кикимора — озорная.

Как-то шли мы в Петербурге с Шестовым по Караванной и разговаривали на философские темы (кому и как писать прошения о «вспомоществовании»). Был ясный осенний полдень. И вдруг сверху капнуло — прямо ему на шляпу. Посмотрели — что за диковина? — видим: птичье.

— Да это Кикимора.

— Конечно, Кикимора, кому ж еще!

Кикимора шагу не ступит, чего-нибудь уж жди. И как возьмется озоровать, ну никакого нет угомона. И кажется, и во сне-то она что-нибудь выделывает, а не выделывает, так выдумывает — озора!

— Сцены поветового суда из повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем; Шинель —

Кикимора — существо доброе: зла не хочет — зла на уме не держит. А если что и выходит, ну, философу — Льву Шестову на шляпу попала! — это у ней не со зла.

Кикимора влечется к человеку.

Кикимора из всех лесных существ больше всех влечется к человеку. И если выходит что-то озорное, ее ли вина? И не игра ли это? — все ведь вертится около человечьей мечты! — подход к человеку? — и только у нас за озорство сходит.

Ки-ки-мора:
ки-ки-хи-хи — смех,
мора-мор-морана-мара-наваждение-чары.

Есть чары злые — и змея чарует!

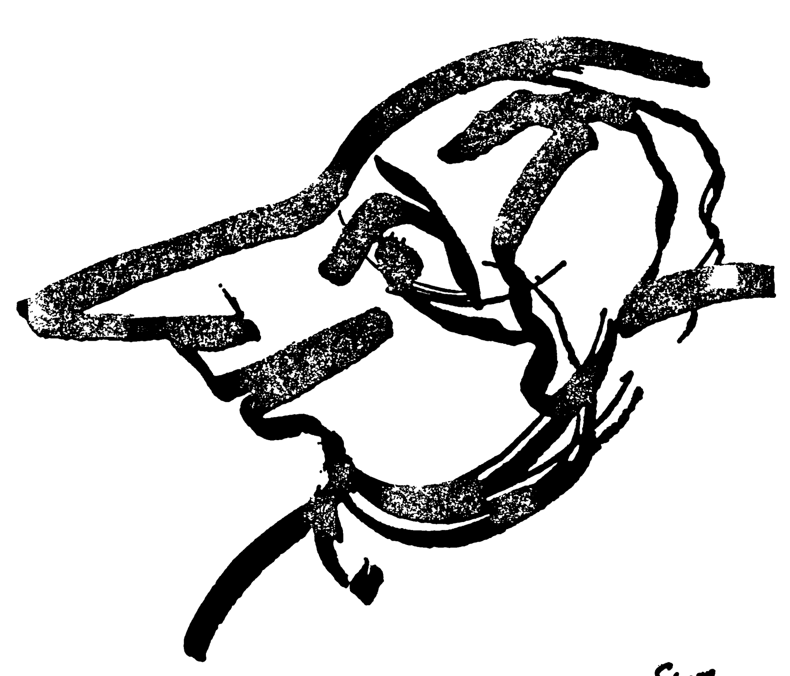
Но есть — не от зла, не погубить, напротив — ведь Кикимора влечется к человеку. И нет никого чудней и смехотворней, и чары ее — смех.

— Эти чары — Гоголя.

Вы посмотрите, как сидит она где-нибудь на тоненькой жердинке — я видел ее однажды весенним ранним утром в Устьсысольске, где солнце не заходит, — какая мордочка умора! и какая вся... чистила себе копытце, помню, а в голове, я это видел по выражению лица, и выдумка и рой проказ.

Кипучая и легкая, она вся — скок и прыг — веретено.

Кикимора влечется к человеку. Но стать человеком ей никогда не дано. И не сойтись с человеком, как ее мать лесав-



И долго еще определено мне чудной властью идти об руку с моими странными героями, озирать всю громадно-несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видимый миру смех и незримые, неведомые ему слезы.

ка — с лешим сколько угодно, и будет от нее тысяча тысяч кикимор проказливых и чудных, весело? — Да-а.

— Русская литература зачарована Гоголем! —

Д-да! если бы ей только погасить в себе человечью мечту: стать человеком. А от этой мечты ей никуда не деться. И в этом ее судьба.

— Гоголь с его мечтой о «живой душе» — о «настоящем человеке!» — но ни его подвиг и сама Святая Земля не открыла ему — а могла бы, да не открыла б ему!

Вот почему в прыге и смехе Кикиморы — в танце «ки-ки» мне слышится неутолённое — трагические звуки — не лесной бездушный гул, а наша тоска. В самом слове «кикимора» —

ки-ки — мора
— трагедия —
смех, наваждение, рок.

В «Сказаниях русского народа» у И. П. Сахарова есть стих о Кикиморе. Этот стих — тема для музыки А. К. Лядова, автора «Бабы-Яги» и «Кикиморы».

Живет-растет кикимора у кудесника в каменных горах,
с-утра-до-вечера тешит кикимору кот-баюн — —
говорит сказки заморские.
С-вечера-до-бела-света качают кикимору
в хрустальчатой колыбельке.
Ровно через семь лет вырастает кикимора:
тонешенька-чернешенька та кикимора,
а голова-то у ней малым-малешенька,
с наперсточек,
а туловище не спознать с соломинкой.
Стучит-гремит кикимора от-утра-до-вечера,
свистит-шипит кикимора с-вечера-до-полуночи;
с-полуночи-до-бела-света прядет кудель конопельную,
сучит пряжу пеньковую, снует основу шелковую —
зло на уме держит кикимора на весь люд честной.

Нет, что-то не так: у кудесника живет... только не Кикимора! — что-то тут спутано и не досказано. Но лад стиха как раз: по-тайный. Говорила ли сама Кикимора или пожалевший ее сказал человек, только какое зло у Кикиморы? Нет, не то, не так... на одно мгновенье? как и человек на надчеловеческое — «задохнулось сердце» — — ?

Кикимора — лесная, зачем ей попадать в каменные го-

ры? Зеленый комочек — лесного ребеночка приютил у себя кто? да самый добрый из леших, конечно, Аука.

Ремез — из птиц первая, вьет гнездо лучше всех гнезд, а Аука дом строит лучше всех лешачьих домов, у него и хрустальчатая колыбелька найдется. И опять же затейный и большой сказочник — Аука. Конечно, Аука и приютил у себя на зиму лесного ребеночка обольщенной охотником лесавки.

А ходит за Кикиморой не кот-баюн — кот-баюн... тут никак не Гоголь, а Э. Т. А. Гофман? — ходит за Кикиморой Скриплик: кому же, как не Скриплику и научить Кикимору всяким ки-ки, как учит он по весне птиц пению, жуков жунду, стрекоз рекозе, медвежат рыку, лисят лаю.

Скриплик баюкает Кикимору. Скриплик и человека баюкал, когда оленю или медведю подвешивали в лесу колыбель с дитем, Скриплик знает колыбельную человечью — а Кикимора ведь человечья!

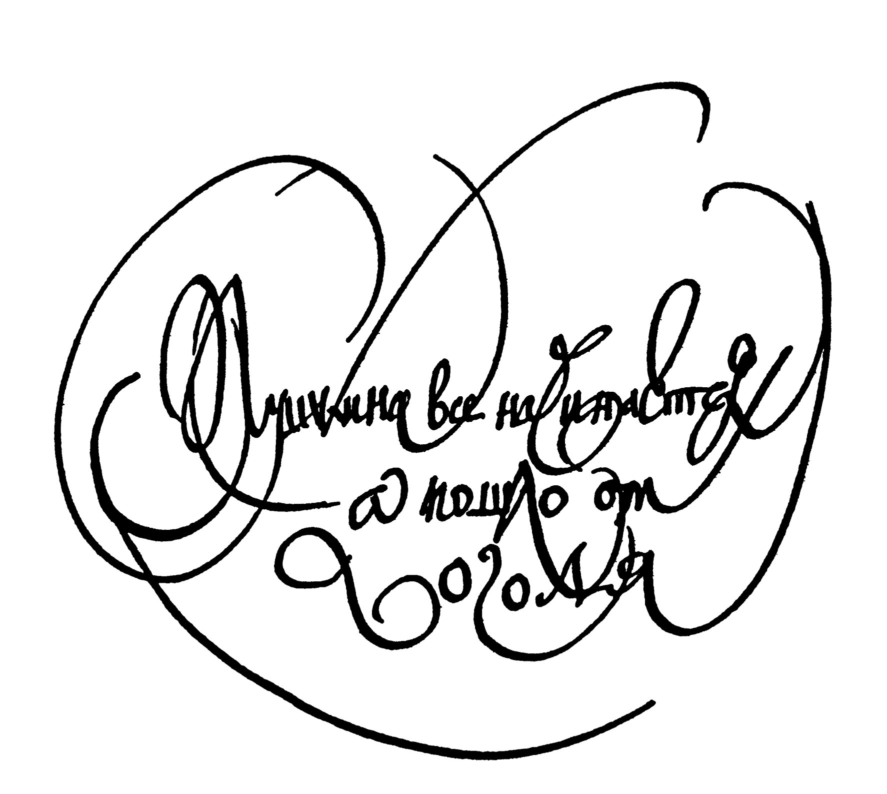
Первый весенний вей выманит Кикимору — гулять. И тут Лешак: жениться! — в лешачьем быту это моментально. Что ж? она готова — — но человек? и вот на мгновенье не узнать Кикиморы: она — как человек. А все равно, от судьбы не уйти —

— ки-ки
— мор
— а!
— —
—

Музыка так и звучит и «лад» ее открывает больше, чем «склад» слов.

Лядов был добрый, во всяком случае он был далек от «зла на уме». В последние годы его жизни, он умер в самом начале войны, 1914 г., мне пришлось немало говорить с ним о русской нечисти — о лесовых, водяных и воздушных — и я чувствовал, как ему чуждо злое, а как он радовался, когда я рассказал ему о Бабе-Яге и совсем не безобразной и старой, как это принято думать, а о молодой и ч*а*рой, какой представляется она «честному люду» в новолуние.

Э. Т. А. Гофман — 1776 —1822; Н. В. Гоголь — 1809 — 1852; В. В. Розанов — 1856 —1919; А. К. Лядов — 1855 — 1914.



МОРОЗНАЯ ТЬМА

ЖИВОЙ ВОДЫ

«Языку нашему надобно воли дать более — разумеется, сообразно с духом его — и мне ваша свобода более по сердцу, чем чопорная наша правильность».

С Пушкина все начинается, а пошло от Гоголя.

И это не учебная оскомина ума ленивого и нелюбытного, и не гоголевская сказка и не «двойная мысль» Достоевского, это истина — русская правда. Без Пушкина все бы мы околели, начиная с Гоголя до Чехова и с Чехова, — мы, «трудящиеся и обремененные».

По Гоголю Пушкин «охотник до смеха», а это тоже, что в его душе веселость духа, которая веселость зерно жизни и источник вдохновения: радость на белом свете жить и сказывать свою сказку. Радость духа не дикий гогот и не пустое балагурье, как и лунная молитва не безулыбная хмурь черствого сердца, а звучащая грусть человека быть среди людей на белом свете под властью своевольной судьбы. Огонь веселья и пламенность тоски: «горю — я существую». Пушкин пронизан огнем, и свет его веет над русской литературой.

Голос Пушкина звучен через всю историю литературы, им вдохновенную, и этот голос сказывается и в моем неотступном и упорном:

«Заговорит ли Россия по-русски?»

Едва ли кто еще, только Пушкин так остро почувствовал рабство нашей книжной речи: не спуста ж и зря пушкинское: «русский язык у московских просвирен».

Великая Россия! Но почему же ей суждено выражаться по чужим иноземным указкам?

И это не моя блажь, а русская мысль Пушкина (а за Пушкиным Хомяков — 1853 г.) о живой воде: где ее искать и ею оживить захряслую русскую речь?

Как беден наш литературный словарь и какие округ пестрые луга слов, — ученые называют областными. Но дело не в слове, пусть без словаря, слова не заглохнут, сбережет корень, и не раз и не одна еще рука украсит венком Россию, и заимствованные с чужого звучат на русской земле по-русски. Дело не в словах, а в словесном ладе.

«Лад» — звучание души народа.

По складу речи различаешь: вон перс, там индей, гляди китай, а это немец, турка, француз, а тут англичанин. Для слов всегда найдется слово, а «лад» непереводим. В «ладе» имя.

Почему же русское легко перевести на любой язык?

Русский книжный лад, да что же тут русского? Мешанина: церковнославянское, французское и немецкое.

Тут литературный недотепа оправдать свою безграмотность и успокоиться, мне тычет под нос ошибки Толстого и Достоевского, забывая, что Толстой и Достоевский своей вдохновенной изобразительностью достигают вершин Иезекииля. Или говоря обиняком: сколько ни проигрывай в рулетку, «Преступления и наказания» не сочинишь! Нет, зачем «великих», а возьмем наугад страницу русской прозы из нас, «трудящихся и обремененных».

Вот вам отчет: все правильно, ни одной грамматической ошибки, и запятые на месте: на глаз серо-пего, пальцам вязко, уху — «щи». Как распознать под такой причастной и деепричастной придаточной тянучкой природный лад живой русской речи: кратко и крепко?

И обвиноватить грех, и за что? Подумайте, втискивать мои горячие слова в чужие формы, да тут не то что заподглаголишь, а и залопочешь, как до татар еще, сказывает летопись, — «чудь, весь и меря языка нема».

★

У нас нет культуры слова, не было Буало. И единственное наше неписанное «Art Poétique», наша литературная совесть: Пушкин.

Гоголь, когда писал, не думал, будет ли это кому угодно и приятно, перед его глазами один образ — Пушкин.

Когда бы и для нас, на нашем диком поле, так чувствительна была эта совесть!

Сто пятьдесят с рождения Пушкина. 1949. Париж. Что слышно у нас о слове?

«Написано, говорят, коряво, но мысли есть», а это все равно, что «поет фальшиво, а не без голоса». «Да на кой черт мне голос, коли от такого пения завоешь собакой!» Так было бы сказать, но памятью о Пушкине раздумываю: мысль выражается словом, но «поэмы пишутся не мыслями, а словами». Под этим Малларме подпишется Пушкин. Надобна непрерывная словесная работа уметь найти в себе слова и точно именовать мысли: в именах тайна и магия. Без слова — дикое поле, и звери ведь не без думы.

Чувство «поэзии» на диком поле не ночевало. И как по-другому, когда «поэты» перелагают на «модерн»: один былины, другой единственную непереводимую прозу русского лада «житие Аввакума».

Построение слаженных слов — «уклад» заменен «как попало». Жизнь, как и сновидения, канитель, но канитель может быть изображена только очерченным образом, а не жижей. Музыкальные пушкинские композиции пошли насмарку.

А пушкинская тревога за нашу топорную книжную речь — да о каком еще русском ладе, о каких московских просвирнях, когда русская литература на мировой высоте!

Пушкин содрогнулся б.

Какая беда с нами стряслась и как оболванило!

Петр для России Александр Двурогий — «разум сибирской а ус сосостерской» — затеял огрозить военною силой и индустриализировать Московское государство по-европейскому, залил на Москве Красную площадь стрелецкою кровью и по крови дубинкой забил глубоко в землю природный лад русской речи.

Осьмнадцатый век никакой памяти. У Тредьяковского еще какие-то, как из сна, обрывки, а у Ломоносова не ищите.

Третий век, из поколения в поколение — да мы и думаем-то не по-русски, ладя слова по грамматике Грота, и со знаками препинания.

Книга только с намеком на русский лад отзовется единым всеобщим: «не понимаю!» А переводчики отказываются.

Для понятливости Афанасьев поправлял «Русские народные сказки», Забелин исправил «Урядник» царя Алексея Михайловича, а Карамзин в своей «Наталье, боярской дочери», повести из XVII-го века, прямо говорит: «тогдашнего языка не могли бы мы теперь и понимать».

Попугаи хранители старинных диалектов. Правда, в Петергофе при императрице Анне Ивановне немало их напущено, по-русски «красные вороны». Но ведь это ж в Петергофе, а где еще слышно на русской земле «красная ворона»!

★

Стою, как в пустыне, и покликать не знай кого, на чужом не хочу, а своего нехватка.

Вдовые матушки, дьяконицы и причетницы, наши московские просвирни, хранительницы русского лада, все люди простые, и простой человек стесняется: «в речи неискусен». После Пушкина норовили по-«господски» выражаться, а после Хомякова по-«образованному».

Но кто это, и как возможно выкоренить душу народа — душа народа лад его речи? И пусть кровавая дубинка и века молчания, русскую душу под землю забей, сквозь землю, ан выйдет.

Русская словесная земля сберегла из веков русский лад. Беритесь за дьячьи и подьячьи грамоты, корпите над Писцовыми книгами, вникайте в документы Посольского Приказа и Судебные акты — живая речь обвиняемых и свидетелей.

Пушкинское пожелание простор стихам, а это то же, что и прозе, свобода языку и воля слову. Да не тычь в бока, не хлобучь головы чуждым грамматическим железом! А как озвучит слово живая вода! И вы еще увидите, не одни цветы, а и слова цветут.

ДАР ПУШКИНА

И с присвисточкой поет
При честном при всем народе
Во-саду-ли-в-огороде.

I. С Пушкина начинаются мои первые впечатления от словесного искусства. Хотя я и научился, но еще не читаю, а только слушаю: «Евгений Онегина», «Полтава», «Борис Годунов», «Сказка о царе Салтане». И сколько раз потом читал и всегда, как впервые, насторжа уши. И, читая, я понял, почему тогда я слушал, не проронив слова: мой слух был и моим воплощением — я чувствовал себя Татьяной, Марией, Самозванцем, Лебедью, Белкой — веретённым ритмом сказки; и я не только чувствовал, я вдыхал и ту природу — землю этих образов и ритма: Россия, русская речь. А еще позднее я сказал себе: я слушал и чувствовал, я воплощался в Татьяну, Марию, Самозванца, Лебедь, Белку под чарами слова; а эти чарующие слова я назову: «поэзия». Пушкин вошел в мою словесную культуру и стал для меня поэтической мерой.

II. Писать стихи — это еще не все, и вовсе не в стихах «поэт», который может сказаться одинаково и в прозе (в русской литературе: Гоголь). Поэт — от «поэзии»; с поэзией родятся, и нет такой поэтической науки, чтобы сделаться поэтом. Но обнаружить поэтический дар — без ремесла не обойтись. Пишущие стихами уже по самому способу своего словесного выражения вынуждены особенно внимательно подходить к слову, выбирать слова — слышать слово, а у китайцев все равно, что и видеть, слышать и видеть отдельные слова и соотношения слов; из «как попало», а это в равной мере и для пишущих прозой, ничего путного не выходит. Кому, как не Пушкину, стать примером внимания к слову и работы над словом!

III. В ту пору, когда я еще не читал, а слушал, согнувшись над любимым рисованием, я услышал «Капитанскую дочку»: за чтением плакали — повторяющийся мотив: «прощайте!» — плакала старуха-нянька и мой брат, музыкально настроенный, а меня занимало: «что дальше будет?» И когда я стал читать книги, «Повести Белкина» прочитались с тем же интересом, как прослу-

шалась однажды «Капитанская дочка». А много позже, занимаясь словесным ремеслом, я взялся читать по-своему: я следил за словами, выговаривая и прислушиваясь; и у меня осталось: читаю «стилизованные рассказы». Но ведь Пушкин ни подо что не мастерил — значит, таков стиль современности Пушкина. Этот стиль через Пушкина обнаружится в «Герое нашего времени» у Лермонтова, но в более близкой нам форме, а от Лермонтова перейдет к «Казакам» Льва Толстого. Следя за словами и переговаривая, я читал «Повести», как впервые и с тем же любопытством: «что дальше?» Традиция пушкинской прозы не в словесном материале — я не нашел ничего от пушкинской поэзии, и слух не Пушкина; а вошедшая в обиход «ясность» ничего не открывает: «ясность», как и «темнота», — определения, и всегда приводятся потом литературными оценщиками по своему глазу и слуху; традиция Пушкина в построении рассказа — рассказ есть «рассказ»: занимательное времяпрепровождение, он может быть и нравоучительный и философский, но это неважно. Пушкин — конструктор и конструкции его — образцы.

IV. Сон, как литературный прием — без него по-русски не пишется: Гоголь, Погорельский, Вельтман, Одоевский, Лермонтов, Тургенев, Гончаров, Мельников-Печерский, Лесков. В снах не имеет значения, выдуманные они или приснившиеся, лишь бы имели сонное правдоподобие — «смысл» второй «бессмысленной» реальности, когда «существенность, уступая мечтаниям, сливается с ними в неясных видениях первосония». С Пушкина начинаются правдашные сны: сон Татьяны, с которым перекликнется Гоголь в «Пропавшей грамоте» и «Страшной мести», сон гробовщика Адриана Прохорова, сон Самозванца, сон Германа — на него отзовется Достоевский в «Преступлении и наказании», сон Гринева — на него отзовется Лев Толстой в «Анне Карениной».

V. Когда я читал богомильские легенды о «Тивериадском море», мне вдруг представился Пушкин: я увидел его демоном — одним из тех, кто выведал тайну воплощения Света; с лилией, поднявшись со дна моря и, пройдя небесные круги, он явился на землю — «и демоны убили его». Но слово — свет... его сияние хранит русская речь.

МОРОЗНАЯ ТЬМА

Редкое произведение русской литературы обходится без сна. И это говорит за кругозор и память. В снах не только сегодняшнее — обрывки дневных впечатлений, недосказанное и недодуманное; в снах и вчерашнее — засевшие неизгладимо события жизни и самое важное: кровь, уводящая в пражизнь; но в снах и завтрашнее — что в непрерывном безначальном потоке жизни отмечается как будущее, и что открыто через чутье зверям, а человеку предчувствием; в снах дается и познание, и сознание, и провидсние; жизнь, изображаемая со снами, развертывается в века и довеку.

Сон в русской литературе — с библейских видений протопопа Аввакума, описанных в последнем Послании к царю Алексею Михайловичу, и «мутного» сна Святослава в Слове о полку Игореве, Загоскин в Юрии Милославском вводит сон, как литературный прием, но сон Юрия, как сон Обломова у Гончарова, вне реальности сновидений: такое может и во сне присниться, но может и наяву представиться.

Сны, как особая действительность (существенность), по-своему закономерная, со своей последовательностью, но вне дневной бодрственной логичности, впервые появляются у Пушкина: «морозная тьма» Пушкина. И эта тьма завеет жутью Толстого и Достоевского, а через них заворожит поколения за границей русской земли до океана и за океан. Поэзия стихов Пушкина, как поэзия прозы Гоголя, звуча лишь по-русски, непередаваема; из переводов можно только догадываться и только чувствовать, но для русской литературы своим звучанием она озаряет. Имя Пушкина, как имя Гоголя, не может, стать мировым подобно Данте, Шекспиру и Гете, но через свое озарение русского — через Толстого и Достоевского — безымянно входит в мировое — в путь блистающего свода человеческого слова. Со светом поэзии от Пушкина идет и «морозная тьма» его снов — зловещее, ужас, угрызения, горечь, которые вскипят горчайшей тоской у Лермонтова, докатятся грустью до Некрасова и пронижут тревогой стих Блока, а в прозе отзовутся, как бунт и мятеж, у Толстого и Достоевского. Символисты, как Брюсов, а затем Кузмин, провозгласившие Пушкина литературным

вождем, напомнили в годы общепризнанного литературного «как попало» и самодельщины о занимательных конструкциях пушкинских рассказов, в этом значении их «пушкинизма»; их собственные примеры в форме стилизации бесследны в русской прозе, и это как у Андрея Белого Гоголь, сведенный им в его собственной словесности к перезвучанию гоголевского поэтического слова, но указание Андрея Белого на Гоголя, как на поэта в прозе, сгладившего грань между «стихом» и «прозой», имеет огромное значение; и разве не ясно, что для поэзии — все формы и нет особых форм. А от стихотворной риторики Маяковского, однажды в футуристическом манифесте «сбросившего Пушкина, Толстого и Достоевского с корабля современности», если что и сохранится, то лишь его площадные плакаты, овеянные зловещим Балдой Пушкина.

Сны, как вторая, всегда трепетная и не «безответная» реальность, с Пушкина займут необходимое место у Гоголя и Лермонтова, Толстого и Достоевского, Тургенева и Лескова. Мартын Задека, сонник которого держал в руках Пушкин, и до недавних пор, я помню из моего детства, ходовая на Москве книга, должен гордиться своими учениками, рассказывавшими о таких «бурях и ежах» — ему Задеке, в звездном колпаке волшебника, и в голову не приходило.

★

Шесть снов Пушкина: Сон Татьяны, сон Григория, сон Марьи Гавриловны, сон гробовщика Адриана Прохорова, сон Германа, сон Гринева. И каждому из этих снов будет отклик.

Сон Татьяны («Евгений Онегин») представляется как семь зеркальных отражений: 1) Снежная поляна и кипучий поток; 2) Взъерошенный медведь; 3) Погоня в лесу и в медвежьих лапах; 4) На пороге ведовского шалаша, подглядывание в щелку: чудовища и среди них Онегин; 5) Приотворяет дверь, дуновение ветра, все встали, Онегин оттолкнул дверь, появление Татьяны среди чудовищ: «копыта, хоботы кривые, хвосты хохлатые, клыки, усы, кровавые языки, рога и пальцы костя-

ные»: «мое»; 6) «Мое» — Онегина: в углу на шаткой скамейке и над нею Онегин «клонит голову свою к ней на плечо», появление Ленского и Ольги — «свет блеснул», Онегин хватает длинный нож — Ленский повержен (зарезан); 7) «Страшно тени сгустились, нестерпимый крик раздался, хижина шатнулась». Конец сна.

Этот семигранный зеркальный сон, под подушкой у Татьяны зеркальце, откликнется в семипоясном сне пана Данилы Страшной мести Гоголя: пан Данило уводит через окно свое глубочайшее единственное видение: душу Катерины, которую соблазняет отец, и которая видит свою, зарезанную отцом, мать, по тому же зрению, как Лермонтов, увидев себя убитым в долине Дагестана, видит, как где-то в Петербурге «одна из жен, увенчанных цветами», видит его лежащего в долине Дагестана: «и кровь лилась хладеющей струей». И в Войне и мире у Толстого вспоминается Татьянино зеркальце: Соня, гадающая на зеркале, ничего не видит и «вдруг отстранила то зеркало, которое она держала, и закрыла глаза рукой. Она сама не знала, как и вследствие чего у нее вырвался крик, когда она закрыла глаза рукой. И она невольно сказала: "видела его" — «вдруг вижу, что он лежит... веселое лицо и он обернулся ко мне...» И в эту минуту, как она говорила, ей самой казалось, что она видела то, что говорила. «Тут я не рассмотрела, что-то синее и красное...» И эта зеркальная выдумка Сони оказалась зловещей. Наитие, это «невольно», выдумка — одной откровенной природы со сновидением: судьба князя Андрея и судьба Ленского — сочинение Сони и сон Татьяны. А чудовище в шалаше у медвежьего кума: рогатый с собачьей мордой, петушья голова, бородатая ведьма, человеческий остов, хвостатый карла, полужуравль-полукот, рак на пауке, череп на гусиной шее, ветряная пляшущая мельница — отзовутся в Пропавшей грамоте Гоголя во сне деда, когда он попал чуть ли не в самое пекло, где «рожи на роже не видно, где ведьм такая гибель, как случается иногда на Рождество выпадает снегу, где черти с собачьими мордами на немецких ножках, где музыканты тузили себя в щеки кулаками, словно в бубны, и свистали носами, как волторны (Пушкинское: «лай, хохот, пенье, свист и хлоп, людская молвь и конский топ»), где, завидя деда, свиные,

собачьи, козлиные, дрофиные, лошадиные рыла все повытягивались — и вот так и лезут целоваться», ржа, лая и хрюкая.

«Бесовское мечтание» Григория в Борисе Годунове с двумя сонными пробуждениями или сон в два погружения — «и три раза мне снился тот же сон»: по крутой лестнице взбирается на башню, с башни — Москва, что муравейник, на площади народ указывает на него со смехом — «и стыдно мне и страшно становилось и, падая стремглав, я пробуждался». Этот сон изображается с перевернутым рисунком: подъем-падение-подъем.

Такое же мечтание будет в Портрете Гоголя: те же пробуждения во сне — трехступенное углубление Чарткова, когда он «лег в постель, а между тем глаза его невольно глядели сквозь щелку ширм на закутанный простынею портрет; сияние месяца усиливало белизну простыни, и ему казалось, что странные глаза стали даже просвечивать сквозь холстину».

Сон Марьи Гавриловны из Метели — те же «мечтания» с падением стремглав и открывающейся со дна судьбой, как у Григория, предрассветные после хлопотливой бессонной ночи в день рокового решения. «Перед самым рассветом она задремала, но и тут ужасные мечтания поминутно ее пробуждали. То казалось ей, что в самую минуту, когда она садилась в сани, чтобы ехать венчаться, отец ее останавливал ее, с мучительной быстротой тащил ее по снегу и бросал в темное, бездонное подземелье... и она летела стремглав с неизъяснимым замиранием сердца... То видела она Владимира, лежит на траве, бледный, окровавленный. Он, умирая, молил ее пронзительным голосом поспешить с ним обвенчаться». Видела она это окровавленное и пронзительное, очутившись на дне «бездонного подземелья», куда сбросил ее отец.

Этот четырехглубный звучащий — с пронзительным голосом вещий сон найдет отклик в «несвязном» сне Ивана Федоровича Шпоньки в Иване Федоровиче Шпоньке и его тетушке Гоголя, с теми же пробуждениями, углубляющими до видения судьбы: сон

Ивана Федоровича четырехстворный, звуковой, с превращениями-подменой, вызванный роковым решением — Иван Федорович, по настоянию тетушки, должен жениться. Крик Ивана Федоровича, как пронзительный крик Владимира, — голос обреченности и по «морозной тьме» сравним с «нестерпимым» криком Татьяны — криком крови.

Сон гробовщика Адриана Прохорова — сон наркотический пропадной: у Прохорова от выпитого у немца сапожника на серебряной свадьбе («пьян и сердит»), у лейтенанта Ергунова в Истории лейтенанта Ергунова у Тургенева от какого-то одуряющего курева и примеси к кофею, под музыку, песню и танец Колибри. Начало такого пьяного сна — всегда исполнение желания: наконец-то купчиха Трюхина скончалась, привез известие нарочный от ее приказчика; затем суетня «хмель бродит» — Прохоров у покойницы, хлопоты о похоронных приготовлениях, весь день в разъезде с Разгуляя на Никитинскую и обратно. Наконец, угомонился, отпустил извозчика и пешком домой. А дома гости: комната полна мертвецами — «луна сквозь окна освещала их желтые и синие лица, ввалившиеся рты, мутные полузакрытые глаза и высунувшиеся носы», все это были его клиенты, приглашенные им попировать в отместку сапожнику, булочнику, переплетчику, которые задели его: «пей за здоровье своих мертвецов». И опять все кажется в порядке и ничего неожиданного. Но такие сны так просто не кончаются: отставной сержант гвардии Петр Петрович Курилкин, которому гробовщик продал первый свой гроб и не без обмана: сосновый за дуб — напомнив о себе, простер перед ним костяные объятия. Гробовщика задело («кураж»), он оттолкнул Курилкина, а этот несчастный не выдержал, упал и рассыпался. И вот конец: мертвецы, заступаясь за Курилкина, набросились на гробовщика — «оглушенный их криком и почти задавленный, сам упал он на кости отставного сержанта и лишился чувств». А у Тургенева Ергунов должен влезть в подзорную трубу, «и труба та все уже и уже, вот и двинуться нельзя... ни вперед, ни назад, и дышать нечем, и что-то обрушилось на спину... и земля в рот...».

Сон Германа *Пиковой Дамы* — сон Раскольникова *Преступления и наказания* Достоевского: «ты — убийца». Герман проснулся ночью, а значит погрузился в более глубокий сон, луна озаряла его комнату, он сел на кровать и думал о старухе: видел, как ее раздевали после бала, видел ее, как сидела она, освещенная лампадой, вся желтая, шевеля отвислыми губами, качаясь направо и налево, видел, как это мертвое лицо изменилось неизъяснимо, когда она увидела его, видел ее, как она закивала головою и подняла руку, как бы заслоняясь от выстрела, потом покатилась навзничь... видел ее в церкви в гробу и видел, когда он наклонился, прощаясь, и ему показалось, она насмешливо взглянула на него, прищуривая одним глазом... (В *Вии* у Гоголя вспомнится: «философу казалось, как будто она глядит на него закрытыми глазами; ему даже показалось, как будто из-под ресницы правого глаза ее покатилась слеза, и когда она застыла на щеке, он различил ясно, что это была капля крови»). В это время кто-то с улицы заглянул к нему в окошко и тотчас отошел. Через минуту он услышал, что отпирали дверь в передней, и услышит незнакомую походку: кто-то ходил, тихо шаркая туфлями. Явление старухи: «тройка, семерка и туз». И она пошла к дверям и скрылась в сенях. И увидел, что кто-то опять поглядел к нему в окошко. Значит, не только «кровавые мальчики в глазах», а и этот лунный следящий глаз: «ты — убивец». «Сумерки сгущались, полная луна светила ярче и ярче» — это на Раскольникова, она заставит его, вымучивая, и не раз повторить убийство: «из всех сил начал он бить старуху по голове, но с каждым ударом топора смех и шепот из спальни раздавались все сильнее и слышнее, а старушонка так вся и колыхалась от хохота».

Сон Гринева в *Капитанской дочке* — сон с подменой-превращением: «комната слабо освещена; у постели стоят с печальными лицами; я тихонько подхожу к постели; матушка приподнимает полог и говорит: «Петр Андреевич, Петруша приехал; он возвратился, узнав о твоей болезни; благослови его!» Я стал на колени и устремил глаза мои на больного. Что ж? Вместо отца моего, вижу, в

постели лежит мужик с черной бородой, весело на меня поглядывая».

Этот сон найдет отклик у Толстого в его приемах описания сна, особенно ярко — в Двух стариках, да и в Анне Карениной для Облонского в его сне — маленькие графинчики оказываются и женщины. Сон Гринева — вещий: «мужик вскочил с постели, выхватил топор из-за спины и стал махать во все стороны; комната наполнилась мертвыми телами; я спотыкался о тела, и скользил в кровавых лужах. Страшный мужик ласково меня кликал». Так оно все и будет, а страшный мужик — Пугачев. И про это вспомнится в Анне Карениной в ее зловещем сне: все так и будет, как однажды приснилось, и сон — ее беспощадная судьба раздавит ее колесом.



«Морозная тьма» снов — «налившееся сердце ядом» и свет поэзии — дуновение тонкого вея и воли. И в этом правда жизни? И для человеческого гения, человека в существе нечеловеческом, и свет и яд неразличимы по-человечески; другими словами судит он дело своей жизни и на вопрос «зачем» ответит «так» — так, как все совершается в мире от рождения до встреч, и до смерти.

Голос, поднятый в русской литературе гением Пушкина — голос самой жизни с ее многоцветной тайной, переливающейся то горечью, то светом.

СКВОЗНЫЕ ГЛАЗА

СОН ЛЕРМОНТОВА

Сон Лермонтова только и можно сравнить со Страшной местью: пан Данила видит во сне сон Катерины.

Лермонтов видит себя в жгучий полдень в горах, он лежит смертельно раненный: пуля пробила грудь, течет кровь. В глазах жар, песок и желтые вершины скал.

И в своем мертвом сне он видит: Петербург, бал, огни, цветы, вспоминают о нем, смех и она одиноко, не вступая в разговоры, задремала и ей видится: он лежит смертельно раненный среди скал и течет кровь.

Лермонтов во сне видит сквозь себя ту, которой снится, видит его — в его сне.



В полдневный жар, в долине Дагестана,
С свинцом в груди, лежал недвижим я;
Глубокая еще дымилась рана,
По капле кровь точилася моя.

Лежал один я на песке долины;
Уступы скал теснилися кругом,
И солнце жгло их желтые вершины,
И жгло меня, — но спал я мертвым сном.

И снился мне сияющий огнями
Вечерний пир в родимой стороне;
Меж юных жен, увенчанных цветами,
Шел разговор веселый обо мне.

Но, в разговор веселый не вступая,
Сидела там задумчиво одна,
И в грустный сон душа ее младая,
Бог знает чем, была погружена.

И снилась ей долина Дагестана...
Знакомый труп лежал в долине той,
В его груди, дымясь, чернела рана,
И кровь лилась хладеющей струей.

Лермонтов. Сон. 1841 г.

ТУРГЕНЕВ — СНОВИДЕЦ

Всякая человеческая жизнь великая тайна. И самые точнейшие проверенные факты из жизни человека и свидетельства современников не создают и никогда не создадут живой образ человека: все эти подробности жизни — только кости и прах. Оживить кости — вдохнуть дух жизни может легенда и только в легенде живет память о человеке.

Ленинское о Толстом: «срывание всех и всяческих масок» — наивная детская повадка ломать игрушки. Что ж, оторву руки, оторву ноги, доберусь до самого горла или в живот к пружинке-пищику, все пальцы себе исцарапаю над пружинкой, наконец, и ее оторву, а тайна останется — ее не вырвешь: кукла подымающая и опускающая веки, а если подавить брюшко — пищит. Наивные дети! И Толстой, правдиво разложивший Наполеона, и Ленин, оценивший эту правдивость. Но и Наполеон и Толстой, сколько бы ни срывали с них масок, живы и будут жить в легенде.

Легенда и есть дух жизни.

День человека: как он встает, ест, пьет — эти мелочи жизни, хотя бы восстановленные с фотографической правдивостью, ничего не прибавят и не убавят к живому образу человека — все эти живейшие движения, общие с другими людьми, мертвы. И всякие собрания анекдотов, сплетни, суд современников и даже собственные признания, сводящиеся обыкновенно к общему и как всякие откровенные признания, никогда не без показной фальши, также мертвы. Дух жизни дает легенда, а легенда о писателе создается из его произведений, в которых писатель выражает себя и только себя в самом своем сокровенном, а через себя и тайну жизни.

Тургенев — сновидец. Реальность его жизни громадна: явь и сон. Из скрытой сонной реальности, глубины не Гоголя, и не Толстого, и не Достоевского, почерпнул он силу Елены «Накануне», силу Лукерьи «Живые мощи», силу Марианны «Новь» и силу Лизы «Дворянское гнездо» — силу четырех матерей.

Тургенев — сновидец. Ни один писатель не оставил столько снов — редкий тургеневский рассказ без сна. Из писателей второго круга, к которому принадлежит Тургенев, только Лесков, и в этих снах их общее.

Тургеневу приснился сон: зеленый старичок дал ему орешек. (Рассказ о. Алексея). Этот зеленый старичок Гоголь. Из учеников Гоголя, а ученики Гоголя — и Достоевский, и Писемский, — Тургенев добросовестно исполнил все, что получил от своего учителя: от «Записок охотника» до «Песни торжествующей любви».

Слова Тургенева робки — для гоголевской «нестерпимо-звенящей трели» он глух, и в самом известном его «Русский язык» вышла путаница с «могучим» и «свободным». Тургенев владел и «обходительным», по петровской терминологии, или «крестьянским наречием» по Пушкину, искусно имитировал мужика и создал вместе с Писемским и Толстым условно народный язык, в котором простонародные слова выражаются в речи книжного литературного склада; синтаксисом народной речи — сказом займется Лесков, первый после протопопа Аввакума, и словесно станет ближе — понятнее простому русскому народу, чем самый «народный» «Бежин луг», который всегда останется барской подделкой.

Тургенев описывает природу, изображая землю и небо, цветы, ночь, звезды и зори, весну, осень, лето и зиму. Его описания, как подобные же у Гоголя, Толстого, Писемского, Лескова и Гончарова, вошли в наш глаз; эти описания создали целый мир «русской природы» — музейный памятник любующегося глаза. Но какому современному писателю, прошедшему, или пытающемуся пройти через высокий мир Гоголя, Толстого и Достоевского, придет в голову заниматься «описанием природы», которой вообще в природе и не существует, а есть сила — и добрая со всей теплотой материнского сердца, и злая — со всей беспощадностью к незащищенным, сила, которая ненавист-

на своим «законом» и «необходимостью» для мятежного, своевольного сердца.

В революцию все бросились на «Бесов» Достоевского, искали о революции. И всякий прочитал «Бесов», пропуская сокровенные слова о человеческом «сметь» — о такой революции, о которой не снилось никаким «титанам» — любимое выражение о себе наших революционеров мотыльков! — эти мысли Достоевского в признаниях Кириллова о победе над «болью» и «страхом» и начале новой эры с человеком, распоряжающимся своей судьбой; пропуская также и «красненького паучка» — об этой тайне жертвы, на игре которой стоит мир, не взорванный еще революцией, которую рано или поздно подымет Кириллов — «Исповедь Ставрогина». И никто не подумал о неумиренной пламенной Марианне «Новь», и которая, я знаю, никогда не успокоится, и о ее сестре, открытой к мечте о человеческой свободе на земле, о Елене «Накануне», а кстати поискать «бесов» совсем не там — жизнь на земле трудная и в мечте человека облегчить эту жизнь, какие там «бесы»! — нет, не там, и уж если говорить о «бесах», вот мир, изображенный Тургеневым, Толстым, Писемским и Лесковым — вот полчища бесов, а имя которым праздность, и самовольная праздность.

Есть озорнейший гоголевский рассказ — гоголевская тема, как страсть водит за нос и губит человека — «Шинель»: среди словесного перелива на зубоскал и хохот, вдруг горькие строки о человеке и России — «как много в человеке бесчеловечья, как много скрыто свирепой грубости в утонченной образованной светскости и, Боже, и в том человеке, которого свет признает благородным и честным». У Тургенева не было веселости духа. Тургенев без юмора и колдовства — гоголевское озорство и гоголевская магия не по нем, и вот эти единственные у Гоголя жалостные строки больно хлестнули его по сердцу: все рассказы Тургенева, начиная с «Записок охотника» — о человеке, как человек мудрует над человеком. И это современно, и Тургенев современен: современность спрашивает не только «чего», а также и «из-за чего»? Все пройдет и разрушится, как паутина — нет, то-то, что нет: глубочайшие чувства человеческого сердца неизбывны — нельзя забыть! — и вот наступил «суд жесточайший преимущим».

Зверовидные женщины Тургенева: Одинцова, Ирина, Полозова, Лаврецкая — это цепь такой цепкой бессмертной жизни, замыкающаяся Еленой Безуховой в «Войне и мире» Толстого, Глафирой Бодростиной в «На ножах» Лескова и Екатериной Петровной Крапчик в «Масонах» Писемского, Саломеей Петровной Брониной в «Приключениях из моря житейского» Вельтмана — сестры вокруг «Древа жизни». А как далека от этого «Древа» одиноко стоит Лиза: образ восходящего духа через отречение. Судьба Лизы, недосказанная в Софье «Странной истории», досказана в Евлампии «Степного короля Лира»: не победив во имя какой-то высшей воли одну из своих воль, человек не найдет в себе силы владеть волею других, и с каким умом и способностями не чета скромнейшей и простоватой Лизе, а угодит в пылесос. И как Лиза, одиноко стоит «Богом убитая» Лукерья из «Живых мощей», перекликающаяся с Ульяной из «Обойденных» Лескова — «безответные, сиротливые дети и молитвенницы за затолокший их мир Божий».

Безулыбный, делящий жизнь между чудовищной явью и кошмарным сном, Тургенев, рассказав о своей судьбе в «Петушкове», слышит «стук-стук» скрытой руки этой судьбы — тайный знак приближающегося удара неизбывного часа, от которого не уйти и самому живучему, самому цепкому, самому зверскому, рожденному под «Древом Жизни». Нет, Тургенев не тот чванливый московский хлыщ с парижским «tiens» и «merci», каким он мог казаться Достоевскому, исстрадавшемуся и увидевшему свет из страдания в жертвенном страдании человека, и Толстому, рассказавшему с исключительной верой в чудесность человека о радости и свете человеческом, Тургенев, из своей тайной памяти от четырех Матерей почерпнувший силу, и сердце его — навсегда раненное неразделенной первой любовью и неутоленное, открыто к жуткой и жгучей беде человека бунтующего и смиренного перед неумолимой и беспросветной судьбой и одна сквозь эту тьму, как огонек, надежда — его последнее слово — что неутоленное здесь — там утолится: «любовь сильнее смерти».

ТРИДЦАТЬ СНОВ

1

Безулыбный, раненный в юности («Первая любовь»), и на всю жизнь завороженный («Петушков»), верный («Петушков», «Вешние воды»), Тургенев, которому снились сны — ни один русский писатель не сохранил их столько в рассказах, как Тургенев. И осененный веселостью духа, хохочущий Гоголь («сквозь слезы» добавлено Гоголем, из своего глубокого сна), для которого самая наша явь пронизана волшебным в т р и г л у б и сном («Портрет», «Нос»), с его бесформенностью и нереальностью в нашем дневном представлении — в формах грандиозных, искривленных и усеченных. Ни один русский писатель не был так под чарами Гоголя, как, посвященный Гоголем, Тургенев («Рассказ о. Алексея»). Тургенев исполнил все, что мог по своим силам, тихим голосом (вот, кто никогда не напугает!), выполнял заветы своего громкого учителя. И это ярко выступает при чтении Тургенева и непосредственно за ним Гоголя.

2

Тургенев понимал различие подлинного сна от сочиненного: сон со всей своей несообразностью проходит не под знаком Эвклида и вне всякой логики, а и самое фантастическое сочинение непременно трехмерно и логично.

«Зинаида предложила, чтобы тот, чей фант вынется, рассказывал свой сон, но это не удалось. Сны выходили либо неинтересные (Беловзоров видел во сне, что накормил свою лошадь карасями, и что у ней была деревянная голова), либо неестественные, сочиненные. Майданов угостил нас целою повестью: тут были и могильные склепы, и ангелы с лирами, и говорящие цветы, и несущиеся издалека звуки» («Первая любовь», 1860).

3

Сон и мечта одного порядка. Слово «мечта» в старорусском значении — наваждение, как сон: «Тогда явись мечта к Полотску: в нощи всегда стук по улици, яко

человеци, рищут беси» (Переяславская летопись, 6601 г.). Мечта всегда для «нормального» глаза и уха несообразна, как «пустой» сон. Замечание Мосье Франсуа о Консидеране (Виктор Консидеран, 1808—1893), ученике Фурье (1772—1837), революционере, создателе фаланстеров, просится на изображение, как сон.

«Мосье Франсуа принял несколько торжественную позу: «социализм родился у нас, во Франции, милостивый государь, — да и во Франции же умрет, если уже не умер. Или его убьют. Убьют его двояко: или насмешкой — не может же г-н Консидеран безнаказанно уверять, что у людей вырастет хвост с глазом на конце... или вот как: он поставил обе руки, как бы прицеливаясь из ружья. Вольтер говаривал, что у французов не эпические головы; а я осмеливаюсь утверждать, что у нас не социалистические головы. — За границей о нас не такого мнения. — В таком случае, вы все, господа, за границей в сотый раз доказываете, что не понимаете нас. В настоящее время социализм требует творческой силы. Он пойдет за ней к итальянцам, к немцам... к вам, пожалуй. А француз — изобретатель... (он почти все изобрел)... но не творец. Француз остер и узок, как шпага — вот, он и проникает в суть вещей, изобретает, находит... А чтобы творить — надо быть широким, круглым» («Человек в серых очках». Из парижских воспоминаний, 1848 г.).

4

Гоголь родился посвященным: в детстве ему слышались голоса: внешне это выражалось в том, что у него текло из ушей; и с ранней юности его не покидала мысль совершить какое-то важное дело, которое и означит его жизнь. Конечно, он умер без такого сознания совершённого дела, очень хорошо понимая, какой величайший дар ему был отпущен — владеть, как никто, словом. Мне представляется Гоголь стоящим перед «завесой», которая так и не разодралась — и он задохнулся. Но кто же, как не посвященный, мог рассказать о волшебном полете в «Вии», перед которым «Призраки» кажутся лётом паутинки, и о колдовстве — вызова живой души (астрального тела) в «Страшной мести», перед которой са-

мое совершенное и страшное — «Песнь торжествующей любви» — только беллетристика: занимает, но не трогает. Сделайте опыт, прочитайте «Вечера» Гоголя, рассказ за рассказом, не растягивая на долгий срок, и я по опыту знаю, что и самому «бессонному» приснится сон. А это значит, что слово вышло из большой глуби, а накалено на таком пламени, что и самую слоновую кожу прожжет, и, как воск, растопит кость.

Тургенев — посвященный Гоголем. О этом посвящении — в «Рассказе о. Алексея»: встреча в лесу с зеленым старичком, который дал орешек; зеленый старичок — Гоголь.

«В лесу гулять ходил да встретил там зеленого старичка, который со мной много разговаривал и такие мне вкусные орешки дал! Никогда его доселе не видывал. Маленький старичок, с горбиною, ножками все семенит и посмеивается — и весь, как лист, зеленый. И лицо, и волосы, и самые даже глаза. Вот у меня в кармане и орешек один остался. (Ядрышко небольшое, вроде каштанчика, словно шероховатое; на наши обыкновенные орехи не похоже...) («Рассказ о. Алексея»).

С Гоголем связаны у Тургенева две большие памяти: выход «Записок охотника» и ссылка. «Записки охотника», написанные большею частью в Париже, вышли отдельной книгой в 1852 году — в год смерти Гоголя. Их можно было бы смело назвать, сохраняя подзаголовок «записки охотника» — «Жестокие души»: ведь это тот же самый путь, что и Чичикова, только севернее, а сам Чичиков — ведь он охотник, а разве не в природе охоты: «видеть свет и коловращение людей — есть уже само по себе, так сказать, живая книга и вторая природа». В 1852 г. за статью по случаю смерти Гоголя «Письмо из Петербурга», не пропущенную цензурой, Тургенев был арестован и выслан в Спасское «без права выезда».

У Тургенева был очень тихий голос, и самая словесно-яркая «природа» его стирается из памяти, за исключением «Поездки в Полесье», где чувствуется и гарь лесных пожаров, и до сладости затхлая топь болот. Из рядовых описаний, как пример, лучшее в «Нови».

«Погода была июньская, хоть и свежая: высокие резвые облака по синему небу, сильный ровный ветер, дорога не пылит, убитая вчерашним дождем, ракиты шу-

мят, блестят и струятся, — все движется, все летит, — перепелиный крик приносится жидким посвистом с отдаленных холмов через зеленые овраги, точно и у этого крика есть крылья, и он сам прилетает на них, грачи лоснятся на солнце, какие-то темные блохи ходят по ровной черте обнаженного небосклона... это мужики двоят поднятый пар».

А вот гоголевское — косьба из «Ивана Федоровича Шпоньки и его тетушки»:

«Единодушный взмах десятка и более блестящих кос; шум падающей стройными рядами травы; изредка заливающиеся песни жниц, то веселые, как встреча гостей, то заунывные, как разлука; спокойный, чистый вечер, — и что за вечер! как волен и свеж воздух! как тогда оживлено все: степь краснеет, синеет и горит цветами; перепелы, дрофы, чайки, кузнечики, тысячи насекомых, и от них свист, жужжание, треск, крик, и вдруг стройный хор; и все не молчит ни на минуту; а солнце садится и кроется. У! как свежо и хорошо! По полю, то там, то там, раскладываются огни и ставят котлы, и вкруг котлов садятся усатые косари; пар от галушек несется; сумерки сереют...»

Или после такого громопровода, как Гоголь, Толстой, Лесков и Достоевский, нормальный человеческий голос кажется не звучнее мышеписка? Гоголь остался вне подражаний — просто не допрыгнешь! Тургеневский глаз и слух был усвоен всей последующей русской литературой, где только давались описания природы; из современных писателей — М. М. Пришвин взглянул по-своему на небо и услышал другие звуки в траве и в лесе.

5

Душа человеческая это не такое, что с течением времени вырастает, как растет дерево: душа человека одна и вся со всей ее судьбой: она углубляется и просветляется, или высыхает и темнеет, но судьба неизменна. Это особенно ясно в творчестве, для которого не существует времени: может быть зорко такое отдаленное, о котором себе сказать, не поверишь. О своем посвящении Тургенев рассказал под конец своей жизни: «Рассказ о. Алексея» — 1877 г., а о своей судь-

бе в рассказе «Петушков» — 1847 г. Судьба Тургенева связана с Виардо, с которой он познакомится в 1845 г., и вся жизнь его прошла под ее знаком: так и умер он в «чужом гнезде», в Буживале, под Парижем. Судьба Петушкова — судьба Тургенева. В рассказе нет сна, но очень близкое сну — «приворот»:

«Ивана Афанасьевича разобрала сильная досада. В недоумении отошел он на другую сторону улицы и предался весь, как дитя, своему неудовольствию. «Господин!.. — раздался довольно приятный женский голос: — господин!» Иван Афанасьевич поднял глаза. Из форточки булочной выглядывала девушка лет семнадцати и держала в руке булку. Лицо она имела полное, круглое, щеки румяные, глаза карие, небольшие, нос несколько вздернутый, русые волосы и великолепные плечи. Ее черты выражали доброту, лень и беспечность. «Вот вам, сударь, булка, — сказала она, посмеиваясь, — я, было, взяла ее себе, да уж извольте, уступлю вам». «Покорнейше благодарю. Позвольте-с...» Петушков начал шарить у себя в кармане. «Не надо, не надо-с. Кушайте себе на здоровье». Она затворила форточку. Петушков пришел домой в совершенно приятном расположении духа. «Вот ты не достал булки, — сказал он своему Онисиму, — а я вот достал, видишь?..» Онисим горько усмехнулся. В тот же день, вечером, Иван Афанасьевич, раздеваясь, спросил слугу своего: «Скажи мне, братец, пожалуйста, что там у булочницы за девка, а?» Онисим посмотрел в сторону довольно мрачно и возразил: «А на что вам?» «Так», — сказал Петушков, собственноручно снимая сапоги. «А ведь хороша!», снисходительно заметил Онисим. «Да... недурна... — промолвил Иван Афанасьевич, глядя тоже в сторону, — а как ее зовут, знаешь?» «Василисой». «И ты ее знаешь?» Онисим помолчал несколько. «Знаем-с». Петушков разинул, было, рот, но повернулся на другой бок и заснул. Онисим вышел в переднюю, понюхал табаку и покрутил головой («Петушков»).

Роль Онисима — роль трагического хора. Он же и объясняет, что тут «приворот»:

«Вот, хоть бы изволите знать унтера Круповатого?.. У него брат от приворота пропал. И приворотили-то его к бабе старой, к поварихе. Дали съесть простой кусок ржаного хлеба, с наговором, разумеется. Вот, и врезался

Круповатовский брат по уши в повариху, так и бегал всюду за поварихой, души в ней не чаял, наглядеться не мог. Бывало, что она ему ни скомандует, он тотчас и повинуется. Даже при других, при чужих людях она им щеголяла. Ну, и вогнала его, наконец, в чахотку».

А вот заключение рассказа — судьба Петушкова:

«Лет через десять можно было встретить на улицах городка О. человека худенького, с красненьким носиком, одетого в старый зеленый сюртук с плисовым засаленным воротником. Он занимал небольшой чуланчик в известной нам булочной. Прасковьи Ивановны уже не было на свете. Хозяйством заведовала ее племянница, Василиса, вместе с мужем своим, рыжеватым и подслеповатым мещанином Демофонтом».

6

Если бы Петушков видел сны, он увидел бы то же, что Аратов в «Кларе Милич». Петушков и Аратов — один состав. Аратов говорит про себя, что он «нетронутый»: «Он стал припоминать свое посещение у Миловидовых и весь рассказ Анны, этой доброй, чудной Анны... Сказанное ею слово: "нетронутая!" внезапно поразило его. Словно что и обожгло его, и осветило». «Да, — промолвил он громко, — она нетронутая — и я нетронутый... Вот, что дало ей эту власть!» А в «Петушкове» есть такой разговор; дело идет не о Василисе, которая совсем не «нетронутая», а о самом Петушкове: «"А ведь надо правду сказать, — промолвил Бублицын, поглаживая свои бурые бакенбарды, — у нас здесь есть мещаночки такие, что куда твоя Венера мендинцейнская... Например, видали вы Василису булочницу?" — Бублицын затянулся. Петушков вздрогнул. "Впрочем, — продолжал Бублицын, исчезая в облаке дыма, — что я у вас спрашиваю? ведь вы такой человек, Иван Афанасьич! Бог знает, чем вы занимаетесь, Иван Афанасьич!" "Тем же, чем и вы", — не без досады и нараспев проговорил Петушков. "Ну, нет, Иван Афанасьич, нет... Что вы это?". "Однако?" "Ну, да уж что, Иван Афанасьич!" "Однако? однако?" Бублицын поставил трубку в угол и начал рассматривать свои, не совсем красивые сапоги. Петушков почувствовал смущение».

Сон Аратова после известия о смерти Клары и разговора о ней с Купфером — это вызывающий голос живого пола, неизжитого в жизни, рвущегося из застывшей крови мертвой Клары и действующего без всякого посредника (наговоренной или от сердца одурманенной булки), а своей живой волей в напряженную среду другого пола. Перед описанием этого сна Тургенев уж от себя говорит о Аратове: «Чуждый до сих пор всякого соприкосновения с женщинами, он и не подозревал, как занимательно было для него самого напряженное разбирательство женской души».

«Ему снилось: он шел по голой степи, усеянной камнями под низким небом. Между камнями вилась тропинка; он пошел по ней. Вдруг перед ним поднялось нечто вроде тонкого облачка. Он вглядывается; облачко стало женщиной, в белом платье, с светлым поясом вокруг стана. Она спешит от него прочь. Он не видел ни лица ее, ни волос... их закрывала длинная ткань. Но он непременно хотел догнать ее и заглянуть ей в глаза. Только как он ни торопился — она шла проворнее его. На тропинке лежал широкий плоский камень, подобный могильной плите. Он преградил ей дорогу. Женщина остановилась. Аратов подбежал к ней. Она к нему обернулась — но он все-таки не увидал ее глаз... они были закрыты. Лицо ее было белое, белое, как снег, руки висели неподвижно. Она походила на статую. Медленно, не сгибаясь ни одним членом, отклонилась она назад и опустилась на плиту... И вот, Аратов уже лежит с ней рядом, вытянутый весь, как могильное изваяние — и руки его сложены, как у мертвеца. Но тут женщина вдруг приподнялась — и пошла прочь. Аратов хочет тоже подняться... но ни пошевельнуться, ни разжать рук он не может — и только глядит ей вслед. Тогда женщина внезапно обернулась — он увидал светлые, живые глаза на живом, но незнакомом лице. Она смеется, она манит его рукою... а он все не может пошевельнуться. Она засмеялась еще раз — и быстро удалилась, весело качая головою, на которой заалел венок из маленьких роз. Аратов силится закричать, силится нарушить этот страшный кошмар. Вдруг все кругом потемнело... и женщина возвратилась к нему. Но это уже не та незнакомая статуя... это Клара. Она остановилась перед ним, скре-

стила руки — и строго, и внимательно смотрит на него. Губы ее сжаты — но Аратову чудится, что он слышит слова: «Коли хочешь знать, кто я, поезжай туда!». «Куда?» — спрашивает он. «Туда! — слышится стенящий ответ, — туда!» («Клара Милич»).

Окликающий голос, явившийся в образе Клары, увенчанной розами, видится ему в воющем черном вихре в последнюю минуту ее жизни: она окружена конями — кони угрожающе скалятся, яблоками — красные яблоки, увядая, падают. Это вещий сон, предрекающий смерть: смерть представлена обезьяной, в ее лапах склянка с темной жидкостью; да и словами говорится, что это смерть. Да иначе и невозможно: как же ему погасить ее пылающий неизжитой пол?

«Полночь еще не успела пробить, как ему уже привиделся необычайный, угрожающий сон. Ему казалось, что он находится в богатом помещичьем доме, которого он был хозяином. Он недавно купил и дом этот, и все прилегавшее к нему имение. И все ему думается: «хорошо, теперь хорошо, а быть худу!». Возле него вертится маленький человечек, его управляющий; он все смеется, кланяется и хочет показать Аратову, как у него в доме и в имении все отлично устроено. «Пожалуйте, пожалуйте, — твердит он, хихикая при каждом слове, — посмотрите, как у вас все благополучно! Вот лошади... экие чудесные лошади!» И Аратов видит ряд громадных лошадей. Они стоят к нему задом в стойлах; гривы и хвосты у них удивительные... но как только Аратов проходит мимо, головы лошадей поворачиваются к нему — и скверно скалят зубы. «Хорошо, — думает Аратов, — а быть худу!» — «Пожалуйте, пожалуйте, — опять твердит управляющий, — пожалуйте в сад: посмотрите, какие у вас чудесные яблоки!» Яблоки, точно, чудесные, красные, круглые; но как только Аратов взглядывает на них, они морщатся и падают. «Быть худу», — думает он. «А вот и озеро, — лепечет управляющий, — какое оно синее, да гладкое! Вот и лодочка золотая... Угодно на ней прокатиться?.. она сама поплывет». — «Не сяду! — думает Аратов, — быть худу!» — и все-таки садится в лодочку. На дне лежит, скорчившись, какое-то маленькое существо, похожее на обезьяну; оно держит в лапах склянку с темной жидкостью.

«Не извольте беспокоиться, — кричит с берега управляющий, — это ничего! это смерть! счастливого пути!» — Лодка быстро мчится... но вдруг налетает вихрь, не вроде вчерашнего, бесшумного, мягкого — нет; черный, страшный, воющий вихрь! — Все мешается кругом — и среди крутящейся мглы Аратов видит Клару в театральном костюме: она подносит склянку к губам, слышатся отдаленные: браво! браво! — и чей-то грубый голос кричит Аратову на ухо: «А! ты думал, что все комедией кончится? Нет, это трагедия! трагедия!» («Клара Милич»).

Да, это роковое — неизбывное. И дальше уж не сон, а видение: окликающий голос, принявший призрачный образ сна и однажды мягким бесшумным вихрем пронесшийся через всю комнату, через него, сквозь него со словом «я», теперь оплотневает до осязаемости: Аратов, сам окликнувший Клару, чувствует «горячее прикосновение ее губ» и «влажный холодок зубов».

«Он чувствует одно: Клара здесь, в этой комнате... он ощущает ее присутствие... он опять и навсегда в ее власти! Из губ его исторгается крик: «Клара, ты здесь?» «Да!» — раздается явственно среди неподвижно освещенной комнаты. Аратов беззвучно повторяет свой вопрос. «Да!» — слышится снова. «Так я хочу тебя видеть!» — вскрикивает он, и соскакивает с постели. Несколько мгновений простоял он на одном месте, попирая голыми ногами холодный пол. Взоры его блуждали: «где же?» шептали его губы. Ничего не видать, не слыхать... Он осмотрелся — и заметил, что слабый свет, наполнявший комнату, происходит от ночника, заслоненного листом бумаги и поставленного в углу, вероятно, Платошей, в то время, как он спал. Он даже почувствовал запах ладана... тоже, вероятно, дело ее рук. Он поспешно оделся. Оставаться в постели, спать — было немыслимо. Потом он остановился посреди комнаты и скрестил руки. Ощущение присутствия Клары было в нем сильнее, чем когда-либо. И вот он заговорил не громким голосом, но с торжественной медлительностью, как произносятся заклинания: «Клара, — так начал он, — если ты точно здесь! Если эта власть, которую я чувствую над собой — точно т в о я власть — явись! Если ты понимаешь, как горько я раскаиваюсь в том, что не понял, что оттолкнул тебя — явись! Если то, что я слышал — точно твой голос; если

чувство, которое овладело мною — любовь; если ты теперь уверена, что я люблю тебя, который до сих пор и не любил, и не знал ни одной женщины; если ты знаешь, что я после твоей смерти полюбил тебя страстно, неотразимо, если ты не хочешь, чтобы я сошел с ума — явись, Клара!» Аратов еще не успел произнести это последнее слово, как вдруг почувствовал, что кто-то быстро подошел к нему сзади — как тогда, на бульваре — и положил ему руку на плечо. Он обернулся — и никого не увидел. Но то ощущение ее присутствия стало таким явственным, таким несомненным, что он опять торопливо оглянулся. Что это?! На его кресле, в двух шагах от него, сидит женщина, вся в черном. Голова отклонена в сторону, как в стереоскопе... Это она! Это Клара! Но какое строгое, какое унылое лицо! Аратов тихо опустился на колени. — Да, он был прав: ни испуга, ни радости не было в нем — ни даже удивления... Даже сердце его стало тише биться. Одно в нем было сознание, одно чувство: «А! наконец! наконец!» «Клара, — заговорил он слабым, но ровным голосом, — отчего ты не смотришь на меня? Я знаю, что это ты... но ведь я могу подумать, что мое воображение создало образ, подобный т о м у... (Он указал рукою в направлении стереоскопа). Докажи мне, что это ты... Обернись ко мне, посмотри на меня, Клара». Рука Клары медленно приподнялась... и упала снова. «Клара, Клара! обернись ко мне!» И голова Клары тихо повернулась, опущенные веки раскрылись, и темные зрачки ее глаз вперились в Аратова. Он подался немного назад — и произнес одно протяжное, трепетное: «А!» Клара пристально смотрела на него... но ее глаза, ее черты сохранили прежнее задумчиво-строгое, почти недовольное выражение. С этим именно выражением на лице явилась она на эстраду в день литературного утра — прежде чем увидала Аратова. И так же, как в тот раз, она вдруг покраснела, лицо оживилось, вспыхнул взор — и радостная, торжествующая улыбка раскрыла ее губы... «Я прощен! — воскликнул Аратов, — ты победила... Возьми же меня! Ведь я твой — и ты моя!» Он ринулся к ней, он хотел поцеловать эти улыбающиеся, эти торжествующие губы — и он поцеловал их, он почувствовал их горячее прикосновение, он почувствовал даже влажный холодок ее

зубов — и восторженный крик огласил полутемную комнату» («Клара Милич»).

И вот чем кончилось, да так оно и должно было быть: «Ну, так что же? Умереть — так умереть. Смерть теперь не страшит меня нисколько. Уничтожить она меня ведь не может? Напротив, только так и там я буду счастлив... как не был счастлив в жизни, как и она не была... Ведь мы оба — нетронутые! О, этот поцелуй!» — — — С ним сделалась горячка, усложненная воспалением сердца. Через несколько дней он скончался. Странное обстоятельство сопровождало его второй обморок. Когда его подняли и уложили, в его стиснутой правой руке оказалась небольшая прядь черных женских волос. Откуда взялись эти волосы? У Анны Семеновны была такая прядь, оставшаяся от Клары; но с какой стати было ей отдать Аратову такую для нее дорогую вещь? Разве как-нибудь в дневник она заложила — и не заметила, как отдала? В предсмертном бреду Аратов называл себя Ромео... после отравы; говорил о заключенном и совершенном браке; о том, что он знает теперь что такое наслаждение. — — — «Тетя, что ты плачешь? тому, что я умереть должен? Да разве ты не знаешь, что любовь сильнее смерти?.. Смерть! Смерть, где жало твое? Не плакать — а радоваться должно — так же, как я радуюсь». И опять на лице умирающего засияла блаженная улыбка...» («Клара Милич»).

История Аратова и Клары написана необыкновенно ярко — чего стоит зажатая в руке прядь черных волос! — и при чтении у меня такое ощущение: вижу неотступно на белом — со страниц книги — дышащий комочек слизи. Вся повесть об этом, в этом и через это. «Размазывание половых мерзостей!» — сказал бы Лев Толстой. Ну, мази нету — не на потеху написан рассказ и не с озорства, а, как и все у Тургенева, безулыбно. Написан рассказ в 1882 году в Буживале под конец жизни. Так от Петушкова через Санина («Вешние воды») и Гуськова («Бригадир») до Аратова и Муция («Песнь торжествующей любви») — «любовь сильнее смерти».

7

Тот же мотив любви по смерти — власть неизжитого пола — в «Песне торжествующей любви». Оживляемый

магическими чарами труп — мертвец Муций — больше, чем окликающий голос мертвой Клары, больше, чем призрак, материализующийся до поцелуя, Муций действует, как живой.

«Ей почудилось, что вступает она в просторную комнату с низким сводом... Такой комнаты она в жизни не видывала. Все стены выложены мелкими голубыми изразцами с золотыми «травами»; тонкие резные столбы из алебастра подпирают мраморный свод; самый этот свод и столбы кажутся полупрозрачными... бледно-розовый свет отовсюду проникает в комнату, озаряя все предметы таинственно и однообразно; парчовые подушки лежат на узком ковре по самой середине гладкого, как зеркало, пола. По углам едва заметно дымятся высокие курильницы, представляющие чудовищных зверей; окон нет нигде; дверь, завешанная бархатным пологом, безмолвно чернеет во впадине стены. И вдруг этот полог тихонько скользит, отодвигается... и входит Муций. Он кланяется, раскрывает объятия, смеется... Его жесткие руки обвивают стан Валерии; его сухие губы обожгли ее всю... Она падает навзничь, на подушки...» («Песнь торжествующей любви»).

«Я видел, — отвечал Муций, не спуская глаз с Валерии, — будто я вступаю в просторную комнату со сводом, убранную по-восточному. Резные столбы подпирали свод, стены были покрыты изразцами, и хотя не было ни окон, ни свечей, всю комнату наполнял розовый свет, точно она вся была сложена из прозрачного камня. По углам дымились китайские курильницы, на полу лежали парчовые подушки вдоль узкого ковра. Я вошел через дверь, завешенную пологом, из другой двери, прямо напротив — появилась женщина, которую я любил когда-то. И до того она показалась мне прекрасной, что я загорелся весь прежнею любовью...» («Песнь торжествующей любви»).

А вот заключение: «В один прекрасный осенний день Фабий оканчивал изображение своей Цицилии; Валерия сидела перед органом, и пальцы ее бродили по клавишам... Внезапно, помимо ее воли, под ее руками зазвучала та песнь торжествующей любви, которую играл Муций — и в тот же миг, в первый раз после ее брака, она почувствовала внутри себя трепет новой, зарождающейся

жизни... Валерия вздрогнула и остановилась. Что это значило? Неужели же...» («Песнь торжествующей любви»).

Рассказ написан в Спасском в 1881 году. Это последняя дань — учителю Гоголю. Рассказ без задоринки. Словесно он оправдывает посвящение Флоберу. Все слова сказаны, чтобы показать, что Муций мертвецом возвращается в Феррару.

«Когда Фабий встретил своего друга на одной из улиц Феррары, он чуть не закричал сперва от испуга, потом от радости, — — Черты Муциева лица мало изменились: с детства смуглое, оно еще потемнело, загорело под лучами более яркого солнца, глаза казались углубленнее прежнего — и только; но выражение этого лица стало другое: сосредоточенное, важное, оно не оживлялось даже тогда, когда он упоминал об опастностях, которым подвергался ночью, в лесах. — — И голос Муция стал глуше и ровнее; движения рук, всего тела, утратили развязность. — — Все то чужое, неизвестное, новое, что Муций вынес с собою из тех далеких стран — и что, казалось, вошло ему в плоть и кровь, — все эти магические приемы, песни, странные напитки, этот немой малаец, самый даже пряный запах, которым отдавало от одежды Муция, от его волос, от его дыхания, — все это внушало Фабию чувство, похожее на недоверчивость, пожалуй, даже на робость» («Песнь торжествующей любви»).

Но несмотря на все определения «мертвого», на заключительное магическое оживление смертельно раненного Муция, нет ощущения «кадавра», и нет колдовства. А что такое колдовство, об этом рассказывает Гоголь в «Страшной мести».

В русской литературе нет более скучных страниц, чем те, которые посвящены «охоте», и в этих упражнениях, надо отдать справедливость, побил рекорд Толстой в «Анне Карениной». Но и лишенный юмора Тургенев при попытке создать нечто юмористическое в гоголевском складе, как повесть «Два приятеля», достигает, как и все «охотники», прямо противоположного, ну ничего нет смешного, а идет самая «охотницкая» скука. И мне приходит в голову мысль: нет ли связи юмора с колдовством? Ведь почему-то Гоголь, показав самое смешное, изобразил и колдовство.

8

Пол связан с кровью. Пол как бы душа крови. Пол живет и владеет после смерти. Клара вызывает Аратова на тот свет. С того света Муций является магически оживленным трупом, чтобы соединиться с Валерией, и Валерия после чувствует в себе зарождение новой жизни — конечно, ее ребенок от Муция родился мертвый. Такова сила пола — его голос и его действие.

И кровь — эта непрерывность жизни — это замирающее, умирающее и воскресающее в другом — имеет свой голос. И этот голос открывается во сне — он идет путями не теми, при которых распознается или восчувствуется «родство» при встрече двух кровно-связанных, как мать и дочь. В рассказе «Сон» описано явление этого «голоса крови». Герой рассказа видит во сне своего отца, которого он в жизни никогда не видел, и впоследствии этот сон оправдывается: происходит встреча, и он узнает отца по сну, и всю обстановку, в которой видел он отца.

«Особенно смущал меня один сон. Мне казалось, что я иду по узкой, дурно вымощенной улице старинного города, между многоэтажными каменными домами с остроконечными крышами. Я отыскиваю моего отца, который не умер, но почему-то прячется от нас, и живет именно в одном из этих домов. И вот я вступаю в низкие, темные ворота, перехожу длинный двор, заваленный бревнами и досками, и проникаю, наконец, в маленькую комнату с двумя круглыми окнами. Посредине комнаты стоит мой отец в шлафроке и курит трубку. Он нисколько не похож на моего настоящего отца: он высок ростом, худощав, черноволос, нос у него крючком, глаза угрюмые и пронзительные; на вид ему лет сорок. Он недоволен тем, что я его отыскал; я тоже нисколько не радуюсь нашему свиданию — и стою в недоумении. Он слегка отворачивается, начинает что-то бормотать и расхаживать взад и вперед небольшими шагами... Потом он понемногу удаляется, не переставая бормотать и, то и дело, оглядываться назад, через плечо; комната расширяется и пропадает в тумане... Мне вдруг становится страшно при мысли, что я снова теряю моего отца, я бросаюсь вслед за ним, — но я уже его не вижу — и только слышится мне его сердитое, точно медвежье,

бормотанье. Сердце во мне замирает — я просыпаюсь и долго не могу заснуть опять» («Сон», рассказ).

9

Кровь «вопиет»! Дети, духовно не связанные родителями, кровно несут всю ответственность за своих отцов. И это сказывается в роковые сроки расплаты — при социальных катастрофах, когда передвигается жизнь: в войну и революцию. Но дети могут и «оттрудить» вину отцов по крови. Сон, а, скорее, видение в «Живых мощах» иллюстрирует искупительное дело по крови: Лукерья не только очищается сама, но и снимает своими муками тяжесть «греха» с своих родителей.

«А то еще видела я сон, а может быть, это было видение, я уж и не знаю. Почудилось мне, будто я в самой этой плетушке лежу и приходят ко мне мои покойные родители — батюшка да матушка — и кланяются мне низко, а сами ничего не говорят. И спрашиваю я их: "зачем вы, батюшка и матушка, мне кланяетесь?". "А затем, говорят, что так как ты на сем свете много мучишься, то не одну ты свою душеньку облегчила, но и с нас большую тягу сняла. И нам на том свете стало много способнее. Со своими грехами ты уже покончила: теперь наши грехи побеждаешь. И, сказавши это, родители мне опять поклонились — и не стало их видно: одни стены видны"» («Живые мощи»).

Тургенев в своих романах приводит родословия своих героев — истории сами по себе интересные, но не имеющие никакого отношения к их действию и ничего не объясняющие. Да иначе и не может быть — Тургенев хлопотал совершенно бесполезно: каждый, неся ответственность по крови, продолжает свой духовный род, который ничем не связан с родством по крови.

10

О первой любви вспоминают с улыбкой. Или не помнят — заря мгновенно погасла. Но такую сохранить память, как в «Первой любви»: тут и редкий дар и исключительное событие. Заря загорелась, но не озарила, а хлестнула, и не по руке и не по лицу, а по сердцу — герой рассказа проектируется в окровавленном Беловзорове.

«Странный и страшный сон мне приснился в эту самую ночь. Мне чудилось, что я вхожу в низкую, темную комнату. Отец стоит с хлыстом в руке и топает ногами; в углу прижалась Зинаида, и не в руке, а на лбу у ней красная черта... а сзади их обоих поднимается весь окровавленный Беловзоров, раскрывает бледные губы и гневно грозит отцу» («Первая любовь»).

Раненое сердце легло тенью на весь облик Тургенева: безулыбный — ну есть ли хоть одна строчка, которая вызвала бы улыбку, и какие всегда черные концы рассказов! И это раненое сердце стало необыкновенно чувствительно к закону жизни: «человек мудрует над человеком» — «господской воли» посвящены «Записки охотника», «Муму», «Постоялый двор», «Пунин и Бабурин». И из этого чувствительного сердца поднялась Марианна в «Нови», но уж без всякой черноты и с глубоким сознанием, что «и не такие столпы валились, и злому делу рано или поздно приходит злой конец» («Постоялый двор»).

Заря любви, которая упала такой черной тенью в «Первой любви», во сне Елены («Накануне») блеснула кинжалом.

«Я все еще робею с Инсаровым. Не знаю отчего; я, кажется, не молоденькая, а он такой простой и добрый. Иногда у него очень серьезное лицо. Ему, должно быть, не до нас. Я это чувствую, и мне как будто совестно отнимать у него время. Андрей Петрович — другое дело. Я с ним готова болтать хоть целый день. Но и он мне все говорит о Инсарове. И какие страшные подробности! Я его видела сегодня ночью с кинжалом в руке. И будто он мне говорит: “Я тебя убью и себя убью!”» («Накануне»).

Если вспомнить судьбу Инсарова и Елены, то увидишь, как этот кинжал блестит лунным серпом — знаком смерти.

11

Знак смерти — лунный серп — необыкновенно ясен во сне любви о б р е ч е н н о й Лукерьи в «Живых мощах». В русской литературе нет другого более яркого образа, чем этот сон. Синие васильки и Вася; белый образ Христа, жениха небесного, сливающийся с образом Васи-

лия; солнечный Василий-Христос, говорящий словами странников, на его белой одежде золотой пояс — цвет нивы — цвет земли; несжатая золотая нива, и лунный серп в руках, и этот лунный серп — венец на голове; вертящаяся, не отпускающая рыжая собачонка — болезнь.

«Вижу я, будто стою я в поле, а кругом рожь, такая высокая, спелая, как золотая. И будто со мной собачка рыженькая, злющая-презлющая — все укусить меня хочет. И будто в руках у меня серп, и не простой серп, а самый как есть месяц, вот, когда он на серп похож бывает. И этим самым месяцем должна я эту самую рожь сжать дочиста. Только очень меня от жары растомило, и месяц меня слепит, и лень на меня нашла; а кругом васильки растут, да такие крупные! И все ко мне головками повернулись. И думаю я: "нарву я этих васильков; Вася прийти обещался — так вот, я себе венок сперва совью; жать-то я еще успею". Начинаю я рвать васильки, а они у меня промеж пальцев тают да тают, хоть ты что! И не могу я себе венок свить. А между тем, я слышу — кто-то уж идет ко мне, близко таково, и зовет: "Луша! Луша!.." "Ай, думаю, беда — не успела! Все равно, надену я себе на голову этот месяц вместо васильков". Надеваю я месяц, и так сама вся засияла, все поле кругом осветила. Глядь — по самым верхушкам колосьев катит ко мне скорехонько — только не Вася — а сам Христос! И почему я узнала, что это Христос — сказать не могу, — таким его не пишут, — а только Он! Безбородый, высокий, молодой, весь в белом — только пояс золотой — и ручку мне протягивает. "Не бойся, говорит, невеста Моя разубранная, ступай за Мною; ты у меня в царстве небесном хороводы водить будешь и песни играть райские". И я к Его ручке как прильну! Собачка моя сейчас меня за ноги... но тут мы взвились! Он впереди... Крылья у Него по всему небу развернулись, длинные, как у чайки, — и я за Ним. И собачка должна отстать от меня. Тут только я поняла, что эта собачка — болезнь моя, и что в царстве небесном ей уже места не будет» («Живые мощи»).

12

Большие чувства, как любовь, могут захватить совсем не того, к кому обращены. А если еще проводни-

ком является музыка, которая сама в себе несет чары, действие многократно усиливается; как пример — «Песнь торжествующей любви». В «Трех встречах» описан сон любви, возбужденный песней, обращенной к другому.

Герой рассказа ночью в Сорренто зачарован песней — песня не к нему, поющая обозналась: она ждет другого. И ее любовь действует, как огонь, на этого случайного, ей незнакомого, слушателя, она ему протягивает руки — и, спохватившись, скрывается. А он уж обожжен. И во второй раз, в России, в деревне, ночью же он слышит ту же песню, опять она — и опять не к нему. Вот уж подлинно, на чужом пиру... Но почему все-таки Тургенев нигде не намекнул, а ведь есть какая-то связь между ей и им, и иначе не может быть.

«Я заснул поздно и видел сны... То мне казалось, что я брожу где-то в пустыне, в самый жар полудня — и вдруг, я вижу, передо мною, по раскаленному желтому песку, бежит большое пятно тени... я поднимаю голову — она, моя красавица, мчится по воздуху, вся белая, с длинными белыми крыльями, и манит меня к себе. Я бросаюсь за нею; но она плывет легко и быстро, а я не могу подняться от земли и напрасно простираю жадные руки... "Addio! — говорит она мне, улетая, — зачем нет у тебя крыльев... Addio!» И вот со всех сторон раздается: "Addio!" — каждая песчинка кричит и пищит мне: "Addio!..": нестерпимой, острой трелью звенит это "i". Я отмахиваюсь от него, как от комара — я ищу ее глазами... а уж она стала облачком, и тихо поднимается к солнцу; солнце дрожит, колышется, смеется, простирает к ней навстречу золотые длинные нити, и вот, уж опутали ее эти нити, и тает она в них, а я кричу во все горло, как исступленный: «это не солнце, это не солнце, это итальянский паук; кто ему дал паспорт в Россию? я его выведу на свежую воду; я видел, как он крадет апельсины в чужих садах...» То мне чудилось, что я иду по узкой горной тропинке. Я спешу: мне надо дойти поскорее куда-то, меня ждет какое-то неслыханное счастье; вдруг громадная скала воздвигается передо мною. Я ищу прохода: иду направо, иду налево — нет прохода! И вот за скалой внезапно раздается голос: "Passa, passa quei colli..." Он зовет меня, этот голос; он повторяет

свой грустный призыв. Я мечусь в тоске, ищу хотя малейшей расселины... увы! отвесная стена, гранит повсюду. “Passa quei colli”, — жалобно повторяет голос. Сердце во мне ноет, я бросаюсь грудью на гладкий камень, я в исступлении царапаю его ногтями. Темный проход открывается вдруг передо мною. Замирая от радости, устремляюсь я вперед. “Шалишь! — кричит мне кто-то, — не пройдешь”. Я гляжу: Лукьяныч стоит предо мною и грозит и машет руками. Я торопливо роюсь в карманах: хочу подкупить его; но в карманах ничего нет. “Лукьяныч, — говорю я ему, — Лукьяныч, пропусти меня, я тебя после награжу”. — “Вы ошибаетесь, синьор, — отвечает мне Лукьяныч, и лицо его принимает странное выражение, — я не дворовый человек; узнайте во мне Дон-Кихота Ламанчского, известного странствующего рыцаря; целую жизнь отыскивал я свою Дульцинею — и не мог найти ее, и не потерплю, чтобы вы нашли свою”. — “Passa quei colli...” — раздается опять почти рыдающий голос. — “Посторонитесь, синьор!” — восклицаю я с яростью, и готов уже ринуться... но длинное копье рыцаря поражает меня в самое сердце... я падаю замертво, я лежу на спине... я не могу пошевелиться... и вот, вижу — она входит с лампадой в руке, подымает ее выше головы, озирается во мраке и, осторожно прокравшись, наклоняется надо мной. “Так вот он, этот шут! — говорит она с презрительным смехом, — это он-то хотел узнать, кто я”, — и жгучее масло ее лампады капает мне прямо на раненое сердце... “Психея!” — восклицаю я с усилием и просыпаюсь» («Три встречи»).

Герой рассказа, для которого «эта женщина появилась, как сновидение, и, как сновидение, прошла мимо и исчезла навсегда, связан со стариком сторожем Лукьянычем, тоже захваченным волной этой музыки, но конец его роковой — старик повесился».

13

В «Постоялом дворе» есть признание Тургенева о круге своего дара. Рассказ идет о Акиме, хозяине постоялого двора.

«К вечеру жажда мести разгорелась в нем до исступления, и он, добродушный и слабый человек, с лихорадочным нетерпением дождался ночи, и как волк на добычу, с огнем в руках, побежал истреблять свой бывший дом... Но вот его схватили, заперли. Настала ночь. Чего он не передумал в эту жестокую ночь! Трудно передать словами все, что происходит в человеке в подобные мгновенья, все терзания, которые он испытывает; оно тем более трудно, что эти терзанья и в самом-то человеке бессловесны и немы» («Постоялый двор»).

Услышать и рассказать об этом бессловесном Тургеневу не дано было: в этом дар Достоевского и Толстого. У Тургенева слух и глаз обращены к загадочным явлениям жизни — к «случаям» — к «тайной игре судьбы»: рассказ «Стук! Стук! Стук!» — где воля человека только проводник высшей воли, направленной к другому человеку и его судьбе; рассказ «Собака», где судьба человека связана непонятным вхождением в его жизнь другой жизни, потом объясненным — сюда относятся роковые встречи; рассказ «Фауст» — вмешательство мертвого в дела живых: «кто знает, сколько каждый живущий на земле оставляет семян, которым суждено взойти только после его смерти? Кто скажет, какой таинственной цепью связана судьба человека с судьбой его детей, его потомства, и как отражаются на них его стремления, как взыскиваются с них его ошибки?» («Фауст»).

От загадочных явлений жизни близко к явлениям сна, в которых часто раскрывается духовный мир. А язык духовного мира не вещи сами по себе, а знаки, какие являют собою вещи. Которые сны видел Тургенев и которые ему рассказаны, это неважно, важно то, что его занимали сны, и в рассказах своих он связывал их с реальной жизнью.

В вещих снах о смерти смерть является под разными видами: то вроде обезьянки («Клара Милич»), то очень высокой женщиной с постным лицом, с желтыми соколиными глазами, в нерусском платье («Живые мощи»), то простой старухой в кофте, с одним глазом на лбу («Старые портреты»), то белым человеком, верхом на медведе («Чертопханов и Недопюскин»), то вороным жеребенком («Степной король Лир»), то красноголовым насекомым вроде мухи или осы, в «Насекомом».

★

«А то вот еще какой мне был сон. Вижу я, что сижу я этак будто на большой дороге под ракитой, палочку держу оструганную, котомка за плечами и голова платком окутана — как есть странница! И идти мне куда-то далеко-далеко, на богомолье. И проходят мимо меня все странники; идут они тихо, словно нехотя, все в одну сторону; лица у всех унылые, и друг на дружку все очень похожи. И вижу я: вьется между ними одна женщина, целой головой выше других, и платье на ней особенное, словно не наше, не русское. И лицо тоже особенное, постное лицо, строгое. И будто все другие от нее сторонятся; а она вдруг верть — да прямо ко мне. Остановилась и смотрит; а глаза у ней, как у сокола, желтые, большие и светлые-пресветлые. И спрашиваю я ее: "кто ты?" — А она мне говорит: "Я смерть твоя". Мне чтобы испугаться, а я напротив — рада-радехонька, крещусь. И говорит мне та женщина, смерть моя: "Жаль мне тебя, Лукерья, — но взять я тебя с собою не могу. Прощай!" Господи, как мне тут грустно стало! "Возьми меня, — говорю, — матушка, голубушка, возьми!" И смерть моя обернулась ко мне, стала мне выговаривать... Понимаю я, что назначает она мне мой час, да непонятно так, неявственно. "После, мол, Петровок..." С этим я проснулась» («Живые мощи»).

Сон оправдался. «Смерть пришла-таки за ней... и "после Петровок"».

★

«Накануне своей смерти князь Л. очень удивил и испугал Алексея Сергеича. Вошел к нему в комнату весь бледный да тихий и, поклонившись поясным поклоном, сперва поблагодарил за приют и призрение, а потом попросил послать за священником; ибо смерть пришла к нему — он ее видел — и ему надо всех простить и себя обелить. «Как же ты ее видел? — пробормотал изумленный Алексей Сергеич, в первый раз услыхав от него связную речь, — какова она из себя? С косою, что ли?» — «Нет, — отвечал князь Л., — старушка простенькая, в кофте, только на лбу глаз один — а глазу тому и веку нет». И на другой день князь Л. действительно скончал-

ся, совершив все должное и простившись со всеми, вразумительно и умиленно» («Старые портреты»).

★

«По окончании "курса наук" Пантелей поступил на службу. Василисы Васильевны уже не было на свете. Она скончалась до этого важного события, от испугу: ей во сне привиделся белый человек верхом на медведе» (Чертопханов и Недопюскин).

★

«Харлов нахмурился: "Нет, не меланхолия — она у меня к новолунию бывает; а позвольте вас спросить, сударыня, вы о смерти как полагаете? — — Может ли смерть кого ни-на-есть на сем свете пощадить?" — "Это ты еще что вздумал, отец мой? Кто бессмертный? Уж на что ты великан уродился — а и тебе конец будет". — "Будет! ох, будет! — подхватил Харлов, и потупился, — случилось со мною сонное мечтание... Я ведь сновидец! Прилег я както, сударыня, неделю тому назад слишком, под самые заговены к Петрову посту; прилег я после обеда отдохнуть маленько, ну, и заснул! и вижу, будто в комнату ко мне вбег вороной жеребенок. И стал тот жеребенок играть и зубы скалить. Как жук вороной жеребенок. И как обернется вдруг этот самый жеребенок, да как лягнет меня в левый локоть, в самый как есть поджилок!.. Я проснулся! ан рука не действует и нога левая тоже. Ну, думаю, паралич: однако, поразмялся и снова вошел в действие: только мурашки долго по суставам бегали, и теперь еще бегают. Как разожму ладонь, так и забегают". — "Да ты, Мартын Петрович, как-нибудь руку перележал". — "Нет, сударыня, не то вы изволите говорить! это мне предостережение... К смерти моей, значит». — "Ну, вот еще!" — "Предостережение! Готовься, мол, человече!"» («Степной король Лир»).

А вот заключение:

«Харлов лежал неподвижно на груди, а в спину ему уперся продольный верхний брус крыши, конек, который последовал за упавшим фронтоном. — — Все молчали, все ждали чего-то. Наконец, послышались прерывистые, хлюпающие звуки в горле Харлова — точно он захлебывался. Потом он

слабо повел одной — правой рукой (Максимка поддерживал левую), раскрыл один — правый глаз и, медленно проведя около себя взором, словно каким-то страшным пьянством пьяный, охнул — произнес, картавя: — "рас... шибся... — и, как бы подумав немного, прибавил, — вот он, воро...ной жере...бенок!" — Кровь вдруг густо хлынула у него изо рта — все тело затрепетало» («Степной король Лир»).

«Снилось мне, что сидит нас человек двадцать в большой комнате с раскрытыми окнами. Между нами женщины, дети, старики. Все мы говорим о каком-то очень известном предмете — говорим шумно и невнятно. Вдруг в комнату с сухим треском влетело большое насекомое, вершка в два длиною... влетело, покружилось и село на стену. Оно походило на муху или на осу. Туловище грязно-бурого цвету; такого же цвету и плоские жесткие крылья; растопыренные мохнатые лапки, да голова угловатая и крупная, как у коромыслов; и голова эта, и лапки — ярко-красные, точно кровавые. Странное это насекомое беспрестанно поворачивало голову вниз, вверх, вправо, влево, передвигало лапки... потом вдруг срывалось со стены, с треском летало по комнате и опять садилось, опять жутко и противно шевелилось, не трогаясь с места. Во всех нас оно возбуждало отвращение, страх, даже ужас. Никто из нас не видал ничего подобного, все кричали: "гоните вон это чудовище!" — все махали платками издали... ибо никто не решался подойти... и когда насекомое взлетало — все невольно сторонились. Лишь один из наших собеседников, молодой еще, бледнолицый человек, оглядывал нас всех с недоумением. Он пожимал плечами, он улыбался, он решительно не мог понять, что с нами сталось и с чего мы так волнуемся. Сам он не видел никакого насекомого, не слышал зловещего треска его крыл. Вдруг насекомое словно уставилось на него, взвилось и, приникнув к его голове, ужалило его в лоб, повыше глаз... Молодой человек слабо ахнул, и упал мертвым. Страшная муха тотчас улетела... Мы только тогда догадались, что это была за гостья» («Насекомое»).

14

Василий Фомич Гуськов в «Бригадире» перед смертью видит сон, что, наконец, поймал-таки свою покойницу жену:

смерть ему явилась его женой, потому что любовь его «бессмертна».

«А я, господин, должно, скоро умру», — проговорил он вполголоса. Я пришел в тупик. "Как, Василий Фомич, — вымолвил я, наконец, — почему же вы... это полагаете?" Бригадир внезапно задергал руками — вверх, вниз — опять-таки по-ребячьи. "А потому, господин... Я... вы, может, знаете... Агриппину Ивановну покойницу — царство ей небесное! — часто во сне вижу — и никак ее поймать не могу; все гоняюсь за нею — а не поймаю. А в прошлую ночь — вижу я, стоит она этак будто передо мною вполоборота и смеется. Я тотчас же к ней побег — и поймал. И она будто обернулась вовсе и говорит мне: "Ну, Васенька, теперь ты меня поймал". "Что же вы из этого заключаете, Василий Фомич?" — "А то, господин, заключаю: стало, вместе нам быть. Да и слава Богу, доложу вам; слава Господу Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу — (бригадир запел): и ныне и присно и во веки веков, аминь!"» («Бригадир»).

Тургенев в «Senilia» рассказал о своей смерти, которая ему представилась «Концом света».

«Чудилось мне, что я нахожусь в России, в глуши, в простом деревенском доме. Комната большая, низкая, в три окна; стены вымазаны белой краской; мебели нет. Перед домом голая равнина; постепенно понижаясь, уходит она вдаль; серое одноцветное небо висит над нею, как полог. Я не один; человек десять со мною в комнате. Люди все простые, просто одетые; они ходят вдоль и поперек, молча, словно крадучись. Они избегают друг друга — и, однако, беспрестанно меняются тревожными взорами. Ни один не знает, зачем он попал в этом дом и что за люди с ним? На всех лицах беспокойство и унылость... все поочередно подходят к окнам и внимательно вглядываются, как бы ожидая чего-то извне. Потом опять принимаются бродить вдоль и поперек. Между нами вертится небольшого росту мальчик; от времени до времени он пищит тонким, однозвучным голосом: "Тятенька, боюсь!" — Мне тошно на сердце от писку — и я тоже начинаю бояться... чего? не знаю сам. Только я чувствую: идет и близится большая, большая беда. А мальчик нет-нет — да запищит. Ах, как бы уйти отсюда! Как душно! Как томно! как тяжело... Но уйти

невозможно. Это небо — точно саван. И ветра нет... Умер воздух, что ли? Вдруг мальчик подскочил к окну и закричал тем же жалобным голосом: "Гляньте! гляньте! земля провалилась!" — "Как? провалилась?" — Точно: прежде перед домом была равнина — а теперь он стоит на вершине страшной горы! — Небосклон упал, ушел вниз — а от самого дома спускается почти отвесная, точно разрытая, черная кручь. Мы все столпились у окна. Ужас леденит наши сердца. — "Вот оно... вот оно!" — шепчет мой сосед. И вот, вдоль всей далекой земной грани зашевелилось что-то, стали подниматься и падать какие-то небольшие, кругловатые бугорки. "Это — море! подумалось всем нам в одно и то же мгновение, — оно сейчас нас всех затопит... Только как же оно может расти и подниматься вверх? На эту кручь?" И однако, оно растет, растет громадно. Это уж не отдельные бугорки мечутся вдали. Одна сплошная, чудовищная волна обхватывает весь круг небосклона. Она летит, летит на нас! Морозным вихрем несется она, крутится тьмой кромешной. Все задрожало вдруг — а там, в этой налетающей громаде, — и треск, и гром, и тысячегортанный, железный лай. Га! Каков рев и вой! Это земля завыла от страха. Конец ей! Конец всему! Мальчик пискнул еще раз... Я хотел было ухватиться за товарищей — но мы уже все раздавлены, погребены, потоплены, унесены той, как чернила, черной, льдистой, грохочущей волной! Темнота... темнота вечная! Едва переводя дыхание, я проснулся» («Конец света»).

Это, конечно, литературная обработка сна, помеченная мартом 1878 года. В основе подлинный сон с мальчиком-«обезьянкой» и странниками из «Живых мощей». Сон — вещий. После долгих страданий — Тургенев захворал с конца 1881 года — 22-го августа 1883 года Тургенев помер: у него был рак спинного хребта, разрушивший три позвонка.

15

Вещий сон, открывающий о смерти другого человека, описан в «Накануне»: смерть Инсарова.

«Инсаров заснул, и все затихло в комнате. Елена прислонилась головою к спинке кресла и долго глядела

в окно. Погода испортилась; ветер поднялся. Большие белые тучи быстро неслись по небу, тонкая мачта качалась в отдалении, длинный вымпел с красным крестом беспрестанно взвивался, падал и взвивался снова. Маятник старинных часов стучал тяжко, с каким-то печальным шипением. Елена закрыла глаза. Она дурно спала всю ночь; понемногу и она заснула. Странный ей при-виделся сон. Ей показалось, что она плывет в лодке по Царицынскому пруду с какими-то незнакомыми людьми. Они молчат и сидят неподвижно, никто не гребет; лодка подвигается сама собою. Елене не страшно, но скучно: ей бы хотелось узнать, что это за люди, и зачем она с ними? Она глядит, а пруд ширится, берега пропадают — уж это не пруд, а беспокойное море: огромные, лазуревые, молчаливые волны величественно качают лодку; что-то гремящее, грозное, подымается со дна; неизвестные спутники вдруг вскакивают, кричат, махают руками. Елена узнает их лица: ее отец между ними. Но какой-то белый вихорь налетает на волны... все закружилось, смешалось. Елена осматривается: по-прежнему все бело вокруг; но это снег, бесконечный снег. И она уж не в лодке, она едет, как из Москвы, в повозке; она не одна: рядом с ней сидит маленькое существо, закутанное в старенький салоп. Елена вглядывается: это Катя, ее бедная подружка. Страшно становится Елене. "Разве она не умерла?" — думает она. "Катя, куда это мы с тобой едем?" Катя не отвечает и завертывается в свой салопчик; она зябнет. Елене тоже холодно; она смотрит вдоль по дороге: город виднеется вдали сквозь снежную пыль. Высокие белые башни с серебряными главами. "Катя, Катя, это Москва?" — "Нет, — думает Елена, — это Соловецкий монастырь: там много, много маленьких тесных келий; как в улье; там душно, тесно, — там Дмитрий заперт. "Я должна его освободить..." Вдруг седая, зияющая пропасть разверзается перед нею. Повозка падает, Катя смеется. "Елена, Елена!" — слышится голос из бездны. — — — "Елена!" — раздалось явственно в ее ушах. Она быстро подняла голову, обернулась и обомлела: Инсаров, белый как снег, снег ее сна, приподнялся до половины с дивана и глядел на нее большими, светлыми, страшными глазами. Волосы его рассыпались по лбу, губы странно раскрылись. Ужас, сме-

шанный с каким-то тоскливым умилением, выражался на его внезапно изменившемся лице. "Елена! — произнес он, — я умираю"» («Накануне»).

В этом сне образ смерти — маленькое существо — умершая Катя — обезьянка из «Клары Милич»: она молчит, кутается и, наконец, смеется. «Сани» — и как память выезда из Москвы, и как знак смерти. В древности сани употреблялись для перевозки покойников — «ночью же межю клѣтми проимавше помостъ, обертѣвше въ коверъ, и оужи свѣсиша на землю; възложьше и на сани, везъше, поставиша и въ святѣй Богородици, юже бѣ создал, самъ» (Пов. вр. л. 6523 г.). «Омывше его, и оувиша и оскамитомъ со кроуживомъ, яко же достоить царемъ, и возложиша и на сани и повезоша до Володимѣря» (Ипат. летоп. 6621 г.). Отсюда и выражение: «сѣдя на санѣхъ» приближаясь к смерти (Поуч. Влад. Мономаха).

Такой же вещий сон о смерти — в «Несчастной»: смерть Сусанны.

«Мне вдруг показалось, что на окне сидит, склонившись на руки, бледная женская фигура. Свечи нагорели: в комнате было темно. Я вздрогнул, вгляделся пристальнее, и ничего, конечно, не увидал на подоконнике; но какое-то странное чувство, смешение ужаса, тоски, сожаления, охватило меня. "Александр! — начал я с внезапным увлечением, — прошу тебя, умоляю тебя, ступай сейчас к Ратчам, не откладывай до завтра! Мне внутренний голос говорит, что тебе непременно должно сегодня же повидаться с Сусанной!" Фустов пожал плечами. — — Я лег в постель, но на сердце у меня было неспокойно, и я досадовал на моего друга. Я заснул поздно и видел во сне, будто мы с Сусанной бродим по каким-то подземным сырым переходам, лазим по узким, крутым лестницам, и все глубже и глубже спускаемся вниз, хотя нам непременно следует выбраться вверх, на воздух, и кто-то все время беспрестанно зовет нас, однообразно и жалобно. — — Чья-то рука легла на мое плечо и несколько раз меня толкнула. Я открыл глаза и, при слабом свете одинокой свечи, увидел пред собою Фустова. Он испугал меня. — — Я поспешно приподнялся. "Что такое? Что с тобою? Господи!" Он ничего не отвечал. "Да что случилось, Фустов? Говори же! Сусанна?" Фустов слегка встрепенулся. "Она..." — на-

чал он сиплым голосом, и умолк. “Что с нею? Ты ее видел?” Он уставился на меня. “Ее уж нет!” — “Как нет?” — “Совсем нет. Она умерла”» («Несчастная»).

Тут знак смерти не только в переходах по лестницам, но и в окликающем жалобном голосе: Сусанна кончила самоубийством.

Этот оклик в снах имеет значение не только, как вызов («Клара Милич», «Несчастная»), но может быть голосом трагического хора: предостерегающим и роковым. Такой голос слышит Мартын Петрович Харлов. «Как начну я засыпать, кричит кто-то у меня в голове: “берегись! берегись!” («Степной король Лир»).

16

Сон, предрекающий беду, описан в рассказе «Конец Чертопханова»: снится он Чертопханову в ночь, когда у него украли его любимого и единственного Малек-Аделя. И что любопытно: совпадение цвета в сне матери и сына! Мать Чертопханова видит перед смертью белого человека на медведе, а сын — «белую-белую, как снег, лисицу, и сам он на верблюде». Этот кровный белый цвет — цвет основы земли — цвет чистоты — для Чертопхановых роковой.

«Ему привиделся нехороший сон: будто он выехал на охоту, только не на Малек-Аделе, а на каком-то странном животном, вроде верблюда; навстречу ему бежит белая-белая, как снег, лиса... Он хочет взмахнуть арапником, хочет направить на нее собак — а вместо арапника у него в руках мочалка, и лиса бегает перед ним и дразнит его языком. Он соскакивает с своего верблюда, спотыкается, падает... и падает прямо в руки жандарму, который зовет его к генерал-губернатору, и в котором он узнает Яффа... Чертопханов проснулся. В комнате было темно; вторые петухи только что пропели. Где-то, далеко-далеко, проржала лошадь. Чертопханов приподнял голову. Еще раз послышалось тонкое-тонкое ржание. “Это Малек-Адель ржет! — подумалось ему, — это его ржание. Но отчего же так далеко? Батюшки мои... Не может быть...” Чертопханов вдруг весь похолодел, мгновенно спрыгнул с постели, ощупью отыскал сапоги, платье, оделся, — и, захватив из-под изголо-

вья ключ от конюшни, выскочил на двор. — — “Украли! Перфишка! Перфишка! Украли!” — заревел он благим матом («Конец Чертопханова»).

В этом подлинном сне: и белая лиса, и мочалка вместо арапника, и едет на верблюде, в его заключительном образе, не менее подлинном — «падает в руки жандарму, который зовет его к генерал-губернатору» — есть что-то гоголевское от единственного простого сна, описанного Гоголем в повести «Иван Федорович Шпонька и его тетушка». («Нос» и в «Портрете» — сны сложные.) А в образе: «в котором он узнает Яффа» — есть от толстовского глаза. (Сон в «Двух стариках».)

Русская литература, как и литература всякого народа, едина. И как едина стихия слова, едина и стихия сна: Толстой перекликается с Пушкиным — сон Анны Карениной и сон Гринева, Тургенев с Гоголем, Толстой с Тургеневым. И какой вздор, когда после революции стали говорить о какой-то зарубежной и не зарубежной литературе; там, где стихия русского слова, не может быть речи ни о каких рубежах, ведь стихия это мир человеческой души, русского человека.

17

Сон, предрекающий благополучие, снится Базарову перед дуэлью с Павлом Петровичем Кирсановым.

«День прошел как-то особенно тихо и вяло. Фенички словно на свете не бывало; она сидела в своей комнатке, как мышонок в норке. Николай Петрович имел вид озабоченный. Ему донесли, что в его пшенице, на которую он особенно надеялся, показалась головня. Павел Петрович подавлял всех, даже Прокофьича, своею леденящею вежливостью. Базаров начал было письмо к отцу, да разорвал его и бросил под стол. “Умру, — подумал он, — узнают: да не умру. Нет, я еще долго на свете маячить буду”. Он велел Петру прийти к нему на следующий день чуть свет, для важного дела; Петр вообразил, что он хочет взять его с собой в Петербург. Базаров лег поздно, и всю ночь его мучили беспорядочные сны... Одинцова кружилась перед ним, она же была его мать, за ней ходила кошечка с черными усиками, и эта кошечка была Феничка; а Павел Петрович представлялся ему большим

лесом, с которым он все-таки должен был драться. Петр разбудил его в четыре часа; он тотчас оделся и вышел с ним» («Отцы и дети»).

Сон показывает удачу: Одинцова, она же и мать, ограждает Базарова. И кошечка с черными усиками — Феничка не угрожает. Эта кошечка в гоголевском значении — это кошечка Пульхерии Ивановны из «Старосветских помещиков»: серенькая, «тихое творение, никому не сделает зла», она связана с Феничкой, как с Пульхерией Ивановной, это женственность Фенички. А так, будь кошка без Фенички, жди беды.

★

А вот отчаянный сон старичка «с перчиком» — Мартиньяна Гаврилыча Латкина из рассказа «Часы». Этот рассказ совсем гоголевский, под «Шинель», с восклицанием «ведь и я человек!» на манер «я брат твой», только с неизменной беспросветной тьмой, как все тургеневское.

«Паралич, поразивший Латкина, был свойства довольно странного. Руки, ноги его ослабели, но он не лишился их употребления, даже мозг его действовал правильно; зато язык его путался и, вместо одних слов, произносил другие; надо было догадываться, что именно он хочет сказать. “Чу-чу-чу, — лепетал он с усилием, он всякую фразу начинал с чу-чу-чу, — ножницы мне, ножницы”. А “ножницы” означали хлеб. Отца моего он ненавидел всеми оставшимися у него силами — он его заклятью приписывал все свои бедствия, и звал его то мясником, то брильянтщиком. “Чу, чу, к мяснику не смей ходить, Васильевна!” Он этим именем окрестил свою дочь, а звали его Мартиньян». — — «Насчет пищи или чего там житейского — мы уже привыкли, понимаем; а сон и у здоровых-то людей непонятен бывает, а у него — беда! “Я, говорит, очень радуюсь: сегодня все по белым птицам прохаживался, а Господь Бог мне пукет подарил, а в пукете, Андрюша с ножичком”. — Он нашу Любочку Андрюшей зовет. — “Теперь мы, говорит, будем здоровы оба. Только надо ножичком — чирк! Эво так!” — и на горло показывает» («Часы»).

А вот нравоучительный сон десятилетнего мальчика из рассказа «Перепелка».

Мальчик ходил с отцом на охоту. Отец хотел подстрелить перепелку, но перепелка, желая отвлечь внимание от гнезда и спасти своих детей, притворилась раненой, отец так и не выстрелил. А Трезор поймал ее и так давнул зубом, что она умерла. Мальчик зарыл ее около гнезда и поставил на могилке крест из веток белый.

«А ночью мне приснился сон: будто я на небе; и что же? На небольшом облачке сидит моя перепелочка, только тоже вся беленькая, как тот крестик! И на голове у ней маленький золотой венчик; и будто это ей в награду за то, что она за своих детей пострадала» («Перепелка»).

У Тургенева есть рисунок «Охота на детей». (Рисунок воспроизведен в книге André Mazon, Manuscrits parisiens d'Ivan Tourguénev, Paris, 1930, стр. 174). Этот рисунок как бы нравоучительная подпись к нравоучительному сну из «Перепелки». Но если посмотреть на него не глазами внучек Виардо, для которых он долгое время был забавой (дети бывают очень жестокие!), можно подумать, что такая потеха из шабаша внушена Гоголем, видавшим в «Вечере накануне Ивана Купала» и в «Заколдованном месте» саму баранью голову.

18

Сон при воспалении легких описан в «Накануне».

«Инсаров не спал всю ночь и утром почувствовал себя дурно; однако, он занялся приведением в порядок своих бумаг и писанием писем, но голова у него была тяжела и как-то запутана. К обеду у него сделался жар: он ничего есть не мог. Жар быстро усилился к вечеру; появилась ломота во всех членах и мучительная головная боль. Инсаров лег на тот самый диванчик, где так недавно сидела Елена; он подумал: "поделом я наказан, зачем таскался к этому старому плуту", и попытался заснуть. Но уж недуг завладел им. С страшною силой забились в нем жилы, знойно вспыхнула кровь, как птицы закружились мысли. Он впал в забытье. Как раздавленный, навзничь лежал он, и вдруг ему почудилось: кто-то над ним тихо хохочет и шепчет; он с усилием раскрыл глаза, свет от нагоревшей свечи дернул по ним, как но-

жом... Что это? старый прокурор перед ним, в халате из тармаламы, подпоясанный фуляром, как он видел его накануне... "Каролина Фогельмейер", — бормочет беззубый рот. Инсаров глядит, а старик ширится, пухнет, растет, уж он не человек — он дерево... Инсарову надо лезть по крутым сучьям. Он цепляется, падает грудью на острый камень, а Каролина Фогельмейер сидит на корточках, в виде торговки, и лепечет: "Пирожки, пирожки, пирожки", — а там течет кровь, и сабли блестят нестерпимо... "Елена!" — и все исчезло в багровом хаосе» («Накануне»).

«Кто здесь?» — послышался голос Инсарова. Берсенев подошел к нему. "Я здесь, Дмитрий Никанорович. Что вам? Как вы себя чувствуете?" — "Один?" — спросил больной. — "Один". — "А она?" — "Кто она?" — проговорил почти с испугом Берсенев. Инсаров промолчал. "Резеда", — шепнул он, и глаза его опять закрылись» («Накануне»).

★

В «Отцах и детях» описаны видения Базарова и бред перед смертью. Базаров умер от заражения крови.

«Завтра или послезавтра мозг мой, ты знаешь, в отставку подаст. Я и теперь не совсем уверен, ясно ли я выражаюсь. Пока я лежал, мне все казалось, что вокруг меня красные собаки бегали, а ты надо мной стойку делал, как над тетеревом. Точно я пьяный» («Отцы и дети»).

«Базарову становилось хуже с каждым часом; болезнь приняла быстрый ход, что обыкновенно случается при хирургических отравах. Он еще не потерял памяти и понимал, что ему говорили; он еще боролся. "Не хочу бредить, — шептал он, сжимая кулаки, — что за вздор!" — И тут же говорил "Ну, из восьми вычесть десять, сколько выйдет?"» («Отцы и дети»).

В «Якове Пасынкове» описан предсмертный бред простреленного «стрелой» Пасынкова.

«Я вошел в комнату Пасынкова. Он не лежал, а сидел на своей постели, наклонясь всем туловищем вперед, тихо разводил руками, улыбался и говорил, все говорил голосом беззвучным и слабым, как шелест тростника. Глаза его блуждали. Печальный свет ночника, поставленного

на полу и загороженного книгою, лежал недвижным пятном на потолке: лицо Пасынкова казалось еще бледнее в полумраке. Я подошел к нему, окликнул его — он не отозвался. Я стал прислушиваться к его лепету: он бредил о Сибири, о ее лесах. По временам был смысл в его бреде. "Какие деревья! — шептал он, — до самого неба. Сколько на них инею! Серебро... Сугробы. А вот следы маленькие... то зайка скакал, то бел горностай. Нет, это отец пробежал с моими бумагами. Вон он... Вон он! Надо идти; луна светит. Надо идти, сыскать бумаги. А! Цветок, алый цветок — там Софья... Вот, колокольчики звенят, то мороз звенит. Ах, нет; это глупые снегири по кустам прыгают, свистят. Вишь, краснозобые! Холодно... А! вот Аксанов. Ах, да, ведь он пушка — медная пушка, и лафет у него зеленый. Вот отчего он нравился. Звезда покатилась? Нет, это стрела летит... Ах, как скоро, и прямо мне в сердце! Кто это выстрелил? Ты, Сонечка?"» («Яков Пасынков»).

«Что это? — заговорил он вдруг, — посмотри-ка: море... все золотое, и по нем голубые острова, мраморные храмы, пальмы, фимиам...». Он умолк, потянулся. Через полчаса его не стало» («Яков Пасынков»).

19

Замечательный сон описан в «Истории лейтенанта Ергунова»: сон от какого-то одуряющего средства, подмешанного к кофе (кофе показался очень крепким и горьким) и «курева» под музыку, песню и танец — с заключением из ножовой яви.

«Колибри стала по ту сторону стола и, пробежав несколько раз пальцами по струнам гитары, затянула, к удивлению Кузьмы Васильевича, который ожидал веселого, живого напева, — затянула какой-то медлительный, однообразный речитатив, сопровождая каждый отдельный, как бы с усилием выталкиваемый звук, мерным раскачиванием всего тела направо и налево. Она не улыбалась, и даже брови свои сдвинула, свои высокие, круглые, тонкие брови, между которыми резко выступал синий знак, похожий на восточную букву, вероятно, вытравленный порохом. Глаза она почти закрыла, но зрачки ее тускло светились из-под нависших ресниц, по-прежнему упорно вперяясь в Кузьму Васильевича. И он

также не мог отвести взора от этих чудных, грозных глаз, от этого смуглого, постепенно разгоравшегося лица, от полураскрытых и неподвижных губ, от двух черных змей, мерно колебавшихся по обеим сторонам стройной головы. Колибри продолжала раскачиваться, не сходя с места, и только ноги ее пришли в движение: она слегка их передвигала, приподнимая то носок, то каблук. Раз она вдруг быстро перевернулась и пронзительно вскрикнула, высоко встряхнув на воздухе гитарой... Потом опять началась прежняя однообразная пляска, сопровождаемая тем же однообразным пением. Кузьма Васильевич сидел между тем преспокойно на диване и продолжал глядеть на Колибри. Он ощущал в себе нечто странное, необычайное: ему было очень легко и свободно, даже слишком легко; он как будто тела своего не чувствовал, как будто плавал, и в то же время мурашки по нем ползали, какое-то приятное бессилие распространялось по ногам, и дремота щекотала ему веки и губы. Он уже не желал, не думал ни о чем, а только ему было очень хорошо, словно кто его баюкал, "бабайкал", как выразилась Эмилия, и шептал он про себя: "игрушечка"! По временам лицо "игрушечки" заволакивалось... "Отчего бы это?" — спрашивал себя Кузьма Васильевич. "От курева, — успокаивал он себя, — такой есть тут синий дымок". И опять кто-то баюкал и даже рассказывал на ухо что-то такое хорошее... Только почему-то все не договаривал. Но вот вдруг на лице "игрушечки" глаза открылись огромные, величины небывалой, настоящие мостовые арки. Гитара покатилась и, ударившись о пол, прозвенела где-то за тридевятью землями. Какой-то очень близкий и короткий приятель Кузьмы Васильевича нежно и плотно обнял его сзади, и галстук ему поправил. Кузьма Васильевич увидал перед самым лицом своим крючковатый нос, густые усы и пронзительные глаза незнакомца, с обшлагом о трех пуговицах... и хотя глаза находились на месте усов, и усы на месте глаз, и самый нос являлся опрокинутым*,

---

* Пестрый шлагбаум принял какой-то неопределенный цвет: усы у стоявшего на часах солдата казались на лбу и гораздо выше глаз, а носа как будто не было вовсе.

«Мертвые души».

однако, Кузьма Васильевич не удивился нисколько, а, напротив, нашел, что так оно и следовало; он собрался даже сказать этому носу: “здорово, брат, Григорий”, но отменил свое намерение и предпочел... предпочел отправиться с Колибри в Царьград для предстоящего бракосочетания, так как она была турчанка, а государь его пожаловал в действительные турки. Кстати ж, перед ним очутилась лодочка: он занес в нее ногу, и хотя по неловкости споткнулся и ушибся довольно сильно, так, что некоторое время не знал, где что находится, однако, справился и, сев на лавочку, поплыл по той самой большой реке, которая в виде Реки Времени протекает на карте на стене Николаевской гимназии, в Царьграде. С великим удовольствием плыл он по той реке и наблюдал за множеством красных гагар, беспрестанно ему попадавшихся; они, однако, не подпускали его и, ныряя, превращались в круглые розовые пятна. И Колибри с ним ехала; но, желая предохранить себя от зноя, поместилась под лодкой, и изредка стучала в дно... Вот, наконец, и Царьград. Дома, как следует быть домам, в виде тирольских шляп; и у турок все такие крупные степенные лица; только не годится долго на них глядеть: они начинают корчиться, рожи строить, а после и совсем распадаются, как талый снег. Вот и дворец, в котором он будет жить с Колибри... И так все в нем отлично устроено! Стены с генеральским шитьем, везде эполеты, по углам люди трубят, и на лодке можно въехать в гостиную. Ну, разумеется, портрет Магомета... Только Колибри бежит все вперед по комнатам, и косы ее волочатся за нею по полу, и никак она не хочет обернуться, и все меньше она становится, все меньше... Уж это не Колибри, а мальчик в курточке, и он его гувернер, и он должен влезть за этим мальчиком в подзорную трубку, и труба та все уже, уже, вот уж и двинуться нельзя... ни вперед, ни назад, и дышать невозможно, и что-то обрушилось на спину... и земля в рот...» («История лейтенанта Ергунова»).

«16-го июня, в семь часов вечера, посетил он в последний раз дом госпожи Фритче, а 17-го июня к обеду, т. е. почти через сутки, пастух нашел его в овраге возле большой Херсонской дороги в двух верстах от Николаева, бесчувственного, с разрубленною головой, с багровыми пятнами на шее. Мундир и жилетка на нем были рас-

стегнуты, все карманы выворочены, фуражки и кортика не оказалось, кожаного пояса с деньгами — тоже. По измятой траве, по широкому следу в песке и глине можно было заключить, что несчастного лейтенанта волоком волокли на дно оврага, и только там нанесли ему удар в голову, не топором, а саблей, — вероятно, его же кортиком: вдоль всего следа, от самой дороги, не замечалось ни капли крови, а вокруг головы стояла целая лужа. Не оставалось сомнения в том, что убийцы его сперва опоили, потом пытались придушить и, отвезя ночью за город, стащили в овраг и там окончательно прихлопнули. Кузьма Васильевич не умер, благодаря лишь своему, поистине, железному сложению. Пришел он в себя 22-го июля, т. е. целых пять недель спустя» («История лейтенанта Ергунова»).

Под этим сном мог бы подписаться Гоголь.

20

«Удивительное дело — сон! Он не только возобновляет тело, он некоторым образом возобновляет душу, приводит ее к первобытной простоте и естественности. В течение дня вам удалось настроить себя, проникнуться ложью, ложными мыслями... сон своей холодной волной смывает все эти мизерные дрязги, и, проснувшись, вы, по крайней мере на несколько мгновений, способны понимать и любить истину. Я пробудился и, размышляя о вчерашнем дне, чувствовал какую-то неловкость... мне как будто стало стыдно всех своих проделок» («Андрей Колосов»).

«Экая славная вещь сон, подумаешь! Вся жизнь наша сон, и лучшее в ней опять-таки сон». — «А поэзия?» — «И поэзия сон, только райский» («Яков Пасынков»).

«Я не знаю, почему говорят: сон, я это видел во сне. Не все ли равно, что во сне, что наяву, — это трудно сказать» («Силаев»).

От описания состояния сна без сновидений Тургенев переходит к общему «жизнь — сон» и равенству сна с явью. В каком-то смысле это так — «Сон Обломова» — воспоминания детства — для самого Обломова, но не для Гончарова. И у Тургенева в «Senilia» есть с обозначением «мне

снилось» («Природа») и ничего нет от «сна» и, как сон, но без всякого намека о сне, «Старуха».

Тургенев прекрасно различал явление сна от событий дня. В неоконченном рассказе «Силаев», написанном в конце 70-го года (André Mazon, Manuscrits parisiens d'Ivan Tourguénev, Paris, 1930, стр. 156—163) два сна: прыгающие в пыли воробьи и катающиеся на салазках белые медведи в венках из роз. Герой рассказа не различает сна от яви, потому что в яви он видит, как в снах, видения: черную кошку и своего умершего дядю.

«Силаев торопливо выпил свой стакан, трепетной рукой положил в стакан ложечку и, с веселой улыбкой, словно пришла ему в голову счастливая мысль, спросил меня: "Скажите, пожалуйста, какого вы мнения о снах?" — "Как — о снах?" — "Да, о снах, о том, что видишь во сне. Я не знаю, — продолжал он более медленным голосом, — почему говорят: сон, я это видел во сне. Не все ли равно, что наяву? Да и что видишь во сне, что наяву — это трудно сказать. Я, по крайней мере, вижу такие ясные, такие определительные сны, что память о них во мне так же свежа, как и память о том, что я видел наяву; впечатление их так и врезается в меня; я их точно видел, эти сны, действительно видел. Все эти образы так и стоят у меня перед глазами. Например, я видел вчера во сне, что иду куда-то по длинной дороге, осаженной тополями — вдали белый дом, и какое-то счастье ждет меня в этом доме. По дороге пыль — и в этой пыли прыгают воробьи — и все, и дорога, и тополи, и воробьи в пыли, и далекий дом, все это так и горит на заходящем солнце, все это я видел, и теперь гляжу на это, как на вас". — Силаев говорил очень торопливо. — "В этом нет ничего удивительного, — возразил я, несколько озадаченный предметом разговора, — действительность повторяется во сне — и все эти образы вы, верно, когда-нибудь видели, они остались в вашем воображении — и вот, они снова выступают перед вами во время сна". — "То есть, вы хотите сказать, что во сне видишь только то, что прежде видел наяву, но отчего же у меня бывают иногда сны совершенно несбыточные; например, с неделю тому, я видел как будто я нахожусь на Северном полюсе: кругом ледяная равнина и на ней плавают высокие ледяные горы, голу-

бые, розовые горы с острыми вершинами, прозрачные, с широкими пластами снега, белого, как неснятое молоко, с сверкающими иглами и зубцами — в воздухе нестерпимо крутятся бесчисленные блестки, на небе и стоят и по временам вздрагивают багровые, как отблеск, вижу, далекого пожара, столпы — и, вообразите, с этих гор на салазках попарно катаются белые медведи с венками роз на головах: ведь все это, согласитесь сами, я в действительности видеть никак не мог". — "Да, я с вами согласен", — возразил я, с невольной усмешкой. — "Ну, вот видите. Впрочем, — привстал он, приподнявшись на одном локте и еще ближе пододвинувши ко мне свое бледное и взволнованное лицо, — я хотел спросить вас о другом. Я желал бы знать ваше мненье о виденьях". — "Как о виденьях?" — "Да, о виденьях, — верите ли вы в виденья?" — "Нет, не верю... А вы разве верите?" — Его губы слегка передернулись. — "Верю. Прежде и я не верил — а теперь верю. Да, я вам скажу, поистине поверишь, когда..." Он остановился и, пристально поглядев на меня, спросил изменившимся голосом: "Например, позвольте спросить у вас, который час теперь?! Я посмотрел на часы: "Половина двенадцатого". — "А, прекрасно. Ну, вот я наперед вам говорю — в три четверти 12-го, т. е. через четверть часа, эта дверь отворится — так чуть-чуть — и в комнату войдет черная кошка". "Черная кошка!" — "Вы смеетесь надо мной — я знаю. Но подождите, подождите еще несколько минут, и вы увидите сами". — "Ну, эта черная кошка войдет, и что же она сделает?" — "А! да она не одна ходит, это кошка моего дяди — она все впереди его бегает". — "Стало быть, и дядя ваш к вам придет?" — "Непременно: он каждую ночь у меня бывает". — "Да, позвольте узнать — ваш дядюшка здесь живет, в одном доме с вами?" — "Какой живет! Он давно умер — в том то и штука". — Я поглядел на Силаева... "Он сумасшедший!" — подумал я, это теперь ясно. — "Нет, я не сумасшедший, — промолвил он, как будто отвечая на мою мысль, — нет, я не сумасшедший... — и глаза его как-то странно расширились и засверкали, — хотя я точно готов согласиться с вами, что все, что я говорю, теперь должно вам показаться чепухой. Да вот, слышите ли, слышите... слышите — дверь скрипнула — глядите, глядите — что, нет кошки?» Дверь, действительно, тихо скрипнула, — я быстро

обернулся — и, вообразите мое изумление, господа, — черная кошка вбежала в комнату и осторож...» («Силаев»).

Этот рассказ не только не кончен, он оборван: «осторож...». Черная кошка — не кошка с черными усиками — Феничка (не серая Пульхерии Ивановны) — это то самое, что снится к беде. А что бывает, когда она показывается в яви? — но об этом мог бы рассказать только Гоголь. При всей открытой душе своей к явлениям странным и к снам Тургенев и чувствовал, но не имел изобразительных средств для колдовства.

Словесно робкий — Тургенев самые обыкновенные выражения или ставил в кавычки или прибавлял, «как говорится», «как говорят», например, в словах «тверёзый», «пáрит», «на припёке», «наткнулась на нас», «незадача», «лотошил», «затявкали», «жара свалила» и т. д.; а в некоторых словах неточный, например, в употреблении глагола «возразил» в значении «сказал», «ответил», или слово «желудок» вместо «живот», или в известном «Русском языке» («Senilia»), где заключительная фраза из-за неточности теряет всякий смысл: «но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!» вместо «но нельзя не верить, чтобы такой язык дан был не великому народу!». А ведь надо действительно «свободный», т. е. смелый, и «могучий», т. е. без всяких кавычек, размах, чтобы передать эту самую завязь, где сходятся и явь и сон, — эту «нестерпимо звенящую трель» колдовства.

К МОИМ РИСУНКАМ

Один чешский мальчик, — лет десяти, — по имени Адальберт, сын сапожника Худобы, катался на коньках на Засаве, в Ледече, лед подломился, и он утонул. А за три дня в школе было задано сочинение: «Мой последний сон». И он описал свой последний, как ему снилось, что он утонул. «3 февраля мне снилось, что я купался. Я хотел похвастать перед другими мальчиками, как я хорошо плаваю. Вдруг я закричал, что тону. Тогда мальчики подплыли ко мне, но я уж не мог держаться на воде и стал тонуть. Под водой я увидел водяного, который разделял руками воду и усмехался мне. Тут я

проснулся. Я был счастлив, что это все неправда». А под сном рисунок: мальчик изобразил себя, стоит на берегу, и двух мальчиков, наметились с трамплина прыгнуть в воду, а недалеко от трамплина в воде — плавающий и что-то подстерегающий водяной.

Я очень понимаю этого мальчика: сон хочется непременно нарисовать. Рисунок, сделанный ли художником, или таким мальчиком, или мною, не художником, никогда не обманет: что подлинный сон, и что сочинено или литературная обработка, сейчас же бросится в глаза — в подлинном сне все неожиданно и невероятно.

★

ЦАРСКОЕ ИМЯ

Разговор по поводу выхода во французском переводе рассказов Тургенева

В России имя Тургенева — имя царское. Два десятилетия в русской истории — 1860—1880 — обозначаются именно: «в царствование Тургенева-Толстого-Достоевского», наследовали царство Пушкина и Гоголя. Романы Тургенева отвечали на вопросы жизни и создали легенду о «тургеневской девушке». А Достоевский освятил эту легенду: «тургеневская девушка» Лиза («Дворянское гнездо»), как пушкинская Татьяна, жертвует своим счастливым часом жизни во имя сурового безжалостного долга.

(«Долг — это скрепа; а будет по-другому, и развалится жизнь, как картошка, — так должно быть?).

А кроме легенды, и это уж к истории русской литературы, Тургенев первый европеец среди русских писателей: свой на Москве, да и в Париже, как дома. Европеец и Герцен, свой в Лондоне и по всей России, но своим «Колоколом» он заглушил свою «беллетристику»: вопросы дня — однодневный цветок.

Не скажу о Толстом — Толстой у всех на виду, его голос во все люди, и памятен: «Ясная Поляна!». Но Тургенев и Достоевский, это цари Русской земли — «всея великия, и малыя, и белыя, и червонныя Руси самодержцы».

«Тревога и сомнения, разлитые в произведениях Достоевского, есть наши тревоги и сомнения, и таковы-

ми останутся они для всякого времени. В эпохи, когда жизнь катится особенно легко или когда ее трудность не сознается, Достоевский может быть даже совсем забыт и не читаем. Но всякий раз, когда в путях исторической жизни почувствуется что-нибудь неловкое, когда идущие по нем народы будут чем-либо потрясены или смущены, имя и образ Достоевского пробудится с нисколько не утраченной силою».

И кому, как не нам — годами всполошенные «алертом» и избомбардированные, мы легко подпишемся под вещим словом В. В. Розанова («Легенда о великом инквизиторе», 1894). И там, я чую, в России, разоренной, обедованной, тревогой и неизбывной утратой измученной, в России, я слышу, кричащий из самого сердца, из обожженной утробы, нечеловеческий — вся затаенная боль, слезами не вылившаяся скорбь, черные думы матерей и сестер! — этот «подгрудный», нестерпимый человеку, зловещий голос кликуш у Троицы-Сергия. Имя Достоевского в наше время, и как раз теперь, полно жизни и силы, и книги его читаются натощак, как исповедальный требник. А Тургенев, его книги? — Тургенев... «после обеда».

С первого произведения Достоевский встречен восторженно: гений. «Второй Гоголь?» — «Куда!» А сам Гоголь, он читал «Бедных людей» (1846), заметил: «растянуто». И в самом деле, какой же Достоевский художник: мера ему никак. А со следующими произведениями Достоевского и особенно с появлением замечательного рассказа «Хозяйка», подхват «Страшной мести» Гоголя, вышла неловкость: те же самые восторженные критики теперь повесили нос: «как мы осрамились» — «раздули посредственность!» — «какая нелепость!» Другое с Тургеневым: его встретили со цветами и всякое новое его произведение осыпали розами — «все хорошо, все прекрасно». — «Как-то даже неловко перед Толстым», по замечанию Дружинина*, разгадавшего по первым рас-

---

* А. В. Дружинин (1824—1864), автор «Полиньки Сакс» (1847), ученик Лермонтова и Жорж-Занд, представитель «эстетической» критики за Белинским первого периода, и с ним П. В. Анненков (1813—1887), первый биограф Пушкина, а в то же время Аполлон Григорьев (1822—1864) со своей «органической» критикой, ему предшествовал Валериан Н. Майков (1823—1847), разгадавший судьбу Достоевского по первым его произведениям.

сказам гений Толстого. И до последнего дня жизни розовый путь — от Буживаля Виардо через Германию Шеллинга и Гёте до Петербурга к Нарвским воротам в Новодевичий монастырь к могиле у могилы «генералов» Некрасова и Салтыкова: на вечную память.

Черное отчаяние Достоевского, оно скажется словом «скверный анекдот» в рассказе «Скверный анекдот» (1862) — в этой каторжной памяти о мелькнувшей отчаянной мысли там, на каторге, после чтения единственной книги — Библии в то пронизывающее сибирское утро: ночь с беспутным дразнящим сновидением, еще липнущая к телу колючая посконь, с омерзением ногами у загаженного человеческими нечистотами острожного забора, а над головой серые, непробиваемые ни болью, ни мольбой, ни жертвой «торжественные» небеса — «скверный анекдот». Потом оно скажется в «Бесах» (1873) словами Кириллова перед самоубийством: «дьяволов водевиль».

«Вся планета наша есть ложь и стоит на лжи и глупой насмешке; самые законы планеты — ложь и дьяволов водевиль. И для чего жить, отвечай, если ты человек?» И Достоевский ответил, нашел себе утешение: «пострадать» — это единственный выход «страдание»; только так человеку еще и возможно отбыть свой каторжный век: покажу язык из подполья. «Страдание-отмщение» — проповедь Достоевского.

Темная душа Тургенева, она выразилась особенно в его снах — редкий рассказ без каркающего сновидения, и эти сны — тридцать снов — как траурная кайма на его, благоухающих цветами, картинах жизни. Тургенев нашел себе утешение: литература.

Тургенев первый русский литератор — «homme de lettres» — мастер словесного искусства. Мастерству он научился в Париже, живя бок о бок с французскими мастерами слова, среди их литературных традиций. Наперекор «безобразию» — закону живой жизни, он создает стройную, хоть и обреченную на безвыходность, воображаемую на человеческий лад человеческую жизнь. По плану, с метрикой и послужным списком действующих лиц он даст русскую повесть — nouvelle; наставник его будет Флобер.

У русских писателей у каждого есть хоть кончик от Достоевского — что ни говорите, какими бы волшебными танцами себя ни окружить, а ведь только в страдничестве человек подымается до «человека», и самый пустой скажет путное слово, возможно, что и страждущий зверь говорит своим звериным голосом на своем лайном языке: «аз есмь лютый-зверь безгрешный!» — и из помятой травы мне слышно тонким шелестом: «загубленная!»

У Толстого бывали и есть последователи: пытались и пробуют выразиться по-толстовски, но, сами понимаете, что-то не слыхать, чтобы у Шекспира были ученики, верстающиеся с учителем — можно пользоваться Шекспиром, но это другое дело. Так и с Толстым: да просто нехватка голоса, да и глаза наши — не орлы. Русская литература идет за Тургеневым, что и проще и посильнее.

Чехов той же тургеневской темноты, он описывает в своих бесчисленных рассказах п р о п а д — как человек пропадает. Но этот пропад какой-то «семейный», в этом все и утешение: и посмеются, и поругаются, и поплачут, а потом хлопнут рюмку, закусят солеными грибками, чайку попьют и на боковую — засыпать безнадежную мысль: «пропал». И если не пропадаешь, после Чехова захочется пропадать. Чехова читают не только «после обеда», а и во всякую погоду. Я особенно люблю читать Чехова в дождик.

Тургенев начал со стихов: умные и бесцветные, и вспомнить нечего... «Выхожу один я на дорогу...» нет, это Лермонтов. Постойте, вспомнил, тоже поется «Утро туманное, утро седое...» У Тургенева стихи в тысячах — отблеск звучащей звезды Пушкина. Начинать стихами хорошо, приучают к мере и настраивают на лад, и потом язык не так разболтается; посмотрите, какая сдержанность и глаз у Лермонтова: «Герой нашего времени» (Печорин) и против («Тамарин») умного и наблюдательного Авдеева (1821—1876), ученика Лермонтова, завязнешь; да вот и у Пушкина — вроде либретто «Пиковая дама», слова не выкинешь. От стихов у Тургенева его описания природы — соблазн для многих соперничать, не дай Бог, до Горького, до громокипящих и разливных зорь, да и кто из нас, писателей второго... полета, трудящихся и трудившихся, не грешен этим грехом — «под Тургенева». А кончил Тургенев «стихотворениями в прозе» — Бодлер ему был учитель «Petits poemes en prose». В стихотворениях в

прозе много раздумья, памяти, предчувствия — на росстани дорог стоит человек, оглянулся на пройденный путь: простите и прощайте, страшно! Эти слова я отчетливо слышу, я слышал и в жизни, читаю и в книгах, последнее: последние минуты К. С. Аксакова (1860). А самое совершенное по форме: «Песнь торжествующей любви», под этим рассказом мог бы подписаться Флобер. Французская наука не прошла даром, и как у Флобера — «ни к чему», так отозвался бы Толстой и Достоевский: не греет и не светит. Рассказы Тургенева не то чтоб скучные, а очень робкие, и даже такое, рассказ Лукерьи («Живые мощи»), написан с голоса и какого, на сердце оледенеет. Голос у него был тоненький, не по росту, и какая-то жалостливая мелочность и фыркающая избалованность, что бывает от перенюха роз и оперного пения, и это особенно сказалось в его лирическом «Довольно». Достоевский, склонный вообще к обличительной литературе, он ведь и начал не с «Бедных людей», а с объявления о юмористическом «Зубоскале» (С. Петербургские Ведомости, 1845), воспроизводит в «Бесах» это «Довольно» и очень метко под названием «Merci». Но «Первая любовь», в этом рассказе такая острота чувств, столько боли и тоски, с собачьим воем — у Достоевского на ту же тему «Маленький герой», но чем помянуть его, разве только вспомнишь, что Достоевский писал его в крепости в ожидании смертного приговора. Или шаги и стук подкрадывающейся смерти не бьют так крепко, как иной раз ударит хлыстом по живому сердцу. «Первая любовь» — это крик всхлестнутого сердца.

Такое у меня было чувство, когда в первый раз я прочитал «Первую любовь». И я полюбил Тургенева. И книгу за книгой, не отрываясь, все его книги прочел, и только не мог одолеть театральное. Но Тургенев не Софокл, не Шекспир, его пьесы глядятся не с буквы, а со скоморошьих «крашеных рыл» на театре. И, конечно, его «могучий» русский язык, я, как русский, с памятью моей всего московского, не могу принять, не оговорясь: хорошо, только не по-«нашему». Впрочем, я люблю слово во всех нарядах и украшениях до обезьяньего — со светящимися бело-алыми «а» и жарко-белым «о».

ЗВЕЗДА-ПОЛЫНЬ

И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг,
Такая пустая и глупая шутка!

Лермонтов

Вся планета наша есть ложь и стоит на лжи и глупой насмешке; самые законы планеты — ложь и дьяволов водевиль.

Достоевский, Бесы

ПОТАЙНАЯ МЫСЛЬ

Принято начинать с истории: как возникло литературное произведение и что о нем думали и думают. Тут у меня полный провал. Утопая, я хватался не только за соломинку, как это принято, но и за всякое плавучее гуано — и ничего!

По примеру Бенедиктинцев (Bénédictins de St. Maur) русские писатели, — а русские писатели вообще вроде монахов... только что без капюшона и параманд не носят и, конечно, на молчок не мастаки, — затеяли трудиться над собиранием литературных матерьялов и начали издавать «Histoire littéraire de la Russie» под названием «Литературное наследство». Бенедиктинцы с 1733 г. выпустили 38 томов, последний в 1941-м, а в России с 1931-го по 1937 вышло 55 книг. В двух книгах (1934, № 15, и 1935, № 22—23) несколько статей посвящены Достоевскому. Кроме того — «Материалы и исследования» под редакцией А. С. Долинина (Лгр. Изд. Акад. Наук, 1935) и в Госиздате — «Материалы из Архива Достоевского: «Идиот» (М. 1930), «Преступление и наказание» (М. 1931) — из записной книжки, черновики, варианты. Я спраши-

вал у здешних наших «рясофоров» (Ячeновский, Ковалевский, Мочульский), не появилось ли чего о «Скверном анекдоте»: нет ли каких клочков и заметок, как работал Достоевский? Но и сам Бутчик, а в книжных справочных делах он настоятель, «père Boutchik» сказал мне бестрепетно: ничего.

«Скверный анекдот» появился вслед за «Записками из Мертвого Дома» в 1862 году в журнале «Время», издание Достоевских Михаила и Федора. Действие рассказа в Петербурге на Петербургской стороне в «доме Млекопитаева» — 1859—1860 г., канун «великих реформ».

Реформы начнутся со следующего 1861-го: освобождение двадцати пяти миллионов крестьян от крепостной зависимости, гласное судопроизводство, земские учреждения, «свобода печати» (с Главным Управлением по делам печати) — все это перекувыркивающее весь уклад русской жизни, подлинно, начало русской революции, годы — которые вспомянутся пожаром 1917-го года.

Я пересмотрел много всяких исследований о Достоевском, читал пражские книги А. Бема (1929—36), заглядывал в истории русской литературы: английскую — Д. П. Святополка-Мирского (1926) и немецкую, Артура Лютера (1924), — и хоть бы словом кто обмолвился, как будто такого и рассказа нет и никогда не было, и это несмотря на заключительные строки — которые не могут не затревожить: «Пралинский смотрел в зеркало и не замечал лица своего». Стало быть, у Пралинского пропал человеческий образ? И на это не обратить внимания! Но ведь потерять лицо почище будет, чем потерять тень — как однажды потерял Петер Шлемиль у Шамиссо.

Я уверен, что и Гойю и Калло тронул бы этот кавардак, и Гойа и Калло не прошли бы мимо, как писатели-критики обойдут загадочный рассказ.

«Живопись» и «слово» — что еще представить себе более противоположное: «глаз» и «глазатая рука» (зрительный нерв в руке) и свет «неба», и не рука, не глаз, а «голос» и «мысль» и свет «сердца». Живописующий писатель такая же бессмыслица, как рассуждающий художник, и то, что называется «картинностью» в литературе — какая бедность! Слово бессильно выразить свет «неба». И это из самой природы двух блистательных,

таких отдельных, своязычных искусств. Но я могу, взглянув на картину, задуматься и высказать всю бурю моих мыслей, а художник разглядеть за словами и написать весь красочный кавардак, — так поступил бы Гойа.

Я пропускаю графику. А как раз графика связана с мыслью. В графике «линия», и наши мысли линейны. И если в живописи преображение, в графике — образование, и свет ее — искра: светит и жжет — «характеризует». Так поступил бы Калло.

Все это уже сказано и пересказано, — «обносившееся», но я подхожу к Достоевскому и хочу всеми словами сказать: Достоевский так, общими мерками, неизобразим.

Из писателей Достоевский особенно скрыт и совсем не бросается в глаза. У Достоевского все: «мысль», «подмысль» и «за-мысли» — обходы, крюки, кривизны. И все сочится — влажно высвечивает горьким, болезненным светом: эти его «яро», «яростно», «неутолимо», «угрюмо»... эта его «обида до сердца» и часто повторяемое «неудержимо» или как однажды сказалось о погибшем человеке (о Аполлоне Григорьеве), что «заболевал он тоской своей весь, целиком, всем человеком», и вот еще, самое ужасное — «назло» или этот «беспокойный до муки заботливый взгляд», и это с «болями сердца» — с засасывающей тоской и последним взблеском отчаяния, когда «сердце, изнывая, просится на волю, на воздух, на отдых».

И всегда так скупо действие и только любопытно по нечаянности и неожиданности, по своему «вдруг». Достоевский вне театра и всякая театральная попытка представить Достоевского — да это все равно, что ощипать птицу. Ведь, Достоевский тем и Достоевский, что все его на редкость сложнейшее действие под спудом: глазами не схватить и губами не чмокнешь.

В «Скверном анекдоте» есть одно только действие — единственная сцена: свадьба в доме Млекопитаева. Но представлять пьяного — а действует пьяный Пралинский — все равно, что рассказывать кавказские анекдоты, последняя дешевка. Тем более что на русском театре есть уже чисто театральная сцена: пьяный, завирающийся Хлестаков в «Ревизоре».

Скрытое от глаз мысленное действие, ход и распря мыслей, часто выражается у Достоевского введением в

повествование античного хора. Вот это хоровое начало и можно было бы применить и на театре. Но что выйдет на нашей нехоровой комнатной сцене, я не знаю, а скорее всего — ничего.

Схема рассказа «Скверного анекдота» восходит к «Тысяча и одной ночи»: одно из ночных, испытующих судьбу, похождений Гарун-аль-Рашида. О «Тысяча и одной ночи» упоминается в рассказе, а Пралинский сравнивается с Гарун-аль-Рашидом. Для истории же литературной формы следует упомянуть рассказ гр. В. Соллогуба «Бал», — тот же самый запев, и это на глазах Достоевского, Соллогуб покровительствовал ему. А само происшествие «Скверного анекдота» — таких целое собрание у Ив. Ал. Чернокнижникова (А. В. Дружинина) в его «Сентиментальном путешествии по петербургским дачам» (1848—55), а Чернокнижников в 40-х и 50-х годах был так же популярен, как в 30-х Загоскин, — Достоевский, конечно, читал Чернокнижникова.

Но ни в каком из похождений Гарун-аль-Рашида и нигде у Чернокнижникова, в самых его замысловатых «скверных анекдотах» (напр. рассказы Веретенникова) нет того, чем Достоевский остается памятен и останется неизгладимо: «игры мыслей» и «потайной мысли». А кроме того, «Скверный анекдот» ни на что не похож, единственный. «Скверный анекдот» — рассказ обоюдный, в нем два начала; с начала и с конца, — похождение Пралинского и похождение Пселдонимова, а встреча — свадьба в доме Млекопитаева.

Сказки «Тысяча и одной ночи» перевиты стихами, это как ковер, расшитый травами и цветными ручейками. У Достоевского — мысленная перевязь действий: в «Скверном анекдоте» есть такая перевязь в несколько страниц, а по времени — полминуты.

А чтобы выделить эти «мысли», как принято выделять стихи, не попробовать ли напечатать без знаков препинания (что было бы и ближе к действительности, ведь непрерывность в ней без передышки — мысли думаются, передумываются и задумываются)? Но меня остановил опыт Джойса: в «Улисе» страницы без запятых и эти беззначные страницы вызывают беспокойство, мы разучились читать без указки, а ведь у Достоевского целые главы такой беспрерывности. Джойс не оправ-

дывает ожидания... впрочем, чего и требовать от его маклера Леопольда Блюма, — вся глубина Джойса только кожная с попыткой проникнуть до мочевого пузыря и предстательной железы, а вершины ему заказаны.

«Скверный анекдот» рассказ обоюдный и два претерпевающих лица — для которых в равной степени и разыгрывается скверный анекдот.

Начинаю с Пралинского. Фамилия «Пралинский» от praline, что означает «приторный», а также по созвучию с Марлинским — Бестужев-Марлинский, замечательный писатель, разоблаченный Белинским за «вулканические страсти» и «трескотню фраз», не уступающих серебру Гоголя.

А если читать рассказ с конца, героем окажется бессловесный Пселдонимов. Но что значит «Пселдонимов»? псевдоним кого? Конечно, — человека, вообще человека, в поте лица добывающего свой хлеб, чтобы множиться и населять землю «по завету». Но что это значит: «почвенная кряжевая бессознательная решимость выбиться на дорогу», «существо устремленное», сын матери — «женщины твердой, неустанной, работящей, а вместе с тем и доброй», а этот выпирающий чрезмерно горбатый нос, — если бы носы, как платки, прятали в карманы, можно было бы сказать: трудно вынимается. В. В. Розанов по каким-то египетским разысканиям о человеческой трехмерности, — в длину, в ширину и... «в бок», — взглянув только на нос Пселдонимова, сказал бы, не задумавшись, своим розановским, по-гречески: «да ведь это фалл!..»

Мысль рассказа, с конца и с начала, с Пралинского и с Пселдонимова, — обманувшаяся надежда, тема рассказов «натуральной школы».

«Натуральную школу» представляли: В. И. Даль (1801—72), И. И. Панаев (1812—62), М. П. Погодин (1800—75), гр. В. А. Соллогуб (1814—82), Я. П. Бутков (1851—56), самый из всех одаренный: его путали с Достоевским, так они похожи.

Конечно, в описании «ада» дома Млекопитаева и «брачной ночи» Пралинского-Пселдонимова Достоевский перешиб всех своих товарищей и спутников «школы». А есть и еще кое-что в рассказе. Это — потайная мысль Достоевского.

Рассказ написан после каторги (1850—54) среди мелькнувших ожесточенных мыслей каторжной памяти.

До таких мыслей не мог додуматься ни замученный жизнью, избедовавшийся Бутков, автор «Петербургских вершин» (1846), «горюнов» и «темных людей», не говорю уж о гр. Соллогубе, авторе «Тарантаса» (1844), занявшемся «большим светом», ни И. И. Панаев, автор «Львы в провинции», превратившийся в «Нового поэта» с пародиями, ни Погодин, автор «Черной немочи» и «Афоризмов», по «халатной» манере выражаться родоначальник В. В. Розанова, забросивший для Истории беллетристику, как Даль — для Словаря.

«Скверный анекдот» рассказ не романический, не про любовные упражнения, описательно исчерпанные и выцветшие, но всегда любопытные. Тема рассказа: человек — человек человеку подтычка и в то же время человек человеку — поперек.

Любители «физиологического» направления в литературе — этой моли, вылетевшей из Джойса, гениального разлагателя слов до их живого ядра и «розового пупочка», — пройдут мимо, ничего не расслышав в «Скверном анекдоте», а любителям любовных пьес «с поцелуями» нечего и читать, все равно не переклюкать. Я говорю про «Скверный анекдот», как будто бы появился рассказ в наше время среди нас, пресмыкающихся на земле, одичалых млекопитающихся — кровоядных и травоядных.

«Скверный анекдот» рассказ «абличительный», — Достоевский подчеркивает «а» по выговору: в этом «*а*» слышится задор, заносчивость и наглость; это как Бутков в своем «Темном человеке» выделяет: «богатый и не-*а*-бразован-ный», в смысле презрения. А кроме того, Достоевский мог иметь в виду те бесчисленные опечатки, какими славились периодические издания того времени; Дружинин в шутку писал не «Москвитянин», а «Масквитянин». На свадьбе в доме Млекопитаева один из гостей и как раз со стороны Пселдонимова, сотрудник «Головешки», грозит «*а*ккарикатурить» Пралинского.

«Головешка» юмористический журнал «Искра» (1859—73) Курочкина и художника Степанова: попадешь на язык, не обрадуешься, продернет до жилок и косточек. Особенно отличались стихи Буки-Ба, переплюнув-

шего и самого Ивана Иванова Хлопотенко-Хлопотунова-Пустяковского (О. И. Сенковского) из «Весельчака» (1858), эпиграммы Щербины, Эраста Благонравова (Алмазова) из «Москвитянина» и воейковский «Сумасшедший дом». По отзыву Аполлона Григорьева (Письмо к Н. Н. Страхову, 1861 г. «Эпоха») «подлее того смеха, какой подымает в последнее время российская словесность, едва ли что и выдумаешь». Но ни Курочкину, ни Буки-Ба, ни Степанову, ни тем, кто до них и кто потом занимался разоблачением «личностей» и «направлений», не снилась мера обличения самого Достоевского: все рассказы Достоевского — «*а*бличительные».

И вот в моем раздумье, в горький час, не знаю отчего, вдруг навязчиво затолклось в памяти и мелькает перед глазами неотступно:

> «Соня стояла, опустив руки и голову в страшной тоске. Раскольников — подлец! — ее допрашивал, выматывал душу, — лез грязными руками к ее больно стиснутому, замученному, невиновному сердцу и грозил, что и сестра ее Полечка пойдет по той же дороге...
>
> “Нет! Нет! не может быть, нет! громко вскрикнула Соня, как будто ее вдруг ножом ранили, Бог, Бог такого ужаса не допустит!»
>
> “Других допускает же”.
>
> “Нет, нет! Ее Бог защитит, Бог!..” повторяла она, не помня себя.
>
> “Да, может, и Бога-то совсем нет”, с каким-то даже злорадством ответил Раскольников, засмеялся и посмотрел на нее.
>
> Лицо Сони вдруг страшно изменилось: по нем пробежали судороги. С невыразимым укором взглянула она на него, хотела было что-то сказать, но ничего не могла выговорить, и вдруг горько-горько зарыдала, закрыв руками лицо».

Достоевский пришел в мир не любоваться на землю, на простор и красу Божьего мира, это не «Война и мир» Толстого и не «Семейная хроника» Аксакова, ни Гоголь,

воистину певец всякого обжорства и очарования, художник преображающий и падаль («Мертвые души»!) в блистательную радугу от небесной лазури до полевой зелени, — Достоевский пришел судить Божью тварь — человека, созданного по образу Божию и по подобию.

> «Пусть зажжено сознание волею высшей силы, пусть оно оглянулось на мир и сказало: “я есмь”!.. Если уж раз мне дали сознать, что “я есмь”, то какое мне дело до того что мир устроен с ошибками, что иначе он не может стоять? Кто же и за что меня после этого будет судить?» («Идиот»).

★

Я шел за ним по дощатому тротуару, блестевшему на месяце; ночь была гоголевская: «месяц обливал землю матовым серебряным блеском». Мы прошли Большой Проспект и там, около заснеженного дома, похожего на такие же заснеженные одноэтажные соседние дома, он остановился.

«Дом Млекопитаева!» — узнал я, вспомнив «Скверный анекдот».

И мы очутились в комнате, заставленной и затесненной. Как на престоле, среди грязи скученных до смрада домочадцев, «седяй на высоких», сидел старик Млекопитаев глубоко, как только сидят потерявшие ноги, и пил водку. Но не ругался. Он был особенно доволен, он как бы «почил от дел своих»: в этот необыкновенный сутолочный день ему удалось всех перессорить. Стравленные, расцарапавшиеся дети тут же тыкались, жалуясь и клянча. Сама Млекопитаиха, родившаяся с зубной болью, ныла, как защемленный в ставне осенний ветер, и требовала внимания к своему нытью. Все было готово к завтрашней свадьбе. Жених Пселдонимов угрюмо, но смиренно плясал казачка, а его горбатый длинный нос выназдривал и удаль и раздолье: последнее испытание человеческого смирения, «чтобы не зазнавался!» — объяснял старик Млекопитаев. Нос, отмахав версту, уткнулся в сдохлую перину, высапывая свою мечту о завтрашнем роковом дне: завтра после свадьбы старик окончательно подпишет на него дом и вот, получайте —

400 рублей приданых, годовое жалованье Акакия Акакиевича. А из-под сдохлой, запятненной перины вылезло существо с чертами полинялой Гретхен, обруселая немка, кормящаяся от Млекопитаева и им поощряемая, и начала сказку из «Тысячи и одной ночи».

Скажу так: если вино есть сок земли, очеловечивший и демонскую Красную свитку, сказка — это воздух, мечта, а без мечты дышать нечем! Тетка со сломанным ребром присоседилась к невесте, которая по всеведению старика Млекопитаева давно уж хочет выйти замуж или, как им самим выговаривается: у которой «давно уж чешется» и что-то нашептывала, а та, как буравчик, вертелась на помятых подушках и острые пырящие глаза ее зло блестели.

«Млекопитаев» — от «млекопитающий», это податель пропитания, это — как божество, пекущееся о птицах, которые не сеют, не жнут и не собирают в житницу свою; этот безногий самодур, образ и подобие Божие, не лишенный поэзии и благотворения, — образ того демиурга, насадившего в Эдеме сад для человека и, взятой из ребра человека, жены, образ подателя великого дара «терпения» и «покорности», дара, которому никто не позавидует: бывший казначей Управы титулярный советник Млекопитаев.

Мне пришла соблазнительная мысль: представить «Скверный анекдот», как сновидение.

Снится этот сон Пралинскому и одновременно Пселдонимову. Ведь, скверный анекдот разыгрывается в равной мере как для Пралинского, так и для Пселдонимова; один мечтает обнять «человечество», другой — сделаться «человеком». Сон в канун свадьбы, ворожит луна.

Пралинский о многом мечтал, «хотя был не глуп».

В «ошибочном» осознанном мною мире «мечтать» может только дурак, а «деятель» всегда тупоголовый (ограниченный) или — быть «честным», значит, не привелось сделать чего-нибудь особенно бесчестного, а «злокачественным» может быть всякий, и только «иди-

от» без зла; «порядочный человек» — трус и раб, а «добрый» — пока не попросишь денег.

Пралинский «мечтает» и еще нападала на него какая-то болезненная совестливость. О «человеке-брате» он вычитал в «Шинели» у Гоголя, и засело: «я брат твой», говорил ему Акакий Акакиевич, а под его рукой как раз эти самые Акакии Акакиевичи и среди них Пселдонимов: «брат твой!» А от Акакия Акакиевича-Пселдонимова легко было перейти вообще к «человеку», а от человека к «человечеству».

Пралинский вернулся из гостей пьяный: в голове шумело. Достоевский берет гоголевское «пьяный», а не свое — «в горячке», может быть оттого, что Пралинский вообще-то не пьющий. В нормальном состоянии человеку ничего не может открыться: человек пресмыкается на земле в заботах и дальше своего носа ничего не видит, — надо какой-то вывих, встряска, подъем или распад, с пьяных глаз или когда трясет, и тогда, когда душа исходит, дух захватывает, а на одной овсянке далеко не уедешь.

Пралинский был очень пьян, не помнит, как доехал с Петербургской стороны к себе на Сергиевскую, как раздел его камердинер, как улегся в кровать и забылся.

В предсоньи, о чем редко кто вспомнит, возникают перед глазами лица — они сначала, как из жизни, но невольно начинают изменяться и принимают чудовищные формы; эти лица уже не лица, а «рожи» и притом «скверные рожи». На мгновенье, было, заснувший пробуждается от вздрога, но тотчас и переходит в сновидение.

Перед Пралинским возникли два лица: хозяин, у которого он лишнее выпил — розовое с блеском: Степан Никифорович Никифоров (Никифор значит «победоносец») и желтое с черным — цвет гостя, Семена Иваныча Шипуленка (Шипуленко значит «кипящий»). Хозяин — чиновник, занявший высокий пост еще при либеральном министре Сперанском в александровское «вольнодумство», — тогда подбирались в сотрудники министру не из знатных, а способнейшие — Иван Иванович Мартынов, Василий Поликарпович Никитин, все с именными фамилиями. А гость — умная бестия николаевской «опеки» Шипуленко из Киева родом или

из Полтавы: министр внутренних дел Кочубей немало земляков понасажал в Петербурге на знатные места.

Эти два цветных лица торчали перед Пралинским и по мере того, как изменялись, зловеще звучало одно только слово: «не выдержим — не выдержишь».

«Ан, выдержу!» кричит Пралинский, но голоса своего не слышит: его заглушали зёвом «скверные рожи».

А произошло все оттого, что в гостях спьяну стал он молоть языком что-то о «человеке-человечности-человечестве» на злободневную тему о «великих реформах», которые должны пересоздать обанкротившуюся после Севастополя Россию.

«Не выдержишь!» долбил голос и розовое мешалось с желтым и, блестя, клубилось, а из задымившегося рта Шипуленка вдруг медленно стал вылупляться нос Пселдонимова, распаренный... скажу словами нашего первого летописца: «нельзе казати срама ради».

Пралинский при виде чудовищной свеклы не выдержал и вздрогнул. И с этого начинается сновидение.

Он выходит от Никифорова, чтобы ехать домой на Сергиевскую; хвать, а кучера нет. И пешком идет он в ночь, грозя скрывшемуся с каретой Трифону, который уехал на свадьбу к куме. Но понемногу успокаивается: сон благодетель свое берет, ведь человека и в последнем отчаянии один только сон, хоть на мгновенье, утешит. Трифон, трехполенный верзила, превращается в легкую блестящую снежинку.

«Ночь была восхитительная. Было морозно, но необыкновенно тихо и безветренно. Небо ясное, звездное. Полный месяц обливал землю матовым серебряным блеском. Было так хорошо...»

Под музыку начинается сумбур. Пралинский попал в дом Млекопитаева... попасть калошей в галантир — что ж тут такого? ведь это же нормальнейшее явление сонного, четвертого измерения! А то, что в доме все, и гости и хозяева, стали отступать от него и пятиться, а потом все это беснующееся навались грудью — да ведь это один из самых ярких признаков сновидения.

Пралинский из «Писем русского путешественника» Карамзина знал о парижском танцевальном маге, воз-

душном Вестрисе; дома отец часто вспоминает о Дюпоре, об этом серебряном летучем мяче, чары которого изобразит Толстой в «Войне и мире» (встреча Анатоля и Наташи Ростовой (1864—69). А вот перед ним медицинский студент (студент Военно-Медицинской Академии; форма не университетская, а военная), этот «просто Фокин» выплясывает «на голове» — мордой в землю.

Пралинский видел Фанни Эльслер, хранит на память книгу, напечатанную золотыми буквами — московское издание поклонников «Фанни», так любовно называли Эльслер в Москве (1851) за ее колосяную легкость, а вот, смотрите — Клеопатра Семеновна в истертом синем бархатном платье, она заколола себе булавками юбку и что-то выделывает ногами, как будто она в штанах. Да то ли еще будет, когда медицинский студент «рискнет» с ней протанцевать рыбку — «неблагопристойный» танец, но что очень подойдет к свадьбе... «так сказать, дружеский намек Пселдонимову».

А как шел он под музыку, у него только мелькнула мысль о Эмеранс.

«Эмеранс» в России о ту пору «новость», мода — это не «ночные бабочки», не «девы радости», как говорили при Пушкине, картавя по-парижски, и не Соня Достоевского и не «Надежда Николаевна» Гаршина, это все приезжие заграничные «сухие б....», жадные и изобретательные чистить богатые карманы, француженки и польки по преимуществу. Они описаны у Крестовского в «Петербургских трущобах» и у Дружинина (Чернокнижникова) в его «Сентиментальном путешествии», потом будет у Лескова в «Полунощниках» Эмеранс-Крутильда, и только что подумалось о Эмеранс-Крутильде, а ему говорят — Буки-Ба из «Головешки»-«Искры», что он, Пралинский, «один из тех начальников, которые лакомы до молоденьких жен своих подчиненных». Вот тебе и Эмеранс!

Да, как перевести Эмеранс? У Пралинского оно звучало, как «émeraude» — смарагд — яснейший изумруд — Суздальская мурава — первая нежная травка на Красную Горку. И ведь это только во сне открылось и сказано всеми словами, что он «лаком до...», а так никогда и даже намека не было и в голову не приходило.

А заключительная сцена — да это подлинный сон, когда Аким Петрович, столоначальник из канцелярии

Пралинского, «уторопленно стал кланяться какими-то маленькими поклонами и пятиться к дверям». Так у Гоголя в «Страшной мести» в глазах колдуна, как знак обрекающей на гибель судьбы, поднимаются тощие сухие руки, — «затряслись и пропали».

Пралинский, оставшись один, поднялся в замешательстве со стула, — «он смотрел в зеркало и не замечал лица своего».

И в ужасе проснулся.

Сон Пселдонимова в ту же самую ночь — в канун свадьбы — проще, но не менее ужасен.

Когда он остался один, покинутый перед разгромленным брачным ложем, — так ему мерещится — и стоял, как пригвожденный к кресту, а все паучиное гнездо Млекопитаевых расползалось по щелям и норам, «ахая и покивая головами своими», это была подлинно Голгофа. Перед его глазами пронеслось все беснующееся вместе с его начальником Пралинским и под выкрик: «Эх, ты, Пселдонимушка! — что звучало: «пропал твой дом, пропали твои денежки и сам ты пропадешь!» — он вздрогнул и заснул «тем свинцовым мертвенным сном, каким спят приговоренные на завтра к казни». Достоевский сам был приговорен к смертной казни, ему и книги в руки.

О Достоевском пошла слава: «достоевщина» — чад и мрак. Но разве это правда? Да в том же «Скверном анекдоте» какой чудесный мальчик — который рассказывал про литературный «Сонник», сколько в нем сердечного порыва помочь в беде; его еще и еще раз встретим у Достоевского, а зовут его Коля — Иволгин и Красоткин, в «Идиоте» и «Карамазовых».

А мать Пселдонимова?

Ее отметил и Пралинский — «народность»: «у нее было такое доброе румяное, открытое круглое русское лицо, она так добродушно улыбалась, так просто кланялась»; и старик Млекопитаев пока-что не шпынял ее; она ему понравилась, и еще потому, что весь ад Млеко-

питаевых злобствовал на Пселдонимова. А с какой кротостью она ухаживает за «несчастным» — да как же иначе назвать Пралинского на чужом «брачном ложе», кругом обделавшегося. В этой русской женщине-матери столько простоты, приветливости, желанности, и я скажу, прощения... да ведь это то, чем красна Россия и русское — богато.

А этого нигде не записано, я это услышал: мой голос — однажды прозвучавший во мне, по-русски:

«Всю жизнь я стремился к победе. И побеждал. Но всегда сочувствовал гонимым и проигравшимся — этому с набитой мордой, рукой вытирающему себе окровавленный нос!»

И еще пошла легенда о Достоевском, — о Достоевском, как о писателе небрежном, торопящемся из-за копейки. И это тоже неправда. Достоевский ученик Гоголя, а стало быть, на слово — глаз. Дружинин, критик и писатель, автор «Полиньки Сакс» (1847), а это очень важно, писатель, т. е. знает по себе писательское ремесло, упрекал Достоевского за излишнюю «выписанность». Легенда о небрежности пошла после «Униженных и оскорбленных» (1859) и Достоевский в «Эпохе» 1864 г. всеми словами и со всем возмущением «горячо» выступает против такого обвинения (Примечания к статье Н. Н. Страхова: «Воспоминания о Аполлоне Григорьеве»). Достоевский признает, что, действительно, спешил, но никто его не принуждал, а по своей воле поспеть сдать рукопись в типографию для журнала «Время», издание Михаила и Федора Достоевских. Этих примечаний Достоевского никто не читал, только сотрудник «Эпохи» Н. Н. Страхов и Д. Аверкиев. И легенда укрепилась: ведь, в мнениях живет молва отрицательная гораздо крепче, чем положительная: кто не знает, как долговечна клевета.

И стало общим местом говорить о Достоевском, как о писателе — как попало. Правда, тут и сам Достоевский постарался в своих частных письмах. (Письма Достоевского с примечаниями А. С. Долинина, М. Агр. Гос. Изд. 1928—1934, I, II, III т. т.) А отсюда и убеждение, что переводить Достоевского на иностранный язык не только можно, но и должно со всей свободой, сокращая и дополняя по собственному комариному дарованию.

«Скверный анекдот» написан со всей гоголевской тщательностью: фраза обдумана, каждое слово на месте, ни прибавить, ни убавить, и никаких перестановок не напрашивается. Попадаются ассонансы и подглагольные («мереть, переть, тереть»), в прозе для уха, как блоха заскочила, беспокойно, но это объясняется не спешкой и глухотой, возможной, когда человек много пишет, а искусственностью русской книжной речи; «русский язык подвели под формы и правила иностранных грамматик, ему совершенно чуждых» (Слова К. С. Аксакова, Московский сборник 1846 г.). Это чуял Пушкин, понимали славянофилы — Хомяков, Киреевские, Аксаковы, но как далек был от этого Карамзин, Белинский, Герцен.

А что не было отзывов на «Скверный анекдот», объясняется очень просто: или некому было писать, или негде.

Аполлон Григорьев (1822—64), как и Н. Н. Страхов (1828—95) были связаны с Достоевским, главные сотрудники в «Эпохе» (1864—65); В. Г. Белинского (1828—48), горячо принявшего Достоевского, его «Бедных людей» (1846). — «Гоголь? куда, дальше!» — не было на свете, как не было и Валерьяна Майкова (1824—47); Некрасов, хоть и открывший Достоевского — «второй Гоголь!» — разочаровался, как и Белинский. Кто же еще из современников? Н. А. Добролюбов (1836—61)? Добролюбов не дожил года до «Скверного анекдота», а Н. Г. Чернышевский (1828—89) — арестован как раз с выходом «Скверного анекдота» в 1862 году, та же участь и Д. И. Писарева (1840—1868). Жив еще был Дружинин (1824—1864) — но это его последние годы жизни, с него нельзя и требовать.

В «Отечественных Записках» А. А. Краевского, где появлялись рассказы Достоевского, в критике упрекали его за «темноту изложения», и оправдывались, что не могут найти «ключа», куда ведет и что хочет сказать. Возможно, что Ст. Сем. Дудышкин (1820—66) заметил только эту «темноту», но скорее всего ничего не заметил.

«Скверный анекдот» замолчали.

А у Святополк-Мирского в его английской «Истории русской литературы» я нашел: запихано в самый конец книги.

После отзыва о «Селе Степанчикове» (1859), где в Фоме Опискине дан прообраз Головлева и представлен

Гоголь, как автор «Переписки с друзьями» (1847), несколько строчек о «Скверном анекдоте»:

«Жестокость, но в еще более сложной форме, можно найти в самом характерном из коротких рассказов этого периода, в «Скверном анекдоте». Так же подробно, как в «Двойнике», Достоевский описывает мучения униженного сознания, испытываемые высоким чиновником на свадьбе мелкого чиновника его департамента, к которому он является не приглашенный, ведет себя по-идиотски, напивается и вводит бедного чиновника в большие издержки».

«Скверным анекдотом» Достоевский начинает свой путь туда.

Из дома Млекопитаева, этого паучиного гнезда, он поведет меня в баню к Свидригайлову («Преступление и наказание», 1866): баня с пауками — это «вечность». Из черной бани мы пойдем со свечой в чулан Ипполита («Идиот», 1869) и там Достоевский покажет Тарантула: этот Тарантул — творец жизни и разрушитель твари. А как заключение, в «Карамазовых» (1880) Иван вернет туда свой билет на право разыгрывать скверный анекдот или, просто говоря, на право быть на белом свете в этом Божьем мире:

«И у кого еще повернется язык повторять Divina comedia — так вот она какая «божественная»: этот на земле и там — вселенский скверный анекдот!»

ЗВЕЗДА–ПОЛЫНЬ

«И не все ли равно, что во сне, что наяву».

1

«Вонмем! — услышим святаго Евангелия чтение...» Остановитесь! Слушайте, послушайте, что рассказывает человек, этот бунтовщик, заговорщик, этот злоязычник, блудница, изверг; вот его поймали, избили и надругались, приволокли ко кресту и, скрутя веревкой, уж подтянули, чтобы вешать, уж по лестнице вскарабкались «воины» с молотком и гвоздями — и вдруг говорят: «Ступай, тебя прощают».

Да ведь это судьба Достоевского (22 декабря 1849 года, Петербург). Протомив в Петропавловской крепости, на рассвете декабрьского утра его привезли на Семеновский плац — по пути позорной колесницы не вайи «креста и славы» встречали его «осанной», а тихие рождественские елки — «Дева днесь Пресущественнаго раждает». С другими осужденными его поставили на плаху к столбу и палач, дыша в лицо конским паром, надел на него саван. Заживо, как в гробу, закрытый крышкой, он слышал, как сквозь звеневшую под раздувавшимся от ветра колпаком рождественскую песнь: «к смертной казни через расстреляние» — отчетливо прозвучали слова приговора. И наступила трепетная, длившаяся бесконечно, эта последняя минута и вдруг ударом под душку команда зеленого, как елка, офицера, темной стеной притаившимся солдатам: «На прицел!» Каким громом вскинулись ружья и громче выстрела: «Остановитесь! — кричат — курьер помилование привез». Сдернутый с лица саван острым полыснул по глазам: «Ступай, тебя прощают».

Да с плахи так, в карманы запустя руки, никто не уходит, изволь назад в тюрьму под замок, а из тюрьмы «помилованному» одна дорога — каторга в Сибирь.

Четыре года (1850—1854) Достоевский провел на каторге. И только через девять лет (1859) вернулся в Петербург.

После прерванной арестом повести «Неточка Незванова» (1849) впервые в 1859 г. появляется имя Достоевского: «Село Степанчиково», «Записки из мертвого дома», «Униженные и оскорбленные», «Скверный анекдот», «Записки из подполья», «Преступление и наказание», «Игрок» и, наконец, «Идиот» (1868—1869).

Тот, кто стоял на пороге смерти — неминучей, «наверно», вернувшись к жизни, какими глазами он смотрит или — каким кажется его обрезанным глазам наш серенький мир, правда, в газетах в хронике попадает про убийства или «откусил ей нос», но вообще-то без протоколов — от обеда до обеда.

Да ничего подобного — глаза не наши.

Все обыкновенные краски погасли и все будничные звуки заглохли — все стало ярче и громче: слух проник в первозвук и глаз в глубь света. И все движения измени-

лись, и то, что за год — минута, а «сейчас» — как вихрь. Все навыворот, кривится и коробится, опрокинутые лица, какие-то угорелые кошки, нос лезет туда, куда его не спрашивают, руки не могут найти спокойного места — все кверху ногами пошли и, продолжая улыбаться остатками еще недавнего смеха и сами на себя облизываясь, друг друга подталкивают и, как черви, в три погибели под колотушкой, крючки и сверла, разнообразие и без-образие. И самые тайники мысли распахнули окна, запутанные тряпьем мыслей и слов.

Нет больше привычной «действительности» (реальности), остались от нее одни клочки и оборки. И если взглянуть нашими будничными глазами, вся эта открывшаяся действительность невероятна и неправдоподобна, трудно отличить от сновидений.

Но что чудно, оказывается, что чем действительность неправдоподобнее, тем она действительнее — «правдашнее». И только в этой глубокой невероятной действительности еще возможно отыскать «причину» человеческих действий.

А если рассечь душу человеческую или потрясти ее до самых корней, взблеснет такая действительность, дух захватит, и страж жизни — человеческое сердце устоит ли? Это действительность экстаза, действительность эпилепсии, действительность радений и «бесноватых».

И что возможно, мне так чуется, эта непостижимая действительность и есть первожизнь всякой жизни.

Действительность Достоевского мало чем похожа на нашу. Но и вообще, действительность литературных произведений — совсем это не то, что наша уличная. И до чего глупо, а говорят и притом глубокомысленно: «Так в жизни не бывает!» — точно жизнь одномерка и в кулак захватишь.

Действительность многослойна и чем глубже, тем несообразнее, а в «Идиоте» — что и вообразить невозможно.

Все залито зеленым — горькая зеленая звезда. Зеленое с красным (зеленое — в желтое, красное — в коричневое). Зеленые деревья, зеленый шарф (Иволгина), зе-

леное шелковое стеганое одеяло (Ипполита), зеленая скамейка, зеленый диван с коричневой спинкой (у Мышкина), зеленый дом (Рогожина), зеленый полог над кроватью, изумруды Келлера, зеленая июльская луна. И кровь: алое с блестящим жуком на зеленом шарфе Рогожина, алый окровавленный платок Ипполита, красные камелии, красная стена, запекшаяся кровь на рубашке у зарезанной Настасьи Филипповны, лужица крови на каменной лестнице; коричневая картина Гольбейна, коричневый скорлупчатый скорпион (сон Ипполита), желтый шарабан — мелькающие красные колеса, и летучие мыши с черной бедой. И сквозь кроваво-зеленое в неисходной тоске сверкающие горячие глаза (Рогожин).

И все овеяно музыкой.

Попурри из итальянских опер — Риголетто, Трубадур, Гугеноты, барабанная Сорока-Воровка и русская мешанина (Павловский вокзал); манящие воздушные лебединые руки — баллады Шопена, сиплый бас — военно-вакхическая песня (генерал Иволгин), «Со святыми упокой» по «отстреленной» ноге — доносит панихиду с Ваганькова из Москвы с цыганскими «полями да метели? ца» и венгеркой Аполлона Григорьева; и вдруг вырвавшаяся песня, и единственный раз, ее поет молчаливая Мари и злой свист камней в «гадину» и «паука» — в эти тихие, невинные глаза; «Надгробное рыдание творяще песнь...» «И Дьявола упразднивый...» — Троицкий собор, отпевание русского Фальстафа и реквием — из швейцарской деревенской церкви; беснующееся гнусавое «шаривари» и сквозь бряз и бурение охрипших скрипок нашептывание золотой мечты: «Жил на свете рыцарь бедный...»; лязг гильотины и сап намыленной веревки, шурш скорпиона и жужжит муха; и на мгновение все и тихо и мертво, и в это мертвое — зарезанное — в эту зеленую зоркую луну под хлест плетки исступленная с фарфоровой россыпью молитва к Звезде-надзвездной: «Матушка («Царица Небесная!») Королева! Сто тысяч, сто тысяч! Матушка! Повели мне в камин: весь влезу, всю голову свою седую в огонь вложу... Больная жена без ног, тринадцать человек детей — все сироты, отца схоронил на прошлой неделе, голодный сидит, Настасья Филипповна!» «Прочь!» и в заклубившемся вихре под колокольчик троек, вихрем захлебывая звуки, один над

всеми голос — этот нечеловеческий, воплем исшедший из рассеченной души, озаренный невечерним первосветом, жизнью всякой жизни — голос человеку, всему человеку, невыносимый:

Великий — и грозный — Дух.

Хлыв искрящихся ощущений — по силе, как обухом по голове, как щипцы и зубы в сердце — они изнывают сказаться в мыслях и выразиться словом. Слово никогда не покроет мысли, а исподняя мысль не выйдет из-под спуда: я говорю одно, думаю другое, а поддумываю третье, но я и говорю так, а не по-другому, и думаю, как думаю, потому что «поддумывается». А это и называется — «двойные мысли».

Простым глазом и этим ухом не добраться, надо углубить действительность до невероятного — до бредовой завесы.

Достоевский рассказывает о игре — столкновении мыслей, его герои — мысли, его мир — мысленный мир. И это вовсе не значит «беспредметный» — сила и движение мысли живее всякой «физиологии». И когда поминается «завтрак» и шампанское или французский архиепископ Бурдалу, это только для скрепы этой мысленной жизни.

«Съедобное» у Гоголя и «мясное» Толстого — у Гоголя «еда» поддерживает нереальную сказочную жизнь его «басаврюков» от Красной свитки до Чичикова включительно, а у Толстого без костей и мяса немыслима сама мысль — Достоевскому все это ни к чему: Достоевскому довольно «лужицы крови».

И вовсе не преднамеренно, чтобы показать свою невероятную действительность, которая действительнее — истиннее и голее нашей обычной, Достоевский поднял температуру у своих героев.

Лихорадка, горячка, солнечный припек, бессонница — двое суток не спал, перепой, внезапность, вдруг и разом, «синяки фортуны», жизнь исковерканная судьбой, в «последних градусах» чахотка (Ипполит), одержимость — «прожгло» и собаки обгрызли (Рогожин), и вывихи — физические уклоны — эпилептик, «лучезарнейший» князь Мышкин, жених невозможный и немыслимый и «демоническая» красота Настасьи Филипповны — лунной —

с рождения монашка, Соломония, худая, бледная, с загадочно-сверкающими глазами — существо совершенно из ряду вон, а между тем по такой недотроге прошлись пухлые белые руки. И все вот так, с задоринкой.

Но иначе Достоевский не видит, да и как иначе видеть, отпущенному назад в жизнь с порога наверной смерти: в его глазах пожар.

Весь наш мир — горит.

И в этом пожаре сгорают все занавешивающие мысль словесные украшения и всякие румяна показной мысли, обнажая исподнюю мысль.

Нереальные, эти только мысли-герои Достоевского живы и действуют, как кожные, а по встрепету неотразимы. Слушайте, «любуйтесь», только чур! Не трогать пальцами: рука скользнет по воздуху.

А если в литературных произведениях искать слова о человеке и о тайне его жизни — за обугленным остовом крашеных мыслей в живых, таящихся под пеплом, мыслях, читаю горькую разгадку.

2

Ничего обыкновенного. Все странно, необычайно. Но и в необыкновенном степень: жизнь, ведь, не сплошная, разнокольчатая.

А то, что на воспаленный глаз представляется второстепенным — это все наше «дневное», не подымающееся ни до каких градусов, «ординарное», это серое, невзрачное, «как принято», «как следует», «как должно», что «рождается, чтобы умереть и умирает, чтобы родиться», повторяя судьбу извечно-проклятой муки — поиграть в солнечном луче и бесследно пропасть с закатом. Это семья Епанчиных, Иволгиных, Птицына, их приятелей и знакомых.

К этому сорту «ординарности» «всяких людей» — Достоевскому они вот куда! — можно присоединить «мнительных» писателей (чем сильнее честолюбие, тем раздражительнее обидчивость), а из современности ловкачей «кино» и вообще всю критическую тлю — охотников посудачить на литературные и философские темы, сюда и меня можно ткнуть с моим «с-гуся-водизмом», «формализмом» и «вербизмом». И всем нам, «вме-

сте взятым», всей этой полыни, отравляющей источники жизни, ее цвет и рост (слушайте!):

«Ненавижу вас единственно за то, вам, может быть, покажется удивительным, единственно за то, что вы воплощение — вы олицетворяете — вы верх самой наглой, самой самодовольной, самой пошлой и гадкой ординарности».

«Ординарное» или «оригинальное», главное или второстепенное, судьба у всех одна — участь мухи. И не все ли равно, как уйти с поверхности земли: под забубенный «мат» за какую-то пропавшую миску — так умирает одинокая старуха, та самая, которую единственная племянница, единственно по прирожденной злости укусила за палец, или с приподнятой по-заячьи, пусть как бы выточенной из мрамора, ногой под ножом любви (от слова «любва») — Настасья Филипповна.

Любовь-и-смерть всех равняет.

«Любовь» — эта огненная печать на человеческом сердце, «любить» — это дыхание жизни. Но даст ли мир моей душе этот пламенный дар?

«Жалеть!» а жалость — она, может быть, пуще любви. А «любовь» — ее не отличишь от злобы. Злобу и ненависть знает всякий, кто горячо любил. Люди и созданы, чтобы друг друга мучить, и чем глубже любят, тем больше и мучают.

(Между любовью до ненависти и жалостью до любви — «симпатия», по-русски «слабость». Но что она значит в моей судьбе? — домашний беспорядок, поблажка и сквозь пальцы).

«Красота!» — если что-то значит это обветшалое и вечно волнующее слово. Какой признак «красоты»? Да один только и есть признак: «страдание» — и чем больше страдания, тем она совершеннее.

«И такая красота — сила, с этакою красотою можно мир перевернуть».

«Страдание!» Страдание — боль. Покою и миру нет места: что не боль — ничего, пятно, пустое место. И «сострадание» — «этот главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества».

«Но до чего может дойти ваше сострадание? Сострадая страданию одного, можно причинить страдание

другому!» — так спросит разумный человек, в глазах у которого мальчики не прыгают. (Настасья Филипповна — Мышкин — Аглая).

А вот вам человеческое удовольствие при неудачах ближнего, оно, пожалуй, кореннее всякого сострадания. Все можно подделать, только голос не обманет, да это удовольствие, выражающееся в особенной «неделикатной» усмешке, не скроешь.

«Красота-страдание» и еще есть «страшная» сила: «красота-смирение».

Но какой смысл в моей безответности перед темным и глухим жребием, распорядившимся раздавить меня, как муху?

И что поправит смирение, коли тебе морду набьют? Да и еще свистнут.

(И тут бывает, как в случае со «слабостью» (симпатией): «смиренное презрение» и «презрительная жалость», ни то ни се).

«Правда!» — Правда и Кривда, два лютые зверя, борются. Правда ушла на небеса, а Кривда на земле волочится; а уходя, Правда оставила земле память — «милостыню». (Читаю «Голубиную книгу».)

«Правда!» — «одна только правда, а стало быть, несправедливо». И только тогда прозвучит справедливо «горькая правда», будет окутана «нежностью» — а что есть более нежного, как «милосердие». Похвальба вон той самодовольной рожи: «режу правду-матку в глаза», означает отсутствие остроумия, не больше. И такой резак всегда особенно мстителен — и всегда от своего плоскоумия.

Разумные, расчетливые и все рассчитывающие, если бы вы знали: все главные решения в жизни выходят не из логических рассуждений, а от толчков — от «отвращения» или «тут меня и прожгло». Или «совсем не думая, сказал». С логикой-то и до одного места не добежишь, не говорю: вытряхнуться.

Глаза, которые взглянули на четыре стороны в последний раз за минуту до смерти, а эта минута была бесконечной — в бесконечности закружившая в жгут до самых корней все мысли — «последней минуткой», за которую «последнюю» простятся все грехи человеку, эти глаза разглядят всю призрачность и самых крепких неколебимых основ человеческой мучительной жизни.

Но это горькое познание ничего не изменит в жизни человеческого ненасытного сердца.

«Дело в жизни, в одной жизни — в откровении жизни, беспрерывном и вечном, а совсем не в открытии».

3

Полуденный голос, окликавший Гоголя среди «ужасной тишины безоблачного неба», этот вещий голос слышал и Достоевский.

«Тоже в полдень, солнце яркое, небо голубое, тишина страшная, вот тут-то, бывало, и зовет все куда-то, и мне все казалось, что если пойти все прямо, идти долго и зайти вот за эту линию, за ту самую, где небо с землей встречается, то там вся и разгадка и тотчас же новую жизнь увидишь».

Этот полуденный голос — не простое, окликает не всякого, и кому суждено его слышать, тот — не тот человек, голос «посвящения».

И в жизни «отмеченного» непременно подсунется такое, что другой и ввек не увидит и во сне не приснится.

Это ужас: «ужас, да ужас! вдруг увидеть ее на цепи за железной решеткой смотрителя». И это страдание: «она доходила до таких страданий, что мое сердце никогда не заживет, пока я буду помнить об этом ужасном времени. У меня точно сердце прокололи раз навсегда».

Однажды окликнувший полуденный голос оттуда, проколотое ужаснувшееся сердце и глаза, опаленные заглянувшей прямо в глаза смерти — какой глубокий и таинственный мрак! — вот что поставило Достоевского по силе его слова сверх литературы вровень с пророками.

Достоевский, как Страхов и Аполлон Григорьев, в Петербурге слыли за «славянофилов», хотя Москва, последний из старых славянофилов И. С. Аксаков, не очень-то их жаловала.

Достоевский читал Хомякова, знает и его «заветную» статью в Московском Сборнике 1853 г. (о народных песнях Киреевского) — первое слово в русской литературе о «природной русской речи». Самая суть этих русских заветов не дошла до Достоевского, он продолжает традицию книжной искусственной речи по немецким образцам (Карамзин) и переводам с французского (Пушкин): манера письма и словарь потершегося газетчика.

Но хомяковское не прошло мимо Достоевского: «народное» у Достоевского — это доживающий дни дореформенный цветистый подьяческий слог (Лебедев), переводу не поддается, как самозвучащее. Это «народное» имело большое влияние на стиль Розанова. Подьячие давно все вымерли, никто уж так не выражается, но дух природного слова, его лад, жив, и русскому, наряженному и в самое шутовское платье, будет ближе и понятнее всякой выглаженной по французским правилам тургеневской речи.

«Подьяческое» у Достоевского совершенно. А вот с другим, тоже народным, «купеческим» не удалось — и это при Островском. Нет, что-то от Горбунова, да и то не от «ядра» и «бомбы», речь Рогожина.

Д. С.-Мирский в своей английской «Истории русской литературы» отмечает, и совершенно верно, что в жизни Настасьи Филипповны, Рогожина и Мышкина выпадает полгода: Москва. А вон критик Чижов (Азарьин) заметил, что Коля Иволгин тринадцатилетний через полгода вдруг становится пятнадцатилетним — и тоже верно. Но разве это важно? У Достоевского «живая жизнь» мыслей, а для живой мысли последовательность, как известно, не обязательна.

Достоевский ученик Гоголя — Гоголя сказочника, первого словесного искусника в русской литературе, но что в «Идиоте» от Гоголя? Искусство слова Достоевскому тьма египетская*.

---

* Ходили мы в болгарском платье (XI в.) — с этого начинается история русского слова. Потом нарядят в блестящие церковнославянские одежды (XVI в.), потом, дубинкой околотя драгоценности, заставят напялить тяжелые немецкие камзолы, а потом кургузые прямо из Парижа (XVIII в.). Так и пойдет «русская литература»: кто в лес, кто по дрова (XIX в.).

За Гоголем (южнорусский лад) и Марлинским (с польского) — первыми искусниками, я назову В. А. Слепцова (1836—1878). Возрождение начнется символистами, но неудачно: слащавый провинциализм Сологуба, гоголевский копиист со стрекотней Заратустры — Андрей Белый и вроде как по-латыни «пушкинская» проза Брюсова.

Всякая попытка искусства слова на Руси глохнет. И нет ничего тут удивительного: в самом деле, какое-то жалкое искусство над искусственной природой.

Искусство — это значит распоряжаться: вертеть и перебрасывать. А как можно что-нибудь передвинуть одеревенелое, искусственно закованное?

Мы ведь и думаем-то не по-русски.

И вот тайна слова: среди растрепанных фраз, всегда дельных, конечно, не словесных, кипяток мыслей, вдруг страницы, пронзающие сердце, по встрепету ни с чем несравнимые, единственные, навсегда памятные.

Кто напишет «Кроткую»? А тут, в «Идиоте», прощание Мышкина с Настасьей Филипповной!

Это как в народной песне со дна сердца обжигают слова — какого сердца! Это как у Аввакума — не писатель — в канун венчающей его огненной судьбы: огонь слов.

Ошибутся, если взглянут на героев Достоевского исключительно как на русских. Русского, скажу, столько же в них, сколько английского в датском принце Гамлете: Достоевский рассказывает о человеке.

4

«Осел добрый и полезный человек».

Это житейская аксиома, кит, на котором держится все «дело жизни» и без которого ничего и не «открывается»: пить-есть надо.

«Бесподобный» — это человек, не лгущий на каждом шагу. А «подобный» о такой роскоши и мечтать не смей. «Ложь — конь во спасение».

Два предмета отличают человека от четвероногого, как копытного, так и бескопытного: «свободная воля» («не хочу в ворота, разбирай забор!») и деньги. В свободе никому не отказано — пускай себе дурак покуражится! А деньги — «деньги тем всего подлее, что они даже таланты дают!» — деньги с неба не валятся, изволь за ними крысой протачивать себе ходы.

«Я обокрасть сам себя не мог, хотя подобные случаи бывали на свете!» А это значит, воля волей и деньги деньгами, а есть еще «путаница» — тарантулова паутина: мор на волю и ржа на деньги. Это первое предостережение оттуда, если судить по-человечески, на которое, впрочем, плевать каждому, как и на всякое «потом» — «что будет потом?».

«Слова и дело», «ложь и правда» — все вместе и искренно. «Слова и ложь», чтобы уловить человека, а «правда и дело», что выражается в раскаянии, но с неизменной мыслью через то выиграть, т. е. опять-таки уловить.

«Уловить человека» — это тоже житейская аксиома, тоже кит, нырни зверь под воду и все «дело жизни» разрушится: не нагишом же в самом деле «открывать» жизнь!

«Если бы кто другой мне это сказал про тебя, то я бы тут же собственными руками мою голову снял, положил бы ее на большое блюдо и сам бы поднес ее на блюде всем сомневающимся: вот, дескать, видите эту голову, так вот этою собственной своей головой я за него поручусь и не только голову, но даже в огонь».

И все это говорится — клянется и божится — ни больше ни меньше, чтобы при удобном случае, улучив благоприятную минуту, задушить спящего приятеля подушкой или мокрым полотенцем, а случись среди бела дня: намотаю на бритву шелку, закреплю, да тихонечко сзади...

Как, стало быть, надо все с оглядкой — каждый шаг — от человека всего можно ждать и никакое «побратимство» не спасет от ножа (Рогожин и Мышкин, обменявшиеся крестами). Эти дела и с крестом делаются, как и с папироской: «и когда приятель отвернулся, он подошел к нему осторожно сзади, наметился, возвел глаза к небу и, проговорив про себя с горькою молитвой: «Господи, прости ради Христа!» — зарезал приятеля с одного раза, как барана, и вынул у него часы». (Серебряные на бисерном желтом шнурке.)

Человек работает, как крыса — «роет крот».

Походя украл три целковых и в тот же вечер пропил в ресторане; в краже обвинили прислугу, и на другой же день согнали со двора: дом строгий. «И вы допустили?» — «Да неужели мне было пойти и сказать на себя?»

«С необыкновенною готовностью признавался он в таких делах, что возможности не было представить себе, как это можно про такие дела рассказывать. Приступая к каждому рассказу, он уверял положительно, что кается и внутренне «полон слез», а между тем рассказывал так, как будто гордился поступком».

Бесстыдство и гордость этим бесстыдством — еще житейская аксиома, кит из семи третий, на котором покоится земля. Я смотрю не на вас, не на нашу улицу, я читаю кровавую книгу: человек.

И солдатам ведь по уставу, когда в стрелки рассыпаются, целиться велено в полчеловека — так и сказано: в «полчеловека».

И у одних все хорошо выходит, а у других ни на что не похоже. Не так!

Вот Иван Фомич Суриков при его-то «смиренной» бедности и вдруг получивши миллион — миллион золотых рублей. Он все не знал, куда их девать, ломая себе голову, дрожит от страха, что их украдут и, наконец, решил закопать их в землю. Я посоветовал ему вместо того, чтобы закапывать такую кучу золота в землю даром, вылить из всей этой груды золота гробик «замороженному» ребенку и для этого выкопать ребенка. Эту насмешку мою Суриков принял со слезами благодарности и тотчас же приступил к исполнению плана. Я плюнул и ушел от него.

Действительность, чем она недействительнее, тем она правдоподобнее. А осенит вдохновение, твоя ложь становится вероятнее, если ловко вставить не совсем обыкновенное, что-нибудь уж слишком резкое или такое, чего даже совсем не бывает и быть не может.

Мышкин и Аглая на зеленой скамейке в Павловском парке. Аглая о Иволгине:

«Знайте, он любит меня более своей жизни. Он предо мной сжег свою руку, чтобы только показать, что любит меня более своей жизни».

«Сжег свою руку? Что ж, он принес сюда с собой свечку?» — «Да, свечку». — «Целую или в подсвечнике?» — «Половину свечки... огарок. И спички принес. Зажег свечку и целые полчаса держал палец на свечке». — «Я видел его вчера, — сказал Мышкин, — у него здоровые пальцы».

А вот это почище будет: из детских воспоминаний Лукьяна Тимофеича Лебедева, называющего себя Тимофеем Лукьяновичем из «самоумаления»: у него обе ноги целы, на виду, и ни одной деревянной. А между тем, в 12-м году в Москве французский шассер навел на него пушку — эта пушка нынче в Кремле, одиннадцатая от ворот, французский фальконет — и отстрелил ему ногу «так, для забавы». Поднял он свою ногу и пошел домой — да по дороге, помнит, еще в лавочку забежал хлеба купить, очень голодно было. А потом похоронил ее на Ваганьковом кладбище, поставил над ней памятник; с одной стороны: «здесь погребена нога коллежско-

го секретаря Лебедева», а с другой: «покойся милый прах до радостного утра». И служит ежегодно по ней панихиду, нарочно для этого в Москву ездит.

А что такое жизнь — суть жизни — «дело жизни» — не одно ли это мое вдохновение? от умиления моего? Иначе и «открывать»-то, пожалуй, нечего.

«Тунеядец», история XII века, объявил сам собой и без всякого принуждения, что укокошил и съел лично (не вдруг съел, конечно, а были и консервы и колбаса) и в глубочайшем секрете 60 монахов и несколько младенцев (мясо чересчур приторное), штук 6, не больше; до светских же взрослых с этой целью никогда не касался. А объявил монахам же, когда от съеденных и памяти не осталось: «волею Божиею пропали». А иначе он и не мог поступить по общему убеждению — по «общей связующей мысли». И по этой общей связующей мысли его или сожгли живьем или «святым» объявили.

В коловращении людей такая общая связующая мысль на аркане водит человека и арканом погоняет. И закон саморазрушения, как и самосохранения, оба одинаково сильны в человечестве и неизменны.

«Несчастный»! «Несчастными» называются все осужденные преступники: пойманные — пойманные разбойники, воры и мошенники — им с крестом подают милостыню. (Я долго хранил «копеечку» — на этапе мне подали, заветная, счастливая, как веревка с повешенного). И один такой «несчастный» убил каких-нибудь 12 душ и заколол штук 6 детей — «единственно для своего удовольствия».

Но не все ли равно, для своего ли удовольствия или из самосохранения, как тот, вынужденный бедностью, или по закону разрушения — потоньше будет всяких и удовольствий и оберега, человек попал в выкидыши — какими словами встречает он восходы и закаты?

В Москве в 40-х годах прошлого века жил доктор Гааз, ездил он по тюрьмам и острогам, не пропускал ни одной арестантской отправки в Сибирь. У него не было различия в преступлениях, звал всех «голубчики». И так до самой смерти. Его знали по всей России и в Сибири все преступники.

«У него (не у Гааза, а у Павлищева) была всю жизнь какая-то особая нежность ко всему угнетенному и природой обиженному, особенно к детям».

А называется такое чувство «единичная милостыня» в противоположность организациям общественной помощи. Это тоже в самой природе человека: «желание прямого влияния одной личности на другую» и моя непосредственная воля поправить какие-то ошибки уже не человеческие или восстанавливать что-то, устраняя изводящее душу: «почему?».

И разве это поле не богатое для «открывания» жизни?

Начало XVIII века, Петербург: Степан Глебов посажен на кол, просидел 15 часов в шубе на морозе и помер «благодушно». А Ипполит — «этот завистливый червь, перерванный надвое, с кашлем» фордыбачится: ему обязательно подай людей — сострадание, и деревья — природу, отказавшую ему в жизни.

Но кого мне больше всех жалко — это я точно о себе рассказываю, о своей ночной тихой жалобе — «терпеливые души»: с какой покорностью и горьким смирением они проходят в жизни, стараясь быть как только можно незаметнее, они идут со своей белой палкой — болью-палкой под этот ползучий голос нежданных-негаданных напастей, и все как бы ищут чего-то: как бы потеряли что-то. И в ответ мне — я разглядел — усмешка.

Хаос, сумбур, сердечная бурда, беспорядок. Мои разбитые мысли и этот неподвижный взгляд. И все это замечай и все предугадывай.

И все торопятся, бегут за счастьем.

«Лучше быть несчастным, но з н а т ь, чем счастливым и жить... в дураках».

Но ведь это оклик приговоренного, кричит «выкидыш» — для него весь мир из одних счастливых. А я еще живой, загадываю с вечера на утро, жду — я согласен на «дурака», тем более что и знать-то по-настоящему нечего.

И все мы торопимся, бежим за счастьем.

И за каждым из нас «тихими стопами» следует неизбежное — наша судьба, чтобы и счастливых и несчастных в свой черед задавить, как муху.

5

Что мы знаем о самих себе, о судьбе, о мире и о судьбах мира? Кроме нашего собственного вдохновения? — огород-то городить всякому позволено. И чем может ответить человек из своего круглого неведения?

— в звездах горят небеса —

Темное, глухое — немые зеркала-глаза, покляпое пахмурое мурло — Тарантул. И это там — за гоголевскими звездами и пушкинской зарей. В его скорпионьих лапах мера: законы природы. И нет для него ни высокого, ни святого, нет никому пощады: одна у всех доля.

«Сидит она, лицо на меня уставила и странно так смотрит, как бы качается. Муха жужжит, солнце закатывается, тишина». И та же тишина на картине Гольбейна: труп измученного человека.

Оно коричневое скорлупчатое — этот пресмыкающийся гад — от головы к хвосту тонеет. Из туловища две лапы. Два усика из головы в виде двух крепких игл, тоже коричневые, два усика на конце хвоста и на конце лап. Оно бегало очень быстро, упираясь лапами и хвостом, и когда бежит, туловище и лапы извивались, как змейки, с необыкновенной быстротой, несмотря на скорлупу — и на это было очень гадко смотреть.

«Зачем и для чего?» Кто мне ответит? А раз человеку не открыто — жизнь идет втемную, я вижу единственный способ остановить эти преследующие шаги — этого скорлупчатого гада, не дожидаясь, когда он укусит, самому оборвать — расплеваться и кончить этот «скверный анекдот».

Если я вижу свой срок, я — со свободной волей — я из одного упрямства предупреждаю хозяев: я — человек — я смею. Слышите, в этом «смею» звучит: «я есмь»!

И еще я подумал: если такой кавардак в жизни, трудно и вообразить, чтобы и там было порядочно. А какое мне дело, что там чего-то не доделали, в чем-то ошиблись и с ошибкой устроили этот живой мир — зажгли эту горькую зеленую звезду, обрекая ее на отчаяние.

Вам, повторяю, вы еще не думаете о сроке — вы живете и дело вашей жизни в открывании жизни, к чему вам «ежик»? — зачем вам «дружество, забвение обид и примирение»? но мне, хотя бы на один миг... Но где ис-

кать или кто принесет мне этого «сжика», который ежик и помирит меня со всей бессмысленностью моего «я есмь».

«Или зажечь мир с четырех концов?»

И слышу голос из подспудных голосов моей взбудораженной мысли: «Я первый и дров принесу, подожгу — и убегу прочь».

Вот так и «посмел»!

«А в самом деле, в которое же время года лучше ловить чижиков?»

Так поспорили однажды старый да малый, и оба ничего не знали, но каждый думал, что что-то знает, и поссорились.

Впрочем, все равно, как погибать...

6

Действующие мысли, не лица — так только и можно говорить о героях Достоевского, это не Анна Каренина.

Самые яркие живые мысли в «Идиоте»: Ипполит — Мышкин. Они всю паутину и распутывает. «Слово» Мышкина на фарфоровом вечере только продолжение «объяснения» Ипполита. Ипполит обмолвился о религии вообще — о Провидении и Вечной жизни, а Мышкин подхватывает его слова и переводит в жизнь — в историю: и уж не вообще религия, а христианская религия.

А где искать в мире христианство? «Католичество — все равно, что вера нехристианская, католичество римское даже хуже самого атеизма». Это убеждение Мышкина «истинного христианина». Да христианства нет нигде и не было никогда. Капитон — Капитон Еропегов не существовал и не существует.

«Да позвольте, как же так не существует: Ерошки Еропегова не было!» — «Ну вот, то Ерошка, то Капитошка!» — «Капитон... подполковник... в отставке... женился на Марье... на Марье Петровне Су... Су... друг и товарищ... Сутуговой... с самого даже юнкерства. Я за него пролил... я заслонил... убит. Капитошки Еропегова не было! Не существовал! Да если так рассуждать, выйдет, что и воскресшего солдата не было, Колпакова не было, и моя серая пристяжная не заговорила?»

Христианство должно быть.

Мышкин верит в русскую душу, в русское сердце, в русскую жажду — в русского Христа. Под сверлящим винтом все его сердце кричит. И никакой историей его не вынудить «атеизму поверить»: он истинный христианин — русский христианин.

7

Три сестры Епанчины — три кобылицы. Старшая Александра музыкантша, бренчит на фортепьянах, пускает рулады, ест и спит, и во сне снятся ей куры — 9 куриц (три-три-три) и кудластый монах: она его видит одного в темной комнате и хочется ей войти и чего-то страшно. (По толкованию генерала Епанчина: «мужа надо»). Средняя Аделаида — рисует травку и деревья, «ландшафты» и никогда ничего не может кончить. И младшая Аглая — с норовом: «девка самовластная, сумасшедшая, избалованная — полюбит, так непременно бранить вслух будет и в глаза издеваться». На нее нужна плеть. Рогожин избил до синяков Настасью Филипповну — обознался, мерил своей меркой, а вот бы кого хватить! А в конце-то концов по Аглае плетка прошлась — какой-то «проповедник» постарался, эти сумеют и без кулаков (наш кулак, как известно, жилистый, узловатый, обросший каким-то рыжим пухом — нет, не годится!) и она к религии обратилась в союзе с «эмигрантским графом, а на самом деле, никаким не графом, а с Фердыщенкой, только с «манерами». Времени верь — все пройдет!»

Есть тайна влечений человека к человеку: почему к одному льнет, а от другого отбрыкивается. В чем эти чары, кто ж его знает! Что общего у Мышкина с Аглаей. Ничего. Совсем другой природы, другой замески. Мышкина зачаровала его противоположность — Аглая. А Настасья Филипповна одной породы с Мышкиным; она ему своя и он ей свой. Но она зачаровала Рогожина — свою противоположность. Страсть к ней Рогожина, как влечение Мышкина к Аглае — лунного к солнцу, кентавра к Астарте. Что из того получается? И получилось: душевная ночь (Мышкин) и кровь: «с пол-ложки столовой на рубашку вытекло».

Одни родятся для земли, другие для неба: у одних белый огонь, у других разожженный уголек в крови. На-

стасья Филипповна — для неба, не земная, серебряная. И когда это сделал с ней Тоцкий, она «удивилась», а потом почувствовала такое отвращение, в пруду утопиться, вот что ей оставалось. Но она не утопилась. И понесла всю вину «продажной», лютой ненавистью ненавидя этого Тоцкого. Это горькое сознание измены и злоба разрисовали ее лицо таким, вопиющим к Богу, страданием.

Ее судьба — судьба Мари, швейцарской девочки, над которой тоже какой-то французский Тоцкий сделал и бросил. Только на Мари другие пальцем тычут: «гадина-паук!» — Мари от своей беды получила только горе, а Настасья Филипповна в батистах прожила жизнь и не другие, сама себя назвала «гадина». А в глазах людей бывалых — «те, что нынче в долговом отделении присутствуют» — нет разницы: Арманс, Каролия, княгиня Пацкая, Настасья Филипповна — «объедки».

«Бесноватая», ее судьба — судьба бесноватой Соломонии. Огонь вошел в нее и она готова в воду — «все равно пропадать!» — а бежит чутьем к Мышкину от Рогожина, который для нее страшнее воды. Да Мышкин, хоть и юродивый — «таких как ты Бог любит» — «человек» — светло и невинно, «пастушески» смотрит на жизнь, да не юрод Пречистыя Девы Марии, он родился таким, но подвига отречения от даров Божьих не прошел, он не Прокопий, не Иоанн, устюжские чудотворцы, он чудеса не творит и демонский пожар не погасит. И это не «сто тысяч» пылают в камине, а горит душа человеческая.

Бесноватая Анастасия — сестра бесноватой Соломонии.

А ведь только бесноватая «небесная», серебряная, могла сказать земному такие неподъемные слова о любви: «Вы одни можете любить без эгоизма, вы одни можете любить не для себя самой, а для того, кого вы любите».

Закутанная американской клеенкой, лица не видно, только из-под простыни заячья нога, но в окне я вижу ее знакомый мне образ: июльская луна — зеленая Истар — Соломония.

Любить! Что значит: «я люблю»?

«А вот встанешь ты с места, пройдешь мимо, а я на тебя гляжу и за тобой слежу: прошуршит твое платье, а у меня сердце падает, а выйдешь из комнаты, а я о каждом твоем словечке вспоминаю и каким голосом и что сказала» (Рогожин). И еще прибавлю от себя: и никогда-то ей всего не расскажешь.

Только кровь раскует чары. Другого исхода для страсти нет. Тут бы, во Франции, Рогожину самому кровь пустили, а в России, закованный в железа, «несчастный» — в Сибирь на каторгу. И никогда-то не вспомянет, а если и вспомнит, то не иначе: «пострадал из-за паскуды»!

Нина Александровна Иволгина — «терпеливая душа», это женская доля. Женщина рано стареет и ее память переходит в «чистую» любовь и от «изменщика» все она покорно терпит. А вон капитанша Марья Борисовна Терентьева, «вдова, мать семейства, и извлекает из своего сердца те струны, которые отзываются во всем моем существе». Общих правил нигде нет, а сочиняют их для успокоения, а то еще, чего доброго, и разорвет.

Генерал Иволгин — тот Иволгин, у которого 13 пуль, пьяница и вор, но с вдохновением — Фальстаф и мифотворец. «Теперь он даже совсем не посещает свою капитаншу, хотя втайне и рвется к ней и даже иногда стонет по ней, особенно каждое утро, вставая и надевая сапоги, не знаю уж почему в это именно время».

Старший сын генерала, Гаврила Иволгин — ненавистная Достоевскому «ординарность»: вся его ненависть упала на голову этой середки человечества, всезнающей, завистливой и трусливой, «трус тот, кто боится и бежит, а кто боится и не бежит, тот не трус»; этот — первоязрядный трус.

Евгений Павлович Радомский тоже не блещет «оригинальностью», но он у Достоевского на правах «резонера», как младший Иволгин, Коля, на правах «хора» («хор» по-русски «шайка»): он встревается, осаживая или одобряя.

О Птицыне что сказать: кажется, он ничего и не говорит, нет, он спрашивает о завещании Ипполита: подставной это или собственный его скелет в Медицинскую Академию? — «а то ведь можно ошибиться, говорят, уже был такой случай». О Птицыне известно со слов Ипполита и Иволгина сына, что Птицын ростовщик, а ростовщику разглагольствовать не полагается.

Келлер — «гвоздь». Весь он как живой при самочинном, не полицейском, а дружественном обыске по подозрению в краже.

«Мы решили обыскать Келлера, лежавшего как почти подобно гвоздю. Обыскали совершенно: в карманах ни одного сантима, и даже ни одного кармана дырявого не нашлось. Носовой платок синий, клетчатый, бумажный в состоянии неприличном. Любовная записка одна, от какой-то горничной, с требованием денег и угрозами. Для дальнейших сведений мы его самого разбудили, насилу дотолкались; едва понял, в чем дело; разинул рот, вид пьяный, выражение лица нелепое и невинное, даже глупое — не он».

И еще о Келлере: пример детской доверчивости и необычайной «правдивости».

«До того было потерял всякий признак нравственности, — признается Келлер, — единственно от безверия во Всевышнего, что даже воровал. Можете это представить! Вам, единственно вам одному, и единственно для того, чтобы помочь своему развитию. Больше некому: умру и под саваном унесу мою тайну. Но если бы вы только знали, как трудно в наш век достать денег! Где же их взять? Один ответ: "неси золото и брильянты, под них и дадим!" Именно то, чего у меня нет. Я, наконец, рассердился, Постоял-постоял. "А под изумруды, говорю, дадите?" — "И под изумруды, говорит, дам". — "Ну и отлично", говорю. Надел шляпу и вышел. Черт с вами, подлецы вы этакие! Ей-Богу».

И наконец, сам Лебедев, крючок и строка. Лебедев такая же заветная мысль Достоевского, как Ипполит и Мышкин, изворот ума — «ум главный (головной) и ум неглавный (сердечный)» — главного ума и образец «двойной мысли», необычайно подвижной, быстрый и разнообразный — деятельный до самозабвения ловец: за милую душу продаст и не по злобе, а из любопытства к игре «дела».

Да еще сестра Иволгина Варя за Птицыным, видишь ее только тогда — в «плевке» — когда она в лицо брату плюнула. И мать кобылиц Лизавета Прокофьевна — женщина бусурная и стыльная, вот никогда бы не хотел в такие лапы попасть да и вам не желаю. Отец же, генерал Епанчин — «человек общеизвестный».

Из второстепенных: Сережа Протушин (ароматная фамилия): у него Рогожин двадцать рублей достал по «матушкину благословению». Залежев «ходил, как приказчик от парикмахера и лорнет в глазу». Чебаров — «может быть и действительно большой мошенник». Студент Подкумов и чиновник Швабрин, освобожденные старичком сенатором от ссылки. Катя и Паша — горничные Настасьи Филипповны, изумление и страх. Бывший редактор забулдыжной обличительной газеты — заложил и пропил свои вставные зубы.

Обыкновенно писатели начинают со стихов — похвальное занятие для будущей прозы: и глазу и слуху навычка. А Достоевский стихов не писал: он выступил прозой — зазыв на юмористический журнал «Ералаш» (1845). У Достоевского был необычайный зуд на юмористику — сцены с Лебедевым да и сам Лебедев фантастическая юмористика. Да иначе как же? — без этого смеха просто захлебнуться можно и от своего горя и от всяких горестей. Правда, смех Достоевского не из веселых — это как игра медвежат: цапнет понарошку, а смотришь, под коготками кровь, а у тебя рыло разодрано — липнет кровь. Легкого смеха, что подымается от веселости духа, не ждите: Достоевский родился с тяжелыми мыслями.

Высмеивая «обличителей», Достоевский сам был прирожденный обличитель — Ипполит-Мышкин обличают человека и выражаясь словами Келлера, Всевышнего. Но ему этого мало: в своей нереальной реальности он ухитрился зацепить из «живой жизни» и продернул злободневное.

Время действия в «Идиоте» легко определить по обличительным серым растянутым страницам — годы 1864—1866: введение гласного судопроизводства — всю эту судебную комедию он и высмеивает.

Действие дневное и ночное пронизано сновидением: сны Ипполита и сны Мышкина. Сны той же невероятной природы и потому так слиты с невероятной природой Достоевского. И можно представить, и тут ничего не будет странного, что в действительности — на самом деле — не было никакого вечера у Епанчиных и ника-

кой китайской вазы Мышкин не разбивал, и свадьбы Мышкина не было и не было убийства Настасьи Филипповны, а все это только снится Мышкину. Можно точно показать, с которого места начинается сон, ведь все уже наперед было сказано, подготовлено, хотя бы о том, что Рогожин зарежет — с первых же страниц. И в сне Мышкина нового неожиданного ничего, только сонная обстановка с шепотом и луной.

«Он пошел по дороге, огибающей парк, к своей даче. Сердце его стучало, мысли путались, и все кругом него как бы походило на сон. И вдруг, так же как и давеча, когда он оба раза проснулся на одном и том же видении, то же видение опять предстало ему. Та же женщина вышла из парка и стала перед ним, точно ждала его тут. Он вздрогнул и остановился; она схватила его руку и крепко сжала ее. "Нет, это не видение!"

И вот, наконец, она стояла перед ним лицом к лицу, в первый раз после их разлуки, она что-то говорила ему, но он молча смотрел на нее; сердце его переполнилось и заныло от боли. О, никогда потом не мог он забыть эту встречу с ней и вспоминал всегда с одинаковой болью. Она опустилась перед ним на колена, тут же на улице, как исступленная; он отступил в испуге, а она ловила его руку, чтобы целовать ее, и точно так же, как и давеча в его сне, слезы блистали теперь на ее длинных ресницах... "Ты счастлив? Счастлив? — спрашивала она, — мне только одно слово скажи, счастлив ты теперь? Сегодня, сейчас?!" Она не подымалась, она не слушала его; она спрашивала спеша и спешила говорить, как будто за ней была погоня... "Нет, нет, нет!!" — воскликнул он с беспредельной скорбью. "Еще бы сказал: да!!" — Злобно рассмеялся Рогожин и пошел не оглядываясь».

Тут и конец.

А вот мне Коля и ежика несет. Ну давайте, откроем скорее клетку — мой ежик, моя надежда, моя мечта, мое очарование, моя любовь!

Я знаю, ты оттуда, ты из первожизни всякой жизни, ты, озаривший мою рассеченную душу. В самом деле, не землей же мир Божий сошелся, и на нашу в чем-то согрешившую землю и тарантул-то пущен только для порядку.

«Слушайте! Я знаю, что говорить нехорошо; лучше просто пример, лучше просто начать... я уже начал... и — неужели в самом деле можно быть несчастным? О, что такое мое горе и моя беда, если я в силах быть счастливым? Знаете, я не понимаю, как можно проходить мимо дерева и не быть счастливым, что видишь его? Говорить с человеком и не быть счастливым, что любишь его! О, я только не умею высказать... а сколько вещей на каждом шагу, которые даже самый потерявшийся человек находит прекрасными? Посмотрите на ребенка, посмотрите на Божью зарю, посмотрите на травку, как она растет, посмотрите в глаза, которые на вас смотрят и вас любят».





Эта книга под глазом *Даниила Георгиевича Резникова* отпечатана в количестве 300 экземпляров на бумаге *Offset «Pacific»* в типографии *Société d'Editions Typographiques*, 18, Rue du Faubourg du Temple в Париже в июне месяце 1954 года. Набирали: *Николай Степанович Шерстобоев* и *Василий Николаевич Статкевич*; верстали: *Марк Александрович Бисноватый* и *Люи Руврэ*; корректировали: полковник Генерального Штаба *Арсений Александрович Зайцов* († 1 апреля 1954 года), грамматик дидаскал *Александр Самсонович Гингер* и справщик *Александр Григорьевич Савченко*. Цензуровано в Верховном Совете Обезвелволпал (Обезьяньей Великой и Вольной Палаты) *Игемон Деспот Виктор Николаевич Емельянов*.

Мартын Задека

СОННИК

Ни Скотт, ни Байрон, ни Сенека,
Ни даже Дамских Мод журнал
Так никого не занимал:
То был, друзья, Мартын Задека,
Глава халдейских мудрецов,
Гадатель, толкователь снов.

«Евгений Онегин».

ПОЛОДНИ НОЧИ

Was von Menschen nicht gewusst
Oder nicht bedacht,
Durch das Labyrinth der Brust
Wandelt in der Nacht.

Goethe. An den Mond.

«Полодни» говорят, когда весной с оттаявшей земли подымается густой теплый пар — земля дышит. А «полодни ночи» сны — дыхание ночи.

1

Как помню себя, всегда мне снились сны. И не постучи в мое окно или звонок, я перестал бы различать что сутолочная явь, что жаркие видения — моя тонь ночи. Ночь без сновидения для меня, как «пропащий» день.

После необходимых пробуждений в день, я в «жизни» только брожу — полусонный: в памяти всегда клочки сна — бахрома на моей дневной одежде.

Завидная богатая доля — мой мир, какая большая реальность! — но за то и жестоко отмщается в жизни. Хотя сама явь не так уж ясна и математична, как это принято заключать с трезвого недалекого глаза, подумайте, одна «случайность» чего стоит! — а в сновидениях, под знаком как раз этой «случайности» не одна чепуха и несообразность.

Сон — это как разговор с «тронувшимся» человеком: слушаешь и все как будто по-человечески, но где-нибудь непременно, жди сорвется, какое-нибудь не туда без основания «потому что» или определение уже очень неожиданное — будет рассказывать о говядине и вдруг говядина окажется не мясная, а «планетное мясо».

Все-таки приходится жить, как же иначе: и сон и явь крепко связаны и друг другом проницаемы. Зря только хорохориться, носиться с какими-то непреложными «законами природы»: жизнь ведь можно было бы подвести совсем под другие законы, взглянув на нее из сновидений, а не из лаборатории. Но и жить с одними сновидениями один пропад — каша и неразбериха, по себе знаю.

Часы у меня с одной стрелкой, большая отскочила и всегда спешат, я живу приблизительно, отчетливо не разли-

чая дня — вещей и происшествий. Но что я заметил: когда я обрежу себе палец, чиня карандаш или разрезая книгу или чистя картошку, кровь меня сейчас же отрезвит. Вот я и подумал: кровь и есть явь и никакой яви без крови.

Еще приводит меня к жизни холод, но это тоже связано с кровью. А без еды я могу оставаться неделями, не спохвачусь — что такое голод я не знаю, и только жажда.

И когда у меня есть кофе и папиросы, как-то само собой все идет — продолжается в кровавой яви вчерашнее призрачное сновидение,

И кажется, тут бы и должен начаться интересный рассказ со всякими вывертами и превращениями и со всем комическим смехом над воображаемой уверенностью «правильный человек» — судии «меры и числа», души вещей живых и мертвых. А на поверку, мне и рассказать-то особенно нечего. Не от беспамятности — теперь я могу судить себя, памяти у меня на все хватает и на дневное и на ночное, нет, моя бедность по моей природе: душа у меня — не глубоко черпаю и вижу не далеко.

Или природа человека, весь его состав окостенел даже сравнительно со временем Шекспира и Эразма, огрубело восприятие другого мира и только что под носом да на ощупь. Или самостоятельно, на свой страх, будь ты хоть бездонным, а мало чего достигнешь. А для успеха непременно надо лестницу, — «матерьял», как у Новалиса и у Нерваля, какую-то каббалистически-оккультную подпорку. Или эпилепсию Достоевского, алкоголь Эдгара По и Э. Т. А. Гофмана. Вообще какой-то вывих, «порок», чтобы треснула кожа и воспламенилась кровь, а если переводить на речь, — чтобы отчетливо зазвучал первозвук слова.

А я прежде всего «нормальный» — здоровая кровь, крепкое сердце и легкие для певца — мне как-то даже неловко, перед теми «отмеченными», с рассеченной глубоко душой, кого люблю и чту. И в каббале и в оккультизме я ничего.

2

Каждую ночь я вижу сны, и поутру запишу. В течение нескольких лет вел графический дневник: рисовал сон, а вокруг события дня.

В книгах «По карнизам» и в «Взвихренная Русь» я сделал опыт: дать переплеск сна в явь — происшествия ночи и непосредственно события дня.

Кто видит сны, не может не обратить внимания и безразлично пройти мимо своих ночей, но обыкновенно вспоминается и рассказывают один сон, ну два, не больше.

Или бывает так: перед каким-то событием приснился сон, содержание испарилось и только остается на всю жизнь: что-то особенное снилось, но не могу вспомнить.

Так случилось с С. Т. Аксаковым, в его воспоминаниях есть про сон роковой, бесследно канувший.

Сны очень коротки — или память на сны коротка? Но бывают сны «высокого дыхания» — если записывать, хватит на несколько страниц: одно за другим, точно разобранный день; бывают такие дни, начнется с утра и пойдет, все что-то совершается, и так до ночи.

И как бы ни был сон несообразен, а чем неоправданнее, тем из снов он «соннее», мера дневного сознания держит его крепко: в самом сне можно ведь сказать: «это мне снится».

В литературных снах — сны в рассказах — всегда любопытно, где «сорвется» дневное (реальное) сна. В этом срыве все искусство. Большим искусством в описании снов владел Л. Н. Толстой, наблюдавший в жизни что самому снилось, и подметивший закон «беззакония» сна.

То же большое искусство у Достоевского, Тургенева, Лескова, Пушкина, Гоголя, Лермонтова.

Есть сны и у Горького, хорошие, как приближения к сонной душе, только «калибром поменьше».

Сонного дара лишен был до жалости Гончаров, назвавший лучшую главу «Обломова» сном Обломова, и Короленко со своим «Сном Макара», и, как это ни странно, Чехов, написавший «Черного монаха».

3

Во сне разрушаются дневные формы сознания или надтрескиваются, и сон как бы завязает в привычных формах яви: на 2×2 отвечаешь с большим раздумьем и неуверенно — «кажется, говоришь, 5». Но пространство со своей геометрией и тригонометрией летит к черту, — такое в горячем сне, из которого сна пробуждение, как от

толчка, и скачет пульс. В будничном сне все остается на месте, как в жизни: «снилось мне вяжу чулок...» (из снов нашей ягиной консьержки).

И нет ни прошедшего, ни будущего — время крутится волчком: на вчерашнее, которое представляется настоящим наваливается, как настоящее же, и то, чего еще нет и не было, а только будет — ни впереди, ни позади.

Действие во сне не «почему» — то, а «здорово-живешь» и «ни-с-того, ни-с-сего». Закон «причинности» в жизни бьет в глаза — все что делается, все из «потому что», но ведь и в жизни разве все объяснимо? А в снах полная неразбериха.

Действие во сне можно представить, как ряды нагромождений вверх. И никакого, в принятом значении, смысла. Подлинный сон всегда ерунда, бессмыслица, бестолочь; перекувырк и безобразие.

«Кто ничего не делает, того нельзя осудить ни за что». А на поверку-то выходит не то: судят, да еще и как — приговаривали к высшей мере наказания.

«Тот, кто молчит, не может проговориться». — А вот поди и разболтался и всех головой выдал.

«Бас не пропищит дискантом!» — Слышите, пищит, невероятно, а ведь как отчетливо.

И все это неправда и о бездельнике и молчальнике и о пискливом басе, все это только из сонного «безобразия» — из правды сновидений.

Сон — образчик всякого преступления. Преступление — душа всех действий сновидения. И безнаказно. Но преступление ведь это мечта жизни, в непреклонной, запутанной законом, яви, в царстве кары.

Макбетовское «убить сон» — последнее и окончательное слово смерти.

4

Связан ли сон только с жизнью или жизнь только схватывает сновидение, окрашивая или подмешивая в свой алый цвет и втискивая в свою форму. И «сниться» значит «быть». А будет «быть» и «видеть сны» одно. Тогда могу сказать, что человек, выходя из жизни, входит в чистый сон или так: сон продолжается и после смерти, но без пробуждений.

А снится каждому сообразно с его представлением о загробной жизни, пока не исчерпается все содержание веры и тогда душа человека искрой летит в океан. А кто никак не связан с «небом», продолжает «штопать чулки» или раскладывать слова, вообще заниматься делом своей жизни.

Продолжающееся бытие мертвых открывается в снах у живых. В сновидении единственное общение «этой» жизни с «той» жизнью. Только так мертвые и могут входить в жизнь живых и, возможно, что и живые могут что-то изменить в судьбе мертвых.

5

В снах есть форма и цвет, и звук, и запах — «повеяло морем». Цвет зеленый, красный, голубой, серебряно-снежный, но, я не знаю, мне не приходилось видеть во сне солнце.

Во сне всегда лунная ночь — Астарта, цвет мертвых. Из звуков — оклик, разговор, песня, музыка. А форма — от дня привычной и до чудовищной — все, что можно вообразить себе из нарушающего линейные представления. А бывает такое: опрокинуто и летит, — никакому воображению не поддается. Или надо сделать как-то так: прорвать бумагу и вывести рисунок не на другую страницу, а на палочках вверх — мудрено.

6

Если только через сон я чувствую связь с миром мертвых, то что и говорить о связи с миром живых.

О себе и о другом узнаешь из сна такое, о чем и не подозревал. И никакой разговор, никакое присматривание и вглядывание не откроют того, что так и просто обнаружит сон.

Во сне нет дневной условности и ничего не застит, и самому себя стесняться нечего, — душа нараспашку, а другой, как на ладони, во весь рост и телешом.

О своей пражизни только и узнаешь, что из сна, тоже не так отчетливо и подробно и о других; и о будущем своем, тоже и о других.

7

Сон вернейший проводник мысли, только были б открыты двери, не загромождены вещами жизни.

Сны бывают вялые — безразличные, и жаркие: по жарким путям передается мысль. Конечно, надо, чтобы и другой — к кому направлена мысль — подхватил ее.

Бессонному — как стене горох.

Кто-то крепко подумал и написал мне письмо, а мне снится он, незнакомый. На утро я получаю письмо — это письмо от него: стало быть, его мысль проникла ко мне.

Незаполненного пространства нет, но пути забиты дневной необходимостью. Связь порвана или, вернее, завалена.

Конечно, зачем сны, когда и самые поддонные мысли можно передать через радио, но в другой мир — туда только один путь и иного нет: сновидение.

8

Во сне открывается завтрашний день.

Вот пример из будничной жизни: вижу во сне каких-то неизвестных мне детей, помню двух девочек-близнецов. «Чудно, думаю, приснится и к чему?» — мой первый вопрос по пробуждении. И забыл, неважно. И что же вы думаете, еду в метро и вижу, входит в вагон: мать и две девочки — ну как во сне.

Но в этот день ничего не случилось, стало быть, мой сон — ни к чему, а просто во сне прошло передо мной дневное завтра.

Мне случалось видеть во сне целые сцены из будущего и с подробностями и совсем не по пустякам.

Что же получается? Или все уже готово до моего последнего дня на земле с живыми людьми; и мое «хочу» и «не хочу» только самообман. Я и не захочу-то потому только, что я не властен «захотеть» и всякие мои предосторожности и расчеты только игра: тешиться самовольем. И это дано, но судьба (предначертанное), возьмет свое. И самые верные предсказания не из рассуждений, а из сновидений, только бы... только б приснилось!

Так было в древних Оракулах, где были собраны только сновидцы.

Но много ль на земле сновидцев! Я думаю больше, чем думается. И что ж из того. В наше время предсказывают погоду — на предсказания мало кто обращает внимание. А о событиях человеческой жизни нигде не печатается. У Мартына Задеки есть общие: война, бедствия. Но мое — я могу только из себя или от тех, с кем связан — с кем проницаем. И не по глазу, а только из сна: сна о себе и сна обо мне.

Но о достоверности нечего говорить: прежде всего я сам себе не верю, а другому подавно.

9

В снах много игры в словах. Вот пример: я вижу Барановскую; она стоит передо мной, как сделанная из костей и косточек. И я начинаю думать во сне, как думается в жизни: что же ее держит и как она не распадется? — И вдруг понимаю и хочу высказать свою мысль, но в миг моего ответа — возникает другой, кем-то заготовленный ответ: мне приносят связку баранок, а в окно я вижу: гонят стадо баранов и под моим окном баран и, сквозь курдюк, мне ясно видно: цинковая стойка, рюмки — «да это бар» говорю. «Баран-овская», — выстукивает музыка: бар с музыкой.

10

Есть сны календарные: предсказывают погоду. О ясной погоде я ничего не скажу, но о дожде и снеге это мне открыто. Смешно сказать: всякий раз мне снится наш ученый испанист и критик-философ К. В. Мочульский. И мне не надо обзаводиться никакими мозолями и никакой ломотой — без них, как по барометру скажу: по Мочульскому — дождь.

11

Можно ли установить символику снов? — или, что то же, составить «сонник для всех».

Символика передается по традиции — прививается с детства, значит, все-таки, что-то можно установить и руководствоваться?

Можно, конечно, но не наверно: символика снов не постоянна. Как скорость света колеблется в зависимости от времени, меняясь в каждый час дня, так и символы меняются по человеку и его душевному состоянию.

Классическое «гуано» по всем сонникам верные «деньги». По-русски это понятно: слово «гуано» санскритское, означает «добро», как имущество. А ведь случается и так: снится, ногой попал в кучу или мазнешься, а на утро не только никаких денег, а счет тебе подают, газовый или электрический, изволь платить. Вот тебе и «гуано»!

Тоже и с деньгами: деньги — серебро — слезы и, кажется, кроме неприятности ничего не жду, а хвать — чек на 1000 фр. Вот тебе и раз!

На Сонниках и даже на «восточных» далеко не уедешь.

12

Есть сны сухие и есть клейкие. Сухие исчезают при первом оклике, даже при первой мысли о пробуждении. А «клейкие», они как всадились и крепко, по крайней мере до вечера, никакая сутолока их не развеет. И под ними ходит человек, тычется или весь день горит в тоске.

13

Самое тягостное в снах: возвращение из прошлого: события и лица — казалось бы из позабытого навсегда.

Иди ничего-то не погибает — и прошедшее живет в настоящем какими-то наслоениями, не отмирая? Какой груз несет моя душа!

14

У писателей сны принимают литературную форму, привычка-ремесло: интересно как у музыкантов? Но что удивительно, у людей, ничего общего со словом, вдруг снится — и часто единственный и на всю жизнь памятный сон — полной поэзии. А ведь это все равно, как камни, которым открыты только глаза, немые камни вдруг бы да запели!

Или «поэзия» и есть самая сердцевина нашей загадочной жизни — душа бесконечного мира.

15

Есть способ наловчиться припоминать сны, только это совсем не так, как вспоминаешь прошедшее в жизни.

Вот что говорит наш легендарный Мартын Задека:

«По пробуждении от сна напрягается ближе к макушке, откуда и надо зацепить, и тащи, не обращая внимания».

Попробую.

Сколь счастлив сочинитель, послушный моим внушениям, он не станет корпеть по ночам, он записывает все, что ему взбредет на ум, хотя бы даже собственные свои сны, тратя лишь свою бумагу, зная заранее, что чем больше будет вздорной чепухи в его писаниях, тем вернее угодит он большинству, т. е. всем дуракам и невеждам.

Эразм Роттердамский (1469—1536)
«Похвальное слово глупости» (1508—1509)

ИВИЦА

Она и одета как-то странно: кукла. Такие куклы я видел в музее. Свой странный наряд: длинную ивовую палку, ожерелье и камнями продетые опуты повесила она в сенях на гвоздике. Мы ее давно не видели и только слухом было странные истории, смеялись: «ведьма». И как это трудно разговориться после стольких лет. Но едва я проговорил: где за эти годы пропадала и что поделывала? — она смущенно поднялась и прощается. Мы смотрим долгими глазами — до белых глаз.

Наш дом среди поля. Прямо на земле, без фундамента, и нет ступенек. Много собралось гостей. Не всех узнаю. И только что хочу расспросить о тех... все куда-то ехать собрались. Прощаются. И один за другим — саней полон двор — в сани садятся. Колокольчики позванивают.

Выхожу и я. В сенях на гвоздике странный кукольный наряд: забыла! И мне чего-то беспокойно, что забыла. Прохожу во двор. А в санях полно, и куда приткнуться, нет свободных, сани за санями отъезжают со двора. «Подсадил бы кто!» я кличу. Нет ответа. Черной лентой сани кружат поворот.

Ночь. По дороге снег. Луна.

В черную дверь я вернулся. Опустелый дом. Воет ветер. Знаю, только я останусь и не уйти мне. И из лунной дыми белыми глазами: «не уйдешь». И в слепой тоске я прохожу в сени. Снял я с гвоздика ивовую палку. И с палкой во двор. И стою.

Ночь. По дороге снег. Луна.

Я поставлю палку в снег — закручу и мчусь. И крутя, я мчусь. И я мчусь за ветром, шибче ветра и быстрей луны.

Черные по белому сани бегут — сани за санями — колокольчики позванивают.

На последних санях вижу: она закутала платком себе плечи — снег по серой печали припорошил серебром. И белые в серебре кусты. И я обгоняю поезд. Остановил-

ся. Моя ивовая палка — луч в луну. А сани там — далеко впереди и только черный след в глазах.

Мчится лунный свет и я в луне, я сам как лунь, где снег, где я, и зеленый колокольный — беспощадный — мерный — безответно — безнадежно мчится белая дорога — путь.

Без дороги мчусь я: то обгоню, то отстану. И в отчаянном последнем взвиве моя ивовая палка пополам.

И крутя луной, кружу — ветер — я — луна.

МЕДВЕДИЦА

Все в гору и выше. За плечами тяжелый мешок. Будет ли мне когда отдых? На пути стала ель. И я остановился. И до меня доносит: кричит зверина. Я наклонился: а под обрывом, на самом дне, вижу плоский серый камень, и кувыркаются и пляшут на камне медвежата. И тут в игре их вдруг — и медвежата, их в серый комок закрутило. И все затаилось.

И я о тебе вспомнил.

От кишащего серого камня отделяется... или на дыбы стал камень? Но это был не камень, а серая медведица. Голубые глаза переливались в сталь и елочную зелень. Резко посмотрела она на меня и под ее взблеснувшей сталью стою скован.

И опять я о тебе вспомнил: люблю тебя — до черной тоски.

И напрягши до белой *жа*ри огонь моих непокорных глаз, я зеленой пригоршней кинул огонь в ее пучинную ледяную глубь. И я видел: крутя головой, она вскидывает лапы и — в глаза, по глазам себе, очень больно. И, вытянув перед собой лапы, пошла.

Я и зеленая ель, не отличишь, но и слепая она меня видит и идет, ловя. Она меня увидит, не ошибется. И стало между нами так тесно, разве что муравью перебежать. И не лед — теплом в меня дышит. И серая пуховая мякоть кутает меня — мои ноги, мои руки, мою грудь и плечи.

«Я беспощадная роковая сила!» беспощадно прозвучало мне в сердце.

И под неуклонно-пронизывающей синью глаза мои закрылись.

И я увидел: не лапы, а тянутся ко мне, в венок сплетаясь, весенние ветви — твои алые руки. И легким веем, но я различаю, в горячих губах горький стон.

КОШКА

Ловили кошку. И поймали. Поставили на стол, как ставят цветы. Кошка постояла немного, съела цветы и ушла.

СПУТНИК

Наконец-то меня приговорили. И это будет не гильотина, не виселица и не расстрел, а мне самому себе найти казнь.

С каким тупоумием шел я по трамвайным рельсам, высматриваю, где бы половчей попасть под трамвай. Я был уверен, едва ли кому в голову придет, нашелся такой дурак бросаться под трамвай. Не ночь, а улицы вымерли, никого и никаких трамваев. И не находя другого выхода, время не ждет, я подымаюсь по стеклянным площадкам, не то это дворец, не то больница. И поднялся к самым трубам. Подо мной, я отчетливо вижу, и трамваи и автобусы и автомобили, и народу — одни обгоняют, другие топчутся на месте, и все в маленьком виде, а видно. «А как же мне спускаться?» подумал я, и во сне я понимаю, высоты и провалы не по мне, готов как угодно, стану на четвереньки и ползком. И от одной мысли: «надо спускаться», я полетел вниз. И шваркнулся в черный сырой погреб.

В руках у меня электрическая лампочка, длинный провод. Все ниже по каменным ступенькам, освещаю себе под ноги, и выступы. В погребе спрятана лампа и никому не дается, а я должен найти эту Аладинову лампу, воспламенить ее оцепеневшую силу, и талисман откроет передо мной все дороги. И последнюю на — казнь. И я вспоминаю: эту лампу какой-то марид похитил у меня, а меня бросил в змеиный ров на медленное жало, и это случилось, когда я жил на Мадагаскаре.

И я вдруг очнулся: стою на площади у лотка: разложены на лотке красные парные куски, мадагаскарская говядина. Я выбрал себе почки, любимое кушанье лю-

доедов. Но тут чьи-то руки, лица не вижу, под носом у меня расхватали весь мясной лоток. И я отхожу ни с чем. Ледяная мысль спускается до сердца: мысль о моей безвыходности.

Place Denfert Rochereau, Бельфорский лев. Или как сказалось во мне: Бельведерский и не один, вижу, два льва. И как буду между львов, один, подстриженный, куксился, а другой, косматый, подает мне лапу, и умильным голосом, как лапой по ушам, меня погладил.

«Послушай, спутник!» сказал лев...

И я задумался: «спутник» от слова «путать»? И очутился в саду.

А какой это был сад — какой это садовник придумал. И мне страшно захотелось пить. А передо мной колодец, стоит только повернуть колесо. И я верчу. Но с поднявшейся водой вспыхивает огонь. И я видел, как вода заливает огонь, а огонь слизнул воду.

Я верчу колесо: льется вода: вода и огонь. И злая мысль ползет мне в сердце:

«Ты покинула меня».

ВЕЛИКАН

Бег его так быстр, подогнуты колена, квадратом шея, трубою хвост, а голова — мышь: конь бежит, мышь бегает. Наскочил конь на быка. А бык не простой — рогом — серпами под небеса, сзади насиженная желтая клеенка, квелые ноги.

Я протянул было руку к засиженному хвосту погладить, но бык и конь сцепились. Белая и желтая ромашка запорошила поле. От быка клочья, но рога конь не сшиб: торчат.

Крутя квадратом бежал белый конь, мышь впереди бежит — светляки, мигая, ей светят путь.

«Очередь за мной!»

Я приготовился на съедение коню, а попал на болото.

Золотые клочья по ватному парчовому одеялу. Бескрылые черные птицы бледной тоской черничек. И два серебряные серпа маятником по осеннему небу. Прислушиваюсь: вот закукует кукушка — моя, часы с кукушкой.

И одна из птиц, клювом говорит, показывая на руки:

«Вылови лягушек, выполи водоросль, проберись через осоку, тогда пробьет твой час».

«А сколько часов?»

«8 — 4 — 2...»

«Сущность вещей число!» и повторяя «8 — 4 — 2», вхожу в озеро и, сквозь тину, иду.

Грозя зеленой дубинкой, навстречу великан.

«Быка я не тронул, конь меня не съел, но теперь мне конец».

Великан высоко поднял руки и, ухватя серпы, уходит в землю. Ни рук, ни ног, одна голова из земли. А над головой маятником серпы, как и раньше, два рога.

И кукует кукушка.

И считаю: 12.

И из озера выходят: их семеро, суровые, и сухи, крепки и белы — рыбья кость. Костяными тисками они окружили великана — его голову.

«Тебе за это вычтут там, из вечности».

И услышав себе приговор, вся моя память запылала. Пепельные мыши светляками взблеснули в глазах.

«Ты в душу мою вошла и я похороню тебя вместе с собой!»

И голова великана ушла под землю.

БЕСКРЫЛЫЙ

Палкой в спину — и тащусь домой. По-заячьи не прыгнешь. Но мысль не выбить никакой палкой. Заботы и тревога, встречи и слова ни к чему. Хочу все знать, а как люблю тебя, я знаю. Но почему ж такой сумрак?

«Земли под твоими ногами мало», ш*и*пом он из стены отвечает: я его не вижу, а он меня слышит.

Я обернулся. За моими плечами стена. И чувствую как подымает, и это не стена, не серое, а синее небо в глазах.

«С крыльями земли не надо, говорит он глазами: глаза его звезды, посмотри!»

Я нагнулся.

И вся-то земля подо мной.

Так вот в чем дело: вера — крылья, а между нами нет веры и вот почему сумраком задавлена моя бескрылая любовь.

ЗЕЛЕНАЯ ЗАРЯ

Он живет между одеялами: голубым и алым. На мне еще сверх голубого: вишневое — на него все любуются и брусничное — в мои тревожные ночи на нем точила свои белые острые зубки усатая мышь.

Голубое и алое, знаю, с вами я никогда не замерзну. Потому он и выбрал себе это самое теплое местечко.

И все-таки, это он гнет мою спину, выговаривая, что я замерзну. И случится это так просто и незаметно, как осенний Чайковский вечер переунывывает в ночь — и в ту последнюю ночь во мне все зазвучит — мой последний человеческий взлет.

Но я не хочу и не верю, что так будет и не может не быть. И во мне подымается весь мой упор. И сам подымаюсь.

Ни голубого, ни вишен, ни мышки и только белое, и на белом одно алое. И из алого торчат заячьи уши.

Я нагнулся над зайцем.

А это оказался вовсе не заяц, а заячьими ушами горят глаза: зеленоватый свет разгорается.

Он ничего не говорил, ни о чем меня не спрашивал — он только смотрит. И его зеленое волной катилось из, зеленью налитых, сияющих глаз.

И я поднимаю руку, обороняясь — моя глазатая рука глубоко дышит.

Все подсердечные тайники моей души освещены.

И он читает:

«Без тебя и дня не могу прожить».

Зеленые волны паутинными нитями вились и, завиваясь, кружили — плывут. И прямо в глаза мне не осенние паутинки, а ежиные иглы вливают свои студеные жала. Отравленный болью, вдруг я чувствую неизбежное — мой конец — и все во мне поет.

И в глазах не белое, не алое — моя не алая зеленая заря.

НА ЛУНУ

Квартира в пять комнат. Две заперты — «мебели не хватило». Другие две, не меньше концертного зала «Лютеции», обои розовые, местами, от сырости, оторвались,

висят серые куски. И третья, одна только и запирается, и к ней длинный коридор, уставлен буфетами.

Вхожу без стуку.

«Зачем, говорю, вам пять комнат?»

«Когда большая квартира, виновато отвечает Блок, из кухни ничего не слышно».

«Да мне хоть бы десять, только ни к чему».

Комната больше тех двух розовых: на одном конце говоришь, на другом не слышно. Синие обои, лепные украшения на потолке: птицы, гады, травы. В полстены буфет: с одного конца цельный, с другого двухъярусный, набит книгами и птичьим пером.

«Неразрезанные, показывает на книги Блок, а это рояль, безпримесный, абсолютный звук».

Рояль пепельно-зеленый, привинчен к стене, ножками не касается пола.

«А как же играть?»

«Лунными руками».

И появляется весь в белом, синие глаза, похож на Блока, но губы тонко сжаты. Сел за рояль и не сводя с меня глаз, будто читая с моего лица ноты, начал играть, пальцы розовые.

И еще четверо похожих, белые, они вышли из звуков, и, сплетаясь, закружились. И я невольно верчусь с ними и чувствую как весь я переменился: мое лицо перелистывается как ноты.

И мы впятером, кружась, подымались над роялем к потолку, и не потолок, а над нами ночь.

«Куда мы?»

«На луну!»

ЧУЧЕЛО

Моя комната в больнице для двоих. Я один. Кровать, столик и табуретка, а в головах чучело: тигр. Как живой стоит, не спускает с меня глаз — моя сиделка. За сиделку надо платить, а с тигром и так обойдется. И пыль не нужно смахивать, самораспыляется, и не курит.

«Ваша Rue Boileau, говорит Блок, ничуть не меньше 14 линии Васильевского Острова», и проходит в соседнюю комнату: там он собирается окончить свою пифа-

горейскую поэму: «Сам сказал». Поэма нигде не напечатана, и не войдет в полное собрание сочинений.

Лицом к тигру, я продолжаю свою мысль о Пифагоре. Про Пифагора говорилось, что «пришел на землю не бог, не человек, а Пифагор». А основанная им «обезьянья палата» называлась «Союз пифагорейцев»: беспрекословное и упоенное повиновение царю Асыке, учителю Пифагору: «Сам сказал».

От Пифагора перехожу к «Слову», о тайне слова. Тигр внимательно следит за моими мыслями, по его глазам замечаю.

«Слово возбуждает дух, от слова умиляется сердце и яснеет ум. Но тайнее тайны слова — тайна слуха к слову. Слово беззвучно, звучит только по чувству кто его произносит и по чувству того, к кому обращено: не любить — не слышать, любить — услышать, даже больше, чем будет сказано. Вначале было слово, нет, вначале было чувство — расположение к слову: без твоего чувства никогда не прозвучит слово — оно и самое высокое и самое громкое и самое сокровенное останется безразличным знаком, а если перевести на литературу, «ничего не понимаем».

Тигр качнулся и лапы его пригнулись.

«Оживает!» подумал я.

И выхожу — «дверей не буду затворять, я сейчас»!

Слякотно как осенью. Ветром наносило на тротуар желтые листья. Пустынно и тоскливо, как на выставке собак.

Ни ветер, ни листья, живые человеческие губы, вздрагивая, мне внятно повторяли:

«Буду я тоской томиться...»

Тигр по-прежнему стоял в головах, но голова его была глубоко наклонена. И я хожу по комнате и чувствую, что и не глядя, он следит за мной.

«От любимого человека, продолжаю свою мысль, слово звучит совсем по-другому и никогда не дойдет слово от нелюбимого».

И я выхожу к Блоку.

Комната в коврах и вся заставлена. Едва я пробрался к столу. Блок, не отрываясь, пишет: «Сам сказал».

Я говорю ему о моем Тигре: «оживает, и что нам делать».

«Потускнеет!» говорит Блок и поспешно свертывает рукопись уходить.

«И что же осталось, говорю, от гармонии чисел и музыки небесных сфер?»

«Пифагоровы штаны», ответил, не обертываясь, Блок.

Стемнело. Или и всегда было темно, но только я сейчас так отчетливо понял всю мою темь.

Окно без занавесей — пустые глаза. И два зеленые огонька мне сверкают из тьмы.

Шепотом я покликал Блока и, не оглядываясь, тихонько вышел в коридор.

И у меня такое чувство, лучше было бы пропасть, эти глаза — истомили.

«Буду я тоской томиться...»

— звучит мне и во мне переговаривает.

По стенке пробирается кто-то, лица не вижу. Я коснулся до него рукой; шершавый.

«Не видали ли, говорю, Блока, сидел у меня с Пифагором?»

И тот, тряся лохмами, озирается, точно хочет сказать, что он не Блок и вовсе не Пифагор. И еще чьи-то руки и лохматая спина и не одна — как винные ягоды нанизаны, руками по стенке.

«Куда вы, говорю, там нет никого!»

И не могу понять, как они могли войти в дом, дверь заперта, или их впустил Блок.

И я отворил дверь в кухню.

Но войти и думать нечего. И все разряженные и говорят, понять ничего нельзя, и уверенно, без возражений.

«Кто вас пустил, говорю, и разве я вас звал?»

И слышу в ответ и все понимаю:

«Кого захочет наградить Бог, в окошко пошлет».

«Дверь не заперта, вдруг вспоминаю, да ее сам, выходя, оставил открытой».

И ощупью пробираюсь медленным коридором к себе, повторяя: «потускнеет!» И дойдя, наконец, до своей

тигровой комнаты, и приоткрыл дверь и тянусь рукой зажечь электричество.

И я видел: как желе, тряслись и таяли зеленые огоньки, и Блок над Пифагором. Я очень обрадовался и смело вошел — вошел и пропал: у меня на глазах тигр меня съел.

АЛЬБОМ

Альбом со стихами. Стихи не написаны: разноцветные кружки и фигурки. Читает Блок. И мы летим. Над головой прямо на нас спускается огненный шар — черные гривой космы делают его еще несговорней, как для моих глаз месяц на ущербе. Я повернулся на спину, лечу, как плыву. А шар в глаза, не миновать, перережет. Блок, обратившись в лягушку, нырнул в мглу. А я только и успел, что закрыл глаза и под толчком очутился в водосточной трубе. Свинцово — сыро и зелень — крыжовник.

«Слава Бо́гу, говорят, теперь вы хорошо устро́ились».

ТУФЕЛЬНИК

Когда бы я ни проснулся, всякое утро он сидит в моей туфле: вроде он крысы, только шерсти на нем нет, по голому редкие длинные волоски.

Проснулся я — мое жестокое утро! — и он так и бегает, не скоро так бежит, то в сторону и назад, то наискосок и кругом, очень забеспокоился: видит, я проснулся, а туфли и нет, сидеть-то ему негде и мучит меня.

Вы, мои беспросветные при утреннем свете мысли и неизбывные — о тебе, ты моя крылатая лазурь! — и почему в твоем голосе мне слышится загубленная жизнь?

Вот отыскал он туфлю, вот он уселся в ней, сидит и смотрит, облезлый караульщик мой.

Нет не продам я его — нашелся один, сосед просит: продай. Как же расстаться нам, погасить мою мысль?

Знаю, я бессилен поправить в твоей судьбе и в моей с тобой, но не думать я не могу.

И вдруг я понял, что чудак сосед мой скоро с ума сойдет.

У ХВОСТА

Магазин «Hôtel de Ville». Почтовую бумагу взял, а пакет с конвертами забыл. А у нас ни жеваного, а писать письма надо и не «описания природы», а все о деньгах. Придется вернуться.

Подходит нищий: голова тыква, голая, ни волоска, а уши — тоненькие красные ручки. А у меня нечего подать, все ухлопал на бумагу и конверты, только что на метро. И я скорее назад в «Hôtel de Ville». Да никак не могу найти, пропал из глаз. А этот нищий оборвал себе уши и сует мне в руку красные ручки.

«Да на что они мне, говорю, мне надо конверты».

«А как же, отвечает нищий, ходить с ручкой».

Тут наехала на меня лошадь: тележка — камни и песок возят. Ухватился я за край — думаю: «продержусь как-нибудь». А какая-то мышиная бабушка, черная бархатка на цыплячьей шее, тоже подмята, цапается за телегу.

И перевернулась телега и я очутился у хвоста. Кричу: «остановитесь!» Да из-под хвоста кому слышно. И терпеливо тащусь, слежу за хвостом.

Улица за улицей, конца не видать. Наконец-то лошадь остановилась, хвостом по глазам махнула. И я очнулся.

И что же оказалось: самый обыкновенный московский извозчик, а я в пролетке, с боков у меня гора — пакеты с бумагой, и сзади гора — конверты: извозчик заснул и лошадь по своей воле идет.

БРАНДАХЛЫСТ

Сварил я кусок говядины и режу на тоненькие ломтики: «положу, думаю, в суп: очень у нас жидковато, одна вода». Режу и все раздумываю, какой это выйдет суп наваристый куриный.

«Вскипячу раза два и все съем зараз».

И когда я нарезал полную тарелку, а кусок по-теперешнему (1942) порядочный, на две «тикетки» 90 гр., и оставалось только с тарелки в кастрюлю положить, вдруг вспоминаю: этот самый кусок на две «тикетки» вчера мною съеден, помню хорошо, без остатка, чистая тарелка.

И я проснулся с досадой: ни класть, ни мечтать не о чем?

МОЙ ПОРТРЕТ

В саду на дереве медная пластинка, выгравлен портрет: допотопное чудовище многорогое и глаза не на месте. Подпись: мое имя и фамилия художника.

«Как он меня изукрасил, подумал я, хочет оправдать».

А художник и идет, узнаю по портрету: спереди, сзади и из карманов висят груши. И я спрятался за картину, выглядываю: узнает свое произведение или пройдет мимо?

А он грушей в меня как ахнет и попал прямо в глаз: «оправдал!»

СОРОКОУШНИК

«Не то страшно, говорю, что некуда пойти, а страшнее, что некуда возвращаться».

«А мне дверей не надо, я религиозный, отзывается мой гость сорокоушник. Ни входа, ни выхода и никакого олимпийского тумана, я от голода религиозный».

«Что и от чего, говорю, неважно, все дело в искусстве вызывать в человеке его тайные силы: лошадь из пчелы или слона из розы или, если хотите, кита из инфузории».

И начинаем наперебой разворачивать слова:

«Лошадь — шадь; слон — лон; ря — ря — ды — ды — ря ря».

«Не могу, гу-гу». Задохнувшись, сорокоушник.

ИЗ НИЧЕГО

Бумага из четвертого измерения: нарезаны квадратики, ни карандаш, ни перо не берет, и ничего общего с промокашкой. А называется бумага «ничего».

«Весь секрет, говорит кто-то, как, вопреки очевидности, из ничего сделать чего».

И не касаясь «ничего», все равно попусту, я мысленно горожу «чепуху».

ПОД АБАЖУРОМ

Плывет рыба, а за рыбой, в стирке пропавшие, мои единственные цельные шерстяные чулки, а за чулками

лампа, у которой в починке подменили абажур. И подают счет.

А платить нечем, это я сразу сообразил и нырнул под абажур.

ЖАСМИН

Снегу намело — где застало, там и стой. Под теплым низким небом стою, сам как из снега вылепленный.

И выпорхнул, летит из-под снега, я его узнал: это был с белыми вощаными крыльями Лифарь. И откуда ни возьмись баран: баран сграбастал Лифаря и дочиста съел.

И на моих глазах Лифарь превратился в жасмин.

БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ

Всякие бывают и не такие еще, а эта на вешалку похожа. А висит на ней мой новый теплый костюм. Принесла его померить.

Всматриваюсь, и вижу, такой размер разве слону попона.

А слон и идет, помахивает хоботом — обрадовался.

«Холод, говорю, и зверю не радость, правда, кожу слона, что и носорога, не берет пуля, а попробуйте-ка заставьте без отопления писать, и самого простого сна не запишешь».

ЗУБЫ С ВОЛОСАМИ

«Зубы с волосами или Священное писание?» спрашивает Лев Шестов.

«Шесть часов», растерянно отвечает Блок.

И я видел, как часы упали на подоконник. Я протянул руку за окно, пошарил и в горстку себе. И показываю.

А никаких зубов, а лоскутки от обой, в середке клешня.

Мы видим сны: но как они милее действительности! Мы грезим и грезы милее жизни. Но ведь без грез, без снов, без «поэзии» и «кошмаров» вообще, что был бы человек и его жизнь? — Корова пасущаяся на траве. Не спорю, — хорошо и невинно, — но очень уж скучно.

В. В. Розанов. Темный лик. СПБ. 1911

ПУШКИН И ПЯТЬ НЕВЕСТ

И я увидел: Пушкин.

И совсем-то он на себя не похож, ни на один портрет: курносый. А около на столике кофей.

«Спасите, говорит он и показывает, пять невест».

И в моих глазах пять красных языков.

«И всех разобрали», говорит Пушкин и читает: немецкий, французский, английский...

И я понимаю, что теперешний Пушкин профессор языковедения и спасать его не от чего — без языка нет речи.

НЕПРЯМОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ

«Сила слова подкрепляется жизнью», так говорят философы, далекие от всякой жизни.

На столе две фигурки — экзистенциональная философия. А около сметана и две пятисотенные бумажки: одна от неизвестного, а другая — от «известного вам».

И вытащился из стола кулак, а из кулака лезет консьержка. Вспоминаю, «я должен консьержке тысячу франков».

Консьержка не одна: с ней два ее помощника, лестницу убирают. Один с отпавшими конечностями — «рыцарь дерзания», другой с выпученными глазами — «рыцарь смирения».

Об этом мне сообщила консьержка, забирая со стола деньги.

«Так бы и сказали прямо, а то прошло сколько!»

«Три вечности!» подсказывают рыцари.

«Три вечности из-за одной тысячи».

Но рыцари навалились на сметану. И похрустывая сухарными фигурками, в три скулы съели весь горшок. Консьержка недовольна.

ХЛЮСТ

Как это случилось непонятно, только я проглотил два стеклянных стаканчика из-под горчицы. И какая-то — сестра милосердия? — на спичечных ножках птичий нос принесла йод: «запить стаканчики».

Пить я не пил, а весь вымазался: и руки и лицо и шея. И тут появился мурластый — фельдшер? — на шее желтое ожерелье.

«Меня зовут Хлюст, а по отчеству Иваныч, сказал он, живу, затаив дыхание, за ваше здоровье».

И выпил весь пузырек с йодом.

ВОЗДУШНЫЙ ПИРОГ

Крикливая и рукастая, а на язык таратор, и пишет стихи. Она ворожит у духовки. От духовки пылает: чего-то затеяла.

«Что сказал Малларме Верлену?»

«Когда?»

«Да про стихи?»

И я вспоминаю.

«Ubi vita, ibi poesis». А Верлен ему ответил: «Et ibi prosa, ibi mors».

Я раскрыл духовку. А там мой любимый яблочный воздушный пирог, и полная рюмка.

«Non solum mors, sed plurimi versus».

И не успел я попробовать, как опал пирог, одна жалкая корка, а рюмка оказалась пустою.

АНДРЕ ЖИД

Любопытно было посмотреть какой Андре Жид, когда он остается один. Я отыскал щелку и носом приплюснулся, остря глаза. Я знал, что Андре Жид один и кроме него никого. И вижу у стола стоит Верлен. И сколько я ни вглядывался, Верлен не пропадал. И беспокойно мечется крыса. Это я попал ногой в нору и спугнул крысу.

«Надо ее перерубить!» говорит Варлен и, обернувшись к Андре Жиду, ударил кулаком крысу по морде. Крыса взвизгнула и я отскочил от щелки.

ЛБОМ О СТЕНУ

Корзинка с овощами: лук, петрушка и хлеб — не для меня, заберет кто-то по пути. Я иду стройкой между лесами, едва выбрался. И пошел по потолку, думаю, подкрашу: известка сшелушилась, и под ногами

пылит. Входит какая-то, в руках корзинка, но не овощи и хлеб, а клубника — ягоды невиданных размеров, я понимаю, султанная. Я поблагодарил и прощаюсь. А она взяла мою руку и в палец мне шпильку; повернула руку и еще в двух местах пришила — медные кудрявые шпильки. И все мы ждем пришпиленные: сейчас нам подадут по три флакона с «конжэ», по-русски «право на убирайся». И незаметно все разошлись. Вижу, кругом я один, поднялся, да не рассчитал и стукнулся лбом о стену.

ИНДЕЙКА

Проглотить шесть франков по франку на глоток нелегко, а я справился, все шесть теперь во мне. Говорят, надо обратиться к доктору. А доктор-то помер и остались после него бисерные вышивки, а наследников не осталось. И только жареная индейка.

Но только что я полез с вилкой к любимой задней ножке, выскочил медвежонок и, взвинтясь, плюхнулся на индейку.

«Будет, думаю, медвежонку на ужин, а я успею».

А уж от медвежонка только хвостик торчит и так жалобно дрыгает и как раз над задней ножкой.

Тут доктор сграбастал индейку и медвежонка, все вместе и в портфель себе:

«Для корректуры».

ПРОПАЛА БУКВА

На мне вишневая «обезьянья» кофта — курма. В ней мне держать экзамен. Я уверен, провалюсь и домой возвращаться нечего думать.

«Я уеду за границу, так раздумываю, там начну новую жизнь с чужим языком и никогда там не буду своим».

Паяц прыгал, ужимался, строил нос и, поддаваясь мне, ускользал из рук змеей.

И я узнаю в нем автора «Матерьялы по истории русского сектантства», том сверх тысячи и примечания.

Угомонясь, он подал мне польскую газету: «Литературное обозрение».

«О Кондратии Селиванове, непревзойденном богоборце, а вот о вас небогоборческое!» он ткнул пальцем в мелкий текст.

И сразу мне бросилось в глаза, что всюду напечатано вместо Ремизов — Емизов.

«А буква «р» пропала, сказал он, не взыщите».

И я замечаю, что по мере чтения отпадают и другие буквы. В моем «Ремизов» нет ни «м», ни «и». И остается один «зов».

«Кого же мне звать, думаю, и на каком языке?»

И тут мальчик — песья мордочка, фурча завернул меня в скатерть с меткой «зов».

Я тихонько окликал и уселся на «воз». И еду. Спокойно и тепло: телега-то оказалась с наВОЗом.

В КЛЕТКЕ

Есть у меня еще обезьянья зеленая курма, тоже из драпировки, летняя. И отвалился рыжий кусок, висит, а на хвост непохоже. Вглядываюсь — да это письмо воздушной почтой, а подвел к самым глазам и вижу, никакое письмо, а самая настоящая клетка — канарейки с чижиками в таких скачут.

«Живая с Марса!» говорит кто-то, лица не видно, как в трубе ветер, грубо с подвоем.

Не переспрашивая, добровольно влез я в клетку, закрыл за собой дверцы и не могу решить, куда лететь: вверх — разорвет, а вниз — раздавит.

Тонкая жилистая рука протянула мне белую бобровую колбасу, фунтов двадцать, длинная, как рука, а называется «баскол».

«Лети, говорит, не бойся, в Баскол».

И я полетел.

25 САНТИМОВ

Я начинаю пальцами сдирать с себя кожу: слой за слоем и совсем не больно. Но где-то, до чего, казалось мне, не добраться, глубоко жжет.

И я спрашиваю:

«Что это — совесть?»

И с потолка мне 25 сантимов. Я протянул руку и поднял — какой огненный груз.

БРИТВА

Пасхальная заутреня. Церковь переполнена. От свечей туман. Иду по аллее. Легкая весенняя зелень, деревья в цвету. И все летит. Не остановить. И горечью со дна: «и все пройдет».

Он подает безопасную бритву, я принял ее за топор, такая большая, и не беру: «не моя!», а чашку я взял.

«Все равно, сказал, ни тем, так другим, не подавись».

И я выпил — какой крепкий сок. И слышу шаги: возвращались из церкви. И я пожалел, что не дождался конца.

«И не будет конца!» сказал он и подал мне тонкую шпагу.

Но это была не шпага, а складной стул острый как бритва. А один из священников оказался переодетый черт.

СВЕТЯЩАЯСЯ МЫШЬ

Он подкрался сзади и клюнул меня в затылок. Мы переезжаем на новую квартиру. Вещей не надо перевозить, они сами устроятся.

«Переезжать на новое место, все равно, что родиться».

«Или умереть!»

Она обогнала меня, в ее руках светящаяся мышь, как фонарик. По ее фонарику я и вошел в новый дом.

Смотрю через стеклянную дверь: она притаилась в сенях со своей мышью. Я к ней. И не успел ни о чем расспросить, как застегнула она меня на пуговицу к своему пальто:

«Уходите, говорю, со своей мышью. И так забот у меня довольно, а еще и убирать за мышью!»

А она только смотрит: без меня ей теперь никак не уйти, и мне без нее не обойтись. И я различаю в ее лице два лица: одно виноватое и другое — резко светящаяся мышь.

ПОД АВТОМОБИЛЕМ

Прямо мчится на меня автомобиль. И я почувствовал, как по голове лязгнули колеса. И ничего — одна расплывшаяся клякса.

Изволь подыматься!

А вижу, очень высоко, не сосчитать этажей. И все-таки полез. Но сколько ни лезу, все топчусь на одном месте — куда-нибудь выше, никак. Я попадаю на запасные лестницы и спускаюсь к главной, откуда начал. И замечаю, что голова у меня приставная, висит на ниточке.

СЕРЕБРЯНОЕ КОЛЬЦО

Под деревом яблоки. Я поднял серебряный налив.

«Нельзя», говорит.

И я отвечаю: мой голос серебром на весь сад:

«Нельзя!» нехорошо говорить «нельзя!»

«А мы много покупаем, отозвались из малинника серебряные пищалки, и так много покупаем, поднять нельзя».

«Опять, говорю, нельзя!»

На грядах ягоды, как стеклом залиты, блестят. И серебряные кусты в ягодах.

«Сварить варенье, думаю, густое, ножом режь, да без сахару нельзя».

«Нельзя! перебивает садовник в зеленом фартуке, а я ваше серебряное кольцо продал, у меня зуб выпал, иначе нельзя».

ЗОНТИК

Бело-голубая искра пронзила меня. И я увидел: она вся в черном, в руках черный шелковый зонтик, длинная тонкая ручка. Зонтиком она пырнула мне в ногу. И я пригвожден к полу.

«Что значит красные губы?» спрашивает она.

«Я плохо вижу, говорю, но я слышал, красные у вампиров и когда...»

Тут подбежал какой-то с улицы, ухватился за зонтик, тащит из меня.

«Нет, отбиваюсь, теперь он мой!»

И видя, как я охраняю зонтик, она превратилась в вешалку. И зонтиком я повис на ней.

ЗАГВОЗДКА

Поднялся на верхотуру к доктору глаза проверить. А на дверях дощечка, мелом: «Расскажите, как вы это делаете» и тут же нарисован гвоздь, грибная шляпка, и больше ничего, понимай, как знаешь.

И как буду я у выхода на улицу, стукнулся головой о дверь, темно, и очутился на плите. Ничего особенного, только ногам горячо, да со сковородки в лицо пышет и шипит неприятно с брызгом. И потому что я зажмурился, попал в сад.

В саду после плиты прохладно, столик и на столике тарелка: наеденные макароны.

«А наел, говорят, П. П. Сувчинский и показывают, вот и ноты и палочка, а сами они вышли».

«Все-таки когда-нибудь вернется, думаю, не век сидеть, не с удочкой пошел».

И я решил, попробую макароны пока что, потянулся с вилкой, да рукавом задел за скатерть. И тарелка на пол. А Сувчинский идет, кулек тащит апельсины.

«Пока вы тут рассиживались, сказал он, я наловил вон сколько, и все без косточек».

ПУСТАЯ КОМНАТА

В глаза мне укрепили электрический провод. И я тяну за полотенце. А там кофей в чашечках и фотографические карточки.

Какие замечательные лица! Двуносые, трехглазые, уши-щупальца, лягушки на паучиных ножках, зубатый лоб и, как ожерелье, песьи языки. Что еще придумать, все есть и в натуральную величину.

Но какой-то с карточки выхватил у меня из рук альбом.

«Куда, кричу, я не доглядел!»

И отворяю дверь. Прислушиваюсь.

«Кто там?» спрашиваю.

«Там-там?» поблескивая вспыхивает электрический провод.

И я иду. Пустая комната. А сзади точно кто-то хватает меня за ноги, а остановиться не могу.

ТРИ БАГЕТА

Он подает мне три палки.

«Три багета, говорит он, консервированное гуано».

Я отъел кончик. И на губах показалась кровь. Я выплюнул — но это не кровь, а красная роза.

Он развернул географическую карту — нарисована на ветчинной бумаге. И, ткнув пальцем, отковырял от Китая китайский город. И проглотил.

А я жду, что будет.

«Если из моего багета роза, то из Китая, по крайней мере, розовый куст».

Он сплюнул — и поднялась гора.

«Разнолетнее гуано, сказал он, ни пройти ни проехать».

И вправду, без передышки не обойти.

А третий багет он съел.

ДАЛАЙ ЛАМА

В ночь, как в Тибете помер Далай Лама, я ничего не знал, но какая это была из ночей тяжелая.

Меня закутали в серые суконные одеяла, дышать нечем и опустили в бездонную яму. Я слышал, как играла, выпевая с Мусоргским надрывом, серебряная скрипка. И когда я, опускаясь все ниже, достиг какого-то подземного перехода, я очутился на горах. И легко подымаюсь.

Передо мной торчали одни голые оглушающие скалы. И заглянув вверх — никаким потопом несмываемый высочайший знак земли и выход к звездам Эверест, я вдруг увидел: серебряной звездой — петушок.

МОЯ ГОСТЬЯ

Она приходит поздно вечером. Она усаживается на диване против меня под серебряную змеиную шкуру, вынимает из сумочки железную просвиру и, не спуская с меня глаз, гложет.

В поле моих калейдоскопических конструкций она живое черное пятно, а моя зеленая лампа смертельно белит ее лицо.

Отрываясь от рукописи или от книги, я невольно слежу: она про меня все знает и, может быть, больше, чем сам я о себе. Встречаясь глазами, не различаю себя от нее — так слитно все наше. Ее работа никогда не кончится: просфора железная, а мне о конце моей и думать нечего. И мы покинем друг друга только враз.

Какой у нее голос? Ни слова она не произнесла со мной. Или немая?

Сны после нашего свидания всегда «кровельные» (от «кровь» и «кров»), весь день потом под их сетью и выхода мне нет и нет ничего, что бы вывело меня на свет.

Цветы она любит, это я заметил, яркие, по моим тоскующим по краскам глазам. А живого ничего не переносит, стоит кому войти в комнату, и ее уж нет.

Кроме меня ее никто никогда не видел. И она редко не со мной. Выйду ли я на кухню вскипятить воду и она, без шелеста, как воздух, или сидит на табуретке или прячется в углу за щетками.

И когда она гложет свою железную просвирку, я чувствую, что это кусок моего сердца.

13 Зак. 1761

«Задумывались ли вы когда-нибудь, верите ли вы сновидениям?»

«Ну, как вы можете говорить о сновидениях, когда сон есть только результат какого-нибудь непорядка в вашем телесном или духовном организме».

«Бедный господин Тис, как мало просветлен ваш разум, что вы не видите всей глупости такого мнения. С той поры, как хаос слился в податливую к формовке материю — а это было довольно-таки давно, — мировой дух формирует все образы из этой предлежащей материи и из нее же возникают и сновидения. Они — не что иное, как очерки того, что было, а, возможно, и того, что будет, которые дух быстро и прихотливо набрасывает, когда тиран, именуемый телом, освобождает его от рабской службы ему».

Э. Т. А. Гофман. «Повелитель блох»

МОЙ СТРАЖ

Припал я губами к жгучим стенкам котла, горю. Язык пересох и горло запеклось: один глоток прошу.

На зов идет мой страж: его глаза горячи, как стенки котла. И смеется. Или жалеет? И он опрокинул на меня докрасна раскаленный котел. И я не сгорел.

По горло стою в воде. Мороз. У! какой лютый, жжет. Из проруби я выбираюсь: зубы с дрожи разбило, закоченел весь и страшно шевельнуться, оборвусь и в прорубь. Если бы хоть столечко огня, хоть спичку.

Щерится страж: его глаза полыхают огнем.

И опять я в огне.

Я всегда один и никогда наедине. Неустанно и неотступно он ходит вокруг меня: лошадь на корде. Или огонь или мороз.

И некого мне позвать. И дым моей муки подымается столбом и стоит надо мной. И вы одни со мной, мои глаза, больные в блестящий летний зной и в лють под сверкающим морозом.

БЕЗ ДОКУМЕНТА

Три платка, как подрубленные дубовые листья, я закутался в них, да скорее за чемодан. А в чемодане коробка. Вынул я одну, а она полна коробочек. Тороплюсь, разбираю. И вдруг подумал: «да ведь у нас нет никаких документов».

И кто-то говорит:

«Надо молоком, тогда и пропуск дадут».

А другой отвечает:

«Все надо в стирку».

Я закурил, да неловко потянулся поздороваться и поджег чемодан.

ЗАЖИВО НА КЛАДБИЩЕ

В такси нас четверо. Друг против друга, никого не знаю. А пятый, стоя между нами: его из стороны в сторону перебрасывает, очень слабый. Глаза его закрыты, иногда он их таращит, но нет сил удержать; и голос у него пропал, только губами, как рыба.

«И все-таки он жив, подумал я, а везем мы его на кладбище».

И я представил себе, как положим его в гроб у его открытой могилы: от слабости сопротивляться не будет. Потом «дружно» опустим в могилу. Засыплем землей: «прощайте!» Мертвому «прощайте» полагается, а живому сказать неловко, ну, как-нибудь вроде — какое еще подходящее слово? И разойдемся.

А тот «покойник» отдохнет, раскроет глаза... Подземный малиновый свет спокойный, и постукивает что-то, и не раздражает, это оттуда с земли: шаги, голоса, езда, все вместе.

«Но ведь я еще жив!» и он хочет протянуть руку и постучать в крышку.

А это никак невозможно: и тесно и сил нет, не повернешься: как положили, так и лежи с открытыми глазами.

«Так я и не дождался. Что же делать, все уходит без оглядки. И сам я без-оглядки!»

И он вспоминает, как четверо неизвестные везли его в такси. И видит их руки — какие страшные руки у живого человека!

«И как это я раньше не подумал: руки — рок... И неужто они не видели, не поняли, что я еще жив — ив!»

«Задохнулся, сказал кто-то, не трогайте!»

ОДНА КАРТИНКА

Автобус без звонков и остановок. Я дорогу показываю. Едем садами, конца не видать. А, главное, неизвестно куда едем.

Автобус остановился: «паров больше нет, вылезайте!»

И все вылезаем: у кого нога отсижена, у кого рука омлела, кому в голову, кому в хвост — живого человека не заметишь. И всякий кто вылез, тут же на землю и плюхнется, не разбирая. И все попарно: с кем свело, с тем и быть. Не совсем это удобно и приятно, а надо покориться.

Мне досталось местечко с ученым, известным нашим историком. Думаю так, что за мое пристрастие к истории и за уважение к ученым.

Мой сосед занял полполя, такой он в жизни был рослый и видный, а я около ужом свернулся. И лежим, притаились.

Наши соседи: одна бусурная (сварливая), другая стыльная (наскокистая) — земля под ними ходит, с таким оживлением они разговаривают. И замечаю, тараторят-то они в два рта, а всего у них два слова «да» и «нет».

А историк мой и говорит:

«Это они по продолжению ссорятся. А нынче больше никаких слов нет, все слова кончились. Уцелели, как погремушки, это «да» и «нет», но без всякого значения: что «да», что «нет», что «плюс», что «минус» все равно, нынче полная свобода».

И перед каждым из возлежащих развернутая книга: каждый должен, когда дойдет очередь, прочитать вслух то место, на котором раскрыта страница.

Скоро моя очередь. У моего спутника «Уложение царя Алексея Михайловича» 1649 г. Да и у всех раскрыто — текст. А на моей книге, а это оказалось Тысяча-и-одна ночь, чисто — одна картинка: вот и изволь сочинять из головы текст без слов.

КИСТОЧКИ

Самого Терешковича не было, одни его картины и каталог: «К. Терешкович». Входят какие-то все мне не известные, видно, заказчики и у всех в руках жокейский хлыстик, а сзади, за спиной седло, ремни желтые, очень подозрительные. Не иначе, как пришли за мной: оседлай, только и всего.

«Терешковича, говорю, дома нет. Вернется не скоро: на скачках с Бахраком бегает».

«А мы, говорят, со скачек, нам назначено».

И не рассиживаются они ждать, а это у людей бывает, а развешиваются по стенам между картинами. Уж и дверь собою завесили, загораживают проход.

Я тихонько к окошку, еще не завешено, и незаметно выскочил в сад.

А какой сад! Цветы поднялись, куда крыша, и под пунцовыми тюльпанами чувствуешь себя, как под широченным базарным зонтиком.

На чистой аспидной доске сидит Терешкович и усердно ловит букашек: двух покрупнее проглотит и одну выпустит.

«Это для кисточек?» говорю.

«Нет, что вы, какие же из букашек кисточки. На зиму консервы готовлю».

И бежит по дорожке курица, перья красные и желтые, испанская, а голова у курицы песья. И хочет пес на колени мне вспрыгнуть, а курица не дается, скользит и лапками отбивается.

«Консервированная, замечает Терешкович, Бахрак съест».

ВНИЗУ

Меня перевели вниз. Широкое окно в сад.

Бедно одетая, белесая, два свертка в руках, не могу сказать, из саду она или сверху. Она развернула сверток — полились голубые ленты.

«Не вам», сказала она.

И развернула другой сверток поменьше, а там игрушечный шар и в шару цветочный горшок, обернут кирпичным газом: белая азалия.

«Из Египта, спрашиваю, от кого?»

И кто-то говорит:

«Пришел Рене Шар».

И я выхожу из комнаты.

Народу полон коридор. Ждут. И которая принесла цветы, тут же, чего-то ждет.

«Надо было ей дать на чай», подумал я. И ищу мелочь, вывернул все карманы — одни окурки. И мне очень неловко. И отхожу к окну.

Рене Шар дымит папиросой.

«Вы долго ждали, говорю сквозь облако, и не заметили объявление: нельзя курить внизу».

«Почему нельзя внизу?» спрашивает Шар.

Не зная что ответить, я показываю ему на цветы: «Египетская азалия, ваша!»

А та, что принесла цветы, ждет в дверях.

«Скажите, говорю ей, от кого же цветы?»

«Я сейчас, я справлюсь».

Я заметил, она босиком, и за ней. И мы очутились на каменном дворике.

«Не могу: Полян не пропустил!» она рванулась и из свертка, который «не мне», хлынули голубые ленты и вся в лентах, голубой лентой выскользнула в калитку.

И я вспомнил:
«Внизу нельзя».
А из камня отозвалось:
«Зу-зя».

ПОД ПАЛЬЦЕМ

На земле, покинутой друидами, где мысль пронизана Декартом и сказке нет места, на ослепших немых камнях, где века не звучит шаманский бубен, тут, я был уверен, меня никто не тронет: просто неинтересно.

И я прохожу под арку. Я думал, мы разойдемся, но он преградил мне дорогу.

Весь он был в коричневом, как монахи, и капюшоном закрыто лицо. Он протянул ко мне руку и, сжав ее в кулак, вытянул длинно палец и пальцем больно надавил мне грудь:

«Все живое, сказал он, вносится в мир искусства».

НЕ В ТУ ДВЕРЬ

«Не входите все сразу!»

Я обернулся, странно, за мной никого. И вошел. Я думал, вошел в кафе, а попал к сапожнику.

Хозяин на мое «кафе-о-лэ», не очень-то дружелюбно, а подал мне чашку кофею. И ворчит.

А я говорю:

«Если мы станем обзывать друг друга прозвищами животных, все окажется некстати и не в пору».

Подмигнув, постучал он молотком по подошве, бросил в груду обуви, вытащил растоптанный башмак и, поддразнивая, ко мне:

«А вашу собаку Элюар убил!»

«Элюар собаку? Да у меня никакой собаки».

Не отвечая, сапожник согнал муху с чашки и, с чувствительностью Стерна, махнул черной сапожной рукой:

«Лети, слабое творенье, сказал он, в просторном Божьем мире неужели мне тесно от тебя?»

И, без всякого предупреждения, выпил мою остывшую чашку.

ДЛЯ ВЕСУ

Воротничок на мне № 52, не отличишь от ошейника. А означает этот ошейник вес мой в литературе.

«Или, просто говоря, между двумя прямыми всегда бывает середина».

Лели открыл сигарный ящик: сигар никаких, а сложены рядами довольно потрепанные высохшие конечности.

«Чьи это?»

«Для весу, говорит Лели, куриные».

Ищу магазин переменить ошейник, в самом деле, что я собака, что ли? Лели берет меня за руку, пристально смотрит на ладонь, считает, я думал пульс, а он перочинным ножом мне в палец. «Играя» конечно, а вышло-то позаправду, и пошла кровь.

С протянутой рукой иду по рельсам, остановится кровь и я куплю баранок. И тут какой-то, весь искусственный — вставной и механический семенит запятыми и путает мне корректуру. И я иду по рельсам через строчки, и не могу понять, на каком языке.

Лели перегнал меня и возвращается. Очень взволнован: у него завелись *настоящие* мыши.

«Да у вас никаких запасов».

«От ссорного воздуха на экваторе», объясняет Лели.

Я все-таки достал баранок и расположился чай пить. А эти ссорные экваториальные мыши, пока я следил за кипятком, поели все баранки. И я вижу, на мне не только ошейник, а и наручники.

«Для весу», говорит Лели.

Глухо по-летнему, за окном дождик идет.

БУКАШКА

Фургон с молочными бидонами. Я прикрыл дверцы и нечаянно пролил воду, а вытереть нечем. И кто-то из-за бидонов бормочет:

«Огнем очищается золото,
гроза освежает воздух,
душа крепнет в несчастьи,
а бережет свою голову всякая букашка».

Я поднял голову и полетел.

А какое это приволье лететь без крыльев! Я как раскован и безмерен — чувство освобожденности наполняет мою душу от ее «горных высот» до сокровенных тайников сердца. И мир развивался передо мной раздольем.

Что случилось, не знаю, или моя жизнь только мгновенье? На камне над пролившейся водой кулаками подпираю себе скулы, а в глазах яркая померанцевая зга. И тот же голос из-за фургонов бормочет:

«Скорбь священнее радости. Погребальное громче венчального. Или в бодрости и силе не расслышишь песни и только один пустынный медный марш. Что тайнее погибели? И что чище: звездная музыка или мое сострадание?»

НЕ ТУДА

Никак не могу попасть в вагон «прямого сообщения». Сколько облазил вагонов и все не туда, а поезду конца не видать.

Так попал я в «Отель Масса».

Большое собрание, никого не знаю, а говорят о вспомоществовании писателям. И какая-то дама писательница, с глазами разбитого стекла, предлагает собранию выдать мне 100 франков. И все согласны и показывают мне на дверь.

Дверь складная из проволоки, я протянул руку получить свои 100 франков. Но оказалось, что это не дверь, а та самая писательница, с глазами разбитого стекла. И очутившись мы вплотную, я заметил: у нее бледно-вишневая лента на груди, а на шляпе цветы.

«Не могу-у!» сказала она, гугуя как с детьми.

«Для проверки надо измерять ногами, говорю ей, в совпадении мера достоверности», и тихонько полил ей цветы на шляпе.

Ни с чем отхожу от двери.

Собрание разошлось. Пустая зала. И вдоль залы ковром копченая колбаса: заяшная с фисташками. Мне надо пальцами выколупнуть начинку и тогда выдадут мне присужденные 100 франков. Работа не трудная, только кропотливая. Чищу со всем моим терпением и тщательно.

И когда я разбороздил зайца, появилась дама с глазами разбитого стекла. Я был уверен, она даст мне или 100 франков или, хотя бы, свою чудесную грудную ленту. А она напустилась на меня: «зачем я развел виноградник?»

«Единственный способ поправить, говорит она, вы должны вставить кеглю».

И тут я замечаю, что ее шляпа вся в винограде.

И я вышел с пустыми руками: я не имел права обращаться за вспомоществованием во французский Hôtel Massa.

ОМЛЕТ

Мне посулили омлет в 50 грамм: буду свободно переходить нашу улицу туда и назад. Я согласен, но как с омлетом: много ли это 50 грамм, если на яйца? С яйцами не очень разгуляешься.

Лестница в Комиссариат крутая торчком, нелегко было, а все-таки поднялся и вхожу. А там ни столов, ни перегородок, а одни тараканы — и по стене и по полу ходят как улитки, и тут же яйца сложены по кучкам — Брис Парэн пасет тараканов; в руках у него прутик-жигалка, гнется как ива, а хлещет как верба.

«Вот вам и омлет!» показывает он на тараканьи яйца.

И только что хотел я сказать: «нельзя ли заменить», как подает он мне мою рукопись. Ничего не поделаешь, я порылся у себя в карманах, вытащил три финика: финики были «надеванные» с прилипшим табаком, и подаю.

И тут случилось совсем неожиданное: Парэн съел мои финики, а косточки в карман мне выплюнул:

«В следующем №-е NRF, сказал, появятся».

ЧЕРЁМУШНАЯ НАЛИВКА

Человек с лицом надъеденной лепешки подает мне папиросу. Но только что я закурил, он ее выхватил у меня изо рта и, дымящуюся, воткнул себе в левое ухо.

«Лучше во сто раз было не родиться, сказал он, чем *так*, ни за *ц*апову душу пропасть!» и пошел себе без оглядки.

А я иду по коридору.

Весь пол завален — куски — земля.

«Хорошо мне, подумал я, тут будет лежать!»

И только что я подумал, вижу, — из реквизированного дворца выходит знакомый с лицом надъеденной лепешки и из его уха, как из трубы, валит дым.

«Плохо, думаю, когда вот так выгонят. А может, он сам выгнал кого?»

И появились три мыши.

Мыши лапками показывают: они перевели меня на турецкий и сами гравюры сделали и нарисовали портрет, но не автора, не переводчика, а переписчика. И струня хвостами, разбежались по своим норкам.

А я подумал:

«Стыдно хвалить то, чего не имеешь права ругать».

И спускаюсь в метро «промяться».

Все проходы забиты. Лежат прямо на полу и все что-то делают, не могу разобрать. И все дымится.

Суют мне в руки сверток: закутанное в пеленках, лица не вижу, я должен перенести по рельсам до следующей остановки.

И я иду. Только бы поспеть. Никакой тяжести, но сзади кто-то все наваливается и тычет мне альбом: нарисуй две картинки — «украшают три елки» и еще «сгорел дом, где мы отыскали себе маленькую квартиру».

Я сразу и не узнал, а это была одна из мышек, а за ней, как из яйца, вылупился человек с лицом надъеденной лепешки, он был наряжен мавром, на кривых испанских каблуках. И предлагает мне черемушную наливку. Но с одним условием: я должен, сидя на рельсах, рассказать о себе что-нибудь выдающееся.

И я, вспомнив один действительно выдающийся случай, как меня, закутанного в одеяло, принесли на одно собрание, чтобы удивить неожиданным появлением, вижу, на рельсах сидит Вейдле, он в желтом топорщемся непромокаемом и что-то бормочет из своей жизни.

И прощай моя черемушная наливка: Вейдле, окончив рассказ, схватил бутылку и прямо из горлышка разом всю.

ЧЕХОВ

Их было пять, они сидели вокруг колодца.

Из глубины колодца выходил огонь. У каждой в руках раскрытая книга. И огонь освещает мне древние пись-

мена. Я узнал их, это были сивиллы, но что было написано в Сивиллиных книгах, я ничего не мог разобрать.

Вышел из воды «гуттаперчевый мальчик», но это была не игрушка, что детям в ванну кладут, а гуттаперчевое живое существо. И я понимаю, что это Шаляпин, а вышел он, чтобы голосом погасить Сивиллин огонь!

«Пискунок», из породы тоненьких шеск, размахивая тоненькими ручками, кричал, предупреждая Шаляпина:

«Спасай, кто может, свою душу!»

И я хотел уходить, не дожидаясь конца, как раскрылась стена: Чехов весь в черном на скамейке, есть такой портрет, и весь он освещен изнутри.

«Вот, вы и совсем пришли к нам!» сказал я.

И перед Чеховым, как перед сивиллами, раскрытая книга:

«Переписка жителя луны с жителем земли», разобрал я заглавие.

«Мне тяжело дышать!»

И Чехов вытащил изо рта утку.

Утка оказалась жареная с яблоками. И все на утку набросились: «Пискунок» и гуттаперчевый мальчик, и я не выдержал, цепко протянул руку.

ГИМНАСТИКА

«Разорвать течение времени и повернуть мысль!» Я вылепил из сургуча свою голову и пропустил через бельевой каток. Сижу на узлах удобно и неприкосновенно.

Накрапывает теплый дождь. Никакой зелени, а растут грибы. И вижу, как в гору медленно ползет трамвай.

«В этот трамвай не садитесь, говорит Зайцев, нет буфета». А сам на ходу выпрыгнул.

Зайцева я не послушался и поехал.

На каждой остановке буфет, трамвай останавливается очень высоко и приходится на ходу выскакивать. Я выскочил и угодил в овраг.

Какие-то карлики и среди них в белом халате их поп карлик. Подобрав полу своего фельдшерского халата, он облетел низко над столом, поклевал что-то в воздухе и взялся за солдат.

Целый полк выстроился на дворе московских Покровских казарм. И тут же на дворе валяется колбаса: из колбасы я должен делать гимнастику.

Зайцев развязал один из узлов с бельем, вытащил складную кровать: плетеная корзинка для хлеба.

«Сколько призрачности в том, что мы называем действительностью!» сказал он и, спустя рукава, принялся раскладывать хлеб печатными буквами.

ВИНОГРАДНЫЙ ОКОРОК

Все семейство Ч. — бегут за окороком, а впереди в окорок зубами врезалась собака. Навстречу волки, да не простые, с гривами сибирские, а за волками мчится автомобиль.

От страха или чтобы добро волкам не досталось, одним кусом окорок съела собака. А волки на собаку и в клочки. И вся ветчина попала в волчиную сибирскую пасть с песьей шкурой и костями. А все Ч. побросались на ходу в автомобиль. И автомобиль скрылся.

А собака и говорит:

«Разве я виновата?» и подает мне в обеих лапах чек — 1000 франков «на предъявителя».

В банке у самой кассы я спохватился: чека нет! или дорогой потерял или дома в письма сунул. А кассир за решеткой для порядку разложил столбиками, но не мелочь, а розовый виноград. Захотелось мне этого розового попробовать, потянулся я с руками, а решетка опустилась и прямо мне по пальцам, как бритвой: черно в глазах.

И очутился я в сыром подвале. И о чем эти черные мысли? И я повторяю из какой-то песни и мотив знакомый:

«А когда ты меня покинешь,
я из огня до земли тебе поклонюсь,
расточу весь огонь —
и одна ты в глазах не померкнешь...»

Хлынула вода. И я скорее выбираться, да темно очень.

И вспомнился окорок — розовый, как розовый виноград.

«Пойду, думаю, к Ч.».

По насыпи мне навстречу, но кто это? не понимаю: на ней мужское без пуговиц пальто наголо.

«Я безработная, говорит она, и не годы, не век, а века иду по чужой земле».

«Откуда?» спрашиваю.

«Я из Дельфов».

И я вспоминаю о чеке: 1000 франков. Вот кстати, пригодились, подать ей. И я все перерыл, и письма, и рукописи, в столе и по карманам, а чека нет нигде.

«Нет, говорю, нигде».

«Негде», поправила она, но не сказала «искать», а взглядом стрелой ударила в меня:

«А когда ты меня покинешь,
я из огня до земли тебе поклонюсь,
расточу весь огонь —
и одна ты в глазах не погаснешь...»

И замечаю, что она на одной ноге и эта нога колонкой у нее из середки — дельфийская.

«Из Дельфов!» говорит Лев Шестов, вылезая из автомобиля: он на Комарове путешествовал вдоль виноградников.

«А чтобы все было незаметно, мы скрывались под автомобилем у колес», объяснил Комаров.

И подает мне полную горсть мятого винограда — нарезано тонкими ветчинными ломтиками.

ПЕТЛИ, УЗЛЫ И ВЫСТУПЫ

Выставка скульптур. А кроме разноцветных граненых бутылок, ни ног, ни рук, ни головы и хоть бы какой завалящий торс, ничего. Из окна, прячась за занавеску, выглядывает Ларионов: в руках у него стопудовые гири, запустит и от головы ничего не останется, про ноги и руки я уж не говорю. А я как раз под окном: взялся распутывать веревку — работа надоедливая, да и опасно. На веревке делаются само собой петли, подержатся в воздухе и, само собой, затянутся в узлы: начинай сначала.

На выставку набирается народ. Вижу и Ларионов, но уж без гирь. И он меня торопит:

«С веревкой неудобно, вы загораживаете выставку».

Я вышел в другую комнату. Там, согнувшись над столом, Копытчик (С. К. Маковский) пишет программу «Оплешника», повторяя:

«Оплешник — оплетать — плел».

На плите, пред Копытчиком, подгорелые овощи, залежавшийся соленый огурец-пустышка, вареная свекла, не отличишь от кактуса, лопнувшие растекшиеся томаты — матерьял для «Оплешника».

Копытчик предлагает мне поправить этот «натюрморт». А я вызвался отделать дом «по Гоголю».

И начинаю свою работу. Я должен с инструментами — каучуковые палочки и закорючки — подыматься по выступам на самую верхушку, не глядя вниз. Осторожно ступая и не глядя, лезу по белым каменным плитам и с выступов каучуковой лопаткой счищаю известку.

«Пропал мой Гоголевский дом!» думаю, но как отказаться продолжать работу «раз взялся?»

«Я все слышал», сказал Ларионов.

И от стыда я скувырнулся.

ПОДКОП И ЗАТЫЧКА

«Голова хвоста не ждет!», но бывает и обратное: хвост улепетывает, а голова болтается. Подхожу к театральной кассе, нагнулся к кассиру — билеты разложены рядами по ценам — а как выдавать, кассир ставит глазом печать. И я получил припечатанный и иду с глазом и что же оказывается, глаз привел меня не в зрительную залу, а в картинную лавку.

Андрэ Бретон показывает картины. Я к нему о Мексике, о мексиканских жителях.

«Я как Улис, сказал Бретон, все забыл под песни сирен». И подает мне камень: «из подкопов, краеугольный».

Я зажал в руке камень и поднялся на воздух, облетел все подкопы и спустился на землю.

Что это, не могу понять: монастырь или тюрьма! Одиночные камеры-кельи, тяжелые чугунные двери, но есть и светлые комнаты с окном — «семейные». А на самом на верху «Комитет ручательства» и выдают спички без очереди. Спички мне всегда нужны, я курю. Но подняться в Комитет я не решился: начальник, любитель домашних спектаклей, человек словоохотливый

чрезвычайно, так что в словах его больше слов, чем мыслей, но даже и по крайней надобности, никто к нему не осмеливается входить с просьбами, а, кроме того, в его кабинете шныряют летучие мыши, его охрана.

Время раннее, поставил я себе чайник.

«Вот, думаю, никогда бы не согласился в такой час когонибудь чаем поить».

И как на грех, стук в дверь.

Бретон с ружьем и мексиканской косой ломится в дверь. Но я его не пустил: «еще рано чай пить».

Но это оказался не Бретон, а Пришвин: он уселся перед дверью на свою мексиканскую косу, подперся дулом.

«В России, сказал он, много происходило и происходит такого, чего не было и не будет никогда на свете». И принялся дубасить в дверь.

НА ПОРКУ

Из Комиссариата повестка: «явиться в 10 утра на порку». Наш Комиссариат на Шардон Лягаш, два шага с Буало. Но почему-то я поехал по железной дороге.

Я захватил с собой, кроме повестки, еще много писем, опущу. И пропустил остановку, вижу Национ. Я скорее к двери да зацепился за какую-то даму, тут бы мне рвануться, а я стал распутываться. А поезд не ждет. И когда, наконец, выпутался, не могу разглядеть станцию. И все-таки вышел. Да поскорее: «10 еще нет, но уж около, не опоздать бы».

Я проходил по незнакомым местам: онемевшие живые развалины, неужто я попал в Рим? Навстречу куколка, так я и сказал себе: куколка. А шла она, как и я, наугад — заблудилась. А за развалинами старик и старуха ищут кого-то. И вот увидели, не меня, а эту куколку и бегут. Но тут сверху упала огромная лавина снега и засыпала куколку. И куколка обернулась в снежинку. А я боюсь на часы посмотреть.

Идет рабочий. Я догадываюсь, тоже, как и я, по вызову.

«Не опоздаем?» спрашиваю.

«Зачем опоздаем: 9-и еще нет».

Я посмотрел на часы. И вдруг понял, что всю ночь я плутал по Парижу.

«Взгляну хоть как порют». И вхожу в Комиссариат. Присел на скамейку, а мой спутник подошел к столу. И какая-то, очень напоминает лисицу, велит ему раздеться.

«В этом самое главное и есть, подумал я, что не ажан, а лисица».

А мой спутник робко снял пиджак, потом сорочку. От неловкости тело его, запупырясь, посинело.

«Хорошо что штанов снимать не надо!» подумал я и, загодя, снял пиджак, держу на руке.

А лисица положила моего оголенного спутника к себе на руки и пошлепала по голой спине, как шлепают по тесту.

«Готово, сказала она, следующий».

Я уже подошел было к столу, но среди моих конвертов никак не могу найти повестку, а без повестки не порют. И вышел я на лестницу искать по карманам. И нашел, наконец, подхожу к двери. А в дверях лисица:

«12-ть, говорит она, загораживая вход, перерыв».

«А как же я?»

«А впрочем на порку нет перерывов, и она протянула мне руку, рука у нее мягкая, как хвост, пожалуйте!»

О ТЕБЕ — НАТАША

А год идет и другой прошел и третий к концу, нет вестей из Киева. Слышу, у того убит, у этого пропали. Жизнь моя серо-пегая — мне что ночь, что день. В затворе живу, редко нос когда высуну на улицу, а из окна плохо видно. Сны мои ярки и по всем дорогам нет мне заставы: на Москву ли, в Киев или прямо на серебряную гору к Далай Ламе. Куда поведет мой поводырь — моя белая палка — туда и иду. И однажды сон привел меня в Киев — моя тревога. И потом все-то оказалось как во сне увидел о тебе, Наташа, твой последний час.

Разбирал я старый альбом, храню с Петербурга: а затеял я переписать стихи. Но мне мешают. И я перехожу из комнаты в комнату, прилаживаюсь — и ничего не выходит. Наконец, залез под стол, — «тут, думаю, свободно, никакие чужие задние лапы мне не помешают». И опять горе: ничего не могу разобрать, темно. И дол-

жно быть, я заснул под столом. Кругом зелень и все холмики, и такая тишина, разве что в метро, как запрут на ночь входы, такое. Я посмотрел вверх: прямо над головой скала и корни торчат, а выше — груды скал и развалины. А под ногами пропасть. «Кусок мира!» говорит кто-то. И меня как шибануло и я очутился в сторожке. Хочу за собой дверь захлопнуть, а кто-то все руку подсовывает. И я проснулся. И не под столом, скорчившись, лежу я с альбомом на столе. В комнате никого, мешать некому, но у меня пропало всякое желание переписывать стихи. И я присел к окну и задумался. Я думал о неизбежном, и что я не успею. Перед домом складывают алебастровые площадки — разнообразные геометрические фигуры. И когда вся эта паутинная постройка поднялась вровень с моим окном, кто-то меня окликнул. В этом оклике я смутно что-то понял. И сейчас же, подвязав себе рыжую бороду, выхожу на улицу. Огненный — не я — иду по улице и не иду я, а верчусь. И вертясь, погружаюсь во что-то смутное и осязательно темное с разорванными образами чувств. И дойдя до кишащих черным туманом прудов — месива змей, я с болью затаился. И всем зрением своим — оно кувыркалось, пробивая пространства — я как врезался в стену и сквозь стену — глаза мои щупальцы — смотрю. Я слышу, течет вода, — в больницах поутру такая вода; моют пол в коридоре. За окном тихо падает первый снег — как легко и уверенно, а мне безнадежный. Белее снега — иссиня-снежно окостенело на ее лице и я не узнаю моих губ — не заря их зорит, а крещенская синь: последний, до горлышка глубокий, поцелуй. Я приподнял липкую простыню: какая жалкая, твоя, теперь погасшая, грудь! И невольно ищу в судорожно скорченных пальцах — в этих глазах немых мои волшебные сказки. «Наташа, что с тобой такое сделалось?»

«Съели все конфеты, не осталось ни одной!» — вырвался чей-то голос, словно ничего-то вообще не значит, все безразлично: Богородица ли — мать со стрелою в сердце у креста... все равно.

И вижу стоит Блок. И вспоминаю: да это стихи Блока я хотел переписать из старого альбома.

Из дела о Ефремовском пушкаре Стеньке Корагове, 11 ноября 1648:

«...сказывала де ему, Степанку, бобылка его Агафьица сон, как он Степанка, переставит избу свою и сени у ней сделает, и ему, Степанку, быть на царстве. А он, Степанко, тому бесовскому мечтанию поверил, и избу свою переставил».

Помета: «Государь сей отписки слушав, указал бить того мужика батоги: не верь в сон».

Из грамоты ц. и в. к. Алексея Михайловича в. Р. в Ефремов воеводе Я. Т. Хитрово:

«у Приказные избы бить батоги нещадно, чтоб на то смотря, иным таким неповадно было в сон верить».

МОЙ ЦВЕТОК

Такого цветка ни у кого нет. И всякий день, бывало, полью и любуюсь. Да вот все дела, навалились заботы, не успеваю. Я не забыл о своем цветке, а уж сколько прошло, и за все это время ни разу не взглянул на него. И теперь мне очень стыдно: неполитый и откуда-то трава пошла. И я решил: пересажу, выпалывать корням больно. Я взялся за стебель и приподнял. И мне показалось, в комках из-под корней что-то блеснуло. Я нагнулся проверить: или это стеклышко? И в ужасе оцепенел: не стебель держал я, а скользкую змею. А когда я очнулся, вижу, не змеиная пасть, а кротко смотрит на меня золотая рыбья голова. И расщепив красное зубчатое перо, не успел я за карман схватиться, как рыба прошла через меня и я бултыхнулся в теплый пруд и остеблел кувшинкой.

У ГОЛЫХ

Попал я к голым. В бане тоже голые и на пляже нагишом ходят, а тут «голое общежитие». И только на мне одежда.

«Не очень-то ловко этим естественным щеголям», подумал я, глядя на тельное однообразие вывихов и одутлое.

«Было б неловко, если б мы вдруг да оделись!» сказал один из гнутых, подслушав мою мысль.

«А разве так зазорно в платье?»

«Отвычка и шерстит: до грехопадения никаких покровов не знали и портных не звали».

«А какой самый большой грех по-вашему?»

«Самосовершенствование, сказал гнутый, без боли другому не обходится или огонь погасить. Но мы, голые, в этом не повинны, в пожарную команду нас не примут, да мы и сами не пойдем».

«Я тоже не стремлюсь в пожарные», согласился я, почувствовав что-то и еще под голой словесной мелью и, отойдя в сторонку, снял сапоги раздеваться.

КАЧЕЛИ

По узкому трясущемуся мостку от скалы к скале. А чтобы ступить с мостка на берег, надо или перепрыгнуть,

что и делали другие, обреченные переходить, хочешь не хочешь, над пропастью, они протягивали мне руки, или стать на перекладину — тоненькая дощечка, прикреплена веревками к какому-то гвоздю, за туманом не видно, — а с этой перекладины шаг, и ты на берегу.

Я ступил на дощечку. И только что успел схватиться за чьи-то руки, как перекладина качнулась и пошла качелями вверх и вниз.

И я взлетал на этих качелях и кто-то еще со мной — мы качались над пропастью. Дух захватило.

ПО МОРЮ — ЦВЕТАМ

Мы плыли по морю. Я с палубы смотрю: чем дальше, тем море мельче. И все мельчает и совсем ушло.

Мы пересели в автомобили и едем по дну. Цветы по дороге и чем дальше, тем гуще: цветы без стеблей, белее моря, а колышутся волной. А вдали синеет море, высоко подымаются белые волны. И я замечаю, море все ближе — между цветами бежит вода.

Тогда на автомобили поставили мачты, и я полез на мачту.

ПЕСОЧНОЕ СУКНО

Все по горам, а везем мы в высоких телегах песок — полные телеги — красный песок. Едем мы к деревне. И приехали. У околицы встречают бабы: «Этто, говорят, из этокого песку мы сукно ткем».

БЕЗ ЦВЕТОВ

Я проходил по зацветшему полю. Пел жаворонок. А с придорожного луга доносило свежестью скошенной травы. Навстречу мне две путницы, деревенские цветные, несут корзину, полно цветов. И среди полевых, я вижу, сама как полевица, таращится маленькая девочка.

«Куда идете?» спросил я.

«По цветы».

И я пошел за ними.

Молча, без разгада гадая, дошли до озера.

«Вот твои цветы!» чего-то засмеясь, сказали мои спутницы, показывая на озеро.

Я постоял на берегу. Никаких цветов. И с пустыми руками пошел назад.

Цветя, колыхалось поле. Пел жаворонок. Свежим сеном доносило с лугов.

И вдруг я увидел: из колосьев глядит на меня та самая девочка, что встретил, несли в корзине с цветами. И наклонясь, я почувствовал, как стебельки, ее руки: обнимая меня за шею, она по-детски не на ухо, а в нос:

«Возьми меня с собой!»

Я ее поднял, усадил к себе на плечи. Но и шагу не сделал, как все переменилось и уж дороги не видно. Впотьмах колебалось — это туча туче шла вразрез и только над головой воронкой просачивался зеленью свет, а какие-то птицы, вия змеиными хвостами, немые уносились ввысь. И под шипящий лет свет погас.

Я стоял на поле без пути среди ночи. И вдруг издалека знакомый детский голос:

«Возьми меня с собой!»

А ведь я и сам не знал, куда себя девать.

РАЗ-ПЛЮНУТЬ

Строится громадный домина без фундамента, а в середке канат, так над землей канатом и держится. А стоит канат перерубить и все здание рухнет. Но кому придет такая мысль, да и зачем.

Темное дело: я залез под дом, нащупал канат — «говорят, мудрено справиться, канат морской — а мне, думаю, раз плюнуть»! — да топором по канату — и не могу остановиться и пусть рука горит, топор огонь, а рублю. И когда, наконец, канат стал поддаваться и наступила решительная минута — рухнет вся эта громада, в этот миг моего неистового ража и исступленного восторга, кто-то сверху плюнул на меня.

КЛЕЙ-СИНДЕТИКОН

Убирали комнаты перед праздниками — для меня самое тягостное, разве что сравнить с переездом на новую квартиру.

С потолка щетками распылили закопченную пыль и паутину, вымыли окна и подоконники, принялись мыть пол. Но как ни старались, отмыть не удалось, такая накопилась грязь. И от босых ног следы.

Уборкой заправлял какой-то шершавый с собачьей мордой, я его в первый раз вижу, а говорили, что его всякая собака знает и что всякая грязь, от одного его дыхания, испаряется, как летучая жидкость на солнце. И этот солнечный собачий пылесос видя, что толку нет, подал лапу и скрылся.

Оставшись один, я осторожно заглянул под кровать. Так и есть — или не отодвигали?

«Вот где она сидит, подумал я, эта грязная жила!»

И так мне стало досадно, так не хотелось гнуть спину, просить кого или самому пачкаться, скинул я с себя все до рубашки, взял порядочный тюбик «синдетикону» — из клеев самый крепкий — вымазался как следует, лег на пол и давай кататься.

РОЗАНЧИК

Тихий осенний дождь пылит сквозь густой туман. Глазам спокойно. Иду, не зная куда. И очутился на тротуаре, — узкая улица, высокие дома. Проходят мимо — тут и женщины, и мужчины, и дети, и у всех на плече корзина, а в корзине хлеб.

«Дайте мне розанчик!» попросил я: я выбрал самое малое, что есть еще меньше розанчика?

Какой-то из прохожих приостановился и подал мне розанчик.

«Зверей выпустили!» крикнул кто-то, так кричит только очень пьяный или со страха.

И красным ударило мне в глаза.

Волной вырастая, они наступали. Черные, дымчатые шкуры, гривы, хвосты и маслянистые желтые пятна на брюхе.

Я стоял один, в руках розанчик, и на меня разинутые пасти — огненными маятниками ходили языки.

«Нате вам, звери, розанчик!» сказал я, высоко над головой подняв румяный хлебец.

И на мои робкие слова все звери, и большие и малые, серые и черные, одноухи и однозубы, рогатые и

кусатые, пригнули лапы; но не бросаться на меня, а хапнуть розанчик.

СВЕТЕНЬ И ДЕВОЧКА В ЛОХМОТЬЯХ

Я стоял в тесной сводчатой комнате и гляжу в окно. Я глядел туда за окно в зеленый весенней зеленью сад. Сзади кто-то обнял меня. Я повернул голову и замер, так необыкновенно было мое чувство: тот, кто стоял за спиной, смотрел на меня с упреком, потом кротко и с какой любовью! Весь он просвечивался, а глаза светились, юный, а как много он знает.

«Если бы и всегда его руки лежали на моих плечах. Если бы никогда не расставаться!»

И я увидел, в углу у окна, девочка закутана рванью, из лохмотьев протягивает ко мне ручонки.

Я нагнулся и, жалея, покликал. Но его не было. И как это случилось, куда он скрылся и почему меня покинул?

Девочка перестала плакать. Она улыбалась.

А за окном дождик — зеленый дышит.

ВЕРЕЙСКИЙ ТИГР

Я — тигр древнего, засыпанного пеплом, каменного города, рожден по указанию Бога, дух мой обречен на терпение по пророчеству царя Давида. Аз есмь до века, во веки и век веков.

Лениво и удобно я лежал в «Летнем саду» на дорожке около памятника Крылову и глазел на прохожих. Гуляющих было мало, смеха не слышно, только кое-где хихикали. Насупясь, проходили по своим делам и дело каждого выставлялось таким важным, словно бы от свершения его зависело чуть ли не спасение всего мира. Я видел лишь спины, я, только по словам, долетавшим до меня, мог догадываться о лицах и какие у них глаза. Возмущение подняло меня на мои крепкие ноги, в ярости вскочил я на «Домик Петра» и, вонзив когти в соседнее дерево, принялся совестить и доказывать всем «благодетелям», что они обманщики и не совершить им и самого пустяшного дела: их зрение мутно, дряблые души.

— Обличая, я замолол такую чепуху, что и у меня самого помутнело в глазах, душа обмочалилась, а лицо перекосило. И вдруг я превратился в птицу.

Я так громко пел, не было уголка, где бы не раздавалась моя песня. И оттого, что все меня слушали и потому что, как раз на том самом месте, на солнышке, где я любил петь, была искусно подвешена клетка, а я знал, что рано иль поздно меня поймают и посадят в эту клетку, стало мне опасно жить птицей.

И вот, чтобы как-нибудь спастись и остаться на свободе, я, опустив крылья, вороватой лисой прокрался на Верейскую в самый грязный кабак «Веселые острова» и, протолкавшись, было пьяно и людно, присел к первому попавшемуся столику, а для отвода глаз спросил себе бутылку забористого пойла.

И тут какая-то Саша Тимофеева, присоседившись ко мне и, охватив меня за шею, лезла к лицу.

«Милый друг, увези меня куда-нибудь подальше!» говорила она, широко до нёба раскрывая свой красный рот и похрустывая желтым кожаным поясом.

И по мере того, как лицо ее с огромными серыми без зрачков глазами приближалось ко мне, тонкие паутинные сети медленно опускались с потолка. Я с ужасом чувствовал над головой эти птичьи сети, свой неизбежный капкан. А когда глаза моей соседки слились в одно серое стекло, сеть коснулась моего темени и острый крючок вошел мне в живое. А зацепя, чуть дернул и грубо поволок меня через Сашу, через стол вверх — по потолку.

ОБЕЗЬЯНЫ

Нас стянули со всех концов света: из Австралии, из Африки, из Азии и Южной Америки. И я, предводитель шимпанзе, опоясанный тканым, гагажьего пуха, поясом, ломал себе голову и рвал на себе волосы, не зная как вырваться из цепей, которыми мы были скованы и по рукам и ногам, и улепетнуть на родину.

Но было уже поздно.

Прогнав по целине через поля, нас выстроили как солдат на «*Марсовом поле*» и герольды в золоте со страусовыми перьями на шляпах, разъезжая по рядам, читали нам наш горький приговор.

Нас, свободных обезьян, обвиняли в распутстве, злости, бездельничанье, пьянстве и упорно злонамеренной вороватости, и признавая необыкновенно блестящие способности к развитию и усовершенствованию породы, приговаривали применить к нам секретные средства профессора Болонского университета, рыцаря Альтенара, потомка викингов Гренландии, Исландии и Северного Ледовитого Океана.

Со слепой материнской любовью и негодованием я следил, как, по совершении всех шутовских церемоний, началась расправа.

Эти богобоязненные умники, потехи ради, прокалывали нас, глупых обезьян, сапожным шилом и потом били железными молотками, а другим намажут шерсть мягким горячим варом и, закатав в массе вара веревку и прикрепив к телу, продергивали в хомут свободной и сильной лошади и под гик и гам волокли по земле, покуда не издохнет замученная жертва, третьим же тщательно закалывали губы медными булавками... И много чего еще было сделано, как обуздание — потехи ради.

Когда же «Марсово поле» насытилось визгом и стоном, а земля взбухла от пролитой обезьяньей крови, а зрители надорвали себе животы от хохота, прискакал на медном коне, как ветер, всадник, весь закованный в зеленую медь, — высоко взвившийся аркан стянул мне горло. И я упал на колени.

И в замеревшей тишине, дерзко глядя на страшного всадника, перед лицом ненужной, непрошеной смерти, я, предводитель шимпанзе Австралии, Африки, Азии и Южной Америки, прокричал гордому всаднику — ненавистной мне смерти — трижды петухом.

ВЕДЬМА

Я попал в какой-то нежилой дом. Все есть, и стол и стулья и ковер через всю комнату, а пусто. Но я не один, со мной у стены учитель латинского языка Пролейбрагин, громкая фамилия, а прозвище «алхимик», весь в черном, слепые черные очки. И как только я его увидел, передо мной все закружилось.

«Смотрите в окно!» говорит он; или догадался, как мне жутко: в моих глазах кружились зеленые карапузы, вот с ног собьют.

Я поднялся и к окну. А что-то тянет назад и я невольно обертываюсь, — передо мной в зеленом облаке, не знаю кто она, ребенок на руках.

«Если ее перекрестить, говорит алхимик, смотри, она исчезнет».

И я истово большим крестом перекрестил ее раз и в другой. А она смотрит на меня с недоумением и вижу, сама перекрестилась.

И черный алхимик Пролейбрагин вдруг исчез.

Я было к двери. «Догоню, думаю, расспрошу, куда я попал? А если там еще страшнее?» И остановился.

И вижу: приподнялась с дивана — или это мать тех зеленых карапузов или карапузы сбились в кучу? — это была коротконогая без шеи, живот под подбородок и плоский нос над румяным, растянутым до ушей, ртом.

«Не этим надо!» и сверкнув колючими глазами, она махнула красным одеялом.

Я почувствовал, как холодный ветер прошел через меня, но я оставался на месте, а та, с ребенком на руках, стала изменяться: нос, вспухнув, закрыл губы, а глаза выскочили и повисли, как два, наполненные серой жидкостью, мешочка.

Ведьма махнула со злым кряком еще раз красным.

И я видел, как таял на руках матери ребенок: отвалились ноги, потом руки, — и в воздухе повисла сморщенная голова — сохлый шипок.

КОЛЯДА

Узкая, очень высокая комната и нет окон, а под потолком лампочка. Посреди комнаты кровать под пологом. Я осторожно приподнял одеяло. И отшатнулся: на простыне, как разбухшая миндальная кожура с черными пятнышками на спине, такие отвратительные насекомые, штук шесть.

«Вот до чего довели!» и, негодуя, я отошел к двери: я хотел сейчас же идти все высказать и с кем-то расправиться.

На пороге стояла вся в белом, золотая елочная корона на голове и белый свет шлейфом лежал у ее ног.

«Завтра у вас елка», сказала она.

А я подумал: «какая насмешка, наша елка!»

«Да ты меня узнал?»

«В первый раз вижу».

«Я Коляда».

«Коляда!» обрадовался я.

«Ты сам не знаешь о чем просишь».

И я вдруг вспомнил о тех отвратительных миндальных шкурках...

«Да они заводные», сказала она.

«Игрушки!»

И я попал куда-то в подворотню и вижу как рисуют: на пчельнике старик сидит: заботы отошли — млелый мирный сон и греет солнце.

ДВОЙНИК

В эту ночь я долго ворочался и не мог заснуть: то зяб, то мне казалось, какие-то алжирские блохи прыгают по мне. И когда, наконец, после мучительного предсонья — плыв образов из жизни — сон меня одолел, я очутился в просторной комнате.

Я лежу навзничь на своей кровати и странно, в то же самое время вижу себя на той же кровати, но как он не похож на меня.

И вот он поднялся и пошел узким коридором в другую комнату. Я слежу за ним. Ну что у него общего со мной, какая решительность, не моя, и зоркость, ничего от близорукого, и одет он по-своему, алый выцветший плащ из Фауста. Он подошел к кровати, нагнулся над спящим, закутанным с головой в одеяло и, не будя, со злобой рванул из-под него простыню и пальцами, как когтями вонзаясь, теребил, вымещая свою неутоленную обиду.

Моя дикая душа пьянела. Я видел себя — я был готов в огонь и вниз головой в пропасть.

Но тут сон меня вышиб. Брошенный лежал я и только прислушивался. В комнате кроме книг и игрушек ничего, а кто-то квакал.

ТАТАРИН

Взбирался я на башню — лестница узкая, крутая. Говорили, что стоит достичь верхней площадки и там будет облако и на этом воздушном каюке плыви куда хочешь.

Я еще не знал, куда мне плыть, меня занимало облако, на котором я усядусь путешествовать. И не задерживаясь, я подымался.

А вот и последние ступеньки и, наконец, площадка. Я вышел, смотрю — и что же вы думаете, никакого облака, а торчит татарин-старьевщик и руки у него такие длинные, до земли доходят и там вроде как траву выпалывают, пальцы в безостановочном, кропотливом движении.

Я было назад. А уж он меня за шиворот. И я задрыгал ногами над его головой? — расшитой шелками тюбетейкой.

«Коран читал?» спросил он.

«Не знаю». Я хотел сказать: «не дошел».

«А туда же лезет, индейный паразит, с чужого плеча рвань!»

И я без возражений шлепнулся на землю в теплый гусиный помет.

ГУСИ И ЛЕБЕДИ

Провалился железнодорожный мост, наш вагон упал в реку. И все потонули. А я, каким-то чудом, оказался на берегу. И очень мне неловко: нагишом гулять без привычки — и задумал я, сделаю себе из цветов хоть приблизительную попону. И вхожу в реку. Нарвал кувшинок. А по реке далеко мелькает лодка. Я заторопился. И вот плавно, чуть колеблясь, стала подо мной земля отходить. И я догадался, что лечу.

Я летел над рекой.

Было тихое утро. Так бы все лететь мне! А по реке плывут гуси да лебеди — речные белые звезды — гуси и лебеди.

НЕ МОГУ УЙТИ

Стою под деревом. Не видать вершины, такое высокое. Скрипит дерево, а я как прикованный.

Скрипит дерево, падают листья, а сверху ветер или, сам по себе, как перед падением, гул идет. И в этом гуле мне весть о моем неизбежном.

И отдаю себе отчет: меня задавит. И не могу уйти.

ВОЛК

Послали меня в лес за орехами.

«Ступай, говорят, собери нам орехов побольше».

Вот я и хожу от дерева к дереву — мне в лесу, как впотьмах — и ни одной орешни.

И наконец, напал. Да только ни одного зрелого, все орехи зеленые.

«Все равно, думаю, понесу зеленые, коли уж охота такая пришла».

И нагибаю ветку, но, только что нацелился, хвать из-за куста волк на меня, таких, из сказок, я представлял себе волков.

«Ты что ж, говорю, волк, неужели съесть меня захотел?»

А волк молчит, разинул пасть.

И опять я вспоминаю:

«Не ешь, серый, я тебе пригожусь».

А сам себе думаю: «на что я пригожусь?»

И пока я так раздумывал, волк меня съел.

С приятным сознанием исполненного долга, я проснулся.

ДВЕРИ

Она сказала мне:

«Эти двери мы взяли с собой. Нельзя было оставить их в старом доме. Ты знаешь, как они нам дороги». Чуть дотронулся я до двери — и те старые двери, плавно раскрывшись, бесшумно затворились за мной.

Но когда я остался один, моя комната мне показалась и тесной и одинокой. Я схватился за ручку двери и изо всей силы нажал открыть, но дверь не поддалась. И я принялся кулаками колотить и зову.

И, выбившись из сил, беспомощный, упал у порога и слышал, как колотилось сердце за старыми чугунными дверями.

«Привидения являются только больным, но ведь это только доказывает, что привидения могут являться не иначе, как больным, а не то, что их нет самих по себе. Привидения — клочки и отрывки других миров, здоровому человеку их незачем видеть, здоровый человек есть наиболее земной человек, должен жить одной земной жизнью для полноты и порядка. А чуть заболел, чуть нарушился нормальный земной порядок в организме, тотчас и начинает сказываться возможность другого мира, и чем больше болен, тем и соприкосновений с другим миром больше».

Достоевский.
«Преступление и наказание»

«Многое на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным, с миром горним и высоким, да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных».

Достоевский.
«Братья Карамазовы»

БЕЛЫЙ ГОЛУБЬ

Из скворешни вылетел голубь — и как они там помещались: скворцам довольно, а голубю не повернуться — целая стая. И один из всех белый поднялся над всеми, и очертя белым кругом на синем, камнем упал под скворешник.

Я его поднял — как билось в моей горсти живое сердце! — и, высоко его подбросив, я крикнул вдогонку:

«Лети, догоняй свою стаю!»

И еще раз и в третий раз, каждый раз взлетая все выше, падал голубь к моим ногам. И голубиное сердце под белыми крыльями перестало биться.

Я его погладил и, закрыв ему красные глаза, поместил, как белое пугало, в скворешник.

ПОБЕДИТЕЛЬ

Раскаленная, легким покрытая пеплом, степь. Два бойца, оба в красном, схватились друг с другом. Какие огромные на дымящемся горизонте. И тот, что был ярче, одолел. Я бросился к победителю и, схватив за руки, укусил. И не вынимая зубов, захлебываясь в густой темной крови, смотрел в его помутневшие глаза, я знал, он вырвет руку и этой окровавленной рукой прихлопнет меня.

И кровь, заливая, душила меня.

КОНЕЦ ВЕРЕВКИ

Вот, говорят, конец веревки: мне надо ее не раскручивая разорвать. Веревка тугая: канат. И знаю я, не слажу, а тяну и тереблю, расщипываю пальцами по нитям. И под упором веревки вспоминаю, что уже однажды такое со мной было. И еще упорнее я налег на неподдающийся конец. Из сил выбиваюсь, а не могу бросить и дух во мне играет: я никогда не отстану и до смерти не сдамся.

ЧЕРТ И СЛЕЗЫ

Я не дома, а где-то у моря и не один, а со мной Федор Сологуб, автор «Мелкого беса». Всякий день мы купаемся в море: сперва он, потом я.

Нянька Карасьевна рассказывает:

«После них я выловила маленьких чертенят, а после вас вот такого черта».

Карасьевна руки растопырила, показывает, какого такого черта она выловила. Я не знаю, что ей ответить и отвожу глаза: как раз против окна береза.

У березы белый конь стоит. Смотрю на лошадь. Воробей пролетел, порхнул на коня, стал коню глаза клевать. И выклевал — кровь потекла.

И я чувствую, как во мне подымаются слезы.

ПТИЦА

С дивана вижу; около книжных полок птичка вьется. Я так ей обрадовался и говорю:

«Здравствуй, пичужка!» и потянулся рукой поймать.

И поймал: горячая и клювом дергает, словно чего-то ищет, а как сердце стучит: испугалась. Да порх! — и в окно.

Я к окну. Но тут точно толкнул меня кто: я обернулся, а там, на диване, где я лежал, чернеет дыра. Я к дыре посмотреть, стал нагибаться и полетел вниз головой.

ЛЯГУШКИ В ПЕРЧАТКАХ

Я прятался в каюте парохода, но те, от кого я прятался, песьим нюхом отыскивали меня. Все они с человечьими лицами, а туловище было лягушиное и на руках перчатки.

Они были очень вежливы, не простые разбойники, они давили меня своим мягким лягушиным брюхом, они ласково забирались ко мне под рубашку, будто гладя, пальцами надавливали мне на сердце.

На окне сидит галка и кричит.

Я знаю, сейчас она сядет мне на плечо и мне не уберечь моих глаз. Отбиваясь от лягушек, прошу мою черную гостью:

«Пощади мне глаза, говорю, я тебе жемчужную ленточку на горло навяжу, я тебе отдам мои руки, левую и правую и перчатки».

ЖАРЕНЫЙ ЛЕВ

Убегал я от львов: их целая стая гналась за мной. А за львами народ бежит с вилами, хотят львов поймать. Я бегу, а сам думаю: «уж теперь-то мне конец пришел!» А львы погоню почуяли, да кто куда — все разбежались. И остался всего один лев.

И нагнали льва — и небывалое дело, зацепят вилами, а сдерется не кожа, навоз отпадает. Бились, бились, да как набросятся грудой — и кончили льва.

А когда вилами зацепили льву голову, оказалось, что лев — жареный.

ГОЛУБАЯ ЛИСИЦА

Осень — хлеб в снопы сложен, только ячмень стоит, усы торчат и стелется горох. Так объяснил мне мой спутник. Идем по полю мечтая. Откуда ни возьмись лисица, да такая большущая здоровенная, хвост — шуба.

«Бросится на нас, съест», так подумалось и, ни слова не говоря, пустились мы догонять лисицу.

И догнали. И поваля, придушили. А нелегко было, такое чудище. И мертвая, голубая, мягкая лежала на земле лисица, задрав лапы.

Содрали мы шкуру и на костер, подпалили. И принялись за еду.

И всю съели.

А как съели, тут я спохватился.

«Что мы наделали, говорю, какая вышла бы муфта, какая шуба!»

А уж поздно: съедено и костер погас.

НА ПОЛЮС

Едем на полюс, так все мы знаем. А плывем мы по узкой речонке вроде канала. Мой спутник, шершавый, закутан в синюю столовую скатерть, правит веслом. И как-то так произошло, что мы и приехали на полюс.

Стоит на полюсе каменный дом, а около дома народ и все суетятся и о чем-то спорят.

«Что случилось?» спрашиваю моего шершавого синего спутника.

«Да на пароходном чердаке вора ищут, все семь дворников, весь чердак обыскали, а нашли всего-навсего старый пиджак, а теперь трое сидят там караулят».

«Пропадет наше белье!» подумал я.

«Да пожалуйте в эмалированные комнаты», сказал шершавый и загоготал.

ЗМЕЯ-КОШКА

Лежит бурая змея, одна шкура осталась, вся сохлая. Я потрогал за горло, а внутри, чувствую, копейка стоит, застряла. Оттого змея и высохла, подавилась.

Бежит кошка, бурая как змея: серые усы, зеленые глаза. И прямо в пасть к змее, только хвост стелется. Но и хвост в змею вошел — и с кошкой закружилась змея, так и кидается из стороны в сторону и в пырь и швырком.

Я было отскочил и сам думаю:

«Чего-то трогать нельзя, так это мне не пройдет!»

А уж что-то вцепилось в меня и сам я закружился кошкой-змеей.

ПОЖАР

Огромный дом, этажей не сосчитать. Народ вокруг — и все о чем-то говорят, показывая на дом. Не знаю, зачем это мне, я протолкался до дверей и вошел в дом.

Перехожу из комнаты в комнату, я ищу чего-то. И попадаю в тесную, как клетушка, окно в стену. И вдруг вспомнил: да ведь это моя комната — вот и обои серые с пунцовыми разводами, а тут стоял мой стол, тут...

«И с тех пор, подумал я, все пошло по-другому, бесповоротно».

Я был один, но я чувствовал, что и еще кто-то, и я все спрашиваю о нашем бесповоротном: «возможно ли вернуть и как мне забыть?»

«Пожар!» донеслось со двора. И с улицы: «Пожар!»

И я почувствовал, как стены подходят ко мне и стол лезет на меня. И слышу, в пустых комнатах кто-то запел. И я узнаю памятное мне, все оттуда. И весь я, как выструнился. И вдруг чем-то горячим обдало меня и моя комната вспыхнула.

И мне стало весело.

И я подумал: «дай проснуться, я отыщу этот огромный дом, найду и эту комнату и подожгу».

МЫШКА

Завелись в доме мыши, бегают. Я подкрался и одну поймал за хвост. А она хвать — и укусила меня за палец. И из пальца выросли длинные волосы. Я выпустил из рук мышку, она упала на пол, сидит и не уходит.

«Разве можно так, надо приласкать!» сказал кто-то из-под пола.

И я нагнулся, взял мышку за лапу и погладил и уж она на шею ко мне, вытянула мордочку.

ПО КАРНИЗУ

Скользя руками по карнизу, ноги вниз, передвигаюсь по нескончаемой крыше. Под руками отваливаются гнилушки, соскальзываю — и хотелось бы упасть, что ли, чтобы конец. Но продолжаю передвигаться. Мелькают деревья, реки, речки, дома.

ДЕМОНЫ

Я лежал прикован цепью к железной кровати. Сердце мое рвется на части. И за что же эти гробовщики похоронили меня — ведь я не сделал им зла. Или вся вина моя в том, что я вижу, слышу и чувствую слово?

И когда я так терзался о своей судьбе, трое посетили меня. Двух в первый раз вижу: тихие, слабые и что я им, не могу догадаться. А третьего, хоть он и старался в моих глазах переделаться, я сразу узнал по голосу: это сосед меховщик с шишкой на непоказанном месте, торчала на лбу между бровей единорогом: он почему-то всегда злобно глядел на меня, когда я прохожу мимо его окон.

Все трое притворились доверчивыми и наивными и лепетали надо мной. Но я хорошо понимал и не ошибся: они подбирались к моему горлу: на их пальцах я читаю «задушить».

«Ну, нет, подарком вам не достанусь! твердо решилось во мне, я накормлю вас овсянкой!»

Из последних сил я рванул, разорвал свою цепь и на чертей с кулаками.

От одного остался мне на память клок волос, другому прокусил палец, а третий, это был как раз меховщик с шишкой, поддавшись, и мне оставалось только прихлопнуть, врасплох подпрыгнул к самому лицу и какой-то дрянью замазал мне рот. И я задохнулся.

ПЫЛЕСОС

У меня было двенадцать подземных комнат и двенадцать ключей — их у меня отняли. Я набрал на дворе тряпок. Ключи и тряпки унесли в кладовую, куда мне доступ закрыт. А Солончук, без которого я шагу не ступаю, щелкнув меня в лоб — «рука всевышнего», ушел от меня.

До потери голоса спрашивал я себя, что же такое случилось, кругом такая нищета и сам я ни на что не похож. Я не смею больше сказать: «я хочу». Пустая комната и только рукописи — мои недостроенные книги.

И все-таки меня грабят — мое последнее дыхание и не могу согреться, стужа вледнилась в меня.

Я тихонько сполз к консьержке и тычусь головой в пылесос — единственный для меня выход, так и распылюсь.

И чувствую, как в глазах зеленеет.

А со стены из объявления вышел Солончук и, не говоря ни слова, подал мне ключи, ворох тряпок и мешок ржаной муки для заварки густого клейстера.

ЖАНДАРМЫ И ПОКОЙНИК

Из серебра выплыла бархатная рыжая барсучья морда, помигала мне длинными сахарными клыками и скрылась.

В старом московском доме в Большом Толмачевском переулке, в памятной мне комнате с окнами на широкий двор с конюшней и курятником.

Она показывает мне альбом — засушенные цветы и о каждом спрашивает: узнал ли я или нет?

Все засушенные цветы на одно лицо и я мог бы по ее лукавой улыбке сочинять, но за меня кто-то отвечает: «нет — нет — нет».

«А эти, ты узнаешь? Это я!» и она подносит цветы к моим губам.

Я хотел сказать: узнал, но это были не цветы, а твои птички, и я уже не в комнате, а на дворе в собачьей конурке, запутался в соломе, вою. Собака воет с заливом. Перевыв все собачьи жалобы, я опять попал в комнату.

Весь стол в шелках для вышиванья, розовые мотки. Я присел с краю и задремал. И мне представилось, будто с цветами в руках входят три жандарма. И я очнулся. Но только что протянул руку взять ломтик ветчины, двери раскрылись и вошли три жандарма.

«Я вас во сне видел, говорю я жандармам, а куда же вы цветы девали?»

«Собака съела!» отвечают жандармы и по-собачьи облизываются: язык розовый, ветчинный.

И тут какой-то, подвинув на столе шелковинки, уселся против меня. Как он вошел, я не заметил. И глядя на него, я подумал: «с такого надо снять семь шкур, чтобы пришелся мне по душе».

«Ваш обвинительный пункт, говорит он, пронырливая меня глазами: переправляясь через реку, вы объясняли естественное происхождение имен существительных».

«Много вы знаете?» говорю, задирая, а сам думаю: «попался».

«Очень просто: кто-нибудь подслушал и записал», говорит следователь.

И я чувствую, что я выглажен и скатан: «без существительных» меня так легко схватить голыми руками.

И очутился в Гнездниковском переулке — или сами ноги вели меня в Охранное. И вижу, навстречу Чехов и с ним провожатый с песьей головой мальчик.

«Где же вы теперь живете?» спрашиваю Чехова.

«Да все в Москве, говорит Чехов, на Воронцовом поле, где жил Островский, дом под горой в репейнике на пустыре».

«А что же вы написали на пустыре — места мне с детства памятные?»

Чехов показал на своего спутника. Я понял, говорить опасно. И очутился в пустой церкви.

А посереди пустой церкви, как дрова, свалены покойники. Стал я вглядываться, а разобрать невозможно, все на одно лицо, как засушенные цветы. И один поднялся и вышел на амвон.

Он был, как все, без покрова, ноги измазаны дегтем:

«Ваш обвинительный пункт...»

ВЫБИТ ИЗ КОЛЕИ

Меня швырнуло и я очнулся в пустой комнате. И затаился: чувствую, под кроватью кто-то ищет поудобнее улечься: с боку на бок, притихнет и снова заворочается. И как это случилось, не заметил, оно выползло изпод кровати и поползло, вот брюхом наткнулось на мои сапоги, заворочалось и опять ползет.

Боюсь шелохнуться. Я знаю, оно близко, обойдет стул, наметится и прыгнет на меня.

БУХГАЛТЕРИЯ

Поезд стоял далеко за городом в поле и очень длинный. Я прошел все вагоны и задумал выкупаться. Но только что разделся, поезд тронулся. Я догонять, да куда там, не за что зацепиться. А мне говорят:

«Вот билеты, считай!»

Считать хитрость небольшая и разложить по номерам просто. А билетиков кипа и все пестрые, в глазах мелькает. Но я все-таки справился. И думаю, «догоню поезд». Но только что подумал, подсунули целую кипу: «считай и раскладывай». А сосчитанные смешали. И опять я считаю и раскладываю, да не так уж споро, но и на этот раз довел до конца и для порядку и старые и смешанные восстановил. Но ждать не пришлось, снова завалили меня билетами, а прежнюю работу, все стройные ряды — в кашу. Черт бы вас побрал!

МАТЬ

С террасы я смотрел на облетевший сад. Какой ясный день — «бабье лето»! По желтой от листьев дорожке пробирается старуха, вся-то оборванная и лицо мокрое. И я подумал: «неспроста идет!» Да скорее к двери и

по лестнице наверх. И слышу — да кому ж кроме, старуха бежит. Я в комнату — и она за мной, я в другую, а она тут как тут. Я в угол за комод, скорчился весь, закрыл глаза.

«Чего ты боишься, слышу голос старухи, я твоя мать!»

«У меня мать не такая!» а сам думаю: «одна из матерей?»

А она наклонилась ко мне — какие загубленные глаза! — да за шею меня, цап!

МАКАРОНЫ

Мой неизменный спутник, в природе не существующий, а только в моих снах и игре воображения, поднял меня на гору к кратеру. Стоим у самого края. Как всегда набалагуря, спутник-алабор перепрыгнул, а я упал в кратер.

И вот в черноте я цепляюсь руками за какие-то горячие чугунные вешалки вверх на землю.

И слышу, кричит:

«Вылезай скорей, я тебе макароны сварил в плевательнице, боюсь остынут».

А мне все равно в какой посуде, стылые или рот обжечь, лишь бы на свет!

To die, to sleep;
To sleep: perchance to dream: ay there's the rub
For in that sleep of death what dreams may come,
When we have shuffled off this mortal coil
Must give us pause...

Shakespeare, Hamlet.
Act III, Sc. 1.

ТОНЬ НОЧИ

Тонь — тоня — глубокое место, где ловят рыбу. Закидка невода: «в иную тоню воз вытащишь, в иную ничего». Не жалуюсь: порожнём не подымался.

Из тысячи снов я выбираю сто. В них моя взбудораженная душа, — так говорит мне мое наддушевное — мой горький страж: а он знает больше меня и, следя за мной, никогда не встревается в мою растерзанную жизнь.

Моя душа не богата ни глубиной, ни размахом. Подводя итог, я могу это твердо сказать. Правда, мечта меня не оставляет, источник моих желаний не иссякнул, чувства мои остры, да выше головы не прыгнешь.

В моих снах воспоминания, отклик на книги, события дня, игра слов и загадки-предзнаменования, которые открываются много позже, как в гадании.

О смерти моей дочери мне открылось во сне — «О тебе — Наташа». Подтверждение я получил через два года: нашли ее в больнице мертвую, это случилось при отступлении немцев из Киева 27 ноября 1943 г. Я старался воспроизвести мое сонное проникновение из Парижа в Киев и чувство непоправимой утраты, под знаком которой проходит моя жизнь.

Под тяжестью огорчений я спрашиваю, возможно ли не затягивать узел или против судьбы не уйдешь, а «он» не предостережет, да и разве послушаешься вовремя самому загасить огонь?

И еще приснилось мне, я видел подробности смерти близкого нам Вл. Вас. Диксона, я видел себя на дворе госпиталя и следил за приготовлениями. А однажды среди бела дня, глубоко задумавшись, шел я по авеню де Гобе-

лен, навстречу солдаты с музыкой и вдруг в моих глазах разорвалось пространство и я увидел — смотрел и ужасался, — было так близко и ярко, чего вернуть нельзя и никакая сила не восстановит.

А потом через много лет все так и произошло.

Редчайший случай, ведь обыкновенно приснившееся надо понимать наоборот.

Когда мне сказали, помер Иванов-Разумник, я не хотел верить, всего несколько дней, как было от него письмо.

И в ту ночь мне приснился Иванов-Разумник: «про меня говорят, что я помер, не верьте, сказал он, я жив, я только переменил имя». Я поверил и всех уверял, что Иванов-Разумник в Америке под чужой фамилией. А ведь, действительно, он помер.

В снах, как в гаданье, срок исполнения не указан. И только одно, что когда-то будет. Так случилось с моей «Ивицей», понятной мне теперь, через много лет.

По образам сна можно заключить, как живешь: нуждаешься или транжиришь. В сне «У хвоста» нищий с ручками вместо ушей, а есть выражение «ходить с ручкой», что означает попрошайничать. Небогато живется, коли такой сон приснился.

Убедительность сна — его жаркость (температура). Неотлипаемый, припеченный образ никогда не обманет, непременно обнаружится. Такой сон прожжет все препятствия, и осуществится. Я знаю такие сны, и последний — «Медведица».

Жаркие сны тягостны, их живое пламя тяжелое. А есть легкие живые сны и без всяких последствий. В них простое сравнение неожиданно превращается в вещь — кошка, поставленная, как цветы, съела цветы.

Живостью отличаются и сны «легкого сердца». Начало их мрачно: у тебя все отнято и нет надежды получить обратно, но тут что-нибудь совсем неподходящее, пылесос, глотающий с пылью бумажки, неожиданно, забрав в свою прожорливую пасть и тебя, восстанавливает порядок — и к твоему удовольствию, отнятое возвращается («Пылесос»).

Или как в «Жареном льве» угрожающая опасность рассеивается неожиданным обнаружением, что лев не живой, а съедобный.

«Творчество, как сновидение». А и в самом деле, откуда вдруг приходит мысль, вдруг возникает образ?

О смерти Авраама я читал в апокрифах и мне приснился Авраам, вознесенный на небеса, расправляется, карая грешную Божью тварь, и вдруг видит, издалека плывет черная точка и в ней узнал он лицо человека — это был обиженный им человек. А этот образ, может, невольно обиженного, возвращает Авраама на землю. По моему жаркому чувству, я как бы находился в эту минуту с Авраамом, с его заговорившей совестью избранного и все-таки в кругу грешной Божьей твари («Трава-мурава» и «Плачужная канава»).

Та же острота чувства и яркость видения мне говорят, что я был среди демонов в «воинстве» Сатанаила в тот крестный час смерти Христа, в дни, не отличить от ночей, когда померкло солнце и звезды, это наши глаза звездами прорезали смятение тоскующей твари. Я провожал Петра, когда пропел петух и раскаяние выжгло мои слезы. Я с грозным архангелом стоял перед крестом, я не мог помириться, и за архангелом я требовал разрушить закон жизни — сойти со креста. И я стоял перед трепетавшей осиной, мое отчаяние глядело в закатившиеся глаза Иуды. И я же был той пичужкой-песней, пробудившей Богородицу от бесчувственного сна в черный день крестной муки («Звезда надзвездная»). А в толпе скоморохов на пиру у Ирода музыкой разжигал «Иродиаду» и бесновался в ее лебедином взлете («Лимонарь»). Я с Николой прошел всю русскую землю и путями друидов от Нанси до Нанта.

Как много я видел беды на земле и откуда столько злобы среди людей, но мне не забыть и горячее человеческое сердце, его тихий свет («Три серпа»).

И по стопам Богородицы, я прошел все подземные дороги — ад. И проснулся.

Но, видно, мое, отравленное горечью, сердце ожесточилось. Мне больше не снятся святые и двери в тайну судеб мира для меня закрылись.

* * *

Из истории я видел во сне Ивана Грозного, первопечатника Ивана Федорова, протопопа Аввакума или, как писалось в старину, Обакума, Петра Великого («Воронье перо» и сон «Обезьяны»). Из писателей мне снились: Лев Толстой, Достоевский, Пушкин, Хомяков (Сон в «Подстриженных глазах»), Розанов, Лев Шестов (всегда к деньгам), Чехов, Горький, Андрей Белый, Блок, чаще всех, и Пришвин.

В сне «Чехов и жареная утка» два значения: весь чеховский юмор для меня в этой домашней птице; а кроме того, «утка» — говорится: «пустить утку» — понимай, какой-нибудь невероятный слух. В колокольном деле без «утки» не обходилось, такое было поверье, и когда на Москве распространялась самая вздорная ерунда, но как достоверный слух, в Рядах хитро подсмеивались: «В Ярославле Оловянишниковы колокол льют, это их утка».

Из парижан мне снились Андре Бретон, Рене Шар, сюрреалисты, и Жильбер Лели, переводил мою «Соломонию», автор «Маркиз де Сад», Жан Полян, «Тарбские цветы» и Брис Парэн, галлимардийский философ и исследователь о жидовствующих: «Аристотелевы врата» и «Логика Маймонида», П. П. Сувчинский, историк музыки, Терешкович художник, Ларионов и Гончарова.

Часто мне снится Копытчик — Сергей Константинович Маковский. Прежнее время — к веселому и приятному препровождению времени, а теперь погодное: к безбрежному, печальному туману, тоже и с Бахрахом... или моя душа так помутилась и сердце очерствело?

* * *

Можно ли сочинять сны, как сочиняют стихи? В сложении стихов мера колышет воображение и вызывает образ, а сонная несообразность неизмерима. Умышленное соединение противоречий звякнет и погаснет, начинай сначала. Можно набить руку, как Кафка, или родиться Гого-

лем. Сон Левко в «Майской ночи» Гоголь сочинил и сонная действительность не в игре русалок, а в перевернутом зрении Левко: видя в глубине пруда отражение дома, он видит, если бы стоял перед домом.

* * *

Душевная встряска может вызвать сновидение даже у слепорожденных, для которых кроме дневного пустая ночь. Само собой опий, героин, а для меня непритязательный веганин — помогает от головной боли, на что я никогда не жалуюсь, и успокаивает люмбаго, если невтерпеж остро чувствовать себя.

Но можно ли так, здорово живешь, выманить сновидение?

В Петербурге на Таврической, в доме архитектора Хренова в моей несуразной пятиугольной комнате, узкий диван. Днем как лягу и непременно увижу сон. Я это заметил и ложился не потому, чтобы хотелось спать, а для снов. Потом запишу. Сны снились запутанные, но очень яркие и в литературу не впихивались, а входили свободно рассказом. Затеял я проверить на моих гостях — много ходило народу без времени — и я прошу, хоть на полчаса лечь на диван и постараться заснуть. Не всякий поддавался — изволь среди бела дня, когда охота поговорить, разлеживаться, чтобы только сон увидеть, но бывали податливые, не переча, укладывались на диван и засыпали. Пользуясь сонным затишьем, я продолжал свою прерванную работу.

Но что странно, никому из моих посетителей, как на смех, ни разу ничего не приснилось. И я тогда подумал: у кого нет дверей в сонное царство, никакой диван не поможет, а мне, стало быть, расположение подушек облегчало путь.

* * *

Сновидения и самые жестокие, когда дух замирает, никогда не изнуряют душу. Сновидения дар вечной мо-

лодости. И какое несчастье родиться без снов. Только сам человек никогда этого не поймет и не скажет — в природе все довольны и всякому сам себе мил.

А посмотрите на этих сплющенных шарахающихся летучих мышей или тупых, неповоротливых гиппопотамов — им ничего не снится. Мир сновидений, как и мир сказок, запечатан. Не видят сны и не любят сказок, их зрение ограничено — только что около своего носа, а глубже «не понимаем». Какая скука ползет от их слов, а все их движения грузны.

Без музыки, без снов, без сказок и без «игры», она слита со сном и сказкой, да лучше бы такому не родиться на чудодейной земле.

* * *

По ходу снов можно сказать о воображении сновидца. Воображение неисчерпаемо, но для каждого ограничено. Я это по себе вижу, замечая в своих снах однообразность.

Сны, как литературное произведение, всегда словесно законченные, отлиты и переносимы с места на место, а есть сны чистого воображения, ничем не начинаются и не видно концов, прозрачные, записать их нелегко, а записанные окостеневают.

Как в сказках, ведь сказки выходят из снов: есть сюжетные сказки, по матерьялам, и сказки чистой сказочности, возникшие «само-собой» из ничего, воздушные. Такая сказочность богато представлена в книге сказок Натальи Кодрянской.

В данном моем собрании снов, сны чистого воображения.

То, что называется «фантастическим», это вовсе не призрачная, не «деформированная» реальность, а существующая самостоятельно и действующая рядом с осязаемой реальностью.

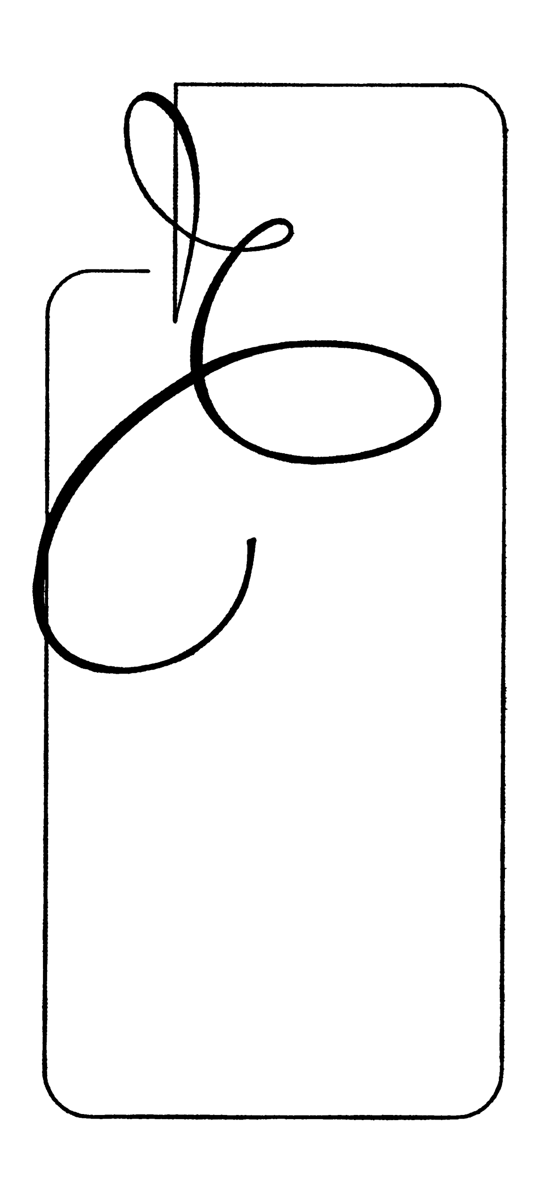
«Если бы сны шли в последовательности, мы не знали бы, что — сон, что — действительность».

Эти слова Паскаля повторяет Толстой.

Есть «большая реальность» жизни: жизнь не ограничивается дневными событиями трехмерной реальности, а уходит в многомерность сновидений, равносущных и равноценных с явью.

В жизни проводник сна кровь. И опять я спрашиваю себя: пробуждение из смертного без сновидений сна в утро другого мира не есть ли переход в бескровное чистое сновидение?

ПРИЛОЖЕНИЯ



ПОД КРОВОМ НОЧИ

СНЫ

(I)

Серый свет сумерек входит в окно и стелется по сырому полу. На полу кишат маленькие серые котятки.

Серый свет сумерек сливает и разливает серый змеящийся клубок.

Откололся кусок от клубка.

А я наклонился над ним. Наклоняюсь все ниже, все ближе к стону серого света.

Вдруг серый горячий клубок, — серая кошка с присосавшимися слепыми котятками впрыгнула ко мне на грудь, впилась когтями, рванула, еще и еще.

И одни глаза в упор — две страшных искры — и боль...

I

Где-то высоко над землей я летел.

Огромная горячая и красная звезда, узорная, как на лубочных картинках, обгоняя, летела мимо меня, и спускался — мелся за ней ее золотой искристый хвост.

Было тихо, только крылья, натянувшись за моей спиной, трепетали.

Я видел внизу большой город с белыми постройками и высокими деревьями, и летел вслед за звездой...

Я очнулся в высоком зале огромного дома.

Вокруг меня сновали карлы с голыми слипающимися ногами, а тело их: живот и грудь были источены струпьями, а на спине у каждого висела изъеденная молью верблюжья шкурка. Сновали они и пищали жалобно и надоедливо.

И вдруг все разбежались до единого.

В дверь ворвалась толпа и скучилась в зале, и сразу отхлынула, образовав от двери проход. Вошел король, что-то ска-

зал, и все, присмирев, вытянулись, только один упорно сидел и глядел в упор на вошедшего. А толпа, окружив короля, слушала, что он говорил. И один сидевший поднялся, выхватил длинный острый нож и, взмахнув, всадил по рукоятку в рот говорящего, и я видел, как посинело лицо и в раскрытом рте зазияли две глубокие раны. Но крови не видел, крови не было.

Толпа, как камень, стала.

А тот невставший перевернулся: «Вот тебе!» — и крикнув, ударил ножом в шею короля и, зацепив пальцами кожу, сорвал ее с черепа до глаз, и брызнул огонь из этих кровавых глаз.

И недвижим, как камень, стал почерневший труп.

II

Я был поражен, заглянув в зеркало: волос на голове почти не было, шли реденькие неровные полоски, между которыми блестела слишком белая кожа.

Надо было торопиться на крестный ход, который пройдет мимо дома.

Я намеревался дойти до площади и оттуда домой.

Был серый теплый день, в такую пору ждешь всегда мелкого баюкающего дождя.

Крестный ход уж тронулся, и толпа, в которую я попал, оттеснила меня в глухой и узкий переулок с высокими серыми зданиями. Тут было мало народа, но все, кто проходил и останавливался, обращал на себя внимание некоторой странностью. Особенно поразил меня старик — старик с подвязанной, и довольно неискусно, седой бородой. «Удивительные эти люди, — сказал он, подходя ко мне, — говорят, что я шпион. Вот поди ж ты». А я знал, и не сомневался, что это был шпион: глаза его, не моргая, ходили по мне. Я пошел домой. Дома застал в своей комнате груду сложенных бумаг и книг.

Я подумал: N. умер. В это время за дверью кто-то спросил: «Правда, что № умер?». «Да, — и ответил, — № умер».

* * *

Уже смерклось, когда я вошел в каменную беседку, где намеревался лечь спать. Темнело и парило. Я лег и закрыл глаза. И вдруг вскочил: передо мной стоял с синим лицом К., умерший прошлой зимой. Он протянул мне обе руки и, крепко обняв, сказал ласковым пресекающимся голосом: «Как я рад, что опять вижу вас, а давно уж, лет пять-шесть не видались». А у меня похолодело на сердце. Это синее лицо и синие руки... «Он — мертвец», — твердил я. Постучали в

окно, К. исчез. В беседку вошел брат. «Пойдем отсюда», — сказал он. И я пошел. Шли долго по темным улицам. И вот вышли на огромную площадь, освещенную частыми газовыми фонарями. Было необычайно тихо и вдруг нечеловеческий крик прорезал тишину. И мы увидели женщину: запрокинув руки за голову, она мчалась по площади, а за ней дикая лошадь с длинным навесу заостренным шестом, привязанным к гриве. Брат изогнулся в дугу, шмыгнул и схватился за шест. «На, — крикнул он, — бери и вези». Я взял шест, сел в санки и поехал. Мелкий снег засыпал площадь, и металась по ветру белая грива, мешаясь со снегом. Едва держал шест, коченела рука и слабла. Вдруг санки раскатились и стали. Через густую пелену снега едва мерцал огонек, в воротах толпилось множество стражников с яркими фонарями.

«Не доверяйся им, — услышал я над собой голос брата, — крепко держи лошадь».

III

Низкая длинная комната на верхнем этаже. Среди корзин, не то упакованных для дороги, не то неразобранных, видится мой чемодан, измятый с заплесневевшей кожей, туго застегнутый. Кто-то спускался по лестнице вниз. И когда шагов не стало слышно, я принялся расстегивать чемодан. И, расстегнув, был очень поражен: в нем лежала, сначала я не мог разглядеть кто, смеркалось... Но, Боже мой, да это А., которая умерла нынешней весной! И я дотронулся до нее и почувствовал, что кровь моя сожглась и наполнились жилы горящим песком... Я прикоснулся к ней... И теперь снова услышал шаги: кто-то подымался по лестнице вверх. Я тотчас захлопнул крышку. Ноги мои дрожали. Едва шел, спускаясь по лестнице из низкой комнаты. А внизу комната полна народа, толкуют о моем чемодане: «Кто-то раскрывал его...»

— Это я, — говорю им.

— Да она ведь мертвая, — и укоризненно качают головами, — она мертвая, и вы должны идти наверх... Идите к ней!

Все они смотрели на меня.

И ужас согнул меня, такой ужас, казалось, волосы спали с моей головы. И я подымался ползком, подымался по лестнице вверх.

IV

Это было в какой-то азиатской комнате с маленьким окошком вверху. Голубое: голубые ковры, голубые диваны, голубые стены, голубой потолок. На возвышении передо мной сидели

три женщины и я узнал их тотчас же, как и они узнали меня, но ни я, ни они не показывали вида, что знаем друг друга. Одна — S., высокая, статная, обыкновенно с такой доброй улыбкой, а теперь с невероятно измученным и красным от тревоги лицом, рядом с ней В., в черном платке, хитрая, с лукавыми глазами и плотно сжатыми губами, дальше W. — все время улыбающаяся. Со мной стоит N. в ярко-желтом пальто и, не переставая, задает мне вопросы. Я отвечаю ему невпопад, прислушиваясь к разговору тех.

— Так что же ты смотришь, — говорит В., — делай как знаешь...

— Скажи ему сейчас же, — говорит W.

S. хватается в отчаянии за голову и ничего не отвечает.

— Вот он стоит... — говорит W.

И вот что-то уж несколько дней, как мы едем на пароходе.

С каждой остановкой все больше и больше самого разнообразного народа. Попадаются знакомые. Все больше школьные товарищи. Мне необыкновенно хочется есть и, проходя мимо буфета, я с завистью гляжу, как едят, и думаю, вот хорошо было бы сесть за этот стол, заказать много-много и разного. Что-то толкает меня идти наверх. И я взбираюсь по крутой лестнице, отпираю дверь, дергаю за ручку, но дверь ни с места, сильно закрепла. А сильнее дернуть боюсь, могу вниз сорваться, потому что у лестницы перил нет, и стою я на узенькой шаткой площадке. Наконец, отворяю.

— Пойдем, — говорю.

— Постой, — говорит брат, на нем точь-в-точь, как на Н., ярко-желтое пальто, — постой немного.

И я спускаюсь вниз, бесцельно брожу по каютам, завистливо засматриваю в буфет. «Эх ты, — начинаю издеваться над собой, — чего слоняешься? Слоняйся-слоняйся, мяса не отщипнуть, кровью не брызнуть, так будешь веки вечные вокруг да около, а вон настоящие...» В это время откуда-то с трапа начинают проникать гнусавые звуки скрипки и чей-то монотонный голос. Чувствуется, что певец не понимает того, что поет, какая-то тупость и бессмыслица слышится в несуразном сочетании слов, и вдруг ужас охватывает меня: я начинаю понимать и бросаюсь на трап, но вход на трап заперт. Тогда снова взлезаю по лестнице к той двери, отпираю, дергаю — поскользнулся, едва не полетел — дергаю еще и еще и дверь отворяется.

— К. приехала в Москву, — говорит брат.

V

Сумерки вяло взмахивали крыльями, пышней разгорались на горизонте оранжевые и розовые одежды зорь.

Она стояла, склонясь надо мной, и что-то шептала, похрустывая тонкими длинными пальцами.

Ввалившиеся, принявшие многое множество горя глаза и пепельные волосы, прикрывавшие худую грудь, а губы красные, готовые лопнуть от напирающей крови.

И, вслушиваясь в ее шепот, я понемногу стал различать слова.

— Ты молчишь, — говорила она, — все молчишь и не зовешь меня. Ты не звал меня. Я пришла... Это — выброски моря холодного-холодного. Вон там, посмотри! а подымется ветер, и их не станет... Будешь искать, а не найдешь. И земля выскользнет из-под тебя, и воздух сухой стянет твой череп, пока не разорвется сердце, не расплющится тело...

Я вздрогнул, предутренняя сырость поползла и неприятно защекотала ноги. А она, на минуту замолкнув, продолжала:

— Я сожгла все семена и скосила озимый хлеб и, сжав, подожгла стога...

Глаза ее замутились и лоб позеленел, а сорочка окрасилась в розовое.

Она взмахнула руками, и что-то острое кольнуло глаза мои. Я только слышал далекий улетающий голос:

— Не будет под тобой земли... и, сжав, я подожгла стога!

Я был пыльным вихрем и несся по степи. Я умирал от жажды и отравлял ручьи. Я был пыльным и бесприветным вихрем.

ПОД КРОВОМ НОЧИ

СНЫ

(II)

1.

От темного угла моей тесной комнаты отваливается дымящийся черный ком и, тлеясь, плывет ко мне. И не тлеющийся ком, а красное горящее яблоко, и не яблоко, а самый обыкновенный глобус теперь повис надо мной и завертелся с зелеными морями и океаном и с желтой землей.

Вертится глобус — рябит в глазах, и вдруг серое чудовище выпускает из глобуса длинные зеленые когти и раскаленными усами колет меня.

7.

Сижу я, будто, за чайным столом и ем сухари, а передо мной стоит мальчик с длинным личиком. Кто-то говорит из-под стола, что это не мальчик, а собака.

— А почему ты на ногах стоишь?– спрашиваю я мальчика.

— Это нам с прошлого года велено.

А я все еще не верю, что передо мной не мальчик, а собака.

— А ушами ты умеешь шевелить?

Мальчик пошевелил ушами.

И снова из-под стола раздался голос:

— Кто ушами шевелит, тот собачий сын.

Мальчик не спеша отходит от стола, и теперь для меня стало ясно, что это не мальчик, а собака: он шел вперевалку, неловко, а сзади торчал хвостик...

— — —

Тут я и проснулся.

— — —

Пересмотрев много сонников персидских и алыберских и нашего Мартына Задеку, прочитав Тепетник и Волховник, ища объяснения моим снам, я нашел, что видеть во сне проповедников нравственности или несколько штук (нечетное число) истухших окуней — к вероломству, видеть танцы — хорошо, а если сам танцуешь — нехорошо, пчелу видеть — слезы, видеть же черную перчатку, блины, красных раков и часы — к неприятности; вымазаться навозом — к деньгам, сесть в навоз — к большому горю; а если увидишь ноги у змеи — умрешь.

БЕДОВАЯ ДОЛЯ

Часть I

Предлагая вниманию благосклонного читателя мои путаные, пересыпанные глупостями рассказы, — считаю долгом предуведомить, что вышли они из-под моего пера не как плод взбаламученной фантазии, а как безыскусное описание подлинных ночных приключений, в которых руководил мной вожатый ночи — Сон.

5.

ИВАН ГРОЗНЫЙ

И ровно и вперегонку, уступая и толкаясь, мы бежим по Моросейке на Красную площадь. Все мы спешим к Лобному месту послушать Объявление, о котором возвещалось с перекрестков и в тупиках.

На Спасской башне уж пропели часы полдень. Народ все прибывал. Но Лобное место оставалось свободным, и только какие-то мальчишки по временам завладевали им тотчас же к общему удовольствию и развлечению летели вверх тормашками.

С помощью знакомого полотера с Зацепы я взобрался на кровлю Василия Блаженного, и от меня прекрасно видно было даже всякую мелочь.

Наконец, толпа, крякнув, осадила, головы обнажились, а на Лобном месте показался маленький человечек; он быль в высоких воротничках и смокинге, а голова его была повязана платком по-бабьи.

— Юродивый, — прокатилось по площади из уст в уста, — это юродивый сам.

На Спасской башне снова пропели часы и пели долго: тринадцать.

— Садитесь, господа, — сказал Юродивый, кланяясь на все четыре стороны: Кремлю, Замоскворечью, Историческому музею и Рядам.

Так как я сидел, то, не смея ослушаться, все-таки подобрался, будто усаживаясь, все же прочие, стоявшие внизу, хотя и было не совсем удобно, беспрекословно присели.

— Милостивые государыни и милостивые государи, — запел Юродивый знаменным распевом, — все мы учи-

лись заповедям, и всякий знает, что их десять штук. Не так ли, десять штук?

И в ответ прогудела толпа, как гудят Воистину воскрес на Пасхе в церквах.

— Ну, вот, господа, — продолжал Юродивый тем же распевом, — а на самом деле их не десять, а четырнадцать. Отцы наши утаили от нас, но и они мудрые, да и все мы искони блюли их все четырнадцать.

— Блюли, — проблеяла толпа.

— А! вот, видите! — пропел Юродивый, — а теперь по исчислениям Кугельгейма фон Густава пришло время провозгласить их полностью и начать исполнять не тайно, а в открытую. Внимайте же и пишите в сердце, вот новые заповеди:

11-я. — Не зевай.

12-я. — Ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами.

13-я. — Прелюбы сотвори.

14-я. — Укради.

Юродивый залился таким веселым смехом и так затряс головой, что платок съехал ему на шею, и перед опешенным, сбитым с толку народом вдруг метнулись глаза, и грозное стало лицо царя Ивана.

На Спасской башне пропели часы и пели долго: четырнадцать.

7.

ПИЛЁНЫЙ САХАР

Скатился я с крутого обрыва в сад. Да это загородный увеселительный сад Хуторок. Вон и касса. Подошел я к кассе билет взять. Заглянул в окошечко, а кассир-то знакомый — Беляков. Надо сказать, что с этим Беляковым вышла у меня одна нехорошая история и так все запуталось: стал я ему бельмом в глазу.

Беляков пил чай вприкуску, а другой кассир искал ему в голове.

«Ну, — думаю, — пропал я, без побоя не отпустит, убьет он меня».

— Мор на воши! — говорю им и вижу: Беляков побагровел весь от злости, зажал в кулак кусок пиленого сахара, встал и пошел к выходу.

— Убью! — отчеканилось во мне.

И я присел на корточки, стал таким маленьким и таким тоненьким да в щель под дверь и затиснулся, затаил дыхание, слушаю.

Беляков походил около кассы и презлой вернулся.

— Не нашел, а попадись только, я ему! — сказал Беляков другому кассиру, и они стали искаться.

А меня точно кто-то все подстегивает: хочу не дышать и не могу удержаться, и, как на грех, язык зачесался, я сдуру-то полез почесать и чихнул.

Беляков тут как тут.

— А! вот он! — да как хватит: кусок сахара прямо так в висок мне и впнулся.

13.

РЫСАК

Горел Петербург. На пожарных каланчах вывешено было: сбор всех частей, — да ничего не могли поделать. Горел Петербург со всех концов.

Я и еще один человек, нередкий спутник моих ночных похождений, покинув дом, приехали в бараки. В бараках нам отвели огромную комнату, и тут оказалось, что мы не одни: с нами неотлучно находился один известный русский поэт.

Мы смотрели в окно: улицы были запружены беглецами, и какие-то дамы, нагруженные чемоданами и желтыми коробками из-под шляп, тянулись по тротуару, словно в крестном ходу. Все говорили, что пожар страшный, и не кончится. Пахло гарью.

Мы тоже решили уехать. Взяли извозчика и втроем отправились в Москву. В Москве, не останавливаясь, мы проехали прямо на дачу в Петровский парк. На даче никого не застали. Потом явился знакомый актер, и мы стали рассказывать, какой в Петербурге страшный пожар, как мы сидели в бараках, как гарью пахнет и как мы заплатили извозчику семьдесят пять копеек.

— Теперь лошадь пропадет, — сказал поэт, — как же? Сделать без передышки от Петербурга до Москвы двадцать девять верст и сейчас же обратно в Петербург двадцать девять, лошадь не выдержит.

14.

МЕДНЫЕ ПЯТАКИ

Я стоял на берегу речки с фотографическим аппаратом и снимал двух носорогов. Носороги — на той стороне, и с ними три балбеса. Балбесы все лезли вперед и застили мне. Бился я немало времени и не мог снять носорогов.

Кричу балбесам:

— Эй вы, балбесы, на ту сторону переходите!

Послушали балбесы, вошли в воду. А я скинул с себя сапоги и тоже бух в речку, хочу к носорогам переплыть. Плыл, плыл и закрутило. Дна нет, четыре стены железных, а руки у меня крестом сложены. И крутит и крутит. Вот

изловчился я, пошевелил ногами и вынырнул. Влез на чугунный столб — на столбе парниковая редиска — уселся на редиску и просидел семь дней и ночей, пока не сняли.

И растворились железные стены. Там бал, музыка, танцы. А омут, где меня крутило — несгораемый шкап с люком и подпольем. Полез я в подполье за медными пятаками, — их там мешок на мешке. Стал я выбирать из мешков пятаки и кидать в воду, чтобы узнать, глубока ли река. А пятаки не тонут, выплывают и не пятаками уж, а красными коробочками. Стал я вылавливать красные коробочки.

А меня стыдят:

— К чему тебе эти дырявые коробочки?

И знаю я, что коробочки ни к чему мне, и все-таки вылавливаю: брошу пятак, а выловлю коробочку.

— Я коллекцию собираю, — говорю виновато и от злости начинаю плевать на балбесов.

Плевал я, плевал, да всего себя с ног до головы и оплевал.

16.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ЦАРЬ

Наша Софоровна старуха старая, девушка. А я будто вхожу в кухню и прошу Софоровну молока купить и шоколаду и вижу, на Софоровниной кровати лежит старик—старичок такой гаденький в кудряшках — муж Софоровны

— Не пойду я вам за шоколадом, — говорит муж Софоровны, — с какой стати!

«Ишь, какая гадина, думаю себе, никто тебя и не просит ходить!»

А Софоровна уж топочет по лестнице, несет молоко, шоколад и... воблу.

Увидал я воблу, говорю Софоровне:

— Зачем воблу-то принесли, отнесите ее обратно.

А старичок — муж Софоровны посматривает на меня и нехорошо так: лицо у него до зелени бледное, кожа студенистая, а на кончике носа красное пятнышко.

И входит наш старый приятель литератор Ф., для которого и весь этот шоколад затеяли.

— Пойдемте, — говорить Ф., — на площадь к Совету, весь Петербург собирается.

Я и пошел. И вот будто стоим мы с Ф. на площади у памятника. Памятник большой и высокий: высокая площадка со ступеньками, вокруг ограда и посреди во весь рост железный царь, а по бокам царя по три железных часовых. И вдруг вижу, железная фигура царя зашевелилась, и железные часовые зашевелились, и в ужасе я говорю:

— Шевелится! Шевелится!

А он железный уж сдвинулся с места и идет. Он железный идет к ступенькам, а за ним гуськом железные часовые.

И я услышал, как с разных концов переполненной народом площади заговорили:

— Он идет!

— Он ходит перед несчастьем!

— Несчастье над Петербургом.

Железный царь спустился с лестницы и, когда ступил он на последнюю ступеньку, из железного стал человеком и такой самый, как на Крюгеровском портрете, высокий, глаза навыкате, только волосы светлые и кудрями завиваются. И часовые из железных стали живыми — старыми щетинистыми солдатами.

Царь обратился к народу:

— Господа, — сказал царь, — я хотел вам сказать: сейчас в квартире художника Б. собралось все, что есть талантливого и культурного в России.

— Талантливого!! Культурного?! — захохотал, издеваясь, мой спутник.

— Тише, — говорю ему, — что вы делаете, ведь за это вас...

И в это время слышу, как кто-то из толпы называет меня по имени. Бросил я моего приятеля, выбрался из толпы и вижу старик стоит — муж Софоровны. Он еще отвратительнее в серой мягкой рубашке, подпоясанный кожаным поясом, до зелени бледный и студенистый с красным пятнышком на кончике носа, он протягивал мне обе руки:

— Целуй!

И глядя с отвращением на его до зелени бледные руки, я подумал: «вот за то, что я такой гордый, вот он, гадкий старик хочет, чтобы я унизился и поцеловал его гадкую руку с обручальным кольцом!» И стиснув зубы, я поцеловал гадкую руку с обручальным кольцом.

А старик, словно спохватившись, отдернул руки.

17.

КРАСНАЯ КАПУСТА

Я стою на берегу реки в толпе народа. Кто-то говорит, что этот народ соскочил с фресок, изображающих Страшный суд в Сольвычегодском Благовещенском соборе, и что река Дунай, Сафат и еще как-то, я не мог разобрать названия, так как все это говорилось на тарабарском языке.

Мы все чего-то ждем и очень волнуемся. Я не могу спокойно стоять и поминутно подбегаю то к одному, то к другому:

— Скоро ли?

Но вместо ответа мне показывают пальцами на какую-то темную массу, движущуюся со стороны леса.

На самом берегу, почти над водой, огорожено пространство. Там стоят два бочонка. На бочонки положена доска. Я пододвинулся к загородке и, удобно примостившись, стал вглядываться в движущуюся темную массу.

И понемногу начали обрисовываться странные фигуры. Впереди всех ехал на воле церемониймейстер — важный сановник с коричневой бородой в золотом кафтане, в руках его блестело золотое жезло. За церемониймейстером попарно шли дамы в длинных белых одеяниях босиком. А за каждой парой следовали слуги, несшие по два складных стула и опахало. Наконец, под балдахином показался король. Король был в голубой, как река, мантии, усеянной серебряными звездами, на руках белые рыцарские перчатки, лицо темное негритянское, а нос в виде серебряного серпа.

Мой сосед, по профессии фокусник, в рыжем пыльном парике, фыркнув, сказал по-русски:

— У этого короля, Наполеона, нос приставной! — и вдруг упал замертво.

И я увидел, как в толпе еще многие упали мертвыми, должно быть, наказанные за свое богохульство. Теперь почему-то выяснилось, что это совсем не простой король.

Шествие приближалось. Я разглядел стройного белого царедворца, очень юного. Следуя за королем, юный царедворец отдавал приказания. Потом опять потянулись дамы и слуги, а за слугами тряслись мужицкие телеги, доверху нагруженные красной капустой.

Все глаза были устремлены на короля. Король ступил к берегу в огороженное пространство. И тут я догадался, что лицо его закрыто маской, а тот стройный царедворец неживой — автомат.

Слуги между тем сложили балдахин, расставили стулья. Белые дамы, подобрав платья, уселись и, болтая босыми ногами, забормотали молитву. Король поклонился реке, и, подозвав автомата, уселся с автоматом на доску, положенную на бочонке, но так, что середина доски осталась свободна.

Мы все закричали ура и кричали до тех пор, пока церемониймейстер с коричневой бородой, в золотом кафтане, не сделал жезлом знака. Наступила мертвая тишина.

— Что же ты говоришь, — сказал король, обращаясь к автомату, — будто эта скамья сломается, а видишь, мы сидим на ней вдвоем, и она цела.

Голос короля был так молод и силен и обаятелен, что каждый из нас подпрыгнул от поднявшегося и в каждом из нас чувства молодости, силы и обаятельности. Мы готовы были умереть за короля.

Дамы прокричали ура.

— Император, ты сидишь не так, сядь посередине! — сказал автомат королю и, встав, отошел к ограде, к тому месту, где я так хорошо примостился.

Не утерпев, я потрогал автомата. Что-то металлически-холодное коснулось моей руки, и я машинально отдернул ее, почувствовав судорогу, как от электрического тока.

Король поднялся. Король оправил мантию. Король опускается на середину скамьи. И едва король коснулся скамьи, как доска переломилась, и король полетел в реку.

Дамы заплакали. Мы закричали ура и бросились качать автомата и, подбрасывая автомата к небу, подбрасывали вместе с ним красную капусту.

20.

ФИНАЛ

Увы! — я издох. Окруженный фруктами и цветами, среди яблок, абрикосов, персиков, айвы, лимонов, груш, апельсинов, я валялся бездыханный в чулане и ждал последней моей участи.

Царь той страны, где случилась со мной эта скверная история, славного царя Салтана внук — царь Авенир-Индей повелел в наказание тому, у кого чешется язык и кто говорит глупости, съесть меня — издохшую крысу.

И вот нашелся балагур, которого схватили на каком-то костюмированном бале, и отправили ко мне в чулан меня съесть. И балагур, улыбаясь, явился ко мне в чулан и, тронув меня кончиком своего остроносого сапога, сказал...

Но что он сказал и чем все это кончилось, съел ли он меня, или только полакомился фруктами, я сколько ни старался, не могу восстановить в моей куриной памяти и, хоть убейте меня, ничего не помню, в чем и прошу глубоко извинить.

Часть II

8.

ПОД ВОДОЮ

Подымалась буря на море, а я сел в лодку, потому что мой спутник бесстрашный гребец. Но когда мы достигли глубочайшего места, мой гребец сложил весла и, насмешливо глядя мне в глаза, поднялся и, схватив меня за шиворот, как кошку, бросил в воду. И я пролетел все подводные слои — зеленый, мутный, черный, густо-черный, и опять — мутный, зеленый, и снова очутился в лодке. И мы плывем, как ни в

чем не бывало, но доходит какая-то точка, и мой гребец складывает весла, и повторяется все сначала. И, кажется, нет конца, без передышки — зеленый, мутный, черный, густо-черный.

9.

НА НОВУЮ КВАРТИРУ

Переезжаем на новую квартиру: я да мой приятель — старый чудак, который то и делал в жизни, что менял квартиры, пока смерть не уложила его в последнюю, откуда трудно уже двигаться. Вещей у нас много — целый воз, а лошаденка крохотная, еле тащит, так какая-то сивка. С грехом пополам мы все-таки добрались до дома. И только что въехали в ворота, воз — набок, а сивка подогнула под себя ноги и стала кошкой, кошка мяукнула и сию же минуту под мостик. Приятель мой за ней, шарил-шарил.

— Поймал! — кричит и тянет.

А как вытянул, смотрим: вместо кошки мяч и доска.

— Ну, теперь, значит, в лапту будем играть! — обрадовался чудак и, как бывало в детстве, пустился по двору скакать да мяч подшвыривать.

А я перетаскал в дом все вещи, расставил по порядку, затопил печку, поставил самовар, вымыл руки и сел на табуретку отдохнуть. Входит приятель, лица на нем нет, подсел ко мне, плачет:

— Не могу, — говорит, — привык я к нашему старому дому, а мячик кошка съела.

Встал он и вышел.

Отворил я окно, гляжу, а он уж на пустом возу, хлестнул сивку и поскакал во весь дух, свистит да похлестывает.

15.

В ЦЕРКВИ

Я с моим братом вошел в церковь. Шла вечерня. Образов не было. Производился, должно быть, ремонт в церкви. На пустом иконостасе сбоку светился золотой круг. Перед этим кругом стоял священник в епитрахили. Пел дьячок. Никого, кроме нас, не было. И нам было неловко, что никого, кроме нас, не было.

Вечерня кончилась. Мы подошли к священнику под благословение. Вышел из алтаря дьякон и говорит брату:

— У вас все есть, чтобы расти, а у вас, — он обратился ко мне, — нет ничего.

А я подумал:

«И вправду, на брате — матросская курточка, если бы он ее носил, она лезла бы вверх, на мне же — нет».

И замер от страха: нос к носу стоял передо мной человек, который, я это почувствовал, замышлял против меня недоброе. Я бросился в окно. Думаю:

«Зачем это брат дружит с таким?»

А в дом, в котором я очутился, входит мой знакомый — хромой — и подает мне сапожное шило:

«Так вот он чем собирался пырнуть меня!»

Мы сели в лодку и, свистя соловьями, стали отчаливать. И подвернулся какой-то мальчик, прыгнул к нам, и медленно стала погружаться лодка ко дну.

22.

БИТЫЙ НЕБИТОГО ВЕЗЕТ

Весь дом содрогался от грома. На миг голубовато-белый свет открывал небо, и снова становилось темно, как осеннею ночью. А был полдень. И я, как слепой, бродил по углам, ища ключ от двери моей комнаты, где я сам себя запер. И когда я упал от отчаяния и думал о дне, которого никогда не будет, странное разлилось вокруг, будто радужное облако, которое выплывало в окно из белого дня.

А знакомый голос, гнусавый, сказал с оттяжкой:

— Битый небитого везет!

23.

АХ!

Нечего было делать, я взял единственное, что нашел во всем доме, старый тюфяк, и понес его куда-то по широкой дороге, которой конца не видать. И когда еще я подымал мою ветхую ношу, мне она показалась необыкновенной. И вот я снял чехол и присел, увидев на тюфяке сплошное гнездо: серые насекомые кишели и, поедая друг друга, липкие, тут же выводились.

— Ах! — кто-то вскрикнул за моей спиной!

А я наклоняюсь все ближе к отвратительной живой гуще. А тот же голос опять.

Рассветало.

24.

СФИНКС

Ко мне пришел К., мой знакомый музыкант и сочинитель, уезжает он надолго, может быть, навсегда, пришел проститься.

И я поцеловал его в макушку. А он обертывается ко мне и, притрагиваясь носом к моему носу, говорит:

— Надо вот так, так целуются сфинксы.

Я же подумал:

«Ты-то, может быть, и сфинкс, а я всего только птица».

25.

ОДНИ НОГИ ТОРЧАТ

Вот уже несколько дней, как я не отхожу от больной старухи: у нее толстые ноги и птичий нос. Она лежит на кровати и охает, а я сижу возле на стуле и исполняю все ее прихоти. Я боюсь ее оставить, она очень беспокойная. И показалось мне, что старуха заснула. Слава Богу, старуха заснула! Я тихонько вышел из комнаты. А потом отворяю дверь, смотрю, а из печки только старухины ноги торчат, толстые, в шерстяных серых чулках. Господи, что же это такое! бросился я, чтобы из печки старуху вытащить, ухватился за ноги, а ноги уже мертвые.

26.

ЖЕНА АРХИМАНДРИТА

Попал я на литературный вечер. Скучища смертная. Председатель — старец в черных очках, в черной оправе, конечно, спит. А читают все известные литераторы о известных истинах, но с таким глубокомыслием, будто до этого вечера никто о них и не слыхивал. Я лежал у эстрады и смотрел в рот глубокомысленным чтецам. Потом взял извозчика и поехал по первопутке на санках домой. Но дома мне сказали, что меня ждет какая-то дама.

— Кто такая?

— Жена архимандрита.

— Что вам надо?

А она — огромная, под потолок, и вдруг, как заплачет да тоненько так... а губы у ней соленые.

27.

ВБРОД

Долго шли мы по реке вброд. Видны были только наши головы. Впереди шел мой приятель, умерший несколько лет назад, вечно пьяный, с красным отекшим лицом. За ним — я. Приятель шел лениво, опустив свою взлохмаченную седую голову, изредка оглядываясь и лукаво подмигивая мне. И мы добрались до какого-то дома и мокрые вошли в зал. А в доме бал, танцы, веселая музыка. И сразу все остановилось, все обратили на нас глаза. А мы мокрые как гуща.

— Танцевать! Танцевать! — вдруг закричали, и грянула музыка, и звуки такие были веселые, подмывали кружиться, без конца, без передышки...

А мне уж больше не хотелось идти вброд, я сел в вагон и поехал. Поезд остановился среди открытого поля. Я пошел в станционную будку и сел у окна.

— Едут, едут! — пробормотал стрелочник, проходя мимо.

И тотчас прокатила карета. В карете сидела невеста в венчальном уборе и жених во фраке — молодые. И только что молодые скрылись, загрохотали огромные дроги, а на дрогах лежал громадный труп. Лошади неслись во весь дух, не было кучера, никто не правил.

Я выскочил из будки, пошел по полю. Поле пыльное, ветер пыльный, Господи!

28.

УМЕР НАШ ОТЕЦ

Умер наш отец. Нас четыре брата. И вот, будто мы все вчетвером подняли гроб и спускаемся вниз по лестнице. И вдруг крышка у гроба треснула, и большой кусок откололся от гроба. А мы все несем и страшно нам, потому что не знаем, что в гробе осталось, а не знаем потому, что не видим, а посмотреть не можем. И спускаемся с гробом по лестнице вниз.

30.

КРАСНОКОЖИЕ СХВАТИЛИ И КОНЕЦ

Подыматься было очень трудно в этом странном здании, похожем на башню, с пустой середкой. Почти невозможно. Местами ступеньки были обглоданы, так что сажени полторы приходилось перешагивать и ползти. Нас взбирается много, но мы друг друга не знаем, хоть и делаем вид, что до самых корешков в каждом каждому ясно. Вниз смотреть нельзя, а кто посмотрит — были и такие смельчаки, — тот — готово дело! — прямо головою в погреб. Погреба никто не видит, только всем известно, что погреб существует, холодный и темный. Наконец, достигли мы площадки: площадка крепкая, железная, на железных брусьях.

На площадке стоит не то классная дама, не то монашенка из классных дам, стоит и каждому показывает в окошко м и р. Она так и говорит:

— Смотрите, дети, мир Божий.

И я вижу, с площадки солнечный закат, огромные дома, гигантские колодцы — журавли, пожарные части и церковь — высокая колокольня. А на кресте прицепились люди и тоже

на мир смотрят, только у них страшнее, чем у нас, и как только они держатся!

На мир долго смотреть не разрешается, и классная дама дает каждому сало. Мы мажем правый бок салом, женщины подвязывают юбки, и так спускаемся: на веревке по салу спускаться легко.

— Здесь внизу, наверное, фрески есть старые? — обращаюсь я к моему соседу — старику в алюминиевых сапогах.

— Старое, очень старое здание, Каиново.

Старушка с мышиными лапками крестится:

— Образа, — говорит старушка с мышиными лапками, показывая единственным человечьим пальцем на стену, — всякие обмоленные и не обмоленные. Сиротка-Спаситель, Четыре Праздника.

Икон, действительно, много, а в маленькие решетчатые окна, по которым приходится скользить туловищем, видны схимники.

Мимо погреба проходили очень осторожно, боялись упасть.

— А если идти Богу молиться? — спрашивает старуха с мышиными лапками.

— Все зависит от Миракса Мираксовича, — отвечает молодой рогатый человек.

И мы незаметно скучиваемся и стараемся, если можно, так держаться, чтобы разнять нас нельзя было, иначе краснокожие, которые живут в комнатах, окружающих погреб, проснутся. Да они уже проснулись. Вот они схватили одного мальчика и потащили, а куриные перья, покрывающие красные их бедра, так и замелькали. Нас все меньше и меньше, а краснокожих целая армия.

— Теперь вас потащат! — говорит, как бы шутя, больная женщина с мешком для провизии: на мешке лев нарисован.

А мне одного хочется, попасть бы мне в середку, и я начинаю быстро считать, полагая, что счет поможет, а ноги уже деревенеют... Пропал, — схватили!

1900 — 1909 г.

Примечание. Ко всякому сну одинаковое заключение: — «Тут и проснулся».

С ОЧЕЙ НА ОЧИ. СНЫ

3.

ЛЕВ

Закутка-клетка. В клетке лев. Клетка щелястая, льва самого не видно, только лапы. Лапы, как ленты: кисти — рисунок львиный, а плоские, как у слизня. В нижнюю щель лапы просовываются быстро-быстро...

— Ой, какие! — и зарябило у меня в глазах.

4.

КАРЛИЦА

Идем мы по площади мимо собора Богородицы (Frauenkirche). Со мною мой знакомый придворный музыкант в малиновом кафтане. Я музыканту Нюрнберг показываю, башни черные, как чугун самый черный, и здания лиловые, будто пеплом покрытые.

Идем, разговариваем. Весело мне, трепетно мне. Тихим золотом светится прекрасный источник (Schöner Brunnen). И вдруг вспоминаю, что домой мне надо: дома я забыл что-то, только не помню что... Оставил я музыканта и домой. И уж не по Нюрнбергу шел я, а в Петербурге по Таврической.

Еще в прихожей слышу шум и разговоры в комнатах. Догадываюсь: это та самая, которой я позволил всего один час просидеть в моей комнате, это она до сих пор сидит у меня.

«Неудобно, думаю, в глаза сказать ей, чтобы уходила, скажу ласково, я умею говорить так», — и вхожу в мою комнату, а комната большая, совсем не как моя настоящая.

Но дело уж совсем не в комнате, я чувствую, как все во мне перевертывается. Как же: я позволил одной, а их уж трое, и все они расположились у меня и не на час, а навсегда.

Та, которую я сам оставил у себя, пишет на моей бумаге, другая, мне совсем незнакомая, седая, старая карлица на диване лежит, и еще какая-то третья — на кровати, лица не вижу.

— Какое вы имеете право, — говорю я, — поселиться в моей комнате, я вам позволил всего на час и только вам!

— А куда же мне деваться? — говорит моя назойливая гостья, не отрываясь от бумаги.

— Это меня совсем не касается, я только не могу, чтобы у меня жили, понимаете?

А та седая старая карлица руку протягивает с дивана, да как хватит меня за полу.

— Я понимаю, в чем дело! — сказала карлица и крепко, со злостью вывернув, потянула к себе.

И от злобы ее, от этой ненависти ее, я, как обожженный, рванулся, но рука ее крепко держала меня.

6.
НАПОЛЕОН

Пасмурный вечер в мае. Вечевым звоном звонят у св. Сюльпиция. Но я иду не в церковь, иду я с народом на набережную. Нас очень много и все мы в черном. На мосту нам навстречу показались всадники: они тоже в черном, а в руках метлы, — целый лес метел.

«Революция, — думаю, — вот она, революция!» — и слышу, как бьют часы в Notre-Dame, час за часом одиннадцать, словно птичка выпархивает — лиловые перышки, сердце перестукивает и тает на сердце.

— Sursum corda! (Горе имеем сердца!)

Но я уж далеко, в Сен-Клю. Солнечно, теплый день. Пестрая праздничная толпа. Мы стоим вокруг эстрады, на эстраде пожарные — пожарный духовой оркестр. Все мы ждем чего-то, и пожарные, приставив трубы к губам, насторожились.

И вот туманно, но все-таки видно, я вижу — Наполеон: Наполеон на эстраде, в руке палочка, сейчас взмахнет он этой палочкой и грянет музыка.

«Наполеон, — думаю, — вот он Наполеон!» — и смотрю, не отрываясь, все хочу увидеть лицо, в глаза заглянуть, но он стоит, как прикованный, не обернется.

И слышу вечевой звон у св. Сюльпиция, а сквозь звоны бьют часы в Notre-Dame, час за часом одиннадцать, словно птичка выпархивает — лиловые перышки, сердце перестукивает и тает на сердце.

— Sursum corda! (Горе имеем сердца!)

7.
БЕЗ ШАПКИ

Я в сарае. Сарай на постоялом дворе в Париже. Постоялый двор В с е л е н н а я (Hôtel de l'Univers). В сарае тесно, — ящик на ящике, солома, опилки, — и темно. Всматриваюсь и вижу философа Ш.: философ сидит на сломанной клетке у самых дверей, на нем шуба с барашковым воротником, без шапки.

«Конечно, — думаю, — так и должно быть: шапку он потерял, и сидит теперь без шапки».

Но уж мы не в сарае, мы идем по полю. Поле пусто, безнарядье, кости и могилы, — огорченная земля.

«Русская земля! Бедная Русь! Черные люди, восставшие на сильных! Вот тебе истинный и праведный суд!»

Философ нагнулся к могиле:

— Вот для примера! — и подает мне какие-то закрученные кишки.

И молча идем мы от могилы к могиле. Могилы раскрыты. Я не вижу, я чую, как там шевелится кто-то и шуршит тяжелая парча. И мне хочется заглянуть в могилу и страх берет.

— Ты всей крови заводчик, — вдруг закричал кто-то из могилы, — ты враг проклятый, христопродавец, злой, пронырливый злодей, враг Божий!

«Московская тьма!» — подумал я и вижу: по полю странник идет, ну как наш Вася Босой, поверх тряпок фрак, на груди большой каменный крест, освятованный странник, улыбается.

— Noli eos esse meliores! (Не желай, чтобы они были лучше!) — улыбается.

— Может быть, ты и прав, — говорит философ.

И мы стоим втроем у раскрытой могилы. Странник улыбается.

«Вот и у этого Васи Босого тоже нет шапки!» — и я снял шляпу и проснулся.

1911 г.

КУЗОВОК

ЗА КРЕПКОЙ ЦЕПЬЮ

Вот и опять я на вышке затворился под трубою дымной и копотной, туго наложил цепь на мою сенную дверь: кому надо, знает, а кому так, пусть шатун на меня не посердится.

Моли-то развелось! Летит по комнате, как бабочка, впору хоть соседа звать! А есть сосед у нас, кум мой, добрейшей души, моли в дому никак у себя не травит, не выводит и злые яйца ее червяковые, и варом не варит и не прыскает и не душит ничем, а обзавелся сачком, да картуз завел себе с козырьком зеленым, и как со службы придет, пообедает и первым делом — картузишко этот на голову, сачок в руку, и до поту ловит моль сачком, что бабочку. Шутник один сулил ему: «Набери, — говорит, — тысячу, будет тебе ваза с китайцами!» А ему, куму-то, добрейшей души, охота страсть, чтобы беседки были китайские на вазе написаны, ну, и трудится, и какое терпение: всякую молинку на тоненькую булавочку понасадит и у всякой крылышки ее тлиные расправит, в лёте, будто, моль есть.

Нет, не позову я и кума, соседа моего, правду скажу, в жизнь от него я себе не видел зла, вместе и самоваров много повыпили, и от писания беседовали, и о построении нового града передавал он мне свое заветное заповедное проведование и хитрое, и в немощи не раз посещал меня, нет, останусь-ка, посижу я один, и пусть моль летит, не помеха мне.

Оглянул я мою комнату, — все по-старому, по-прежнему, на белой стенке образа стоят старые, родительские. Я поправил вербу за образом, затеплил лампадку, постоял, подумал...

Между окон по стене игрушки, живые на меня смотрели игрушки, и какие важные! — заяц ухо оттопыривал, лютый зверь ершил свои седые брови, а лисица носом так и крутила своим лисьим, одни ноздри чернелись, — о, лис хитрый, и умнейшую птицу одурачил, а меня и Бог велел!

— Мы тебе не докука, мы тебя все ожидали! — голосом заговорили ко мне игрушки.

— Милые игрушки мои, чудаки чудаковые, спасибо вам! А чем же мы наш вечер скоротаем, нынче нам никто не помешает! Или рассказать вам, куда носил меня ветер, кого встречал по дороге, и что я думал и какие беды были и небеды были, я с вами хочу побыть, игрушки.

— А мы тебе кузовок набрали, — голосом сказали игрушки.

И куринас-зверь, легкий и быстрый, у них мудрец первый, подает мне в лапках кузовок полный:

— Это тебе на сон грядущий.

Потрепал я куринаса, его шершавую лапку погладил, — ой, какой он престрашный! — поставил кузовок на стол, ну, ладно, будем разбирать, что тут такое...

4.

ЦЕРКОВКА-КОРОБОЧКА

В каком-то из старых наших русских городов... Я вхожу в церковь на службу, народу много. А у стены с лесов — обновляют церковь — хвастает маляр:

— Смотрите, — говорит, — как я икону пишу, а отец мой еще и лучше писал!

Заломил я голову, пялю глаза, а ничего не видно, только маляра вижу, — рыжий, веснушчатый такой, и я полез на колокольню.

А на колокольне под колоколами все коробочки лежат, — много их всяких коробочек, и одна такая коробочка — в ней тридцать коробочек, как соты, такие маленькие граненые, на крышке у коробочки церковка нарисована.

Рассматриваю я церковку — старая, старая такая, наша. И вдруг все разрушилось — распались стенки, стиснулось донышко и соскочила церковка, стала трухлявой и сдунулась пеплом.

6.

ЗАБЛУДНЫЙ ПОП

Полем я шел, на горизонте безлучно в тумане, как огромный медный бык, стояло солнце. И увидел я, на дороге часовенка, такая ветхая, погнулась вся.

Идет мне навстречу какой-то, сразу и не разобрать кто, — поп, думаю, батюшка. И даю ему свечей.

— Вот, — говорю, — батюшка, купил я свечи, поставьте о здравии.

А он взял мои свечи, да все о коленку и переломал, и ставит какие-то подсвечники маленькие, круглые. И тут я замечаю, что сижу я на крыше, на часовенке, и поп со мной тоже на крыше, и поп совсем голый. И вижу я, как две женщины спускаются по лестнице с крыши.

Поп подмигнул, волосатый такой, грязный:

— Блудницы идут! — и весь багровый, затрясся.

А на горизонте безлучно, как огромный медный бык, стояло солнце.

7.

ПСО-КУР

Сидел я в гостях у моей тетки, дома ее самой не было, одни двоюродные мои сестры. И вот открывается дверь и

входят какие-то черноволосые, черные, пять человек, а лица синие у них, и я понимаю, что они за мной пришли, а сам говорю.

— Тетки дома нет.

— Мы ее дождемся! — говорят черные — лица синие, и так рассаживаются по комнате, чтобы мне ход загородить.

А я себе тихонько другой дверью и вышел из дому, бегу в сад. Смотрю, а в саду капельмейстер на лавочке сидит. Ну, слава Богу! — я к нему, подсаживаюсь на лавочку.

И вот откуда ни возьмись курица, курица самая настоящая, а голова песья, — и хочет пес на колени ко мне вскочить, а курица не дает, скользит, лапками отбивается.

Я встал и пошел садом, иду по дорожке, невесело думаю. И выскочили на меня из-за кустов две свиньи, так навстречу мне и бросились, прижались мордами к земле, как собаки, когда собаки играют. И я без оглядки пустился бежать.

8.

ТРИ УТОПЛЕННИКА

На берегу три утопленника, только что из воды их выловили, с открытыми глазами, синие. А над утопленниками мать моя молится. И подходит к нам какой-то красный весь, видно, боится, страшно ему, вынимает перочинный ножик, потом закурил папироску, нагнулся и ножом глаза стал у утопленников подрезывать. И одному подрезал, и у того закрылись веки. Так и покончил.

А я ему платок надушенный подаю, — не берет, и опять за свое принялся: и другому и третьему утопленнику подрезал глаза, и веки закрылись у них.

И вдруг побледнел весь, отошел в сторонку...

9.

ВПОТЬМАХ

В комнате ночью электричество горит. Мы сидим с сестрой в нашей комнате, и кроме нас двоих нет никого в комнате. И одинокость и тоска одинокости давят нас: вот мы вдвоем, мы — такие, она и я!

И вдруг электричество погасло. И стала такая тьма в комнате, совсем темно. Молча сидели мы в комнате одни впотьмах, и только чуть-чуть свет с улицы намечал окно.

Я окликнул ее, но ответа нет. И уж кричу ей, зову, а ответа нет. Нет мне ответа, и я схватил ее за плечо, и тотчас отдернул руку: я почувствовал ясно, что она не слышит моих рук. И уж не знал, делать мне что́, я со стула на пол стащил ее, и одна мысль, только бы оживить, только бы

спасти! И я приподнял ее за плечи, крепко так стиснул, да головой ее об пол, так об пол раз за разом. А на сердце мороз.

11.

ПРОСТОКВАША

Я в любимом моем Нюрнберге. Я по всем по их церквам походил и в их источник золотой из кружки воду капал — на седьмой капле до дна достал! И заскучал смертельно, очень мне домой захотелось, в Россию. Сел я на дерево, чтобы ехать, а дерево подломилось, и я очутился в кровати.

И упал мой кошелек с деньгами. И не могу я поднять его и говорю:

— Подымите, пожалуйста!

А мне отвечают:

— Мы еще посмотрим, что́ там у вас, — и подают вместо кошелька простоквашу.

Я взял банку с простоквашей и одно себе думаю:

«Экие жулики!» — а сказать ничего не могу.

12.

КАМЕНЩИК

Я шатался где-то в Париже на каком-то гулянье, надоело мне, и пошел я домой. А шел я по дощатому мосту через реку — река бурливая, Мста-река, не Сена, и мост без перил. И до конца прошел я мост, но почему-то повернул назад. И еще было страшнее идти: не Мста-река бурливая, сам Океан лапландский — волны так и хлещут, а ноги скользят, вот-вот сковырнешься в воду. Так с грехом пополам я прошел весь мост и вышел к крутой горе.

На горе собор белый стоит, а внизу, под горой, камни навалены огромные, белые, камень на камне, и тут же рабочих много: кто с молотком, кто с долотом. И слышу, один бородатый заговорил по-русски. И я подумал:

«В Париже нынче и каменщик русский!»

14.

ПО ЛЕСТНИЦЕ

В новый неизвестный мне город трясусь я с чемоданами на извозчике. Говорили, будто очень близко, совсем тут, рукой подать, а оказалось, сколько ни еду, а города нет. И подъехали мы, наконец, к реке и извозчик мой остановился, дальше ехать не хочет. А город там, за рекою, и хочешь не хочешь, а перебираться надо. Вывалил извозчик чемоданы,

а сам уехал. И остался я с моей тяжелой кладью один на волю Божью.

Моста никакого, а стоят стремянки-лестницы попарно, одна к другой спинкой: по одной лестнице подымайся, а с другой спустишься и опять подымайся, пока не пройдешь всю реку. И это бы ничего, помириться можно, да между лестницами провал, — и как взберешься, изволь прыгать, перепрыгнешь, и тогда уж спускайся. И это бы куда ни шло, будь я один, одному кое-как еще можно, а ведь у меня на руках вот сколько — чемоданов этих! И все-таки перебираться через реку я должен и вот я лезу и прыгаю: перепрыгну, переведу дух и спускаюсь и снова лезу и снова прыгаю...

А река, как под Костромою Волга, широкая.

15.

НЕ-Я

И опять я лежу на диване, но уж в столовой: диван очень широкий и никакой обивки, прямо доски одни. Я лежу на диване на самом кончике на правом боку спиною к стене, а за мной еще кто-то лежит, я его не вижу, обернуться боюсь, и он не теплый и не холодный, он только очень большой, а зовут н е - я.

— Не-я! — это он дышит мне в уши, — не-я!

И я вижу, как на потолке появляются огненные шары, и слежу, что будет. А шары подержались под потолком, подрожали и пустились летать по комнате. И я извелся весь, следя за ними, а их все больше надувалось под потолком и, продрожав сколько, они срывались и летали по комнате.

Потом все до одного шары померкли и в комнату вошел какой-то, я не знаю кто и как вошел он, и прямо за обои — у обеденного стола куски обоев лежали, оклеивать столовую собирались, голубые такие обои — и этот самый их есть стал и все съел и, какие обрывышки валялись, все подобрал чисто. А я на пруду очутился, — там снег лежит, белый, глубокий, а из-под снега кусты барбариса, и на кустах большие барбарисные веточки висят.

И говорит кто-то, дует мне в уши, называет улицу соседнюю и дом...

— № 6 кв. 10. Не-я.

17.

ДОМОВЫЕ

У писателя Б., нашего поэта петербургского, квартира в пять комнат, и две из них заперты, потому что туда мебели не хватило. А из остальных две комнаты, каждая, не меньше

залы Дворянского собрания, — обои розовые, в одном месте оторван целый кусок висит, стоят всегда не заперты, и только последняя комната запирается, — к ней длинный-предлинный коридор ведет, и весь коридор уставлен буфетами.

«Вот у него сколько буфетных шкапов, — подумал я, — а у нас и одного нет!» — и вхожу в последнюю, в самую большую комнату.

Встречает меня сам хозяин, а я и говорю ему:

— Зачем вам пять комнат, когда две у вас заперты?

— А видите ли, — говорит хозяин, — когда такая большая квартира, то из кухни ничего не слышно.

И правда, куда уж и что там услышишь, квартира не маленькая, а эта последняя комната еще больше тех двух розовых — двух зал Дворянского собрания, обои синие и всякие украшения на потолке: и гады и птицы и чего-чего нет; огромный буфет полстены занял — с одной стороны цельный, с другой двухъярусный, и рояль зеленый пепелесый к стене привинчен, ножками не достает пола.

«И как же это на таком рояле играть, когда не достает до полу?» — подумал я.

И когда я так подумал, в комнате появился какой-то в белом, белокурый с синими глазами, уселся за рояль и, не сводя с меня синих своих глаз, заиграл на рояле. А когда он играл, еще четверо таких же, как он, двойников его, в белом с синими глазами появились в комнате, они взялись за руки, и меня взяли и закружились. И кружились все быстрей и быстрей.

Мы кружились, мы летали, и я видел, как я летаю над роялем.

И кто-то говорит, дует мне на ухо:

— Слушай, слышишь, это — домовые!

19.

ПОРТФЕЛЬ

Временно живут у нас какие-то гимназистки, они парами приходят из гимназии в наш дом, они и обедают у нас и учат уроки. Они учат уроки все вместе по одной книжке в алой папке, а всех их живет у нас душ двенадцать.

Мне зачем-то понадобилась эта их книга в алой папке, — не то я спрашивать их должен, репетировать, не то из любопытства, чтó они там учат в своей книге алой. Но попросить себе эту книгу почему-то мне у них неудобно, и я взял мой портфель и пошел на Невский.

Я шел по 2-ой Рождественской, было слякотно и до колен я успел загрязниться. На тротуаре толкались какие-то реалисты с лысыми ранцами и один из них полетел. Я обошел

их, и, когда ступил на тротуар, поскользнулся и тоже полетел. И я слышал, как сзади захохотали, это надо мной смеялись, но я не обернулся и шел дальше, никуда не смотрел, ни под ноги себе, ни по сторонам, что-то беспокоило меня.

Так я и шел, пока не очутился на Николаевском вокзале на какой-то 10-ой вологодской платформе. И тут начались мои мытарства: подойду к одному выходу, говорят, — тут не проходят, подойду к другому: заперто. Подошел, наконец, к какому-то подвалу, думаю, тут-то уж, наверно, есть выход, и иду.

— Вы куда?

— На Невский.

— Тут в Ялту! — и опять хохот, как те реалисты, надо мной смеются.

И так я долго плутал по вокзалу и насилу-то выбрался. И таких, как я, плутавших, видно, немало было. Нас через залу проходит порядочно, идем мы тесно, плечо в плечо.

Около иконы у аналоя лежит на полу старик, на одной руке у него мальчик, на другой девочка, сын и дочь, оба маленькие. И старик их к себе на грудь перекидывает: перекинет, подержит и опять откинет.

Когда мы приближались к выходу, я услышал:

— Старуха вышла! — сказал кто-то.

И я увидел, как из-под подсвечника выползла старуха вся в красном.

А старик, перекинув девочку, прижал ее к груди и жалобно так сказал нараспев:

— Ты сосуд соблазнов моих!

И я видел, как старуха ударила старика и потом девочку тяжелым чем-то, круглым.

— Убила! — сказал кто-то из толпы, и все шарахнулись в сторону, и я подался, посмотреть хочу, а самого дрожь так и бьет.

«Хватит, — думаю, — и меня старуха!»

А старуха на меня только посмотрела, недружно так посмотрела, она завязывала в салфетку старика и девочку — какие оказались они оба маленькие, словно какие окуски! Завязала старуха салфетку да с узелком к выходу. И я за ней.

— Проклятые, — шептала старуха, — проклятые вы! — и бросила у прохода, где жандарм, свой кровавый сверток.

Я вышел на площадь и у памятника вдруг хватился, где портфель? — не было моего портфеля, и сейчас же я на 2-ую Рождественскую, к тому самому месту, где поскользнулся и полетел тогда, как реалистов обходил.

И увидел я свой портфель, у панели лежит, весь сапогами затертый, и я поднял его, раскрыл посмотреть, все ли, не пропало ли чего? А там — там ручка торчит той девочки алая

и борода стариковa запутанная, клоки запеклись. И вдруг я почувствовал, что на плечи мне вскочил кто-то, да за шею как...

20.

В НОСУ

Меня перевели вниз. Я сижу у окна, — широкое окно, в сад выходит. Тут же у окна моя мать сидит. И входит в комнату женщина, немолодая уж, одета так скромно, и у ней в руках два свертка. Она развернула их, и в одном я вижу иллюстрированные издания в красках, а в другом горшок с белым цветком, вроде азалии белой, а обернут горшок в тонкий кирпичный газ.

— Газ нынче очень дорогой! — говорит мать и подрезывает нитки на горшке.

Материя расправляется — пышный кирпичный газ.

— Кто же это мне прислал? — спрашиваю я женщину, которая цветок принесла.

А она отмалчивается, вижу, не хочет отвечать.

И кто-то говорит, что пришел член первой Государственной Думы Ж. и спрашивает, можно ли войти. Тут женщина, что цветок принесла, выходит из комнаты, и я замечаю, что моя мать совсем не одета.

— Выйдите, — говорю, — на минутку, член первой Государственной Думы пришел! — и выхожу сам.

В сенях толкутся какие-то бритые, отекшие, — за подаянием, должно быть, пришли, ждут, и женщина та, что́ цветок принесла, с ними стоит. Ищу мелочь, чтобы на чай ей дать, а в кошельке у меня одна скорлупа ореховая. И там порылся и тут пошарил, все карманы вывернул, — нет ничего, одна скорлупа. Так и пошел.

У забора на цепи пес белый с желтым, а навстречу мне бульдог. Не залаял пес, а бульдог повилял хвостом и скрылся в новой стройке. И я вернулся домой, сел у окна — широкое окно, в сад выходит.

Член первой Государственной Думы, видимо, потерял всякое терпение, — а ждал он меня наверху, — и вот он вошел в комнату и уж не один, а с женой и с маленькой девочкой.

А я и говорю ему:

— Как же так, столько ждали вы меня и ничего не заметили: вы знаете, в н о с у курить нельзя.

— Нельзя? — удивился мой гость, — почему же внизу не курят?

— В носу, — поправил я, — нельзя.

И вижу, стоит та женщина, что цветок принесла, и так мне неловко перед ней, что ничего-то я ей на чай не дал.

— Скажите же, — говорю, — от кого цветок?

А она посмотрела на меня, — так пообещала, и говорит:

— Я сейчас, я справлюсь! — и сама так скоро пошла, и я за ней.

И мы очутились в каком-то узеньком каменном дворике, а она все идет и не смотрит на меня. Потом за ворота вышли, и тут она обернулась:

— Я не могу сказать, — сказала она виновато, — они очень хорошие, только боятся, — и уж не оглядываясь, пошла от меня, побежала.

Я было за ней, а потом подумал:

«В носу нельзя!»

21.

НАВЕРХУ

Наверх меня перевели. Наверху мне дали комнату, комнатенку дощатую, — к ней лестница ведет, и очень широкая, да совсем неудобная: перила трясутся, а доски шатаются. И поставили мне на стол малюсенькую чашку чаю, так, с наперсток.

— Пей, — говорят, — до отвалу! — и комнату заперли.

А я себе думаю:

«Ну и спасибо, сами кушайте, и не притронусь! Уж так как-нибудь обойдусь и без чаю. Спасибо!»

22.

КРОВОСОС

Входит наш швейцар Иван и говорит мне, что в прихожей меня хозяин наш спрашивает. И я пошел встретить его и в дверях столкнулся с попом: рыжий в лиловой рясе с серебряным наперсным крестом вошел в комнату поп и, не здороваясь, сел у камина в дальний угол. Сел и я с ним, сидим молча, и вижу, какие-то, не то носильщики, не то, Бог их знает, кто, двое, начинают выносить мои вещи. А поп только губой причмокивает — смешно ему. Тут уж я поднялся.

— Что вы, — говорю, — мои вещи выносите? — и иду за ними в соседнюю комнату, где стоит рояль.

А там полна комната, и все пьяные, растерзанные — одна нога в сапоге, другая — так, распоряжаются.

И хочу я Ивана позвать, пройти в прихожую, а никак не пройти — загородили дорогу. Я назад в комнату, — плохо, думаю, очень плохо! — и бегу, к окну подбежал. Они за мной и поп с ними, вижу, причмокивает, побагровел весь. Открыл я окно, высунулся на набережную и стал свистать... а они уж за спиною, а они уж тянут меня.

23.

ПО-ДРУЖЕСКИ

Вернулся в Россию один известный государственный преступник. И когда это стало известно, говорят мне:

— Есть единственный способ поступить с ним по-дружески, идите и застрелите его сонного. Иначе все равно его повесят.

Я взял с собой револьвер, и действительно, нашел его в комнате, лежит на кровати, спит. Но тут я заметил, что я совсем не одет, в одной сорочке.

«Так неловко, — думаю, — ведь, когда я его застрелю, подымется суматоха, придет полиция протокол составлять, а я в таком виде!» — и начинаю одеваться.

И пока-то я одевался да застегивался, он и проснулся, увидел он меня, обрадовался.

— Вот как хорошо, — говорит, — что вы пришли и с револьвером, теперь можно будет убежать. Побежимте вместе!

А я ничего.

«Как же так, — думаю, — я должен убить его и это, ведь, будет самое дружеское, чтó я могу для него сделать, а он — бежать! Мне-то бежать, да куда? Такою их жизнью я не могу жить, как они, а главное, зачем же я взялся дело-то сделать, мне поверили, и вот убегу!» — и говорю ему:

— Давайте вместе застрелимся!

А он так покивал головой, не хочет, значит, не согласен.

«Ну, — думаю, — застрелить-то я его теперь уж никак не могу, рука не подымется, тогда еще, как спал он, тогда дело другое. А теперь лучше я сам!» — и я направил на себя револьвер.

24.

ПЕС РОГАТЫЙ

На осыпи железнодорожных путей церковка, — мне со шпал видна она, и чтó внутри там делается, и это я вижу, я вижу, у амвона стоит рояль...

Служба только что кончилась и по алтарю ходит дьякон в золотом стихаре, орарь снял. И знаю я, не настоящий дьякон, а бас оперный, известный певец, загримирован, дьяконом ходит, и борода у него приклеенная. И слышу, как за спиной у меня кто-то жалуется.

— Храм древний, а рояль завели, вот нынче какое благочестие!

И тут, откуда ни возьмись, пес появился рыжий с рогами: два рога, «прикровенны в космах», как у бычка молодого, и хочет пес — «зверь мимошедший» забодать меня. А я

его, нащупал рога, да за рога, да к себе и тяну. Ну, и ничего, только хвостом вертит.

— Пес мой, — говорю, — зверь мимошедший, куда нам идти?

26.

ВИНОВНЫЙ

Куда бы я ни пошел, а я спешу куда-то — из переулка в переулок и сам не знаю тороплюсь куда, и он тут же, он мне всюду навстречу. Бог знает, когда и где я его видел, но я его хорошо знаю.

Сначала он, как в тумане, только мелькал, потом все ясней и отчетливей я стал различать его среди прохожих и, наконец, он сам стал подходить и совсем близко. Он точно все выслеживал меня, и вот напал на след, осмелел, и уж шел, не скрываясь, прямо на меня.

Какой он ощеренный — какие крепкие широкие зубы, немного припухлый, видно, с печенью не очень важно, а галстук один и тот же узенький черный бессменно, и отложной короткий воротничок, как всегда. Да, где-то уж я его видел, и не однажды, может быть, даже и знакомы мы, только глаза... таких я никогда не видел, такие светящиеся глаза. И все смотрит, и так требовательно смотрит.

— Вы вот все смотрите на меня, следите за мной, — и я стал на колени, — виноват перед вами, должно быть, я в чем... Я только не помню, что я вам сделал. И если я виновен, вы мне так и скажите и простите меня.

А он молчит, и хоть бы одно слово, он только смотрит своими — только у него такие! — своими светящимися глазами.

27.

РАДУНИЦА

Пришел знакомый один, не очень знакомый, а мне и неловко: постель моя не убрана. И мы пошли гулять, а он за мной никак не поспевает, с ногой у него что-то, идти ему трудно. Прошли Летний сад, вышли на набережную, и тут еще двое встретили нас, и увязались с нами. И надоели они мне все порядком. Уж я и так и сяк, насилу-то отделался, и один вернулся домой, а там все по-прежнему, и постель моя стоит не убрана.

«Что же это, — думаю, — до сих пор ничего не убрано!» — досадую.

И очутился в лесу. На той же самой кровати лежу я в лесу, только белье все свежее. И знаю я, что в лесу я путешествую: то в кровати, то пешком.

Весь зеленый лес лиственный, и такой холодок жуткий.

Птицы шумят, перепархивают, и слышу, как они между собой разговаривают. И говорят они, птицы, что померла знакомая наша писательница, называют ее по имени, а через полчаса и муж ее, писатель же.

И как услышал я, очень мне жалко стало и так слезы подступили к горлу, жалко очень. И вижу я, идут они: она в черном, он в сером. Ну, такие же самые, но и другое в них есть что-то, побледнее как будто. Очень они мне обрадовались. А я встал с кровати и пошел с ними.

— Ну, как же у вас кружки какие существуют? — спрашивают они меня.

— Есть, — говорю, — один кружок, читают NN-а, — и называю фамилию как раз этого самого писателя.

А она на это как-то так, капризно так:

— Зачем же читают NN-а?!

Тут он вступился.

— А почему же не читать NN-а?

И они так это говорят, будто совсем не про них идет речь, а про кого-то другого, кого они только знают и сами читали.

А птицы все перепархивают и такой зеленый, такой зеленый лес.

И опять мы подошли к моей кровати. И вижу я, продается какая-то рыба вроде селедки и стоит она — 1 р. 50 к.: рыба плавает в кадке, а на ней палочка, на палочке дощечка с надписью — 1 р. 50 к. А продает рыбу так вроде приказчика в белом фартуке и не ласковый такой, не обращает на нас внимания, — рыбу из кадки руками вылавливает.

— Дайте и мне тоже немного! — говорит приказчику писательница, и ко мне: — это я сестре хочу отнести.

— Нет, — говорит приказчик, — я вам не дам, это им раньше заказано! — на меня показывает.

А я тихонько моим спутникам, утешаю их:

— Не обращайте, — говорю, — вы на него внимания, это не настоящий хозяин, настоящий хозяин совсем добрый.

28.

НА ИЗВОЗЧИКЕ

Выходить мне из дому запрещено, я очень болен, — в два часа доктор ко мне приедет. А мне так надоело, так бы вот и выскочил на волю, ну, хоть до угла, до газетчика и домой.

«И всего только до газетчика, — думаю, — успею, до двух еще есть время!» — взял да и вышел.

До газетчика дошел и дальше и, незаметно, все дальше, так и вышел на Невский и прямо в табачную к Баннову.

За прилавком приказчики и все мальчики черную кофточку бархатную на прилавке кроят, черную кружчатого бархату.

«Ишь, — думаю, — чем занимаются!»

А народу в лавке тьма-тьмущая, и все идет народ, дверью хлопают.

Посмотрел я на закройщиков, потолкался, вынул часы, хвать, а уж полчаса пятого.

«Вот тебе, — думаю, — и доктор!» — и говорю:

— Прощайте, — некогда мне! — и тороплюсь выйти.

Да не тут-то, словно бы и всем приспичило, — повалил народ вон из лавки, не протолкаешься.

И уж кое-как я от Баннова выбрался, ну, слава Богу, вышел я на Невский. А на Невском пусто, и трамвай не ходит и все извозчики не то разобраны уехали, не то по дворам куда разъехались. И один-единственный на углу Пушкинской стоит, согнулся на козлах, заснул, что ли? Я к нему, не торгуюсь, сел скорей, машу рукой, — погоняй, знай! А сиденье такое высокое.

И уж потом в дороге обратил я внимание, что извозчик-то мой странный какой-то — голова толкачиком, без волос, голая, и один глаз у него выпученный. И стало мне не по себе как-то.

И долго мы ехали, и улиц уж не знаю, какие это улицы, да и не улицами мы ехали, а так по камням.

— Мне на Таврическую! — схватил я извозчика за плечи.

— Везу, куда надо! — один ответ, сам знай себе подстегивает.

Оторопел я, растерялся совсем, смотрю, а у меня и часов уж нет, дорогой, знать, выпали, и шляпы нет и манжет нет, соскочили, знать, да и без пальто я и без пиджака, все пропало, все порастерял. А пролетка так и черкает, так по песку и черкает.

И вижу, решетка, парк, в парке большой белый дом. И нет уж извозчика, и я нагишом стою, — все до рубашки снято, один крест на шее.

«Господи, — думаю, — что же мне делать?» — и неловко и стыдно мне и тихонько я пробираюсь к решетке, да за решетку и стал.

Идут женщины какие-то, и у одной, как у извозчика того, один глаз выпученный.

— Ради Христа! — говорю им.

— Нет у меня ничего, милый! — отвечает та, с выпученным глазом; подумала, что Христа ради прошу.

— Да мне не надо ничего, мне... чтобы на Таврическую отвезли.

А та стоит, раздумывает о чем-то, один глаз выпученный, как у извозчика.

— Да отвезите же меня, — прошу ее, — там... сто рублей вам заплатят, а у меня нет ничего, только и осталось... — показываю на крест.

33.

ТРИЗНА

Птицей коричневой с белым горлышком, птичкой счастливой перепархивал я с камня на камень по берегу моря, я прислушивался к плеску волны и повторял свои два малые слова, и рядом на камне лежал лапы вверх тюлень, утоплый детеныш с раздутым брюхом, стальной, как море.

— Кит, кит попался! — бежали ребятишки и кричали, и ребятишкам было очень страшно и они были рады, что видели зверя морского.

Я стоял перед престолом Бога Живаго, я давал обет быть справедливым и милостивым. Власть моя не знала границ и, вооруженный силою мира, я чувствовал в себе непобедимую силу, я один мог бы потопить любой флот, я один мог бы рассеять и самое стройное войско и задавить мятежный сброд непокорных полчищ, я был судьбою народов, я не знал пощады и никто не ускользал от моего ока, я был мечом для сердца, и меч мой, проходя через сердца, открывал сердцу помыслы человеческие... и был я первым под зорями солнца.

И какой злой хозяин выгнал бы собаку со двора? По слякоти в промозглое утро шел я ошельмованный свя́зень с полицейским из Петровской в Петербургскую часть, я дрожал всем своим измученным голодным телом и был тих и кроток, да я и таракашку снял бы, всех пощадил бы, — и сердце в сапоги ушло...

И вот уж тащат... А ведь я как хотел в Лавру, нет, посвоему распорядились, на Волково тащат. Уж отпели и отпетого, поконченного, несли на кладбище зарывать в могилу. Выскочил я на повороте, забежал вперед — до кладбищенских ворот мне еще можно! А как хорошо было на воле, в Божьем мире, на земле моей любимой, и чисто и ясно, только все чуть помельче, будто через стекло какое, через бинокль обратно, я смотрел на нашу землю, на улицы наши, на дома и сады и на прохожих. Я стоял у большого серого камня, у своей могилы, и разбирал надпись — по-латыни вырезана была надпись на камне, римскими буквами неровно...

— Ой, горю! — припал я к горючим стенкам котла, — ой, горячо! — язык пересох, горло запеклось.

— Один глоток, — кричу — один глоток!

Черный идет, зло глаза горят, учуял зов.

— Страж мой черный, — прошу я его, — мучитель мой, дай испить!

— Бог подаст! — насмешливо смотрит так, — Бог подаст! — и опрокинул котел.

Мороз, у! лютый! — мороз трещит. Выкарабкался я из проруби, по горло в воде стою, зубы мне с дрожи разбило, закоченел весь, и двинуться страшно, вот оборвусь.

— Страж мой черный, — прошу я его, — мучитель мой, спаси душу, дай огонька!

— Бог подаст! — ощерился, черные пылают глаза.

И опять весь в огне, опять попал в горючий котел, — ой, горю, ой, горячо!

Черный, мой страж неизменный, ходит вокруг. Кого мне просить, кого звать? И дым моей муки непрестанно восходит, и нет мне покою день и ночь.

1913 г.

МОИ СНЫ. ЛИТЕРАТУРНЫЕ

СОЛОГУБ

Я не дома, не в Петербурге, живем мы на Океане — такой остров есть на Океане Noirmoutier — и не один, с нами Сологуб. Всякий день мы купаемся в море: сперва Сологуб выкупается, потом я влезу.

Madame Croque-mitaine (по-русски Буроба), ну вылитая наша Карасьевна, только что и есть отличие, что ни устриц, ни мулей и никаких креветок ни глазом не видала, ни в рот не брала, рассказывает:

— Я после этого monsieur выловила маленьких чертенят, а после вас крупного — таковрго вот!

Карасьевна растопырила руки — какого такого она выловила!

* * *

«Помер Сологуб»!

И мы пошли к нему на Васильевский остров.

Сологуб лежит под Блоком — квартира Блока наверху, а Сологуба внизу — зашли сначала к Блоку. И вместе к Сологубу.

Сологуб лежит на письменном столе — лицо закрыто платком.

А А. Н. стоит возле: она в коротком красном платье:

— Я за этот день стала такая, как он!

И когда она так сказала, вижу, идет Сологуб — такой самый настоящий Федор Кузьмич, только моложе, чуть с проседью. Он подошел к А. Н., что-то сказал ей тихо и исчез.

Много набралось всякого народу, только нет Вячеслава Иванова.

И я подумал:

«Вот Сологуб теперь увидится и с Блоком и с Брюсовым и с Гершензоном!»

И взялся за яблоко: очистил кожу и только что закусил, вижу, внутри-то еще яблоко — еще кожа! Бросил — в самом деле, нехорошо есть яблоко, когда на столе покойник!

Было ли напечатано в газетах о смерти Сологуба?

— Да, — говорят, — было: на луне, в лунной.

И опять я подумал:

«Почему же Вячеслава Иванова нет?»

И в это время с разных концов донеслось до меня — говорили вполголоса:

— У него лицо перед смертью очень исказилось.

— Потому и закрыто платком.

И каждый стал друг за дружку прятаться — и я остался один стоять впереди.

«Как во сне!» — подумал я, — и хочу и не могу отойти в сторону. И опять задвигались: нагибаясь — дверь очень низкая — вошел митрополит и с ним архиереи — но они были не в клобуках и не в митрах, а в высоких лиловых камилавках.

САВИНКОВ

Вернулся тайно в Россию Б. В. Савинков. И когда это стало известно, говорят мне:

— Есть единственный способ поступить с ним по-дружески: идите и застрелите его сонного. Иначе все равно его повесят.

Я взял с собой револьвер и действительно нашел Савинкова в моей комнате: лежит на кровати, спит. Но тут я заметил, что я совсем не одет, — в одной сорочке.

Неловко, — думаю, — ведь, когда я его застрелю, подымется суматоха, придет полиция протокол составлять, а я в таком виде!

И начинаю одеваться. И пока-то я одевался да застегивался, Савинков проснулся — увидел меня, обрадовался.

— Вот как хорошо, — говорит, — что вы пришли и с револьвером: теперь можно будет убежать. Побежимте вместе!

А я ничего, молчу.

«Как же так, — думаю, — я должен убить его и это, ведь, будет самое дружеское, что я могу для него сделать, а он: "побежимте вместе". Мне-то— бежать?! и куда? Такою жизнью я не могу жить, как он!»

И говорю ему:

— Борис Викторович, давайте вместе застрелимся?

А он — головой так: не хочешь, значит, не согласен.

«Ну, — думаю, — застрелить-то я его теперь уж никак не могу, рука не подымется; тогда еще, как спал он, тогда другое дело. А теперь лучше я сам!»

И бросив револьвер, я твердо пошел к окну — —

РОЗАНОВ

Розанов, исповедник пламенной веры в Вия, Пузырь и Тарантул в их надзвездном цветении, представленном в высшем очаровании Гоголем в «Вечерах» и Толстым в улыбающейся Наташе и Катюше; у Достоевского с его грозным отчаянием и мрачным восторгом, с пронзительной тоской и чистосердечием, огненно и убежденно сказавшего трогательные строчки одним духом о Нелли, Лизе «Вечного мужа» и Соне, Розанову нечего было искать: эти «косточки» его не прельщали, разве что для «Опыта». Розанов, отвернувшийся от Гоголя, проглядевший и подземную тайну Вия и кровную тайну «Страшной мести» и райскую тайну «Старосветских помещиков», а возненавидевший за то, что Гоголь не женился — «в утробе матери скопцом зарожден!» — ничего не нашел другого, как отплеваться: «русалка, утопленница... проклятая колдунья с черным пятном в душе, вся мертвая и ледяная, вся стеклянная и вся прозрачная, в которой вообще нет ничего! Ничего!!!» Розанов, со всей горячностью своего вийного сердца усвоивший стиль Лукьяна Тимофеевича Лебедева из «Идиота» с его толкованием Звезды-Полыни, с его двойными мыслями о искреннейшем слове и деле и столь же искренней лжи и правде одновременно, с его молитвой за упокой графини Дюбарри, за ее последний «мизер» и наконец с его «связующей мыслью», нашел свою связующую для всей жизни и всего живого — п л о д и его п р о и з в о д с т в о, и высшую и единственную красоту увидел в беременной женщине и вообще в плодоносящей твари; ведь звери когда-то очень тесно жили с людьми, — старые звери, как старые турки, смотрели, убежденно, внимательно и справедливо. И этим Лебедевским стилем — петербургской приказной речи с паузами, подмигиваниями, читай между строк, — написал — дело своей жизни — «Семейный вопрос» не одно только благословенное утробное ношение и кормление грудью, а те самые дети, которые вырастут и начнут галдеть. «Дети — образ Христов, будущее челове-

чество», — так, или дети с их шелковыми мордочками и удивительно нежными ручками, еще не оторвавшиеся от духовного мира, еще не сказавшие «я есмь», есть образ Света. Розанов согласен с Достоевским и тут у него этот свет — Христос — <не> «ненавистный темный лик Голгофы, опечаливший землю», а Светло-Христово Воскресение, с весенними ручейками, с влюбленностью, разлитой в первом цветении земли, «Христос воскрес!» и древний русский обычай троекратного поцелуя не безразличного радостного и обрадованного, всех принимающего и тех и этих, и этих обреченных, уже с затягивающейся петлей на шее, но все еще с крепко сжатыми руками: «Бог не допустит» — «Христос воскрес!» А насчет будущего человечества — какое оно — да лишь бы плодились и все тут, и пусть это будет муравейник, дрожащая тварь, над которой кто смел, тот и съел. «Да, это так. Это их закон. Не переменятся люди и не переделать их никому, и труда не стоит терять. Кто крепок и силен умом и духом, тот над ними и властен! Кто много посмеет, тот у них и прав. Кто на большее может плюнуть, тот у них и законодатель, а кто больше всех может посметь, тот и всех правее. Так до сих пор велось и так всегда будет. Только слепой не разглядит!» Розанов и с этим согласен, но это совсем не важно, какой подлец или какой мошенник цыкнет на муравейник. Вера и закон Розанова Вий, Пузырь, Тарантул в их надземном цветении, в их звездном небе, в их теплой парной земле, и единственная власть — высшее начальство лесной Вий — царь обезьяний Асыка, выскочивший из-под земли в Эдипову ночь («Трагедия об Иуде») и опьянивший одним своим дыханием все и всех, — Валахтантарарахтарандаруфа! Розанов потом уж схватился, что семейный вопрос без подрастающих детей невозможно и представить, а дети — ад, хоть из дому беги. «Если бы Василий Васильевич представил себе все, когда писал Семейный вопрос, а то ничего не знал!» (Слова Варвары Дмитриевны). И ведь каждый орет: «я есмь». А кто это смеет, и что такое я есмь — я, Розанов, я есмь! И больше никого. Никого!!! После «Норы» Розанов искренне недоумевал: «почему же, когда все так хорошо кончилось, Нора ушла от мужа?» А Розанов смел говорить «я есмь». Тут он многое повторял за Достоевским из «Необходимого объяснения»: «...если уже раз мне дали сознать, что «я есмь», то какое мне дело до того, что мир устроен с ошибками, и что иначе он не может стоять? Кто же и за что меня после этого будет судить?» Я вспомнил Розанова, кого же и вспомнить, когда гремит весна и весь город пишет стихи, я вспомнил Розанова неповторяемого, единственного, самого по себе, с его папироской,

которую и отпетый в гробу, подмигнув, закурил бы — «служба долгая, лежать неудобно, страсть покурить захотелось, а полагается или не полагается, к черту!». Я его вижу, как ходит он в этой весенней урчащей, прыскающей и хлюпающей гуще, подрыгивает и лягается, сам с собой, так, просто обалдел, трезвенник, не выносящий и презирающий пьяниц, пьяный от асычьего весеннего воздуха, или как вкопанный стоит, обращенный туда в высь весеннего неба, никогда не различающий глаз человека, а вот зачарованный, мигающий меленькими звездами, бормочущий без слуха и голоса —

Выхожу один я на дорогу,
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха, пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит...

И этот его бог — Вий, Пузырь, Тарантул ворожит над ним, брошенным в мир на землю, избранным, отмеченным рыжим знаком, с упорным черепом «человека» и всегда пышущим сердцем, где в каждой капельке крови «разожжен уголек», над ним — семенящим, близоруким, без слуха и голоса, всеми горячими кровными словами всасывающим животворящую скользящую силу, расцветающую в влюбленной гимназистке Вале, в ее голубом, и во всех, во всех в нее влюбленных, серых, карих, светлых, зеленых, желтых и голубых. «Дура, — сказал бы Розанов, — чего же ты не выходишь замуж?» Или: «Почему не сходишься со всеми, кто тебя желает?» Он и еще что-то хотел сказать, да язык прикусил. «Черствое у тебя сердце, голубушка».

Paris
1931

ТВОРЧЕСТВО ПАМЯТИ

МИФОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ АЛЕКСЕЯ РЕМИЗОВА

«Когда-нибудь потом я расскажу вам и совсем про другое и совсем по-другому...» — пообещал А. М. Ремизов в своей последней повести, написанной в России в 1914—1918 годах. И действительно, творческие перемены произошли уже спустя четыре года. Художественному перевороту способствовало множество причин и прежде всего потрясение основ общественной жизни, радикально изменившее и личную судьбу писателя. Огромный пласт бытия, уходя навсегда в прошлое, приобретал в сознании художника легендарное значение и требовал адекватного осмысления и особого описания. Ощущая себя свидетелем исторических событий, похожих на древние космогонические метаморфозы, Ремизов написал в 1918 году поэму «О судьбе огненной», в основу которой положил восходящую к натурфилософии Гераклита апологию «огня» — первоосновы мироздания, главенствующей силы космического катаклизма, несущего гибель и возрождение Вселенной:

Пожжет огонь все пожигаемое.
В огненном вихре проба для золота
и гибель пищи земной.
И вместо созданного останется
одно созидаемое —
персть и семена для роста[1].

Многим писателям и поэтам из его литературного поколения открылась лишь губительная сила этого пла-

---

[1] Ремизов А. Электрон. СПб., 1919. С. 9.

мени. Ремизова поддержала вера в вечный, пришедший из древних мифов, символ огня, который несет одновременно и гибель и рождение, оставляет после себя не только пепелище, но и основание для будущей плодоносной почвы. Одна из первых книг берлинской эмиграции — «огненная» книга «Ахру» хранила еще неостывшую память о недавнем прошлом, уходящей литературе («К звездам»), живые, не утратившие своего эмоционального накала, свидетельства о зарождении новой творческой энергии («Крюк»), наконец, утопическую мечту о возможном человеческом братстве («Обезвелволпал» и «Манифест»). Развивая вполне конкретные сюжеты, Ремизов создал метафорический образ России начала 1920-х годов. Над реальным планом повествования возникло пространство сверх-смысла, вбирающее даты, лица, поступки, события как частные проявления одного всеобъемлющего значения, в котором заключена сущность явлений бытия в целом.

Пожалуй, впервые именно в «Ахру» так явно объективировалось новое, мифологическое, направление творчества Ремизова. Совсем небольшая по объему книжка положила начало огромному мифу о времени и о себе, которым стало все последующее творчество писателя. Как и древние мифы, его автобиографические произведения по своей природе комбинаторны, им свойственна повторяемость и вариативное развитие одной и той же темы в разных сюжетах. Читатель может легко убедится в том, что многие главы, очерки или фрагменты произведений Ремизова этого периода перемещаются из книги в книгу. Например, очерк «К звездам» впоследствии был включен в главу, посвященную Блоку, книги воспоминаний «Встречи», а история о том, как Ремизов и Розанов рисовали «хоботы» («Кукха»), отражена в романе «Плачужная канава»; фрагмент, первоначально использованный в «Учителе музыки» (главка «Ревизор»), органично вошел в состав «Огня вещей» (конец главы «Сверкающая красота») и т. д. Каждое последующее воспроизведение сюжетов или фрагментов в новых контекстах позволяет автору высветить дополнительные или незаметные детали и тем самым раздвинуть границы понимания, наполнить этот, по сути уже известный материал новым смыслом. Ремизовская комбинаторика сродни магическим

орнаментальным построениям в детском калейдоскопе: тем же, кто пытался узнать тайну этого завораживающего мира удивительных композиций, известно, что сам калейдоскоп состоит всего лишь из нескольких зеркал и десятка цветных стеклянных осколков.

Прослеживая внутренние взаимосвязи книг Ремизова, созданных в 1920—1950-х годах, нельзя не увидеть за отдельными текстами образ самого писателя, который, являясь уникальной творческой личностью, оставил после себя целые ансамбли новаторских мифологических конструкций. Характерно, что логика ремизовского мифа, аналогично древним мифам, развивается по кругу, соединяя концы и начала повествования, причем эта закономерность просматривается как в отдельных произведениях, так и при целостном восприятии творчества Ремизова 1920—1950-х годов. Символ огня, положенный в основание первой книги, выпущенной в эмиграции, позже завершится оригинальной интерпретацией смысла человеческого бытия в «Огне вещей». В «Ахру» «огонь» в силу своей полисемантической природы высвечивает глубоко личные, автобиографические мотивы: это и поминальный огонь (первые воспоминания о Блоке), и огонь как метафорическое выражение жизненной силы (молодые литературные «воспитанники» писателя). Последний смысл, безусловно, относился не только к созданному им в «Крюке» коллективному портрету нового поколения литераторов, но и к теме той жизненной энергии, которая поддерживала самого художника, обживавшего новые культурные пространства. Книга стала своего рода выражением независимости от реальных и метафизических границ, отдаливших писателя от родной почвы, культуры, друзей и даже от самого себя, который остался «там» навсегда — в памяти близких людей.

Петербургская память, заключенная в «Ахру», озаглавлена коротким экзотическим «обезьяньим словом», а сама книга заканчивается композицией, как может показаться, формально присоединенной к двум первым очеркам. Тем не менее именно «Albern» наделен особенным — мифологическим значением: здесь, через метафору и загадку, скрытую в миниатюрах про скоморохов, настойчиво пробивается тема игрового шутовства,

связанная с важнейшей биографической реалией — учрежденной Ремизовым игрой в Обезьянью Великую и Вольную Палату. Включенные в главку «обезьяньи» тексты («Обезвелволпал» и «Манифест») семантически связаны единой темой памяти как с двумя первыми очерками («К звездам» и «Крюк»), так и со всей книгой в целом. «Albern» — это память о способности художественного сознания оставаться свободным в любых жизненных ситуациях («не было дела, которое не переделывалось бы в шутку, и не было шутки, которая не претворялась бы в дело»). Только такое самоутверждение позволило Ремизову придумать уникальное «обезьянье» общество — в равной степени реальное и мифическое. С одной стороны, членами тайного Ордена были практически все упомянутые в книге писатели, в том числе и герой проникновенного «поминального слова» «К звездам» — старейший кавалер Обезвелволпала Александр Блок. С другой стороны, автор так плавно переводит повествование очерка «Крюк» в фантастический регистр, что в конце рассказа названные поименно реальные люди вдруг уподобляются тотемным героям, которые в традиционном мифе всегда выступают в образах животных: «...повертывало зверье в другую лешачью нору — стог чертячий — в Обезьянью великую и вольную палату на суд обезьяний. И видел я не раз в окно, как разбредались по своим гнездам: кто хвостом трубя, а кто в прыг <...>, кто как заяц, кто Мишей, но всяк до мура — вдохновенно».

С «обезьяньей» игрой для Ремизова была связана и история собственного творческого самоутверждения, оформление особой мировоззренческой позиции, а также построение такой шкалы ценностей, где творческий, созидательный гений художника приравнивался бы к простым человеческим качествам — дружеской поддержке и взаимопомощи. Мысль об исторической значимости Обезьяньей Палаты как в личной, так и в общей судьбе целой плеяды современников неявно оформилась в сознании Ремизова еще в Петрограде. Однако волею общей судьбы изгнанников и беженцев пути многих «обезьяньих кавалеров» сошлись именно в эмиграции. Здесь возникли новые деловые и творческие связи и знакомства, а сама идея Палаты приобрела особый смысл: призрачный мате-

рик объединил разбросанных по Европе философов, литераторов, художников, врачей, издателей и многих других выходцев из России. Обезвелволпал хранил как драгоценность прошлое этих пилигримов и объединял их в настоящем, не только создавая иллюзию общности, но и вполне реально закрепляя принципы взаимопомощи, товарищеской поддержки и творческой заинтересованности друг в друге. Спустя многие годы, когда Обезьянья Палата вошла в сознание современников как литературный и художественный памятник эмиграции, Ремизов подведет итоги своей многолетней игры в письме к Я. Цвибаку (А. Седых), напечатавшему весной 1952 года статью об Обезвелволпале: «Спасибо за память: вспомнили Обезволпал. Открыта 45 лет тому назад в Москве. Сколько великих прошло через эту виноградную Палату, а я остаюсь несменяемым канцеляристом, теперь заштатный, так под грамотами и подписываюсь. Обезьяньи грамоты вносили и в самую темь нашей жизни только веселость и никто никогда не оскалился схватить меня себе назуб»[1].

Обезвелволпал свободно, без многословных предысторий и объяснений вошел практически во все последующие мемуарные и автобиографические произведения писателя, в первую очередь благодаря его новой книге, появившейся в 1923 году под другим «обезьяньим» названием — «Кукха». Ремизов вновь преобразует здесь документальный материал в мифологический текст, центральным действующим лицом которого становится не столько реальный Розанов, сколько В. В. Розанов, персонифицирующий ту жизненную силу, по имени которой и получила свое название книга. Казалось бы, и воспоминания «К звездам» («Ахру»), и особенно «Розановы письма» основаны на линейном развертывании череды действительных событий жизни, абсолютно соответствующих реальности, и лишь иногда экскурс в прошлое перебивается эпистолярными посланиями к Александру Александровичу Блоку или Василию Васильевичу

[1] Седых А. Далекие, близкие. New York, 1979. С. 111.

Розанову[1]. Однако мифологическая природа «Кукхи» задает совершенно иной хронотоп, для которого категории прошедшего времени словно не существует. Повествование обращено не в прошлое, а в настоящее; атмосфера потенциально возможного диалога с умершими, присутствующая в тексте, свидетельствует о стремлении писателя преодолеть границу между загробным миром и реальностью. Письма Ремизова к философу адресованы в «надзвездье», и это не жизнь и не смерть, а всего лишь место появления и исчезновения.

В предисловии к книге Ремизов утверждал, что, создавая «Кукху», он руководствовался прежде всего желанием «сохранить память» о друге — память «житейскую», «семейную». В августе 1921-го, считая свой отъезд из России временной передышкой от пережитых потрясений, Ремизов понимал, что возвращение в прежний Петербург невозможно. Наряду с творческими рукописями самым ценным в его нехитром багаже были составленные в последние годы самодельные альбомы, дневники и письма. Отправляясь в путь, он отчетливо представлял себе, что каждый километр, отдаляющий его от России, превращает эти запечатленные в лицах, образах и чувствах фрагменты времени в тайники памяти: дневниковые записи — в мемуары, письма — в бесценные литературные памятники. Удивительно, но мироощущение Ремизова всегда было готово к бедствию, которое неизменно рисовалось в его воображении как огненная стихия. О своем подсознательном предуготовлении к «пожару» он размышлял еще в начале творческого пути: «Для чего я все собираю, подклеиваю, раскладываю по именам, по памяти и берегу? Пожар — и все сгорит. И на пожарище я буду собирать. Я вытолкнутый на земле жить»[2].

Все, чему он был свидетелем в России, приобрело совсем иной смысл за ее пределами и потребовало свое-

---

[1] Исследователями ремизовского творчества отмечено, что этот прием соотносится с культурной традицией «разговоров в загробном царстве» (Флейшман Л.С. Из комментариев к «Кукхе». Конкректор Обезвелволпала// Slavica Hierosolymitana. 1977. Vol. I. P. 185).

[2] На вечерней заре. Переписка А. Ремизова с С. Ремизовой-Довгелло / Подгот. текста и коммент. А. д'Амелия // Europa Orientalis. 1990. IX. С. 469.

образного оформления материала. Переосмысляя в начале 1920-х годов смену эпох и культур, Ремизов создает принципиально новую прозу, оригинальные решения которой основывались, впрочем, на старом фундаменте. Ремизов всегда мыслил нетривиально, а стиль его художественных произведений не был похож ни на чей другой. Еще в самом начале своего литературного пути он увлекся задачей реконструкции народного мифологического сознания через адаптацию сказки, легенды, апокрифа в современной жизни. Теперь же он приступил к художественному описанию мифа, рождаемого из материала самой жизни, собственным творчеством демонстрируя процесс, который вошел в мировую культуру с мифами Древней Греции, сказаниями о святом Граале и многими другими легендами, лежащими в основании мировой культуры.

Первые попытки реализовать эту идею возникают в творчестве Ремизова, начиная со второй половины 1910-х годов, когда в его рассказах появляются реальные имена знакомых и друзей, как, например, в рассказе «Исаич» (1915), затем в публикации документов минувших времен (писем, деловых бумаг и пр.) — в очерках, объединенных впоследствии в книге «Россия в письменах» (1922). Свидетель рождения новой литературной формы и нового творческого метода, В. Шкловский связал их с мифологией придуманного Ремизовым «обезьяньего» народа:

«Сам Ремизов тоже Алексей Михайлович. Говорил он мне раз: "Не могу я больше начать роман: 'Иван Иванович сидел за столом'". Так как я тебя уважаю, то вот тебе открытие тайны.

Как корова съедает траву, так съедаются литературные темы, вынашиваются и истираются приемы.

Писатель не может быть землепашцем: он кочевник и со своим стадом и женой переходит на новую траву.

Наше обезьянье великое войско живет, как киплинговская кошка на крышах — "сама по себе".

Вы ходите в платьях, и день идет у вас за днем; в убийстве, даже более — в любви, — вы традиционны. Обезьянье войско не ночует там, где обедало, и не пьет утреннего чая там, где спало. Оно всегда без квартиры.

Наше дело — созданье новых вещей. Ремизов сейчас хочет создать книгу без сюжета, без судьбы человека, положенной в основу композиции. Он пишет то книгу, составленную из кусков, — это "Россия в письменах", это книга из обрывков книг, — то книгу, наращенную на письма Розанова.

Нельзя писать книгу по-старому. Это знает Белый, хорошо знал Розанов, знает Горький, когда не думает о синтезах и о Штейнахе, и знаю я, короткохвостый обезьяненок.

Мы ввели в нашу работу интимное, названное по имени и отчеству из-за той же необходимости нового материала в искусстве. Соломон Каплун в новом рассказе Ремизова, Мария Федоровна Андреева в плаче его над Блоком — необходимость литературной формы»[1].

Характерные особенности историко-литературного процесса первой половины XX столетия в целом и инновационной прозы Ремизова в частности актуализируют замечание М. М. Бахтина о том, что русская проза «от Достоевского до Белого» обнаруживает симптомы такого взаимоотношения автора и литературного материала, которое, по его мнению, следует называть не иначе, как «кризисом авторства». Говоря о писателях, соотносимых в истории литературы с направлением модернизма, Бахтин указывал на принципиальное смещение позиции автора извне вовнутрь изображаемого: «...понять — значит вжиться в предмет, взглянуть на него его же собственными глазами, отказаться от существенности своей вненаходимости ему; все извне оплотняющие жизнь силы представляются несущественными и случайными, развивается глубокое недоверие ко всякой вненаходимости...»[2]. Действительно, буквально в течение нескольких лет в прозе Ремизова исчезают традиционные для художественного мышления границы, разделяющие автора и предмет изображения, вымысел и документ, публичное и интимное, литературный быт и историческую реальность. Творческое сознание писателя успешно осваивает эту новую для себя сферу «пограничного», представляющую собой некую гносеологическую пустоту,

---

[1] Шкловский В. Сентиментальное путешествие. М., 1990. С. 295–296.
[2] Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. С. 186–187.

заполняющуюся, с одной стороны, общекультурными, с другой — сугубо индивидуальными смыслами, для того, чтобы в конце концов соединиться в новую синкретическую целостность.

Современная наука, говоря о природе мифотворчества, утверждает, что, с одной стороны, существует линейное и прогнозируемое научное сознание, а с другой, неожиданное и действующее по своим особым законам — мифологическое. Подобно примитивному, наивному, первобытному мышлению[1], которое не пользуется логическими умозаключениями и плодами предшествующего опыта, мифологическое сознание создает вокруг себя собственный мир при помощи самых разнообразных «подручных» средств. Можно с уверенностью сказать, что одним из основных признаков «примитивного мышления» является страсть к собирательству. Для мифологического сознания одним из высших гносеологических критериев является полнота восприятия мира, а не поиск истины — как для научного сознания. Полнота достигается через присвоение *конкретного*, в то время как цивилизованному мышлению свойственны обобщения, предварительные творческие замыслы или проекты.

По свидетельству очевидцев, Ремизов всегда «собирал и берег <...> всякие пустячки, которые ему что-нибудь напоминали: пуговицу, которую потерял у него Василий Васильевич <Розанов>, коночный билет, по которому он ехал к Константину Андреевичу <Сомову>

---

[1] Параллель с «примитивным», «наивным», «детским» мышлением в отношении Ремизова (кстати говоря, отмеченная и самим писателем, скажем, в рассказе «Дикис») не покажется неуместной, если иметь в виду опорный автобиографический мотив «подстриженных глаз». До 14 лет, то есть до обретения очков, Алексей Ремизов – полуслепой ребенок – жил совершенно особыми образами и представлениями о мире, и, подобно первобытному человеку, его сознание существовало один на один со всем миром. Поскольку для научного сознания результаты «наивного» мышления слишком непредсказуемы, Леви-Строс называет такого человека бриколером – от глагола bricoler, применяемого в игре с мячом, в бильярде, верховой езде для того, чтобы вызвать ассоциацию с неожиданным движением (например, с траекторией отскакивающего мяча).

и т. д.».[1] Основным литературным материалом для новой прозы писателя как раз и стали «всякие пустячки». Говоря буквально, для создания нового литературного метода Ремизов использовал содержание своего чемодана, с которым он приехал в Берлин. В сущности, первые эмигрантские книги Ремизова очень напоминают альбомы, куда собирается все — на память: фотографии, письма, сны...

В личных архивах писателя действительно сохранилось внушительное число различных альбомов, среди которых есть и традиционные переплеты с фотографиями, и альбомы, запечатлевшие автографы, рисунки и записи друзей писателя. Особую роль играли самодельные тетради большого формата, которые Ремизов начиная с 1920-х годов стал использовать для хранения своей корреспонденции. На каждый лист такого альбома наклеивалось письмо, которое иногда сопровождалось газетной вырезкой, отчасти дополняющей текст корреспондента. Как правило, собственных помст писателя либо его комментариев эти альбомы практически не содержат. Принцип организации писем под одной обложкой разнообразен: иногда писатель тематизировал свою корреспонденцию заголовками: «Художники» или «Русские письма очень важные»; другие альбомы отличаются значительным кругом имен и достаточно размытыми хронологическим границами. Имеются и персональные альбомы, например, «Розанов», «Савинков», «Агге Маделунг», «Зарецкий». Помимо писем, здесь немало газетных вырезок, но иногда встречаются и ремизовские заметки.

Альбомы писателя выполняли функцию своего рода «копилок» для «подручных» средств. В них содержался разнообразный материал, который, будучи собранным воедино, дает ощущение многообразия и полноты. Первоначальный импульс к возникновению альбомов исходил из страсти к собирательству, в результате чего возникла, в частности, и знаменитая коллекция ремизовских игрушек, и другие коллекции. Объединяя в альбомы письма и различные свидетельства бытовой жизни (билеты, цветочки, перышки, пуговицы), Ремизов не выстра-

---

[1] Добужинский М. В. Воспоминания. М., 1987. С. 277.

ивал заранее продуманную творческую перспективу, а действовал по принципу: «это может всегда сгодиться». Собирание писем в альбомы было продиктовано не только стремлением систематизировать отложившийся в домашнем архиве материал, но и продуманной творческой интенцией. В письме к Тукалевскому (1933 г.) Ремизов признавался: «Мне всегда хочется делать альбомы, когда есть документ. Письма Савинкова и портреты и мой сон о нем 3 письма Сологуба — — так и сохранней и памятней. Так я бы сделал, разбирая свой архив, который находится в Петербурге»[1].

Приводя вполне рациональную причину своеобразного способа организации архива — «так сохранней». Ремизов добавляет другую категорию, которая напрямую касается только его лично — «так памятней». Ремизовские альбомы с письмами — это индивидуальное осмысление чужого сознания, для самого писателя явления внешнего и закрытого. Альбом — в подлинном смысле слова культурный, бытовой, а также литературный памятник. Память в художественной системе ремизовского творчества призвана сохранить первоначальную актуальность пережитого события, образа или явления, запечатленного сознанием. Память — это область такого духовного праксиса, который открывает творческому сознанию не только прошлое, но и будущее, смешивает реальные объекты с фантазией и вымыслом, наделяя их признаками мифа. В ремизовских альбомах, как нельзя лучше, проявляются все основные свойства мифологического сознания, присущего писателю: нераздельность субъективного и объективного, предмета и имени, вещи и ее атрибутов, пространственных и временных отношений. Здесь происходит пресуществление, или, лучше сказать, — творческое присвоение чужого. Альбом сам по себе представляет собой структурированную совокупность, возникшую из осколков событий, описанных чужим дискурсом. И вершиной такого мифотворчества, несомненно, является книга-альбом «Кукха. Розановы письма», сама написанная на основе реального альбома, ныне хранящегося в Гарварде (США).

[1] ГАРФ. Ф. 577. Оп. 1. № 697. Л. 48.

Возможно, обратившись к «Ахру» и «Кукхе», читатель удивится необычно доверительному, интимному тону воспоминаний. Нередко повествование совершенно лишено каких-либо пояснений и построено так, будто читатель заведомо в курсе упоминаемых событий, составлявших историю отношений Ремизова и Блока, Ремизова и Розанова. Непроницаемая граница между читателем и текстом, читателем и автором настолько демонстративно игнорируется, а различные истории литературного мира становятся до того общедоступными, превращаясь в нечто похожее на легенду и анекдот, что могут показаться полнейшей фантазией и даже мистификацией[1]. Тем более что уже с начала 1900-х годов Ремизов прославился в кругу литераторов как отъявленный выдумщик и обманщик. Казалось бы, альбом Ремизова позволяет исследователям раскрыть одну за другой все его мистификации. Однако мистификация — это *авторское* произведение, в основе которого лежит вымысел, выдаваемый за реальность. Автор мистификации хотя и скрывается, но всегда находится неподалеку, в то время как миф в принципе лишен авторства, и потому он воспринимается не как продукт индивидуальной творческой фантазии, а как свойство самой реальности. Альбомы Ремизова (в том числе и тот, который стал протоформой «Кукхи»), на наш взгляд, следует рассматривать как модель мифологического синкретизма реальности и фантазии. Перед нами наглядный образец того, как бытовое эпистолярное послание становится литературным фактом, а его содержание — мифологическим повествованием.

Мифологическое сознание — конкретно-чувственно, а потому предметы, не утрачивая своей определенности, могут символически заменять другие предметы и явления, то есть становиться их знаками. Оно обращено к единичному; одним из основных его принципов является принцип pars pro toto: целое не имеет частей, но часть

---

[1] Примером восприятия «Кукхи» как антологии ремизовских мистификаций может служить исследование А. А. Данилевского «Из комментариев к *Кукхе* А. М. Ремизова» (Slavica Helsingiensia. 11. Проблемы русской литературы и культуры / Под ред. Л. Бюклинг и П. Песонена. Helsinki, 1992. С. 93–96).

является целым. Заполняя ментальное пространство символическими образами, сознание, продуцирующее миф, достигает своей основной цели — пресуществления мира. В этой системе означаемое превращается в означающее и наоборот. Таким образом, автомифология является основным методом Ремизова, а ее результатом — создание некоего автомифологического (биографического) пространства. Известен не менее характерный ремизовский прием: когда объектом мифологизации оказывается другая личность, чужое сознание — и этот образ также трансформируется в мифологему. В 1931 году Ремизов написал очерк «Розанов» (публикуемый в «Приложениях»), который стал фундаментом его собственных мировоззрительных построений на темы Эроса. Пожалуй, этот текст можно назвать гимном «Великому фаллофору» Обезьяньего ордена, где Розанов изображен восприемником Гоголя и Достоевского. Ремизовское постижение взглядов философа уподобляется герменевтическому анализу, когда интенция направлена не столько на воспроизведение исходного замысла, сколько на создание новых смыслов. Имя собственное — «Розанов», наравне с «Гоголем» и «Достоевским», предстает здесь самостоятельной мифологемой, а сам очерк заключает в себе оригинальную концепцию Эроса, окончательный смысл которой раскрывается только в «Огне вещей».

Еще раз напомним слова Ремизова о целесообразности создания альбомов: он утверждал, что *так сохранней.* Собственно, для чего нужно было сохранять этот разношерстный, причудливым образом сгруппированный материал? Несомненно, что в понятие «сохранности» писатель вкладывал какое-то другое значение, отличное от того, что подразумевает исследователь или архивист. Сохранение предполагает постоянное общение (диалог) с документом и материалом; сохранить — значит как можно дольше удержать документ в настоящем, поддерживая его актуальность. Желание сохранить в настоящем все, что стремительно уходит в прошлое и лишается адекватного своему времени восприятия, с поразительным мастерством и поистине бесстрашным новаторством реализовано писателем в «Мартыне Задеке» и «Огне вещей».

«Мартын Задека» — собрание «снов» писателя можно представить и как последнее автобиографическое произведение Ремизова. Только это очень необычная автобиография. Ремизовский «Сонник» создан из реальных снов, которыми наполнены его дневники, специальные тетради для записей, а также рисованные альбомы. Как и прежде, Ремизов обращается к сáмому что ни на есть объективному в своей жизни, в том смысле, что на сновидения он был не в силах повлиять: они возникали помимо собственной воли их «автора». Единственное, что он мог позволить себе по отношению к этим продуктам собственного «ночного» сознания, освободившегося от контроля, — это записать их по пробуждении, как этнографы записывают свободно существующие в народной памяти и передаваемые из уст в уста сказки, былины и легенды. Запечатленное памятью сновидение отождествлялось с текстом-источником. Ремизовский прием литературной обработки сна был сродни литературному пересказу, который писатель активно использовал в работе с фольклорным или мифологическим материалом: «Сказка и сон — брат и сестра. Сказка — литературная форма, а сон может быть литературной формы. Происхождение некоторых сказок и легенд — сон»[1]. Очевидно, что автор «Мартына Задеки» равнозначно оценивал и индивидуальное бессознательное творчество (сновидение), и коллективное бессознательное творчество (мифотворчество), одинаково подчиняющиеся лишь неписаному закону необузданной фантазии.

Только мастерство художника позволило Ремизову создать литературные обработки снов, которые сохраняют в настоящем времени неуловимые, ускользающие события «зазеркального» бытия. Сновидение — сфера бессознательной экзистенции, наделяемая смыслом и не уступающая в своем значении объективному миру. Сновидение соединяло явь и физиологический сон, концентрируясь на границе осознанной реальности и беспамятства (или забытья), ассоциирующегося со смертью. Архетипическая связь сновидения с потусторонним миром дополнялась представлением, в соответствии с которым утрата самой

[1] Кодрянская Н. Алексей Ремизов. Париж, 1959. С. 303.

способности видеть сны казалась равносильной творческой смерти. В основе мировоззрения писателя, формировавшегося в русле символистской эстетики, лежало признание высшей ценности искусства. Его авторская индивидуальность проявилась и в убеждении, что между искусством и сновидением существует устойчивая семантическая связь, более того, что «искусство как сновидение глубже сознания»[1]. Обычное сновидение было для Ремизова одновременно безотчетным самовыражением творческой энергии и вместилищем памяти, которая охватывает постижимое прошлое (историю) и запредельное (прапамять). Сновидение обозревает минувшее в его реальном и мифологическом воплощении, а также потенциально предполагает прорыв в будущее. Именно через сон осуществляется связь времен: «Сны сами по себе увлекательны, как всякое приключение; а "приключение" — душа живой жизни: из приключений составляется биография человека и история вообще. Сны как бы прерываются бодрствованием, а на самом деле, проникая бодрствование, непрерывны — нигде не начинаются и не имеют конца или: уходят в глубь веков, к первородному, к самой пуповине бытия — так по Эвклидовой мерке, и в безвременье — по счету сонной многомерности»[2]. Сон, пронизанный реалиями объективной жизни, есть мифологизированная действительность в ее прошлом, настоящем и даже будущем. Миф исключает внутреннюю «слепоту» человека, в нем обычное зрение преобразуется в ви́дение (про-зрение), рождающее идеальные смыслообразы.

Первые литературные сны Ремизова были опубликованы в 1908 году и тогда же вызвали немало противоречивых мнений, в особенности из-за употребления в них реальных имен. Мифологизируя сновидческий сюжет, писатель утверждал значение сна как данности, равной реальной жизни, содержание которой не может быть изменено или проигнорировано[3]. В защиту своего мифотворчества он выступил в одном из писем:

---

[1] Кодрянская Н. Алексей Ремизов. Париж, 1959. С. 289.

[2] Ремизов А. М. Неизданный «Мерлог» / Публ. А. д'Амелия // Минувшее. Исторический альманах. 3. М., 1991. С. 230.

[3] Ср.: «...для мифического мышления и "опыта" существует постоянный и плавный переход от мира снов к миру "реальности". И в чисто практи-

«Гонение на употребление знакомых мне совершенно непонятно. Вы только подумайте!

Д. С. Мережковский с начала революции, (вот уже 10 лет на носу, как Тутанкамоном упражняется, М. А. Алданов на князьях и графах собаку съел, треплет всяких зубовых и в ус не дует, и ничего, пропускают! А мне — нельзя помянуть С. В. Познера! А чем он виноват, что он не "фараон" и не "граф" и никакая придворная птица).

То же и во снах: фамилии не случайны! М. П. Миронов снится к дождю, Н. А. Тэффи к ясной погоде и т. д.»[1].

Ремизовские сны настолько подлинны, насколько абсурдны. Эта взаимообратная связь фантастического и настоящего выстраивается благодаря художественному мастерству писателя и его желанию зафиксировать, сохранить достоверные события иного мира. Интересно оценить эту грань, сравнив ранние «опыты» в области литературной гипнологии: публикацию первого цикла «Под кровом ночи» во «Всемирном вестнике» за 1908 год и опубликованные несколькими месяцами позже одноименные циклы в журналах «Золотое руно» и «Весна». Первые еще не лишены философствования, художественного описания и рационального смысла, в отличие от последующих, как будто очищенных от навязанных интерпретаций дневного сознания. Ремизов действительно скептически относился к рационалистическому толкованию сновидений, принятому в психоанализе, хотя и признавал заслуги З. Фрейда в утверждении сна «как факта человеческой жизни». В системе экзистенциальных ориентиров писателя сны составляли часть своеобразной ноосферы, области духовного праксиса, открывающей творческому сознанию прошлое и будущее: «Всякое творчество воспроизводит память; память раскрывается во сне» («Огонь вещей»)[2]. Сон как область саморазвития мысли, не-

ческом смысле, и в установке на реальность, которую человек принимает не просто в представлении, но в действии и деятельности, определенные сны получают ту же силу, значение и "истину", как и события, переживаемые наяву» (Cassirer E. Philosophie der symbolischen Formen. Bd. II. Das mythische Denken. Darmstadt, 1953. S. 48. – Цит. по: Хюбнер К. Истина мифа. М., 1996. С. 113).

[1] Письмо от 30 мая 1926 г. (ЦРК АК). См. также: Ухват. (Париж). 1926. № 6 20 июля. С. 11.

[2] Далее цитаты из «Огня вещей» приводятся в тексте без указания на источник.

зависимая от человеческой воли, был для Ремизова живой творческой субстанцией, умирающей с пробуждением. В своем стремлении конкретизировать обрывки сновиденного бытия писатель по крайней мере на десять лет опередил первые сюрреалистические эксперименты по фиксации «реального функционирования мысли»[1]. В освоении мира сновидений он не только, по собственному выражению, «переступал грань» различий, но средствами опытного художника делал эту границу невидимой. Так сновидение, традиционно воспринимаемое пограничной областью человеческого бытия, в творческой интерпретации писателя, как и в манифесте идейно близких ему сюрреалистов, становилось миром, сливавшимся с явью в «некую абсолютную реальность»[2].

Помимо вербальной фиксации своих «ночных приключений», Ремизов применял особый и, может быть, наиболее адекватный способ сохранения снов в спонтанном рисунке. Графические дневники (альбомы) писателя, которые он вел на протяжении многих лет, соединяли в себе повествование и изображение, по сути являясь «пограничным» артефактом. Рисунок позволял не просто передать панорамность и полихроничность сновидения, но наглядно объективировал дискретность двух миров, каждый из которых весьма относителен с точки зрения другого. Подобно тому, как иконостас у П. А. Флоренского есть «граница между миром видимым и миром невидимым»[3], ремизовский «сновиденный» рисунок демонстрирует экзистенциальный смысл сновидения в одновременном противополагании и объединении несоединимых начал — сна и яви.

Внимание к бессознательному и отождествление сновидений с творческим процессом подвело Ремизова к

---

[1] Бретон А. Манифест сюрреализма // Назвать вещи своими именами. Программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX века. М., 1986. С. 56. Признание сюрреалистами творчества Ремизова подтвердилось в факте участия писателя в сюрреалистическом сборнике, издававшемся под редакцией А. Бретона «Cahiers G. L. M.» (1938. № 7), где во французском переводе был опубликован текст «Шесть снов Пушкина» («Six rêves de Pouchkine»).

[2] Там же. С. 48

[3] Флоренский П. Иконостас // Богословские труды. М., 1972. Вып. IX. С. 97–98.

оригинальной интерпретации литературного наследия писателей-«сновидцев»: Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Тургенева, Достоевского в книге «Огонь вещей» (1954). Представляя известные произведения русской литературы как смену «многоступенчатых» снов, он стремился добыть потаенное знание о личности художника. Подобный опыт познания реализовывался через оригинальное ремизовское «сотворчество» — авторизованный пересказ, нередко преобразующийся в домысливание, вживание в образы литературных героев и их авторов. В результате, с одной стороны, автоматически уничтожалась граница между сновидением и реальностью, сном и произведением, автором и читателем. Выстраивая собственное повествование на текстах Гоголя, Пушкина, Лермонтова, Тургенева и Достоевского, Ремизов преобразовывал устоявшиеся, клишированные суждения, предлагая читателю самому домыслить необычную интерпретацию художественных образов, помогая открыть неожиданные возможности прочтения классики. Однако не анализ традиции снотворчества в русской литературе занимал автора «Огня вещей». Эту книгу, пусть и весьма условно, можно назвать и автобиографической, и мемуарной, однако в первую очередь это серьезная философская проза. Именно здесь нашла свое завершение оригинальная мировоззренческая концепция Ремизова, которую с полным основанием можно назвать «философией Эроса».

«Новая проза», и в первую очередь «Кукха», засвидетельствовала важный сдвиг, который произошел в ремизовском восприятии личности В. Розанова и его философии пола за прошедшую четверть века — со времени создания эротической сказки «Что есть табак» (1908). От прежней иронии, профанного озорства, дистанцирования от розановского фаллического пафоса не осталось и следа. Но это сближение вовсе не означало согласия двух представлений. В очерке «Розанов», в отличие от последующих пересекающихся вариантов этого текста (в «Учителе музыки», «В розовом блеске» и «Встречах»), начальный космогонический элемент и основной принцип бытия, воплощенный в мифологемах Гоголя и Достоевского — «Вий, Пузырь и Тарантул», — дан соответственно розановскому мировосприятию: это пьянящая, «животворя-

щая скользящая сила», дарующая жизнь, вопреки всему и всем, без мертвой морали и цинизма; другими словами, Эрос есть основной жизненный инстинкт. В соответствии с оригинальными философскими воззрениями Ремизова, изменчивая природа Эроса, скрывающаяся под мифологическими именами Вия, Тарантула и Асыки, — это и «все, что можно представить себе чарующего», как «бесконечная сила», и «глухое, темное и немое существо», «темное, глухое всесильное существо». Идея амбивалентной Первосущности, бесстрастной и беспощадной, порождающей и уничтожающей, инвариантно заявлена и окончательно сформулирована в «Огне вещей»: «Вий — сама вьющаяся завязь, смоляной исток и испод, живое черное сердце жизни, корень, неистовая прущая сила — вверх которой едва ли носится Дух Божий, слепая, потому что беспощадная, обрекая на гибель из ею же зачатого на земле равно и среди самого косного и самого совершенного не пощадит никого. Вий — а Достоевский скажет Тарантул». Для Ремизова Первоначальная сущность имманентно включает в себя жизнь и смерть в их нераздельном единстве; это понятие имеет две оборотные стороны: демонстрируя витальный, эротический характер, оно одновременно указует на Танатос. Столь подчеркнутое отождествление любви и смерти, безусловно, обращено против розановского идеализма, апеллирующего исключительно к продолжению рода, к жизни в ее нетленности и беспредельности.

Синкретический Эрос Ремизова не только отстоит от фаллического оптимизма Розанова, но и определенно расходится с тем жизнетворческим опытом, который запечатлелся в мистериальных и теургических переживаниях символистов. В начале века русский символизм, всецело сконцентрированный на философском осмыслении темы любви, объявил Эрос важнейшей мифопоэтической доминантой. Следуя Платону, представители этого новейшего мировоззрения видели в любви не чистую идею, не чувственное явление — а особую «демоническую» (в древнем смысле) силу, посредствующую между божественной и смертной природой[1]. Осознавая Эрос как «рождение в красоте» (Вяч. Иванов), они тем

---

[1] Соловьев В. С. Собр. соч.: В 12 т. Брюссель, 1970. Т. XII. С. 237.

самым разграничивали смерть и жизнь и антиномически противопоставляли небесное — земному, божественное — демоническому. Быть может, именно символистская эстетика окончательно закрепила за понятием «платоническая любовь» смысл, подразумевающий любовь умозрительную, духовную, бестелесную, любовь небожителей, стремящихся к осуществлению «творческого Эроса» (М. Волошин). Самый процесс постижения природы любви оборачивался для символистов проблемой выбора между двумя безднами — возвышающей, открывающей врата бессмертия или губительной, демонической, чувственной страсти.

Рассмотрение ремизовских опорных экзистенциалов в их философской взаимосвязи раскрывает внутренний смысл самого названия одной из последних книг писателя. «Огонь вещей» — это и есть, собственно, не что иное, как любовь в ее человеческом воплощении, и одновременно это — онтологическая идея всепроникающего Эроса-Танатоса. Работа над «Огнем вещей» в 1930—1940-х годах задала общий строй размышлений, которые на протяжении многих лет сложились в своеобразную натурфилософскую систему взглядов. Символы и образы ремизовской картины мира как «первожизни» собираются здесь в калейдоскопический орнамент из послереволюционных текстов и весьма прозрачно соотносятся с основными понятиями доплатоновской философии и гностицизмом. «Любовь-и-смерть», заключенная в понятии плодоносящей Первосущности (по своей сути, гераклитовская), восходит к пониманию Эроса как бытия, пограничные формы которого — рождение и умирание. Единым первоэлементом, сутью вещей, обобщающим символом ремизовской идеи Эроса, является огонь: «пожар возникает из самой природы вещей, поджигателей не было и не будет». Символ пожара — «всепожирающее время». Понимание смысла стихийной огненной силы у Ремизова как нельзя более полно соответствует «беспредельной мощи» (потенции) «всяческого» в гностической модели мира[1].

---

[1] См.: Карсавин Л. П. Малые сочинения. СПб., 1994. С. 65–66; Йонас Г. Гностицизм. СПб., 1998. С. 198–199.

Уже в свете «Огня вещей» становится понятным сакрально-эротический смысл и трех основных обезьяньих слов («ахру», «кукха» и «гошку»), которые были вписаны Ремизовым в седьмой пункт «Конституции» Обезвелволпала. В начале 1920-х, когда писатель оказался между смертью и жизнью, между Россией и Западом, между прошлым и будущим, мучительная самоидентификация сопровождалась рождением оригинальной натурфилософской картины мира. Возможно, именно события русской революции обратили Ремизова к центральным первоэлементам ранней греческой философии, к грандиозному образу сотворения Вселенной в гностической космогонии, которые в истории культуры восходят к Гесиоду и орфикам и потому называются Эросом, что именно он «устрояет мир, живой и неорганизованный», «устрояет вселенную и создает людей и богов»[1]. Сакральный лексикон, состоящий всего из трех слов: «ахру» (огонь), «кукха» (влага), «гошку» (еда), выводит ремизовскую игру из круга бытовых развлечений. Архетипическая семантика обезьяньего языка задает параметры построения космогонического мифа, фиксирующего определенную картину мира и ее первоэлементы. «Огонь», «влага» и «еда» — константные мифологемы, лежащие в основании мировой цивилизации; каждая в известной степени представляет собой эротически заряженный первоэлемент бытия. Огонь — космический символ жизни, движущая сила постоянного обновления мироздания: в огне мир рождается и разрушается. Согласно гностикам огонь связан с размножением. В человеке — он источник всего сущего, первопричина творческого действия. Как мужское начало, огонь превращает горячую и красную кровь в сперму. Влага — еще один первоэлемент Вселенной; в антропоморфной модели универсума влагу заменяет кровь. Это женское начало олицетворяет собой сферу и атрибут всеобщего зачатия. Еда как мифологема также включает в себя представления о первоосновах бытия. Во время еды разыгрывается ритуал смерть—воскресение: в акте еды космос исчезает и появляется, итогом чего становится обращение к новой жизни, новому рождению, воскресению.

---

[1] Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991. С. 191.

Семиотический анализ первобытных культур показывает, насколько осознанно-сакральной являлась сексуальность как дискурсивная форма межчеловеческого общения, насколько осмысленным, живым и взаимосвязанным был архаичный сексуальный язык. Даже сама обезьяна по народным поверьям символизирует силу полового влечения[1]. Все «обезьяньи слова» сопряжены с космогоническим процессом рождения=смерти и поэтому несут в себе взаимодополняющий смысл. Табуирование эротического подтекста в «обезьяньем языке» соответствует словесной и буквенной магии, похожей на первобытное мышление, призванной, с одной стороны, подчинить называемое человеческой воле, с другой — защитить его от враждебного воздействия. Одно из возможных решений проблемы происхождения этих трех слов подводит к индоевропейскому праязыку[2]. В частности, «ахру» близко по звучанию к индоевропейскому «ar», которое одновременно есть и мужчина, и огонь. Поставленное в обезьяньем лексиконе первым, слово «огонь» соотносится с единицей — символом творческого начала, силы и энергии. Индоевропейский корень, обозначающий единицу (oi-(d)-nos), дает возможность соотнести древнесеверное «upi» — огонь — с древнерусским «удъ» — в значении: пенис. В основании слова «кукха», вероятно, также лежат индоевропейские корни, где «kuk» — женский половой орган, а «gheu» — влага. Возможно, что и слово «гошку» восходит к древнеиндийскому «ghas» — есть, пожирать (в сочетании с «kuk»)[3].

Герменевтический метод книги позволяет писателю толковать отдельные сюжеты гоголевской прозы в соответствии с этими символическими представлениями. Здесь «панночка умерщвляющая» из «Вия», сгубившая простоватого философа Хому Брута своей любовью,

---

[1] См.: Белова О. В. Славянский бестиарий. Словарь названий и символики. М., 2000. С. 190, 209.

[2] Об интересе Ремизова к сравнительно-исторической этимологии свидетельствует автокомментарий к «Трагедии о Иуде...», объясняющий происхождение имени Иуда: «Юда – от корня und (лат. unda, болг. уда)» (Ремизов А. Трагедия о Иуде принце Искариотском // Золотое руно. 1909. № 11–12. С. 29).

[3] См.: Маковский М. М. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках: Образ мира и миры образов. М., 1996.

ассоциируется с богиней-воительницей Астартой, олицетворяющей любовь и плодородие, преследующей своей страстью возлюбленного. Обе они мифологически осуществляют непререкаемый закон судьбы. Любовь и судьба в этой интерпретации тождественны, так как подразумевают неминуемость заключенных в них роковых предрешений, связанных со смертью. Когда философ Хома попытался «иссудьбиться», смертельный итог стал еще более очевиден: «дурак, от судьбы разве бегают!». Судьба не оставляет человеку никакого выбора: «знак судьбы паутина». «Темное, глухое — немые зеркала-глаза, пкляпое пахмурое мурло — Тарантул. <...> В его скорпионьих лапах мера: законы природы. И нет для него ни высокого, ни святого, нет никому пощады: одна у всех доля».

В очерке «Выхожу один я на дорогу», вошедшем в книгу Ремизова «Встречи. Петербургский буерак» (начало 1950-х), Ремизов дополнит раздумья о мифологемах Розанова новыми принципиальными выводами: «в подполье» — нет подполья, «трехмерная ограниченность» мира — искусственна и значима только для «тупых и ограниченных» людей, а паучья «тайна» — в возможности взорвать мировой порядок по своему, недоступному для человеческого понимания, произволу: «...в “подполье” из зеленой слизи, плесени и сыри — из “духовной туманности” открылся богатый мир, и с той же неожиданностью, как там откроется в вечности в этой единственной комнате — в то-светной закоптелой бане с пауками по углам. И что, ведь оказывается, что какому-то там пауку — этой концентрации первострастей и сил всяких желаний, сока и круговорота жизни — чтобы развесить и заплести свою паутину в “светло-голубом” доме и наслаждаться жертвой, понадобился Эвклид, а самого по себе Эвклида в природе нет и не было, а наша ясная трехмерная ограниченность такая чепуха, какую сам по себе ни один чудак не выдумает; и еще оказывается, что пауки — эти демиурги, распоряжающиеся судьбами мира, по какому-то своему капризу — “разум служит страсти!” — могут нарушить всякий житейский счет, “дважды два” станет всем, только не “четыре”, а незыблемый и несокрушимый “четверной корень достаточного основа-

ния", смотрите, одна труха, а незыблем и несокрушим лишь в "светло-голубом" доме для тупиц и ограниченных — для всех этих творящих суд звериных харь...»[1].

В «Огне вещей» Ремизов сформулирует основные принципы своего позитивного мировосприятия, отвергающего искусственные барьеры между жизнью и смертью, духом и плотью, сном и явью. Такая философская позиция определенно приближает его к гностическому пониманию, где любовь — это и есть сама по себе смерть, быть может, лишь с той разницей, что в трактовке писателя снята оппозиция: духовное = бессмертное / телесное (половая любовь) = смертное: «И, одаренный разумом, узнает, что он смертен, и что причина смерти — любовь». Единственный смысл любви — заполнить краткий промежуток между рождением и смертью и тем самым оправдать «первородное проклятие время-смерть», доказать, что «высшее и единственное: любовь человека к человеку». Такая философия допускает иронию по отношению к року: «В самом деле, не землей же мир Божий сошелся, и на нашу в чем-то согрешившую землю и тарантул-то пущен только для порядку». Эрос это и обычное тяготение людей к друг к другу — те самые мельчайшие душевные «искры» человеческого общения, которые находим на последних страницах «Огня вещей»: «— А вот мне Коля и ежика несет. Ну давайте, откроем скорее клетку — мой ежик, моя надежда, моя мечта, мое очарование, моя любовь!» Эрос одновременно есть и Логос — творчество, которое также обнаруживает свою эротическую природу, это «...чарующий жгучий всплеск полной жизни, движимой подземной вийной силой». Творчество как одно из проявлений Эроса — непреложный закон бытия, заключающийся в неразрывной связи начала и конца, рождения и смерти.

«Огонь вещей» утверждает Эрос не только как натурфилософскую картину мира, но и как решение экзистенциальной проблемы соотношения яви и сна. «От загадочных явлений жизни близко к явлениям сна, в которых часто раскрывается духовный мир. А язык ду-

---

[1] Ремизов А. Встречи. Петербургский бусрак. Париж, 1981. С. 107.

ховного мира не вещи сами по себе, а знаки, какие являют собою вещи». «В снах <...> и вчерашнее — засевшие неизгладимо события жизни и самое важное: кровь, уводящая в пражизнь... Пол связан с кровью. Пол как бы душа крови. Пол живет и владеет после смерти. <...> И кровь — эта непрерывность жизни — это замирающее, умирающее и воскресающее в другом — имеет свой голос. И этот голос открывается во сне...» В имплицитной форме писатель дает ответ на известный философский вопрос, поставленный Гераклитом и гностиками, Платоном и Аристотелем, формулировку которого находим у Л. Шестова: «Не только чистые последователи Платона, но циники и стоики, я уже не говорю о Плотине, стремились вырваться из гипнотизирующей власти действительности, сонной действительности, со всеми ее идеями и истинами. <...> Древние, чтобы проснуться от жизни, шли к смерти. Новые, чтоб не просыпаться, бегут от смерти, стараясь даже не вспоминать о ней. Кто "практичней"? Те ли, которые приравнивают земную жизнь ко сну и ждут чуда пробуждения, или те, которые видят в смерти сон без сновидений, совершенный сон, и тешат себя "разумными" и "естественными" объяснениями?» Это — "основной вопрос философии" — кто его обходит, тот обходит и самое философию»[1].

Если человеческое сознание воспринимает жизнь как неподлинное бытие, то такая ситуация предполагает два решения: пробудиться от сна, то есть умереть, или продолжать жить во сне. Однако Ремизов исходит из априорной уверенности, что «душа знает больше, чем сознание». Он связывает неизъяснимую душевную тоску, свойственную всем творческим натурам (в особенности такой инфернальной натуре, как Гоголь), с «памятью» о трансцендентном и первоначальном Бытии. Гностическая метафора «зов извне», напоминающая человеку о его небесном происхождении, прямо выражена Ремизовым в интерпретации «нездешней» природы Гоголя: «Есть в "Старосветских помещиках" автобиографическое: полдневный окликающий голос. Этот голос услышал Афанасий Иваныч, вестник его смерти, слышит и

[1] Шестов Л. Соч.: В 2 т. М., 1993. Т. 2. С. 161.

Гоголь и в детстве и пред смертью, когда начнет свой подвиг: сожжет рукописи и откажется от еды». Выбор Ремизова — в соединении на первый взгляд взаимоисключающих экзистенциальных состояний. Сон и творчество сливаются в одно понятие, как и более сущностные экзистенциалы жизни и смерти. В свою очередь, жизнь и смерть оказываются лишь двумя сторонами единого и вечного бытия свободной человеческой души: «Наша живая реальность — стена, отгораживает тот другой мир с загадочным, откуда появляется душа и куда уходит оттрудив свой срок». В результате смысл «зова извне» предстает пробуждением от «сна», возвращением к неизменным первоначалам бытия, к «огню вещей», который есть не что иное, как вечный синкретизм Эроса и Логоса, любви и творчества.

Е. Обатнина

КОММЕНТАРИИ

АХРУ

В настоящий том собрания сочинений А. М. Ремизова включены четыре книги: первые две — «Ахру. Повесть петербургская» и «Кукха. Розановы письма» — знаменовали собой начало эмигрантского периода жизни писателя и были написаны в Берлине в 1922—1923 гг.; две другие — «Огонь вещей. Сны и предсонье» и «Мартын Задека. Сонник» — относятся к произведениям, изданным в Париже в 1954 г., в самом конце его жизненного пути. Основу всех публикуемых книг составляет разнообразный культурно-бытовой и историко-литературный материал. Учитывая исключительную насыщенность этих произведений реальными именами, в комментариях биографические данные о конкретных лицах мы приводим лишь в тех случаях, когда они связаны с содержанием того или иного сюжета. В «Приложениях» публикуются «сны» (не вошедшие в книгу «Мартын Задека».), по текстам последних печатных редакций, а также неопубликованный при жизни писателя очерк «Розанов». Произведения Ремизова тесно связаны с мифом об Обезьяньей Великой и Вольной Палате. Именно этим объясняются органично включенные в повествовательный ряд игровые статусы многих реальных лиц. Для уточнения и пояснения этой мифологической линии мемуаристики Ремизова использован составленный по архивным и печатным источникам «Синклит» членов Обезьяньей Палаты (см.: Обатнина Е. Царь Асыка и его подданные. История Обезьяньей Великой и Вольной Палаты в лицах и документах. СПб., 2002. С. 332–369).

Текстологический анализ вошедших в том сочинений значительно осложнен отсутствием в отечественных архивах авторских рукописей. Вместе с тем нельзя не учитывать, что издание последних книг Ремизова пришлось на время, когда писатель, будучи почти слепым, уже не мог с характерной для него кропотливостью отслеживать и выверять ошибки в корректурах. Поэтому тексты прижизненных изданий вызывают множество вопросов, касающихся пунктуации, орфографии, единообразия расстановки кавычек и написания имен. В «Огне вещей», произведении интертекстуальном по своему замыслу, постоянно встречается замена слов в «прямых» цитатах, поскольку текст намеренно искажался и домысливался Ремизовым. В ряде случаев их написание оставлено без изменений, в соответствии с прижизненным изданием, правильный вариант приведен в комментариях, как, например, в использованной Ремизовым надписи из народного лубка, где вместо редкого слова «сусастерской» приводится слово

«сосостерской». С целью ограничить количество ошибок, тиражируемых современными изданиями, перепечатывающими «Огонь вещей» и «Мартына Задеку» без необходимых комментариев, в настоящем издании в текст внесены исправления явных опечаток, таких, как написание отдельных фамилий, неверно проставленных инициалов в имени Ф. Д. Батюшкова, отчестве О. М. Сомова, ошибки наборщика в написании такого слова, как «шалоновый», или названия произведения Ж. Поляна «Тарбские цветы» и т. п. Кроме того, исправлены вкравшиеся в текст очевидные нелепости: так, сравним цитату из «Тысячи и одной ночи» в «Огне вещей» («И я увидел звезды, подобные твердо-стоящей *герани,* и услышал славословие ангелов на небе. И когда я так летел, вдруг направился ко мне человек в зеленой одежде со светящимся *мечом* и в руках у него был дротик» [курсив наш. — *Е. О.*] с текстом-источником: «...и я увидел звезды, подобные твердо-стоящим горам, и услышал славословие ангелов на небе <...>. И когда я так летел, вдруг направился ко мне человек в зеленой одежде, с кудрявыми волосами, и светящимся лицом, и в руках у него был дротик...». В целом орфография публикуемых текстов приведена в соответствие с современными правилами, за исключением особых случаев устойчивого авторского написания или случаев старого написания, модификация которых изменила бы общую стилистику текста; в то же время во всех произведениях сохранена авторская пунктуация. В примечаниях неопубликованные фрагменты ремизовских писем и инскриптов (отсутствие пунктуации в которых часто восполняется красной строкой) приводятся без знаков препинания и деления на абзацы.

АХРУ. Повесть петербургская

Печатается по: Ахру. Повесть петербургская. Берлин – Пб. – М.: Изд-во З. И. Гржебина, 1922.

К звездам. Впервые опубликовано: Последние новости (Париж). 1921. 2 декабря. № 500. С. 2–3, под назв. «Из огненной России (Памяти Блока)» с указанием даты: «Берлин, 7 ноября 1921 г.». Прижизненные публикации: Голос России (Берлин). 1922. 8 января. С. 3–4, под назв. «Из огненной России. К звездам. Памяти Блока – ему и о нем»; Звено (Берлин). 1922. № 1; под назв. «Из огненной России. Памяти Блока»; Художественная мысль (Харьков). 1922. № 9, под назв. «Из огненной России»; в составе книги «Взвихренная Русь» (1927), с подзагол. «Памяти А. А. Блока». Рукописные источники: Машинопись с правкой В. Сосинского — ГЛМ. Ф. 156, в составе рукописи с авторской правкой «Петербургский бусрак. Шурум-Бурум» — РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 5. № 19. Л. 12—26.

Крюк. Впервые опубликован: НРК. 1922. № 1. С. 6—10, с подзагол. «Память петербургская». Прижизненные публикации: Искусство славян. 1923. № 1. С. 55; Ремизов А. Посолонь. Париж. 1930. С. 192 – фрагмент, опубликованный как самостоятельная сказка «Скриплик».

Альберн. Впервые опубликован: Бюллетени Дома искусств. Берлин. 1922. 17 февраля. № 1—2. С. 30—32.

Alberm. Впервые опубликован: Бюллетени Дома искусств. Берлин. 1922. 17 февраля. № 1—2. С. 29, под общим назв. «Alberm».

Тулумбас. Впервые опубликован: Записки мечтателей. 1919. № 1. С. 143—144, без назв., под номером — 1, под общим загол. «Тулумбас». Прижизненные публикации: Бюллетени Дома искусств. Берлин. 1922. 17 февраля. № 1—2. С. 30—32, под общим загол. «Alberm». Рукописные источники: РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 1. № 24.

Кафтан Петра Великого. Впервые опубликован: Записки мечтателей. 1919. № 1. С. 144, без назв., под номером — 2, под общим загол. «Тулумбас». Прижизненные публикации: Бюллетени Дома искусств. Берлин. 1922. 17 февраля. № 1—2. С. 30, под общим загол. «Alberm».

Обезвелволпал. Впервые опубликовано: Бюллетени Дома Искусств. Берлин. 1922. № 1—2. 17 февраля. С. 30—31. Прижизненные публикации: Наш огонек (Рига). 1925. № 46. 14 ноября, под назв. «Обезвелволпал»; с небольшими разночтениями в составе романа «Взвихренная Русь» (1927), под назв. «Конституция».

Манифест. Впервые опубликован: Записки мечтателей. 1919. № 1. С. 144—145, без назв., под номером — 3, под общим загол. «Тулумбас». Рукописные источники: черновой автограф — ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 2. № 13. Л. 2; беловой автограф — ИРЛИ. Р I. Оп. 12. № 282. Л. 6, датирован 10 мая 1921 г. (в составе альбома Е. Казанович). Прижизненные публикации: Бюллетени Дома искусств. Берлин. 1922. 17 февраля. № 1—2. С. 31—32, в составе очерка «Alberm», под названием «Обезвелволпал»; Русское эхо. 1925. № 33. С. 5, под назв. «Обезьяний манифест»; в составе романа «Взвихренная Русь».

Книга составлена из очерков и новелл, которые первоначально публиковались в периодике. Изданию некоторых текстов предшествовали выступления Ремизова перед эмигрантской публикой. 24 ноября 1921 г. берлинская газ. «Руль» сообщала: «На первой «субботе» в Доме Искусств А. М. Ремизов прочел свои воспоминания о петербургской весне 20-го года...» (№ 321. С. 5). О первых двух очерках, вошедших в книгу, Ремизов рассказывал в письме к М. М. Шкапской от 2 января 1922 г.: «...написал я в память мою о Блоке: называется "К звездам". Блоку и о нем и еще написал "Крюк" — память о весне литературной 1920 г. (См.: Грачева. С. 202). Сохранившиеся письма издателя С. Алянского к Ремизову дают основание полагать, что первоначально воспоминания «К звездам» предполагал напечатать журнал «Записки мечтателей». 3 февраля 1922 г. Алянский обговаривал с писателем условия публикации: «В настоящее время занят собранием сочинений Блока и №№ 6 и 7 "Записок мечтателей" о Блоке. Хорошо было бы получить и Ваши воспоминания об А<лександре> А<лександровиче> (гонорар можно было бы поручить уплатить Вам в Берлине)» (ЦРК АК). Вероятно, имея в виду конкретное предложение Ремизова предоставить воспоминания о Блоке, написанные как эпистолярное обращение к поэту, 22 февраля 1922 г. Алянский вновь подтвердил свое намерение напечатать это произведение: «Хорошо было бы, если бы Вы могли прислать мне в форме писем дневниковый материал для "записок". Это было бы чрезвычайно интересно» (ЦРК АК). Тем не менее в очередном письме Алянского от 18 апреля 1922 г. Ремизова

ждало разочарование: «Теперь о Ваших воспоминаниях о Блоке. К большому моему огорчению их напечатать в “Записк<ах> Мечт<ателей>” нельзя будет по причинам, от меня независящим» (ЦРК АК). Второй очерк «Крюк» впервые был опубликован в журнале «Новая русская книга» (1922. № 1) с небольшими разночтениями, под названием «Крюк. Память петербургская», с включением рассказа «Заборы», вошедшего в книгу «Шумы города» (1921). О работе над текстом можно судить по письму Ремизова к редактору журнала А. С. Ященко от 6 декабря 1921 г.: «Незабвенный профессор! Очень прошу корректуру Крюка: я пропустил имя одного писателя, вставлю, а к имени Кузмина сделаю примечание и еще одну поправку однословную разъясняющую» (Русский Берлин: По материалам архива Б. И. Николаевского в Гуверовском институте / Под ред. Л. Флейшмана, Р. Хьюз и О. Раевской-Хьюз, Париж, 1983. С. 166). Анонимный рецензент очерка «Крюк» поставил под сомнение ремизовскую сравнительную этимологию, положенную в основание названия очерка: «Пребывание в Берлине обогатило А. Ремизова познаниями в немецком языке, но познания эти пока, по-видимому, очень скромны. Только этим и можно объяснить, что он уверяет, будто русское слово крюк обозначает то же самое, что немецкое “Krücke”. На этом он даже построил заглавие своего очерка. Приходится сказать ему, что Krücke совсем не “крюк”, а просто костыль. Значит и вся игра слов пропадает» (Руль. 1922. № 390. 26 февраля. С. 6). Раздел книги под названием «Альберн» состоит из миниатюр, которые, за исключением вступления «Albern» и главки «Обезвелволпал», впервые появились в печати в 1919 г. на страницах журнала «Записки мечтателей» (№ 1), под общим заголовком «Тулумбас». Публикация была инспирирована С. Алянским и Ремизовым с целью организовать на страницах нового журнала обсуждение насущной для творческой интеллигенции темы взаимоотношений с официальной, «красной» печатью. Впоследствии из композиции этой главы книги «Ахру» выделились два текста («Обезвелволпал», переименованный в «Конституцию», и «Манифест»), позже включенные в состав романа «Взвихренная Русь» и получившие значение законодательных документов Обезьяньей Великой и Вольной Палаты. Среди материалов Обезвелволпала, собранных С. Я. Осиповым, сохранился черновой автограф «Манифеста». Здесь более подробно, чем в печатных редакциях, раскрывается основной обвинительный мотив, адресованный власти. Обращение к писателям «из наших», тема уродливых искажений речи, привнесенных революционной эпохой, инвективный пафос — все это напоминает памфлет «Вонючая и торжествующая обезьяна» (1918). Существует и другой автограф «Манифеста» — беловой, датированный 1919—1921 гг., то есть временем окончательного самоопределения Обезвелволпала. Он был оставлен писателем 10 мая 1921 г. в альбоме с автографами выдающихся писателей и поэтов послереволюционного Петрограда, собранными сотрудницей Пушкинского Дома Е. Казанович (ИРЛИ. Р I. Оп. 12. № 282. Л. 6). Документ выполнен в эстетике грамот Обезьяньей Палаты: он написан искусным полууставом, с «росчерком» царя Асыки и скрепой «канцеляриуса». Текст «Манифеста» полностью соответствует его первой публикации в журнале «Записки

мечтателей». В целом издание «Ахру» было отмечено весьма широкой амплитудой мнений, объясняемой противоречивыми оценками отдельных очерков. Критика доброжелательно встретила очерк о Блоке. «Бесспорно, — писал А. Бахрах, — самое значительное в разрастающейся блоковской литературе — это многостраничные "Воспоминания" Андрея Белого и маленькое "К звездам" Ремизова» (Дни. 1922. № 19. 19 ноября. С. 12). Художественный талант Ремизова, умение воссоздать образ поэта в рамках небольшого произведения отмечал и другой критик: «Всего несколько страничек написал Ремизов о Блоке, но каких страничек. Ни одного неверного тона, ни одной фальшивой ноты. Перед нами развертывается трагедия последних месяцев жизни Блока, развертывается просто, без лишних слов, без выкриков... Может быть поэтому и впечатление так сильно и так неизгладимо» (М. Я. Р. <Рецензия> // Голос России. 1922. 18 июня. № 993. С. 6). Другие очерки и миниатюры, включенные в книгу, были восприняты некоторой частью критики как явное стилистическое излишество. «Кроме прекрасной, тонкой и острой статьи о Блоке, эта книжечка вмещает около 22 страниц неприятного ремизовского кривляния. <...> Может быть, кто-нибудь авторитетный намекнет талантливому писателю, что такого рода оригинальность граничит со скукой и ее родной сестрой — пошлостью» (В-ский А. <Рецензия> // Накануне. Лит. прил. 1922. 10 октября. № 155. С. 6). И. Василевский (Не-Буква), явно не желая вникать в суть авторского замысла, высказался против введения в литературу элементов игры в Обезьянье общество: «От обезьяньего этого языка и впрямь кусаться начнешь. <...> Пусть же обезьяньи читатели и разбираются» (Накануне». Лит. прил. 1922. 31 декабря. № 33. С. 13). Значение «Ахру» для самого Ремизова раскрывается дарственной надписью на экземпляре С. П. Ремизовой-Довгелло: «А эта книга, как комок огненный, это первая память о России, это первые наши дни здесь покинутые, безучастные, никогда так черство не относились к нам, как здесь нас встретили, я теперь это понимаю хорошо. И я не знаю, за что это было. И вот это — в этой книге — тут мало, но много от дум первых за Россией» (Каталог. С. 23).

С. 4. *И еще скажу вам...*— Устойчивый лейтмотив первых писем Ремизова из эмиграции на родину, связанный с глубокими переживаниями известия о смерти А. Блока. Ср. с двумя заметками из рубрики «Вести о писателях» в петроградском журнале «Летопись Дома литераторов»: «Алексей Мих. Ремизов живет в Берлине <...> он "по беженскому билету уехал из России за границу", чтобы, по его словам, "прикоснувшись к старым камням Европы, набраться силы и вернуться в Россию, — русскому писателю без русской стихии жить невозможно"» (1921. 1 декабря. № 3. С. 7); «А. М. Ремизов в письме своем к друзьям рассказывает: "Весть о смерти Блока пришла в карантине 15 августа, и в этот вечер для очень немногих (всего оказалось из интеллигентных русских трое знавших о Блоке, другие же и имени не слыхали). С. П. (жена А. М.) читала стихи Ал. Ал.". В конце письма А. М. писал: «И еще скажу вам: у кого есть силы и голова крепка, пусть не покидает России. Так и скажите» (1921. № 4. С. 7). Заметки из петроградского журнала были перепечатаны в ряде эмигрантских газет и в силу различных степеней лояльности или нетерпимости к Советской России неоднозначно прокомментированы. Часть эмиграции восприняла позицию писателя как

просоветскую пропаганду: «...радость великая по этому поводу у большевиков, — с болью писала С. П. Ремизовой-Довгелло З. Н. Гиппиус, — они на моих глазах это раздувают, везде кричат и на Ал. М. ссылаются, что вот и он понял советскую власть, и он советует эмигрантам возвращаться к ней, — в Россию» (L a m p l H. Zinaida Hippius an S. P. Remizova-Dovgello // Wiener Slawistischer Almanach. 1978. Bd. 1. S. 171). Обстоятельства появления в печати фразы из частного письма Ремизова С. П. Ремизова-Довгелло описала в своем ответе Гиппиус 18 февраля 1922 г.: «...произошла непонятная вещь, над которой мы ломаем голову, пытаясь объяснить доподлинно: будучи в Ревеле, мы послали письмо Шишкову через эстонского курьера, очень честному человеку, писали кое-какие просьбы, и в конце письма А. М. приписал, что не надо покидать России тем, у кого здоровье выдержит, что он теперь это видит. Курьер должен ехать одну ночь от Ревеля до Петербурга и между тем Шишков наше письмо получил через 3 ½ месяца, а в Гельсингфорсе появились выдержки из этого письма в ихней газете, я этих выдержек не видела, а видела выдержку из выдержки в Руле. Где было письмо — представить себе трудно. Там, *в частном письме,* А. М. и писал фразу, что не надо покидать России, у кого сил хватает. От этой фразы А. М. и не отказывается, он действительно думает, что не надо покидать России. Я теперь тоже думаю, что надо в России жить; когда я была там, я думала иначе, но здесь я *вижу,* что там жизнь имеет во сто раз больше смысла, чем здесь. Я понимаю, напр<имер>, с<оциалистов>-р<еволюционеров>, они <3 сл. нрзб.>. Там, я Вам скажу, я не видела б<ольшевико>в, никогда не видела, а здесь я сталкиваюсь с ними, и с этой стороны там лучше. Да вообще, когда я поняла, что их все хотят поддерживать, а до России нет никакого дела, я поняла, что свободной может стать только сама Россия, без помощи, и можно ждать, что ножку подставят» (ЦРК АК). Сочувствие к тем, кто остался в Советской России, было выражено Ремизовым и в анонимной заметке, развивавшей важную для писателя тему необходимости установления обратной связи с родиной: «Вам заграничным, которым выпало на долю для передышки уехать за границу, особенно надо помнить оставшихся в России, которые, имея не меньше права на перемену обстановки — для правления ли здоровья или для сосрепоправления <так!> мысли, не могут и на самое краткое время уехать из России по своему семейному положению. И если приходит к вам забвение, что расстояние, что время глушат память! — надо как-то себя осаживать. Россия там — трудная — со столпами, словом, сердцем, мечтою и могилами. На могиле Блока на Смоленском крест уже есть давно. Могила вся обложена дерном, рядом скамеечка, много белых венков и всегда зелень и цветы. Могила такая же аккуратная, как и комната у него была» (Голос России. 1922. № 965. 14 мая. С. 8—9; рубрика «Труды и дни писателей в России»). О том, что Ремизов относился к собственному отъезду из России как к вынужденному и временному, свидетельствуют строки из его письма В. Н. Тукалевскому от 16 февраля 1922 г.: «Нет, все-таки я никогда бы не уехал из России, если бы не беда: последнюю зиму от малокровия и утомления головой маялся — света не видел. Или погибать, или временно уехать — — Понемногу оправляюсь, а как укреплюсь, назад в Россию. Хочется мне не с пустыми руками домой вернуться и поучиться — есть чему поучиться и написать — четыре года смотрел, жил стотысячной жизнью и конечно, оторвавшись, легче

видеть, яснее вижу мало тут я видел чего, жалко — такое чувство — это я про русских а что успел увидеть а так мы отдельно — душой к России за эмигранта не считаю себя» (ГАРФ. Ф. 577. Оп. 1. № 697. Л. 14). В дневнике писателя сохранилась запись, мотивирующая решение об отъезде, принятое в так называемом «Первом Отеле Петросовета» (Троицкая ул., 4): «....что было толчком к загранице? Предупреждение Б., что нас выгонят из Отеля. Если бы этого не произошло — мы бы не уехали, по крайней мере так скоро» (Дневник. С. 513; Б. — вероятно, Б. Г. Каплун).

С. 5. *Девушка пела в церковном хоре ~ о том, что никто не придет назад.* — Первое и последнее четверостишие из стихотворения А. Блока «Девушка пела в церковном хоре...» (1905).

...ужасная была ночь — лирова ~ до — сердца! — Ср. с ночной бурей, описанной в трагедии Шекспира «Король Лир» (действие 3; сцена II): «Кто любит ночь, — / Такой, как эта, ночи не полюбит, / От гневных туч ночные звери даже / Пугаются в горах» (Пер. А. В. Дружинина; под ред. Ф. Ф. Зелинского). Ассоциация Ремизова восходит к постановке трагедии на сцене Большого Драматического театра в сентябре 1920 г. См. письмо Ремизова к Блоку, исполнявшему в то время обязанности председателя режиссерского управления театра, с просьбой о билете «на 1-ое представ<ление> б<ывшего> К<ороля> Лира» (Переписка с А. М. Ремизовым (1905—1920) / Вступ. статья З. Г. Минц; Публ. и коммент. А. П. Юловой // Литературное наследство. Кн. 2. С. 126—127).

С. 6. *...в суровое августовское утро... в скотском вагоне...* — Обстоятельства отъезда из России накануне смерти Блока 5 августа 1921 г. Ремизов зафиксировал в своем Дневнике (С. 501), в альбоме рисунков «Последний путь из России 1921 5 августа» с надписью на титуле: «Наш путь за границу 5. VIII. 1921 в скотском вагоне и карантин в Нарве на чужой земле из взвихренной Руси и навсегда» (Каталог. С. 13), а также в письме к С. П. Постникову 1921 г.: «Выехали мы из Петербурга 5 VIII 1921 по беженскому билету под *своей фамилией* с эшелоном 38—39. 8 VIII в Ямбурге отдали в Особый Отд<ел> Пропусков свои трудовые книжки» (ГАРФ. Ф. 6065. Оп. 1. № 71. Л. 2).

ПТО — Театральная коллегия Петербургского Театрального отдела, где Ремизов служил в 1918—1920 гг.

...по черному алым с виноградами, птичкой... — Описание характерной для начала 1920-х гг. подписи-монограммы Ремизова. Подробнее см.: Б е з р о д н ы й М. Об одной подписи Алексея Ремизова // Рус. лит. 1990. № 1. С. 224—228.

...и знакомыми нумерами Севпроса, Кубу, Серабиса... — Сокращения, характерные для первых послереволюционных лет: «Севпрос» — вероятно, отделение Наркомпроса по Северной области (т. е. территории, прилегающей к Петрограду); «Кубу» — Комитет по улучшению быта ученых; «Сорабис» — Союз работников искусств.

...в очереди к Борису Каплуну... — Борис Гитманович Каплун (Сумский) в 1919—1920 гг. был управляющим делами комиссариата Петросовета.

...вскоре после похорон Ф. Д. Батюшкова... — Литературный и театральный критик, журналист и общественный деятель Федор Дмитриевич Батюшков (род. в 1857) скончался в Петрограде 18 марта 1920 г.

С. 6. *..я с прошением о нашей погибели на Острове...* — О невыносимых бытовых условиях, переживаемых Ремизовыми зимой 1919 г. в квартире на Васильевском острове (14-я линия, д. 31, кв. 48), см. его рассказ «Труддезертир», вошедший в роман-эпопею «Взвихренная Русь».

С. 6—7. *...вы дали мне папиросу настоящую! ... ~ В таком гнете невозможно писать.* — Ср. с письмом Ремизова к Блоку от 31 августа 1920 г., в котором содержится просьба написать стихотворение на актуальную для творческой интеллигенции тему: «Александр Александрович, напишите стих — Вот Вы сказали мне: "Ничего не пишу и не могу писать: гнет такой!" Напишите это стихом. Вы пришли за паспортом на площадь, пальцы у вас были завязаны, просили паспорт выдать — старый пропал. Курили тоненькую папиросу, а я не помню, зачем пришел и что просил, только помню, через силу стоял у стола и ждал, когда попрошу» (Неизвестный фельетон Блока 1920 г. (Творческая рукопись) / Вступ. статья и публ. И. Е. Усок // Литературное наследство. Кн. 5. С. 6).

С. 7. *...я теперь тут узнал за границей ~ для русского-то — пустыня.* — Ср. с письмом молодого писателя-«серапиона» В. Познера к Ремизову от 19 октября 1921 г.: «Ничего не пишу. И, кажется, не случайно. Вне России писать нельзя, а о другом не стоит. Не правда ли? <...> нельзя писать о голоде, когда сыт, о холоде, когда тепло. Я боюсь, что не буду больше писать. Александр Александрович умер, Николая Степановича расстреляли. Здесь хуже. Я как-то спросил у Тэффи, как живут здесь русские писатели. — Побираемся. И, действительно, как-то духовно побираются. Они уже ничего хорошего не напишут. Простите, что я Вам так откровенно пишу: Вы петроградский, Вы поймете» (Цит. по: Обатнина Е. Р. А. М. Ремизов и «Серапионовы братья» (к истории взаимоотношений) // «Серапионовы братья» в собраниях Пушкинского Дома: Материалы. Исследования. Публикации / Авт.-сост. Т. А. Кукушкина и Е. Р. Обатнина. СПб., 1998. С. 176).

Это хорошо, что на Смоленском... — Блок был похоронен на Смоленском кладбище 10 августа 1921 г. О похоронах поэта см.: Бекетова М. А. Воспоминания об Александре Блоке. М., 1990. С. 200—201; Андрей Белый. О Блоке / Вступ. статья, сост., подгот. текста и коммент. А. В. Лаврова. С. 449—453. В сентябре 1944 г. останки поэта вместе с останками остальных членов его семьи перезахоронили в некрополе «Литераторские мостки» на Волковом кладбище. См.: Максимов Д. Memoria о перенесении праха Ал. Блока // Литературное обозрение. 1987. № 5. С. 65—66.

...и никто-то вас не тронет, не позарится на вашу домовину... — *Домовина* — гроб. Ремизов вспоминает квартирные неурядицы последних лет жизни Блока. Опасаясь последствий декрета «О вселении семейств красноармейцев и безработных рабочих в квартиры буржуазии и о нормировке жилищных помещений», утвержденного Петросоветом 1 марта 1918 г., А. Блок предпринял ряд усилий, чтобы избежать «уплотнения» своей квартиры. Зато в квартиру матери Блока А. А. Кублицкой-Пиоттух, которая проживала в одном доме с сыном, подселили матроса, оставшегося в памяти соседей под именем Шурка. О «квартирной проблеме» Блока в 1918—1919 гг. подробнее см.: Галанина Ю. Е. «...В доме сером и высоком у морских ворот Невы»//

Труды Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Вып. IV. Музей-квартира А. Блока: Материалы научных конференций. СПб., 1999. С. 26—27.

С. 7. *...и Марью Федоровну беспокоить.* — Актриса, гражданская жена М. Горького Мария Федоровна Андреева (1868—1953) в 1919—1921 гг. была комиссаром театров и зрелищ Петрограда, заместителем наркома просвещения по художественным делам, заведующей петроградским ТЕО Наркомпроса. Ремизов неоднократно обращался к ней за помощью в бытовых вопросах.

...со всякими трудовыми повинностями... — Об одной из таких «повинностей» Блока упоминала М. А. Бекетова: «Среди лета ему пришлось участвовать в театральной работе по разгрузке дров. Он исполнял ее охотно и с легкостью выгрузил свою долю — три четверти куба дров. Даже странно подумать, что это было за год до его последней болезни» (Бекетова М. А. Воспоминания об Александре Блоке. С. 189).

С. 8. *...под прошением в Петрокоммуну царскую, а все-таки отказали ~ в замятинской рвани с вокзала я каблук в руке нес.* — Речь идет о так называемом «Валенковом прошении» от 24 октября 1919 г., написанном и оформленном в духе древнерусских просительных грамот: «Заведующей петроградским отделом театров и зрелищ Марии Федоровне Андреевой <от> Алексея Михайловича Ремизова Валенковое прошение По несчастному обстоятельству прошу о валенках. Стыть и стужа пробирают все семь шкурков моих, а пуще того ноги околели» (РГАЛИ. Ф. 1. № 87. Л. 1), с визой М. Ф. Андреевой: «Убедительно прошу удовлетворить». Тогда же Ремизовым было составлено и «Прошение о калошах» (См.: Глезер Л. А. Записки букиниста. М., 1989. С. 225—227). «*Замятинская рвань*» — старая обувь, полученная от Е. И. Замятина

И Гумилева — расстреляли! — Н. С. Гумилев был расстрелян в ночь с 24 на 25 августа 1921 г. по обвинению в участии в Петроградской боевой организации.

...Горький не всегда может, стало быть. — Имеется в виду «Прошение в Президиум Петроградской ЧК», подписанное М. Горьким, а также другими членами петроградского Союза поэтов, Союза писателей, Дома литераторов и Дома искусств, с ходатайством об освобождении Гумилева под их поручительство (См.: Лукницкая В. Николай Гумилев. Жизнь поэта по материалам домашнего архива семьи Лукницких. Л., 1990. С. 294).

...помните, покойника Ф. И. Щеколдина... — Участник революционного движения и литератор Федор Иванович Щеколдин (род. 1870) умер в начале 1919 г. от тифа. Похоронен на «Коммунистической площадке» кладбища Александро-Невской лавры. См. очерк Ремизова «Три могилы» (Записки мечтателей. 1919. № 1), а также: Дворникова Л. Я. Из истории прототипов книги А. Ремизова «Иверень» (Ф. И. Щеколдин) // Исследования. С. 231—242.

...когда с Гороховой-то нас выпустили... — Имеется в виду арест в ночь на 14 февраля 1919 г., когда по так называемому «делу левых эсеров» были арестованы А. М. Ремизов, А. А. Блок, Р. В. Иванов-Разумник, К. С. Петров-Водкин, Е. И. Замятин, А. З. Штейнберг, М. К. Лемке, С. А. Венгеров и др. См. главу «Обезвелволпал» из книги «Взвихренная Русь», а также: Иванов-Разумник. Писательские судьбы. Тюрьмы и ссылки. М., 2000. С. 128.

С. 8. *Я. П. Гребенщиков и его сестры, они на Острове...* — Яков Петрович Гребенщиков (1887—1935), сотрудник Санкт-Петербургской Публичной библиотеки, жил с двумя сестрами (Елизаветой и Верой) на Васильевском острове. В Обезьяньей Великой и Вольной Палате Гребенщиков за библиографические познания и любовь к книге был прозван «книгочием василеостровским, книжным островным владыкой, сатрапом библиотечным» и возведен в обезьяньи князья.

...придут и на Радоницу ~ и на зеленый Семик и в Дмитровскую субботу. — Христианские праздники, связанные с поминовением усопших.

С. 9. *А ваш обезьяний знак ~ забыл я с чем он...* — Блок был удостоен специальной награды — «обезьяньего знака 1-ой степени с заячьим глазом», удостоверяющего, что 31 октября 1918 г. он был возведен в звание обезьяньего кавалера.

...у П. Е. Щеголева с лапами гусиными и о трех хвостах выдерных. — Историк литературы и русского революционного движения Павел Елисеевич Щеголев (1877—1931) получил обезьяний знак первой степени «с хвостом и лапою за труды на оборону Отечества» на Анисьин день (30 декабря по ст. ст.) 1916 г.

Мы тоже коробочку взяли с русской землей... — Преданный друг писателя Я. П. Гребенщиков, провожая Ремизовых, передал им 5 августа 1921 г. пудреницу слоновой кости с горстью земли из Таврического сада. Упоминание об этой реликвии см. также в рецензии Б. Пильняка на сборник стихов М. Шкапской (НРК. 1922. № 3. С. 7).

...нарисовал я много картинков, на каждую строчку «Двенадцати» по картинке. — Первые рисунки к поэме Блока появились еще в России, Ремизов пытался вывезти их из Петрограда в Ревель в августе 1921 г., пользуясь услугами эстонского консула А. Орга. См. список материалов, переданных Оргу (ГАРФ. Ф. 6065. Оп. 1. № 71. Л. 23). Рукописи оказались арестованными на границе, однако в конце концов они были доставлены владельцу. За границей Ремизов продолжил начатую работу, и к 1931 г. им была приготовлена рукописная книга о Блоке. Анонс о выходе этого раритета, озаглавленный «Памяти Блока», писатель просил распространить по печатным изданиям эмиграции В. Н. Унковского в своем письме от 30 июня 1931 г.: «*7-го августа* исполняется 10 лет со смерти Блока. Ал. Ал. Блок умер 7 августа 1921 года. К этому дню журнал “Числа” (Париж) выпускает в единственном экземпляре книгу Ремизова “Памяти Блока”. Эти рисунки сделаны Ремизовым в Петербурге в мае–июле 1921 г.; в эти месяцы Блок умирал. Картинки были для Ремизова последним прощальным словом умирающему Блоку. Блок знал о этих картинках. В “Взвихренной Руси” Ремизов рассказывает об этом, вспоминая Блока. Название книги: Alexei Remizov. La Russie sous la rafale. I.: A la mémoire L'Alexandre Blok. 47 dessins en blanc et noir et en couleur pour illuster le poème “Les douze”. Textes russes, français et allemands. Les éditions TCHISLA. Paris. 1931. Exemplaire unique» (Бахметьевский архив). Экземпляр этого уникального издания с несколько измененным названием см.: РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 4. № 37.

С. 9. *...и игрушек не было...* — Речь идет о постоянной составляющей интерьера ремизовского кабинета — коллекции игрушек, часть которых пред-

ставляла собой корни, ветви и прочие природные объекты, которые Ремизов наделял мифологическими именами и связывал с народными легендами и сказками. См.: Кожевников П. Коллекция А. М. Ремизова. (Творимый апокриф) // Утро России. 1910. 7 сентября. № 243. С. 2; А. <А. Измайлов> В волшебном царстве. А. М. Ремизов и его коллекция // Огонек. 1911. № 44. С. 10—11. О судьбе ремизовской петербургской коллекции игрушек см.: Грачева. С. 185—215.

С. 9. *Евгения Федоровна* — Е. Ф. Книпович (1898—1988), литературный критик. Воспоминания о ее общении с Блоком, а также о встречах с Ремизовым в 1918—1921 гг. см.: Книпович Е. Ф. Об Александре Блоке // Литературное наследство. Кн. 1. С. 16—44.

С. 9–10. *Евгений Павлович Иванов — и каждый вечер друг единственный..* — Имя литератора, близкого друга Блока Е. Иванова (1879—1942), соединено со строкой из стихотворения «Незнакомка» (1906).

...Чучела-Чумичела и кум его Волчий хвост... — Персонажи детских народных сказок, игрушки из коллекции Ремизова.

...и сидим мы дурачки ~ задом наперед. — Строфа из стихотворения Блока «Болотные чертенятки» (1905), посвященного Ремизову.

С. 11. *...никогда не забуду... ~ на желтой заре фонари...* — Первая строфа стихотворения Блока «В ресторане» (1910).

...я подписывался «старый дворецкий Алексей». — Ремизов связывает официальную должность завхоза в конторе редакции «Вопросов жизни» со своим игровым амплуа («дворецкий» или «домовой»), которое был вынужден принять на себя, испытывая психологические затруднения в новой обстановке: «И почему меня заставляют с “писателями” объясняться, когда я только “заведующий хозяйственной частью”? и годен купить колбасу и распорядиться, чтобы всем стаканы были поданы!» (На вечерней заре 3. С. 458). Ср. также: «...Дягилев обиделся на “дворецкого”. Говорят, он сказал: “Я с лакеями не переписываюсь”» (Встречи. С. 151).

...с вашим «Балаганчиком» и моим «Бесовским действом» ~ Вс. Мейерхольд — страда театральная. — Премьера пьесы Блока «Балаганчик» в постановке В. Э. Мейерхольда состоялась в феврале 1907 г. Первое представление пьесы «Бесовское действо над некиим мужем, а также смерть грешника и смерть праведника, сие есть прение Живота со Смертью: представление для публики в трех действиях с прологом и эпилогом Алексея Ремизова», построенной по аналогии с народными театральными представлениями, состоялось 4 декабря 1907 г. Режиссером спектакля был Ф. Ф. Коммиссаржевский. Автор декораций и костюмов М. В. Добужинский, вспоминая о премьере, писал Ремизову 16 декабря 1932 г.: «Дорогой Алексей Михайлович, а помните ли Вы, что было ровно 25 лет назад: 4 дек<абря> (=17 дек<абря> нов<ого> ст<иля>) 1907 года? — Бесовское действо над некиим мужем. Об этом событии, когда мы с вами и Федором Коммиссаржевским впервые взошли на сцену, я Вам напоминаю и поздравляю Вас с общим нашим юбилеем (и Ф<едору> Ф<едоровичу> также напишу) <...> эта дата еще оживляет столько замечательных и дорогих воспоминаний 1907 <года>: Вера Федоровна <Коммиссаржевская> Мейерхольд (ранний, хороший!) Костя Сомов Сюннерберг! «Пруд» Ремизова. Вокруг каждого имени свой веночек и узор воспо-

-минаний — и у меня и у Вас» (ЦРК АК); «"Действо", — вспоминал позже писатель, — принято было как безобразие, оригинальничанье и издевательство над зрителем...» (Встречи. С. 184).

С. 11. *Неофилологическое общество с Е. В. Аничковым — весенняя обрядовая песня и ваше французское средневековье.* — Неофилологическое общество было образовано в декабре 1889 г. в результате преобразования Отделения по романо-германской филологии Филологического общества при С.-Петербургском университете. См.: Записки Неофилологического общества... Вып. 1—8. СПб., 1888—1915. Историк литературы, фольклорист и критик Евгений Васильевич Аничков (1866—1937) был активным участником Неофилологического общества; автором книги «Весенняя обрядовая песня на Западе и у славян» (1903—1904), которую Ремизов использовал в подготовке книги «Посолонь» (1907), а Блок — во время работы над драмой «Роза и крест» (1912).

Разговоры о негазетной газете у А. В. Тырковой. — Речь идет о газете «Русская молва», первый номер которой вышел 9 декабря 1912 г. Ремизов и Блок поддержали идею журналистки и писательницы, члена центрального комитета партии кадетов Ариадны Владимировны Тырковой (в замужестве Вильямс, 1869—1962), организовав редколлегию и возглавив литературный отдел нового издания. На одном из редакционных заседаний Блок прочел докладную записку, содержавшую концепцию этого издания. Впоследствии доклад был переработан в статью «Искусство и газета» (1912).

С. 12. *1913 год. Издательство «Сирин» — М. И. Терещенко и его сестры...* — Речь идет об издательстве «Сирин», которое было основано сахарозаводчиком и меценатом М. И. Терещенко, его сестрами П. И. Терещенко и Е. И. Терещенко. К созданию издательства были привлечены Ремизов, Блок и Иванов-Разумник. Этому событию посвящена запись в дневниковой тетради Ремизова под названием «Сирин»: «Основание издательству «Сирин» положено было 10-ого октября в среду 1912 г. в день св. Иакова Постника. К вечеру того дня было мне извещение по телефону от Михаила Ивановича <Терещенко>, а вечером приехали сестры его Пелагея Ивановна да Елизавета Ивановна и сказали: — Мы решились. Согласны. Эти слова мне очень памятны, понял тогда я и сообразил, что дело начинается, и только направить надо по-хорошему» (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 2. № 3. Л. 5).

Р. В. Иванов-Разумник — «Скифы» предгрозные и грозовые. — Историк общественной мысли, литературный критик и публицист Иванов-Разумник (наст. имя: Разумник Васильевич Иванов; 1878—1946) был редактором и идейным вдохновителем двух сборников «Скифы», которые вышли в свет в июне и декабре 1917 г. Хотя Блок и не печатался в альманахе, в целом он разделял революционно-максималистские умонастроения «скифов». Подробнее см.: Лавров А. В. Этюды о Блоке. СПб., 2000. С. 80—135. Об отношениях Иванова-Разумника и Ремизова см.: Иванов-Разумник. С. 19—122; 244.

1918 год. Наша служба в ТЕО — О. Д. Каменева... — Подразумевается Театральный отдел Наркомпроса, которым со дня основания по июль 1919 г. заведовала Ольга Давидовна Каменева (урожд. Бронштейн; 1883—1941). В задачи членов репертуарной секции ТЕО Наркомпроса

входил отбор и рецензирование драматических произведений для постановки на сцене государственных театров.

С. 12. *З. И. Гржебин — кум...* — Художник, издатель, совладелец издательства «Шиповник» Зиновий Исаевич Гржебин (1877—1929). Ср.: «Издатель. Сосед и кум. В Петербурге на Таврической в доме Хренова жили по одной лестнице и деньги занимали друг у друга на перехватку» (Встречи. С. 133). Все члены семьи Гржебина были кавалерами Обезьяньей Великой и Вольной Палаты, а его дети были крестниками писателя. В документах Обезвелволпала зафиксировано наследственное право Гржебиных на звание кавалеров ремизовского Ордена. Сам Гржебин носил титул «зауряд-князя» — этого звания в Обезвелволпале удостаивались лишь избранные, проверенные временем друзья и люди исключительного творческого дарования.

...Алконост — С. М. Алянский, «волисполком обезьяний»... — Заведующий издательским бюро ТЕО Наркомпроса, владелец издательства «Алконост», выпускавшего книги Ремизова под маркой «Обезвелволпала», Самуил Миронович Алянский (1891—1974) в Обезьяньей Палате носил прозвище по названию своего издания и титул «кавалера обезьяньего знака I степени с хвостами». *«Волисполком»* — игровая должность Алянского, которую он ставил, подписывая «обезьяньи грамоты», запечатлена типографским способом и на его именном экземпляре (№ 2) «Заветных сказов» Ремизова (1920) (См.: Шахматовский вестник: Каталог. Вып. 1. 1996. № 6. С. 83, 139).

...разрыв и мировая с Ионовым. — В 1920-е гг. Илья Ионович Ионов (наст. фам. Бернштейн; 1887—1942) заведовал Петроградским отделом Государственного издательства. О серьезных трениях во взаимоотношениях Блока с Ионовым, который в 1921 г. препятствовал изданию произведений поэта в «Алконосте», см.: Чернов И. А. А. Блок и книгоиздательство «Алконост» // Блоковский сборник. Тарту, 1964. С. 530—538.

...Слон Слонович (Юрий Верховский)... — Прозвище поэта и историка литературы Юрия Никандровича Верховского (1878—1956).

...вы первый... ~ на «Зеленый сборник»... — Сборник стихов и прозы, вышедший в петербургском издательстве «Щелканово» (1905), на который Блок откликнулся рецензией, где особо отметил стихи Ю. Н. Верховского (См.: Вопросы жизни. 1905. № 7. С. 215—216).

...чествование М. А. Кузмина, «музыканта обезьяньей великой и вольной палаты»... — Блок выступил с приветственной речью от имени Всероссийского Союза поэтов на торжественном вечере в Доме Искусств в честь пятидесятилетия М. Кузмина 29 сентября 1920 г. Текст выступления Ремизова см.: РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 1. № 88.

...я читал «Панельную сворь»... — Рассказ, который вошел в сборник «Шумы города» (1921).

...стихи про «французский каблук»... — Подразумевается стихотворение Блока «Унижение» (1911).

...домой мы шли вместе — Серафима Павловна, Любовь Александровна... — С. П. Ремизова (урожд. Довгелло; 1875—1943), жена Ремизова и оперная актриса Любовь Александровна Андреева (сценический псевдоним Дельмас; 1884—1969), которой посвящен поэтический цикл Блока «Кармен» (1914).

С. 12. *Февральские поминки Пушкина — это ваш апофеоз.* — Имеется в виду речь Блока «О назначении поэта», прочитанная 13 февраля 1921 г. на вечере памяти Пушкина в Доме литераторов.

С. 13. *...1 мая — первая весть о вашей боли.* — Несмотря на то что 1 мая 1921 г. Блок отправился в Москву для выступлений, очевидцев поразили сильные перемены в самом облике поэта. Чуковский, сопровождавший его в этой поездке, описывал свое потрясение: «Передо мною сидел не Блок, а какой-то другой человек <...>. Жесткий, обглоданный, с пустыми глазами, как будто паутиной покрытый. Даже волосы, даже уши стали другие» (Чуковский К. И. Блок как человек и поэт. Пг., 1924. С. 43).

С. 14. *...вывела Блока на улицу с красным флагом — это было в 1905 г.* — Ср.: «...зима 1905—6 года прошла оживленно; 17-е октября и дни всеобщего ликования Ал. Ал. переживал сильно. Он участвовал даже в одной из уличных процессий и нес во главе ее красный флаг, чувствуя себя заодно с толпой» (Бекетова М. А. Воспоминания об Александре Блоке. С. 72).

...червяк в три дуги согнутый... — Под своими рисунками Ремизов всегда ставил глаголическую букву, соответствующую кириллической «ч», вкладывая, очевидно, в эту сигнатуру эзотерическую оппозицию «человек — червь», запечатленную как в русском алфавите, так и нашедшую отражение в знаменитых строках Державина: «Я царь, — я раб, — я червь, — Я Бог!» (ода «Бог»; 1784).

Не от цинги, не от голода и не от каких трудовых повинностей... — Ср. с письмом С. П. Ремизовой-Довгелло к З. Н. Гиппиус от 4 января 1923 г.: «...хочу сказать Вам о Блоке. Зинаида Николаевна, родная, Блок умер *не* от голода, никогда вообще не голодал и материально жил гораздо лучше, чем большинство из нас, и паек ученый целый год до своей смерти получал. Не надо, ни в коем случае не надо, чтобы была такая ошибка в Вашей статье, тетка его уже опубликовала, как он жил материально, и они это <1 сл. нрзб.>, и из мухи слона сделают. <...> ...а умер Блок оттого, что, как он сам выражался, дышать нечем, гнет страшный чувствовал и б<ольшевико>в ненавидел, последнее время не мог слышать о них, и от него скрывали факты, чтобы не расстраивать. Напр<имер>, в газете было написано, что замечено, что в санатории "просачивается" интеллигенция и этому надо положить предел. Алянский говорил: "Не говорите Блоку, спрячьте газету", и много таких фактов. Если бы его вовремя выпустили за границу, он бы не умер. Вообще, они виноваты в его смерти, но не голодал он. Да от голода очень трудно умереть, а Блок, повторяю, жил материально лучше других» (ЦРК АК).

С. 17. *...die Krücke — слово немецкое и очень-то нос задирать нечего!* — дословно: костыль, клюка, изогнутый предмет (*нем.*).

заяшлись — здесь: зародились.

зарь — зависть.

С. 18. *...великий книжник Столпнер, друг Розанова и Льва Шестова...* — О философе и переводчике Борисе Григорьевиче Столпнере (1871—1937) Розанов отзывался, как о человеке «редкой честности и младенчества жизни, но редкой начитанности и ума..» (Воспоминания Т. В. Розановой. С. 329). Ср. также: «Столпнер один из самых умных людей в России, писать же он не умеет, умеет говорить» (Шкловский В. Сентиментальное путешествие. М., 1990. С. 246).

С. 18. *...В. В. Розанов у Троицы-Сергия под Москвою на кладбище...* — В. В. Розанов скончался 5 февраля 1919 г. и был похоронен в скиту Черниговского монастыря Троице-Сергиевой Лавры. Хотя могила и не сохранилась, место захоронения близ храма Черниговской Божьей Матери было установлено по свидетельствам очевидцев. О последних днях Розанова см.: Розанова Т. В. Воспоминания об отце // Pro et contra. С. 81—82.

...в какую филиппову булочную... — Одна из известных булочных, принадлежавших Д. И. Филиппову, которая располагалась неподалеку от последнего места жительства Ремизова в Петрограде в «Отеле» Петросовета. Ср. с воспоминаниями Ю. Анненкова: «Я помню комнатку Алексея Михайловича в их квартирке на Троицкой, недалеко от ее впадения в Невский проспект, где, на одном углу, помещалась булочная и кофейная Филиппова, а на противоположном — ресторан-бар Квисисана. <...> Мы часто просиживали с Ремизовым в петербургской Квисисане, иногда захаживали к Филиппову перехватить один-другой пирожок с капустой, с рисом, и в особенности, с яблоками» (Анненков. С. 211).

жаворонки — сдобные булочки, выпекаемые в виде птичек ко дню 40 мучеников (9 марта). Здесь и далее даты церковных праздников указаны по старому стилю.

...б. сибирскому атаману Шишкову... — Писатель Вячеслав Яковлевич Шишков (1873—1945), в «документах» Обезвелволпала, благодаря своему сибирскому происхождению, имел титул «бывший сибирский атаман и князь сибирский и бежецкий».

...этнографу и космографу М. М. Пришвину... — Писатель Михаил Михайлович Пришвин (1873—1954) в Обезьяньей Палате именовался «князем и кавалером, известным этнографом, космографом и географом, певцом птиц, земли и звезд».

...археологу И. А. Рязановскому... — «Археолог», «забеглый князь обезьяний» — постоянные игровые дефиниции, применяемые Ремизовым к Ивану Александровичу Рязановскому (1869—?), который был не только постоянным героем и прототипом литературных персонажей его произведений, но и снискал известность в петербургских кругах писателей и художников как знаток славянских древностей, археологии, палеонтологии, медиевистики: «Значение изустного слова Рязановского в возрождении “русской прозы” можно сравнить только с “наукой” самого из всех “знающего” громокипящего В. И. Иванова в возрождении “поэзии” у стихотворцев» (Подстриженными глазами. С. 153—154).

...проехали приятели через Берлин к другу своего детства к инженеру Я. С. Шрейберу в Женеву... — «Кавалер Обезвелволпала», инженер Яков Самойлович Шрейбер был близким другом Л. Шестова; в начале 1920-х гг. семья Шрейберов поселилась в Женеве, куда в феврале 1920-го приехал вместе со своей семьей и Л. Шестов. Подробнее см.: Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова. Paris, 1993. Т. I. С. 176; 195—196.

Schlagsahne — взбитые сливки.

Mokka — сорт кофе.

...Микитову... — Прозаик Иван Сергеевич Соколов-Микитов (1892—1975); причислял себя к литературным ученикам Ремизова. Зиму 1921/22 г. Соколов-Микитов провел в Берлине, а в июне 1922 г. вернулся в Россию.

О встречах двух писателей см.: Смирнов М. Иван Соколов-Микитов: Очерк жизни и творчества. Л., 1974. С. 37—39.

С. 18. *...а Ященке...* — Юрист и литератор Александр Семенович Ященко (1877—1934) в «русском Берлине» был редактором-издателем критико-библиографических журналов «Русская Книга» (1921) и «Новая Русская Книга» (1922—1923).

die Sache an und für sich! — букв.: дело как таковое (*нем.*).

...Уэллс — хитрец-англичанин! ~ потащился за семь верст киселя хлебать. — В 1920 г. английский писатель Герберт Джордж Уэллс (1866—1946) посетил Россию. Впечатления о поездке были описаны им в книге «Россия во мгле», которая в русском переводе первоначально была издана в Болгарии в 1921 г., а в 1922-м в Советской России. О банкете, устроенном в честь приезда Уэллса 30 октября 1920 г. в Доме Искусств, Ремизов знал по рассказам своих знакомых (См.: Дневник. С. 494—495; а также: Анненков. С. 37—39).

дурандовое — от имени птицы, коротконогого кулика (дурандана), прилетающей на юг России большими стаями.

С. 19. *...Лев Шестов в книге своей «Странствования по душам»...* — Подзаголовок книги Л. Шестова «На весах Иова», которая вышла в 1929 г. в парижском издательстве «Современные записки» и была составлена из работ, написанных в 1920—1924 гг. В первой публикации очерка «Крюк» эти строки сопровождались авторским пояснением: «Книга не вышла и выйдет ли когда, неизвестно» (НРК. 1922. № 1. С. 6).

фуга — музыкальное сочинение, в котором голоса поочередно вступают друг за другом, повторяя одну и ту же музыкальную тему.

...лучше Лазаря четверодневного... — Ироническая отсылка к евангельскому сюжету. Подразумевается состояние Лазаря на четвертый день после смерти перед тем, как его воскресил Иисус (Ин. 11; 38—44).

...у Назарыча, уполномоченного нашего комбеда... — Федор Назарович Максимов был комиссаром дома на Васильевском острове, где жили Ремизовы и где находилось пристанище Обезвелволпала. Его портрет Ремизов нарисовал на стене своей квартиры в так называемом «Углу обезьяньих вельмож». *Комбед* — комитет бедноты.

...Б. А. Пильняк (Wogau)... ~ уж книгу издал... — Речь идет о сборнике рассказов Бориса Андреевича Пильняка (наст. фам. Вогау; 1894—1938) «Былье» (1920). Пильняк посвятил Ремизову свою повесть «Третья столица» (1923).

В Петербурге Серапионовы братья кучатся... — Подразумевается группа петроградских литераторов «Серапионовы братья» (1921—1929), перечисляя участников которой, Ремизов не упоминает Е. Г. Полонскую, Н. С. Тихонова, Н. К. Чуковского и В. А. Каверина. Подробнее см.: Обатнина Е. Р. А. М. Ремизов и «Серапионовы братья» (к истории взаимоотношений) // «Серапионовы братья» в собраниях Пушкинского Дома. С. 171—184.

Лунц ~ «Исходящая № 3749» — вот его рассказ. — Рассказ Льва Натановича Лунца (1901—1924) «Исходящая № 37. Дневник заведующего канцелярией» впервые был опубликован в журнале «Россия» (1922. Август. № 2. С. 21—23).

...Слонимский, а рассказ его — сущий разбойный. — Возможно, речь идет о рассказе Михаила Леонидовича Слонимского (1897—1972) «Дикий» (1921),

впервые опубликованном в альманахе «Серапионовы братья» (Пг., 1922. С. 44—59).

С. 19. *Оба на Гофмане верхом покатались.* — Некоторые из «серапионов» (в особенности В. Каверин и Л. Лунц) подражали немецкому писателю-романтику Э. Т. А. Гофману (1776—1822), ориентируясь на образцы западного сюжетосложения и, в частности, на жанр европейского авантюрного романа.

С. 20. *«Сад» Федина ~ нежности посолонной...* — Впервые рассказ К. А. Федина, который вызвал у Ремизова ассоциации с собственной «Посолонью» (1907), был опубликован в берлинской газете «Накануне» (Литер. прил. 1922. 18 июня. № 8. С. 2—4). Это произведение высоко оценил и другой литературный наставник «серапионов»: «В активе у Федина — до странности зрелый рассказ "Сад", под которым подписался бы и Бунин» (Замятин Е. Новая русская проза // Русское искусство. 1923. № 2—3. С. 60).

М. Зощенко ~ подковыр Гоголя и выковыр Достоевского. — Вероятно, с рассказом М. М. Зощенко «Старуха Врангель» Ремизов познакомился впервые в исполнении автора на вечере художественной прозы, который состоялся 23 мая 1921 г. в Доме Искусств. Об этом вечере и одобрительной реакции Ремизова см.: Смирнский. С. 169. Ср. также: «Зощенко — нелепый, больной, милый, слабый, вышел на кафедру (т. е. сел за столик) и своим еле слышным голосом прочитал "Старуху Врангель" — с гоголевскими интонациями, в духе раннего Достоевского. Современности не было никакой, но очень приятно. Отношение к слову — фонетическое» (Чуковский К. Дневник. 1901—1929. М., 1991. С. 170).

...что Неверов, в Самаре безвыездно... — Речь идет об Александре Сергеевиче Скобелеве (псевд. Неверов; 1886—1923); в 1922 г. он перебрался из Самары в Москву, где спустя год скончался.

...Вяч. Шишков в петербургском «отеле» свой «Вихрь»... — Рассказ «Вихрь» был опубликован в журнале «Красная новь» (1922. № 1). Имеется в виду чтение на квартире Ремизова в так называемом «Отеле Петросовета».

...Н. Г. Виноградов ~ автор хоровой трагедии о Петре. — Подразумевается пьеса драматурга и режиссера Николая Глебовича Виноградова (1893—1967) «Трагедия о Петре», рецензия на которую была включена в книгу Ремизова «Крашеные рылá. Театр и книга» (1922. С. 44—46). В первой публикации очерка эти строки сопровождались авторским пояснением: «См. мою книгу "Крашеные рылá". Изд. Грани, Берлин. А когда выйдет, ни единая душа не знает» (НРК. 1922. № 1. С. 7).

...М. И. Волков: его рассказы в «Горне» и «Кузнице»... — Беллетрист Михаил Иванович Волков (1886—1946), первое произведение которого («Ефрейтор в раю») отмечено явным влиянием творчества Ремизова; состоял в литературной группе «Кузница», печатался в одноименном журнале, а также журнале «Горн».

...Соколов-Микитов: «Засупоня»... — Имеется в виду книга рассказов И. С. Соколова-Микитова «Засупоня» (1918).

С. 21. ... *поднялись Татлиновским памятником III-му Интернационалу...* — Речь идет о знаменитом проекте художника Владимира Евграфовича Татлина (1885—1953) — башне-памятнике III Интернационалу, который был выстав-

леи на обозрение в здании Свободных мастерских (Академии Художеств) 8 ноября 1920 г. Этому концептуальному образцу нового искусства посвящена статья В. Шкловского «Памятник третьему интернационалу (Последняя работа Татлина)» (1921) (См.: Шкловский В. Гамбургский счет. Статьи — Воспоминания — Эссе. (1914—1933). М., 1990. С. 100—101).

С. 21. *Сам Горностаев, московский столбцеписец, залюбовался б из тишайшего века...* — Имя Матюшки Горностаева известно Ремизову по подписи на «отказной» грамоте (1692) царей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича. Этот документ писатель опубликовал в своем рассказе «Столбец» (1914) в книге «Россия в письменах».

...тот крестный, перевернувший язычную Русь... — Подразумевается князь киевский Владимир Святославович (ум. 1015), благодаря которому в 988 г. христианство стало в Древней Руси государственной религией.

крывук — укрытие.

сторожба — караул, охрана.

...Ивана Осипова — Ваньки Каина, вора московского и сыщика. — Иван Осипов — знаменитый московский разбойник (XVIII в.), известный под именем Ванька Каин, позже полицейский сыщик, в конце концов сосланный в Сибирь. Этому легендарному герою народных рассказов приписывается авторство песни «Не шуми, мати, зеленая дубравушка».

...не голубой краешек неба «Мертвого дома»... — Ср.: «Весна действовала и на меня своим влиянием. Помню, как я с жадностью смотрел иногда сквозь щели паль и подолгу стоял, бывало, прислонившись головой к нашему забору, упорно и ненасытимо всматриваясь, как зеленеет трава на нашем крепостном вале, как все гуще и гуще синеет далекое небо» (Достоевский 4. С. 176).

У Еф. А. Вершинина, балт-мора, в «Несостоявшемся собрании»... — В архиве Блока, среди бумаг Репертуарной секции Театрального отдела Наркомпроса сохранилась рецензия С. Э. Радлова, датированная 9 января 1919 г., на драму крестьянина Костромской губернии Е. А. Вершинина «Несостоявшееся собрание»: «...драма Вершинина бесконечно наивное, несовершенное, но свежее и талантливое произведение. <...> Художественная же оценка именно этого несовершенного произведения интересует меня гораздо меньше, чем судьба и будущая деятельность его автора. Поэтому я хотел бы, чтобы кто-нибудь из моих товарищей по Реп<ертуарной> Секции прочел пьесу и поделился с нами также и своим мнением по этому вопросу» (ИРЛИ. Ф. 654. Оп. 3. № 5. Л. 101—101 об.). Другим рецензентом пьесы стал Ремизов, который опубликовал свой отзыв, построенный на сопоставлении драмы с «Трагедией о Петре» Н. Г. Виноградова, сначала в газете «Жизнь искусства», а затем включил в книгу «Крашеные рылá». Писатель не только дал высокую оценку литературному дарованию молодого автора, но и ответил на поставленный Радловым вопрос: «Вершинин матрос, простой костромской человек... Напишет ли еще чего Вершинин, занятый, заваленный делами, строящий у себя на родине своей дикой новый дом новой России, скорее не напишет, а всю силу свою убьет на служении своем, понукая и таща за собой лесовиков, никогда не подымавших глаз, родню свою. <...> Пьеса написана, как партитура... Это оркестр из человеческих голосов, музыка народной думы» (Крашеные рылá. С. 44—45).

С. 22. *пша* — мука, из которой делают пшеничное тесто.

Е. И. Замятин «изуграф»... — Одна из постоянных, образных характеристик, которой Ремизов именовал писателя Евгения Ивановича Замятина (1884—1937), подчеркивая словом «изуграф» мастерство Замятина-рассказчика и стилиста, присвоив ему звание — «смиренный епископ обезьянский Замутий, в мире князь обезьяний Евг. Замятин, корабельщик, “изуграф” и резчик слов».

...«князь и полномочный резидент заяшного ведомства» Пришвин М. М.... — Игровой статус писателя М. М. Пришвина в Обезьяньей Палате, который зафиксирован на одном из первых «обезьяньих» документов Обезвелволпала — грамоте П. Е. Щеголева, выданной в 1917 г.: «князь обезьяний и кавалер обезьяньего знака первой степени с колоском, министр и полномочный резидент заячьего ведомства». Ироническая поэтика Обезвелволпала поддерживалась и самим М. Пришвиным, учредившим в 1916 г. фантастическое «Заячье ведомство» — «внутри Министерства Торговли и Промышленности», где, по его собственным словам, он «служил, укрываясь от войны, делопроизводителем отдела “Военного Времени”» (Пришвин М. М. Дневники. 1914—1917. М., 1991. С. 253—254).

Пришвинский «Базар»... — Имеется в виду «пьеса для чтения» (1910-е гг.), впоследствии включенная в цикл «Слепая Голгофа». См.: Пришвин М. М. Собр. соч.: В 7 т. Т. 4. М., 1928. С. 159—194.

пропад — гибель.

мурлатое — мордастое.

кудло — патлы.

И там, в олонецких лесах ~ в образном скиту кощей Клюев ощерился. — В 1917—1923 гг. поэт Николай Алексеевич Клюев (1884—1937) жил на своей родине, в Олонецкой губернии; его поэзия тех лет характеризуется сочетанием идеалов языческой и христианской Руси, а также с надеждами на революционные перемены в деревне.

С. 23. *...хор поэтов И. Садофьева...* — Пролетарский поэт, прозаик Илья Иванович Садофьев (1889—1965), автор поэтических сборников «Песни Митьки» (1917) и «Динамо-стихи» (1919) руководил петроградским Пролеткультом и возглавлял литературную группу «Космист».

...Гумилев — «искусственный бродит журавь»... — Искаженные строки стихотворения Н. Гумилева «Жираф» (1908). Ср.: «Помню (когда уже мы с Ремизовым подружились) он, увидев Гумилева, прохаживающегося вдоль пайковой очереди в роскошной дохе, сказал тихонько, но выразительно: “Искусственный бродит жираф” (переиначив гумилевскую строчку “Изысканный бродит жираф”)» (Книпович Е. Ф. Об Александре Блоке // Литературное наследство. Кн. 1. С. 26).

...Анатолий Фролов, служка обезвелволпала... — Поэт, член объединения «Кольцо поэтов» Анатолий Александрович Фролов (1906—1972) в начале 1920-х гг. был самым молодым приверженцем царя Асыки. В реестре членов Обезвелволпала он упоминается как «служка Обезвелволпала, обезьяненок и б<ывший> царь ежиный». В силу своей молодости А. Фролов позволял себе реализовывать некоторые символические идеи Обезьяньего Общества буквально, осуществляя в повседневной жизни законное право вельмож «носить хвосты, где угодно». Подробнее см.: Смиренский. С. 168.

С. 23. *...но если вниз скорбно склонится ~ меня водившая звезда.* — Строфа из стихотворения М. Кузмина «Меншиков в Березове» (1920). Этот текст (не вошедший в прижизненные издания поэта) отражал настроения «выжидания», надежды на скорое падение большевистского режима. Часто распространявшееся в списках, стихотворение получило широкую известность в эмигрантской среде. Впервые отдельные его строки (с небольшими разночтениями) были опубликованы Ремизовым в «Новой русской книге» (1922. № 1), а затем полностью оно увидело свет в статье З. Н. Гиппиус «Опять о ней» (Общее дело. 1921. 20 ноября. № 490. С. 2). Примечательно, что, еще не зная статьи Гиппиус, С. П. Ремизова-Довгелло в письме к ней от 10 декабря 1921 г. привела по памяти «Меншикова в Березове», добавив от себя: «Это наше выражает. Нравится? Автора по почте не скажу» (ЦРК АК). Об истории стихотворения см.: Морев Г. А. Из комментариев к текстам Кузмина. II// НЛО. 1993. № 5. С. 165—167.

И Kaiser — Dreikaiserbund... — Немецкий критик Рудольф Кайзер сотрудничал со «сменовеховцами», являясь представителем журнала «Новая Россия» («Россия») в Германии. См.: Лундберг Е. Записки писателя. 1920—1924. Т. 2. Л., 1930. С. 151. *Dreikaiserbund* — Союз трех королей (*нем.*).

...Андрей Белый — большущий роман «Эпопея»... — Отправляясь в 1921 г. за границу, Андрей Белый предполагал написать многотомную «серию романов» под общим названием «Эпопея», начало которой было положено публикацией в журнале «Записки мечтателей» (1919. № 1. С. 11—71; 1921. № 2/3. С. 7—95) под заглавием «Я. Эпопея. Т. 1. Записки чудака. Ч. 1. Возвращение на родину». Замысел не был осуществлен.

...ниже даже Горнфельда... — Подразумевается критик и литературовед Аркадий Георгиевич Горнфельд (1867—1941). Ср.: «Поскольку имя Аркадия Георгиевича теперь мало кому известно, в двух словах расскажу о нем. Он был калекой почти с самого рождения. Его кормилица уронила; в результате повреждения позвоночника Горнфельд на всю жизнь сохранил рост четырехлетнего ребенка. Он жил в то время в Петербурге, совершенно один, на седьмом этаже в большом доме на Бассейной. <...> Сам он совсем не мог двигаться и потому был совершенно отрезан от мира. <...> Все, кто общался с Аркадием Георгиевичем, преклонялись перед величием его духа. Физический недуг не только не искалечил его, а наоборот» (Штейнберг А. Друзья моих ранних лет (1911—1928). Париж, 1991. С. 143—144).

С. 24. *...на Москве ~ Андрей Белый, учил поэтов стиху...* — В 1918—1919 гг. Андрей Белый преподавал в литературной студии московского Пролеткульта и читал курс «Теория художественного слова». Подробнее см.: Богомолов Н. А. Андрей Белый и советские писатели. К истории творческих связей // Андрей Белый. Проблемы творчества. М., 1988. С. 309—337.

...в Петербурге Серапионовы братья ~ Замятин учил их рассказам и сказам, а стиху учил Гумилев... — Имеются в виду литературные студии Дома Искусств 1920—1921 гг.

С. 25. *...на Кронверкский к Горькому дорога...* — В Петрограде Горький жил в Кронверкском пр., д. 23.

...в Обезьянью великую и вольную палату на суд обезьяний. — Ремизов так называет свои последние квартиры в Петрограде. Описание встреч молодых писателей в квартире писателя на Троицкой см.: Милашевский В. А.

Вчера, позавчера...: Воспоминания художника. М., 1989. С. 155—157.

С. 25. *мур* — густая сочная трава.

дратва — толстая смоленая нить для шитья кожи.

Der Draht — проволока, дратва (*нем.*).

С. 26. *Albern* — дурацкая болтовня (*нем.*).

Олаберство, олаберник... — От слова ала́борить, т. е. переворачивать, приводить все в порядок по-своему.

...скоморохи люди вежливые ~ почестливые. — Вариант лейтмотива из баллады о госте (купце) Терентии (Скоморохи, люди вежливые / Люди вежливые-очестливые...). См.: Собрание народных песен П. В. Киреевского. Л., 1977. Т. 1. № 211. С. 164—166.

С. 27. *прошалыганить* — отхлестать.

...от Тройницкого из Эрмитажа! — С Сергеем Николаевичем Тройницким (1882—1948) Ремизов близко познакомился в 1908 г., когда Тройницкий и два его друга — А. А. Трубников и М. Н. Бурнашов в основанной ими типографии «Сириус» издали первый роман писателя «Пруд». Тогда же Тройницкий поступил на службу в императорский Эрмитаж, где первоначально занимался инвентаризацией в отделении Средних веков и Возрождения, а в 1912 г. вошел в комиссию по созданию историко-бытового отдела, и с 1913 г. возглавил отделение драгоценностей Эрмитажа. Его карьера увенчалась должностью первого директора Государственного Эрмитажа, которую он занимал с 1917 по 1927 г. В первой печатной редакции миниатюры указание на Тройницкого отсутствует.

...на всешутейших трапезах и на службах великого князь-папы... — По своей пародийной природе Обезвелволпал близок таким своим историческим предшественникам, как «Бенго-Коллегия, или Великобританский монастырь» и «Всепьянейший и всешутейший собор» Петра I, хотя сам автор затеи позже вроде бы и отрицал это: «затея Обезьяньей Палаты вышла не из "всешутейшего" Петровского безобразия, а из детской игры» (Встречи. С. 121). Тем не менее их объединяют общие игровые элементы — участие именитых людей, занимавших высшие посты на государственной службе, пародирование Римской иерархии (титул «князь-папы»), а также тот факт, что «Петр Великий среди всех лиц, как бы с намерением скрыть свою личность, избрал для себя низшую степень протодиакона». Подробнее об этих игровых сообществах см.: Н о с о в и ч И. И. О значении всепьянейшего собора, учрежденного Петром Великим // Русская старина. 1874. Т. XI. Сентябрь—декабрь. С. 734; П л а т о н о в С. Ф. Из бытовой истории Петровской эпохи. Бенго-Коллегия, или Великобританский монастырь в С.-Петербурге при Петре Великом // Известия АН СССР. 1926. № 8. Серия 6. С. 527—546; С е м е н о в а Л. Н. Очерки истории быта и культурной жизни России: Первая половина VIII века. Л., 1982.

часословец — книга молитв, расписанных по часам.

...все побивались Ивашкой Хмельницким... — идиоматическое выражение, означающее: сильно напились.

С. 29. *Скрепил и деньги серебряной бумагой получил...* — К основным и неизменным атрибутам оформления обезьяньего документа относились непременная «собственнохвостная подпись» на грамоте царя Асыки, скрепленная печатью Обезвелволпала и оплаченная всякими канцелярскими сборами.

С. 29. *...б. канцелярист, забеглый политком обезвелволпала...* — Типичная самоидентификация Ремизова, характерная для обезьяньих грамот эмигрантского периода. До отъезда из России на обезьяньих документах весны — начала лета 1921 г. он подписывался как «б<ывший> канцелярист» и «политком» Обезвелволпала. Впервые формула «б. политком» появилась на грамоте В. Шишкова (1921).

С. 30. *Ахру — слово обезьянье ~ огонь.* — Среди материалов Ремизова в коллекции Т. Уитни (ЦРК АК) в альбоме 1926 г. имеется вырезка из неустановленной газеты под названием «Обезьяний язык»: «Американский естествоиспытатель проф. Гарнер, известный исследователь обезьяньего языка, отправился в дебри Восточной Африки, чтобы там с помощью граммофона продолжить свои исследования. На мысль об исследовании языка обезьян проф. Гарнера впервые натолкнуло своеобразное поведение нескольких обезьян, которые были помещены в одной клетке с диким павианом. Он потратил много денег и времени на эти исследования; долгое время провел в первобытных африканских лесах, в железно-решетчатой клетке, чтобы удобнее и лучше наблюдать за поведением обезьян. Он утверждает, что ему удалось сделать массу любопытнейших наблюдений, которые привели его к заключению, что обезьяны объясняются между собой не только знаками, но и членораздельными звуками. Между прочим он пишет следующее о своих наблюдениях: "я записал почти двести слов на обезьяньем языке. Так, например (обозначая их слова по нашему способу), слово «ахру» означает солнце, огонь и вообще понятие о тепле. "Кукха" — вода, дождь, холод; "гошку" — пищу, процесс еды"». См. также: Безродный М. Об обезьяньих словах // НЛО. 1993. № 4. С 153—154.

КУКХА. Розановы письма

Печатается по: Кукха. Розановы письма. Берлин: Изд-во З. И. Гржебина, 1923.

Впервые опубликовано: Окно. Трехмесячник литературы. 2. Париж, 1923. С. 121—193, вариант под назв. «Розанова <так!> письма» датирован «10.2.23. Charlottenburg».

Летом 1922 г., обдумывая возможные перспективы публикации нового произведения, посвященного В. В. Розанову, Ремизов остановил выбор на журнале «Путник», который должен был выходить в Берлине в издательстве З. И. Гржебина под редакцией М. Горького (см. письмо Ремизова к Шестову от 30 июня 1922 г.: Шестов. 1994. № 1. С. 172; а также анонс журнала: НРК. 1922. № 5. С. 44). Поскольку издание журнала не состоялось, этот план остался неосуществленным. Ряд писем к Ремизову свидетельствует, что писатель делал попытки опубликовать свою книгу и в России. В 1923 г. он передал рукопись для образованного годом ранее московского издательства «Круг» (в состав его редакционной коллегии входил писатель А. Я. Аросев, который в начале 1920-х гг. находился на дипломатической службе и бывал в Берлине). В апрельском номере журнала «Россия», в рубрике «Литературная хроника», даже появилась заметка: «А. М. Ремизов приготовил к печати письма Розанова со своими комментариями и ведет переговоры с московскими издательствами об издании их в России» (1923. № 8. С. 31). Тем не

менее вскоре предложение Ремизова было отклонено коллегиальным решением редакции, о чем Аросев уведомил его письмом от 20 марта 1923 г.: «“Розановы письма” я оставил у Марии Михайловны <Шкапской>. Для Круга они не подходят» (ЦРК АК). В результате текст «Кукхи» без вступления и главы «Завитушка» впервые увидел свет во втором номере парижского «трехмесячника литературы» «Окно» (1923) под названием «Розанова письма». Новаторский эксперимент Ремизова в области мемуаристики — воспоминания, основанные на реальных письмах и исполненные «в стиле» Розанова — был встречен с повышенным интересом и вниманием. Так, З. Н. Гиппиус, опубликовавшая в следующем выпуске «Окна» (№ 3) свои мемуары о Розанове, впоследствии вошедшие в цикл очерков «Живые лица», в письме к жене Ремизова от 19 июля 1923 г. была обеспокоена этической стороной нового произведения: «Я не видела «Окна» и не знаю, что <напи>сал Ал. Мих. про Розанова, но видела <в га>зетах что-то, и очень хочу знать <правда> ли, что он такие интимности напи<сал>, которые бы не надо ни про живого <ни про> мертвого? <...> Я о Блоке, и даже о Брюсове много знаю, чего не могла сказать. И о Розанове, вот буду писать — тоже не скажу. Тем более, что, ведь, его вдова, м<ожет> б<ыть> жива, а дочери наверно некоторые живы» (L a m p l H. Zinaida Hippius an S. P. Remizova-Dovgello // Wiener Slawistischer Almanach. 1978. Bd. I. S. 175). Другие современники оценили прием создания художественного произведения на основе «интимного, названного по имени и отчеству» материала (Шкловский) как подлинное откровение и даже признали в нем факт рождения новой литературы. Критик Д. С. Святополк-Мирский в письме к своему постоянному корреспонденту, «евразийцу» и музыковеду, П. П. Сувчинскому 8 января 1924 г. отзывался о новом произведении с восторгом: «Читали ли Вы *Кукха* (Розановы письма?) Книга удивительная. Я вообще его <Ремизова> много читаю и он все растет в моих глазах. Иду к нему опять сегодня и несу ему “хабар обезьяний” шампанское» (S m i t h G. S. The Letters of D. S. Mirsky to P. P. Suvchinskii. 1922—31 // Birmingham Slavonic Monographs. 1995. № 26. P. 25). В печатных критических отзывах высокая оценка новаторского по форме и глубоко искреннего по содержанию литературного труда прозвучала еще более отчетливо: «...давно не появлялось у нас произведения столь волнующего, трогательного и прекрасного, — писал Б. Шлецер. — Человеческая книга! В том именно особая, волнующая прелесть ее, что в ней дышит человек. — Искусство ли это особенное, изощренное, ибо вовсе не заметное? Гениальная ли интуиция? Вероятно, и то и другое». Подчеркивая адекватность творческого метода Ремизова образу Розанова, критик рассуждал и о своеобразной философии жизни, связавшей героев «Кукхи»: «Скорее я назвал бы обоих, и Розанова, и Ремизова — имморалистами, если бы слово это, в применении к Ремизову в особенности, не представлялось слишком рассудочным и грузным. Но действительно, ни тот, ни другой не подходят к человеку, к явлениям жизни с моральной точки зрения. Та нежность, та чуткость, с которыми Ремизов говорит в воспоминаниях своих о том или другом из своих друзей и знакомых, ни в каком отношении не находится к моральным или умственным качествам этих людей». Касаясь темы Эроса, растворенной в тексте всей книги, Шлецер завершал свою статью следующим выводом: «...в этой эротике столько наивности,

теплоты и какого-то уюта, так просто все сказано домашними словами, и столько игры здесь вместе с тем и живого трепета, что чувствуешь — хорошо это и нужно; как пишет Розанов: "И все прекрасно в своей звезде. Розанов это хорошо понимает"» (ПН. 1924. 7 февраля. № 1163. С. 3). Из вступления к книге, написанного в форме письма к Розанову, следует, что текст «Кукхи» сложился еще в России («Все, что возможно пока, записал лунной крещенской ночью»), кроме «Завитушки», которая была написана уже в Берлине. О создании дополнительной главы сообщала заметка в петроградском журнале «Жизнь искусства»: «А. М. Ремизов, написавший рассказ "Розановы Письма", появляющиеся в непродолжительном времени во 2-ом номере трехмесячника «Окно», работает над *завитушкой* «Из Розанова», являющейся дополнением к указанному рассказу» (1923. 10 июля. № 27. С. 27). История создания «Кукхи» восходит к ремизовскому альбому с подлинными письмами В. В. Розанова (далее альбом «Розанов»), сохранившемуся в архиве библиотеки Гарвардского университета (США), который, собственно, и является протоформой текста книги. Один из его титульных листов озаглавлен «Письма Василия Васильевича Розанова † II 1919 г.» и оформлен в эстетике игровых документов Обезвелволпала: с личным значком Ремизова — глаголической буквой «ч», а также обязательной «обезьяньей печатью», имеющей надписи по окружности на глаголице «Обезьянья печать» и на кириллице «Петербург. Василию Васильевичу Розанову», а также в центре на кириллице «Старейшему кавалеру. Алексей Ремизов». Кроме того, здесь имеются пометы рукой Ремизова: сверху справа подчеркнуто: «А. Ремизов»; в правом нижнем углу дата «Paris 1952». В верхнем правом поле листа рукой неизвестного поставлено и обведено: «37», а ниже приписано пояснение писателя, относящееся к цифрам: «номер обыскной ГПУ». Очевидно, что и подборка писем Розанова, и другие иллюстративные и печатные материалы были организованы в единый альбом до того, как 5 августа 1921 г. Ремизовы навсегда выехали из Петрограда. С этим альбомом, как и с другими материалами из личного архива писателя (рукописями, книгами и другими самодельными альбомами), связано событие, происшедшее на границе между Ямбургом и Нарвой. Накануне отъезда, 4 августа 1921 г. Ремизов доверил перевезти через границу часть своего архива эстонскому консулу в Петрограде Альберту Оргу, воспользовавшись его дипломатическим иммунитетом. Однако именно эти материалы были отобраны у Орга при обыске (см.: Кодрянская. С. 304). Тогда-то на обложке альбома и запечатлелся «гепеушный» «обыскной» номер. Пытаясь вернуть свой архив, Ремизов написал ряд обращений к высокопоставленным советским чиновникам, а также влиятельным писателям и издателям. Сохранился составленный Ремизовым список пропавших рукописей, в котором под седьмым номером значатся: «Письма В. В. Розанова с портретом и карикатурами Ко мне — вклеены. К моей жене — вложены» (ГАРФ. Ф. 6065. Оп. 1. № 71. Л. 23). Личный архив писателя вернулся к Ремизову только в июне 1922 г., о чем свидетельствует еще один титульный лист альбома (Л. 1). В его центре — знаменитая подпись-монограмма Ремизова, возникшая в Берлине. Сверху надпись: «В. В. Розанов † 23 января (10 янв. с/с <так!>) 1919 г. у Троицы-Сергия». В правом верхнем и нижнем углах имеются пометы: «A. Remisoff 7 rue Boileau, Paris XVI»;

«Charlottenburg 23—24 VI 1922». Наличие в альбоме трех различных дат (1919 — 1922 — 1952) говорит о важности каждой из них: объединение писем после смерти философа; второе рождение альбома после конфискации и, наконец, расставание с литературным памятником Розанову при продаже в частный архив. Упоминание об этом «розановском» альбоме встречается и в письме Ремизова к Н. В. Зарецкому от 10 ноября 1932 г., где писатель перечисляет свои рукописные альбомы для возможной продажи их пражскому Народному музею: «Альбом Розанова. 1) Карточка (снимок с портр<ета> Бакста) с надписью 2) Из журн<ала> вырез<анная> карточка Розанов<а> — его любимая. 2 письма В<асилия> В<асильевича> <Розанова> и точная копия его письма (оригинал уничтожен). Карикатура <на Розанова> Реми из Сатирикона <...> не знаю кого <...> Последняя статья Розанова в Нов<ом> Времени. 23 II 1917» (Прага). Помимо указанных фотографий и рисунков Розанова, в альбоме «Розанов» хранятся подлинные письма философа, расположенные в порядке, отличном от композиции, представленной в «Кукхе». Кроме того, альбом содержит аутентичные копии писем Розанова, сделанные Ремизовым, а также комментарии Ремизова к каждому письму, раскрывающие не только конкретные реалии текста, но и характеризующие каждое розановское письмо как эпистолярный документ, то есть поясняющие использование бланков, характер употребляемых Розановым сокращений, рисунки, графические выделения в тексте и прочие детали. Некоторые из этих авторских комментариев вошли в текст «Кукхи», однако большей частью они остались за рамками произведения. Отдельные фрагменты пояснений Ремизова использованы в составе примечаний к данному тому. Они обозначены кавычками и соответствующей пометой: «Авт. коммент». При этом каждому розановскому письму присвоен номер в соответствии с последовательностью их расположения в составе альбома. В случаях, когда письма Розанова в ремизовском комментарии датированы более точно, чем оригиналы, на которых обычно вовсе нет датировки рукой отправителя, или когда даты писем в «Кукхе» и альбоме не совпадают, — это обстоятельство поясняется отдельным комментарием. Для дополнительной сверки текста нашей рукописной копии материалов альбома «Розанов» во время подготовки примечаний была также использована ксерокопия, принадлежащая А. Е. Парнису, за что приносим ему благодарность.

С. 33. *А «Завитушку» потом...* — Авторское определение особого жанра миниатюрной новеллы автобиографического характера: «...я назвал свое — "завитушками"» (Иверень. С. 152).

...ведь лучший портрет тот, где карикатурно, а значит, не безразлично. — Ср. со словами Ремизова, поясняющими эту же мысль на литературном примере: «Непонятливые часто говорят про портреты: "Карикатурно". Однако, карикатурность — вовсе не недостаток. Чичиков, Хлестаков, городничий, разные Тяпкины-Ляпкины — тоже карикатуры, но этого никто не ставит Гоголю в вину» (Анненков. С. 220).

...желтый паспорт! — за «Табак» мне, должно быть, такое. — Желтая обложка временного немецкого паспорта ассоциируется у писателя с так называемым «желтым билетом», выдававшимся проституткам в царской Рос-

сии. «Что есть табак. Гоносиева повесть» (1908) — эротическая сказка, которая была издана с откровенными иллюстрациями К. Сомова в количестве 25 именных экземпляров. См.: Ремизов А. О происхождении моей книги о табаке. Что есть табак / Предисл. Г. Чижова-Холмского. Paris, 1983.

С. 37. *А есть и еще мера — рост боковой.* — В книге «Люди лунного света. Метафизика христианства» (1911) Розанов связывает половое созревание ребенка с замедлением линейного роста (вверх) за счет накопления потенциальной половой энергии (бокового роста).

Варвара Димитриевна — вторая жена В. В. Розанова (урожд. Руднева, в первом браке — Бутягина; 1864—1923).

С. 38. *В январе 1905 г. с нас было снято запрещение Москвы и Петербурга...* — После окончания срока политической ссылки (1903) Ремизову было запрещено поселение в столичных городах в течение пяти лет. Начиная с 1904 г., при поддержке Г. И. Чулкова, он подавал прошения в Департамент полиции о снятии запрета ввиду полного отказа от политики. Разрешение на въезд в столицы было дано приказом министра внутренних дел П. Д. Святополк-Мирского.

...в редакцию «Вопросов Жизни» в Саперный переулок... — Редакция журнала «Вопросы жизни», который возник в начале 1905 г. на основе журнала «Новый путь» (1902—1905), находилась по адресу: Саперный пер., 10, кв. 6. Подробнее об этих изданиях см.: Корецкая И. В. «Новый путь». «Вопросы жизни» // Литературный процесс и русская журналистика конца XIX — начала XX века. 1890—1904. М., 1982. С. 179—233.

...Чулковы — Георгий Иванович и Надежда Григорьевна. — Прозаик, поэт, критик Г. И. Чулков (1879—1939) и его жена Н. Г. Чулкова (урожд. Степанова; 1874—1926). По совету Н. А. Бердяева именно Чулков пригласил Ремизова на службу в редакцию «Вопросов жизни» после того, как от этого места отказался писатель А. Кондратьев. Подробнее см.: Чулков Г. Годы странствий. Из книги воспоминаний. М., 1930. С. 65—80.

...Д. Е. Жуковский, замечательный человек... — Дмитрий Евгеньевич Жуковский (1868—1943), официальный редактор журнала «Вопросы жизни», переводчик, издатель философской литературы. До переезда в Петербург Ремизов общался с Жуковским в письмах по поводу публикации в журнале собственных переводов. Ср.: «Хозяин Дмитрий Евгеньевич Жуковский, издатель неподъемных кирпичей Куно Фишера, философ, сам не писал, а любил в философских разговорах вставить о трансцендентном, по образованию зоолог. У Дмитрия Евгеньевича была страсть покупать имения...» (В розовом блеске. С. 301).

С. 38—39. *Пострадал И. А. Давыдов, автор «Так что же такое, черт возьми, экономический материализм?» — в его рецензии на книгу Рожкова везде было напечатано не Рожков, а Розиков.* — Ремизов познакомился с теоретиком-марксистом, автором книги «Что же такое экономический материализм?» (Харьков, 1900) И. А. Давыдовым (1866—1942) еще во время политической ссылки в Вологде и на окончание срока его ссылки написал шуточный «некролог», на титульном листе которого обозначил: «Иосиф Александрович Давыдов † 1. 8. 1901, в Вологде автор "Так что же такое, черт возьми, экономический материализм?"» (ЦРК АК). В статье И. Давыдова «Об идеализме, марксизме и народничестве» (Вопросы жизни. 1905.

№ 7. С. 312—323), в которой автор апеллировал к мнению историка и публициста социал-демократического направления Николая Александровича Рожкова (1868—1927), его фамилия, действительно, на протяжении всего текста воспроизводилась с опечаткой: Розиков.

С. 39. *Г. Н. Штильман ~ благороднейший человек, заступался за меня.* — Ремизов вспоминает о Григории Николаевиче Штильмане (1877—1916), юристе и публицисте, редакторе петербургской газеты «Слово» как о своем «снисходительном покровителе» (Иверень. С. 229), а в позднем комментарии к собственным письмам, адресованным жене, говорит о нем как о друге семьи: «чудесный человек и большой наш друг, обожавший С. П-ну» (На вечерней заре 3. С. 452).

Рóзинов — Рóзинов! — знакомился В. В. —Ср.: «Удивительно противна мне моя фамилия. Всегда с таким чужим чувством подписываюсь "В. Розанов" под статьями. Хоть бы "Руднев", "Бутаев", что-нибудь. Или обыкновенное русское "Иванов". Иду раз по улице. Поднял голову и прочитал: "Немецкая булочная Розанова". Ну, так и есть: все булочники Розановы, и, следовательно, все Розановы — булочники. <...> Такая неестественно отвратительная фамилия дана мне в дополнение к мизерабельному виду» (Уединенное. С. 211).

С. 40. *канатик* — семенной канатик (funiculus spermaticus), анатомическая особенность мужского полового органа.

...появился Н. А. Бердяев — Бердяевы жили под редакцией. — Ремизов познакомился с Николаем Александровичем Бердяевым (1874—1948) в 1901 г., во время вологодской ссылки (См.: Бердяев Н. А. Самопознание: Опыт философской автобиографии. М., 1991. С. 127—130). В письме к будущей жене — Лидии Юдифовне (1889—1945), написанном зимой 1904/05 г. из Киева, Бердяев сообщал: «Ремизовых перетаскиваю в Петербург, и это будет для нас большое приобретение. Они могут составить часть приятной атмосферы отношений с людьми в противовес неприятной атмосфере Мережковских» (Письма молодого Бердяева / Публ. Д. Барас // Память. Исторический сборник. 4. М., 1979 — Париж, 1981. С 245). О редакторской деятельности Бердяева в «Вопросах жизни» см.: Вадимов А. Жизнь Бердяева. Россия. Berkeley, 1993. С. 73—76).

Впрочем, «сам» испокон веков у петербургских швейцаров считался П. Е. Щеголев... — По мемуарным свидетельствам Ремизова, его ближайший друг со времен вологодской ссылки историк литературы и русского революционного движения П. Е. Щеголев отличался «осанкой», «голосом», «умом неизмеримым и богатырским телосложением». Подробнее об истории их взаимоотношений см.: Письма А. М. Ремизова к П. Е. Щеголеву. Часть I. Вологда. (1902—1903) / Вступ. статья, подгот. текстов и коммент. А. М. Грачевой // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1995 год. СПб., 1999. С. 121—127; Ремизов А. М. «Некролог» П. Е. Щеголеву / Вступ. заметка, публ. и примеч. Е. Обатниной // Там же. С. 178—193).

В «В. Ж.» лежали на складе Розановское «О понимании» и «Семейный вопрос». — Имеются в виду трактаты «О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания» (1886) и двухтомный «Семейный вопрос в России» (1903). С первой книгой

Ремизов связывал начало своей многолетней дружбы с Розановым-литератором. Мемуарный очерк о Розанове, озаглавленный «О понимании», см.: Алексей Ремизов. Исследования. С. 224—230.

С. 40. *...у Розановых на Шпалерной...* — Регулярно, обычно по воскресеньям, на Шпалерной ул, д. 39, кв. 4 устраивались многолюдные «журфиксы» (до тридцати человек), участниками которых были видные деятели литературы и священники. Об атмосфере этих вечеров см.: Бенуа А. Мои воспоминания. М., 1980. Т. 2. Кн. 4. С. 296.

Многоуважаемая Серафима Павловна! Посылаю Вам письмо к Петерсу... — В альбоме «Розанов» письмо № 2; датировано мартом 1905 г. Авт. коммент: «При всей занятости трогательна внимательность. В. В. Петерс — доктор».

С. 42. *Многоуважаемая Серафима Павловна! К сожалению...* — В альбоме «Розанов» письмо № 3.

С. 43. *...как-то, наслушавшись об Арцыбашевском Санине, <Розанов> в статье «семейной» упомянул о новом писателе Санине, написавшем роман «В лугах».* — Розанов посвятил скандально известному роману «Санин» (1907) Михаила Петровича Арцыбашева (1878—1927) несколько резких отзывов. См.: Варварин В. <В. Розанов> Пестрые темы // Русское слово. 1908. 30 апреля. № 100. С. 1—2; Розанов В. На книжном и литературном рынке // Новое время. 1908. 11 июля. № 11612. Местонахождение принципиальной «оговорки» не установлено.

...голова львова, сера, космата, с огненной пастью в поле блакитном. — Описание герба рода Довкгелло (исконное написание), к которому принадлежала С. П. Ремизова-Довгелло. Символы фамильного герба Ремизов использовал для названий глав в романе, посвященном судьбе Серафимы Павловны, где она выведена под именем Оли. Ср.: «“Голова львова сера, космата с огненной пастью в поле блакитном”. Под этим знаком вся история Оли: ее детство, отрочество и юность. “Оля”: В поле блакитном. Доля. С огненной пастью. “Голова львова”. Этот львовый знак — фамильный герб Задоры Довгелло» (В розовом блеске. С. 281).

С. 44. *«33 белых попа», — такое есть общество. Собираются иногда в редакции.* — Подразумевается сложившаяся в Петербурге и позднее преобразовавшаяся в «Союз Ревнителей Церковного Обновления» («Братство Ревнителей Церковного Обновления») «группа 32-х священников», которая активно выступала за отделение церкви от государства. Ее участники пытались найти поддержку в редакции «Вопросов жизни» среди идеологов нового религиозного сознания, но те встретили программу обновленцев резкой критикой, видя в ией «просто профессионально-освободительное движение» (См.: Павлова М. Мученики великого религиозного процесса // Мережковский Д., Гиппиус З., Философов Д. Царь и революция. М., 1999. С. 26—28). Возможно, число 33 является поздней аллюзией Ремизова к названию вышедшего в 1907 г. романа Л. Зиновьевой-Аннибал «Тридцать три урода».

С. 44—45. *...раскрыта, наконец, моя мистификация о этом мифическом Иване Павлиновиче...* — Любовь писателя к различного рода розыгрышам и шуткам получила широкую известность среди петербургских литераторов. Конст. Эрберг (К. А. Сюннерберг) вспоминал: «Ремизов вообще и в письмах

и в разговоре любил "шутоваться" (его выражение) и чудить. В общении с другими он всегда играл какую-то роль. <...> Ремизов был с хитрецой, "шутовался" он всегда не без расчета, не без задней мысли» (ИРЛИ. Ф. 474. № 53. Л. 87—88). В данном случае в ремизовской «шутке» речь идет об Иване Павлиновиче Слободском, протоиерее о. Иоанне Слободском, участнике Религиозно-философских собраний. Ср. с записью Розанова: «Какие добрые бывают (иногда) попы. Иван Павлинович взял под мышку мою голову и, дотронувшись пальцем до лба, сказал: "Да и что мы можем знать *с нашей черепушкой?"* (мозгом, разумом, черепом). Я ему сказал разные экивоки и "сомнения" за годы Рел-фил. Собраний. И так сладко было у него поцеловать руку. Исповедовал кратко. Ждут. <...>Так "быт" мешается с небесным глаголом <...> Но Слободской — глубоко бескорыстен. Спасибо ему. Милый. Милый и умный (очень)» (Уединенное. С. 424).

С. 45. *Среды у Вяч. Иванова.* — В доме поэта, писателя, теоретика символизма Вячеслава Ивановича Иванова (1866—1949) на Таврической улице, д. 38 — известном под названием «башня», по средам собирался весь цвет интеллектуального, литературно-художественного мира Петербурга. См.: Шишкин А. Симпосион на петербургской башне в 1905—1906 гг. // Канун. Альманах. Вып. 3. Русские пиры. СПб., 1998. С. 273—352. Историю взаимоотношений Иванова и Ремизова см.: Переписка В. И. Иванова и А. М. Ремизова / Вступ. статья, примеч. и подгот. писем Ремизова А. М. Грачевой; подгот. писем Вяч. Иванова О. А. Кузнецовой // Вячеслав Иванов: Материалы и исследования. М., 1996. С. 72—118.

...Гершензон, оказывается, пишет стихи! — Поэтические опыты историка русской литературы и общественной мысли, философа и литературного критика Михаила Осиповича Гершензона (1869—1925), относящиеся к 1890—1900-м гг., сохранились, в частности, в фондах Института мировой литературы РАН (Москва). См.: Макагонова Т. М. Дни и труды М. А. Гершензона (По материалам архива) // Записки Отдела рукописей Российской государственной библиотеки. Вып. 60. М., 1995. С. 60—70.

...знаменитый Демчинский: предсказывает погоду. — Журналист и беллетрист Николай Александрович Демчинский (1851—1914/1915?) в 1900-х гг. публиковал в газетах «Биржевые ведомости», «Слово», «Русь», «Утро России» заметки на актуальные темы, в том числе и по вопросам метеорологии. Полагаясь на собственную теорию, он выступал и с предсказаниями погоды, чем заслужил репутацию шарлатана в научных кругах и популярность у простой публики.

Были еще Мережковские... — Общаясь в редакции журнала «Вопросы жизни» с супругами Дмитрием Сергеевичем Мережковским (1865—1941) и Зинаидой Николаевной Гиппиус (1869—1945), Ремизов первоначально составил о них весьма нелестное мнение. Однажды он писал жене, находившейся в отъезде: «Как приедешь, давай снимемся вместе, я уж писал тебе и эту карточку Натусеньке <маленькая дочь Ремизовых. — *Е. О.*>, когда большая вырастет, а еще подарим В. В. Розанову, а Мережковским не стоит: сий не взглянет, З. Н. Гиппиус отрежет меня, исколет булавками и бросит в камин, в огонь» (На вечерней заре 3. С. 454). Тем не менее именно З. Н. Гиппиус, симпатизировавшая писателю, принимала деятельное

участие в устройстве бытовой жизни Ремизовых. См.: Lampl H. Zinaida Hippius an S. P. Remizova-Dovgello // Wiener Slawistischer Almanach. 1978. Bd. I. S. 155—194.

С. 45. *Я с таким удовольствием читал «Тварь»...* — В альбоме «Розанов» письмо № 1. Авт. коммент.: «1905 осень. <...> "Тварь" — рассказ З. Н., напеч<атанный> в Северных цветах 1903 <...> М. Изд. Скорпион». Рассказ З. Гиппиус «Тварь. Ночная идиллия» был опубликован в четвертой книге альманаха «Северные Цветы Ассирийские» за 1905 г. (С. 79—93).

С. 46. *...учитель Полетаев ~ (расск. В. В.)...* — Преподаватель математики и физики Сергиевской прогимназии в Сергиевском Посаде Полетаев упоминается в «Циркуляре по московскому учебному округу» (1886. № 6—7. С. 255) в приказе о переводе в Брянскую прогимназию.

...доктор Доминик Доминикович Кучковский (из воспоминаний В. В.)... — Брянский врач Доминик Доминикович Кучковский упоминается как доверенное лицо в нотариальных бумагах Розанова (завещании, составленном в 1884 г. и др.). См.: Сараскина Л. Возлюбленная Достоевского Аполлинария Суслова: в документах, письмах, материалах. М., 1994. С. 366—385.

Куплено: зеленый диван у А. С. Волжского... — Ремизов познакомился с литературным критиком и многолетним другом Розанова Александром Сергеевичем Глинкой (псевд.: Волжский; 1878—1940) 2 февраля 1905 г.: «Это один из редакторов и защитник "Пруда"» (На вечерней заре 2. С. 284). В письме к писателю от 22 декабря 1912 г. Глинка-Волжский в шутливой форме напомнил о вещах, проданных Ремизову в 1905 г. перед отъездом в Симбирск, в письме от 22 декабря 1912 г.: «...а я ведь живу себе-поживаю на свете, на Шатальной улице д. 35(а), в Симбирске, и очень помню, что за стол мой, — письменный, красным покрыт, — Вы со мной не расплатились, и потому век вечный должны посылать мне книжки Ваши» (РНБ. Ф. 634. № 89. Л. 11).

Познакомился с П. П. Перцовым. — Подразумевается личное знакомство с критиком и официальным издателем журнала «Новый путь» Петром Петровичем Перцовым (1868—1947), который еще в 1903 г., общаясь с Ремизовым по переписке, одобрил и принял к публикации в журнале цикл рассказов Ремизова «По этапу» (См.: РНБ. Ф. 634. № 249. Л. 13—15 об.).

С. 46—47. *И тихонько из Опытов ~ Это для моей повести «О табаке».* — «Опытами» Розанов называл личные эротические переживания. Ср.: «...я и "там" если этим делом и баловался, то в сущности для "опытов". Т. е. наблюдал и изучал. А чтобы "для своего удовольствия" — то почти и не было» (Уединенное. С. 272).

Л. Б. — Лев Самуилович Бакст (1866—1924), художник, участник группы «Мир искусства», который иллюстрировал издание эротической сказки Ремизова «Царь Додон» (1921).

С. 47. *...мы отдельно теперь на 5-ой.* — Ремизовы переехали на 5-ю Рождественскую ул. (д. 38, кв. 2) 26 сентября 1905 г.

Познакомился с С. Л. Рафаловичем: его стихи в «Содружестве»... — Имеется в виду сборник стихов Сергея Львовича Рафаловича (1875—1943) «Светлые песни» (СПб.: Содружество, 1905). Сохранился лист из этой книги с инскриптом, датированным 4 января 1906 г.: «Алексею Михайловичу Ремизову на добрую память. Сергей Рафалович» (ИРЛИ. Р III. Оп. 2. № 1648).

С. 47. *Был еще Леонид Семенов — этот, как олень.* — Леонид Дмитриевич Семенов-Тян-Шанский (1886—1917), поэт, прозаик. Ср. с письмом Ремизова к жене от 26/27 июня 1905 г.: «Был Леонид Семенов. Олень. И какая рогатая гордость! На гордость я ему отвечал невероятными сообщениями, говоря: дурак, сними рога и посмотри попроще» (На вечерней заре 3. С. 459).

С. 48. *Хоронили Трубецкого. Несли на Николаевский вокзал. Демонстрация.* — Князя Сергея Николаевича Трубецкого (1862—1905), философа, общественного деятеля, ректора Московского университета, члена «Союза освобождения», внезапная смерть настигла в Петербурге после сердечного приступа из-за выговора от министра народного просвещения за студенческие волнения, допущенные в Московском университете. М. Кузмин, наблюдавший многолюдную похоронную процессию, записал в дневнике: «Когда сегодня мимо нас провозили Трубецкого, случилось какое-то замешательство и толпа в панике, в ужасе бросилась бежать, на извозчиках, просто так, в лавки, и сверху это производило впечатление картины какого-то англичанина “Манифестация”. На Невском были какие-то волнения, но более или менее обычного типа» (Кузмин. С. 50).

Вечером ездили к Ф. К Сологубу на В. О. в училище, где он инспектором. — В 1899—1907 гг. поэт и прозаик Федор Сологуб (наст. имя Федор Кузьмич Тетерников; 1863—1927) служил учителем-инспектором в Андреевском городском училище, которое находилось на Васильевском острове (7-я линия, д. 38).

...и, конечно, Василий Иванович (Коренев). — Очевидно, ошибка в фамилии; речь идет о приятеле и сослуживце Ф. К. Сологуба Василии Ивановиче Корехине, который под влиянием Сологуба стал писать стихи и публиковался под псевдонимами «В. Корин» и «Горицвет»; автор книги «Зарницы» (1898).

Я писал в альбомы передоновщину: брежу «Мелким бесом». — Провинциальный учитель Передонов — символ маниакально-извращенного, грязно-эротического поведения — главный герой романа Ф. Сологуба «Мелкий бес», который впервые увидел свет иа страницах журнала «Вопросы жизни» (1905. № 6—11).

Т. Н. — Татьяна Николаевна Гиппиус (1877—1957), художница, сестра З. Н. Гиппиус.

Не забыть под Андрея погадать. — Имеется в виду день памяти апостола Андрея Первозванного (30 ноября), по народной традиции накануне этого дня (29 ноября) девушки гадали на суженого.

С. 49. *...и все дети...* — У Розановых было пятеро детей: Татьяна (1895—1975), Вера (1896—1919), Варвара (1898—1943), Василий (1899—1918), Надежда (1900—1958); в семье также жила Александра Михайловна Бутягина (1883—1920) — дочь Варвары Дмитриевны от первого брака.

Н. К Рёрих — знает всю доисторическую историю... — Подробнее о взаимоотношениях живописца и философа Николая Константиновича Рериха (1874—1947) с Ремизовым см.: Рерих Н. К. Письмо к А. М. Ремизову / Публ. С. С. Гречишкина // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1974 год. Л., 1976. С. 196—199.

С. 50. *Вечером ~ В. В. Перемиловский.* — Переводчик Владимир Владимирович Перемиловский (1880—1950-е) — один из первых петер-

бургских знакомых писателя; ему посвящена легенда «О безумии Иродиадином, или Как на земле зародился вихорь» (1906). Подробнее об их отношениях см.: Письма А. М. Ремизова к В. В. Перемиловскому / Подгот. текста Т. С. Царьковой; вступ. статья и примеч. А. М. Грачевой // Рус. лит. 1990. № 2. С. 197—235.

Познакомился с Григорием Петровым. — По сохранившейся характеристике Розанова, священник-либерал Григорий Спиридонович Петров (1867—1925), автор нравоучительных брошюр для народа и популярной книги «Евангелие как основа жизни», либеральный публицист, был по-своему уникальной личностью: «Григорий Петров. Одна из самых отвратительных фигур, мною встреченных за жизнь. <...> Такого честолюбия я ни в ком не видел: Александр Македонский со средствами Мазини» (Уединенное. С. 654). Книгам и публичным выступлениям Г. Петрова Розанов посвятил полемические статьи «Прекрасный Иосиф и его братья» (1903), «Случай в деревне» (1904) и др.

Манифест о свободах. — В ночь с 17 на 18 октября 1905 г. был опубликован подготовленный С. Ю. Витте и подписанный Николаем II манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», в соответствии с которым были узаконены гражданские свободы: свобода совести, слова, собраний, союзов, расширение избирательных прав и т. д.

С. 51. *Когда я слышу о событиях — о митингах и шествиях, мне приходит на ум маркиз де Сад.* — Произведения скандально знаменитого маркиза де Сада (1740—1814) стали символом аморализма, жестокости, преступления и святотатства, а имя автора — нарицательным: садизмом называют как сексуальное извращение, так и удовольствие от насилия вообще. Возможно, революционные события 1905 г. вызвали у Ремизова ассоциацию с трактатом «Французы, еще одно усилие, если вы хотите стать республиканцами», который вошел в состав романа «Философия в будуаре» (1795).

С. 52. *В. В. тоже засел за Дебагория-Мокриевича.* — Розанов называл опубликованные в эмиграции (в Париже: 1894—1898 и Штутгарте: 1903) «Воспоминания публициста и революционера-народника Владимира Павловича Дебагория-Мокриевича (1848—1926) «удивительными» и в статье «О “переживаниях” и “переживших”» (Русское слово. 1906. 7 января. № 6) высказывался за их издание в России. «Воспоминания» вышли в Петербурге в конце 1906 г.

С. 53. *Д. С.* — Мережковский.

Философов. — Еще до личной встречи в Петербурге Дмитрий Владимирович Философов (1872—1940), публицист, критик, руководитель литературных отделов в журналах «Мир искусства» (1899—1904), «Новый путь» и «Вопросы жизни», близкий друг супругов Мережковских, оказывал Ремизову разностороннюю поддержку, приобщая начинающего писателя к столичному литературному миру. В 1904 г. Ремизов переслал Философову — официальному редактору «Нового пути», первую часть романа «Пруд» и получил ответ, свидетельствовавший о неподдельном интересе к этому произведению (См.: Ремизов А. М. Собр. соч. Т. 1. Пруд. М., 2000. С. 530).

...как Мережковские открывают Америки. — В конце 1905 г. происходила стремительная радикализация общественно-политических настроений

Мережковских, о чем, в частности, свидетельствует написанное Д. С. Мережковским в это время «Воззвание к церкви»: «Мы взываем к Истинной, Святой, Соборной, Апостольской Церкви, да возвысит она свой голос в голосе своих верховных святителей, пастырей, учителей и всех христиан православных, да произнесет безболезненно перед лицом всей России свой суд над самодержавием как над врагом Церкви и народа. Да благословит всех русских людей на великий и святой подвиг освобождения, на мученическое пролитие не чужой, а своей крови за великое дело свободы народной» (Взыскующие града. Хроника частной жизни русских религиозных философов в письмах и дневниках / Сост., подгот. текста, вступ. статья и коммент. В. И. Кейдана. М., 1997. С. 702).

С. 53. *Кеннан-Ренан, что такое нравственность?* — Контаминация «рифмующихся» фамилий двух запрещенных цензурой авторов: американского этнографа Джорджа Кеннана (1845—1924) — автора книги «Сибирь и ссылка» (первое издание на русском языке — Париж, 1890) и французского философа Эрнеста Ренана — автора знаменитой «Жизни Иисуса», до 1906 г. выходившей на русском языке исключительно за границей. Вопрос о нравственности, возможно, имеет отношение к работе П. Л. Лаврова «Социальная революция и задачи нравственности» (Женева, 1884), также запрещенной царской цензурой.

Приехал из Вологды А. Маделунг... — С датчанином Аггеем (Оге, Ааге) Андреевичем Маделунгом (1872–1949, в начале 1900-х скупщиком и экспортером масла, а позже писателем, Ремизов подружился во время своей ссылки в Вологде. См.: Письма А. М. Ремизова и В. Я. Брюсова к О. Маделунгу / Сост., подгот. текста, предисл. и коммент. П. Альберга Енсена и П. У. Мёллера. Copenhagen, 1976.

Не дождался один Каляев! — Член боевой организации эсеров Иван Платонович Каляев (1877—1905) за совершение террористического акта 4 февраля 1905 г. — убийство великого князя Сергея Александровича — был казнен в Шлиссельбургской крепости. Для Ремизова имя Каляева связано с годами, проведенными в ссылке, с первыми публикациями в газете «Северный край» (Ярославль), где Каляев служил корректором. Подробнее см.: Иверень. С. 199—200.

Читаю записки Л. А. Волькенштейн. — Речь идет о книге «13 лет в Шлиссельбургской крепости. Записки Людмилы Александровны Волкенштейн. С примеч. В. Л. Бурцева. Maldon, Essex: "Свободное слово". A. Tcherkoff, 1900». Член «Народной воли» Людмила Александровна Волькенштейн (другое написание фамилии — Волкенштейн; 1857—1906), по «Процессу 14-ти» (1884) была приговорена к смертной казни, замененной пятнадцатью годами каторги. До 1896 г. отбывала заключение в Шлиссельбурге.

Щедрин (арест. 81 г.) вообразил, что половина головы у него пропала. — Революционер-народник Николай Павлович Щедрин (1858—1919) в 1881 г. был приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой, которую отбывал на реке Каре. Затем переведен в Петропавловскую крепость, а 1884-м заключен в Шлиссельбургскую крепость, где год спустя заболел. С 1896-го находился в Казанской психиатрической больнице. (См.: Попов М. Р. Н. П. Щедрин // Былое. 1906. № 12). Подробности о психическом заболевании Щедрина Ремизов почерпнул из книги Л. А. Волькенштейн.

С. 54. *В. В. Розанов «Легенду о Великом Инквизиторе»...* — Имеется в виду третье издание книги «Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. Опыт критического комментария» (1906).

Что самое дорогое в Вас... — В альбоме «Розанов» письмо № 4. Авт. коммент.: «Послать не удалось. С посылкой вышло несуразное: посылка состояла и из книг и из духов».

С. 55. *Затевается журнал «Факелы». Соединение декадентов с «Знанием». Это все Г. И. Чулков мудрует.* — В начале 1906 г. была объявлена подписка на «двухнедельный литературный, художественный и общественный журнал» «Факелы», идеологической программой которого должна была стать поддержка социалистического движения в разрушении старого экономического порядка и осуществлении более свободного и справедливого общественного устроения, а также «проповедь индивидуального освобождения». Среди участников проекта назывались фамилии Л. Андреева, К. Бальмонта, В. Брюсова, И. Бунина, Б. Зайцева, Вяч. Иванова, В. Мейерхольда, А. Серафимовича, Г. Чулкова, К. Сюннерберга, П. Щеголева и др. (Корректуру анонса с правкой К. А. Сюннерберга см.: ИРЛИ. Ф. 474. № 606.) Замысел не был осуществлен: в 1906—1908 гг. под редакцией Чулкова вышло три книги одноименного альманаха, идеологической платформой которого стал «мистический анархизм».

«Факелы» соединяются и с Мейерхольдом. Стало быть, и журнал и театр «Факелы». — Мейерхольд вел переговоры с идеологами альманаха «Факелы» о том, чтобы вместе с Вяч. Ивановым возглавить театральный отдел в журнале «Факелы», а также театр «Факелы». Отголоски широкого обсуждения этой идеи проникли и на страницы печати: «В театральных кругах говорят о театре “Факелы”. Это как бы петербургская “Студия”, так неудачно кончившаяся в Москве. Во главе “Факелов” г. Мейерхольд. Но осуществление проекта отложено до будущего года» (Д ы м о в О. Петербургские театры. Письмо первое // Золотое руно. 1906. № 2. С. 107). Хотя Мейерхольд и приехал в столицу 28 октября 1905 г., этот замысел также не был реализован.

Ходил к Парамонову наниматься. ~ Завтра с письмом Д. В. Философова в «Государственный Контроль». — Речь идет о неудачных попытках Ремизова трудоустроиться. В первом случае — получить работу у крупного промышленника, мецената и издателя Николая Елпифидоровича Парамонова (1876—1952). Ср. с более подробным описанием этого эпизода: «А. В. Тыркова — к Парамонову, на Сенную. Парамонов вроде здешнего фарфорщика Попова, а прием в конторе с семи утра; собирался меня куда-то в Персию послать, я обрадовался и заговорил о персидских газелях и сказках, но ничего не вышло» (Встречи. С. 47). В другом — поступить на государственную службу, обеспечивающую наблюдение за приходом, расходом и хранением капиталов правительственных учреждений, предложение которой было сделано Ремизову Философовым 5 ноября 1905 г.: «Теперь уже несколько дней у меня есть возможность определить Алексея Михайловича в Контроль. Служба безобидная и чистая, занятий — часа четыре-пять в день, занятий не трудных и для Алексея Мих<айловича> привычных. Во всяком случае верный кусок хлеба, и хорошее положение среди служащих» (РНБ. Ф. 634. № 226. Л. 5 об.—6).

С. 55. *Вчера собрание «Факелов». Меня приняли.* — В первой книге нового альманаха (1906) был опубликован рассказ Ремизова «Серебряные ложки» (1903), а в третьей — его пьеса «Бесовское действо».

С. 56. *Собрание «Золотого Руна»: С. А. Соколов-Кречетов («Гриф»), Тароватый («Искусство»)...* — Идея создания журнала под названием «Золотое руно», внешне и содержательно отвечавшего эстетической программе символистов, оформилась в октябре 1905 г. Журнал начал издаваться в январе 1906-го при финансовой поддержке мецената Николая Павловича Рябушинского (1876—1951). В состав редакции вошли Сергей Алексеевич Соколов (псевд. Сергей Кречетов; 1878—1936), поэт, владелец издательства «Гриф», издатель одноименных альманахов, и Николай Яковлевич Тароватый (?—1906), художник, редактор-издатель московского журнала «Искусство». В письмах С. Соколова, занявшего должность заведующего литературным отделом «Золотого руна», обсуждались публикации Ремизова в журнале (РНБ. Ф. 634. № 203). Подробнее о журнале см.: Лавров А. В. «Золотое руно» // Русская литература и журналистика начала XX века. 1905—1917. М., 1984. С. 137—173.

Вымазал я нос табаком Вяч. Иванову. — Характерный пример игрового поведения Ремизова, которое многие расценивали как «безобразия», или как «юродство». Ср. с оценкой И. А. Ильина: «Ему <Ремизову> нужно было провозгласить свое *право на художественное юродство*; и вместо того, чтобы сделать это в порядке серьезной статьи или храбро приступить к осуществлению своего юродствующего акта, он выбрал форму все преувеличивающей шутки, *по-юродски* провозглашая свое право на юродство. Впрочем, он, по-видимому, сам испытывал свой бунт не только как *переход к новым образам,* но и как *прорыв в безобразие*» (Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. М., 1996. Т. 6. Кн. 1. С. 300). В данном случае в описание эпизода включена аллюзия к эротической теме через метафору нос (аналог фаллоса), привычную для фольклорных интерпретаций материально-телесного низа и верха, а также скрытое упоминание собственной эротической сказки «Что есть табак» (1908), ставшей популярной в литературно-художественном мире.

...перевернул с помощью именинницы качалку с Н. А. Бердяевым. — Этот же эпизод описан Андреем Белым, который впервые увидел Ремизова в гостях у Розановых: «...он сидел, такой маленький, всей головою огромной уйдя себе пóд спину; дико очками блистал; и огромнейшим лбом в поперечных морщинах подпрыгивал из-под взъерошенных, вставших волос; <...> вдруг, подскочивши к качалке, в которой массивный Бердяев сидел, он стремительно, дьявольски-цапким движением перепрокинул качалку; все, ахнув, вскочили; Бердяев, накрытый качалкой, предстал нам в ужаснейшем виде: там, где сапоги, — голова; там же, где голова, — лакированных два сапога; все на выручку бросились; только не Розанов, сделавший ижицу, невозмутимо поплескивал с кем-то» (Андрей Белый. Начало века. М., 1990. С. 479—480).

С. 56. *Много бывало гостей ~ Коноплянцев ~ Б. А. Зак и с ним Д. А. Лутохин, Егоров из «Нового Времени»...* — Александр Михайлович Коноплянцев (1875—?), педагог и публицист, автор биографии К. Н. Леонтьева; ученик Розанова в Елецкой гимназии. Борис Аркадьевич Зак — молодой музыкант, приходивший к Розановым в 1900-е гг. играть на рояле. Долмат Александрович Лутохин (1885—1942), экономист, журналист, издатель, стал посещать дом Розанова зимой 1903/04

года, будучи студентом Технологического института; см. его мемуары о философе: Лутохин Д. А. Воспоминания о Розанове // Pro et contra. С. 193—199. Ефим Александрович Егоров (1861—1935), секретарь Религиозно-философских собраний и журнала «Новый путь», позже заведовал иностранным отделом в газете «Новое время».

...подымались самые непоказанные разговоры. — О тайных (эротических) разговорах в этом кругу свидетельствуют позднейшие воспоминания С. И. Дымшиц-Толстой — супруги А. Н. Толстого: «В этот период нашей петербургской жизни мы стали посещать ряд писательских домов <...> К Ремизовым А. Н. проявлял интерес наблюдателя, идти к ним называлось “идти к насекомым”. Действительно, и сам хозяин — маленький, бороденка клинышком, косенькие, вороватые взгляды из-под очков, дребезжащий смех, слюнявая улыбочка, — и его любимый гость — реакционный “философ” и публицист В. В. Розанов — подергивающиеся плечи, нервное потирание рук, назойливые разговоры на сексуальные темы, — все это в самом деле оставляло такое впечатление, точно мы вдруг оказались среди насекомых, а не в человеческой среде. Завернувшись в клетчатый плед, придумывая неожиданные словесные каламбуры, Ремизов любил рассказы из Четьи-Минеи, пересыпая их порнографическими отступлениями. В местах наиболее рискованных он просил дам удалиться в соседнюю комнату» (Воспоминания об А. Н. Толстом. М., 1973. С. 79).

Ждем. Серафиму Павловну и Алексея Михайловича без слонов, без зверей... — В альбоме «Розанов» письмо № 15; дата на тексте копии: «2 XII 1908»; дата в авторском коммент.: «3 XII 1908»; на листе оригинала рукой Ремизова: «1908». Авт. коммент.: «Приглашение на именины Варвары Дмитриевны. <...> На именинах В. Д. был выработан целый ритуал: “сыт, пьян и нос в табаке”. Под конец надо было, чтобы что-нибудь произошло чудное. Я действовал с одобрения именинницы. Мудровал над Н. А. Бердяевым. “Без вина” попало в этом смысле. <...> На именинах надо было соблюдать приличие “достодолжное”. Конечно, первый же нарушал сам В. В. И обыкновенно, на именинах, когда полагалось, чтобы все честь-честью по-православному, подымались разговоры непоказанные. Бывали Мережковские, Бердяевы, Тернавцевы, Коноплянцев и еще какие-то личности и батюшки, да еще Егоров из Нов<ого> Вр<емени>».

С. 57. *«Слоны» — это «обладающие сверх божеской меры».* — Характерный для эротических фольклорных интерпретаций эвфемизм («хобот») призван спроецировать тему крупного по всем параметрам существа (слона) на образ мужчины, наделенного природой исключительными физическими достоинствами. Хобот в таком переосмыслении аналогичен носу — традиционному фаллическому символу, размеры которого принято напрямую увязывать с мужским половым органом.

...пришел, пришел издалека / скиталец из Женевы... — неточная цитата из стихотворения Андрея Белого «Опять он здесь, в рядах борцов...» (Факелы. Кн. 1. СПб., 1906. С. 33).

Должно быть, это про А. Г. Барладеана!.. — Подразумевается Алексей Георгиевич Бардладеан, революционер, в 1900—1910-х гг. женевский эмигрант; в 1922 г. член-соревнователь берлинского Дома Искусств.

С. 57. *Приходил Е. Г. Лундберг: ходит он, как птица ~ спасали его от верной гибели.* — Литературный критик, прозаик, мемуарист Евгений Германович Лундберг (1883—1965) свою юность провел в скитаниях, общаясь с революционерами и сектантами, неоднократно попадал в тюрьму; в 1904 г., по собственному признанию, «нищенствовал в Петербурге», в 1905 г. сблизился с «Христианским братством борьбы» В. П. Свенцицкого, В. Ф. Эрна и др., программу которого распространял на юге России, участвовал в аграрных волнениях на Черниговщине, в октябре того же года был вместе с Л. Шестовым в Киеве во время еврейского погрома. Описал свои путешествия в книгах «Мои скитанья» (Киев, 1909) и «Записки писателя» (Берлин, 1922).

С. 58. *...а С. П. — узоры для вышивания бисером.* — Подарок связан с коллекцией вышивок бисером, которая досталась С. П. Ремизовой-Довгелло по наследству (См.: Резникова. С. 23). Об интересе жены писателя к такому роду рукоделия говорят различные упоминания в письмах корреспондентов Ремизова (см., напр.: Письма Пришвина. С. 188); ср. также с письмом С. А. Соколова к Ремизову от 13 февраля 1906 г.: «Мы слышали, что у Вас есть несколько интересных старинных вышивок. А “Руно” как раз подбирает в этом направлении материал для одного из №» (РНБ. Ф. 634. № 203. Л. 3).

На бланке для поступления в кадетскую партию... — В альбоме «Розанов» действительно сохранилась печатная анкета партии кадетов, на верхнем поле которой Розанов оставил свою записку, воспроизведенную в тексте книги после астерисков.

Дорогому Алексею Михайловичу и Серафиме Павловне Ремизовой с просьбой подумать. ~ См. на обороте. Подпишитесь и пошлите прилагаемое: 1 к. марка. — В альбоме «Розанов» письмо № 5; датировано «27 IV 1906». Авт. коммент.: «День открытия Государственной Думы. Приложен флажок бело-сине-красный, посередке изображение Таврического дворца: “Государственная дума”. На белом поле: слова — “добро пожаловать”; а справа “27-го апреля 1906 г.”». Описываемый «флажок» в альбоме сохранен. Помета «см. на обороте», действительно, завершает короткую записку; следующие же слова «Подпишитесь и пошлите прилагаемое: 1 к. марка» являются «эпиграфом» письма, написанного на обороте анкеты. Авт. коммент.: «В. В. Розанов решил нас привлечь в члены, сам, насколько знаю, вовсе не состоя в партии». См. также коммент. к С. 70.

С. 59. *Обезьянья Палата возникала в 1908 году...* — В конце 1940-х гг., комментируя обстоятельства возникновения Палаты, в нескольких случаях Ремизов начинает отсчет истории игры с 1907 г. В альбоме «Карты Сведенборга», созданном в конце 1940 — начале 1950-х, имеется рисунок с надписью: «Обезьянья Великая и Вольная Палата открыта в 1907 г. в Москве» (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 1. № 54. Л. 12). В известном смысле все авторские свидетельства являются результатом автомифологии писателя, оформившейся несколькими десятками лет позднее, чем реально возник феномен Обезвелволпала.

И я играл с своей маленькой племянницей Ляляшкой (Елена Сергеевна Ремизова). — Дочь старшего брата Ремизова (1902—1976); в конце 1910-х работала в театральных студиях, ее обезьяний знак пропал в гражданскую

войну (сообщено А. Е. Парнисом). В Обезьяньей Палате Ляляшка имела звание «Первая кавалерша ордена Обезвелволпала».

С. 59. *После постановки «Иуды» знаками были награждены Ф. Ф. Коммиссаржевский, Зонов и Сахновский.* — Постановка «Трагедии о Иуде принце Искариотском» состоялась 9 февраля 1916 г. в Москве под названием, измененным по цензурным соображениям — «Проклятый принц». Федор Федорович Коммиссаржевский (1882—1954), режиссер, педагог, теоретик театра; брат В. Ф. Коммиссаржевской. Василий Григорьевич Сахновский (1886—1945), режиссер, театровед, педагог; «первый кавалер Ордена, награжден за лицедейство в "Трагедии о Иуде принце Искариотском", где изображен обезьяний царь Асыка».

...главным советчиком был обезьяний «кодификатор», проф. уголовного права М. М. Исаев и археолог И. А. Рязановский — князья обезьяньи. — Михаил Михайлович Исаев (ок. 1870 — после 1948), юрист, приват-доцент Санкт-Петербургского университета. О Иване Александровиче Рязановском см. коммент. на С. 516 наст. изд. В Обезьяньей палате он был наделен множеством различных прозвищ и титулов: «Иоанн Рязановский — мощи обезьяньи, старец электрический из Костромских дебрей, знаменитый дебренский блудоборец Комаровский: тележиный и золотоношенский. Археолог и забеглый князь обезьяний (Ремизов А. Россия в письменах. Т. 1/Предисл. О. Раевской-Хьюз. New York, 1982. С. 161).

С. 60. *Гершензон старейший, Шестов ~ и Иванов-Разумник, Лундберг и Балтрушайтис...* — Имеется в виду особый статус («старейший кавалер»), введенный в игровой табель о рангах Обезвелволпала в начале 1920-х гг. Этим званием удостаивались люди, с которыми Ремизова связывали давние дружеские отношения: М. О. Гершензон был награжден «обезьяньим знаком первой степени с лапами и хвостом»; у Л. Шестова было множество званий — «кавалер обезьяньего знака первой степени с сахарной головой»; «старейший кавалер и винодар» и др.; Иванов-Разумник, помимо звания «старейшего кавалера», был назначен «обезьяньим старостой»; Е. Г. Лундберг выделялся званием «старейший кавалер обезьяньего знака, странник Евгений Злодиевский от Варяг»; поэт, один из организаторов издательства «Скорпион», знакомый с Ремизовым с 1902 г., Юргис Казимирович Балтрушайтис (1873—1944) имел статус кавалера «обезьяньего знака первой степени с обезьяньим глазом».

«обезвелволпал есть общество тайное!» — Первый пункт «Конституции» Обезвелволпала, в котором содержится намек и на эротическую тему. Подробнее см.: Обатнина Е. «Эротический символизм» Алексея Ремизова // НЛО. 2000. № 43. С. 199—234.

...вроде как митрофорные попы? — Архиереи или архимандриты, в полное облачение которых входил специальный головной убор — митра.

фаллофор — участник дионисийских мистерий, главным атрибутом которого являлся кожаный фаллос гиперболических размеров. Розанов получил звание «великого фаллофора Обезвелволпала» за свои увлечения древним культом, а также за многочисленные труды по философии пола. В первой публикации «Розановых писем» (Окно. 1923. № 2) это слово скрывалось за сокращением: «ф.......».

С. 60. *В конце лета 15 года как-то встретились мы в «Лукоморье».* — Петроградское издательство, в котором в конце июля 1915 г. вышел второй короб «Опавших листьев» Розанова. Ср. с его записью, относящейся к этому времени: «Приехал в Петроград ругать “Лукоморье” за долгий выпуск книги...» (Розанов В. В. Мимолетное. М., 1994. С. 266). В 1916 г. «Лукоморье» выпустило в свет книгу Ремизова «Укрепа. Слово о русской земле, о земле тайной, о тайностях земных и судьбе».

Я рассказал ему о семи князьях обезьяньих ~ и о гимне обезьяньем... — Речь идет о шестом и четвертом пунктах «конституции» Обезьяньей Палаты: «Семь князей. Семь старейших кавалеров-вельмож, ключарь, музыкант, канцелярист и сонм кавалеров и из них служки и обезьяньи полпреды»; и «Гимн обезьяний: я тебя не объел, / ты меня не объешь, / я тебя не объем, / ты меня не объел!» (Взвихренная Русь. С. 272—273).

Руманов ~ нельзя ли ему хоть медаль какую? — В Обезвелволпале журналист, заведующий петербургским отделением газеты «Русское слово», Аркадий Вениаминович Руманов (1878—1960) получил статус кавалера обезьяньего знака в начале 1920-х гг., а в конце 1940-х был возведен в «маршалы».

С. 61. *хабар* — слово тюркскоязычного происхождения, которое в разных диалектах имеет различные значения: нажива, взятка, но в то же время — известие, весть. В обиходе Обезвелволпала использовался весь семантический диапазон этого слова, о чем свидетельствует запись в дневнике М. Пришвина от 30 декабря 1917 г. См.: Пришвин М. М. Дневники. 1914—1917. М., 1991. С. 396—397.

Я был выслан в Пензу... — Знакомство Ремизова с режиссером и актером Всеволодом Эмильевичем Мейерхольдом (1874—1940) состоялось весной 1897 г. в Пензе; в 1903—1904 Ремизов работал заведующим литературной частью в его «Товариществе новой драмы». О молодом Ремизове Мейерхольд писал в 1896 г.: «Его энергия, его идеи одухотворяют меня <...> Какой запас знаний дал он нам. Целую зиму мы провели в интересных чтениях, давших нам столько хороших минут. А взгляды на общество, а смысл жизни, существования, а любовь к тем, которые так искусно выведены дорогим моему сердцу Гауптманом в его гениальном произведении “Ткачи”. Да, он переродил меня» (Волков Н. Мейерхольд. М.; Л., 1929. Т. 1. С. 109—110). Подробнее о высылке Ремизова под негласный надзор полиции в Пензу, его знакомстве и сотрудничестве с Вс. Мейерхольдом и А. П. Зоновым см. «Иверень» (главы «Ход в окошко» и «В лакейской»).

...Мейерхольд затеял «Студию» в Москве. — Проект создания филиала Московского Художественного театра — Театра-студии, под руководством Мейерхольда и при поддержке К. С. Станиславского не был осуществлен. См. также статью Ремизова «Театр-студия», написанную в преддверии открытия в Москве нового театра (Наша жизнь. 1905. 22 сентября).

Готовилась к постановке «Смерть Тентажиля» в моем переводе... — Неопубликованный перевод Ремизова драмы Метерлинка («La Mort de Tintagiles», 1884) сохранился в рукописи А. П. Зонова (РГАЛИ. Ф. 998. Оп. 1. № 24). Вс. Мейерхольд после двух безуспешных попыток в 1903 и 1905 гг. силами труппы «Товарищество новой драмы» поставил пьесу «Смерть Тентажиля» на сцене тифлисского театра в марте 1906 г. В задуманной Мейерхольдом Театре-студии предполагался повтор спектаклей, апробированных в про-

винции. См.: А. М. Ремизов и «Товарищсство новой драмы» / Сост. и коммент. Н. Панфиловой и О. Фельдман // Театр. 1994. № 2. С. 114—115; Переписка В. Я. Брюсова с А. М. Ремизовым. (1902—1912) / Вступ. статья и коммент. А. В. Лаврова; Публ. С. С. Гречишкина, А. В. Лаврова и И. П. Якир // Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. Кн. 2. М., 1994. С. 137—167.

С. 61. *Хочется мне все-таки взглянуть на 7-вершкового.* — В альбоме «Розанов» письмо № 9. Авт. коммент.: «"Владеющий и достигший отпущенного человеку" — Аркадий Павлович Зонов. Свидание состоялось, был виновник полунощного свидания. Мы остались втроем: я, В. В. Розанов и А. П. Зонов. В. В. раскладывал всякие меры по столу и т. д. А жили мы на 5 Рождественской, 38, кв. 2. В крохотной столовой все это происходило в I этаже — во двор». *Вершок* = 4,45 см.

С. 63. *Дорогая Серафима Павловна! Пожалуйста приходите...* — В альбоме «Розанов» письмо № 11. Авт. коммент.: «На визитной карточке: Basile Rosanoff / Collaborateur au journal Novoié Wrémia. / St. Petersburg 33, rue Spalernaia. / У Розановых была какая-то дешевая портниха и вот затеяли шить теплую коф<т>у: у С. П. теплого ничего не было».

Дорогая Серафима Павловна! Анна Павловна Философова переслала нам письмо... — В альбоме «Розанов» письмо № 10. Авт. коммент.: «Письмо к С. П. Ремизовой. В житейских делах наших В. В. Розанов принимал самое горячее участие. Конечно, странно указание: просить место курсовой надзирательницы, но В. В. хотел этим подчеркнуть, что С. П. может взять любое и самое ответственное место. А. П. Философова одна из главных на Бестужевских курсах, "основа и основательница курсов", Вставницкая — комитетская дама. Аркадий Павлович — Зонов, "анекдоты", см. письмо предыдущее».

С. 64. *...переехали на Кавалергардскую в достраивающийся дом Пундика «просушивать стены».* — На новую квартиру в дом Н. А. Пундика (Кавалергардская, д. 8, кв. 28) Ремизовы переехали в августе 1906 г. и прожили там до июля 1907 г. Подразумевается одна из особенностей найма квартиры в Петербурге, известная с XIX в. Только что выстроенные каменные дома перед тем, как штукатурить и красить, оставляли на просушку, которая длилась иногда больше года, а то и двух, в зависимости от погоды. В таких случаях квартиры сдавались желающим по более дешевой цене.

«Вопросы Жизни» кончились — кончилось печатание моего «Пруда»... — Последний номер журнала (№ 12) вышел в марте 1906 г. (ср. с записью Е. П. Иванова от 21 марта 1906 г.: «Пошел в Вопросы жизни и принес 12 №. Хорошая кончина журнала» (Блоковский сборник. Тарту, 1964. С. 402); публикация первого романа Ремизова была завершена в № 11.

...там про хоботы больше! — В ряде эпизодов романа «Пруд» герои проявляют повышенный интерес к фаллическому «совершенству», а один из персонажей — канонарх Яшка, прозванный «Слоном» — примечателен тем, что ему было «отпущено Богом сверх всякой меры».

С. 65. *...С. П. в гимназии достала уроки — «в образцовой»!* — Речь идет о частной гимназии Марии Алексеевны Минцловой.

С. 65. *Раз встречаю на Николаевском вокзале Леонида Семенова, он в то время из эсеров толстовцем сделался.* — В конце 1906 г. в мировоззрении Л. Семенова произошли серьезные изменения: оставив «культурное общество», он уехал в Рязанскую губернию и почти полностью прекратил литературное творчество. В это же время он обратился к философии Льва Толстого, избрав писателя своим духовным учителем. Ср. с аналогичным упоминанием о встрече с Семеновым в монтажном воспроизведении собственных писем к жене, дополненных ретроспективными комментариями, с той лишь разницей, что время действия ошибочно отнесено здесь Ремизовым не к 1906 г., как в «Кукхе», а к 1910 г. (На вечерней заре 3. С. 459). Этот же эпизод описан, очевидно, со слов Ремизова в автобиографическом очерке М. Пришвина (Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. М., 1983. Т. 3. С. 9) и в воспоминаниях В. Смиренского со ссылкой на Пришвина (Смиренский. С. 170—171), но в последнем случае имя Л. Семенова заменено на имя И. Каляева. Подробнее об аберрациях в описаниях этого эпизода см.: Доценко С. Н. Встреча на вокзале. (Из комментариев к «Кукхе» А. Ремизова) // Литературный процесс и развитие мировой культуры. Таллинн, 1994. С. 82—85.

С. 66. *Достоуважаемые Зверюшки!* — В альбоме «Розанов» письмо № 6. Авт. коммент.: «Приглашение нас в гости на дачу в Гатчину. Были мы раза два, кажется. В письме характерно выскочило: "можете ночевать вдвоем". Да и самое обращение "зверюшки" с этим связано. Розанов был, как видно, в самом благословляющем мир духе».

Дорогой Алексей Михайлович! Что Вы мне пишете как Архиерею... — В альбоме «Розанов» письмо № 7. Авт. коммент.: «Опять в Гатчине. "Ночевать — сколько угодно". В 1905 г. в "Вопросах Жизни" печатался мой роман "Пруд". Встречен был не безразлично: очень ругали. Ни печататься — нового не принимают, ни издавать — все отказывают. Защитником моим была Варвара Димитриевна Розанова: пять раз прочитала она "Пруд" — и "ничего не поняла". Так она с горечью призналась нам. А В. В. набросился на Пирожкова. Ругался. Но и это не проняло».

Я Пирожкову недавно говорю... — В разговоре с владельцем книжного издательства Михаилом Васильевичем Пирожковым (1867—1926/1927?), в котором в 1906 г. вышло третье издание «Легенды о Великом инквизиторе», Розанов активно предлагал к публикации роман «Пруд».

С. 67. *...перебрались мы в комнату на Загородный, а потом в М. Казачий переулок.* — Ремизовы жили в Загородном пр. (д. 21, кв. 19) с июля по сентябрь 1907 г., а затем переехали в Малый Казачий пер. (д. 9, кв. 34).

А Розановы переехали со Шпалерной в Б. Казачий... — Семья Розановых переехала с квартиры на Шпалерной ул. (д. 39, кв. 4), в которой они жили с 1899 г., в дом в Б. Казачий пер. (д. 4, кв. 12) в 1905 г.

Р. В. Иванов-Разумник, с которым познакомились о ту пору, достал нам работу: сверять Белинского. — Ремизов соединяет письма Розанова 1906 г. с событиями, происшедшими позднее. Знакомство Ремизова с Ивановым-Разумником состоялось в конце апреля — начале мая 1908 г., о чем Иванов-Разумник написал А. Н. Римскому-Корсакову 4 мая: «Приезжайте — расскажу Вам, как на днях был в СПб Лев Шестов, как я познакомился с Ремизовым —

и еще кучу интересных вещей» (Иванов-Разумник. С. 37—38). Еще позднее, в письме от 17 октября 1909 г., Иванов-Разумник, стараясь помочь писателю, оказавшемуся в затруднительном финансовом положении, предложил быстрый заработок: «Вы получите от Лемке еще работу: составление именного указателя ко всем 3 томам Белинского. Эта работа очень легкая — Вам только надо будет за эти полгода прочесть все статьи Бел<инского> нашего издания, отмечая главнейшие имена. Вы будете получать чистые листы из типографии по мере их выхода. За эту работу Л<емке> предлагает 25 р<ублей>» (Иванов-Разумник. С. 37—38). Хотя составитель именного алфавитного указателя к трехтомному собранию сочинений В. Г. Белинского, которое вышло под редакцией Иванова-Разумника в 1911 г., и не был назван, но, судя по всему, Ремизов успешно выполнил эту работу.

С. 67. *Дорогой Алексей Михайлович! Я думал, что Вы виделись с Гриневич...* — В альбоме «Розанов» письмо № 8. Авт. коммент.: «Розановы принимали большое участие в "бездольи" моем. Когда я служил в В<опросах> Ж<изни> (40 руб. в месяц), еще можно было существовать, да и "Пруд" печатался. Журнал кончился. Никуда! Философов дал письмо в "Гос<ударственный> Контроль". Не приняли за "папиросу". Стали по объявлению ходить. А случилась в Петербурге перепись собак. Вера Степановна Гриневич очень хорошая женщина. Делал я детский каталог. Но какой результат, не знаю. Кажется, что-то ничего не вышло. И уж скажу по правде, не интересно». История с упомянутой злополучной «папиросой», закуренной во время разговора с начальником канцелярии, рассказана Ремизовым в книге «Встречи» (С. 47). Ср. также с запиской Ремизова к жене от 19 декабря 1906 г., к строкам которой приписан позднейший комментарий в квадратных скобках: «Сейчас 5, скоро идти к "Барыне" [чье это прозвище, не могу вспомнить. Думаю, что это В<ера> С<тепановна> Гриневич, для которой я буду составлять каталог детских книг]». Вера Степановна Гриневич входила в дружеский круг видных философов и литераторов начала XX в.

С. 69. *Я сделал обезьянью монету — львовую...* — Символика монеты соотносится с фамильным гербом С. П. Ремизовой-Довгелло.

...упказ А. Бах-рах. — В документах Обезвелволпала, составленных в Берлине в 1922—1923 гг., критик, литературовед, журналист, переводчик Александр Васильевич Бахрах (1902—1985) значится как кавалер обезьяньего знака и «бывший упказ», то есть управляющий казной.

Такой монеты, Василий Васильевич, и в вашей чудесной коллекции не было. — Нумизматическая коллекция Розанова насчитывала 13 000 римских и 4500 греческих монет. Ср. с воспоминаниями дочери философа: «Отец был такой известный нумизмат, что в<еликий> к<нязь> Сергей Александрович приглашал его посмотреть коллекцию. Отец, осмотрев ее, сказал, обращаясь к в<еликому> к<нязю>: "Ваше высочество, моя коллекция больше и богаче" ("И интереснее по содержанию вещей", — так добавил он нам в кругу семьи)» (Воспоминания Т. В. Розановой. С. 174).

Именины ваши, между прочим, теперь не на Василия, а на Геляриуса, я же на Луку угодил... — Речь идет о несоответствии православного календаря так называемому «новому стилю». Ремизов привык отмечать свои именины 5 октября, которые по новому стилю пришлись на 18 октября, как и

именины Луки по старому стилю. Очевидно, что в данном случае имя Луки вызвало у Ремизова дополнительную, литературную, ассоциацию, которая восходит к имени героя его эротической сказки «Царь Додон».

С. 69. *И куда это вся ваша коллекция девалась...* — В своих воспоминаниях дочь Розанова писала, что в конце 1917 г., когда жизнь в Петрограде стала особенно трудной, на семейном совете было решено перебраться в Троице-Сергиев Посад. Перед отъездом Розанов передал золотые монеты из своей коллекции в Государственный банк, эвакуировавшийся в Нижний Новгород. Только «с тремя золотыми монетами отец никогда не расставался, всегда носил их в кармане брюк, все их рассматривал. Когда после революции из Троице-Сергеева Посада он приехал в Москву во время голода и заснул на вокзале, их у него украли. Он не мог никогда этого забыть и это страшно на него подействовало». Не менее трагично сложилась и судьба остальной части коллекции. Подробнее см.: Воспоминания Т. В. Розановой. С. 174—175 («О нумизматике писателя В. В. Розанова»).

С. 70. *Спасибо, добрый Алексей Михайлович...* — В альбоме «Розанов» письмо № 5. Авт. коммент.: «В письме ко мне о копировании монет, прием описательный совсем к монетам не относится, а к разговорам нашим о такой книге — "книге любви", где бы были собраны наблюдения мудрецов и опытных людей, а также наказ "в любви", о чем знали хорошо в старину у нас "мамки" и свахи. А о монетах: я предложил некоторые очень тонкие скопировать и издать альбом. Осуществить ничего не пришлось: ни книги "любви", ни альбома монет. Между прочим, как потом выяснилось, три четверти монет оказалось поддельными».

С. 71. *o, du fröhliche, / o, du selige, / gnadenbringende / Weihnachtszeit!* — рождественское песнопение: О, ты радостное / О, ты благословенное / Благодать приносящее, / Рождество! (*нем.*).

С. 72. *...сосед Лидин, берлинская трубка пыхнет в мороз...* — О встречах писателя Владимира Германовича Лидина (1894—1979) с Ремизовым в 1922 г. в Берлине см.: Лидин В. Люди и встречи. Страницы полдня. М., 1980. С. 233—236.

...ваш ученик Пришвин! — Розанов преподавал географию в гимназии города Елец с осени 1887 г. По иронии судьбы ученик этой гимназии М. Пришвин как раз в это время остался на второй год за неуспеваемость по географии; более того, именно по настоянию Розанова Пришвин был исключен из гимназии за непростительную дерзость. Подробнее см.: Фатеев В. А. В. В. Розанов. Жизнь. Творчество. Личность. Л., 1991 С. 35; Пришвина В. Путь к слову. М., 1984. С. 43, 46—47, 176—178.

...это какая-то Коляда... — В традиции южных и западных славян колядой называется самый веселый праздник года, связанный с обычаем ходить по домам с поздравлениями, с песнями (колядками), собирая шутливую подать (колядование) в течение всего периода празднования Рождества Христова (начиная со Святок до Крещения).

Weihnachtszeit — Рождество (*нем.*).

...я заметил сочлененность именную — парность имен... — Очевидно, что соответствие фамилий выстроено Ремизовым по семантическим сближениям, в основном касающимся схожих сфер деятельности, общности взглядов,

а также дружеских, ученических или семейных связей: Анаксимен и его учитель Анаксимандр — история античной философии; Ленин и Троцкий (большевики); Гоц и Зензинов (эсеры); Мартов и Дан (меньшевики) — политика, Горький и Л. Андреев (реалисты); Блок и А. Белый (символисты); семейная пара З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковский (декаденты); В. Шкловский и Р. Якобсон (формалисты) — литература; И. Пуни и К. Богуславская — семейная пара художников; Розанов и Шестов (экзистенциальная мысль); Булгаков и Бердяев (постмарксисты); Бердяев и Франк (религиозные философы) и т. д. Иронический характер списка, составленного Ремизовым, подчеркивается рифмующимися окончаниями фамилий Рафалович и Габрилович; Бардладсан и Тер-Погосьян, но более всего составлением пары из имени и фамилии одного лица: Соломон и Каплун. Имеется в виду Соломон Гитманович Каплун (Сумский; 1891—1940), журналист, до революции сотрудник газеты «Киевская мысль»; в Берлине владелец издательства «Эпоха» (1922—1925).

С. 74. *...появился Н. С. Гумилев и некоторое время «до Абиссинии»...* — Первое путешествие в Абиссинию поэта Николая Степановича Гумилева (1886—1921) состоялось в конце 1909 — начале 1910 гг.

...М. А. Кузмин с С. С. Позняковым... — В конце 1900-х гг. студент Петербургского университета Сергей Сергеевич Позняков (1889—1945) был интимным другом М. Кузмина, которому поэт покровительствовал и на литературном поприще; Познякову посвящены роман Кузмина «Нежный Иосиф» (1909). По-видимому, впервые Позняков побывал в доме Ремизовых на святках 1908 г. (25 января), так как в пятницу 24 января Кузмин сообщал писателю: «Алексей Михайлович я назвал к Вам целую кучу народа на субботу. Кроме Св<ятополка> Мирского и Покровского придут еще Ауслендер и некий студент Позняков, которого я Вам представлял как-то в театре — приятель первых 2-х. Он ничего себе, только очень много говорит» (РНБ. Ф. 634. № 133. Л. 8).

...Гр. П. Новицкий, автор «Необузданные скверны»... — Поэт Григорий Петрович Новицкий, «узко специализировавшийся на ночной публике Невского проспекта» (Аvе. Вечер северной свирели // Сатирикон. 1908. № 28. С. 6—7), был автором трех поэтических сборников. В сборнике «Необузданные скверны» (СПб., 1909) Новицкий опубликовал стихотворение «Поэт», предварявшееся посвящением «А. Н. <так!> Ремизову» (С. 110). Новицкий выступал вместе с А. Ремизовым, Ф. Сологубом, С. Городецким, А. Рославлевым и др. на вечерах «Северной свирели» (См.: Новая Русь. 1908. 13 октября. № 59; Блок А. Вечера искусств // Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 5. С. 304—308). См. о нем также: Алексей Ремизов. Исследования. С. 223.

...Вас. Вас. Каменский... — Василий Васильевич Каменский (1894–1961) в своих воспоминаниях о времени основания нового направления (1909) отмечал, что футуристов среди известных литераторов особенно интересовали творчески и личностно — Ремизов и А. Блок. См.: Каменский В. Путь энтузиаста // Каменский В. Из литературного наследия. М., 1990. С. 41. Именно Каменскому принадлежит «открытие» и признание словотворческих опытов Хлебникова (1908 г.).

...В. Хлебников, с которым слова разбирали. — О своих встречах с Хлебниковым Ремизов вспоминал в письме к В. Ф. Маркову 22 ноября 1956 г.:

«Хлебников при первом свидании мне показался прописной узорной буквой. Без голоса. Читал он невразумительно. “Планетчик”, хотел оруссить весь земной шар» (Письма А. М. Ремизова к В. Ф. Маркову / Публ. В. Ф. Маркова // Wiener Slawistischer Almanach. 1982. Bd. 10. S. 438).

С. 74. *Барышня интересовалась Розановым.* — Подразумевается Людмила Давыдовна Бурлюк (в замуж. Кузнецова; 1886—1968), художница, сестра поэта и художника В. Д. Бурлюка. Ремизовы познакомились с братом и сестрой Бурлюк в Херсоне (1903 г.). С тех пор Людмила Давыдовна стала близкой подругой С. П. Ремизовой-Довгелло (см.: На вечерней заре 3. С. 493). См. также авт. коммент. к письму на С. 75—76.

С. 75. *Я задумал тогда «Илью Пророка» — Громовника...* — Апокрифическая легенда «Гнев Илии Пророка» (1906), вошла в сборник «Лимонарь сиречь: Луг духовный» (1907) и предварялась посвящением М. А. Кузмину. Это произведение Ремизов читал на вечере у Ф. Сологуба 21 января 1907 г. (ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 6. № 81. Л. 59).

Посылаю вырезку... — В альбоме «Розанов» письмо № 12; копия рукой Ремизова датирована: «25.X.1907». Сверху помета Ремизова: «Копия письма В. В. Розанова к А. Ремизову. Оригинал остался в России; рисунок мною скопирован А. Ремизов». Авт. коммент.: «Письмо это относится к Л. Д. Б — К. Увы! я занимался в своей комнатенке, а потом должен был уйти. Когда я вернулся, В. В. сразу стал прощаться и со мной и с барышней, с которой он вдвоем просидел часа два. Барышня ожидала Серафиму Павловну. Сеансы — это ночные прихождения к нам В. В. Жили мы по соседству в Казачьем переулке. Приход В. В. “тайный” — он шел будто бы в “Новое Время”. Отсюда большие недоразумения впоследствии. Дома В. В. рассказывал, что он на меня сердится и, конечно, у нас никогда не бывает. Вар<вара> Дм<итриевна>, особенно добро относящаяся ко мне, очень огорчалась. Приходила не раз к нам: “Чтобы я не сердился на Васю”. Помогала вешать драпировки. “Золотые” карнизы прислала. В трех маленьких комнатах было 4 окна — а карнизов было 3. Мы их перевозили с собой впоследствии. И только в 1919 г. зимой пошли на плиту. Б. означает сокращение “был”. (Оригинал этого письма остался в России)». На листе альбома, к которому приклеена копия, рукой Ремизова сверху написано: «про Людм. Дав. Бурлюк-Кузнецову».

С. 76. *Точное изображение барышни...* — Письмо завершается копией с рисунка Розанова, озаглавленного «Точное изображение барышни»: примитивное изображение женщины, на котором в соответствии с анатомическим расположением половых органов поставлены два вопросительных и два восклицательных знака, а также соответствующие комментарии. Такая же копия (но без пояснений) вклеена Ремизовым в экземпляр книги «Кукха», принадлежавший С. П. Ремизовой-Довгелло (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 1. № 113).

С. 77. *...есть поцелуи, как сны свободные...* — Первая строка стихотворения К. Бальмонта «Играющей в игры любовные» (1901) из книги стихов «Будем как солнце» (1903).

С. 78. *...он <Пришвин> рассказывал, что в гимназии вас козлом называли.* — Ср.: «Этот рыжий человек с красным лицом, с гнилыми черными зубами сидит на кафедре и, ровно дрожа ногой, колышет подмостки и саму кафедру. Он явно больной видом своим, несправедливый, возбуждает в учениках младших классов отвращение...» (М. М. Пришвин о В. В. Розанове // Pro

et contra. С. 108—109). В восьмом классе Пришвин был исключен из гимназии за то, что на экзамене по географии он вслух обозвал Розанова «козлом» (Алексей Ремизов. Исследования. С. 228—229).

С. 78. *Не провокация?..* — В альбоме «Розанов» письмо № 17; датировано рукой Розанова: «24 сент<ября> 1909». Авт. коммент.: «Это относится к “сеансам”. А никаких “сеансов” и не было. “Сеансами” называл Розанов, когда он приходил к нам часов в 11 вечера, сказав дома, что он идет в редакцию “Нового времени”. А говорил он так дома, п<отому> ч<то> все скрывал от домашних».

Vale — будь здоров! прощай! (*лат.*)

С. 79. *А ведь Розанов не только философ «превыше самого Ничше!» Розанов — сотрудник «Нового Времени».* — Впервые сравнение Розанова с Ф. Ницше было высказано Мережковским в работе «Л. Толстой и Достоевский»: «...такое сопоставление многих удивит; но когда этот мыслитель при всех своих слабостях, в иных прозрениях столь же гениальный, как Ницше, и, может быть, даже более, чем Ницше, самородный в своей антихристианской сущности, будет понят, то он окажется явлением едва ли не более грозным. Требующим большего внимания со стороны церкви, чем Л. Толстой, несмотря на всю теперешнюю разницу в общественном влиянии обоих писателей (Мережковский Д. Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники. М., 1995. С. 150). Ср. также: «Антихристианство Розанова имеет много точек соприкосновения с антихристианством в учении Ницше, но в существенном они расходятся. Линии религиозно-философских узоров рисунка Ницше смелее и решительнее, они ярче, определеннее, выпуклее, но в конце концов В. В. Розанов идет дальше, его узоры сложнее, тоньше, извилистее, и там, где они видны, они особенно значительны и угрожающе страшны» (Волжский А. С. Мистический пантеизм В. В. Розанова // Pro et contra. С. 449). Сам же Розанов отказывался от этого сравнения, не находя в философии «сверхчеловека» духа кротости (Уединенное. С. 463—464). В газете «Новое время» — реакционном печатном органе с точки зрения либерально-демократической интеллигенции — Розанов публиковался с середины 1890-х гг., в 1909 г. он стал ее постоянным сотрудником, печатая здесь ежегодно около 50 статей. Впрочем, это обстоятельство не мешало Розанову с его изменчивыми религиозно-философскими умонастроениями и парадоксальным мировоззрением совершать в своих книгах неожиданные выпады против ортодоксов и даже защищать «демократов».

С. 81. *...если бы вовремя отправили Блока сюда в санаторию, ну куда-нибудь в Наухейм...* — 29 мая 1921 г. М. Горький обратился к А. В. Луначарскому с письмом, в котором просил срочно выхлопотать для Блока разрешение на выезд в Финляндию, где бы он мог устроиться «в одной из лучших санаторий» (Литературное наследство. Т. 80. В. И. Ленин и А. В. Луначарский. Переписка, доклады, документы. М., 1971. С. 292—293). 23 июля 1921 г. поэт получил разрешение на выезд от Советского правительства, однако быстрое развитие болезни расстроило эти планы. Подробнее см.: Об участии А. М. Горького в судьбе Блока в последние дни жизни поэта / Публ. А. М. Крюковой // Александр Блок. Исследования и материалы. Л., 1987. С. 274—277; а также: «Он будет писать против нас». Правда о болезни и смерти Александра Блока // Источник. 1995. № 2. С. 33—45. Упоминание Ремизовым курорта в Бад-

Наугейме (Германия), очевидно, связано с первым циклом стихов поэта «Ante Lucem», который был написан под впечатлением первой любви Блока к К. А. Садовской и встрече с ней в Бад-Наугейме летом 1897 г.; на этом курорте поэт бывал также и в 1903 г.

С. 81. *...и М. О. Гершензон где-то тут лечится!..* — М. О. Гершензон проходил курс лечения на германском курорте Баденвейлер с октября 1922-го по август 1923 г. См.: Гершензон М. О. Письма к Льву Шестову/ Публ. А. Д'Амелиа и В. Аллоя // Минувшее. Исторический альманах. 6. М., 1992. С. 269—288.

С. 84. *Дорогая и милая Серафима Павловна! Мне как-то очень грустно сделалось...* — В альбоме «Розанов» письмо № 16. Авт. коммент.: «От отчаяния С. П. решила однажды вгорячах: поедем заграницу навсегда. В. В. часто говорил: “Вот Серафима благородная, а мы с тобой не благородные”. В. В. обыкновенно обращался на “ты” в сокровенные минуты, а в рассерженные и дам называл “мальчишками” — это, д<олжно> б<ыть>, от учительства идет. А по свидетельству учеников его елецких: М. М. Пришвина, А. М. Коноплянцева звали В. В. “козлом”».

С. 85. *Опал.* — Ср. с описанием истории, рассказанной в книгах «О происхождении моей книги о табаке» (1946) и «Встречи. Петербургский буерак» (глава «Моя литературная карьера»). В альбоме «Розанов» имеется вырезка из газеты «Новое время» (1917. 22 февраля) со статьей Розанова «О Конст. Леонтьеве» и с пометой Ремизова: «Последняя статья В. В. Розанова перед революцией. 23.II.1917». Заключительные строки статьи: «Он <Леонтьев. — *Е. О.*> был какой-то “христианин” вне “христианства”. Потому что, кажется, в христианстве не подобает быть “богиням”. А Леонтьев “без этого не мог” по “своей Потемкинской натуре”*)» — обведены и сопровождены комментарием, подписанным рядом на листе: «*) восковый (розовый) слепок Потемкинской “натуры” хранился в Эрмитаже <несколько строк густо замарано. — *Е. О.*> его видел и В. В. Розанов».

А. М. Не сегодня ли... — В альбоме «Розанов» письмо № 13; датировано 1908 г. Авт. коммент.: «“Опал” — картина К. А. Сомова. В. В. очень боялся, что вдруг я что-нибудь напишу совсем не совпадающее с его домашними рассказами. Ведь мы вроде как поссорились».

Ал. Мих. Вообразите, сейчас по телефону... — В альбоме «Розанов» письмо № 14. Авт. коммент.: «Проводы Григория Спиридоновича Петрова. Вечер у Александра Николаевича Бенуа».

...проводы св. Петрова — 9 января 1907 г. Духовная консистория издала указ о запрещении Г. С. Петрову публицистической деятельности и его ссылке на послушание в Черемнецкий монастырь. Розанов, в то время поддерживавший популярного проповедника, посвятил ему несколько публикаций, в том числе и статью, описывающую отъезд Петрова 14 февраля из Петербурга в ссылку (Варварин В. Проводили // Русское слово. 1907. № 38. 17 февраля. С. 1). Можно предположить, что приведенное в книге подлинное письмо Розанова относится не к 1908 г., как это следует из датировки, а к 1907. Его оригинал из альбома Ремизова не датирован отправителем и имеет лишь помету сверху рукой получателя — «1908», которая, вероятно, была поставлена значительно позже.

С. 86. *Трубы Бельгийского завода...* — Имеется в виду завод Бельгийского общества, находившийся на углу набережной Фонтанки и засыпанного в 1967 г. Введенского канала; описание завода является значимой частью городского контекста повести «Крестовые сестры» (1910). См.: Виленчик Б. Вслед за Ремизовым // Ленинградская правда. 1990. 4 октября.

...против Егоровских бань... — Центральные Егоровские бани, находились по Малому Казачьему пер. (д. 11).

С. 87. *...Фалесова hugron...* — Имеется в виду вода, которую древнегреческий философ Фалес (ок. 625—547 до н. э.) называл первоначалом всего Сущего. Ср.: «Фалес Милетский утверждал, что начало сущих [вещей] — вода. <...> Все из воды, говорит он, и в воду все разлагается. Заключает он [об этом], во-первых, из того, что начало <...> всех животных — сперма, а она влажная; так и все [вещи], вероятно, берут [свое] начало из влаги. Во-вторых, из того, что все растения влагой питаются и [от влаги] плодоносят, а лишенные [ее] засыхают. В-третьих, из того, что и сам огонь Солнца и звезд питается водными испарениями, как и сам космос» (Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. М., 1989. С. 109).

С. 89. *Серафима Павловна всегда считалась «ученицей» Д. Д. Бурлюка.* — В альбоме Ремизова «Корова верхом на лошади. Цветник II» (1921) имеется портрет Л. Д. Бурлюк-Кузнецовой, предположительно выполненный С. П. Ремизовой-Довгелло (РНБ. Ф. 634. № 18. Л. 19—20).

...рисовать это моя страсть. — Ремизов оставил после себя огромное количество каллиграфически выполненных автографов, рисунков, коллажей и цветных композиций. О графическом искусстве писателя см.: Pyman A. Aleksej Remizov on drawings by writers, with particular peference to the interrelationship between drawings and calligraphy in his own work // Leonardo. 1980. Vol. 13; P. 234—240; Images of Aleksei Remizov: Drawings and Handwritten and Illustrated Albums from the Thomas P. Whitney Collection. Amherst, 1985; Маркадэ И. Ремизовские письмена // Aleksej Remizov. Approaches to a Protean Writer / Ed. by G. N. Slobin // UCLA Slavic Studies. 16. 1987. S. 121—134; Завалишин В. Орнаментализм в литературе и искусстве и орнаментальные мотивы в живописи и графике Алексея Ремизова // Там же. С. 135—139.

И скорее всего ученик я Кандинского, и это я понял уже тут в Берлине после лекции Ив. Пуни. — Художник и теоретик искусства Василий Васильевич Кандинский (1866—1944) был одним из основоположников абстракционизма; с 1921 г. он жил в Германии, а затем с 1933-го в Париже. Теоретические рассуждения Кандинского о синтезе искусств музыки, живописи и графики см. в его работе «О духовном в искусстве» (1910). Речь идет о докладе И. Пуни «Современная русская живопись и русская выставка в Берлине», прочитанном 3 ноября 1922 г. в берлинском Доме Искусств, который, очевидно, нашел отражение в его книге «Современная живопись»: «Искусство Кандинского есть искусство беспредметное, отказавшееся от изобразительности» (Берлин, 1923. С. 7). В дневнике 1956 г. Ремизов записал: «Иван Альбертович Пуни единственный из художников по-настоящему интересовался моими многомерными рисунками. Имя Пуни я стал знать с моим первым театром. Дед Пуни — автор балета “Конек-Горбунок”. “Конек-Гор-

бунок" первое, что я видел в театре» (Кодрянская. С. 98). Ср. с характеристикой Ремизовым собственного рисовального творчества: «Если пристально вглядываться в какой-нибудь предмет, то этот предмет или фигура начинает оживать, вот что я заметил: из него как будто что-то выползает, и весь он движется. Я рисовал этих движущихся "испредметных" — с натуры» (Подстриженными глазами. С. 56). Свою манеру рисования Ремизов также связал с идеей непосредственного отображения мысли и чувства в линиях и красках: «Я рисовал... "обезьяньи знаки": линии, как они сами из себя вылиниваются, по Кандинскому...» (Пляшущий демон. С. 57).

С. 89. *...из Киево-Печерского Патерика житие Моисея Угрина...* — Житие описывает подвижническое противостояние греху и отказ от плотских страстей. См.: Памятники литературы Древней Руси. Т. XII. М., 1980. С. 542—554. Этот текст Розанов приводит и комментирует в качестве иллюстрации феномена монашеского «самоотрицания пола» в своей книге «Люди лунного света» (Уединенное. С. 126—136).

С. 90. *Милый Алеша! Прости за «Убогаго»...* — В альбоме «Розанов» письмо № 18.

Я издаю: «Когда начальство ушло»... — «Когда начальство ушло... 1905–1906 гг.» (СПб., 1910). Ср. с рецензией Андрея Белого: «Книга Розанова — живая запись истории; это — документ; и вместе с тем это характеристика событий 1905–1906 года с исключительно редкой точки зрения. <...> В событиях недавнего прошлого Розанову открылся прежде неведомый религиозный пафос неведомой прежде религии» (Русская мысль. 1910. № 11. С. 374—376).

...твой божественный рисунок. — В конце книги имеется рисунок без подписи (Полет ведьмы в ступе и черт). Авт. коммент.: «Письмо на желтой оберточной бумаге в конце моего рисунка. Рисунок, перерисовав, отдал с копией на белой бумаге В. В. Рисунок мой, действительно, появился в книге, но узнать его трудно — "настоящий" художник поправил. У меня был дикий рисунок, часть которого образовалась от пролитых разбрызганных чернил, а тут получился вид человеческий с приличной Бабкой-Ягой, все очень хорошо, и ничего — никакого чувства. А подарил я этот рисунок В. В. с житием "Моисея Угрина", переписанного мною же из Киево-Печерского Патерика на проводах Мережковских перед их отъездом за границу в 1906 г., когда многие так уехали после революции, они вот, А. Н. Бенуа». О своем рисунке Ремизов также вспоминал в письме к Н. В. Зарецкому от 20 января 1932 г.: «...от моего рисунка осталось мало <...> у меня была ведьма — живот толпатиком, от полета она вся напряжена и нога слилась с другой, на картинке же живот круглый, как полагается и две ноги. <...> Но В. В. в этом не разбирался: исправлениое ему показалось и чище и "художественней"» (Морковин В. Приспешники царя Асыки // Československá rusistika. XIV. 1969. 4. S. 183).

Милая Серафима Павловна! «Мудрый Змий»... — В альбоме «Розанов» письмо № 19; написано на бланке редакции газеты «Новое время». Авт. коммент.: «О "откровении" и о "громком" тайны В. В. Розанов знал очень хорошо».

С. 92. *...написал повесть «Неуемный бубен», прочитал в «Аполлоне», — не приняли.* — Сохранился письменный отказ от 15 февраля 1910 г., подписан-

ный секретарем журнала «Аполлон»: «...я посылаю Вам Вашу рукопись, согласно Вашему желанию, — она понравилась, но так длинна, что до осени едва ли могла бы появиться в “Аполлоне”, — а это, кажется, Вас не устроило бы» (РНБ. Ф. 634. № 112. Л. 1). Ремизов, находясь в издательской «блокаде» после обвинения в плагиате, возлагал последние и отчаянные надежды на решение редактора журнала С. К. Маковского: «Если бы все знал Сергей Константинович, ведь, я ему обязан изданием “Пруда”, как я верил, и на этот раз он меня выручит, меня нигде не печатают, а “Аполлон” меня реабилитирует...» (Встречи. С. 33).

С. 92. *И хоть других уж навастривал (А. Н. Толстого, М. М. Пришвина)...* — В конце 1900-х гг. Ремизов действительно способствовал литературной карьере Пришвина, который позже вспоминал, что именно благодаря Ремизову его «мужицкий, земляной» рассказ «У горелого пня» (1910) был принят к печати «рафинированными словесниками Аполлона» (Письма Пришвина. С. 178). Ср. также с замечанием Иванова-Разумника о том, что в «очень милых» «Сорочьих сказках» Ал. Толстого были «отражения “Посолони” Ремизова» (Иванов-Разумник. Творчество и критика. СПб., [1911]. Т. II. С. 72).

...стараниями А. И. Котылева, действовавшего ~ и мордобоем. — Журналист и издатель Александр Иванович Котылев (1885—1917) играл в жизни Ремизова роль «чудесного помощника» из волшебной сказки. Подробно излагая историю об обвинении в плагиате в своих воспоминаниях, Ремизов описывал стиль поведения своего приятеля следующим образом: «— Мерзавцу, — возгласил Котылев <...> — в театре публично набьем морду <...> А ведь Котылев, как сказалось, убежден, что я содрал сказку и попался» (Встречи. С. 24). Эксцентричность и широта характера Котылева, а также этимология его фамилии, переосмысленная Ремизовым в духе народной мифологии (отвагу льва и хитроумие кота), позволили писателю создать нарицательный образ героя под именем Кот-и-Лев в сказке «Никола Чудотворец», в котором органично сочетались два качества его прототипа: «море ему по колено и на догадку горазд» (Ремизов А. Николины притчи. Пг., 1918. С. 79).

...А. А. Измайлов из побуждений самых высоких ~ написал про меня в вечерней Биржовке. — Подразумевается обвинение Ремизова в плагиате, которое прозвучало в «Письме в редакцию», подписанном псевдонимом Мих. Миров, со страниц газеты «Биржевые ведомости» (1909. 16 июня. № 11160. С. 5—6). Эта инвектива вызвала волну газетных публикаций, склонявших имя писателя на все лады, и привела к серьезным осложнениям в его творческой жизни. Ремизов считал ее автором литературного критика Александра Алексеевича Измайлова (1873—1921). Однако по утверждению самого Измайлова злополучную статью написал К. И. Чуковский. В письме к Ф. Сологубу от 25 марта 1910 г. он писал: «Моя личная точка зрения на все недоразумения, связанные с кричащим термином “плагиат”, не совпадает с редакционной. Для меня нет ничего отвратительнее восторженного захлебывания толпы, когда Чуковский обвинил Бальмонта за три выражения, схожие с выражениями какого-то англичанина (Бальмонта, у которого 20 книг!) или Ремизова за пользование сказкой. Я уезжал на Кашинские торжества, когда приняли обвинение Ремизова и, забрав корректуру письма,

доказывал, что не стоит его давать. Добился только того, что смягчили выражения. Моя роль в газете вообще незначительна» (Федор Сологуб и А. Н. Чеботаревская. Переписка с А. А. Измайловым / Публ. М. М. Павловой // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1995 год. СПб., 1999. С. 207—208).

С. 93. *Пришвин ~ пошел по редакциям с разъяснениями.* — После утомительных переговоров в разных редакциях Пришвину удалось опубликовать в газете «Слово» (1909. 21 июня. № 833. С. 5) свое «Письмо в редакцию» под названием «Плагиатор ли Ремизов?».

...ответили: от Мусагета (через Андрея Белого) до Сытина (через Руманова) и от Сытина до Вольфа: все отказали. — Речь идет о неудачных попытках Ремизова пристроить повесть «Неуемный бубен» в московское издательство «Мусагет», организованное в марте 1910 г., и в петербургские издательства И. Д. Сытина и М. О. Вольфа. Андрей Белый, член редакционной коллегии «Мусагета», стараясь помочь Ремизову, писал ему после провала своей инициативы: «...если бы Вы услышали от меня кое-что, Вы бы поняли, что большинство *"Мусагетцев"* в этом неповинны, что у нас весьма сложные отношения 1) к редактору 2) к некоторым членам Редакции из философов 3) к Издателю в смысле принятой, как обязательство, программы <...> мы *не могли* изменить ничего с Вашей книгой (в частности, Эллис, я, Петровский, Кожебаткин (наш секретарь) <...> с большим прискорбием пишу Вам: с прискорбием, потому что мне так хотелось бы, чтобы Ваша книга вышла у нас: а между тем, несмотря на то, что я ее все время отстаивал, большинство лиц, причастных Редакции (Метнер, Рачинский, Петровский <так!>, Шпетт и др.), указывали на то, что издание Вашей книги не входит в план издательства; и вот почему: задача издательства — 1) переводные книги по эстетике 2) теоретические книги оригинальные <...> Далее указывали на то, что *"Неуемный бубен"* уже напечатан в альманахе "Журнала для всех"...» (РНБ. Ф. 634. № 56. Л. 20—23). В то же самое время «Известия книжного магазина Вольфа» напечатали положительную статью о Ремизове В. Пяста «Стилист-рассказчик» (1910. № 3. С. 82—84).

Писали в московских газетах, не помню, не то в «Русском Листке», не то в «Раннем Утре», чтобы «вычеркнуть меня из писателей»... — Откликов на развернувшийся скандал было более чем достаточно, особенно со стороны провинциальных газет, которые, ухватившись за «горячий» материал столичной прессы, незамедлительно перепечатывали его на своих страницах. См.: Раннее утро. 1909. № 138. 18 июня. С. 3; Голос Москвы. 1909. № 137. 17 июня. С. 3; Одесский листок. 1909. 25 июня. № 144. С. 2. Подробнее об инциденте см.: Письма Пришвина. С. 159—160; 168—170; 204—209.

Редкий день не вспоминаю я милого Алексея Михайловича... — В альбоме «Розанов» письмо № 21 (в коммент. номер письма перепутан и обозначен как № 20). Авт. коммент.: «На визитной карточке: Василий Васильевич Розанов / СПб. "Новое Время" / Москва, «Русское Слово» / СПб., Звенигородская, д. 18, кв. 23. / В 1909—1910 г. я сильно был болен этой язвой самой. И терпеливо сносил боли, живя окончательно в затворе. А вылечился я дистой: питался одной овсянкой. Не забывал Розанов, Шестов, Иванов-Разумник».

С. 95. *...к Аничкову в новгородские Ждани и к Р. В. Иванову-Разумнику на необитаемый остров Вандрок...* — Летом 1910 г. Ремизов работал над повестью «Крестовые сестры», о чем сообщал И. А. Рязановскому в письме от 9 августа с Вандрока (одного из островов на юго-западе Финляндии): «И опять пишу Вам <...> в дни моих скорбей — опять я захворал вовсю. Сижу я все над “Крестовыми сестрами” — третий месяц идет. Но не от лености тяну, Вы знаете, третий раз переписываю с отделкою. <...> 10-го меня увез к себе (г. Боровичи, Новгородск<ая> г<уберния>, имение Ждань) Е. В. Аничков <...> У Аничкова сидел я по 18-и часов над повестью моей и очень изморился. <...> с 30 июля здесь на Аландских островах у Иванова Разумника» (Иванов-Разумник. С. 40).

...к осени мы переехали с Казачьего на Таврическую... — Ремизовы поменяли адрес на ул. Таврическую, 3-в (дом А. С. Хренова), кв. 23 в сентябре 1910 г.

...Лечил С. М. Поггенполь... — О докторе Сергее Михайловиче Поггенполе (?—1919) см. очерк Ремизова «Три могилы» (1919), написанный на смерть С. Поггенполя, Ф. Щелколдина и В. Розанова: «Точный и верный, знающий и любящий свое дело, железный, вот какой он был...» (Записки мечтателей. 1919. № 1. С. 72).

С. 96. *Среда-Четверг Страстной Седмицы.* — В альбоме «Розанов» письмо № 20.

На визитной карточке... — Авт. коммент.: «На визитной же карточке. На Страстной я заблаговременно послал В. В. Розанову поздравление пасхальное: Христос воскрес! — с разными, конечно, краснояичными украшениями. И поздравление мое пришло в Великую среду, вот В. В. и решил отблагодарить, с Троицей поздравить как раз в канун Пасхи». Великая среда — время строгого поста перед Светлым Христовым Воскресением, Пасхой. День Святой Троицы (Пятидесятница) празднуется в воскресенье на восьмой неделе после Пасхи.

...познакомились мы о ту пору с Бородаевскими... — Сохранились письма Валериана Валериановича Бородаевского (1874/1875?—1923) к Ремизову 1916 г. (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 3. № 34); в Обезвелволпале Бородаевский был «кавалером обезьяньего знака первой степени с обезьяньим волосом». В альбом «Розанов» вклеена вырезка из берлинской газеты «Руль» (1923. № 805) с некрологом В. Д. Евреинова, написанным на смерть В. В. Бородаевского. В этой заметке указан ошибочный год рождения поэта (1879) и упоминается место постоянного жительства поэта последние 10—15 лет его жизни — село Крестищево Тимского уезда Курской губернии.

А нам дорога была — в Париж. — Впервые Ремизовы посетили Париж весной 1911 г.; впечатления от поездки отражены в рассказе «Белое знамя» (1913).

Très Chéris Алексей / Серафима!! — В альбоме «Розанов» письмо № 22; датировано 1910 г., в коммент. датировка изменена на 1911 г. Авт. коммент.: «Когда наступило лето, нам некуда было ехать. Валериан Бородаевский (поэт) написал В. В. Розанову что он может приютить нас у себя в имении Курском в Тимском уезде, где он да Маргарита Андреевна вдвоем жили. Трогательна заботливость Вас<илия> Вас<ильевича>».

С. 98. *...фотографические снимки с рукописи Кирши Данилова — те места, которые в печатном издании точками обозначены.* — Рукописное собрание былин и песен XVIII в., известное под названием «Сборник Кирши Данилова», было подготовлено к печати П. Н. Шеффером и издано Императорской Публичной библиотекой с фототипическими снимками фрагментов рукописи (1901). Хотя издание носило научный характер, тем не менее только сто нумерованных экземпляров, не предназначенных для продажи, содержали полный текст сборника; в остальных экземплярах текст воспроизводился с купюрами (с заменой точками недопустимых по цензурным соображениям фрагментов), которые касались двух скоморошьих песен грубо-комического характера: «Сергей хорош» (С. 23) и «Стать почитать стать сказывать» (С. 183—187).

Жили мы на Песках... — Историческая часть Петербурга, названная по характеру намывных почв.

С. 99. *И стал читать, что точками-то обозначено — Сергей хорош...* — Начало скоморошьей песни из «Сборника Кирши Данилова».

...сказитель, Рябинин. — Имеется в виду один из представителей династии сказителей русских былин Рябининых — Иван Тимофеевич (1844—?), который в начале 1900-х гг. выступал в аудиториях Петербурга, Москвы, Петрозаводска, Одессы и Киева. Подробнее см.: Л я ц к и й Е. Сказитель Иван Тимофеевич Рябинин. Этнографический очерк. М., 1895.

...впоследствии я подарил ее людоедам из Новой Зеландии, представлявшим в Пассаже всякие дикие пляски. — Ср. с эпизодом из рассказа «Дикие» (1913): «И потом подарил я им крокодила-зверя, — такая большая игрушка, змея есть: если за хвост ухватить ее, так будет она из стороны в сторону поматываться, будто жалить собирается, черная, белыми кружочками, а пасть красная и зубатая, — очень страшный крокодил-зверь».

С. 100. *Давай х. (хоботы) рисовать.* — История 1908 г. о том, как Ремизов и Розанов рисовали фаллосы, впервые была описана в романе «Плачужная канава», над которой писатель работал в 1914—1918 гг. (Р е м и з о в А. Избранное. Л., 1991. С. 460—461). См. также: О б а т н и н а Е. Р. «Эротический символизм» Алексея Ремизова. С. 201—202.

...вроде как Сапунов, только лепесток могу. — Творчеству художника Николая Николаевича Сапунова (1880—1912), члена группы «Голубая роза», автора декораций к пьесе А. Блока «Балаганчик», была присуща декоративность и эмоциональная яркость красок. Изящные виньетки к текстам, выполненные Сапуновым, отличались устойчивыми цветочными и растительными мотивами. См., напр., его графические миниатюры к циклу эротических стихов Брюсова «Воскресшие тени» (Золотое руно. 1906. № 1. С. 42—46).

С. 101. *...верно, что-нибудь египетское у меня вышло — невообразимое.* — Намек на увлечение Розанова таинствами древнеегипетской эротической символики, которой философ посвятил ряд ранних статей («О древнеегипетских обелисках», «О древнеегипетской красоте»; 1899), а также одну из своих последних книг — «Из восточных мотивов» (Вып. 1—3. Пг., 1916—1917).

...Сергей Семенович Расадов — самый знаменитый и первейший актер-трагик не только в Пензе... — В зимней пензенской труппе сезона 1896/97 г.

(товарищество К. Витарского) актер занимал амплуа драматического резонера; упоминается также в автобиографических книгах «Подстриженными глазами» и «Иверень». Ср.: «С. С. Расадов, саратовский трагик, режиссер Народного Театра, актер "нутра" и озарения...» (Иверень. С. 143).

С. 101. *...пропали серебряные ложки, и я был обвинен в пропаже этих ложек...* — Реальный эпизод биографии писателя, относящийся ко времени пензенской ссылки (1896—1898), получивший отражение в рассказе «Серебряные ложки» и в автобиографической прозе (Иверень. С. 145—148).

С. 103. *...Дмитрий Иванович Языков протоиерей, ученый, благочинный и сын у него знаменитый московский доктор...* — В течение всей жизни о. Д. И. Языков служил преподавателем Закона Божьего в III Московской гимназии. О нем см.: Краткий исторический очерк пятидесятилетия Московской III гимназии (1839—1889). М., 1889. С. 113—114. Его сын — практикующий врач Сергей Дмитриевич Языков (1853—1907).

...на «Погребении» сам читал над Плащаницей «Иезекиелево чтение»... — Речь идет о XXXVII главе книги пророка Иезекииля, которая повествует о пророческом видении оживления и воскрешения костей человеческих как образа восстановления Израильского царства и духовного возрождения всего человеческого рода во Христе.

...знаменный распев ~ а идет он от буйвищ и жальников, от Корины и Усеня!.. — Церковный распев, названный по способу записи музыки «знаменами» и «крюками». Очевидно, Ремизов возводит его происхождение к различным видам народного обрядового песнопения: к народным причитаниям или обрядовым похоронным песнопениям, исполняемым на могилах и погостах, которые в Тверской и Псковской губерниях назывались буйвищами, а в Новгородской — жалями и жальниками, а также, вероятно, к народным «корильным» песням (от слова укоризна), связанным с свадебным обрядом, а также рождественским колядкам, с традиционным припевом «усень» или в другой огласовке «авсень», «таусень».

С. 104. *...именитые прихожане, такие, как Найденовы, Прохоровы.* — Называются известные купеческие фамилии, славившиеся богатством и своей благотворительной и просветительской деятельностью. Купцы Найденовы имели значительное влияние как в торгово-промышленных делах Москвы, так и в общественной ее жизни: «...своей жертвенностью или созданием культурно-просветительских учреждений <они> обессмертили свое имя» (Бурышкин П. А. Москва купеческая. М., 1990. С. 111). К роду Найденовых принадлежал и сам Ремизов. О своих знаменитых родственниках, в частности о своем дяде Н. А. Найденове, писатель подробно рассказывает в романе «Подстриженными глазами».

С. 108. *стрютский* — или стрюцкий, т. е. человек подлый, дрянной.

С. 109. *...А откуда у вас цветы и почему одинаковые? ~ Мы поступили в одно общество...* — Поводом для розыгрыша Розанова стало нашумевшее выступление в Москве М. Волошина с лекцией «Пути Эроса», которую он прочитал первоначально в Петербурге на «башне» Вяч. Иванова в ночь с 14 на 15 февраля 1907 г., а затем 27 февраля в одном из московских литературно-художественных кружков (См.: Неизданные лекции М. Волошина / Предисл., публ. и примеч. А. В. Лаврова // Максимилиан Волошин. Из литературного

наследия. II. СПб., 1999. С. 13—38). Скандальные подробности, сопровождавшие выступления, описаны в мемуарах В. Ф. Ходасевича: «Дело было в 1907 году. Одна моя приятельница где-то купила колоссальную охапку желтых нарциссов, которых хватило на все ее вазы и вазочки, после чего остался еще целый букет. Вечером взяла она его с собой, идя на очередную беседу. Не успела она войти — кто-то у нее попросил цветок, потом другой, и еще до начала лекции человек пятнадцать наших друзей оказались украшенными желтыми нарциссами. Так и расселись мы на эстраде, где места наши находились позади стола, за которым восседала комиссия. На ту беду докладчиком был Максимилиан Волошин, великий любитель и мастер бесить людей. <...> В тот вечер вздумалось ему читать на какую-то сугубо эротическую тему — о 666 объятиях или в этом роде. О докладе мы заранее не имели ни малейшего представления. Каково же было наше удивление, когда из среды эпатированной публики восстал милейший, почтеннейший С. В. Яблоновский и объявил напрямик, что речь докладчика отвратительна всем, кроме лиц, имеющих дерзость открыто украшать себя знаками своего гнусного эротического сообщества. При этом оратор широким жестом указал на нас. Зал взревел от официального негодования. Неофициально потом почтеннейшие матроны и общественные деятели осаждали нас просьбами принять их в нашу "ложу". Что было делать? Мы не отрицали ее существования, но говорили, что доступ в нее очень труден, требуется чудовищная развратность натуры. Аспиранты клялись, что они как раз этому требованию отвечают. Чтобы не разочаровывать человечества, пришлось еще раза два покупать желтые нарциссы» (Ходасевич В. Колеблемый треножник. Избранное. М., 1991. С. 376). Далее эта история распространялась в литературных кругах Петербурга и Москвы как анекдот. Ср. с дневниковой записью Кузмина от 3 марта 1907 г.: «Волошин вернулся еще вчера <из Москвы. — *Е. О.*> <...> Реферат прошел со скандалом. В Москве есть оргийное общество с желтыми цветами, участвуют Гриф и К°. Я думаю, они просто пьянствуют по трактирам — вот и все» (Кузмин. С. 328). Буквально в те же дни и произошли события, описанные в главе «Эротическое общество». Ср. с записью в дневнике М. Кузмина от 13 марта 1907 г.: «Рассказывала <Серафима Павловна Ремизова-Довгелло>, как она с Лидией Юдифовной <Бердяевой> интриговали Розанова фиктивн<ым> эротическим обществом, а он за них хватался, говорил на "ты", требовал, чтобы его сейчас же везли в женское отделение, доказывал, что он может быть активным членом, и, провожая их, опять хватался, покуда они не сказали, что идет его жена» (Кузмин. С. 333). В литературе своего времени этот сюжет лег в основу рассказа С. Ауслендера «Апропо» (Весна. 1908. № 4), а также косвенно отразился в ремизовском «сне», впервые опубликованном в цикле «Под кровом ночи. Сны» (Весна. 1908. № 8; см. наст. изд. С. 404). Впервые о литературных источниках этого сюжета сообщил А. Е. Парнис в докладе «Было ли в Петербурге эротическое общество? (Из комментариев к "Кукхе")» на конференции «Алексей Ремизов и художественная культура XX века» в Институте русской литературы (Пушкин-ский Дом) в 1992 г.

С. 110. *...еще раз однажды увижу В. В. таким ~ на представлении «Ночных плясок» Ф. К. Сологуба в зале Павловой...* — Речь идет о драма-

тической сказке Ф. Сологуба «Ночные пляски», поставленной Н. Евреиновым при участии известных литераторов и художников. Спектакль был показан дважды: 9 марта на сцене Литейного театра и 20 марта 1909 г. в зале А. Павловой на Троицкой ул. Подробнее см.: Высотская О. Мои воспоминания / Публ. и примеч. Ю. Галаниной, Н. Панфиловой и О. Фельдмана // Театр. 1994. № 4. С. 81, 95. Ремизов намекает на «Пляски двенадцати королевен-босоножек в подземном царстве», поставленные М. Фокиным в духе хореографии Айседоры Дункан, которые дали повод некоторым строгим критикам позлословить на тему безнравственности современного искусства. В своих мемуарах исполнявшая роль «двенадцатой королевны» Н. В. Крандиевская-Толстая вспоминала, как Сологуб уговаривал ее принять участие в хореографическом номере: «Не будьте буржуазкой, <...> вам, как и всякой молодой женщине, хочется быть голой. Не отрицайте. Хочется плясать босой. Не лицемерьте. Берите пример с Олечки Судейкиной. Она — вакханка. Она пляшет босая. И это прекрасно» (Прибой. Сборник произведений ленинградских писателей. Л., 1959. С. 3). Розанов зафиксировал впечатления от этой постановки в «Опавших листьях»: «Был сологубовский вечер, с плясовицами ("12 привидений"?). Народу тьма. Я сидел в ряду 16-м, воспользовавшись, что кто-то не сидел в ряду 3-м, к последнему действию перешел туда. Рядом дама лет 45. Так как все состояло не из "привидений", а из открытых "до-сюда" актрис, то я в антракте сказал полусоседке, а отчасти "в воздух": — Да, над всем этим смеются и около всего этого играют. А между тем как все это важно для здоровья! То есть чтобы все это жило — отнюдь не запиралось, не отрицалось — и чтобы все около этого совершилось вовремя, естественно и хорошо» (Уединенное. С. 355). Самому Ремизову в этом спектакле досталась роль «Кошмара» (См.: Мышкина дудочка. С. 45—46).

С. 111. *...и теперь едва ли кого смутит, разве что Ю. И. Айхенвальда...* — В свое время литературный критик Юлий Исаевич Айхенвальд (1872—1928) негативно высказался в адрес интимно-документальных произведений Розанова: «...г. Розанов гораздо поверхностнее, чем он думает. То порнографическое и циническое, то обывательское и пошлое, чем он наполнил свои страницы, та жалкая тина сплетни, в которой он вязнет, все это — общедоступно и банально, все это — именно "литературность", и литературность не в своем конце, не на своей утонченной вершине, а в своей элементарности, потому что цинизм всегда элементарен. И, вопреки г. Розанову, суть литературы — как раз в творчестве, в том возвышающем обмане, который не только дороже тьмы низких истин, но и реальнее их, потому что вымысел идеала действительнее факта» (Айхенвальд Ю. Неопрятность. <Рец.> В. Розанов. Опавшие листья. Короб второй и последний. Пг., 1915 // Утро России. 1915. 22 августа. № 231. С. 6). Реплика Ремизова соотносится с появлением Айхенвальда в конце 1922 г. в Берлине и предполагаемой с его стороны негативной реакцией на «Кукху», которая концентрировалась на эротическом контексте розановской философии.

С. 112. *...на лекции Штейнера...* — Вероятно, речь идет о лекции «Anthroposopie und Wissenschaft» («Антропософия и наука»), которую немецкий философ и основатель Антропософского общества Рудольф Штейнер

(1861—1925) прочитал 19 ноября 1921 г. в Берлинской филармонии. Ср. с его воспоминанием в письме к Л. Шестову от 31 марта 1925 г.: «Я его <Штейнера> один раз услышал в Берлине 21-го г<ода>. Ничего подобного я не слыхал от человека: не то, что он говорил, а как он говорил к концу лекции — такого исступления я не представлял себе: слова перехлестывали слова и фраза переливалась в фразу. Казалось или вспыхнет или упадет в бесчувствии» (Шестов. 1994. № 1. С. 161).

С. 112. *Wie geht es Ihnen?..* — Как поживаете? (*нем.*)

Nach Zimmerstrasse! — Иду на квартирную улицу! (*нем.*)

В. В. Розанов и писал и много рассказывал о своих «итальянских впечатлениях» — П. П. Муратов, слушайте!.. — Указание на книгу путевых заметок Розанова под названием «Итальянские впечатления» (1909), куда вошли также очерки о Швейцарии и Германии. Прозаик, искусствовед и переводчик Павел Павлович Муратов (1881—1950) был автором чрезвычайно популярного среди русской интеллигенции двухтомника «Образы Италии» (1911—1912). На первых страницах книги автор дал весьма благожелательную оценку наблюдениям и размышлениям Розанова об итальянской культуре и искусстве: «В этой странной и такой чисто русской книге не слишком много Италии. Ее автор, чувствующий с единственной в своем роде глубиной уклад русской жизни, даже и в Италии как бы повернут лицом к России. <...> Но слеп будет тот, кто не заметит и в этих страницах "Впечатлений". Особенно там, где Розанов соприкоснулся с античным, алмазов чистой воды и черт гениального воображения» (Муратов П. П. Образы Италии. М., 1917. Т. 1. С. 14).

Ки-ки? — кто-кто? (*фр.*)

Je suis — это я (*фр.*).

С. 113. *М. А. Кузмин написал музыку — хождение Богородицы по мукам.* — М. Кузмин написал музыку на собственные стихи «Хождение Богородицы по мукам» в 1901 г.; автографы нот сохранились в РНБ и РГБ.

Легенда «Хождения» — из Византии не русская, а как пришла в Россию и как полюбилась... — Апокриф «Хождение Богородицы по мукам» — один из самых популярных переводных памятников древнерусской письменности, самый старший из древнерусских списков которого датируется XII—XIII вв. В своей последней квартире на Васильевском острове Ремизов написал большую (во всю стену) фреску под названием «Хождение Богородицы по мукам» (см.: Алексей Ремизов. Исследования, вклейка). См. также описание ремизовского «конспекта» этого апокрифа, с иллюстрациями писателя в кн.: Грачева А. М. Алексей Ремизов и древнерусская культура. СПб., 2000. С. 94—96. Впервые ремизовская переработка апокрифа была опубликована в берлинской газете «Дни» (1922. 5 ноября. № 7.).

С. 114. *bis auf weiteres* — здесь: до бесконечности (*нем.*).

Кузмин тогда ходил с бородой — чернющая! — в вишневой бархатной поддевке, а дома у сестры своей Варвары Алексеевны Ауслендер... — Ср. с описанием первого впечатления Ремизова от встречи с Кузминым в 1905 г., где образ поэта также дан через смешение стилистики восточной и европейских культур: «Не поддевка А. С. Рославлева, а итальянский камзол. Вишневый бархатный, серебряные пуговицы, как на архиерейском облаче-

нии, и шелковая кислых вишен рубаха: мысленно подведенные вифлеемские глаза, черная борода с итальянских портретов и благоухание — роза» (Встречи. С. 180). Варвара Алексеевна — старшая сестра М. А. Кузмина (1857—1922), в первом браке за А. Я. Ауслендером, во втором — за П. С. Мошковым.

С. 114. *...у Сомова хорошо это нарисовано!..* — Портрет Кузмина, написанный Сомовым в 1909 г., воспроизводился в журнале «Аполлон» (1910. № 7); в настоящее время хранится в Государственной Третьяковской галерее.

...уж Кузмин давно снял вишневую волшебную поддевку, подстригся и не видали его больше в золотой парчовой рубахе навыпуск... — Решение изменить свой внешний образ, сменить «русское» платье на европейское («штатское») Кузмин осуществил в сентябре 1906 г. (См.: Кузмин. С. 221).

...редкие книги старопечатные (Пролог)... — Сборник, содержащий краткие жизнеописания святых (жития), легенды, поучительные рассказы, расположенные в календарном порядке.

...и голос не тот, в «Бродячей собаке» скричал. — Речь идет о выступлениях Кузмина в начале 1910-х гг. в «Бродячей собаке» — популярном месте встреч артистической и литературной богемы, открывшемся для посетителей 31 декабря 1911 г. на Михайловской площади в подвале «Художественного общества Интимного театра» (угол Итальянской ул.). Хронику вечеров «Бродячей собаки» см.: Парнис А. Е., Тименчик Р. Д. Программы «Бродячей собаки» // Памятники культуры. Новые открытия. 1983. Л., 1985. С. 160—257.

С. 116. *П. Н. Потапов ходил по весне в Зоологический сад для поднимания потенциальной энергии.* — Сюжет соотносится с героем романа «Пруд» (третья редакция 1911 г.), половым Митей-Прометеем, получившим как-то в Зоологическом саду «трудную и небезопасную должность при слоне: за двадцать пять рублей приводил он слона в чувство во время случки» (Шиповник 4. С. 148). Во второй редакции (1908 г.) эти обязанности были описаны иначе: «...в Зоологическом Саду, где он занимал какую-то нечистую тяжелую должность при слоне... во время случки» (Ремизов А. Пруд. СПб., 1908. С. 83).

С. 118. *Одно-единственное исключение — Семен Владимирович Лурье.* — Один из ближайших друзей Л. Шестова (1867—1927); см. о нем: Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова. II. Paris, 1983. С. 311—312.

Доктор, известный в Петербурге под именем Симбада... — Подразумевается Андрей Акопенко, один из частых гостей Ремизова в квартире в Малом Казачьем. См. его стихотворное послание к Ремизову, с упоминанием общих знакомых (Л. Шестова, И. Тотеша), сохранившееся в фонде Ремизова (Обатнина Е. Обезьянья великая и вольная палата: игра и ее парадигмы // Новое литературное обозрение. 1996. № 17. С. 195). Прозвище героя восходит к имени главного героя «Сказки о Синдбаде-мореходе» из сказок «Тысяча и одна ночь».

...мешочек с канфорой. — Твердое, горючее, с сильным запахом вещество, получаемое из камфорного дерева (Laurus Camphpra). Ремизов использует вариант, более распространенный в просторечии.

С. 119. *...пускай-ка в Комаровку пройдет к князю обезьяньему Рязановскому.* — Имеется в виду адрес ближайшего приятеля Ремизова И. А. Рязановского, который жил в доме арендатора Комарова, неподалеку от Александро-Невской Лавры. Ср.: «И. А. Рязановский — корня кондового из города Костромы <...> Одни его знали, как великого законника, другие, как некоего дебренского старца Иоанна-блудоборца, а третьи, как страстного археолога, ревнителя старины нашей русской. <...> И вот после полувекового труда и пустынного жития в дебери костромской, как некогда огненный старец Епифаний, благословившись у Воскресения Христова, что на Нижней Дебре, снялся Иван Александрович с родимого гнезда. И уж не ищите его нынче на Царевской, не спрашивайте, — тут он с нами на углу Золотоношской и Тележной у Комарова в доме: на котором доме шпиль, на шпиле серебряное яблоко и слышно, как куры поют» (Крашеные рылá. С. 128—129).

...носит электрический пояс. — Подразумевается так называемый «электровалидор» — электрический пояс, широко рекламируемый в прессе 1900-х гг. аппарат для лечения самых разнообразных (в том числе и половых) болезней. О его «чудодейственных» возможностях см. брошюру «Электричество — путь к здоровью» (1908).

...в его тесное Комаровское древлехранилище... — Речь идет о коллекции древнерусских рукописей и книг, собранной И. А. Рязановским.

С. 120. *...помянул и преподобного Макария, о котором сказано в житии — «досязаше ему даже до пят» и как преподобный этим беса устрашил.* — Вольное переложение патерикового рассказа о преподобном Макарии Египетском (301—391), основателе одного из первых египетских монастырей (Скитская пустыня). Этот же сюжет Ремизов использовал в рассказе «Эмалиоль» (1909): «Встав Макарий зело рано и иде сквозь пустыню и срете на пути беса на камне сидяща... аки цепом некиим пшеницу молотящи. Искушеше, бес, преподобного, вопроси его: имаше ли сицевый? И изъем преподобный... бе бо велий зело, яко же досязати ему до пят. И возвратиться бес в место свое посрамленный, в себе дивяся бывшему».

Был у Христа младенца сад. — Первая строка стихотворения А. Н. Плещеева «Легенда» (1877), являющегося переводом текста неизвестного английского поэта. Стихотворение было положено на музыку В. И. Ребиковым и П. И. Чайковским.

С. 122. *...захожу я как-то в книжный магазин «Нового Времени».* — Речь идет о магазине, который располагался на Невском, 40; его владельцем был издатель газеты «Новое время» А. С. Суворин.

...этот твой Потемкин. — Оговорка Розанова (замена фамилии Потапова) соотносит данный сюжет о блудоборце с историей, описанной в главе «Опал» о восковом слепке с мужских достоинств графа Потемкина-Таврического, а также с вариантом этой истории, впоследствии опубликованным Чижовым-Холмским по рукописи писателя (см. коммент. к С. 33). Внимание Розанова было привлечено фигурой молодого поэта Петра Петровича Потемкина, о котором Ремизов распустил слух, будто тот был одним из редких обладателей «сверх божеской меры».

С. 123. *...около Шервудского Пушкина...* — Большой гипсовый бюст Пушкина работы скульптора Леонида Владимировича Шервуда (1871—1954), созданный в 1902 г., — примечательная деталь интерьера квартиры Розанова. О нем упоминает и дочь философа Т. В. Розанова, описывая вещи, которые в 1918 г. ей не удалось перевезти в Сергиев Посад из Петрограда (См.: Розанова Т. В. Воспоминания об отце // Pro et contra. С. 77).

С. 123—124. *...после двух фельетонов В. П. Буренина в «Н. В.» о моем «Пруде» ~ «давно ли ваш Ремизов сидит в сумасшедшем доме?»* — Критик, поэт, писатель и пародист Виктор Петрович Буренин (1841—1926) дважды касался темы «невменяемости» и «умственного расстройства» автора романа «Пруд» в своих «Критических очерках»: «Я не назову и автора романа, опять-таки из жалости к нему: к чему оглашать имена очевидно помешанных, несчастных пациентов современных бедламов, называющихся ежемесячными литературно-общественными органами. Не назову и заглавия самого романа <...> И эта бедламная беллетристика предъявляется нам не в качестве характерных писаний пациентов лечебниц св. Николая и Удельной, а в качестве новейших образчиков самой новейшей литературы (Новое время. 1905. 28 октября. № 10644. С. 4); «Я раз уже обращал внимание читателей на этот роман и тогда же сделал догадку, что роман писан душевнобольным. Теперь кажется догадка может перейти в полное убеждение: если бы какому-нибудь психиатру, хотя бы профессору Ковалевскому, в числе сочинений, написанных пациентами дома умалишенных, представили рядом "маленькие произведения" студента и большой роман в двух частях, который я имею в виду, то, конечно, профессор пришел бы к такому заключению, что умалишенный студент по сравнению с автором романа еще как будто здравомыслящий писатель...» (Новое время. 1905. 9 декабря. № 10681. С. 4). Ср. также с воспоминаниями Ремизова о том, как Розанов неоднократно просил критика написать отзыв на новый роман: «Буренин отмалчивался. Но однажды — должно быть, очень надоело — он сказал, что о сумасшедших писать не хочет. Тут Розанов помянул Серафиму Павловну, и о Наташе, и археологию: Буренин сдался. И сдержал слово. В одном разносном буренинском фельетоне я прочел о себе и о «Пруде» — несколько строчек, но вразумительных: Буренин выражал свое искреннейшее удивление, что автор "Пруда" еще не на "Одиннадцатой версте", в чем он был уверен, а живет в Петербурге ("на одиннадцатой версте" — так в Петербурге говорилось о больнице св. Николая для душевнобольных, на станции Удельная Финляндской ж. д.)» (Встречи. С. 46—47).

С. 127. *Дорогой А. М.! Д-р А. И. Карпинский...* — В альбоме «Розанов» письмо № 23, в оригинале фамилия доктора обозначена первой и тремя последними буквами. Авт. коммент.: «Последнее письмо перед революцией. Др. А. И. Карпинский — самый в ту пору знаменитый доктор по нервным болезням. Теперь покойный — умер в несколько дней от воспаления легких в Петербурге в 1920 году. Клюев Н. А. (поэт) отбояривался от воинской повинности. Самому мне добраться до Карпин-

ского трудное дело, пробовал, а В. В. он знал хорошо — лечил Вар<-вару> Дим<итриевну>. Я отрядил Клюева с письмом к В. В., а В. В. Клюева направил с письмом к Карпинскому. И до чего это странно — Клюев "дурил" ведь докторов, а все принимали за чистую монету. Розанову Клюев не понравился: не любил он в поддевках с крестом на груди — перед революцией в Петербурге не один Клюев щеголял так крестоносцем, впрочем в революцию кресты спрятались, куда им и полагается. Неловко ж в самом деле: "Революцию и матерь света" в песнях возвеличемо! прорыкать на митинге, блестя серебряным крестом на цепи серебряной. Розанову эти наряды очень не нравились: попу это полагается, а так — одна комедия! "Монашка Вера" — дочь В. В. Розанова, была в монастыре, а в революцию повесилась. Незадолго до ее самоубийства погиб сын В<асилия> В<асильевич>а — Василий: замерз в вагоне, когда ехал за продовольствием». Александр Иванович Карпинский, врач, член Русского общества нормальной и патологической психологии. «Монашка Вера» — дочь Розанова, с 1917 года жила послушницей в Покровском монастыре на станции Плюсса около Луги.

С. 128. *А ели яичницу — поминальную.* — Традиционно яйца и блюда из яиц в русском поминальном христианском обряде, сохранившем символику языческих календарных праздников, обозначают бессмертие и воскресение.

С. 129. *...надел и не на эти свои вихры, а на ковылевую. «Тебе, — говорю, — медведюшка прислал...».* — Не называя имени дочери, Ремизов затрагивает болезненную личную тему первых берлинских лет — отказ Наташи последовать за родителями в эмиграцию. Упоминается и самая любимая, подаренная Волошиным, детская игрушка маленькой Наташи (медведь). Известен рисунок Ремизова 1905 г. «Натуся с ведьмедюшкой» (РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 4. № 27).

...ночной колпак ~ В. А. Залкинд из Цербста привез — конкректор обезвелволпала... — Выпускник петербургского Политехнического института Виктор Александрович Залкинд (1895—?) познакомился с Ремизовым в середине июня 1922 г. О происхождении загадочного слова «конкректор» см.: Флейшман Л. С. Из комментариев к «Кукхе». Конкректор Обезвелволпала // Slavica Hierosolymitana. 1977. Vol. S. 190; здесь же приводится письмо Ремизова к Залкинду от 29 июня 1922 г., где упоминается о получении колпаков, в том числе и красного.

...Огневик — Feuermännchen... — Подразумевается игрушка — «огненный человечек» Фейермэнхен — матерчатый гном в розовом полосатом платье и черном колпачке из коллекции Ремизова; писатель запечатлен с ним на одной из фотографий берлинского периода. См. вклейку, предваряющую кн.: Ремизов А. М. Собр. соч. Т. 2. Докука и балагурье (М., 2000).

...на Церковной (Kirchstrasse) в приходе св. Луизы. — Ремизов указывает свой первый Берлинский адрес: Kirrchstrasse 2 II bei Delion, Sharlottenburg 1, 1 — Berlin.

...всю библиотеку продали. — Продажу своих книг и дела об уплате Ремизов перед отъездом доверил писателю В. Шишкову и владельцу издательства «Петрополис» Я. Н. Блоху.

С. 130. *Блок, как за границу задумал ~ слышу «Посолонь» продал с автографом.* — В библиотеке Блока сохранился шестой том «Сочинений» Ремизова (СПб.: Шиповник, <1911>), в который полностью вошла книга «Посолонь» (дополненная вторая печатная редакция), с инскриптом: нотная строка и слова к ней из «Медвежьей колыбельной песни»: «Баю-бай, бай, медведевы детки, баю-бай, бай, косолапы да мохнаты, бай-бай», а также посвящение: «Александру Александровичу Блоку от А. Ремизова. 1912. 12/25 III» (Библиотека А. А. Блока. Описание. Кн. 2. Л., 1985. С. 210).

А Апокалипсис ваш у великого книжника... — Имеется в виду последнее произведение Розанова «Апокалипсис нашего времени», издававшийся в течение 1917—1918 гг. в десяти выпусках (Сергиев Посад). По-видимому, эти книги остались на хранении у сотрудника Публичной библиотеки Я. П. Гребенщикова.

...Шкловский книжку написал «Розанов» и там как раз наоборот: если кто за последнее время написал беллетристическое, так это Розанов ~ ведь это целый роман, новая форма! — Речь идет о работе В. Б. Шкловского «Розанов. Из книги “Сюжет как явление стиля”» (Пг., 1921). Ср.: «Книга Розанова была героической попыткой уйти из литературы, сказаться без слов, без формы — и книга вышла прекрасной, потому что создала новую литературу, новую форму» (Цит. по: Шкловский В. Гамбургский счет. С. 125).

С. 131 *...теперь вы поняли, что никакой папироски там и не надо?* — Реплика по поводу розановских фантазий на тему собственных похорон: «Несите, несите, братцы: что делать — помер. <...> Покурить бы, да неудобно: официальное положение. <...> Непременно в земле скомкаю саван и коленко выставлю вперед. Скажут: — “Иди на страшный суд”. Я скажу: — “Не пойду”. — “Страшно?” — “Ничего не страшно, а просто не хочу идти. Я хочу курить. Дайте адского уголька зажечь папироску”» (Уединенное. С. 272).

Я лежал однажды при смерти — это как раз в канун октябрьской революции... — С 23 сентября по 1 октября Ремизов болел крупозным воспалением легких, развивавшемся на фоне очень высокой температуры. Описание жара отчасти легло в основу «Огневицы» (1917).

А как там насчет сроков в этой вашей — что слышно в вечности? — Знаменитый афоризм К. Н. Батюшкова, нашедший отражение в стихотворении О. Мандельштама: «И Батюшкова мне противна спесь: / “Который час?” — его спросили здесь, / А он ответил любопытным: “вечность”». («Нет, не луна, а светлый циферблат....»; 1912.)

У Гауфа Агасфер притащился из Китая сюда и вот недалеко от нас, в Тиргартене, у него любопытная встреча. — Подразумевается эпизод из книги немецкого писателя-романтика, сочинителя сказок Вильгельма Гауфа (1802—1827) «Записки Сатаны» («Mitteilungen aus den Memoiren des Satan»; 1828).

23.1.1919 г. — Ремизов указывает дату смерти Розанова по ст. ст., по новому — 5 февраля.

ОГОНЬ ВЕЩЕЙ. Сны и предсонье

Впервые опубликовано: Ремизов. А. Огонь вещей. Сны и предсонье. Париж: Оплешник, 1954. 224 с.

Печатается по изданию 1954 г.

Публикации отдельных частей и глав книги. **Серебряная песня**. Впервые: Иллюстрированная жизнь (Париж). 1934. 22 марта. № 2. **Райская тайна**. Впервые: Россия и славянство (Париж). 1932. 19 марта. № 173, с подзаг. «Столетие "Старосветских помещиков"». **Сверкающая красота**. Впервые: ПН. 1935. 25 дек. № 5389, фрагмент в очерке «Без начала»; фрагмент главы «Случай из Вия» в романе «Учитель музыки». **Сердечная пустыня**. Впервые: РН. 1952. 29 февр. № 352, под назв. «Судьба Гоголя». Другие публикации: Опыты (Нью-Йорк). 1953. № 2, под назв. «Судьба Гоголя». **Ноздрев**. Впервые: НРС. 1952. 2 марта. № 14555, под назв. «Сто лет со дня смерти Гоголя». **Природа Гоголя**. Впервые: Руль (Берлин) 1922. 21 сент. № 551, фрагмент под назв. «Кикимора», дата: «10 сентября 1922 г.»; ВР. 1929. № 8/9, под назв. «Тайна Гоголя». **Живой воды**. РН. 1949. 3 июня. № 209. **Дар Пушкина**. Впервые: ПН. 1937. 10 февр. № 5801; другие публикации: Новоселье (Нью-Йорк). 1944. № 11, под общим загол. «Пушкин». **Морозная тьма**. Впервые: Новая Россия (Париж). 1937. 7 февр. № 21, под назв. «"Морозная тьма". Сны Пушкина»; другие публикации: Рассвет (Чикаго). 1937. 13 ноября, под общ. загл. «Пушкин» и под назв. «Сны Пушкина»; Новоселье. 1944. № 11, под общим загл. «Пушкин» и назв. «Сны Пушкина». **Тургенев- сновидец**. Впервые: Числа (Париж). 1933. № 9, под общ. загл. «Пятидесятилетие со смерти Тургенева». **Тридцать снов**. Впервые: ВР. 1930. № 7/8. **Царское имя**. Впервые: Новоселье. 1947. № 31/32, под назв. «Тургенев. Разговор по поводу выхода во французском переводе рассказов Тургенева». **Потайная мысль**. Впервые: Встреча. (Париж). 1945. № 2, под назв. «Скверный анекдот. Потайная мысль Достоевского из каторжной памяти». **Звезда-полынь**. Впервые: Новоселье. 1950. № 42—44, под назв. «Звезда-полынь. К "Идиоту" Достоевского».

Рукописные источники: черновые рукописи, наброски, варианты—ЦРК АК, Бахметьевский архив.

Замысел оригинального исследования темы «сновидений» в русской литературе сложился у Ремизова к 1930 г. Своими планами он поделился с литературным критиком Е. А. Ляцким в письме от 21 сентября: «Затеял о снах в рус<ской> литературе. О Снах Тургенева (30 их) напечатали в В<оле> Р<оссии> № 7—8. Летом урывками (при всякой возможности) занимался Гоголем. Его сны необозримые. Одолел "Вечера". Когда-нибудь, надеюсь, выпустить книгу. Сны — Гоголя, Пушкина, Лермонтова, Толстого, Лескова, Тургенева и Достоевского. И чтобы все уяснить, рисую. Тут мне, как не специалисту, простор и воля» (Прага). Рисунки, о которых упоминается в письме, стали неотъемлемой частью подготовительной работы: практически каждой литературной теме посвящен отдельный альбом ремизовской графики. Наряду с рисованием Ремизов осваивал язык и поэтику избранных произведений русской классики. «Всякий вечер, — писал он своему многолетнему корреспонденту А. В. Тырковой-Вильямс 21 января 1937 г., —

вслух читал Пушкина <...> Что получили мы от Пушкина, какой дар? На это и отвечаю по своим испытаниям: поэзия, работа, конструкция, сны, свет слова. Раз десять переписал мое короткое слово. Послед<ние> новости 10 фев<раля> выпускают Пушкинский №: возможно, что там напечатают. Сейчас рисую сны Пушкина, сделаю альбом, как Тургеневский» (Гарвард). Большинство глав из «Огня вещей» первоначально возникли в виде так называемых «юбилейных» статей, специально написанных к определенным памятным датам, связанным с именами Гоголя, Достоевского, Пушкина, Тургенева. Образы Гоголя и Достоевского в течение всей жизни Ремизова составляли особую тему, связывавшую его оригинальное творчество не только с традициями отечественной литературы, но и в целом с историческими судьбами России. В этом смысле книга «Огонь вещей», работа над которой продолжалась более 20 лет, стала закономерным развитием прямых обращений к «Николаю Васильевичу» или «Федору Михайловичу», органично вплетенных в повествовательный строй его рассказа «Днесь весна» (1916), очерка «О судьбе огненной» (1918), романа «Взвихренная Русь» (1927), воспоминаний «Подстриженными глазами» (1951). Смыслообразующее начало всей композиции книги заключают в себе эссе о Гоголе. В письме Кодрянской 10 марта 1952 г. Ремизов так объяснял название своего произведения: «...все гоголевское мое называю "Огонь вещей"» (Кодрянская. С. 246). Этим, очевидно, объясняется перманентность процесса работы над главами о Гоголе: если эссе о Тургеневе создавались в начале 1930-х гг.; главы, посвященные Пушкину, были написаны и впервые появились в печати в 1937 г.; статьи о Достоевском — в 1945-м и 1950-м, — то литературная интерпретация жизни и творчества Гоголя длилась на протяжении всех этих лет. В письмах Ремизова к друзьям и знакомым начала 1950-х гг. лейтмотивом проходят короткие упоминания о труде, который стал поистине подвижническим, когда писатель продолжал работать, несмотря на надвигающуюся слепоту: «Продолжаю о Гоголе. И учусь русскому — много не могу, глаза не берут» (Remizov A. Unpublished letters to N. V. Reznikova and A. F. Ryazanovskaja / Publ. S. Aronian // Russian Literature Triquarterly. 1986. № 19. P. 297). Очерк «Тургенев-сновидец» первоначально был переведен на французский язык и издан отдельной книгой («Tourgueniev poete du reve». Paris: Hippocrate, 1933). Рецензируя издание, П. Бицилли высоко оценил оригинальный художественный метод Ремизова: «Это пересказ, а частью перевод всех "снов" у Тургенева, с иллюстрациями автора к ним. Не знаю, соответствуют ли эти рисунки тургеневским сонным грезам — думается, скорее, что нет. Но сами по себе они очень интересны и по замыслу и по выполнению. <...> В предисловии и в конце книжки — тонкие, но подчас спорные замечания о языке и стиле Тургенева. Верно то, что говорит автор о "робости" тургеневского языка, также об искусственности, с какою у него воспроизводится речь простолюдина» (СЗ. 1934. Кн. 54. С. 461). «Потайная мысль» первоначально также предполагалась для перевода и должна была предварять французское издание Достоевского (О работе Ремизова над предисловием к «Скверному анекдоту» для издательства «Quatre Vents» см.: Анненков. С. 225—227). Однако очерк о Достоевском увидел свет в сборнике «Встреча» (1945), и лишь спустя два года его текст был частично использован во вступительной

статье к французскому переводу романа «Идиот» (1947). Об этой работе Ремизов писал Тырковой-Вильямс 30 июня 1947 г.: «Целый месяц, не отрываясь, над "Идиотом". Только по цветам, да из окна знаю: пришла весна. Сколько раз думал написать Вам: у меня ничего нет о "Идиоте". Все — из головы. Для французов так даже лучше, но для русских надо будет непременно засорить примечаниями. Сегодня должен кончить, в третий раз переписываю. Срок — завтрашний день к вечеру. Слава Богу, успею. Мое горе и жалоба: я почти слепой» (Гарвард). Реальная возможность осуществить издание книги в целом, вероятно, появилась в начале 1953 г.; к этому времени относится осторожная обмолвка Ремизова в письме к Тырковой-Вильямс: «Обещают мне и мое о Гоголе "Огонь вещей", когда соберут денег в шапку, а все шапки к<а>к известно дырявые» (Гарвард). «Огонь вещей» вышел в издательстве «Оплешник», специально организованном друзьями писателя (типографским набором занимался поэт Даниил Резников). Судя по переписке писателя книга была набрана в марте 1954 г. Приятель и сосед Ремизова ученый-ориенталист В. П. Никитин 25 марта записал в своем дневнике: «Его <Ремизова> книга у Резникова готова, задержка с обложкой. Хочет черное на красном, "Огонь вещей"» (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 2. № 41. Л. 1 об.). Книгу, которая была выпущена только по прошествии лета, сопровождал несомненный успех; она удивила критику глубиной и иррациональностью авторского мышления, непредсказуемостью выводов и точностью языка. Одним из первых отозвался на новое произведение писателя Дм. Чижевский, который рассматривал «Огонь вещей» в контексте известной традиции, идущей от писателей-символистов начала века: «Русским писателям-художникам история русской литературы обязана многими блестящими историко-литературными характеристиками <...> Книга Ремизова в части, посвященной Гоголю, отличается от этих работ и своеволием чисто ремизовского стиля и намеренной гиперболичностью утверждений. Главы о Гоголе содержат много кажущегося "озорства": здесь и простая перепечатка целых страниц Гоголя, и изложение биографии Чичикова с дополнениями Ремизова, очень удачными. Ремизов мог бы сослаться на самого Гоголя: "А как было дело на самом деле, Бог его ведает, пусть читатель-охотник досочинит сам". <...> Ремизов — писатель не для всех <...> Но кто умеет его читать, вычитает из его страниц много блестящих отдельных замечаний и несколько основополагающих для понимания Гоголя мыслей». Особенную заслугу Ремизова критик увидел в символическом истолковании позднего Гоголя, которое, по его мнению, «никогда не было проведено с такою последовательностью, как в книге Ремизова. В особенности главы о "Мертвых душах" и их героях...» (НЖ. 1955. XLI. С. 285—286). Другие рецензенты отмечали необычность исследовательского ракурса — создание «гиннологии» русской литературы. Ю. Терапиано охарактеризовал новое произведение Ремизова как гениально-сложное: «"Огонь вещей" — книга настолько насыщенная содержанием, что не всякий читатель согласится с легким сердцем выдержать это напряжение. <...> Мир иррационального, который открывает нам Ремизов, по существу своему полон таких непримиримых противоположностей, такого сплетения значительного и псевдозначительного, правды и лжи, пронизан таким ощущением путаницы, безысходности, боли и одиночества, что разобраться в этом адском хаосе — большое мучение.

<...> Творческая гениальность и диапазон души художника только усиляют и подчеркивают эти противоречия...» (Литературный современник. Альманах. Мюнхен, 1954. С. 299—300). В статье З. Юрьевой, опубликованной уже после смерти писателя, подчеркивалась близость самого Ремизова тем писателям, которым посвящено его художественное исследование, что позволило рассмотреть такие стороны литературного творчества, какие не всегда оказываются в поле зрения ученых-филологов: «Книга Ремизова сама является своего рода "сонным наваждением", в котором смешались живые и мертвые герои Гоголя — как это показывает и нарисованная автором обложка книги — со снами и афоризмами самого Ремизова, с проявлениями его любви к "странным сказкам", и, главное, к магии и музыке гоголевского слова. <...> Книга Ремизова показывает, что традиция отзывов русских "писателей о писателях", бывшая в расцвете при русских символистах, еще продолжается. Эта традиция дала много глубоких проникновений художественного творчества, на которые редко были способны историки литературы» (НЖ. 1957. LI. С. 109—111).

С. 135. *оплешники* — Ср. с пояснением Ремизова из письма к А. В. Тырковой-Вильямс от 20 июня 1950 г.: «Оплечник — оплешник. С детства знаю значение этого слова: нянька оплешниками называла нечистую силу: станут о-плеч тебя и ни рукой, ни ногой, такая в них сила оплешники!» (Lettres D'Aleksej Remizov a Vlaadimir Butčik / Publ. d'Hélène Sinany Mac Leod // Revue des Études Slaves. LIII / 2. P. 293); а также: «...я толкую: оплешни — оплет — чары // по-русски бесы — оплешники» (Письма А. М. Ремизова к Ю. П. Одарченко / Вступ. статья и коммент. А. М. Грачевой; подгот. текстов — в соавт. с В. П. Полыковской // Наше наследие. 1995. № 33. С. 98). Это слово Ремизов разъяснял также как «чаровник».

С. 137. *поветки* — навес, кровля.

С. 138. *Лабардан* — рыба треска, упоминаемая в 3-м действии комедии «Ревизор», в реплике Хлестакова: «Завтрак у вас, господа, хорош <...> я доволен, я доволен. <...> Лабардан! Лабардан!» (Гоголь. Т. 4. С. 51).

С. 139. *«Какая тишина в моем сердце...»* — Из письма Гоголя к матери от 10 февраля 1831 г.: «Зато какая теперь тишина в моем сердце! Какая неуклонная твердость и мужество в душе моей!» (Гоголь. Т. 10. С. 192).

В «Старосветских помещиках» представлен сказочный рай... — Ср. с отзывом немецкого историка русской литературы А. Лютера, который, познакомившись с статьей «Райская тайна», писал Ремизову 8 июля 1932 г.: «Вы совсем по-новому осветили Старосветских помещиков. И все-таки это не новое, а лишь усмотрено или высказано то, что, думаю я, смутно чувствовал всякий, кто читал Старосветских помещиков, не надев предварительно очков Белинского <...> Очень хорошо вы выдвинули мотив любви человека к человеку, столь редкий у Гоголя, который своих героев сам так не любит, а разве только жалеет, как Акакия Акакиевича» (ЦРК АК). Ср. с реакцией писателя на нежелание чешского периодического издания отмечать на своих страницах юбилей гоголевской повести в письме к Н. В. Зарецкому от 8 сентября 1932 г.: «Вы все-таки когда-нибудь объясните в Prager Presse, что юбилей "Стар<осветских> помещ<иков>" потому важно отметить, что это

единственное произведение, где Гоголь говорит о любви человека к человеку, и что до сих пор в рус<ской> литер<атуре> не было отмечено — повторялись отзывы Белинского о "привычке" и о всяких обжорствах» (Прага).

С. 139. *Никто не знает, когда, но пожар неизбежно возникнет...* — В контексте повести Гоголя «Старосветские помещики» эта мысль перекликается с излюбленной шуткой Афанасия Ивановича: «Что, Пульхерия Ивановна, — говорил он, — если бы вдруг загорелся дом наш, куда бы мы делись?» (Гоголь. Т. 2. С. 24). Тема пожара, разрушающего привычное спокойное течение жизни, периодически возникала в судьбе писателя и имела для него экзистенциальное значение: «Для чего я все собираю, подклеиваю, раскладываю по именам, по памяти и берегу? Пожар — и все сгорит. И на пожарище я буду собирать. Я вытолкнутый на земле жить» (На вечерней заре 3. С. 469).

С. 140. *узвар* — вареные сухофрукты, обычно подаваемые в Малороссии в рождественский сочельник.

С. 141. *...«среди пошлости, гадости жизни животной...» ~ «О, бедное человечество, жалкая жизнь!»* — Контаминация высказываний Белинского из статьи «О русской повести и повестях г. Гоголя. ("Арабески" и "Миргород")» (1835) (Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 1. М., 1953. С. 291—292).

Да и сам Гоголь ведь только «иногда», «на минуту», на «краткое время» соглашается попасть в этот рай. — Ср.: «Я иногда люблю сойти на минутку в сферу этой необыкновенно уединенной жизни...» («Старосветские помещики»; Гоголь. Т. 2. С. 13).

...от «клочков и обрывков» другого мира. — Ср. со словами Свидригайлова из романа «Преступление и наказание»: «Привидения — это, так сказать, клочки и отрывки других миров, их начало» (Достоевский. Т. 6. С. 221).

С. 142. *...«над кем смеетесь, над собой смеетесь!»* — Неточное воспроизведение знаменитой реплики Городничего из пьесы «Ревизор»: «Чему смеетесь? Над собою смеетесь!..» (Гоголь. Т. 4. С. 94).

...«озирать всю громадно-несущуюся жизнь... и незримые неведомые слезы». — Неточная цитата из первой части поэмы «Мертвые души». Ср.: «И долго еще определено мне чудной властью идти об руку со своими странными героями, озирать всю громадную несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы!» (Гоголь. Т. 6. С. 134).

С. 143. *...коснувшись тайны Гоголя в «Сне смешного человека»...* — Ср.: «Я часто говорил им, что я все это давно уже прежде чувствовал, что вся эта радость и слава сказывалась мне еще на нашей земле зовущею тоскою, доходившею подчас до нестерпимой скорби; что я предчувствовал всех их и славу их в снах моего сердца и в мечтах ума моего, что я часто не мог смотреть, на земле нашей, на заходящее солнце без слез» (Достоевский. Т. 25. С. 114).

...по себе судя заподозрил эти незримые слезы: «никогда еще не было сказано на Руси, говорит он, более фальшивого слова, как про эти незримые слезы». — Слова Шатова из романа Достоевского «Бесы»: «...и никаких невидимых миру слез из-под видимого смеха тут нету! Никогда еще не было высказано на Руси более фальшивого слова, как про эти незримые слезы!» (Достоевский. Т. 10. С. 111).

С. 144. *«Боже, как грустна наша Россия!» отозвался Пушкин голосом тоски.* — Гоголь вспоминает об этом эпизоде в «Выбранных местах из

переписки с друзьями». Ср.: «Довольно сказать тебе только то, что когда я начал читать Пушкину первые главы из "Мертвых душ", в том виде, как они были прежде, то Пушкин, который всегда смеялся при моем чтении (он же был охотник до смеха), начал понемногу становиться все сумрачней, сумрачней, а наконец сделался мрачен. Когда же чтенье кончилось, он произнес голосом тоски: "Боже, как грустна наша Россия!"» (Гоголь. Т. 8. С. 294).

С. 145. *«Бедные люди!» сказал Гоголь и подумал: «растянуто, писатель легкомысленный, но у которого бывают зернистые мысли».* — Буквальное повторение реплики Фомы Опискина из повести «Село Степанчиково и его обитатели»: «...Гоголь, писатель легкомысленный, но у которого бывают зернистые мысли» (Достоевский. Т. 3. С. 13). Ср. также с мнением Гоголя о раннем Достоевском, высказанным в его письме к А. М. Вильегорской от 14 мая 1846 г.: «В авторе "Бедных людей" виден талант; выбор предметов говорит в пользу его качеств душевных; но видно также, что он молод. Много еще говорливости и мало сосредоточенности в себе; все бы сказалось гораздо живее и сильнее, если бы было более сжато» (Гоголь. Т. 8. С. 129).

С. 146. *Ведро крови, не «лужицу» по Достоевскому...* — «Кровавая» гипербола восходит к тексту повести «Вий», где описываются многочисленные похождения ведьмы, которая «у других выпила по нескольку ведер крови» (Гоголь. Т. 2. С. 205). Ср.: «Крови между тем натекла уже целая лужа» («Преступление и наказание»; Достоевский. Т. 6. С. 64).

С. 147. *кнур* — боров.

Сверкающая красота — название главы является прямой цитатой из повести «Вий». Ср. с описанием панночки в гробу: «Такая страшная, сверкающая красота!» (Гоголь. Т. 2. С. 206).

...ее сестра Астарта. — Отмечая родство образа панночки и Астарты, Ремизов касается роли эротики в творчестве Гоголя — ключевой темы в символистских интерпретациях загадочного образа автор «Вия». Ср.: «Эта мертвая ведьма <...> не языческая ли красота, не сладострастная ли плоть мира, убитая и отпеваемая Гоголем...» (Мережковский Д. С. Гоголь // Полн. собр. соч. Т. X. М., 1911. С. 277); «Гоголя удручает какое-то прошлое, какое-то предательство земли — грех любви (недаром мы ничего не знаем об увлечениях этой до извращенности страстной натуры» (Андрей Белый. Гоголь // Весы. 1909. № 4. С. 79).

С. 148. *Вий — сама вьющаяся завязь ~ а Достоевский скажет Тарантул.* — Подразумевается сон Ипполита Терентьева из главы «Мое необходимое объяснение» в романе «Идиот»: «Может ли мерещиться в образе то, что не имеет образа? Но мне как будто казалось временами, что я вижу, в какой-то странной и невозможной форме, эту бесконечную силу, это глухое, темное и немое существо. Я помню, что кто-то будто бы повел меня за руку, со свечкой в руках, показал мне какого-то огромного и отвратительного тарантула и стал уверять меня, что это то самое темное, глухое и всесильное существо, и смеялся над моим негодованием» (Достоевский. Т. 8. С. 340). Ср. также: «А ведь жизнь — ее природа, ее глубочайшая скрытая завязь — "это всесильное глухое, темное и немое существо странной и невозможной формы" — этот огромный и отвратительный тарантул Достоевского, этот

приземистый, дюжий, косолапый человек в черной земле с железным лицом и с железным пальцем — гоголевский Вий — — для живого нормального трезвого глаза, не напуганного и не замученного, никогда не "тарантул", никогда — "пузырь с тысячью протянутых из середины клещей и скорпионных жал, на которых черная земля висела клоками", никогда никакой не Вий с железным пальцем, нет, никогда не это, а все, что можно себе представить чарующего из чар, вот оно-то и есть душа жизни» (В розовом блеске. С. 201).

С. 148. *трутовая* — от: трут — ветхая истлевшая ветошь.

...дико выл, вывывая: «Ой, у поли могыла...» — В повести «Вий» Хома Брут в первую ночь, находясь в церкви у гроба панночки, от страха нараспев читает Святое Писание: «Возвыся голос, он начал петь на разные голоса, желая заглушить остатки боязни» (Гоголь. Т. 2. С. 207). Ремизов, реконструируя этот эпизод, использует строку из любимой Гоголем малороссийской народной песни, которая приводится в книге П. А. Кулеша: «Ой у поли могыла / З витром говорыла: / Повий, витре, ты на мéне, / Щоб я не чорнила...» (Записки. Т. 2. С. 213).

Я видел Гоголя... — Ср. с аналогичной интерпретацией Д. С. Мережковского, который в книге «Гоголь. Творчество, жизнь и религия» (1909), также отождествляет автора «Вия» с Хомой Брутом (См.: Мережковский Д. С. Полн. собр. соч. Т. X. С. 277—279).

...как много пережглось в его сердце и вся душа была растерзана. — Ср. с письмом Гоголя к М. А. Максимовичу от 9 ноября 1833 г.: «...как сильно растерзано все внутри меня. Боже, сколько я пережег, сколько перестрадал» (Гоголь. Т. 10. С. 284).

С. 149. *Сердечная пустыня* — «Старосветские помещики». Ср.: «Я обыкновенно бежал с величайшим страхом и занимавшимся дыханием из сада, и тогда только успокаивался, когда попадался мне навстречу какой-нибудь человек, вид которого изгонял эту страшную сердечную пустыню» (Гоголь. Т. 2. С. 37).

С. 150. *Через шесть лет после смерти, в 1858, появилась статья Писемского...* — Имеется в виду статья «Сочинения Н. В. Гоголя, найденные после его смерти. Похождения Чичикова или Мертвые души. Часть Вторая», впервые опубликованная в 1855 г. (См.: Писемский А. Ф. Собр. соч.: В 9 т. Т. 9. М., 1959. С. 523—546).

С. 151. *История человечества ~ можно представить как зарождение, борьбу и смену мифов...* — Взгляды Ремизова на природу мифа восходят к романтической традиции, которая развивалась в конце XVIII — начале XIX в. немецкими философами и филологами И. Г. Гердером, Ф. В. Шеллингом, Я. и В. Гриммами и др. Ср.: «... народ обретает мифологию не в истории, наоборот, мифология определяет его историю, или, лучше сказать, она *не* определяет историю, а есть его судьба (как характер человека — это его судьба); мифология — это с самого начала выпавший ему жребий (Шеллинг Ф. В. Й. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1989. С. 213).

...легенда о Пушкине, как явлении чрезвычайном и «пророческом», созданная Гоголем и подтвержденная Достоевским... — В своей знаменитой «Пушкинской речи» (1880) Достоевский использовал цитату из статьи Гоголя «Несколько слов о Пушкине» (1832): «Пушкин есть явление чрезвычайное и,

может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет» (Гоголь. Т. 8. С. 50). Процитировав ее начало («Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа...»), Достоевский продолжил от себя: «...и пророческое. Да, в появлении его заключается для всех нас, русских, нечто бесспорно пророческое» (Достоевский. Т. 25. С. 136).

С. 151. *Пушкин угадал Гоголя: «все это так необыкновенно...»* — Имеется в виду <Письмо Пушкина к издателю “Литературных прибавлений” к журналу “Русский инвалид” по поводу “Вечеров близ Диканьки” 1831 г.> (Пушкин. Т. 11. С. 216).

«Обо мне много толковали, разбирая кое-какие мои стороны...» — См.: «Выбранные места из переписки с друзьями» (Гоголь. Т. 8. С. 294).

С. 152. *...к Гоголю, «заставляющему вас смеяться...»* — Ср. с высказыванием Пушкина по поводу издания «Вечеров на хуторе близ Диканьки» (1836): «...с жадностью все прочли и Старосветских помещиков, эту шутливую, трогательную идиллию, которая заставляет нас смеяться сквозь слезы грусти и умиления» (Пушкин. Т. 12. С. 27).

...одна будто бы написанная им История Средних веков чего стоит! — Имеется в виду неосуществленный замысел, о котором Гоголь сообщал М. А. Максимовичу 22 января 1835 г.: «Что тебе сказать о здешних происшествиях? <....> Вышла Пушкина “История Пугачевского Бунта”, а больше ни-ни-ни. <...> — Я пишу историю средних веков, которая, думаю, будет состоять из 8, если не из 9 глав» (Записки. Т. I. С. 148). Этому проекту предшествовала «вступительная лекция, читанная в С.-Петербургском университете адъюнкт-профессором Н. Гоголем» «О средних веках», которая была опубликована в сентябрьской книжке «Журнала Министерства народного образования» за 1834 г. (Гоголь. Т. 8. С. 14—25). См. об этом также письмо Гоголя к М. П. Погодину от 14 декабря 1834 г.: «Ты не гляди на мои исторические отрывки: они молоды, они давно написаны; не гляди также на статью «О средних веках» в департаментском журнале. Она сказана просто так. Чтобы сказать что-нибудь, и только раззадорит...» (Гоголь. Т. 10. С. 229).

С. 153. *«Как изумились мы русской книге...»* — Из рецензии А. С. Пушкина на издание «Вечеров на хуторе близ Диканьки», опубликованной в журнале «Современник» в 1831 г. (Пушкин. Т. 12. С. 27).

«На меня находили припадки тоски. ~ и кому от этого выйдет какая польза». – Неточная цитата из «Авторской исповеди» (Гоголь. Т. 8. С. 439).

...или, как скажет Достоевский, к «Дьяволову водевилю»... — Слова Кириллова из романа «Бесы»: «...вся планета есть ложь и стоит на лжи и глупой насмешке. Стало быть, самые законы планеты ложь и дьяволов водевиль» (Достоевский. Т. 10. С. 471).

оптинские старцы. — Имеется в виду традиция духовного старчества в монастыре Оптина пустынь (Калужской губ.). В XIX — начале XX в. многие представители творческой интеллигенции, в том числе и Гоголь, который в 1850—1851 гг. трижды приезжал специально для бесед со старцем Макарием. См.: Манн Ю. Иван Киреевский и Гоголь в стенах Оптиной // ВЛ. 1991. № 8. С. 111—116.

С. 153. *...четвертое небо Василия Радаева и Татьяны Ремизовой, «людей Божьих» хлыстовского начала, современников Гоголя.* — По учению хлыстов — мистической секты, согласно преданию образованной в XVII в., одновременно с появлением церковного раскола и называвшей себя «людьми божиими» — божественный мир представляет собой иерархию семи небес, на последнем из которых пребывает Святая Троица, Богородица, архангелы, ангелы и праведники. Пантеистические взгляды хлыстов соединялись с верой в многократные и достигаемые суровой аскезой воплощения Сына Божия Иисуса Христа и Богородицы в человеке. В основе их нравственного учения лежали дуалистические представления, согласно которым дух есть начало доброе, а тело — начало злое. Василий Радаев — один из хлыстовских «пророков», проповедовавший в Арзамасском уезде в 1840-х гг. учение об оправдании плотского греха. О хлыстовке Татьяне Макаровне Ремизовой (родственнице писателя) упоминается также в книге «Подстриженными глазами» (С. 74—75).

С. 154. *«И сказал Бог ~ по подобию Нашему»* — Быт. 1; 26.

...«всякий не может судить, как по себе» (Достоевский). — Ср. с рассуждениями героя повести «Записки из подполья»: «...о чем может говорить порядочный человек с наибольшим удовольствием? Ответ: о себе. Ну так и я буду говорить о себе» (Достоевский. Т. 5. С. 101).

...назову О. М. Сомова... — В использовании и художественной обработке мотивов украинского фольклора писатель, журналист, критик Орест Михайлович Сомов (1793—1833) был предшественником Гоголя. См.: Котляревский Н. А. Николай Васильевич Гоголь (1829—1842). Очерк из истории русской повести и драмы. СПб., 1903. С. 32.

С. 155. *«Изводящая жгучая боль...» ~ и единственное средство успокоиться: дорога.* — Ср. с письмом Гоголя к П. А. Плетневу от 30 октября 1840 г., в котором он жаловался на тяжелое состояние своего здоровья: «Не хочу вам говорить и рассказывать, как была опасна болезнь моя. Геморoид мне бросился на грудь, и нервическое раздражение, которого я в жизни никогда не знал, произошло во мне такое, что я не мог ни лежать, ни сидеть, ни стоять. Уже медики было махнули рукой: но одно лекарство меня спасло неожиданно. Я велел себя положить ветурину <извозчику. — *ит.*> в дорожную коляску, — дорога спасла меня» (Гоголь. Т. 11. С. 319). Ср. также с лирическими отступлениями в поэме «Мертвые души»: «Боже! Как ты хороша подчас, далекая, далекая дорога! Сколько раз, как погибающий и тонущий, я хватался за тебя, и ты всякий раз меня великодушно выносила и спасала!» (Гоголь. Т. 6. С. 222).

...калеке неперехожей. — Калеки, или в малороссийском наречии — калики — увечные старцы, нередко слепые, нищие паломники, проводившие свою жизнь в скитаниях; распространители народного творчества, выражавшегося в форме духовных стихов; с ними и их песнопениями связано устойчивое выражение «калики перехожие». См.: Бессонов П. Калеки перехожие. М., 1861—1864. Т. 1—2. Вып. 1—6. Ремизовское словообразование «неперехожая» восходит к другому устойчивому выражению, усиливающему бесконечность действия — «ходить—не переходить».

С. 155. *На последнем пути по дороге в Оптину пустынь ~ встретилась девочка с блюдечком земляники.* — Описанный эпизод является пересказом воспоминаний спутника Гоголя — М. А. Максимовича о последнем посещении Гоголем Оптиной пустыни около 25 сентября 1851 г. (Записки. Т. 2. С. 235).

С. 157. *...до 19 марта 1809 г., рожденья Гоголя...* — Гоголь родился 20 марта (1 апреля) 1809 г.

Его душа Ганна. ~ «Знаешь ли что я думаю...» — Используя прямую цитату из повести «Майская ночь», Ремизов отождествляет мысли героини со словами самого Гоголя, который часто в письмах к друзьям признавался, что только вдали от России он приобретал душевный покой. «Если бы вы знали, с какою радостью я <...> полетел в мою душеньку, в мою красавицу Италию. Она моя! Никто в мире ее не отнимет у меня! Я родился здесь. — Россия, Петербург, снега, подлецы, департамент, кафедра, театр — все это мне снилось» (Гоголь. Т. 11. С. 111).

С. 158. *«...что же мне так больно и так трудно?»* — Цитата из стихотворения Лермонтова «Выхожу один я на дорогу» (1841).

Замечено В. В. Розановым: «смехач», «вывороченный черт» Гоголь и «демон» Лермонтов. — Сравнению инфернальных образов «великого сатирика» и «великого лирика» посвящена, в частности, статья Розанова «М. Ю. Лермонтов (К 60-летию кончины)» (Новое время. 1901. 15 июля. № 9109). В сочинениях Розанова присутствует постоянный мотив неприятия гоголевского «смеха» как выражение его демонической натуры.

...закат в «Чем люди живы»... — В рассказе Л. Н. Толстого «Чем люди живы» (1881) явления невидимого мира обнаруживаются в час заката: «Я взглянул на него <барина> и вдруг за плечами его увидал этого ангела, но я знал, что не зайдет еще солнце, как возьмется душа богача» (Толстой. Т. 25. С. 30).

И когда на Святой земле в Иерусалиме благодать не осенит его... — В апреле 1848 г. Гоголь совершил давно задуманное паломничество в Иерусалим. Переживая поездку как важнейшее духовное событие, он писал В. А. Жуковскому 28 февраля 1850 г.: «Мое путешествие в Палестину точно было совершено мною затем, чтобы узнать лично и как бы узреть собственными глазами, как велика *черствость* моего сердца. Друг, велика эта черствость! Я удостоился провести ночь у гроба Спасителя, я удостоился приобщиться от святых тайн, стоявших на самом гробе вместо алтаря, и при всем этом я не стал лучшим, тогда как все земное должно бы во мне сгореть и остаться одно небесное» (Гоголь. Т. 14. С. 167).

...словом ...лесковского Панвы. — Имеется в виду старец, герой рассказа «Запечатленный ангел» (1873).

С. 159. *«Приснись тебе все, что есть лучшего...»* — «Майская ночь» (Гоголь. Т. 1. С. 180).

«Андроны едут ~ это просто черт побери!» — Андрон — телега с жердями для перевозки сена; когда она пустая, жерди сзади тащатся и гремят. Здесь: идиоматическое выражение, обозначающее тех, кто важничает. Цитата с измененной пунктуацией из «Мертвых душ» (Гоголь. Т. 6. С. 190).

«Все это честолюбие оттого, ~ какой-то цирульник с Гороховой». — «Записки сумасшедшего» (Гоголь. Т. 3. С. 210).

С. 160. *«Царапни горшком мышь... — и душа в пятки».* — «Пропавшая грамота» (Гоголь. Т. 1. С. 181).

«Бабы — такой глупый народ ~ и душа уйдет в пятки». «Вий» (Гоголь. Т. 2. С. 204).

«Свитка, положенная в головах... дьяволом». — «Сорочинская ярмарка» (Гоголь. Т. 1. С. 138).

«Все обман, все мечта...» — «Невский проспект» (Гоголь. Т. 3. С. 45).

От Пушкина, не без Квитки-Основьяненко, Ревизор; от Пушкина «Мертвые души»... — Написанию «Ревизора» предшествовало письмо Гоголя к Пушкину от 7 октября 1835 г., в котором он просил: «Сделайте милость, дайте сюжет, духом будет комедия из пяти актов и, клянусь, будет смешнее черта». Фабула, подаренная Пушкиным, соотносится с его неосуществленным планом произведения «*Криспин* приезжает в Губернию...» (Пушкин. Т. 8. С. 431). Литературной предшественницей «Ревизора», сходной по сюжету, была также пьеса Г. Ф. Квитко-Основьяненко «Приезжий из столицы, или Суматоха в уездном городе» (1829). См. также «Авторскую исповедь» Гоголя, где он рассказывает о том, что «сюжет» «Мертвых душ» и «мысль» «Ревизора» были подсказаны ему Пушкиным.

С. 161. *«Если не сделаетесь ~ в царство Божие».* — Ср.: Мф. 18; 3. За несколько недель до кончины Гоголь записал эти слова в дневнике: «Аще не будете яко дети, не внидете в царство небесное» (Записки. Т. 1. С. 206).

С. 162. *Образ Мадонны — перед Чичиковым на балу...* — Ср.: «...она держала под руку молоденькую шестнадцатилетнюю девушку, свеженькую блондинку с тоненькими и стройными чертами лица, с остреньким подбородком, с очаровательно округлившимся овалом лица, какое художник взял бы в образец для мадонны» (Гоголь. Т. 6. С. 166).

...мир явлений — пестрота Майи... — В ведийской мифологии иллюзия, обман, способность к перевоплощению, свойственная божественным персонажам; одно из ключевых понятий древнеиндийской модели мира, вошедшее в европейскую философию как символ бессознательного и сна (Шопенгауэр).

С. 163. *...«тлетворный дух» Достоевского...* — Название главы из романа «Братья Карамазовы».

вётла — мн. число, от ветлá; т. е. верба, лоза, ива.

С. 165. *кацап* — малороссийское прозвище русского человека, распространенное в XIX в.

С. 166. *суперфлю* — слово, которое использует Ноздрев, «означавшее у него высочайшую точку совершенства» (Гоголь. Т. 6. С. 75).

С. 167. *«А как было на самом деле ~ досочинит сам».* — Неточная цитата из IX главы «Мертвых душ»: «Как было в самом деле, Бог их ведает; пусть лучше читатель-охотник досочинит сам» (Гоголь. Т. 6. С. 237).

Я не средней руки щенок... — вымышленный монолог щенка с использованием прямых цитат из поэмы «Мертвые души».

С. 168. *Мадам Ноздрева томная блондинка...* — Гоголь посвятил жене Ноздрева всего лишь несколько слов: «женитьба его ничуть не переменила,

тем более что жена скоро отправилась на тот свет, оставивши двух ребятишек...» (Гоголь. Т. 6. С. 70).

С. 169. *муругие* — подразумеваются собаки с волнистой, мраморной, рыже-бурой с черной волной шерстью.

С. 173. *Я не двуличный, у меня нет двойных мыслей...* — Характеристика, относящаяся к Ноздреву: «Экий ты, право... <...> Сейчас видно, что двуличный человек» (Гоголь. Т. 6. С. 81). Ср. также с автохарактеристикой Ипполита Мышкина из романа Достоевского «Идиот»: «Две мысли вместе сошлись, это очень часто случается. Со мной беспрерывно. <...> с этими *двойными мыслями* ужасно трудно бороться; я испытал» (Достоевский. Т. 8. С. 258).

...как поклонится у Достоевского в «Подростке» мать... — Ср.: «Еще раз перекрестила, еще раз прошептала какую-то молитву и вдруг — и вдруг поклонилась <...> — глубоким, медленным, длинным поклоном — никогда не забуду я этого!» (Достоевский. Т. 13. С. 273).

С. 174. *en gros* — в большом (*фр.*).

С. 177. *...под мышкой Duchesse de La Vallière «Réflexions sur la miséricorde de Dieu» в русском переводе «Размышления о Божиим милосердии герцогини Лавальер», по-французски он знает только звук «tiens!» — в Лавальер засунуто послание в стихах Вертера к Шарлотте...* — Речь идет о романе французской писательницы С. Жанлис (Мадлен Фелисите Дюкре де Сент-Обен; 1746—1830) «Герцогиня Лавальер», а также стихотворении В. И. Туманского «Вертер к Шарлотте (за час перед смертью)» (1819), написанном на тему романа Гете «Страдания молодого Вертера» (1774). *Tiens!* — Вот те на! (*фр.*); междометие, выражающее внутреннее удовлетворение или же удивление.

С. 178. *Гог и Магог.* — Легендарный свирепый царь Гог и его народ Магог; выражение вошло в обиход как нарицательное определение жестоких, хитрых людей.

...почтмейстер Иван Андреевич, автор повести о Капитане Копейкине, масон, настольная книга «Ночи» Юнга Штиллинга и «Ключ к таинствам натуры» Эккартсхаузена, вдался в Ланкастерскую филантропию... — См.: «Мертвые души» (Гоголь. Т. 6. С. 156—157). Ремизов подменяет автора сентиментально-дидактической поэмы «Жалобы, или Ночные думы о жизни, смерти и бессмертии» английского поэта Эдуарда Юнга (1683—1765), подразумеваемого в поэме, немецким писателем Юнгом Штиллингом (1740—1817). Юнг Штиллинг вместе с Карлом Эккартсгаузеном (1752—1803) были широко известны в России как авторы мистических сочинений. Почти все произведения Эккартсгаузена переводились на русский язык, в том числе «Ключ к таинствам натуры» (1804) и «Ночи, или Беседы мудрого с другом» (1804). Джозеф Ланкастер (1771—1838); английский педагог, который занимался бесплатным обучением бедных детей и выработал метод взаимного обучения.

С. 179. *...поклонники Коцебу игры Поплёвина и Зяблиной...* — Ср. с афишей, анонсировавшей репертуар уездного города NN, в поэме «Мертвые души»: «Впрочем, замечательного немного было в афишке: давалась драма г. Коцебу, в которой Ролла играл г. Поплевин, Кору — девица Зяблова...» (Гоголь. Т. 6. С. 12). Август К. Коцебу (1761—1819), популярный немецкий романист и драматург.

С. 179. *фризовая* — фриз — толстая ворсистая байка, из которой, в частности, шились шинели.

...некрасовский Влас, каркающий пришествие Антихриста... — Ср. с одноименным стихотворением Н. А. Некрасова (1854): «Говорят, ему видение / Все мерещилось в бреду: / Видел света преставление, / Видел грешников в аду...»

смильная — здесь: жалостливая.

Я червь мира сего. — Ср. с рассуждениями Чичикова: «За что же другие благоденствуют, и почему я должен пропасть червем?» (Гоголь. Т. 6. С. 238). Ср. также: «Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе» (Пс. 21; 7).

С. 180. *...англичанин Времонт, который ~ изобрел искусственные деревянные ноги...* — Ср. с рассказом почтмейстера из «Мертвых душ»: «...в Англии очень усовершенствована механика. Что видно по газетам, как один изобрел деревянные ноги таким образом, что при одном прикосновении к незаметной пружинке уносили эти ноги человека Бог знает в какое место, так что после нигде и отыскать его нельзя было» (Гоголь. Т. 6. С. 205).

С. 181. *Есть вещи, друг Горацио... скажу по-русски: «в натуре ~ для обширного ума».* — Ремизов приводит известные слова Гамлета в собственном переводе. Ср.: «Есть много в небесах и на земле такого, / Что нашей мудрости, Гораций, и не снилось» (Шекспир. Гамлет, I, 5. Перевод К. Р.)

«Чего уж невозможно сделать, того никак невозможно сделать». — «Мертвые души» (Гоголь. Т. 6. С. 102).

С. 184. *...что вызовет досадливое и покроется вечной памятью: «скотина».* — Ср. с рассуждениями Чичикова: «Как не чувствовать мне угрызения совести, зная, что даром бременю землю, и что скажут потом мои дети? Вот, скажут, отец, скотина, не оставил нам никакого состояния!» (Гоголь. Т. 6. С. 238).

С. 185. *«Я тебя знаю насквозь, как ты сам себя не знаешь. И хоть бы ты Соломона заткнул за пояс...».* — Измененная цитата из XI главы «Мертвых душ» (Гоголь. Т. 6. С. 226). В тексте поэмы названо имя знаменитого афинского законодателя Солона (635—560 гг. до н. э.).

С. 187. *повытчик* — столоначальник; делопроизводитель в повытье, то есть отделении канцелярии.

С. 191. *...воспользовался клубничкой штабс-капитан Шишмарев...* — В собственном пересказе Ремизов использует лексикон приятеля Ноздрева Кувшинникова (Гоголь. Т. 6. С. 66). Кроме того, изменена фамилия штабс-капитана; в оригинале: Шамшарев (Гоголь. Т. 6. С. 237).

С. 192. *«Громада бедствий и буря испытаний», выражаясь не уличной галантерью, а киевской Берындой...* — Памво Берында (между 1550—1570-ми гг. — 1632), деятель украинской культуры, поэт, автор словаря «Лексикон славеноросский и имен толкование» (1627). Ср.: «Вот какая громада бедствий обрушилась ему на голову!» (Гоголь. Т. 6. С. 238); а также: «Нет, просто не приберешь слова: галантёрная половина человеческого рода... <...> Виноват! Кажется, из уст нашего героя излетело словцо, подмеченное на улице» (Гоголь. Т. 6. С. 164).

С. 193. *Эту «скотину» Розанов не мог простить Гоголю.* — Ср.: «Уже известно, что Чичиков сильно заботился о потомках ("Вот, скажут, отец —

скотина: не оставил нам никакого состояния"). Какой ужас, какое отчаяние, и неужели это правда? Разве мы не видели на деревенских погостах старух, которые сидят и плачут над могилами своих стариков, хотя они оставили их в рубище, в котором и сами жили?» (Розанов В. Легенда о Великом инквизиторе. СПб., 1906. С. 18).

С. 193. *И этого не простит Достоевский своему учителю ~ и выместит в Опискине-Гоголе все свое негодование.* — Речь и нравоучительный тон Фомы Фомича Опискина, главного героя повести «Село Степанчиково и его обитатели», пародируют гоголевскую «Переписку с друзьями». См.: Тынянов Ю. Н. Достоевский и Гоголь (к теории пародии) // Ю. Н. Тынянов. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 212—226.

С. 194. *корамора* — Ср. с авторскими примечаниями к V главе «Мертвых душ»: «Корамора — большой, длинный, вялый комар; иногда залетает в комнату и торчит где-нибудь одиночкой на стене. К нему спокойно можно подойти и ухватить его за ногу, в ответ на что он только топырится и корячится, как говорит народ» (Гоголь. Т. 6. С. 91).

Толстой, насупясь, говорил о Гоголе, что предпочтет Марлинского и русского гофманиста Погорельского... — Очевидно, источником этого утверждения послужили «Воспоминаиия от Льве Николаевиче Толстом» М. Горького, опубликованные дважды отдельными изданиями (Пг., 1919; Берлин, 1921), где, в частности, автор воспроизводит один из своих разговоров с Толстым: «...Вы читали Вельтмана? — Да. — Неправда ли — хороший писатель, бойкий, точный, без преувеличений. Он иногда лучше Гоголя. Он знал Бальзака. А Гоголь подражал Марлинскому. Когда я сказал, что Гоголь, вероятно, подчинялся влиянию Гофмана, Стерна и, может быть, Диккенса, — он, взглянув на меня, спросил: — Вы это прочитали где-нибудь? Нет? Это неверно» (Цит. по: Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 2. М., 1978. С. 498).

С. 196. *шалоновый сюртук* — из тонкой шерстяной ткани саржевого переплетения.

С. 200. *Морок* — букв.: мрак, помрачение ума. Ср. также: «субъективная стилизация восприятия (морок)» (Андрей Белый. Мастерство Гоголя. М.; Л., 1934. С. 185).

Рассказывают, что тунгусы, попав впервые в город... — Источником этой истории послужил рассказ В. Шишкова «Помолились. Рассказ из тунгусской жизни»: «Шли они прямиком, перелезали огороды и заходили в чужие дворы <...> по улице идти — долго ль заблудиться. Тут не тайга, борони Бог...» (Завсты. 1912. № 2. С. 95).

С. 212. *смушевая шапка* — сшитая из шкурок ягнят.

С. 217. *Достоевский в «Хозяйке» пытался подделать свою Катерину...* — В повести «Хозяйка» (1847) ощутимо сильное влияние поэтики гоголевской «Страшной мести», особенно в обрисовке характера главной героини (См.: Тынянов Ю. Н. Достоевский и Гоголь. С. 199; Переверзев В. Ф. Творчество Достоевского. М.; Л., 1922. С. 27. Андрей Белый. Мастерство Гоголя. С. 288—290).

С. 225. *«Если бы вы знали, говорит Гоголь, окончив Вия ~ сколько перестрадал».* — Ср. с письмом Гоголя к М. А. Максимовичу от 9 ноября

1833 г.: «Если б вы знали, какие со мною происходили страшные перевороты, как сильно растерзано все внутри меня. Боже, сколько я пережег, сколько перестрадал!» (Гоголь. Т. 10. С. 283).

С. 225. *Тургеневские «Призраки» призрачны после «Вия»...* — В повести-фантазии И. С. Тургенева «Призраки» (1864) используется мотив полета героя с таинственным существом, что дает основания рассматривать это произведение в русле литературной традиции, известной в России по произведениям В. Ф. Одоевского и Гоголя.

С. 229. *В Тысяча и одной ночи в рассказе о Абу-Мухамед-лентяе описан полет: «Марид полетел со мной по воздуху ~ летели искры».* — Неполная цитата из сказки в переводе М. Салье (1929). Ср.: Тысяча и одна ночь. Т. 2. М., 1993. С. 126—129.

На мариде или на черте, на небесах все та же «дрянь»... — Ремизов обнаруживает общий сказочный мотив, связывающий полет героя арабской сказки на бесе-мариде и путешествие кузнеца Вакулы из повести Гоголя «Ночь перед Рождеством».

С. 231. *...по-русски выражаться не прудоня.* — Здесь: не используя застылые, привычные выражения.

...всякое «без-образие» — перевернутость. — Одно из ключевых понятий в мировоззрении Ремизова, связанное с отказом от предустановленных смыслов: «Оно приходит — назовите, как я говорю: «без-образие» или по-вашему "безобразием" — всегда без подготовки, никакого замысла, а лишь по наитию и осенению, вдруг. <...> С "без-образием" жизнь несравненно богаче — это заключение из всей моей жизни» (Иверень. С. 115).

...«в чужих краях разогнать свою тоску»... — М. П. Погодин в письме от 6 мая 1836 г. так утешал Гоголя после многочисленных отрицательных рецензий на постановку комедии «Ревизор»: «...я расскажу тебе о чужих краях, и это будет полезно для твоего путешествия». Гоголь отвечал товарищу 15 мая 1836 г.: «Прощай. Еду разгулять свою тоску...» (Переписка Н. В. Гоголя. В 2 т. Т. 1. М., 1988. С. 361, 365).

...«словесно все вдруг и для тебя неожиданно». — В авторском «Предуведомлении для тех, которые пожелали бы сделать как следует "Ревизора"» имеется пояснение: «Обрываемый и обрезаемый доселе во всем, даже в замашке пройтись козырем по Невскому проспекту, он почувствовал простор и вдруг развернулся неожиданно для себя» (Гоголь. Т. 4. С. 116).

Я слышал М. А. Чехова, его чтение Хлестакова... — К выдающимся ролям Михаила Александровича Чехова (1891—1955), актера, режиссера, театрального педагога, племянника А. П. Чехова, относится роль Хлестакова в спектакле МХАТа (1921).

С. 232. *В сказке «Клад», беру из моих «Сказок русского народа»...* — Речь идет о сборнике «Сказки русского народа, сказанные Алексеем Ремизовым» (Берлин, 1923).

С. 235. *дрофиный* — от названия птицы: дрофа.

С. 239. *...никакой заоблачной «Кафки», ни мороки, нет и оккультного Новалиса и каббалистического Нерваля...* — Перечисляются писатели, в творчестве которых особую роль играли мистические мотивы, а также поэтика сновидения: модернист Франц Кафка (1883—1924), представитель

раннего немецкого романтизма, лирик, прозаик и философ Новалис (Фридрих Леопольд фон Харденберг; 1772—1801) и предшественник французских символистов, поэт-романтик Жерар Нерваль (Жерар Лабрюше; 1808—1855).

С. 239. *...брудастое нутро ~ по своей «комкой» природе...* — От брýди — бакенбарды. Ср. с описанием собак Ноздревым: «Я тебе продам такую пару <собак>, просто мороз по коже продирает! Брудастая, с усами, шерсть стоит вверх, как щетина. Бочковатость ребер уму непостижимая, лапа вся в комке, земли не заденет» (Гоголь. Т. 6. С. 80).

С. 240. *Из всех отзывов о Гоголе проникновеннее всех — В. В. Розанов: «никогда более страшного человека... подобия человеческого не приходило на нашу землю».* — См.: Уединенное. С. 315.

С. 241. *...сатанинское имя Гоголя — имя птицы, под видом которой по богомильскому сказанию, является Сатанаил при сотворении земли...* — В основе богомильства — средневековой ереси, возникшей на христианской почве и близкой к манихейству, лежало признание Сатанаила как сына Бога и брата Иисуса Христа. Согласно космогонической легенде, сохранившейся в средневековых славянских апокрифах под названием «Сказание о Тивериадском море», Бог, опустившись на дно безбрежного первичного океана — Тивериадского (Генисаретского) озера, увидел Сатанаила, плавающего в виде птицы гоголь. Повелев Сатанаилу достать со дна моря песок и кремень, Бог создал из песка землю, а из половины кремня — ангелов и архангелов; из другой части кремня Сатанаил сотворил свое бесовское воинство.

...«проклятая колдунья с черным пятном...» — См.: Уединенное. С. 315.

В русской музыке «кикимору» создал А. К. Лядов. — Композитор и дирижер Анатолий Константинович Лядов (1855—1914) был автором музыкального сочинений «Кикимора. Народное сказание» (1909).

Кикимора — от лесавки и человека. — Народные поверья связывают кикимор с домовыми женского рода, с невидимыми девушками, заколдованными кудесницами или с некрещеными умершими младенцами. См.: Даль В. (Казак Луганский). Полн. собр. соч. Т. 10. СПб.; М., 1898. С. 338—339.

С. 242. *Как-то шли мы в Петербурге с Шестовым по Караванной и разговаривали на философские темы ~ прямо ему на шляпу.* — Ремизов вспоминает этот эпизод в одном из своих первых писем к Л. Шестову из Берлина в другой интерпретации: «...помнишь шли мы втроем <...> и Д. А. Левин был, помнишь, птица ему на шляпу и с...нула, на Екатерингофско<м>?» (Шестов. 1993. № 1. С. 170).

...кому и как писать прошения о вспомоществовании... — «Жалобное о помощи» — одно из прошений Ремизова в Дом Искусств сохранилось на страницах рукописного альманаха К. И. Чуковского «Чукоккала» (М., 1979. С. 256).

поветовый — уездный.

мора-мор-морана-мара-наваждение-чары — синонимический ряд слов, значение которых связано с призрачными и волшебными свойствами различных представителей демонического мира.

С. 242. *...я видел ее однажды весенним ранним утром в Устьсысольске...* — К кикиморе — образу зырянской мифологии Ремизов обратился еще в ссылке в 1901 г., в одном из своих первых стихотворений в прозе, позже опубликованном с авторским пояснением: «Кикимора — близкая и родная нам русским Кикимора, — детище Омеля, нашедшая исход отчаянью в юморе и некотором озорстве» (См.: Ремизов А. Чортов лог и полунощное солнце. СПб., 1908. С. 315). (См. также: Иверень. С. 165—167; 177—178).

С. 244. *В Сказаниях русского народа у И. П. Сахарова...* — Этнограф-фольклорист, археолог и палеограф Иван Петрович Сахаров (1807—1863) был автором знаменитого собрания фольклорных и этнографических материалов «Сказания русского народа о семейной жизни своих предков» (1836—1837; доп. изд.: 1841—1849).

С. 245. *Ремез — из птиц первая...* — С легендой о маленькой птичке, наделенной большим талантом, связана ремизовская автомифология, объясняющая происхождение его фамилии. См.: Алексей Ремизов о себе // Ремизов А. Избранное. Л., 1991. С. 548. Ср. также с ремизовским пересказом народной легенды о птице ремез в новелле «Ремез — первая пташка» во втором томе книги «Посолонь» («К морю-океану»), а также с вариантом этой легенды в сказке «Ремез-птица» (Альманах «Гриф». 1903—1913. М., 1914. С. 136).

С. 247. *«Языку нашему надобно ~ наша правильность».* — Ср. с письмом Пушкина к М. П. Погодину (конец ноября 1830 г.): «Языку нашему надобно воли дать более — (разумеется сообразно с духом его). И мне ваша свобода более по сердцу, чем чопорная ваша правильность» (Пушкин. Т. 10. С. 250).

По Гоголю Пушкин «охотник до смеха»... — См. коммент. к С. 144.

...и в моем неотступном и упорном: «Заговорит ли Россия по-русски?» — Ср.: «Русский, с годами еще руше, я спрашиваю из моего затвора: заговорит ли Россия по-русски?» (Встречи. С. 88).

...пушкинское: «русский язык у московских просвирен». — Измененная цитата из заметки «Опровержение на критики» (1830): «...не худо нам иногда прислушаться к московским просвирням. Они говорят удивительно чистым и правильным языком» (Пушкин. Т. 11. С. 149).

С. 248. *...русская мысль Пушкина ~ о живой воде...* — Приглашая Н. М. Языкова сотрудничать в журнале «Современник», Пушкин писал 14 апреля 1836 г.: «Ваши стихи: вода живая: наши — вода мертвая; мы ею окатили "Современника". Спрысните его Вашими кипучими каплями» (Пушкин. Т. 10. С. 446).

...своей вдохновенной изобразительностью достигают вершин Иезекииля. — Имеется в виду библейская «Книга Пророка Иезекииля», отличающаяся особым языком и стилем, которую голландский мыслитель XVII в. Г. Гроций сравнивал с произведениями Гомера.

...сказывает летопись, — «чудь, весь и меря языка нема». — Контаминация двух устойчивых формул: «чудь, весь и меря», которая обычно применялась к финно-угорским племенам, населявшим Восточно-Европейскую равнину, и «языка нéма», употребляемой в древнерусских летописях по отношению к иноязычным (не знающим славянского языка) племенам.

С. 249. *У нас нет культуры слова, не было Буало. И единственное наше неписанное «Art Poétique»...* — Французский поэт Никола Буало (1636—

1711) изложил теорию классицизма в своей поэме «Поэтическое искусство» (1674).

С. 249. *...«поэмы пишутся не мыслями, а словами». Под этими Малларме...* — Основная тема рассуждений французского поэта Стефана Малларме о новом стихотворном языке была представлена, в частности, в эссе «Кризис стиха» (1897): «...форма, именуемая стихом, попросту и есть сама литература; и как только размеренным становится произнесение слов, возникает стих...» (Малларме С. Сочинения в стихах и прозе. М., 1995. С. 323). На том же самом основании построены и выводы современного структурализма: «Малларме полагает — и это совпадает с нашим нынешним представлением, — что говорит не автор, а язык как таковой; письмо есть изначально обезличенная деятельность <...> суть всей поэтики Малларме в том, чтобы устранить автора, заменив его письмом» (Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989. С. 385—386).

Петр для России Александр Двурогий... — Сравнение Петра I со знаменитым античным полководцем и создателем могущественной империи Александром III Македонским (356—323 до н. э.).

...«разум сибирский а ус сосостерской»... — Надпись на одной из лубочных гравюр начала XVIII в., известная под названием «Мыши кота на погост волокут», на которой вторая часть писалась как «ус сусастерский». Исследователи конца XIX в. (В. В. Стасов, Д. А. Ровинский, И. М. Снегирев и др.) рассматривали этот лубок как народную карикатуру на Петра I. Подобная надпись повторялась и на деревянных гравюрах с изображением сидящего кота, которая традиционно также трактовалась как сатирическое изображение Петра, а значение неизвестного слова раскрывалось как «стоящий торчком» (См.: Ровинский Д. А. Подробный словарь русских гравированных портретов. СПб., 1888. Т. III). Новейшие изыскания полностью опровергают как толкование слова, так и весь смысл народной картинки (См.: Алексеева М А. Гравюра на дереве «Мыши кота на погост волокут» — памятник русского народного творчества конца XVII — начала XVIII в. // XVIII век. Сб. 14. Русская литература XVIII — начала XIX в. в общественно-культурном контексте. Л., 1983. С. 45—79).

С. 250. *...ладя слова по грамматике Грота...* — Подразумевается многократно переиздававшееся до орфографической реформы 1917—1918 гг. «Русское правописание» (1885) языковеда, историка литературы и переводчика Якова Карловича Грота (1812—1893).

Попугаи хранители старинных диалектов ~ ...«красная ворона»! — См. также рассказ «Красная ворона» в романе «Взвихренная Русь».

С. 251. *...слышать слово, а у китайцев все равно, что и видеть...* — Речь идет о древней художественной традиции, основанной на китайской философии, согласно которой оппозиции слова и изображения, характерной для европейского восприятия, не существует: «живопись — это молчаливая поэзия» (Тан Чжици). Подробнее см.: Завадская Е. В. Эстетические проблемы живописи старого Китая. М., 1975. С. 224—234.

С. 253—254. *Символисты, как Брюсов, а затем Кузмин, провозгласившие Пушкина литературным вождем...* — Хотя в своей программной статье «Священная жертва» (1905) Брюсов и высказывал упрек в адрес Пушкина за поэтическую «скрытность», призывая современную поэзию к «крайней, пос-

ледней искренности», в сознании единомышленников-символистов он воспринимался как поэтический преемник Пушкина: «...если Брюсов с кем-нибудь связан, так это с Баратынским и с Пушкиным...» (Цит. по: Андрей Белый. Критика. Эстетика. Теория символизма. Т. 1. М., 1994. С. 265). Представитель акмеизма М. Кузмин в программной статье журнала «Аполлон» объявил о принципах нового литературного направления, неразрывно связанных с идеалом пушкинской поэтики (См.: Кузмин М. О прекрасной ясности. Заметки о прозе // Аполлон. 1910. Январь. № 4. С. 5—11).

С. 254. *...и это как у Андрея Белого Гоголь, сведенный им в его собственной словесности к перезвучанию гоголевского поэтического слова...* — На поэтику прозаических произведений Андрея Белого и, в частности, повести «Серебряный голубь» (1909) значительное влияние оказало творчество Гоголя. Многолетнее осмысление творчества и судьбы писателя завершилось книгой «Мастерство Гоголя» (1934) — блестящим трудом теоретика-символиста, мыслителя и поэта, трактующим Гоголя предтечей всех литературных новаций XX в.

...указание Андрея Белого на Гоголя, как на поэта в прозе, сгладившего грань между «стихом» и «прозой»... — Ср.: «Гоголь за полстолетия до Верлэна предугадал: литература, начавшись с песни, ею и кончится... <...> Гоголь наперекор веку внял этому; он сломал в прозе "прозу"; <...> превратил прозу в *"поэзию-прозу"*» (Андрей Белый. Мастерство Гоголя. С. 227).

С. 262. *Ленинское о Толстом: «срывание всех и всяческих масок»...* — Подразумевается статья Ленина «Лев Толстой как зеркало русской революции» (1908).

С. 263. *...Рассказ о. Алексея.* — Буквальное название: «Рассказ о. Алексея» (1877).

С. 264. *...пропуская сокровенные слова о человеческом «сметь»...* — В диалоге с автором-рассказчиком из романа «Бесы» Кириллов выражает суть своего «богоборчества» в следующих словах: «Всякий, кто хочет главной свободы, тот должен сметь убить себя. Кто смеет убить себя, тот тайну обмана узнал. Дальше нет свободы; тут все, а дальше нет ничего. Кто смеет убить себя, тот бог. Теперь всякий может сделать, что Бога не будет и ничего не будет. Но никто еще ни разу не сделал» (Достоевский. Т. 10. С. 93—94).

...пропуская также и «красненького паучка»... — «Крошечный красный паучок» возникает в видении Ставрогина из романа Достоевского «Бесы» в главе «У Тихона» (Достоевский. Т. 11. С. 22).

С. 267. *...перед «завесой», которая так и не разодралась...* — Имеется в виду завеса (катапетасма), находящаяся в христианском храме за Царскими вратами в алтаре. По преданию, завеса разорвалась в Иерусалимском храме, когда Христос скончался на Кресте.

кадавр — труп (*фр.*)

С. 307. *колючая посконь* — одежда из грубого холста, выработанного из пыльниковой конопли.

С. 309. *...Бодлер ему был учитель «Petits poèmes en prose».* — «Стихотворения в прозе» (1869) стали последним художественным произведением французского поэта Шарля Бодлера (1821—1867).

С. 310. *И жизнь, как посмотришь...* — Последние строки стихотворения Лермонтова «И скучно и грустно» (1840): «И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, — / Такая пустая и глупая шутка...».

С. 310. *параманд* — нагрудное монашеское одеяние (четырехугольный плат с пришитыми шнурками, опоясывающими плечи, с изображением креста, орудий страстей Господних и пр.), традиционно изготавливавшееся из кожи в знак умерщвления мирских привязанностей.

С. 311. *Я спрашивал у здешних наших «рясофоров» (Ячеwновский, Ковалевский, Мочульский)...* — Подразумеваются специалисты в области истории русской литературы и, в частности, творчества Достоевского: библиофил Василий Лукич Яченовский, упоминаемый также в «Мышкиной дудочке» (1953) под прозвищем «главный водопроводчик» (С. 134); доктор историко-филологических наук Парижского университета Петр Евграфович Ковалевский (1901—1978) и автор монографии «Достоевский. Жизнь и творчество» (Париж, 1947); историк русской литературы, автор работ о Гоголе и Достоевском Константин Васильевич Мочульский (1892—1948).

...сам Бутчик, а в книжных справочных делах он настоятель ... сказал мне бестрепетно: ничего. — Уроженец Петербурга, с 1923 г. эмигрант, Владимир Владимирович Бутчик (1892—1980) работал в русском книжном магазине в Париже, где и состоялось его знакомство с Ремизовым. Работая над очерком, посвященным «Скверному анекдоту», Ремизов в письме от 16 ноября 1944 г. спрашивал Бутчика, ставшего его постоянным консультантом по истории русской литературы XIX в.: «...хотелось бы мне узнать историю этого рассказа. У Бэма нет ничего. Нет ли в “Литерат<урном> наследстве” там, где о Достоевском. М. б. кто-нибудь писал специально? (я не встречал)» (Письма В. В. Бутчика к Ремизову / Публ. H. Sinany-Leod // Revue des Études slaves. Paris. LIII/2. P. 304). Уже закончив статью, Ремизов написал своему корреспонденту: «Я вам очень благодарен за все указания. Поминаю о вас и в моих “Наблюдениях” о Ск<верном> Анекдоте» (Там же. P. 309). После второй мировой войны Бутчик работал библиографом в Славянском институте (Париж).

Я пересмотрел много всяких исследовании о Достоевском... — Речь идет о книгах Альфреда Людвиговича Бема (1886—1945): «К вопросу о влиянии Гоголя на Достоевского» (1928); «Тайна личности Достоевского» (1928), «У истоков творчества Достоевского (1936); князя Дмитрия Петровича Святополк-Мирского (псевд. D. S. Mirsky; 1890—1939): «A History of Russian Literature from the Earliest times to the death of Dostoyevsky (1881)» (1926); Артура Лютера (1876—1955): «Geschichte der russischen Literatur» (1924).

...как однажды потерял Петер Шлемиль у Шамиссо. — Подразумевается повесть-сказка немецкого писателя Адельберта фон Шамиссо (1781—1838) «Необычайная история Петера Шлемиля» (1814) о человеке, продавшем свою тень.

С. 312. *...как однажды сказалось о погибшем человеке (о Аполлоне Григорьеве), что «заболевал он тоской своей весь...».* — См.: «Примечание <к статье Н. Страхова “Воспоминания об Аполлоне Александровиче Григорьеве”>» (1964) (Достоевский. Т. 20. С. 136).

С 313. *...рассказы Веретенникова...* — один из персонажей «Заметок петербургского туриста» (1855—1856) А. В. Дружинина.

С. 314. *...маклера Леопольда Блюма...* — Упоминается герой романа Дж. Джойса «Улисс» (1922), мелкий рекламный агент.

С. 314. *Бестужев-Марлинский ~ разоблаченный Белинским за «вулканические страсти» и «трескотню фраз»...* — Неточное воспроизведение определений Белинского. Ср. с обзорной статьей «Русская литература в 1843 г.»: «В сфере поэтической прозы отличались тогда трескучими эффектами и фразою повести Марлинского...» (Белинский. В. Г. Полн. собр. соч. Т. 8. М., 1955. С. 52), а также с рецензией на прозу 1842 г.: «...мы говорим о романе восторженном, патетическом, живописующем растрепанные волосы, всклокоченные чувства и кипящие страсти. Основателем этого романа был даровитый Марлинский...» (Там же. Т. 6. С. 32).

В. В. Розанов по каким-то египетским разысканиям о человеческой трехмерности ~ «да ведь это фалл!..» — Для Розанова вся человеческая история представляла собой «исчерпывающую и универсально вообразимую историю ф<алла>», управляющего миром (См.: Розанов В. В. Мимолетное. М., 1994. С. 254).

...гр. В. А. Соллогуб (1814—82)... — Год рождения прозаика Владимира Александровича Соллогуба — 1813.

...Я. П. Бутков (1815—56)... — Новейшие биографические материалы предположительно называют годом рождения прозаика Якова Петровича Буткова 1821 г.

С. 315. *...человек человеку подтычка и в то же время человек человеку — поперек.* — Одна из вариаций жестокой истины человеческого общежития, открывшейся герою повести «Крестовые сестры» (1910) Петру Алексеевичу Маракулину: «человек человеку бревно».

С. 320. *...скажу словами нашего первого летописца: «нельзе казати срама ради».* — Характеристика восходит к «Повести временных лет», где описывается знамение, обращенное воюющим князьям, — ребенок, на лице которого были срамные части. См.: Повесть временных лет. М., 1950. Ч. 1. С. 110.

С. 320—321. *...из «Писем русского путешественника» Карамзина знал о парижском танцевальном маге, воздушном Вестрисе...* — Подразумевается Мари Жан Огюст Вестрис (1760—1842) — французский танцовщик. Ср.: «...искусство сего танцовщика удивительно. Душа сидит у него в ногах, вопреки всем теориям испытателей естества человеческого, которые ищут ее в мозговых фибрах» (Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. М., 1980. С. 280).

С. 321. *...часто вспоминает о Дюпоре...* — Луи Антуан Дюпор (1786—1853) — артист балета, гастролировавший в Петербурге и Москве в 1808—1812 гг.

...этот «просто Фокин»... — Речь идет о балетмейстере, танцовщике и педагоге Михаиле Михайловиче Фокине (1880—1942).

...видел Фанни Эльслер, хранит на память книгу... — Австрийская балерина Фанни (Франциска) Эльслер (1810—1884); в 1843—1851 гг. с триумфом выступала в Москве и Петербурге. Подразумевается книга Е. П. Ростопчиной «Фанни Эльслер» (1851).

...на Красную Горку. — Религиозный православный праздник, следующий непосредственно за Пасхой.

С. 323. *Дружинин ~ упрекал Достоевского за излишнюю «выписанность».* — Ср.: «Тяжким трудом отзываются повести г. Достоевского, пахнут пóтом, если можно так выразиться, и эта-то излишняя обработка, которой автор не умеет скрыть, вредит впечатлению» (Дружинин А. В. Письма иногород-

него подписчика в редакцию «Современника» о русской журналистике» // Современник. 1849. № 2. Отд. V. С. 186).

С. 324. *Некрасов ~ открывший Достоевского — «второй Гоголь!»...* — В «Дневнике писателя» за 1877 г. Достоевский рассказывает о том, как Некрасов, познакомившийся с его повестью «Бедные люди» в рукописи, поспешил поделится своим открытием с В. Г. Белинским: «"Новый Гоголь явился!" — закричал Некрасов, входя к нему с "Бедными людьми". — "У вас Гоголи-то как грибы растут", — строго заметил ему Белинский, но рукопись взял» (Достоевский. Т. 25. С. 30). На следующий день Белинский сам говорил о повести с восторгом и просил Некрасова познакомить с ее автором.

Возможно, что Ст. Сем. Дудышкин (1820—66) заметил только эту «темноту»... — В своем обзоре «Русская литература в 1848 году» литературный критик Степан Семенович Дудышкин высоко оценил ранние произведения Достоевского, лучшего, по его мнению, представителя «психолого-эстетической литературы».

С. 325. *«Вонмем! — услышим святого Евангелия чтение...»* — Возглас дьякона на литургии.

С. 327. *Нет больше привычной «действительности»... остались от нее одни клочки и оборки.* — Оборки — остатки. Аллюзия к цитате Достоевского. См. коммент. к С. 141.

С. 328. *...отпевание русского Фальстафа...* — Фальстаф — персонаж хроники «Король Генрих IV» и комедии «Виндзорские кумушки» В. Шекспира, гуляка и весельчак. Здесь подразумевается персонаж романа Ф. М. Достоевского «Бесы» — Лебядкин.

«шаривари» — от charivari (*фр.*), т. е. обструкции, устраиваемой при помощи шума, грохота, свиста перед домом лица, вызвавшего общественное неудовольствие.

С. 330. *Соломония* — аллюзия Ремизова на собственное произведение «Соломония Бесноватая» (1929), основанное на демонологическом древнерусском сюжете (XVII в.) о молодой женщине, одержимой бесами, которые мучили ее сексуальными домогательствами.

С. 332. *«Голубиная книга»* — В различных вариантах духовного «Стиха о Голубиной (т. е. мудрой — "глубинной") книге», сложившегося на основе апокрифического сказания «Беседа трех святителей», рассказывается о существовании особой сакральной книги, в которой раскрыты тайны прошлого и будущего. Вариант духовного стиха «Голубиная книга сорока пядень» содержится в неоднократно цитировавшемся Ремизовым «Сборнике Кирши Данилова».

С. 337. *французский фальконет.* — Имеется в виду старинное мелкокалиберное артиллерийское орудие, стрелявшее свинцовыми ядрами.

С. 338. *В Москве в 40-х годах прошлого века жил доктор Гааз...* — Старший врач московских тюремных больниц Федор Петрович Гааз (1780—1853) был известен своей благотворительностью и самоотверженным трудом, направленным на улучшение ухода за больными и заключенными.

С. 340. *...на картине Гольбейна...* — Речь идет о картине Ганса Гольбейна Младшего (1497—1543) «Мертвый Христос» (1521).

С. 343. *...не Прокопий, не Иоанн, устюжские чудотворцы...* — Юродивые Святой, праведный Прокопий Устюжский († 1303; день памяти 8 июля) и Святой блаженный Иоанн Устюжский († 1494; день памяти 29 мая), почитаемые в народе как чудотворцы.

...зеленая Истар... — В мифологии ассириян Иштар, дочь богини Луны, богини брака, совокупляющей все твари — то же, что и Астарта.

С. 345. *бусурная и стыльная* — дрянная и холодная.

С. 346. *...зазыв на юмористический журнал «Ералаш»...* — Подразумевается «Ералаш. Легонький сборник веселеньких статеек и уморительно-курьезных рисунков» (СПб., 1874).

МАРТЫН ЗАДЕКА. Сонник

Впервые опубликовано: Мартын Задека. Сонник. Париж: Оплешник, 1954. 103 с.

Печатается по изданию 1954 г.

История создания книги «Мартын Задека» ведет свое начало с публикации первых циклов миниатюр, получивших жанровое определение «сны». К ним относятся три одноименных цикла «Под кровом ночи. Сны», появившиеся в 1908 г.: семь снов в журнале «Всемирный вестник» (№ 3), двадцать пять снов в журнале «Золотое руно» (№ 5), семь снов и послесловие в журнале «Весна» (№ 8). Эти тексты, связанные общим заголовком, в отличие от последующих циклов снов, не имели самостоятельных названий и обозначались лишь цифрами и были композиционно объединены либо вступлением, либо послесловием. Эти краткие авторские пояснения можно считать первыми попытками Ремизова создать собственную «гипнологию», которая позже получит развитие в его очерках «Полодни ночи» и «Тонь ночи» в книге «Мартын Задека». На этот весьма оригинальный жанр сразу обнаружился спрос среди редакторов ведущих периодических изданий. В письме к Ремизову 28 октября 1908 г. З. Н. Гиппиус, рассчитывая получить новые «Сны» для журнала «Русская мысль», отзывалась: «Очаровательны ваши “Сны” в Зол<отом> Руне! Не видали ли еще каких, для нас?» (РНБ. Ф. 634. Оп. 1. № 88. Л. 22). Следующий цикл снов под названием «Бедовая доля», который был написан уже в конце 1908 г., о чем сообщалось в анонсе «Золотого руна», в разделе «Вести отовсюду» (1908. № 11/12. С. 89), был предложен Ремизовым «Русской мысли». Однако, несмотря на помещенное на страницах ноябрьского номера журнала объявление о предстоящей публикации цикла снов под названием «Глупые ночи», новые «сновидения» Ремизова не произвели ожидаемого впечатления ни на заведующего литературным отделом журнала Д. С. Мережковского, ни на его жену З. Н. Гиппиус, принимавшую деятельное участие в составлении портфеля издания. Гиппиус писала Ремизову 22 ноября 1908 г., склоняясь отказать от публикации вообще: «Считали мы, рассчитывали на Ваши “Сны”, а вы отдали настоящие в Руно, нам же дали поддельные» (РНБ. Ф. 634. Оп. 1. № 88. Л. 23). В конечном итоге цикл из 16 снов под названием «Бедовая доля. Ночные приключения» все-таки появился в майской книге журнала, и был предварен авторским вступлением. В следующем году цикл, состоящий уже из 47 снов, пополненный новыми

текстами и разделенный на две части, с посвящением Л. Шестову, был включен Ремизовым в состав книги «Рассказы» (СПб., 1910), а спустя год самая полная редакция «Бедовой доли» была представлена в третьем томе его «Сочинений». Впоследствии из 50 текстов «Бедовой доли» в книгу «Мартын Задека» не вошло только 18 снов. Новый цикл «С очей на очи» появился в 1913 г. в составе сборника «Подорожие». Из семи текстов этого цикла варианты трех были включены в состав «Мартына Задеки». Создание больших «сновиденных» композиций в творчестве Ремизова закончилось публикацией цикла «Кузовок. Вещь темная», который первоначально появился в третьем номере альманаха «Сирин» (1914), а затем в дополненном виде был перенесен автором в сборник «Весеннее порошье» (1915) под названием «Кузовок». В книгу «Мартын Задека» из этого цикла также вошли отнюдь не все сны: 21 «сновидение» осталось за рамками «Сонника». В эмиграции Ремизов лишь дважды реализовал стремление создавать «сновиденные» циклы. В 1925 г. он подготовил к печати еще две подборки снов, под названием «Мои сны литературные» и «Мои сны», которые были связаны с именами реальных писателей, поэтов и художников. Отчасти же эти тексты являлись литературной обработкой снов жены писателя С. П. Ремизовой-Довгелло. Рукопись и наброски некоторых из них отчасти сохранились в Собрании семьи Резниковых (Париж) и в тетради Ремизова «Мои сны исторические» (ЦРК АК). Из переписки Ремизова с кн. Д. А. Шаховским (редактором журнала «Благонамеренный») следует, что в конце 1925 г. Ремизов безуспешно пытался пристроить свои тексты в это издание: «Не возьмете ли несколько моих Литературных снов: Вячеслав Иванов. <...> Сологуб. Савинков. Рерих. З. А. Венгерова. Сны никому не обидные, снившиеся мне в разные годы моей жизни и очень характерные для снившихся» (Шаховской И. Биография юности. Париж, 1977. С. 223). Тем не менее сны «Вячеслав Иванов», «Сологуб», «Савинков», «Рерих», «З. А. Венгерова», «Jean Pougny» впервые появились в рижской газете «Слово» (1925. 11 ноября. № 11). Другой, также отличающийся тематическим единством цикл, озаглавленный «Мои сны» («Блок», «Брюсов», «Бальмонт», «Кузмин», «Философов», «Лев Шестов», «Мережковский», «Щеголев», «Алексей Толстой»), был напечатан в журнале «Звено» (Париж. 1925. 26 октября. № 143). Несколько «снов» из этого цикла по материалам парижского архива писателя опубликовала А. Пайман (См.: Pyman. A. Petersburg dreams // Aleksej Remizov. Approaches to a Protean Writer / Ed. by G. N. Slobin // UCLA Slavic Studies. 16. 1987. P. 51—100). Отметим, что многие литературные сны сохранились в ремизовских тетрадях 1925—1930-х гг. наряду с записями реальных сновидений писателя, впоследствии подвергшихся литературной обработке: «Книга потерь и утрат», «Клади в мешок — дома разберем. Сны» (Бахметьевский архив). Значимой формой создания литературных снов стали также графические дневники писателя конца 1930—1940-х гг., в которых он зарисовывал свои настоящие «сновидения» (См.: Каталог. С. 13—14). На протяжении всей истории формирования ремизовского «Сонника» необычный жанр, основанный на реальных сновидениях, принципиально соединяющих факты, имена, события действительности и неконтролируемый рассудком поток сновиденной фантазии, вызывал противоречивые мнения. Категорически отрицательные оценки но-

вого литературного опыта Ремизова (Биржевые ведомости. 1908. № 10629; 1910. № 11663) перемежались с вдумчивым анализом нового для беллетристики художественного явления. Д. В. Философов, отзываясь на ремизовские «Рассказы» (1910), писал о том, что сны поразили его своим соответствием современной действительности: «Есть своя логика в сонной чепухе. Чепуха, главным образом, в нелепой последовательности, в извращенной причинности. <...> Но что же скрывать? Мы все видим такие сны... даже наяву. <...> Сон на то и сон, чтобы быть нелепым. А вот то, что было до сна, то, что записано, как протокол, как самая что ни на есть правда, — вот это ужасно. В сне ты — да и никто — не ответственен, а просыпаясь, инстинктивно веришь, что входишь в мир разумной воли или столь же разумной необходимости. Но бывают времена, что эта *естественная* вера колеблется, а иной, *сверхъестественной*, нет. Реальный мир превращается в бессмыслицу, а за реальностью ничего нет, пустота. <...> Ремизов очень просто, а потому и глубоко, выражает скорбь современной души, тоску по "реальнейшей реальности", как выразился бы Вячеслав Иванов» (Философов Д. В. Старое и новое. М., 1912. С. 25—28). В. Пяст, один из немногих, кто не подверг сомнению подлинность ремизовских «сновидений», в статье «Стилист-рассказчик» высоко оценил их литературную обработку и высказался за издание в виде самостоятельной книги: «"Сны" А. М. Ремизова тоже следовало бы издать отдельно. Они — такие коротенькие, такие чудные. Это ведь тоже не рассказы: это фотографии с действительных снов автора. <...> Правда, эти ремизовские сны подозрительны: слишком много глубокого, неожиданно смелого в них, чтобы не обвинить *бодрствующую* фантазию автора в соучастии. Впрочем бывает ли фантазия бодрствующей? Так или иначе, это незаурядные "сны". Если нам таких снов не увидеть, то и не выдумать нам таких снов. Иные, как "Двери", достигают глубины и напряженности настоящих "поэм в прозе"» (Вестник литературы. 1910. № 3. С. 82—83). Прямо противоположный взгляд на цикл «Бедовая доля», вошедший в состав третьего тома «Сочинений» Ремизова, высказал А. А. Измайлов: «В какой час ослепления, — писал он, — беллетрист мог принять мысль огласить, как литературное произведение, причудливые записи своих диких снов! <...> Это, очевидно, в Ремизове одно из чудачеств, которых у него не занимать <...> В этом именно жанре пишутся произведения в палатах № 6 <...> Все это, разумеется, должно отпасть со временем от Ремизова, как шелуха» (Измайлов А. Пестрые знамена. Литературные портреты безвременья. М., 1913. С. 98—99). В статье «Противоречия» (1910) А. Блок продолжил тему, затронутую ранее Философовым: «...мы <...> не имеем права сетовать на Ремизова, показывающего нам <...> весьма реальный клочок нашей жизни, где все сбито с панталыку, где все в невообразимой каше летит к черту на кулички» (Блок А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. М.; Л., 1962. С. 408). В рецензии А. Долинина справедливо отмечалась связь нового жанра с другими произведениями писателя: «Здесь сгусток, квинтэссенция его обычных восприятий жизни; здесь собраны вместе все странные и страшные символы его, которые мы встречаем во всех его произведениях и в которых он обычно воплощает свое отношение к жизни и к миру, воспринимаемому им как нечто огромное, бессмысленное, жестокое и безобразное» (Речь.

1912. 17 июля. № 163. С. 2). Сон как непременная составляющая поэтики всего творчества Ремизова в целом стал объектом внимания критика А. Рыстенко: «...важно для характеристики особенностей таланта и литературной физиономии Ремизова отметить связь “Бедовой доли”, в отношении отличающих эту пьесу моментов, именно сна, со всеми другими произведениями его. Ремизов любит рассказывать о снах, о сонных мечтаниях действующих лиц своих произведений, и эти сны являются ярко просвечивающей чертой его пьес» (Рыстенко А. В. Заметки о сочинениях Алексея Ремизова. Одесса, 1913. С. 39). Первоначально мысль о создании отдельной книги снов посетила Ремизова еще в 1908 г., когда «Русская мысль» на время отказалась от печати его первого цикла. В письме от 28 ноября, адресованном владельцу издательства «Шиповник» С. Ю. Копельману, Ремизов, предлагая свой проект, следующим образом охарактеризовал новый жанр: «Я написал ряд фантастических рассказов. Занимает лист (приблизительно). Объединены общим названием Бедовая доля. Ночные приключения. В них много глупости. (“Sattise”), есть непристойности (не влекущие 1001 ст<атьи>), есть то, что в поэзии можно было бы назвать “Légoutant”, да так, кажется, и называется у французов. Похожие рассказы были напечатаны в З<олотом> Р<уне> <...>, которыми в начале осени много занимались Московск<ие> газеты, а в Петербурге Бир<жевые> вед<омости>, Буренин и еще, не помню, кто. Я не хочу вам давать, не предупредив о их содержании и некоторой “скандальности”» (ИРЛИ. Ф. 485. № 21. Л. 2—2 об.). Оставшийся нереализованным замысел отчасти воплотился в последовательном включении раздела снов в авторские сборники 1900-х гг. Идея вновь стала актуальной в 1938 г., в Париже, когда Ремизов обратился к В. В. Кандинскому с предложением иллюстрировать его сны. Как следует из ответа художника, этот проект уже прорабатывался им в 1923 г. в Берлине и даже был осуществлен в нескольких гравюрах. Принимая предложение писателя, Кандинский писал 11 ноября 1938 г.: «1) Я еще должен поискать клише, что не так просто и 2) наизусть хорошенько не помню, для каких “снов” я сделал “иллюстрации”. Ведь с тех пор прошло 15 лет! Для меня было бы *очень* большим удовольствием увидеть свои рисунки рядом с Вашими чудесными текстами» (ЦРК АК). Однако и это издание, несмотря на заинтересованность не установленного нами издательства (от имени которого переговоры с автором вела некая M-me Bucher), так и не состоялось. Окончательное формирование книги «Мартын Задека», ее деление на пять глав, подбор эпиграфов и композиционное обрамление двумя автобиографическими очерками, пришлось на 1950-е гг. Учитывая своеобразие жанра, обусловленного поэтикой неразрывности, одновременности и абсурдизма, присущей сновидению, запись которого напоминает автоматическое письмо сюрреалистов, в настоящем томе в основном сохранены особенности авторской пунктуации и внесены исправления только в тех редких случаях, когда непосредственно рядом в тексте найдены прецеденты аналогичной расстановки знаков препинания. Сохранены также и некоторые особенности старого или авторского написания слов и фамилий («матерьял», фамилия «Бахрак» и др.). В целом орфография приведена в соответствие с современными правилами, корректировке подверглись также очевидные опечатки (к ним относим, например,

написание фамилии «Лорионов» и название сна «Загвозка»). Указывая сведения о печатной истории текстов «Мартына Задеки», только в редких случаях (когда в последнюю редакцию внесены реалии 1940—1950-х гг.) поясняется, что все они являются вариантами или даже новыми редакциями по отношению к первым публикациям в периодических изданиях и сборниках Ремизова 1910-х гг. Для сравнения в «Приложениях», помимо текстов, не включенных в книгу «Мартын Задека», публикуются другие редакции текстов, вошедших в книгу «Мартын Задека» («На луну» / «Домовые»; «По-дружески» / «Савинков»; «Черт и слезы» / «Сологуб»). Текстология книги требует дальнейшего специального исследования. Многие черновые автографы снов находятся в виде вариантов или других редакций в составе тетрадей, сохранившихся в зарубежных архивах (ЦРК АК; Бахметьевский архив; Собр. Резниковых). В виду невозможности сверки текстов, при указании информации о рукописных источниках даются только сведения, касающиеся вариантов названий.

Полодни ночи

Впервые опубликовано: НРК. 1953. 7 июня. № 15016; под общим загл. «Сны в русской литературе».

Рукописные источники: вариант первой главки, черновой автограф, под названием «Трущоба» — ЦРК АК; вариант первой главы — ИРЛИ. Ф. 256. Оп.1. № 54. Л. 1.

С. 353. *Was von Menschen nicht gewusst...* — Строфа из стихотворения Гете «К Луне» (1789); «<Счастлив тот...> / Кто делит с душой родной, / Втайне от людей / То, что прéзрено толпой / Или чуждо ей» (Пер. В. А. Жуковского).

С. 354. *Эразм* — Эразм Роттердамский (1469—1536), писатель, гуманист эпохи Возрождения.

В течение нескольких лет вел графический дневник... — Сохранилось несколько таких уникальных дневников, в которых Ремизов, подобно опытам сюрреалистов, фиксировал свои сновидения: «Именной графический полупряник Тырло. 550 снов. 22. XII. 1933 — 8. IX. 1937», а также альбомы с рисованными снами 1939—1940 гг. (См.: Каталог. С. 13—14).

С. 355. *Так случилось с С. Т. Аксаковым, в его воспоминаниях есть про сон роковой...* — В семейной хронике Сергея Тимофеевича Аксакова (1791—1859) «Детские годы Багрова-внука» (1858) описан фатальный («дурной») сон отца автобиографического героя, в котором ему был предсказан день смерти его матери. Описание этого сюжета сопровождается рассуждениями рассказчика: «... отец <...> в Покров видел дурной сон, и в тот же день, через несколько часов, — до обеда сон исполнился. Что же это значит? Можно ли после этого не верить снам? Не Бог ли посылает их?» (А к с а к о в С. Т. Собр. соч.: В 3 т. Т. 1. М., 1986. С. 466—467).

С. 356. *...из снов нашей ягиной консьержки..* — Консьержка в доме на улице Буало в Париже, которую Ремизов прозвал «василискоглазой» и «Костяной ногой», упоминается также в романе «Мышкина дудочка».

Макбетовское «убить сон»... — Ср. с монологом Макбета, убившего спящего Дункана (Шекспир. Макбет. Акт 2, сцена 2): «Казалось мне, разнесся вопль: «Не спите! / Макбет зарезал сон! — невинный сон, / Распутывающий клубок забот, / Сон, смерть дневных забот, купель трудов...» (Пер. Ю. Корнеева).

...*«быть» и «видеть сны» одно.* — Вариация на тему монолога Гамлета: «Быть иль не быть? <...> Умереть, уснуть; — / Уснуть! И видеть сны, быть может?» (Шекспир. Гамлет. III, 1. Перевод К. Р.).

С. 357. *...Астарта, цвет мертвых.* — Олицетворяемая богиней древнесемитской мифологии Астартой любовь и плодородие неизменно имеет и оборотную сторону, соединяя этот витальный образ с царством мертвых.

С. 358. *...в древних Оракулах...* — Имеется в виду популярный в народной среде тип гадательной книги. См., например: «Оракулы на нынешний и будущий год» (СПб., 1774).

С. 359. *Баран-овская* — актриса Московского Художественного театра Вера Всеволодовна Барановская (1885—1935), эмигрировавшая в Париж в 1928 г.

Ивица

Впервые опубликовано: С.-Альм., вариант под назв. «На палке» в составе цикла «Кузовок. Вещь темная» (далее: С.-Альм.—Квт). Другие публикации: ВП, вариант под назв. «На палке» в составе цикла «Кузовок» (далее: ВП—К); НЖ. 1954. № 39, под общим назв. «Тонь ночи» (далее: НЖ—Тн); СП. 1948, № 169. 16 января; НРС. 1951. № 14457. 25 ноября, в составе гл. «На мельнице» из кн. «Иверень».

Рукописные источники: фрагмент в составе наборной рукописи с многочисленной авторской правкой для альманаха «Сирин», под общим назв. «Кузовок. <На сон грядущий рассказы. — зачеркн.>. Вещь темная» — ИРЛИ. Ф. 79 (необработанная часть архива. Далее: ИРЛИ. Ф. 79); черновой автограф под назв. «На палке» — ЦРК АК; авторизованная машинопись в составе наборной рукописи книги «Иверень». 1940-е — ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 1. № 28, 29; РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 5. № 16, 17; Собр. Резниковых.

С. 363. *опуты* — веревки.

...*закручу и мчусь.* — Мотив демонического полета, восходящий к повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством».

Медведица

Впервые опубликовано: С.-Альм.—Квт.

Другие публикации: ВП—К; НЖ—Тн.

Рукописные источники: ИРЛИ. Ф. 79.

Кошка

Впервые опубликовано: НЖ—Тн.

Спутник

Впервые опубликовано: НЖ—Тн.

С. 365. *марид* — В арабской мифологии: демон.

Великан

Впервые опубликовано: С.-Альм.—Квт, под назв. «Конь-игрень».

Другие публикации: ВП—К, под назв. «Конь-игрень».

Рукописные источники: ИРЛИ. Ф. 79, под назв. «Конь-великан».

С. 366. *чернички* — монахини.

...вот закукует кукушка — моя, часы с кукушкой. — Находясь на отдыхе в Швейцарии на Женевском озере, Ремизов писал Блоку в июле 1911 г.: «А часы с кукушкой, о которых мечтал, мне не придется купить. Есть тут одно здание — башня, так на этой башне часы с кукушкою: кукушка маленькая вылетает, малюсенькая, а кукует, за озером *слышно*» (Переписка с А. М. Ремизовым // Литературное наследство. Кн. 2. С. 96). В автомифологическом контексте образ маленькой птички с сильным голосом писатель ассоциировал с народной легендой о птице-ремез. (См. коммент. к С. 244.) В 1910-е гг. часы с кукушкой стали постоянным элементом интерьера кабинета Ремизова. См.: Никитин В. П. «Кукушкина» (Памяти А. М. Ремизова): Воспоминания / Подгот. и коммент. Н. Грякаловой // А. Ремизов. Павлиньим пером. СПб., 1994. С. 212—238.

С. 367. *«Сущность вещей число!»* — Постулат мистического учения пифагорейцев (IV в. до н. э.), на основании которого родился математический символизм и система мистических чисел.

Бескрылый

Впервые опубликовано: С.-Альм.—Квт, под назв. «Глазатый».

Другие публикации: ВП—К, под назв. «Глазатый».

Зеленая заря

Впервые опубликовано: НЖ—Тн.

С. 368. *...как осенний Чайковский вечер...* — Подразумевается музыкальная картина П. И. Чайковского из его произведения «Времена года» (1876).

...моя глазатая рука глубоко дышит. — Для Ремизова субъективное представление о зрительном образе, его изображение, звучание, вербальное выражение и написание соединялись и взаимодополняли друг друга. Поэтому писатель часто иллюстрировал собственные произведения, а также создавал целые серии рисунков на темы мировой классической литературы. Подробнее см.: Слобин Г. Динамика слуха и зрения в поэтике Алексея Ремизова // Алексей Ремизов. Исследования. С. 157—165).

На луну

Впервые опубликовано: НЖ—Тн.

Другие публикации: ВП—К, под назв. «Домовые» (первая редакция).

С. 369. *Синие обои, лепные украшения на потолке; птицы, гады, травы.* — Возможно, имеются в виду рисунки Блока, которые Ремизов мог видеть в квартире Блока на Малой Монетной, 9. О своих рисунках поэт упоминает в дневниковой записи от 25 января 1912 г.: «...разрисовал стену (третьего дня вечером — елка, заяц, еж, слонята, слонячий боже, комета, роза, лодка, орнамент, краб, рыба, лангуста, медуза — “морской зонтик”, — закат солнце в море)» (Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1963. Т. 7. С. 126—127).

Чучело

Впервые опубликовано: С.-Альм.—Квт, под назв. «Живая чучела».

Другие публикации: ВП—К, под назв. «Живая чучела».

Рукописные источники: ИРЛИ. Ф. 79 (фрагмент).

С. 369. *«Ваша Rue Boileau ~ ничуть не меньше 14 линии Васильевского Острова».* — Имеется в виду последняя квартира Ремизова в Париже на улице Буало, 7, где он жил с октября 1933 по ноябрь 1957 г., и последняя квартира в Петербурге на Васильевском острове, которую он занимал с сентября 1916 по май 1920-го.

С. 370. *Про Пифагора говорилось, что «пришел на землю не бог, не человек, а Пифагор».* — В книге «О пифагорейской философии» Аристотель сообщает, что пифагорейцы хранили в строжайшей тайне разделение разумных существ на три вида: бог, человек и существо, подобное Пифагору.

...основанная им «обезьянья палата» называлась «Союз пифагорейцев»... — Ремизов соотносит Обезьянью Великую и Вольную Палату, существовавшую под патронажем мифического обезьяньего царя Асыки и последователей легендарного древнегреческого философа Пифагора, основавших мистико-философскую школу.

«Сам сказал» — принятая среди пифагорейцев отсылка к авторитету их учителя Пифагора.

Альбом

Впервые опубликовано: НЖ—Тн.

Рукописные источники: черновой набросок, под назв. «В водосточной трубе» в составе дневниковой тетради, дата: «с 30 — 1 <июня?>» — ЦРК АК.

С. 372. *Блок, обратившись в лягушку, нырнул в воду.* — Очевидная аллюзия к стихотворению Блока «Болотные чертенятки» (1905), а также к тематически связанному с ним стихотворению «Болотный попик» (1905), написанному под впечатлением рисунков Т. Н. Гиппиус. Ср.: «И лягушке хромой, ковыляющей, / Травой исцеляющей / Перевяжет болящую лапу, / Перекрестит и пустит гулять...».

Туфельник

Впервые опубликовано: С.-Альм.—Квт.

Другие публикации: ВП—К.

Рукописные источники: ИРЛИ. Ф. 79.

У хвоста

Впервые опубликовано: С.-Альм.—Квт, под назв. «У хвоста лошадиного».

Другие публикации: ВП—К.

Рукописные источники: ИРЛИ. Ф. 79, под назв. «У хвоста лошадиного».

С. 373. *«Hôtel de Ville».* — Название здания городской администрации Парижа.

Брандахлыст

Впервые опубликовано: НЖ—Тн.

С. 373. *Брандахлыст* — похлебка, разбавленная водой.

...на две «тикетки»... — Имеется в виду продовольственная карточка, на которую отоваривались в Париже во время немецкой оккупации (от Ticket — билет: *фр.*); после войны так называлась купюра достоинством в одну тысячу старых франков.

Мой портрет

Впервые опубликовано: НЖ—Тн.

Сорокоушник

Впервые опубликовано: НЖ—Тн.

Рукописные источники: вариант, черновой автограф, под назв. «Лошадь из пчелы» — ЦРК АК.

С. 374. *Сорокоушник* — чтец Сорокоуста, сорокадневной поминальной молитвы, читаемой в церкви.

...лошадь из пчелы... — Абсурдная причинно-следственная связь, которая восходит к народному поверью о том, что лошадь появилась именно из пчелы. Ср.: «Знахари полагают, что все пчелы первоначально отроились от лошади, заезженной водяным дедушкою и брошенной в болото» (Сахаров И. П. Русское народное чернокнижие. СПб., 1997. С. 92).

Из ничего

Впервые опубликовано: НЖ—Тн.

Под абажуром

Впервые опубликовано: НЖ—Тн.

Жасмин

Впервые опубликовано: НЖ—Тн.

С. 375. *...с белыми вощаными крыльями Лифарь.* — Танцовщик и хореограф Серж (Сергей Михайлович) Лифарь (1905—1986) воплотил образ Икара в поставленном им одноименном балете. Ср.: «Не забыть мне, как после "Икара" — этой соловьиной песни Лифаря — энтузиазм в Опера́ был так велик, что в ту минуту — театр стонал от рукоплесканий...» (Пляшущий демон. С. 28).

Без отопления. Зубы с волосами

Впервые опубликовано: Мартын Задека.

С. 375. *Лев Шестов* — Философ-экзистенциалист Лев Шестов (Иегуда Лейб Шварцман; 1866—1938), ближайший друг Ремизова, которому посвящена вторая и третья печатная редакция цикла снов «Бедовая доля».

Пушкин и пять невест. Непрямое высказывание

Впервые опубликовано: Мартын Задека.

С. 377. *экзистенциальная философия* — популярное в 1930—1950-х гг. философское направление, поставившее своей задачей понять человеческую жизнь, исходя из так называемых «экзистенциалов» — фундаментальных оснований, определяющих бытие человека: жизни и смерти, яви и сна, сознания и свободы и др. Ср. с воспоминаниями В. Сосинского «Домовой на Рю Буало»: «...Ремизов целиком принадлежит к своеобразному направлению философии существования — экзистенциализму. Его создателями на Западе называют Николая Бердяева и Льва Шестова. Оно было близко Хемингуэю, Сент-Экзюпери, Камю, Сартру — с двумя последними Ремизов дружил» (Родина. 1991. № 8. С. 85—86). В одном из писем к А. Камю (от 12 июля 1951 г.) Ремизов делился своим восторгом от прозы французского писателя-экзис-

тенциалиста: «Я вас знаю по “Etranger” <...> С первых строк я почувствовал власть в ваших простых словах. Я русский, мысленно *по-русски* стал выговаривать фразы *по вашему*. Это магия! И еще: ваш глаз. Я не забуду вашего человека с паршивой собакой и какой плыв темной тоски на его вдруг бесцельную жизнь — тут втиск в самую глубь и гущу жизни». Позже, получив от Камю книгу «Noce», Ремизов отвечал: «Я почти слепой и читаю медленно. Мне очень интересны мнения о природе снов. Я думаю, что сны, как и первые измерения нашего голоса, неуловимы и природа их останется тайной. Чтение продолжаю. Спасибо. Будете в Париже, загляните: после 12-и (полудн<я>) я — никуда» (ЦРК АК).

...а из кулака лезет консьержка... — Ср. с образом вездесущей жены из сна Ивана Федоровича Шпоньки: «Он снял шляпу, видит: и в шляпе сидит жена <...> Полез в карман за платком — и в кармане жена; вынул из уха хлопчатую бумагу — и там сидит жена...» (Гоголь. Т. 1. С. 307).

Хлюст. Воздушный пирог

Впервые опубликовано: Мартын Задека.

С. 378. *«Что сказал Малларме Верлену?»* — Близкие друзья, французские поэты Стефан Малларме (1842—1898) и Поль Верлен (1844—1896).

«Ubi vita, ibi poesis» — девиз русского критика и журналиста Н. И. Надеждина (1804—1856): «Где жизнь, там и поэзия» (*лат.*).

«Et ibi prosa, ubi mors». — «И где проза, там смерть» (*лат.*).

«Non solum mors, sed plurimi versus». — «Не просто смерть, но весьма разнообразными способами» (*лат.*)

Андре Жид. Лбом о стену

Впервые опубликовано: Мартын Задека.

С. 378. *Андре Жид* — французский писатель (1869—1951).

С. 379. *«конжэ».* — Ср.: «Нынче летом я получил “конже” от хозяина. “Конже” по-русски: “убирайся ко всем чертям”» (Мышкина дудочка. С. 166).

Индейка. Пропала буква

Впервые опубликовано: Мартын Задека.

С. 379. *На мне вишневая «обезьянья» кофта — курма.* — Китайская одежда, вроде шубы. Ремизовская манера столь экстравагантно одеваться сложилась со времен «военного коммунизма» в Петрограде и была продиктована отчасти болезненностью (постоянным ознобом) и бедностью, отчасти самоощущением гонимого и бесприютного человека. Ср. с воспоминаниями Ю. Анненкова: «Бедный Ремизов и впрямь стал походить на клошара, бродягу. Он обматывал себя тряпками, кутался в рваное трико, надевал на себя заплатанную, в цветочках кофточку Серафимы Павловны, в этой кофточке, в 1920 году, я нарисовал его портрет...» (Анненков. С. 219).

...узнаю в нем автора «Матерьялы по истории русского сектантства»... — По-видимому, речь идет об Александре Степановиче Пругавине (1850—1920), авторе многочисленных исследований по истории русского сектантства.

С. 380. *«О Кондратии Селиванове, непревзойденном богоборце...»* — Кондратий Иванович Селиванов (ум. 1832), крестьянин Орловской губернии, основатель секты скопцов.

В клетке. 25 сантимов. Бритва. Светящаяся мышь. Под автомобилем

Впервые опубликовано: Мартын Задека.

С. 382. *Прямо мчится на меня автомобиль.* — В основу сновидения легло автобиографическое происшествие, случившееся 1 июля 1926 г., о котором Ремизов сообщал в письме к Л. Шестову от 4 июля 1926 г., иллюстрируя рассказ рисунком: «...все это свершилось без моей вины, я очень осторожен, автомобиль шел (без гудка) по неуказанному направлению: ведь это днем в 3 ч<аса>. <...> ...когда я подходил на меня налетел справа <автомобиль> и я очутился под автомобилем только голова на воле» (Шестов. 1994. № 2. С. 158).

Серебряное кольцо

Впервые опубликовано: Мартын Задека.

Рукописные источники: вариант, черновой автограф, под назв. «Кольцо» — ЦРК АК.

Зонтик

Впервые опубликовано: Мартын Задека.

Загвоздка

Впервые опубликовано: Мартын Задека.

Рукописные источники: вариант, черновой автограф, под назв. «Загвоздка» — ЦРК АК.

С. 383. *П. П. Сувчинский.* — Музыковед, публицист Петр Петрович Сувчинский (1892—1985).

Пустая комната. Три багета. Далай Лама. Моя гостья

Впервые опубликовано: Мартын Задека.

С. 384. *...вынимает из сумочки железную просвиру.* — Приношение в виде двухчастного квасного круглого хлеба, на котором имеется печать с изображением креста и слов, означающих победу Христа: «Іс. Хр. Ника». По-видимому, метафора «железная просвира» восходит к пословице: «От каменного попа — ни железной просвиры».

С. 385. *В поле моих калейдоскопических конструкций...* — В число изобразительных произведений Ремизова входили абстрактные цветные композиции (коллажи, аппликации), украшавшие его парижскую квартиру. Происхождение такого рода полотен Ремизов объяснял памятью о детстве: «...моя абстракция <...> геометрические цветные наклейки <...> игра красок. Это красочная пестрота в глазах моей руки — память о нашей няньке, — одеяло из разноцветных лоскутков. Абстракция из мира моих "Подстриженных глаз"» (Кодрянская. С. 98).

Мой страж. Без документа. Заживо на кладбище

Впервые опубликовано: Мартын Задека.

Одна картинка

Впервые опубликовано: С.-Альм.—Квт.

Другие публикации: ВП—К.

Кисточки

Впервые опубликовано: Мартын Задека.

С. 389. *К. Терешкович.* — Живописец, график Константин Андреевич Терешкович (1902—1978), один из самых популярных в послевоенной Франции русских художников; иллюстрировал издания произведений Л. Толстого, А. Чехова, И. Бунина и др.

...с Бахраком бегает. — Журналист, критик, мемуарист Александр Васильевич Бахрах (1902—1985), с которым Ремизов познакомился в Берлине в 1923 г., был одним из постоянных гостей в его доме.

На чистой аспидной доске... — доска из серо-черного сланца, использовавшаяся в школах.

Внизу

Впервые опубликовано: Мартын Задека.

С. 390. *Рене Шар* — французский поэт (1907—1988).

Полян — Жан Полан (1884—1968), французский лингвист, литератор, издатель; автор статей о Ремизове.

Под пальцем

Впервые опубликовано: Мартын Задека.

С. 391. *На земле, покинутой друидами, где мысль пронизана Декартом и сказке нет места...* — Критическая оценка рационалистической Франции, утратившей связь с фантазией и сказкой, призвана подчеркнуть противоположность знаменитого тезиса («мыслю, следовательно, существую»), принадлежащую французскому философу Рене Декарту (1596—1650), мистической мудрости легендарных кельтских жрецов — друидов, в античности населявших земли Галлии и Бретании.

Не в ту дверь

Впервые опубликовано: Мартын Задека.

С. 391. *«кафе-о-лэ»* — кофе с молоком (*фр.*).

Элюар — Поль Элюар (1895—1952), французский поэт, один из основателей сюрреализма.

Стерн — английский прозаик Лоуренс Стерн (1713—1768).

Для весу

Впервые опубликовано: Мартын Задека.

С. 392. *Лели* — поэт-сюрреалист, историк литературы Жильбер Лели (1904—1985) известен как автор двухтомной биографии маркиза де Сада (1952—1957).

Букашка. Не туда

Впервые опубликовано: Мартын Задека.

С. 393. *«Отель Масса».* — В этом здании находился французский союз писателей. Сон воспроизводит обстоятельства лета 1933 г., когда писатель по требованию хозяина был вынужден оставить снимаемую квартиру. Подробнее см.: Мышкина дудочка. С. 166.

Омлет

Впервые опубликовано: Мартын Задека.

С. 394. *Брис Парэн* (1897—1971) — французский литератор, переводчик, философ, секретарь издательства «Gallimard», член редакции «Nouvelle Revue française» (1897—1971); упоминается в кн. «Мышкина дудочка».

NRF — престижный журнал «Nouvelle Revue française», выходивший в издательстве «Галлимар» под редакцией Ж. Поляна и М. Арляна в 1925—1940 гг. и в 1953—1977 гг.

Черемушная наливка

Впервые опубликовано: Мартын Задека.

С. 395. *Суют мне в руки сверток ~ и еще «сгорел дом, где мы отыскали себе маленькую квартиру».* — Автобиографический мотив, в котором соединились преследовавший писателя страх перед пожарами и память о дочери. Ср. с посвящением жене на издании повести «Часы», относящемся к 1923 г.: «О происхождении Часов: это самое больное <...> Помню комнату, почему-то помню всегда, однооконная, узкая и тут же кровать складная походная, и дверь, где ты с Наташей. Пожар помню. Я взял рукопись эту "Часы", икону и Наташу» (Каталог. С. 16).

Вейдле — литературный критик, искусствовед Владимир Васильевич Вейдле (1895—1979) с 1924 г. жил в Париже.

Чехов

Впервые опубликовано: Мартын Задека.

С. 396. *...в Сивиллиных книгах...* — Собрания предсказаний, написанные гекзаметром от имени Сивиллы — ясновидящей, получившей от божества пророческий дар. Имеются в виду 14 книг, созданных между II веком до н. э. и III веком н. э., которые тайно хранились в Риме и находились под государственным контролем. Во времена Империи к ним неоднократно обращались за помощью, а в 400 г. они были уничтожены. Тем не менее книги Сивилл сохранились в списках. Подробнее см.: Сахаров И. П. Русское народное чернокнижие. С. 128—140.

Гимнастика. Виноградный окорок

Впервые опубликовано: Мартын Задека.

С. 396. *Зайцев* — прозаик Борис Константинович Зайцев (1881—1972).

С. 397. *Все семейство Ч.* — Семья Ольги Елисеевны Колбасиной-Черновой и лидера партии эсеров, министра Временного правительства Виктора Михайловича Чернова, а также трое детей (приемных дочерей Чернова) — Наталья, Ольга и Ариадна. С родителями Ремизов был знаком в Петербурге, а с детьми близко познакомился в Берлине в 1922 г. Затем их судьбы пересеклись в Париже.

С. 398. *...на Комарове путешествовал...* — прозвище и псевдоним Евгения Брониславовича Сосинского (1895—1958), поэта, художника и таксиста, услугами которого нередко пользовался Ремизов.

Петли, узлы и выступы

Впервые опубликовано: Мартын Задека.

С. 398. *Ларионов* — художник-авангардист Михаил Федорович Ларионов (1881—1964).

С. 399. *Копытчик (С. К. Маковский)* — прозвище художественного критика, поэта и мемуариста Сергея Константиновича Маковского (1877—1962), который издавал знаменитый модернистский журнал «Аполлон» (1909—1917).

...пишет программу «Оплешника», повторяя, «Оплешник — оплетать — плел». — Издательство под таким названием было образовано в 1950 г. по инициативе и на средства друзей Ремизова (семей друживших между собой Резниковых, Андреевых и Сосинских) специально для издания его книг (см.: Резникова. 109—110). «Не будь “Оплешника”, мое имя не существовало бы на книжном рынке. <...> Самоотверженый “Оплешник” выпустил мои книги в количестве трехсот экземпляров <...> Ненапечатанные книги-рукописи меня задушили бы» (Кодрянская. С. 30).

...залежавшийся соленый огурец пустышка... — Ср. с письмом Ремизова к Б. Зайцеву <1927 г.>: «Копытчика <С. К. Маковского> не забывайте — сейчас с теплой погодой ожил, сделал запас туалетных огурцов и, как шестнадцатилетний, мечтает о встречах № 3 «одоевских» (Бахметьевский архив), а также Зарецкому от 12 февраля 1951 г.: «У Крымова на обеде вы встретите <...> и Копытчика — С. К. Маковского, единственный голос за меня в страх, вытурах и расхлебах: ему 81 год, а вы ему и 50 не дадите: в штанах в левом свежепросольный огурец» (Бахметьевский архив).

Подкоп и затычка. На порку

Впервые опубликовано: Мартын Задека.

С. 399. *Андрэ Бретон* — французский писатель-сюрреалист (1896—1966).

«Я как Улис, сказал Бретон, все забыл под песни сирен». — Имеется в виду миф об Одиссее, который, проплывая мимо острова Сирен, привязал себя к мачте корабля и залил воском уши своих товарищей, чтобы не быть привороженными чудесным и гибельным пением сирен.

С. 401. *ажан* — полицейский (*фр.*)

О тебе — Наташа

Впервые опубликовано: СП. 1949. 9 мая. № 133.

С. 401. *...нет вестей из Киева.* — Дочь Ремизовых Наталья Алексеевна (1904—1943) после эмиграции родителей жила в Киеве. См. о ней: Резникова. С. 44—59; Бунич-Ремизов Б. Б. Супруги Ремизовы в судьбе их дочери и восприятии ее близких // Алексей Ремизов. Исследования. С. 267—272.

Мой цветок

Впервые опубликовано: РМ—БД, под назв. «Цветок».

Другие публикации: Р-1910, под назв. «Цветок» (далее Р-1910—БД); Сирин 3, в составе цикла «Бедовая доля», под назв. «Цветок» (далее Сирин 3—БД).

У голых

Впервые опубликовано: Весна. 1908. № 8. С. [1], под цифрой — 5, под общим загл. «Под кровом ночи. Сны».

Другие публикации: Р-1910—БД, под цифрой — 7; Сирин 3—БД.

Качели

Впервые опубликовано: Золотое руно. 1908. № 5. С. 32, без назв., под цифрой — 5, в составе цикла «Под кровом ночи. Сны».

Другие публикации: Р-1910—БД, под цифрой — 5; Сирин 3—БД.

По морю—цветам

Впервые опубликовано: С.-Альм.—Квт, под назв. «По морю, по цветам белым».

Другие публикации: ВП—К, под назв. «По морю, по цветам белым».

Рукописные источники: ИРЛИ. Ф. 79, под назв. «По морю — цветам белым».

Песочное сукно

Впервые опубликовано: С.-Альм.—Квт.

Другие публикации: ВП—К.

Рукописные источники: ИРЛИ. Ф. 79.

Без цветов

Впервые опубликовано: Золотое руно. 1908. № 5. С. 33, без назв., под цифрой — 9, в составе цикла «Под кровом ночи. Сны».

Другие публикации: Р-1910—БД, под цифрой — 10; Сирин 3—БД, под назв. «Мои цветы».

Раз-плюнуть

Впервые опубликовано: Весна. 1908. № 8, под цифрой — 2 (вариант), под общим загл. «Под кровом ночи. Сны».

Другие публикации: Р-1910—БД, под цифрой — 14; Сирин 3—БД; под назв. «Не лазай!».

Клей-синдетикон

Впервые опубликовано: РМ—БД.

Другие публикации: Р-1910—БД; Сирин 3—БД.

Розанчик

Впервые опубликовано: Золотое руно. 1908. № 5. С. 32, без назв., под цифрой — 6, в составе цикла «Под кровом ночи. Сны».

Другие публикации: Р-1910—БД, под цифрой — 6; Сирин 3—БД.

Светень и девочка в лохмотьях

Впервые опубликовано: Сирин 3—БД, под назв. «Светлый и девочка в лохмотьях».

Верейский тигр

Впервые опубликовано: РМ. 1909. № 5, в составе цикла «Бедовая доля. Ночные приключения» (далее РМ—БД).

Другие публикации: Р-1910—БД, под назв. «От тигра до крючка»; Сирин 3—БД.

Обезьяны

Впервые опубликовано: РМ—БД.

Другие публикации: Р-1910—БД; Сирин 3—БД; Ухват. 1926. 15 мая. № 3, под назв. «Асыка царь обезьяний» (вариант); Взвихренная Русь (вариант), под назв. «Асыка».

С. 410. *...прокричал гордому всаднику — ненавистной мне смерти — трижды петухом.* — Центральный образ сна ассоциируется автором с легендарным царем обезьян Асыкой (Абраксасом), что позже отразилось и в его измененном названии. Рисуя Асыку (Абраксаса), Ремизов обычно изображал существо, у которого «на голове корона, как петушиный гребень, ноги — змеи, в одной руке венок, в другой — трехвостка (плеть)». Сам по себе петух (проводник солнца; земной образ этого небесного огня) символизирует воскресение из мертвых и вечное возрождение жизни. Петух причастен как к царству жизни и огня, так и к царству смерти и тьмы. Кроме того, петух символизирует необыкновенную сексуальную потенцию и плодородие. Гностики отождествляли символическое изображение петуха на колонне с петушиной головой Абраксаса. С другой стороны, соединение в одном образе петуха и змеи вызывает ассоциации с василиском (от греч. βασιλευζ, или царь) — мифическим зооморфным существом с головой петуха и хвостом змеи, обладающим сверхъестественной способностью убивать взглядом или дыханием. Спастись от василиска можно, лишь показав ему зеркало: убийственным для него было его же собственное отражение. Примечательно, что этот носитель смерти погибал также от взгляда или крика петуха. Для Ремизова образ обезьяньего царя воплощает, в первую очередь, символическую совокупность мировых начал — Добра и Зла, Бога и Дьявола, в которых зеркально взаимоотражаются жизнь и смерть.

Ведьма

Впервые опубликовано: Р-1910—БД.

Другие публикации: Сирин 3—БД.

Коляда

Впервые опубликовано: РМ—БД, под назв. «Dame de Noël».

Другие публикации: Р-1910—БД; Сирин 3—БД, под назв. «Dame de Noël».

Двойник

Впервые опубликовано: РМ—БД.

Другие публикации: Р-1910—БД; Сирин 3—БД.

Татарин

Впервые опубликовано: РМ—БД.

Другие публикации: Р-1910—БД; Сирин 3—БД.

Гуси и лебеди

Впервые опубликовано: Золотое руно. 1908. № 5, под цифрой — 1, в составе цикла «Под кровом ночи. Сны», под назв. «Гуси да лебеди».

Не могу уйти

Впервые опубликовано: Золотое руно. 1908. № 5; под цифрой — 3, в составе цикла «Под кровом ночи. Сны».

Другие публикации: Р-1910—БД, под цифрой — 3; Сирин 3—БД.

Волк

Впервые опубликовано: Золотое руно. 1908. № 5, под цифрой — 2, в составе цикла «Под кровом ночи. Сны».

Другие публикации: Р-1910—БД, под цифрой — 2; Сирин 3—БД, под назв. «Волк съел».

Двери

Впервые опубликовано: Золотое руно. 1908. № 5. С. 32, без назв., под цифрой — 4, в составе цикла «Под кровом ночи. Сны».

Другие публикации: Р-1910—БД, под цифрой — 4; Сирин 3—БД.

Белый голубь

Впервые опубликовано: Золотое руно. 1908. № 5, под цифрой — 17, в составе цикла «Под кровом ночи. Сны».

Другие публикации: Р-1910—БД, под цифрой — 20; Сирин 3—БД.

Победитель

Впервые опубликовано: Золотое руно. 1908. № 5, под цифрой — 18, в составе цикла «Под кровом ночи. Сны».

Другие публикации: Р-1910—БД, под цифрой — 21; Сирин 3—БД, под назв. «Не кусайся».

Конец веревки

Впервые опубликовано: С.-Альм.—Квт.

Другие публикации: ВП—К.

Рукописные источники: ИРЛИ. Ф. 79.

Черт и слезы

Впервые опубликовано: Подорожие, в составе цикла «С очей на очи».

Другие публикации: Слово. Рига. 1925. 11 ноября. № 1 (другая редакция).

Рукописные источники: вариант, черновой автограф в составе тетради «Мои сны исторические» — ЦРК АК.

Птица

Впервые опубликовано: С.-Альм.—Квт.

Другие публикации: ВП—К, под назв. «Птичка».

Рукописные источники: ИРЛИ. Ф. 79, под назв. «Птичка».

Лягушки в перчатках

Впервые опубликовано: Золотое руно. 1908. № 5, под цифрой — 10, в составе цикла «Под кровом ночи. Сны».

Другие публикации: Р-1910—БД, под цифрой — 11; Сирин 3—БД.

Жареный лев

Впервые опубликовано: С.-Альм.—Квт.

Другие публикации: ВП—К.

Рукописные источники: ИРЛИ. Ф. 79.

Голубая лисица

Впервые опубликовано: Подорожие, под назв. «Лисица», в составе цикла «С очей на очи».

На полюс

Впервые опубликовано: Весна. 1908. № 8. С. [1], под цифрой — 6 (вариант), под общим загл. «Под кровом ночи. Сны».

Другие публикации: Р-1910—БД, под цифрой — 13; Сирин 3 — БД, под назв. «Полюс».

Змея-кошка

Впервые опубликовано: Подорожие, в составе цикла «С очей на очи».

Пожар

Впервые опубликовано: РМ—БД.

Другие публикации: Р-1910—БД; Сирин 3—БД.

Мышка

Впервые опубликовано: Золотое руно. 1908. № 5, под цифрой — 15, в составе цикла «Под кровом ночи. Сны».

Другие публикации: Р-1910—БД; под цифрой — 18; Сирин 3—БД.

По карнизу

Впервые опубликовано: Золотое руно. 1908. № 5, под цифрой — 11, в составе цикла «Под кровом ночи. Сны».

Другие публикации: Р-1910—БД; под цифрой — 12; Сирин 3—БД, под назв. «Гимнастика».

Демоны

Впервые опубликовано: РМ, под назв. «Черти».

Другие публикации: Р-1910—БД; Сирин 3—БД, под назв. «Черти».

Пылесос

Впервые опубликовано: РМ—БД, вариант под назв. «Чуть было не съели».

Другие публикации: Р-1910—БД, Сирин 3—БД, вариант под назв. «Чуть было не съели».

С. 421. *Солончук* — Борис Борисович Солончук, один из сотрудников издательства «Оплешник».

Жандармы и покойник

Впервые опубликовано: РМ—БД, под назв. «Жандармы и покойники».

Другие публикации: Р-1910—БД; Сирин 3—БД, под назв. «Жандармы и покойники».

С. 421. *...в Большом Толмачевском переулке, в памятной мне комнате...* — Имеется в виду дом в Малом Толмачевском переулке в Москве, где родился Ремизов.

Выбит из колеи

Впервые опубликовано: Золотое руно. 1908. № 5, под цифрой — 14, в составе цикла «Под кровом ночи. Сны».

Другие публикации: Р-1910—БД, под цифрой — 14; Сирин 3—БД, под назв. «Шершавое».

Бухгалтерия

Впервые опубликовано: Золотое руно. 1908. № 5, под цифрой — 13, в составе цикла «Под кровом ночи. Сны».

Другие публикации: Р-1910—БД, под цифрой — 16; Сирин 3—БД.

Мать

Впервые опубликовано: Золотое руно. 1908. № 5, под цифрой — 24, в составе цикла «Под кровом ночи. Сны».

Другие публикации: Р-1910—БД, под цифрой — 29; Сирин 3—БД, под назв. «Бабье лето».

Макароны

Впервые опубликовано: Золотое руно. 1908. № 5, вариант под цифрой — 16, в составе цикла «Под кровом ночи. Сны».

Другие публикации: Р-1910—БД, вариант под цифрой — 19; Сирин 3—БД.

С. 425. *To die, to sleep...* — Цитата из трагедии Шекспира «Гамлет». Ср.: «Умереть, уснуть. Уснуть! / И видеть сны, быть может? Вот в чем трудность; / Какие сны приснятся в смертном сне, / Когда мы сбросим этот бренный шум, — / Вот что сбивает нас...» (Пер. М. Лозинского).

Тонь ночи

Впервые опубликовано: НРС. 1953. 21 июня. № 5030.

С. 426. *...это случилось... 27 ноября 1943 г.* — Точная дата смерти дочери писателя, Натальи Алексеевны Ремизовой — 30 октября 1943 г.

Вл. Вас. Диксон — поэт Владимир Васильевич Диксон (1900—1929); в 1924—1929 гг. тесно общался с Ремизовыми; издал на свои деньги книгу Ремизова «Оля» (Париж, 1927). Ср. с дневниковой записью Ремизова от 30 апреля 1957 г.: «Когда решается судьба, не знаю моя или моих близких, я слышу голоса, разговор о себе. Часто я не решаюсь себе повторить слова

из этого разговора. Сколько раз случалось, как мне было открыто — хотя бы случай с В. В. Диксоном; во время его болезни я видел в моих снах подробности его смерти. И что будет дальше. Я убежден в действии мертвых на судьбу живых» (Кодрянская. С. 319.). См. также: Ремизов А. Некролог Памяти Владимира Васильевича Диксона (ПН. 1929. 22 декабря. № 3196. С. 2); Резникова. С. 49, 85.

С. 427. *Когда мне сказали, помер Иванов-Разумник, я не хотел верить, всего несколько дней, как было от него письмо.* — Последнее письмо от Иванова-Разумника, который скончался 9 июня 1946 г., Ремизов получил 8 мая 1946 г. См.: Иванов-Разумник. С. 244.

С. 428. *О смерти Авраама я читал в апокрифах...* — Имеется в виду относящийся к XVI в. апокриф о Аврааме, приведенный в книге Н. Тихонравова «Памятники отреченной русской литературы» (М., 1863. Т. 1. С. 79—90).

С. 429. *Из истории я видел во сне ~ Петра Великого («Воронье перо»...).* — Речь идет о новелле «Под колоколом» из главы «Писец — вороньс крыло» в книге «Пляшущий демон».

Жан Полян, «Тарбские цветы». — Книга Ж. Поляна «Цветы Тарба» («Flears de Tarbes»; 1941) посвящена языку и проблемам литературы второй половины XX в.

Брис Парэн, галлимардийский философ... — Перу Бриса Парена принадлежат многочисленные исследования по истории средневековой мысли.

Гончарова — Наталья Сергеевна Гончарова (1881—1962), живописец, художник театра, график; упоминается в одном из снов романа «Взвихренная Русь» (глава «Суд непосуждаемый»); жена М. Ларионова.

С. 430. *В Петербурге на Таврической, в доме архитектора Хренова.* — Квартира на Таврической, д. 3-в, где Ремизовы жили с сентября 1910 по июль 1915 г.

С. 431. *...представлена в книге сказок Натальи Кодрянской.* — Речь идет о книге Н. В. Кодрянской «Сказки», с иллюстрациями Н. Гончаровой и предисловием Ремизова (Париж, 1950).

«Если бы сны шли в последовательности, мы не знали бы, что — сон, что — действительность». Эти слова Паскаля повторяет Толстой. — Ср. с выписками Толстого из «Мыслей» Б. Паскаля: «Во сне мы живем почти так же точно, как и наяву. Паскаль говорит, что если бы мы видели себя во сне постоянно в одном и том же положении, а наяву в различных, то мы считали бы сон за действительность, а действительность за сон. Это не совсем верно» (Толстой. Т. 42. С. 233).

С. 432. *И опять я спрашиваю себя: пробуждение из смертного без сновидений сна в утро другого мира...* — Ср.: «Жить — готовясь к смерти. У подвижников с этой мыслью проходит жизнь, но у простых смертных только с тяжкой, непоправимой болезнью. Если бы кто заглянул ко мне среди ночи и видел, как я мучусь, понял бы, почему всякую ночь должна прийти мысль о конце и мне помереть. Но нет у меня страха. Я вижу переход — я верю — тут это не конец нашей жизни» (Кодрянская. С. 84).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Публикуемые в «Прнложениях» тексты представляют собой сны из разных циклов Ремизова 1900—1910-х гг., не вошедшие в книгу «Мартын Задека», а также очерк «Розанов». Одноименные, но не совпадающие по составу циклы («Под кровом ночи») различаются римскими цифрами в скобках, указывающими на последовательность публикаций.

Под кровом ночи. Сны (I)

Печатается по: Всемирный вестник. 1908. № 3. С. 12—18.

<Вступление>, 1—5

Впервые опубликовано: Всемирный вестник. 1908. № 3.

Под кровом ночи. Сны (II)

Печатается по: Весна. 1908. № 8.

1. 7. Послесловие

Впервые опубликовано: Весна. 1908. № 8.

С. 440. *Тепетник* — букв.: выжимка; от тепетать, т. е. топтать, выжимать виноград ногами.

Волховник — здесь: собрание предсказаний.

Бедовая доля

Впервые опубликовано: Шиповник 3.

Печатается по: Сирин 3.

Часть I.

<Вступление>. 5. Иван Грозный. 7. Пиленый сахар. 13. Рысак

Впервые опубликовано: Русская мысль. 1909. № 5, в составе цикла «Бедовая доля. Ночные приключения».

Другие публикации: Р-1910, в составе цикла «Бедовая доля» (далее Р-1910—БД).

14. Медные пятаки. 16. Железный царь

Впервые опубликовано: Шиповник 3.

С. 445. *...как на Крюгеровском портрете...* — Имеется в виду одно из живописных полотен берлинского портретиста Франца Крюгера (1797—1857), который исполнял заказы и русского императорского двора. По-видимому, речь идет о портрете императора Николая I 1852 г., который, как и другие работы художника, хранится в Эрмитаже.

17. Красная капуста

Впервые опубликовано: Русская мысль. 1909. № 5, в составе цикла «Бедовая доля. Ночные приключения».

Другие публикации: Р-1910—БД.

20. Финал

Впервые опубликовано: Русская мысль. 1909. № 5, в составе цикла «Бедовая доля. Ночные приключения».

Другие публикации: Р-1910—БД.

Часть II

8. Под водою

Впервые опубликовано: Золотое руно. 1908. № 5, под цифрой — 7, в составе цикла «Под кровом ночи. Сны».

Другие публикации: Р-1910—БД, под цифрой — 8.

9. На новую квартиру

Впервые опубликовано: Золотое руно. 1908. № 5, под цифрой — 8, в составе цикла «Под кровом ночи. Сны».

Другие публикации: Р-1910—БД, под цифрой — 9.

15. В церкви

Впервые опубликовано: Золотое руно. 1908. № 5, под цифрой — 12, в составе цикла «Под кровом ночи. Сны».

Другие публикации: Р-1910—БД, под цифрой — 15.

22. Битый небитого везет

Впервые опубликовано: Золотое руно. 1908. № 5, под цифрой — 19, в составе цикла «Под кровом ночи. Сны».

Другие публикации: Р-1910—БД, под цифрой — 22.

23. Ах!

Впервые опубликовано: Золотое руно. 1908. № 5, под цифрой — 20, в составе цикла «Под кровом ночи. Сны».

Другие публикации: Р-1910—БД, под цифрой — 23.

24. Сфинкс

Впервые опубликовано: Золотое руно. 1908. № 5, под цифрой — 21, в составе цикла «Под кровом ночи. Сны».

Другие публикации: Р-1910—БД, под цифрой — 24.

С. 449. *Ко мне пришел К., мой знакомый музыкант и сочинитель...* — Подразумевается М. А. Кузмин.

25. Одни ноги торчат

Впервые опубликовано: Золотое руно. 1908. № 5, под цифрой — 22, в составе цикла «Под кровом ночи. Сны».

Другие публикации: Р-1910—БД, под цифрой — 25.

26. Жена архимандрита

Впервые опубликовано: Весна. 1908. № 8, под цифрой — 3, в составе цикла «Под кровом ночи. Сны».

Другие публикации: Р-1910—БД, под цифрой — 26.

27. Вброд

Впервые опубликовано: Всемирный вестник. 1908. № 3, под цифрой — VI, в составе цикла «Под кровом ночи. Сны».

Другие публикации: Р-1910—БД, под цифрой — 27.

28. Умер наш отец

Впервые опубликовано: Золотое руно. 1908. № 5, под цифрой — 23, в составе цикла «Под кровом ночи. Сны».

Другие публикации: Р-1910—БД, под цифрой — 28.

30. Краснокожие схватили и конец

Впервые опубликовано: Золотое руно. 1908. № 5, под цифрой — 25, в составе цикла «Под кровом ночи. Сны».

Другие публикации: Р-1910—БД, под цифрой — 30.

С очей на очи. Сны

Печатается по: Ремизов А. Подорожие. СПб.: Сирин, 1913.

3. Лев. 4. Карлица. 6. Наполеон. 7. Без шапки

Впервые опубликовано: Подорожие.

С. 453. *...знакомый придворный музыкант в малиновом кафтане.* — Игровой статус поэта М. Кузмина в Обезьяньей Великой и Вольной Палате.

И уж не по Нюрнбергу шел я... — Впервые Ремизов посетил Нюрнберг в июле 1911 г.

С. 454. *...звонят у св. Сюльпиция.* — Воспоминания о поездке в Париж в 1911 г. Ср. с рассказом «Белое знамя» (1913).

Постоялый двор Вселенная (Hôtel de l'Univers). — В отеле под таким названием Ремизов останавливался в Париже весной 1911 и летом 1913 г.

...вижу философа Ш. — Речь идет о Л. И. Шестове.

С. 455. *...как наш Вася Босой...* — Подразумевается Святой Василий Блаженный, Христа ради юродивый, московский чудотворец.

Кузовок

Печатается по: Ремизов А. Весеннее порошье. СПб: Сирин, 1915.

За крепкой цепью. 4. Церковка-коробочка. 6. Заблудный поп. 7. Песокур. 8. Три утопленника. 9. Впотьмах. 11. Простокваша. 12. Каменщик. 14. По лестнице. 15. Не-Я. 19. Портфель. 20. В носу. 21. Наверху. 22. Кровосос. 24. Пес рогатый. 26. Виновный. 28. На извозчике. 33. Тризна.

Впервые опубликовано: С.-Альм., в составе цикла «Кузовок (Вещь темная)».

Рукописные источники: В составе наборной рукописи под названием «Кузовок. <Рассказы на сон грядущий — зчркн.>. Вещь темная» — ИРЛИ. Ф. 79.

17. Домовые.

Впервые опубликовано: С.-Альм., в составе цикла «Кузовок (Вещь темная)».

Другие публикации: Мартын Задека, поздняя редакция под назв. «На луну».

Рукописные источники: ИРЛИ. Ф. 79.

23. По-дружески.

Впервые опубликовано: С.-Альм., в составе цикла «Кузовок (Вещь темная)».

Другие публикации: Слово. Рига. 1925. 11 ноября. № 1, под назв. «Савинков».

Рукописные источники: В составе наборной рукописи под назв. «Кузовок <Рассказы на сон грядущий — зчрки.>. Вещь темная», фрагмент; беловой автограф, вариант, под назв. «Савинков» — ЦРК АК.

27. Радуница.

Впервые опубликовано: С.-Альм., в составе цикла «Кузовок (Вещь темная)».

Другие публикации: Звено. 1925. 26 октября. № 143, под общим назв. «Мои сны».

Рукописные источники: запись сна С. П. Ремизовой-Довгелло — Собр. Резниковых, в составе альбома С. П. Ремизовой-Довгелло.

С. 460. *Не-Я* — Одна из центральных категорий «наукоучения» немецкого философа Иоганна Готлиба Фихте (1762—1814), символизирующая то, что не входит в сферу деятельности Я. Независимое и свободное от всех человеческих законов абсолютное Не-Я можно представить «при условии, что оно выражает их положительно или отрицательно, но всегда в конечной степени» (Фихте И. Г. Соч.: В 2 т. Т. 1. СПб., 1993. С. 63).

...называет улицу соседнюю и дом... — № 6, кв. 10. — Сновиденный перевертыш реального адреса писателя в Саперном переулке, д. 10, кв. 6, где также размещалась редакция журн. «Вопросы жизни».

У писателя Б., нашего поэта петербургского, квартира в пять комнат... — Имеется в виду А. А. Блок, который в 1912 г. поселился в пятикомнатной квартире на Офицерской ул. (д. 57, кв. 21).

С. 462. *...вышел на площадь и у памятника...* — Имеется в виду Знаменская площадь (ныне пл. Восстания) у Николаевского вокзала и памятник Александру III скульптора Паоло Трубецкого.

С. 463. *...пришел член первой Государственной Думы Ж.* — Иван Васильевич Жилкин (1874—1958), один из лидеров партии трудовиков в Первой Думе.

С. 465. *Вернулся в Россию один известный государственный преступник.* — Сон посвящен Б. Савинкову, другу Ремизова со времен вологодской ссылки (Иверень. С. 264—272). Возможно, речь идет о встрече с Савинковым весной 1906 г., о которой писатель также упоминает в книге «Взвихренная Русь» (С. 89—90).

С. 466. *Радуница* — один из дней поминовения усопших в православной церкви, отмечается обычно во вторник (в Навий день) после пасхальной недели.

...в лесу я путешествую: то в кровати, то пешком... — ироническая аллюзия на строки пушкинского стихотворения «Дорожные жалобы» (1829): «Долго ль мне гулять на свете / То в коляске, то верхом, / То в кибитке, то в карете, / То в телеге, то пешком?»

С. 467. *...померла знакомая наша писательница ~ а через полчаса и муж ее, писатель же.* —Подразумевается супружеская чета З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковский.

...на Невский и прямо в табачную к Баннову. — Табачный магазин А. К. Баннова (Невский пр., 77).

МОИ СНЫ. ЛИТЕРАТУРНЫЕ

Печатается по: Слово (Рига). 1925. № 1. 11 ноября.

Сологуб

Впервые опубликовано: Слово (Рига). 1925. № 1. 11 ноября.

Другие редакции: Подорожие, первая часть под назв. «Черт и слезы», в составе цикла «С очей на очи».

Рукописные источники: беловой автограф в составе тетради «Мои сны исторические», вариант (опубл.: Обатнина Е. А. М. Ремизов: жизнетворчество entre chien et loup // Канун. Вып. 5. Пограничное сознание. СПб., 1999. С. 410—411).

С. 471. *А. Н.* — Анастасия Николаевна Чеботаревская (1869—1921), переводчица, критик, жена Ф. Сологуба (1863—1927).

Савинков

Впервые опубликовано: Слово (Рига). 1925. № 1. 11 ноября.

Другие публикации: С.-Альм., в составе цикла «Кузовок (Вещь темная)». — вариант.

Рукописные источники: 1) ИРЛИ. Ф. 79, в составе наборной рукописи под назв. «Кузовок <Рассказы на сон грядущий — зчркн.>. Вещь темная» (фрагмент); 2) ЦРК АК, беловой автограф в составе тетради «Мои сны исторические», вариант (опубл.: Обатнина Е. А. М. Ремизов: жизнетворчество entre chien et loup. С. 411—412).

РОЗАНОВ

Впервые опубликовано: Новое литературное обозрение. 2000. № 43. С. 211—213 (публ. Е. Обатниной).

Текст печатается по беловому автографу, хранящемуся в фонде Н. В. Зарецкого (Прага) в соответствии с современным правописанием и сохранением авторской пунктуации. Рукопись представляет собой раннюю редакцию текста, впоследствии вошедшего с книгу «Встречи. Петербургский буерак» (С. 105—108) как часть очерка «Розанов», под самостоятельным названием «Выхожу один я на дорогу». Варианты текста также вошли в книги «Учитель музыки» и «В розовом блеске». В сравнении с публикацией во «Встречах» очерк имеет значительные разночтения. Одна из его первых черновых редакций находится в коллекции Т. Уитни (Амхерст).

С. 473. *Розанов, исповедник пламенной веры в Вия, Пузырь и Тарантул в их надзвездном цветении...* — См., например, розановскую апологию язычества в «Предисловии ко второму изданию» книги «В мире неясного и нерешенного» (1904) (Розанов В. В. В мире неясного и нерешенного. М., 1995. С. 8—20).

...разве что для «Опыта». — Вероятно, подразумевается книга В. Розанова «Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского» (1894), которая имела подзаголовок «Опыт критического комментария».

...«в утробе матери скопцом зарожден!» — Ср.: «Интересна половая загадка Гоголя. <...> Он бесспорно "не знал женщины", т. е. у него не было физиологического аппетита к ней» (Уединенное. С. 262).

...«русалка, утопленница ~ Ничего!!!» — См.: Уединенное. С. 118.

...написал — дело своей жизни — «Семейный вопрос»... — См.: Розанов В. В. Семейный вопрос в России: В 2 т. СПб., 1903.

С. 474. *...<не> «ненавистный темный лик Голгофы, опечаливший землю», а Светло-Христово Воскресение...* — Ср.: «...в Спасителе нужно по-

клониться не чертам Голгофы, не печали гроба, но чертам Вифлеема, восторгу "Боговоплощения"» (Розанов В. В. В мире неясного и нерешенного. М., 1995. С. 74).

С. 474. *После «Норы»...* — Пьеса норвежского драматурга Г. Ибсена (1879).

А Розанов смел говорить «я есмь»... — Ср.: «Я никогда не сочинял. Суть моя "Я есмь я" — вот моя литература» (Розанов В. В. Мимолетное. М., 1994. С. 288).

«...если уже раз мне дали сознать, что "я есмь" — за что меня после этого будет судить?» — Слова Ипполита Терентьева — одного из героев романа Достоевского «Идиот» (Достоевский 8. С. 344). Ср. также: «Дмитрию <Карамазову> суждено возродиться к жизни; через страдание он очистится; он, уже только готовясь принять его, ощутил в себе "нового человека" <...> Вместе с очищением в нем пробуждается сила жизни: "В тысяче мук — *я есмь*, в корче мучусь — но *есмь*", — говорит он накануне суда, который, он чувствовал, окончится для него обвинением. В этой жажде бытия и в неутолимой же жажде стать достойным его хотя бы через страдания опять угадана Достоевским глубочайшая черта истории, самая существенная, быть может центральная» (Розанов В. В. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. М., 1996. С. 42—43).

...кого же и вспомнить, когда гремит весна... — Ср., например, с высказыванием Розанова о Мопассане в статье «Один из певцов "вечной весны"» (1909): «"Божественный" характер любви и весенних сил природы открывается только из их связи с последующим» (Розанов В. В. О писательстве и писателях. М., 1995. С. 362).

С. 475. *Выхожу один я на дорогу...* — Ср. со словами Розанова из статьи «"Демон" Лермонтова и его древние родичи» (1902): «...звезды в самом деле романтичны, а любовники все и до сих пор великие звездочеты, звездомыслители и звездо-чувственники. Пусть кто-нибудь объясинт, отчего влюбленные пристращаются к звездам, любят смотреть на них и начинают иногда слагать им песни, торжественные, серьезные:

Ночь тиха, пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит, —

как написал наш романтический поэт, которому мерцала любовь и в дубовом листке, и в утесе, мерцала при жизни и за гробом» (Розанов В. В. О писательстве и писателях. С. 99).

На с. 134, 243, 348–349 воспроизведены рисунки А. М. Ремизова.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

* В указателе учитываются только имена, встречающиеся в произведе[ниях]
А. М. Ремизова.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ТОМЕ

Архивохранилища

Бахметьевский архив — Бахметьевский архив русской и восточноевропейской истории и культуры Колумбийского университета Нью-Йорка (США). Фонд: Рукописи Алексея Михайловича Ремизова (Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and Culture at Columbia University in the City of New York (USA). «Alexei Mikhailovich Remizov Manuscripts»).

Гарвард — Houghton Library. Гарвард, США.

ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации (Москва).

ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. Рукописный отдел. Литературный музей (Санкт-Петербург).

Прага — Литературный архив. Музей национальной литературы, Прага. Фонд Н. В. Зарецкого.

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства (Москва).

РНБ — Российская национальная библиотека. Отдел рукописей и редких книг (Санкт-Петербург).

Собр. Резниковых — Собрание семьи Резниковых (Париж).

ЦРК АК — Центр Русской культуры Амхерст-Колледжа (США). Архив А. Ремизова и С. Ремизовой-Довгелло (Amherst College Center for Russian Culture (USA). «Alexei Remizov and Serafima Remizova-Dovgello Papers»).

Печатные источники

Алексей Ремизов. Исследования — Алексей Ремизов. Исследования и материалы: Сб. Научных статей и публикаций. СПб.: Дмитрий Буланин, 1994.

Анненков — Анненков Ю. Дневник моих встреч. Цикл трагедий. Т. 1. М., 1991.

Анненков — Ремизов А. В розовом блеске. Нью-Йорк: Изд. имени Чехова, 1952.

Взвихренная Русь — Ремизов А. Взвихренная Русь. Париж: ТАИР, 1927.

ВП — Ремизов А. Весеннее порошье. СПб.: Сирин, 1915.

Воспоминания Т. В. Розановой — Воспоминания Татьяны Васильевны Розановой об отце — Василии Васильевиче Розанове и всей семье / Вступ. ст., публ. и примеч. Л. А. Ильюниной и М. М. Павловой // Русская литература. 1989. № 3. С. 209—232.

Встречи — Ремизов А. Петербургский буерак. Париж: LEV, 1981.

Гоголь — Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. М.: Изд-во АН СССР, 1940—1952, с указанием томов и страниц.

Грачева — Грачева А. М. Алексей Ремизов и Пушкинский Дом (Статья первая. Судьба ремизовского «музея игрушек») // Русская литература. 1997. № 1. С. 185—215.

Дневник — Ремизов А. Дневник 1917—1921. Подгот. текста А. М. Грачевой и Е. Д. Резникова. Вступ. заметка и коммент. А. М. Грачевой // Минувшее. Исторический альманах. 16. М.—СПб.: Феникс—Atheneum, 1994. С. 407—549.

Достоевский — Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1972—1988, с указанием томов и страниц.

Записки — Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем. В 2 т. СПб., 1856.

Иванов-Разумник — Письма Р. В. Иванова-Разумника к А. М. Ремизову (1908—1944 гг.) / Публ. Е. Обатниной, В. Г. Белоуса и Ж. Шерона / Вступ. зам. Е. Обатниной и В. Г. Белоуса // Иванов Разумник. Личность. Творчество. Роль в культуре: Публикации и исследования. Вып. II. СПб., 1998. С. 19—122; 244.

Иверень — Ремизов А. Иверень. Загогулины моей памяти / Ред., послесл., коммент. О. Раевской-Хьюз. Berkeley, 1986.

Каталог — Волшебный мир Алексея Ремизова. Каталог выставки. СПб.: Хронограф, 1992.

Кодрянская — Кодрянская Н. Алексей Ремизов. Париж, [1959].

Крашеные рылá — Ремизов А. Крашеные рылá. Берлин: Грани, 1922.

Кузмин — Кузмин М. Дневник 1905—1907 / Предисл., подгот. текста и коммент. Н. А. Богомолова и С. В. Шумихина. СПб.: изд-во Ивана Лимбаха, 2000.

Литературное наследство — Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 1. М., 1980; Кн. 2. М., 1982; Кн. 5. М., 1993.

Мышкина дудочка — Ремизов А. Мышкина дудочка. Париж: Оплешник, 1953.

На вечерней заре 1—3 — На вечерней заре. Переписка А. Ремизова с С. Ремизовой-Довгелло / Подгот. текста и коммент. А. д'Амелия // Europa Orientalis. 1985. IV; 1897. VI; 1990. IX.

Письма Пришвина — Письма М. М. Пришвина к А. М. Ремизову / Вступ. статья, подгот. текста и примеч. Е. Р. Обатниной // Русская литература. 1995. № 3. С. 157—208.

Пляшущий демон — Ремизов А. Пляшущий демон. Танец и слово. Париж: склад издания «Дом книги», 1949.

Подорожие — Ремизов А. Подорожие. СПб.: Сирин, 1913.

Подстриженными глазами — Ремизов А. Подстриженными глазами. Париж: YMCA-Press, 1951.

Пушкин — Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М.: Изд-во АН СССР, 1937—1949, с указанием томов и страниц.

Pro et contra — В. В. Розанов: Pro et contra. Личность и творчество Василия Розанова в оценке русских мыслителей и исследователей. Антология. Кн. 1 / Сост., вступ. статья и примеч. В. А. Фатеева. СПб.: Изд-во Русского Христианского гуманитарного института, 1995.

Р-1910 — Ремизов А. Рассказы. СПб.: Прогресс, 1910.

Резникова — Резникова Н. В. Огненная память. Воспоминания о Алексее Ремизове. Berkeley: Berkeley Slavic Specialties, 1980.

Сирин 1—3 — Ремизов А. Соч.: В 8 т. СПб.: Сирин, [1910—1912].

Смиренский — Смиренский В. Воспоминания об Алексее Ремизове / Предисл., публ. и коммент. Е. Р. Обатниной // Лица. Биографический альманах. 7. М.; СПб.: Феникс-Atheneum, 1996.

Толстой — Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. М.; Л., Гослитиздат, 1928—1964, с указанием томов и страниц.

Уединенное — Розанов В. В. <Соч. в 2 т.> Т. 2. Уединенное. М., 1990.

Шестов — Переписка Л. И. Шестова с А. М. Ремизовым / Вступ. заметка, подгот. текста и примеч. И. Ф. Даниловой и А. А. Данилевского // Русская литература, 1993. № 1; 1994. № 1, № 2.

Шиповник 1—8 — Ремизов А. Соч.: В 8 т. СПб.: Шиповник, [1910—1912].

Периодические издания

ВЛ — «Вопросы литературы» (Москва).
ВР — «Воля России» (Прага).
НЖ — «Новый журнал» (Нью-Йорк).
НЛО — «Новое литературное обозрение» (Москва).
НРК — «Новая русская книга» (Берлин).
ПН — «Последние новости» (Париж).
Рус. лит. — «Русская литература» (Санкт-Петербург)
РМ — «Русская мысль» (Париж).
РН — «Русские новости» (Париж).
С.-Альм. — «Сирин». [Альманах]. 1914. № 3.
СП — «Советский патриот» (Париж).

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Федеральная программа книгоиздания России

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ РЕМИЗОВ

Собрание сочинений

Том 7

АХРУ

Редактор В. П. Шагалова
Художественные редакторы И. А. Шиляев, Е. В. Поляков
Технический редактор И. И. Павлова
Корректор Н. Д. Бучарова
Компьютерный набор Г. Н. Злотникова, Е. Г. Метченко, В. В. Степанова
Компьютерная верстка Е. Г. Метченко, А. В. Демчук

Лицензия на издательскую деятельность ИД № 05913 от 24.09.01.
Подписано в печать с оригинала-макета 17.06.02. Формат 84×108[1]/32.
Бумага офсетная. На вкл. — мелов. Гарнитура Таймс.
Печать высокая. Усл. печ. л. 33,71 (в т. ч. вкл. 0,11).
Уч.-изд. л. 33,85 (в т. ч. вкл. 0,04). Тираж 3500 экз. С — 09.
Изд. инд. ЛХ-216. Заказ № 1761

ФГУП Издательство «Русская книга»
Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
123557, Москва, Б. Тишинский пер., 38.
Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных диапозитивов на издательско-полиграфическом предприятии «Правда Севера».
163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 32